# РОССИЯ В МЕМУАРАХ

## АРАКЧЕЕВ

СВИДЕТЕЛЬСТВА СОВРЕМЕННИКОВ

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

В книге представлены собранные из разных источников и подробно прокомментированные воспоминания о жизни и деятельности всесильного временщика Александра I графа А. А. Аракчеева. В качестве приложения помещены панегирические стихотворения, эпиграммы и народные песни, посвященные Аракчееву.


- Аракчеев: Свидетельства современников
  - Екатерина Лямина
  - Н. А. Саблуков[1]
  - Ш. Массон
  - Ф. П. Лубяновский
  - Н. О. Котлубицкий[25]
  - П.П. фон Гёце[31]
  - А. И. Михайловский-Данилевский
  - Ф. Ф. Вигель[84]
  - В. А. Сухово-Кобылин.
  - И. П. Тарнава-Боричевский[108]
  - И. С. Жиркевич
  - С. Н. Глинка
  - В. Р. Марченко[152]
  - С. Т. Аксаков[228]
  - Н. И. Шениг[234]
  - Н. Н. Муравьев[274]
  - Н. А. Качалов[283]
  - А. И. Мартос[289]
  - Е.Ф. фон Брадке[296]
  - М. А. Крымов[318]
  - А. Ф. Львов[322]
  - П. П. Свиньин[327]
  - Ф. А. Пенкин[385]
  - И. И. Европеус[393]
  - Н. А. Титов[406]
  - К. А. Измайлов[411]
  - А. К. Гриббе[415]
  - Г. С. Батеньков[436]
  - И. Р. Тимченко-Рубан[438]
  - Н. В. Басаргин[451]
  - С. И. Маевский[455]
  - И. А. Бессонов[499]
  - Д. К. Тарасов[515]

- Ф. В. Булгарин[518]
- Н. И. Греч[532]
- И. И. Свиязев[577]
- И. В. Шервуд[590]
- К. С. Сербинович[597]
- К. И. Фишер[600]
- А. И. Герцен[610]
- М. С. Муханова[620]
- А. П. Языков[623]
- И. Р. Мартос[624]
- П. И. Савваитов[634]
- Л. В. Ширяев[639]
- П. А. Вяземский[643]
- Д. В. Давыдов[646]
- Н. Г. Сигунов[654]
- Рассказы крестьян и солдат об Аракчееве
  - 1. Рассказы бывших военных поселян о графе Аракчееве[664]
  - 2. Рассказ новгородского старожила[666]
  - 3. Крестьянин Шеллоник
  - 4. Народное сказание о смерти Аракчеева[668]
- Е. М. Романович[669]
- А. П. Бровцын[674]
- Приложение
  - Автобиографические заметки графа Аракчеева[681]
- Приложение
  - Литературные и фольклорные произведения об Аракчееве
    - Г. Р. Державин[688]
    - М. В. Храповицкий[690]
    - А. А. Писарев[691]
    - А. С. Пушкин[692]
    - А. Ф. Малиновский[694]
    - А. С. Пушкин (?)[696]
    - К. Ф. Рылеев[698]
    - Неизвестный автор[701]
    - Неизвестный автор[702]
    - Неизвестный автор[703]
    - Неизвестный автор[704]
    - С. А. Путята[705]
    - Е. А. Баратынский[706]
    - В. Н. Олин[707]
  - [Народные песни об Аракчееве][709]

        - Корабельщики бранят Аракчеева[710]
        - Ах по морю, морю синенькому[711]
        - Василий и Андрюшка-палач[712]
        - Набор военных поселенцев[713]
    - М. Л. Магницкий
    - П. А. Вяземский[723]
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29
    - 30
    - 31
    - 32
    - 33
    - 34
    - 35
    - 36
    - 37

- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81

- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125

- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169

- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213

- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257

- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301

- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345

- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389

- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433

- ○ 434
- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441
- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445
- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453
- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459
- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476
- ○ 477

- ○ 478
- ○ 479
- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484
- ○ 485
- ○ 486
- ○ 487
- ○ 488
- ○ 489
- ○ 490
- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494
- ○ 495
- ○ 496
- ○ 497
- ○ 498
- ○ 499
- ○ 500
- ○ 501
- ○ 502
- ○ 503
- ○ 504
- ○ 505
- ○ 506
- ○ 507
- ○ 508
- ○ 509
- ○ 510
- ○ 511
- ○ 512
- ○ 513
- ○ 514
- ○ 515
- ○ 516
- ○ 517
- ○ 518
- ○ 519
- ○ 520
- ○ 521

- ○ 522
- ○ 523
- ○ 524
- ○ 525
- ○ 526
- ○ 527
- ○ 528
- ○ 529
- ○ 530
- ○ 531
- ○ 532
- ○ 533
- ○ 534
- ○ 535
- ○ 536
- ○ 537
- ○ 538
- ○ 539
- ○ 540
- ○ 541
- ○ 542
- ○ 543
- ○ 544
- ○ 545
- ○ 546
- ○ 547
- ○ 548
- ○ 549
- ○ 550
- ○ 551
- ○ 552
- ○ 553
- ○ 554
- ○ 555
- ○ 556
- ○ 557
- ○ 558
- ○ 559
- ○ 560
- ○ 561
- ○ 562
- ○ 563
- ○ 564
- ○ 565

- ○ 566
- ○ 567
- ○ 568
- ○ 569
- ○ 570
- ○ 571
- ○ 572
- ○ 573
- ○ 574
- ○ 575
- ○ 576
- ○ 577
- ○ 578
- ○ 579
- ○ 580
- ○ 581
- ○ 582
- ○ 583
- ○ 584
- ○ 585
- ○ 586
- ○ 587
- ○ 588
- ○ 589
- ○ 590
- ○ 591
- ○ 592
- ○ 593
- ○ 594
- ○ 595
- ○ 596
- ○ 597
- ○ 598
- ○ 599
- ○ 600
- ○ 601
- ○ 602
- ○ 603
- ○ 604
- ○ 605
- ○ 606
- ○ 607
- ○ 608
- ○ 609

- ○ 610
- ○ 611
- ○ 612
- ○ 613
- ○ 614
- ○ 615
- ○ 616
- ○ 617
- ○ 618
- ○ 619
- ○ 620
- ○ 621
- ○ 622
- ○ 623
- ○ 624
- ○ 625
- ○ 626
- ○ 627
- ○ 628
- ○ 629
- ○ 630
- ○ 631
- ○ 632
- ○ 633
- ○ 634
- ○ 635
- ○ 636
- ○ 637
- ○ 638
- ○ 639
- ○ 640
- ○ 641
- ○ 642
- ○ 643
- ○ 644
- ○ 645
- ○ 646
- ○ 647
- ○ 648
- ○ 649
- ○ 650
- ○ 651
- ○ 652
- ○ 653

- ○ 654
- ○ 655
- ○ 656
- ○ 657
- ○ 658
- ○ 659
- ○ 660
- ○ 661
- ○ 662
- ○ 663
- ○ 664
- ○ 665
- ○ 666
- ○ 667
- ○ 668
- ○ 669
- ○ 670
- ○ 671
- ○ 672
- ○ 673
- ○ 674
- ○ 675
- ○ 676
- ○ 677
- ○ 678
- ○ 679
- ○ 680
- ○ 681
- ○ 682
- ○ 683
- ○ 684
- ○ 685
- ○ 686
- ○ 687
- ○ 688
- ○ 689
- ○ 690
- ○ 691
- ○ 692
- ○ 693
- ○ 694
- ○ 695
- ○ 696
- ○ 697

- ○ 698
- ○ 699
- ○ 700
- ○ 701
- ○ 702
- ○ 703
- ○ 704
- ○ 705
- ○ 706
- ○ 707
- ○ 708
- ○ 709
- ○ 710
- ○ 711
- ○ 712
- ○ 713
- ○ 714
- ○ 715
- ○ 716
- ○ 717
- ○ 718
- ○ 719
- ○ 720
- ○ 721
- ○ 722
- ○ 723
- ○ 724
- ○ 725
- ○ 726
- ○ 727
- ○ 728
- ○ 729
- ○ 730
- ○ 731
- ○ 732
- ○ 733
- ○ 734
- ○ 735
- ○ 736

# Аракчеев: Свидетельства современников

# Екатерина Лямина
# Граф Аракчеев: Pro et Contra

Аракчеев — вероятно, один из наиболее негативно мифологизированных персонажей отечественной истории. Немногие имена русских государственных деятелей (за исключением, пожалуй, монархов) так безусловно красноречивы, мало за какими столь безотказно и мгновенно встает образ, — кроме Аракчеева это, может быть, Малюта Скуратов, Магницкий, Победоносцев, Распутин.

Человек-автомат — жестокий, бездушный, непреклонный в исполнении предначертанного, ревностно насаждавший палочную дисциплину. Идеальный бюрократ, регламентировавший всё без исключения, не знавший отдыха и развлечений и требовавший столь же нечеловеческой точности и порядка от всех подчиненных. Циник — злопамятный, мстительный, язвительный, грубый, не веривший ни людям, ни в людей, неспособный к искренности и бескорыстной симпатии. Свирепый бульдог, страшилище, которое кроткий Александр I по какой-то странной прихоти называл своим другом; коварный змей, рабски льстивший царю, обманывавший его и неусыпно охранявший от малейших посягательств свои исключительные права на его доверенность.

Все эти привычные для нас характеристики Аракчеева действительно зафиксированы в подавляющем большинстве свидетельств, оставленных о нем современниками. Однако стоит шагнуть от кратких выдержек из воспоминаний, писем и дневников к более пространным фрагментам из них же или выйти за пределы наиболее часто цитируемых источников, и картина немедленно и значительно усложнится.

Один мемуарист сообщает, что Аракчеев по ночам заходил в казармы «к солдатам смотреть, как они спят, все ли исправно у них, и тут его внимание обращалось на самые мелкие предметы», и добавляет: «солдаты любили его настолько, насколько не любили большинство им же поставленных над ними начальников»;

— другой передает, что граф «сам был в числе недовольных» устройством военных поселений;

— у третьего поразительная работоспособность Аракчеева, быстрота, глубина и четкость его мышления вызывали неподдельное восхищение, и он без обиняков пишет, что «Аракчеев был человек необыкновенных природных способностей

и дарований»;

— четвертый в подробном психологическом портрете Аракчеева (которого он также называет «человеком необыкновенным») отмечает среди прочего, что тот стремился исполнять все, что обещал, а с подчиненными был «совершенно искрен»;

— пятый повествует о том, что Аракчеев желал ввести его «в свой тесный домашний круг», но, столкнувшись с явным нежеланием молодого офицера сидеть за одним столом с Настасьей Минкиной, любовницей и домоправительницей графа, оставил эту мысль и «никогда не выражал <…> своей досады» («и когда я даже один с ним обедал, то эта дама не появлялась к столу», — уточняет он);

— шестого в бытность его адъютантом Аракчеев каждый раз, когда тот «был у него поутру с рапортом, отпускал не иначе как благословляя крестом»;

— седьмой в детстве был обласкан графом, определен в кадетский корпус и во время учебы регулярно проводил выходные в его петербургском доме — не будучи ни родственником Аракчеева, ни даже сыном его знакомых;

— восьмой рассказывает историю о том, как Аракчеев, нахмурив брови, холодно выслушал маловразумительные мольбы матери одного из служивших под его началом офицеров о смягчении участи сына, допустившего серьезный служебный проступок, — а через несколько месяцев «приговор военного суда о разжаловании в солдаты без выслуги смягчен был графом в шестимесячное крепостное заключение, и он спешил известить о том мать, помня, как говорилось в бумаге, ее ходатайство, столь хорошо рекомендующее сына»;

— девятый живописует изысканную, на старинный манер, любезность Аракчеева, его занимательный разговор и живое гостеприимство.

Уже это эскизное сопоставление демонстрирует, что с течением времени, уносящим прочь детали, одни черты личности Аракчеева оказались канонизированы историческим сознанием в качестве основных, а другие, не менее выразительные, зато связанные с конкретными ситуациями и частной точкой зрения, перешли в разряд добавочных, второстепенных, необязательных и словно бы менее достоверных. В коллективной памяти поколений удержалось то, что прямо и без помех соотносилось с архетипическим образом временщика, «полудержавного властелина», со следующей колоритной картиной: «Недаром же в русском гербе двуглавый орел, и на каждой голове корона: ведь и у нас два царя: Александр I да Аракчеев I». По типологически

близкой (только еще сильнее тяготеющей к обобщению) модели создавался образ Аракчеева в фольклоре. Народные песни о нем сочинялись в конце 1810-х — начале 1820-х гг. по образцу уже сложенных об астраханском воеводе князе Борисе Репнине, сибирском губернаторе М. П. Гагарине, князе Меншикове, т. е. о таких исторических деятелях, которые прославились в первую очередь казнокрадством. Получалось примерно следующее:

Как по речке, по речке,
По матушке, по Неве,
Лёхка лоточка плывет;
За собой лотка ведет
Тридцать восемь кораблев.
Во кажинном во корабле
По пяти сот молодцов,
Гребцов-песельничков.
Хорошо гребцы гребут,
Весёлы песни поют,
Разговоры говорят,
Все Рахчеева бранят.
«Ты, Рахчеев, осподин,
За столом сидишь един,
Перед ним водки графин,
Пропиваешь, проедаешь
Наше жалованьё,
Что другоё трудовоё,
Третьё денежноё.
Как на эти жо на деньги
Стал заводы заводить,
Стал палаты становить,
Белокаменны палаты,
Стены мнаморные,
Весь хрустальный потолок,
Что с подвырезом окошки,
Позолоченный конек,
Из Москвы первой домок,
И не хуже он, не лучче
Осударева дворца;
Только тем-то жо похуже,
Золотова орла нет.
«Тысяч сорок издержу,
Золотой орел солью,
Всю Расею удивлю,
Всю я чернедь разорю»»

Здесь граф, несомненно представлявший интерес для народного сознания, оказывается предельно отвлеченным олицетворением власти в ее национальном понимании, хотя ни в пьянстве, ни в присвоении казенных денег он повинен не был. Лишь в желании сравняться с царем великолепием палат можно усмотреть некую отсылку к реальному Аракчееву, который действительно не жалел личных средств на украшение своего имения Грузино, — однако и эта, единственная более или менее индивидуальная черта в контексте песни теряет определенность и понимается как примитивная кичливость остающегося безнаказанным вора.

Образованных современников Аракчеев занимал ничуть не меньше, чем солдат и крестьян. И те и другие проявляли в этом случае естественное и безошибочное историческое чутье; подобно «сказочному людоеду», они чувствовали, что здесь скрывается некая загадка личности — а там, «где пахнет человечиной», историка, пусть даже стихийного, непрофессионального, ждет добыча.

В целом ряде мемуарных свидетельств можно встретить намеки на таинственные флюиды, исходившие от графа и окутывавшие его обиталище, этот «волшебный дворец». Современников не могло не интриговать, «какою ворожбой сумел» Аракчеев с его мало располагавшей к себе внешностью и отсутствием тонкого воспитания приобрести и сохранить дружбу Александра I, человека капризного и легко менявшего свои привязанности; каким образом сумел «один из пятидесяти миллионов подданных приобрести неограниченное доверие такого государя, который имел ум образованнейший, обращение очаровательное и которого свойства состояли преимущественно в скрытности и проницательности».

Они предлагали разные объяснения этого поразительного феномена, от психологических и политических («в первые годы царствования Александра Аракчеев стоял в тени, давая другим любимцам износиться, чтоб потом захватить государя вполне»; Аракчеев сначала был употреблен императором «как исправительная мера для артиллерии, потом как наказание всей армии и под конец как мщение всему русскому народу») до сверхъестественных («<…> в народе носился слух, будто она, <…> когда Александр бывал в Грузине, варила волшебный суп и для его стола, чтоб внушить ему благоволение и дружбу к графу»).

Надо заметить, что сам Аракчеев вовсе не стремился

«объяснять себя», а, напротив, подогревал общее любопытство, дразня публику контрастом между поношенным артиллерийским мундиром без всяких орденов, в котором он обычно ходил, отсутствием особняка в Петербурге, демонстративным отказом от престижнейших наград (алмазной звезды Андреевского ордена, фельдмаршальского жезла, звания статс-дамы, пожалованного его матери) — и колоссальной властью, неограниченным кредитом расположения монарха и внешними атрибутами этого: уникально быстрой ездой по России, подарками, которыми не могли похвалиться даже друзья детства Александра I (яхтой, чугунной колоннадой в виде греческого храма, великолепной люстрой в грузинский собор — кстати, единственный собор в частном имении), регулярными визитами императора и, главное, возможностью постоянно слышать от него слова: «друг мой Алексей Андреевич». В сохранившемся эпистолярии Аракчеева и свидетельствах современников варьируется единственная причина собственного успеха, которую считал нужным называть граф, — верная и честная служба. Очевидно, что эта лаконическая интерпретация скрывала куда более сложную картину.

Итак, достаточно чуть более пристального, чем обычно, взгляда, и итоговый, мифологизированный образ Аракчеева начинает буквально требовать анализа (то есть, в буквальном смысле термина, — разъятия), помещения в как можно более плотный ретроспективный контекст. Такое действие тем более оправданно, что современники графа как раз и стремились, зафиксировав факты, потом сформулировать, в чем состояло неповторимое своеобразие этой личности, и в итоге понять, какие именно черты Аракчеева привели его на высочайшую ступень власти при живом императоре, какую только знал русский XIX век.

Ни происхождение, ни детство Аракчеева не предвещали будущих головокружительных высот. Он родился 23 сентября 1769 г. в сельце Гарусово, стоящем на берегу небольшой речки Волчины, на середине пути из Вышнего Волочка в Бежецк. Видимо, еще в те годы, когда он был малым ребенком, родители перебрались в Курганы — другое поместье, расположенное неподалеку. Места эти и сейчас тихи и немноголюдны, двести же с лишним лет назад иначе как глушью назвать их было нельзя.

Свой род Аракчеевы вели от Ивана Степановича Аракчеева, получившего при царевне Софье, в 1682 г., поместье в Бежецкой пятине Новгородской земли. Поместье многократно делилось между наследниками, и отцу будущего графа досталась деревенька в двадцать душ. В 1750-е гг. Андрей Аракчеев служил в Петербурге, в лейб-гвардии Преображенском полку, в 1762 г.

вышел в отставку, уехал в свое поместье и вскоре женился на дочери одного из соседей, таких же, как он сам, малоземельных и небогатых дворян.

О родителях Аракчеева мы знаем немного; при этом больше сведений сохранилось о матери, чей характер, скорее всего, был сильнее и своеобразнее отцовского. Она умела вести дом так, чтобы семья не ощущала недостатка в продуктах собственного хозяйства, и при скудных средствах была гостеприимна. Достичь этого можно было лишь путем максимального упорядочения всей жизни, что выражалось, видимо, не только в строжайшей экономии, но и в четком распределении времени, совершенном отсутствии праздности, в педантической аккуратности и привычке к чистоте и опрятности. Есть свидетельства о том, что Алексей был любимым сыном матери: возможно, в нем она находила отражение своих достоинств и потому могла хотя бы отчасти быть спокойной за его будущее.

Впрочем, будущее это рисовалось из Курган довольно смутно. Впоследствии Аракчеев любил применять к себе известную поговорку, повторяя, что был учен в прямом смысле слова на медные деньги, поскольку родителям «все его воспитание обошлось в 50 руб. ассигнациями, выплаченных медными пятаками» дьячку сельской церкви. Отец его был почти беден, и содержать даже одного сына (а их было трое) в военной службе ему было не по силам. «Из меня, — рассказывал много позже сам Аракчеев, — хотели сделать подьячего <…> Не имея понятия ни о какой службе, я даже не думал прекословить отцу».

Здесь в ход его жизненного пути, казалось бы, заранее определенный и принадлежностью к сильно захудавшей (хотя и довольно старинной) дворянской фамилии, и рождением в захолустье, и убогим воспитанием, впервые вмешалась судьба. К соседу Аракчеевых, Г. И. Корсакову, приехали в отпуск сыновья, воспитанники Артиллерийского и инженерного кадетского корпуса. Их «красные мундиры с черными лацканами и обшлагами», «рассказы об ученье, о лагерях, о пальбе из пушек» произвели на мальчика сильнейшее впечатление, и после долгих уговоров и слёз ему удалось добиться от отца согласия на перемену своей участи.

Прошение о зачислении в Артиллерийский и инженерный кадетский корпус, поданное Аракчеевыми по прибытии в столицу в январе 1783 г., полгода пролежало мертвым грузом: директор П. И. Мелиссино недавно вступил в должность и не успевал разбираться с делами. Взятые с собой деньги отец и сын при всей привычке к экономии прожили; рубль, поданный в виде воскресной милостыни митрополитом петербургским Гавриилом,

также был истрачен. Вероятно, из затеи стать кадетом ничего бы не вышло, если бы Аракчеев не сумел буквально схватить судьбу за руку — так же решительно, как она явилась ему в облике кадет Корсаковых. Он осмелился остановить Мелиссино на лестнице корпуса и, «едва сдерживая рыдания», проговорил: «Ваше превосходительство! Примите меня в кадеты! Мы более ждать не можем, потому что нам придется умереть с голоду…». Директор выслушал и набросал записку в канцелярию о принятии мальчика в число воспитанников.

Так произошло одно из трех важнейших событий, определивших всю дальнейшую жизнь Аракчеева. Другие поворотные точки — это осень 1792 г. (переход на службу в Гатчину, в артиллерийский батальон великого князя Павла Петровича) и ночь с 6 на 7 ноября 1796 г. (только что вступивший на престол Павел I вложил в руки старшего сына, цесаревича Александра Павловича, руку Аракчеева и произнес: «Будьте друзьями!»). Судьба, на каждом следующем витке вознося Аракчеева все выше, затем на время словно бы предоставляла его самому себе, давала ему возможность дотошно осваивать новое пространство, и когда все необходимое на этом этапе его жизни оказывалось сделанным, ставила запятую и меняла декорации.

Бывший тверской недоросль, определенный в корпус, принялся за освоение наук с тем большим жаром, что ему и в самом деле было что изучать. Реорганизация военно-учебных заведений, задуманная и начатая еще в середине царствования Елизаветы Петровны, была активно продолжена новой императрицей и не обошла стороной Артиллерийский корпус. При Мелиссино в программу было включено большое количество дополнительных специальных дисциплин и увеличено число изучаемых иностранных языков (в старших классах на них было переведено преподавание целого ряда предметов). Аракчеев, по всей видимости, сумел сразу выделиться не только успехами в учебе, но и прилежанием, исполнительностью и поразительной для подростка способностью всецело отдаваться делу. Начальство не замедлило оценить эти качества, и уже 9 февраля, через полгода с небольшим после принятия в корпус, Аракчеев был произведен в младшие командиры — капралы, 21 апреля — в фурьеры, а 27 сентября стал сержантом.

Он методично приобретал в корпусе необходимые знания и навыки, но явно предпочитал быть сам по себе. Вполне естественно, что рвение нового товарища, его очевидное стремление уже сейчас заложить основы дальнейшей карьеры, его усидчивость и «взрослость» вкупе с бедностью и симпатиями со стороны начальства вызывали у многих соучеников неприятие и

раздражение. С. И. Маевский, приложивший к своим мемуарам составленную им «Историю графа Аракчеева из собственных его слов, сообщенных в течение всего нашего знакомства», так резюмировал ситуацию: «Товарищи ненавидели его за мрачный и уединенный характер, и не было дня, чтобы они его не били. <… > Но старшие любили его и ставили в образец другим; а этого и довольно было, чтоб в нем видеть виноватого и бить».

Он окончил курс восемнадцати лет, в сентябре 1787 г., получил первый офицерский чин поручика армии и был оставлен при корпусе в должности репетитора и учителя арифметики и геометрии. Чуть позже ему было поручено преподавать также артиллерию и заведовать корпусной библиотекой; кроме того, Мелиссино рекомендовал его генералу Н. И. Салтыкову (воспитателю великих князей Александра и Константина Павловичей), и Аракчеев стал заниматься математикой с его сыновьями. Теперь бить его, конечно, никто не осмеливался, но расстояние между ним и многими равными, а в особенности подчиненными ему людьми все росло; рос и градус ожесточения.

Через два года он был переименован в подпоручики артиллерии, что равнялось армейскому чину поручика, а в июле 1790 г. — теперь уже по протекции Салтыкова — его назначили старшим адъютантом к Мелиссино. Тот не без удовольствия покровительствовал Аракчееву и немало для него сделал, но своим адъютантом хотел бы видеть более родовитого, обаятельного и жизнерадостного молодого человека. Поэтому, как только представился удобный случай (запрос великого князя Павла Петровича, нуждавшегося в квалифицированном и толковом артиллерийском офицере), Мелиссино отправил Аракчеева в Гатчину.

В 1812 г., уже давно став графом и генералом, Аракчеев заказал талантливому архитектору Ф. И. Демерцову проект павильона на одном из насыпных островов, составлявших на прудах в Грузине целый архипелаг. Постройка, завершенная вскоре после Отечественной войны, была решена как маленький храм в греческом вкусе. Весьма глубоко, пусть и на свой лад, ощущая стилистические особенности ампира с его строгой и торжественной патетикой и ориентацией на античные декоративные образцы, Аракчеев посвятил это сооружение памяти своего наставника и благодетеля Мелиссино — что немаловажно, грека по происхождению.

Аракчеев вообще не скупился на разного рода материальные знаки, подчеркивавшие идею благодарности — доминанту его представлений о самом себе. Редкие мемуары обходятся без упоминания о воздвигнутых им в Грузине великолепных

памятниках Павлу I и Александру I, о реликвиях, любовно разложенных в грузинском доме в специальных застекленных витринах (собственноручные записочки, письма и рескрипты императоров; рубашка, которой великий князь Александр в ночь восшествия Павла I на престол снабдил с ног до головы перепачканного Аракчеева, примчавшегося под дождем из Гатчины в столицу; портфель, в котором Аракчеев много лет подряд носил дела на доклад к Александру, и проч.) и расставленных в кабинете, который Александр I занимал, гостя в Грузине, а Аракчеев после смерти императора превратил в мемориал, снабдив едва ли не каждый предмет меблировки и каждую мелочь вроде пера или чернильницы табличкой с текстом следующего типа: «Этим пером блаженной памяти Государь и Благодетель Александр Благословенный писал, изволив посетить своего подданного графа Аракчеева … дня … года». При этом даже самые проницательные и непредвзятые современники не могли сказать наверняка, чего здесь было больше: признательности благодетелю или косвенного возвеличивания себя. Как правило, живое чувство переплеталось у Аракчеева со стремлением максимально упорядочить все окружающее, и эти составляющие не только не противоречили друг другу, но, напротив, сливались в единый гармонический аккорд.

В этой связи уместно сказать немного об «аракчеевских изданиях». Так у библиофилов второй половины XIX — начала XX в. именовался особый тип раритетов — небольшие (как правило, в восьмую или шестнадцатую долю листа) книжечки, которые Аракчеев выпускал малым тиражом обычно без указания времени и места выхода (с 1821 г. они печатались в типографии Штаба военных поселений). Весьма характерно, что практически все они представляют собой разного рода каталоги: «Краткая ведомость о числе ревизских душ по последней ревизии, бывшей в 1816 году, о числе душ, платящих оброк, и о числе работников, домов семейных, торгующих семейств, рабочих лошадей и коров, в Грузинской волости состоящих» (1819), «Генеральный план Грузина с описанием находящихся в оном строений и памятников, снятый в 1815 году», «Указатель в селе Грузине для любопытных посетителей» (это минипутеводитель — список семидесяти с лишним достопримечательностей резиденции Аракчеева, на которые он считал нужным обратить внимание приезжающих), «Опись церковной утвари, имеющейся в Грузинском соборе святого апостола Андрея Первозванного. Сделана и поверена в 1818 году». При этом классифицированию подвергалось даже то, к чему обычно данная операция не применяется: «Расписание, в какие дни именно какие употреблять

для звона колокола при Грузинском соборе, учрежденное создателем святого храма сего графом Алексеем Андреевичем Аракчеевым» (1825). Особенно впечатляет тринадцатистраничная брошюра под названием «В Грузине мера саду в разных местах и расстояние деревень» (1818). Это набор маршрутов для прогулок — пеших, верхом или в экипаже, к примеру: «От деревянного дому мимо бюста Императора Павла I-го и чрез круг у липы, потом чрез каменной мостик и вниз по осиновой аллее до конца саду, и назад по липовой дорожке чрез руину до плотика и от оного вверх по еловой аллее до средины и прямо по средней аллее к деревянному дому — 320 саж[ен]», «Круг гулянья от каменного дома в ворота у кухни и по ездовой дороге к летней горе и от оной кругом поля по дороге до циркуля у рябиновой аллеи и по оной к саду и потом спустясь вниз в ворота у библиотеки и садом к старой ранжерее и поднявшись на гору к банному флигелю и позади оного чрез новые чугунные ворота к дому составляет 2 в[ерсты] 250 саж[ен]». Обозрение любимых местечек и прогулок оказывается сродни перебиранию драгоценностей, книг, гравюр или монет из коллекции и порождает удивительный эффект трехмерности печатного текста: в каждой точке маршрута открывался новый вид, а историки искусства сходятся с мемуаристами в том, что ландшафт в аракчеевском поместье отличался редкой живописностью, мастерски использованной архитекторами.

Гатчина, куда Аракчеев приехал в сентябре 1792 г., была просто создана для людей со столь развитой привычкой к аккуратности и точности и принципиальным отказом от всякой фронды. Немаловажно также, что служба в батальонах Павла Петровича (хотя они размещались в трех принадлежавших ему тогда местах — на Каменном острове, в Павловске и в Гатчине, это войско называли гатчинским по месту основной дислокации) давала совершенно уникальный — особенно на фоне последних лет екатерининского царствования — опыт: окружающей действительности можно было придать разумность и устроенность, следовало лишь не пренебрегать никакими мелочами. В этом контексте равное значение приобретала красота строя на вахтпараде (разводе войск перед отправкой в караулы), безукоризненно вычищенная амуниция, на совесть заделанные раковины (дефекты отливки) в стволах артиллерийских орудий, вовремя запертая калитка сада.

Социально-исторический типаж «гатчинского офицера» объединяет столь несхожие исторические фигуры, как А. С. Шишков, Г. Г. Кушелев, А. А. Боратынский, П. Х. Обольянинов. Однако из всех «gatchinois» именно Аракчеев

выдвинулся наиболее значительно — видимо, потому, что по складу характера и личным амбициям лучше других соответствовал представлениям великого князя о преданности и исполнительности. Современники сходились в мнении, что Аракчеев искренне любил Павла I (а некоторые прибавляли, что только его он и любил на самом деле, зато Александра ненавидел за соучастие, пусть вынужденное, в убийстве отца, но искусно скрывал истинные чувства под личиной преданности). Да и как было не любить государя, столь полно соответствовавшего представлениям мелкого дворянина о монархе как таковом, — благородного, милостивого, изящного и, наконец, щедрого? Скорее всего именно по этой причине даже небольшая провинность повергала Аракчеева в отчаяние (конечно же, он мог тосковать, видя, как меркнут при гневе великого князя карьерные перспективы, открывавшиеся с будущим его воцарением, но здесь следует помнить, что любые расчеты такого рода в первой половине 1790-х гг. неизменно повисали в воздухе, ибо Екатерина II не скрывала своего намерения завещать трон в обход сына внуку, Александру Павловичу).

В ноябре-декабре 1796 г., после воцарения Павла I, гатчинские офицеры были повышены в чинах. Аракчеев, получивший 2000 душ в Новгородской губернии и произведенный в генерал-майоры, вскоре оказался сразу на трех ответственных должностях — комендант Петербурга, командир лейб-гвардии Преображенского полка и генерал-квартирмейстер всей армии. Педантической аккуратности, давно ставшей главным принципом его служебного и бытового поведения, он теперь мог требовать с большинства подданных нового императора.

Пожалуй, именно на этом отрезке жизни Аракчеев приобретает репутацию безжалостного солдафона. Он сам присутствовал на экзекуциях и после осматривал спины наказываемых («и горе <…>, ежели мало кровавых знаков!»), был изощрен в оскорблениях, поскольку, «отлично зная людей <…> мастерски умел отыскивать и затрагивать чувствительнейшие струны человеческого сердца». Здесь мы имеем дело с жестокостью особого рода, оправданной в глазах Аракчеева делом государевой службы. И все же в марте 1798 г. эти качества обернулись против Аракчеева: оскорбленный им офицер покончил с собой, разразился скандал, и Павел I отставил его от всех должностей. Но летом этого года император расстался с многими лицами из своего ближайшего окружения: Ф. В. Ростопчин, С. И. Плещеев, Ф. Ф. Буксгевден, братья Куракины, Ю. А. Нелединский-Мелецкий один за другим попали в немилость; многолетняя фаворитка государя Е. И. Нелидова была

заменена А. П. Лопухиной. Возле Павла I осталось слишком мало преданных людей, и в августе император вернул Аракчеева из Грузина, где тот коротал дни опалы. Ему был поручен надзор за всей артиллерией. Прошло чуть больше года, и Аракчеев вновь оказался в немилости, на этот раз из-за родственных чувств. В Арсенале во время дежурства его брата Андрея случилась кража; граф переложил вину на генерал-майора Вильде, был уличен в обмане и вместе с братом отставлен от службы. Он снова уехал в Грузино.

По преданию, за несколько дней до смерти Павел хотел вернуть Аракчеева, и тот будто бы даже выехал в Петербург, но был, по приказу П. А. Палена, одного из организаторов цареубийства, задержан у городской заставы. Хотя это не более чем слух, примечательно, что он так приковывал к себе внимание современников. Представьте: вечером 11 марта Аракчеев успевает в срок, и — император остается жив…

Собственно, Гатчина, как ни парадоксально это звучит, определила всю карьеру Аракчеева, в том числе и в следующее царствование. Хотя Александр I назначил его на официальные должности лишь в мае 1803 г., нет сомнения, что он помнил о преданном генерале и намеревался со временем приблизить его к себе. Вернувшись в Петербург, Аракчеев, по всей видимости, сумел проявить себя как виртуозный дипломат и психолог и ни словом, ни взглядом, ни интонацией не заступил за роковую, магическую черту, которой была обведена для Александра ночь с 11 на 12 марта 1801 г. Таким образом, молодой император оказался в чрезвычайно комфортной и, что особенно важно, стабильной психологической ситуации: всё изменялось, один лишь Аракчеев оставался «верным гатчинским дядькой, стерегущим вечно юного царя от опасных влияний и соблазнов молодости». Никто иной не мог играть при Александре I эту роль хотя бы в силу чисто биографических обстоятельств.

А поскольку, несмотря на многочисленные перемены стилей поведения и всю загадочность и непредсказуемость своей натуры, император всегда оставался собой, то и Аракчееву была суждена долгая и беспримерно ровная — пусть и с некоторыми огорчениями — служба при нем, примерно с 1815 г. превратившаяся в управление всеми внутренними делами государства. Немаловажно и то, что Аракчеев оказался своего рода орудием императорской власти в крайне сложных взаимоотношениях монарха с дворянством. Стремясь обуздать недальновидное и эгоистичное дворянское своеволие (проявлявшееся на самые разные лады: от активного неприятия конституционных начал в первые годы царствования, всеобщей

исступленной ненависти к Сперанскому, генеральского фрондерства, процветавшего в кругу А. П. Ермолова, А. А. Закревского, П. Д. Киселева, И. В. Сабанеева, — до замыслов цареубийства), Александр I мог опираться на Аракчеева как на вассала, который был предан лично сюзерену, с равной неприязнью относился ко всем придворным группировкам (это не значит, что он не участвовал в интригах) и чуждался вельможной позы. Разумеется, репутация последнего в ходе этой напряженной борьбы не могла не деформироваться совершенно определенным образом: нелестные характеристики типа «всей России притеснитель» приросли к Аракчееву намертво.

Один из эпизодов этой службы Аракчеева государю (и уже потом — отечеству) пагубнее всего сказался на его облике в глазах современников и потомков. Речь идет о преобразовании армии, а точнее — о создании военных поселений. В глазах императора это мероприятие было не менее, а судя по тому, что устройство их было поручено лично Аракчееву, — возможно, и более важно, чем все другие государственные реформы.

Учреждение поселений было ответом на вопрос, возникший еще перед Петром I и в нерешенном виде перешедший к его наследникам: как содержать регулярную армию в мирное время без убытка для государственной казны? Павел I в 1770-е гг., в бытность цесаревичем, обдумывал проекты размещения армии на постоянных квартирах, где солдаты жили бы вместе со своими семействами, а их дети со временем заменяли бы отцов в строю. Но за свое недолгое царствование Павел не успел осуществить эти замыслы, и к началу XIX в. принципы комплектования, содержания и расположения армии оставались прежними: рекрутские наборы, при которых солдаты на долгое время отрывались от родных домов; частые переводы полков с одного места на другое; квартирование офицеров и солдат по обывательским домам. Строительство военных городков и поселение в них солдат вместе с их семьями решало бы задачи профессиональной подготовки; совмещение солдатами воинской службы с крестьянским трудом отменяло бы проблему обеспечения армии провиантом; по мере расширения числа военных поселений можно было бы постепенно сократить разорительные для крестьян рекрутские наборы, а затем и вовсе избавиться от них — такова была логика Александра I.

Первый опыт преобразования состоялся вскоре после административной реформы Сперанского — высочайший указ от 9 ноября 1810 г. предписывал переселить в Новороссию государственных крестьян нескольких деревень Климовичского уезда Могилевской губернии и в этих деревнях разместить

запасной батальон Елецкого мушкетерского полка. В 1811 г. мужиков выселили, батальон разместили, но завершить эксперимент не удалось — следующим летом началась Отечественная война.

После победы Александр I вернулся к своей идее, несколько видоизменив ее. Могилевский опыт показал, что переселение крестьян в новые губернии — слишком дорогостоящее для казны дело. Поэтому решено было помещать солдат не вместо крестьян, а вместе с ними, формируя из мужиков новые военные части. В 1816 г. на землях государственных крестьян Новгородской губернии была поселена 1-я гренадерская дивизия, в 1817-м в Херсонской и Слободско-Украинской губерниях — 3-я Украинская и Бугская дивизии. Непосредственное начальство над украинскими поселениями император поручил генералу И. О. Витту, над новгородскими — Аракчееву, который, впрочем, по должности председателя Военного департамента Государственного совета и по личной просьбе монарха курировал организацию и ход всего дела. В 1821 г. военно-поселенческие части были объединены в Отдельный корпус под общим командованием Аракчеева, учрежден штаб этого корпуса и Совет «главного над военными поселениями начальника» (т. е. Аракчеева). К 1825 г. на военно-поселенческий режим было переведено около 150 тысяч солдат и 375 тысяч государственных крестьян; новые поселения были организованы в Петербургской и Могилевской губерниях.

Александру I, размышлявшему о поселениях, «рисовались в будущем идиллии Геснера, садики и овечки». Аракчеев демонстрировал императору и овечек, и садики, а тот, периодически осматривая поселения, оставался крайне доволен эстетическим порядком: стройными линиями связей (так назывались типовые дома на две семьи), четким режимом опрятных поселян (подъем — по гонгу, строевая служба — по гонгу, полевые работы — по гонгу, дойка коров — по гонгу и т. д.), чисто выметенными улицами, ровными дорогами, осушенными болотами, новыми мостами. Поселяне классифицировались по различным признакам: по оседлости различались коренные жители и поселенные солдаты, по возрастам — инвалиды, солдаты и кантонисты. Каждый разряд имел свое обмундирование; форма шилась и для детей, которых еще малолетними зачисляли в кантонисты и впоследствии обучали в специальных школах (женщины должны были каждый год прибавлять к новой породе людей по мальчику, а если рождалась девочка, — платить штраф). Духовные лица также были облачены по уставу военных поселений: «благочинные и

старшие священники имели обязательно форменные рясы темно-зеленого сукна с красным подбоем, а рядовые священники и диаконы — рясы такого же сукна, но с голубым подбоем, причетники носили такие же подрясники, и волосы у них должны были быть заплетены в косу с голубой лентой».

Несомненно, Аракчеев обладал поистине колоссальной волей и работоспособностью, если под его руководством химерической идее императора за столь непродолжительное время удалось придать видимость реализации. Современников поражали масштаб и волшебная скорость изменений, которые происходили в Новгородской губернии, расположенной между двумя столицами и потому находившейся на виду: «Поселения удивительны во многих отношениях. Там, где за восемь лет были непроходимые болота, видишь сады и города». Административный почерк Аракчеева без труда читался в методах реализации проекта, и современники вполне обоснованно связывали устройство поселений с его именем, хотя инициатива здесь принадлежала императору, а сам граф неизменно подчеркивал, что он лишь беспрекословный исполнитель монаршей воли; чрезмерную жестокость, сопровождавшую введение поселений, он с характерной язвительностью объяснял излишним усердием своих подчиненных.

Негодование по поводу поселений было всеобщим, а обращенные в солдат новгородские крестьяне (они были в основном старообрядцами) не сомневались, что под видом графа ими и Россией управляет сам Сатана. Как бы то ни было, военные поселения оказались завершающим этапом демонизации Аракчеева, упрощения его образа до маски «мрачного идиота». Поэтому Николай I, даже не питая к графу личной неприязни, не мог без ущерба для собственной репутации оставить все так, как было при старшем брате, и потому уже 20 декабря 1825 г. уволил Аракчеева от дел Государственного совета, Комитета министров и Собственной канцелярии, сохранив за ним лишь должность главноначальствующего над военными поселениями. За две недели сдав все дела, Аракчеев весной 1826 г. уехал на лечение за границу. Отстранение было обставлено бесспорными знаками монаршего благоволения и признательности за совершенные труды: император пожаловал Аракчееву 50 000 рублей для лечения на карлсбадских водах, разрешил по-прежнему пользоваться яхтой, подарком покойного царя; после высочайших осмотров новгородских военных поселений (в конце апреля и середине июля 1826 г.) граф получил два милостивых рескрипта. Вплоть до кончины он не выходил в отставку и продолжал

числиться в службе, оставаясь членом Государственного совета, сенатором, генерал-инспектором всей пехоты и артиллерии, шефом полка своего имени и в качестве генерала от артиллерии командующим 2-й лейб-гвардейской артиллерийской бригадой.

К весне 1827 г. Аракчеев возвратился в Грузино, где и жил практически безвыездно, совершая время от времени непродолжительные поездки в Бежецк и Курганы.

12 апреля 1834 г. А. С. Пушкин записал в дневнике фрагмент своей беседы со Сперанским, у которого он недавно обедал: «Я говорил ему о прекрасном начале царствования Александра: «Вы и Аракчеев, вы стоите в дверях противоположных этого царствования, как гении Зла и Блага»». Стилистическое чутье позволило поэту выстроить это тонкое сравнение как скульптурную композицию, стержнем которой служат образы гениев, популярные в искусстве 1810-х гг. и вместе со всеми дополнительными смыслами безусловно внятные Сперанскому, чья молодость и ранняя зрелость пришлись как раз на расцвет ампира. В этом разговоре Пушкин оглядывался назад — в недалекое, но уже бесповоротно минувшее время, превратившееся в часть истории. Аракчеев, 19 ноября 1833 г. установивший на площади перед собором в Грузине памятник Александру I, где гении Веры, Надежды и Милосердия возносили к небесам скульптурный бюст императора, доживал последние дни (он умер через полторы недели, 21 апреля) в своей собственной истории, где все акценты были расставлены так, как он считал нужным.

Однако, обдумывая прожитую жизнь, он понимал, что мнение, сложившееся о нем у современников, далеко от сколько-нибудь непредвзятого. Не мог Аракчеев не отдавать себе отчета и в том, что его деятельность теснейшим образом связана с царствованием Александра I, а значит, ученый, который возьмется за сочинение капитального труда об этой эпохе, обязательно остановится и на его личности. Надеясь на то, что «нелицемерный судия — грядущее время и потомство — изречет всему справедливый приговор», и желая стимулировать исторические штудии, Аракчеев в 1833 г. внес в Заемный банк 50 тысяч рублей. Он предполагал, что по истечении ста одного года со дня смерти Александра I три четверти капитала (который с накопившимися процентами должен был составить около полутора миллионов рублей) будут вручены в качестве награды автору исторического сочинения об императоре, признанного Академией наук лучшим; остальная четверть отводилась на издание этого труда и его переводы на ряд европейских языков. После 1917 г. эти деньги были национализированы, и церемония присуждения аракчеевской премии 12(24) декабря 1926 г. (в день

рождения Александра I) не состоялась.

К этому времени в свет вышло немало работ по эпохе Александра I, в том числе фундаментальные исследования Н. К. Шильдера (1897–1898) и великого князя Николая Михайловича (1912), научная и источниковедческая ценность которых не утрачена и сейчас. Аракчеев, как и предполагал, оказался одним из главных героев этих трудов, во многом построенных на архивных материалах. Надо признать, что пассажи о нем лишены обличительного пафоса и практически не выбиваются из общей, весьма сдержанной, тональности повествования. Однако работы подобного плана, посвященной персонально Аракчееву, до 1917 г. так и не появилось, а в огромном большинстве других книг и статей дискурс определялся некритически усвоенной прижизненной репутацией героя. В советское же время Аракчеев был обречен на резко негативное отношение историков. Даже в тех трудах, где он лишь упоминался, его имя сопровождалось набором клишированных бессодержательных характеристик вроде «жестокий временщик и реакционер».

Рост интереса к личности Аракчеева наметился со второй половины 1980-х гг. в связи с пересмотром многих традиционных исторических представлений. Статьи о нем, в том числе с привлечением новых архивных материалов, стали появляться в специальных и популярных изданиях, а недавно вышли посвященные ему (полностью или частично) монографии. В целом можно сказать, что стандартная оценка фигуры и деятельности Аракчеева постепенно размывается; видимо, процесс выработки новых критериев и нетривиального взгляда на эту личность будет довольно долгим.

Нам представляется, что собранные под одной обложкой мемуарные свидетельства современников об Аракчееве могли бы внести свою лепту в складывание более объективного представления о нем. Несомненно, каждый из этих текстов по-своему пристрастен и должен быть использован максимально корректно, с возможно более тщательным учетом тех обстоятельств, которые повлияли на позицию того или иного очевидца. Однако такая кропотливая и далеко не простая работа с лихвой оправдывает себя: именно из соотнесения отзывов современников с высказываниями Аракчеева о себе и внимания к деталям контекста возникает трехмерная картина прошлого — щедрая награда любому, кто неравнодушен к истории.

* * *

Настоящее издание является первым систематическим сводом воспоминаний современников об А. А. Аракчееве. Тексты расположены в соответствии с хронологией его жизни, однако эта последовательность, разумеется, весьма условна: в центре мемуаров, как правило, стоит личность мемуариста, и «аракчеевские эпизоды» далеко не всегда представляют собой законченные и связные фрагменты, легко вычленяемые из нарративного целого. В книгу включены воспоминания, специально посвященные Аракчееву, и отрывки из мемуаров, где он охарактеризован более или менее подробно; в приложении представлены его автобиографические заметки, литературные произведения о нем и заключительная часть статьи П. А. Вяземского «По поводу записок графа Зенфта» (1876).

Тексты печатаются по нормам современной орфографии и пунктуации, кроме случаев, в которых требовалось передать особенности языка эпохи. Поэтому сохранены разночтения в написании имен собственных и некоторых слов. В квадратных скобках помещены названия текстов и даты, предложенные составителями, а также слова, прочитанные предположительно или пропущенные в тексте и восстанавливаемые по смыслу; угловыми скобками с отточием отмечены сделанные составителями купюры. Сокращения фамилий, имен и отчеств везде раскрыты без специальных оговорок.

Даты в комментариях даны по старому стилю, если речь идет о событиях, имевших место в России, и по новому — когда действие переносится за пределы империи. Общеизвестные имена (Пушкин, Суворов, Петр I, Наполеон и т. д.) не поясняются. Краткие справки об авторах воспоминаний предваряют комментарии к принадлежащим им текстам; информация о других лицах дается по первому их упоминанию (страницы, на которых она находится, выделены в указателе имен курсивом). Сведения о прохождении Аракчеевым службы и получении им чинов и званий поясняются лишь в случае ошибок мемуаристов, поскольку ниже приведен свод данных об основных фактах его жизни.

Составители считают приятным долгом выразить свою признательность всем, кто помог им суждением и советом, и в первую очередь — К. Г. Боленко, З. И. Вишневской, М. А. Гордину, Г. А. Давыдову, М. Л. Левину, В. А. Мильчиной, Е. В. Пастернак.

# Н. А. Саблуков[1]
# Записки

В эпоху кончины Екатерины и вступления на престол Павла[2] Петербург был, несомненно, одной из красивейших столиц в Европе <…>

Внезапная перемена, происшедшая с внешней стороны в этой столице в течение нескольких дней, просто невероятна. Так как полицейские мероприятия должны были исполняться со всевозможной поспешностью, то метаморфоза совершилась чрезвычайно быстро, и Петербург перестал быть похожим на современную столицу, приняв скучный вид маленького немецкого города XVII столетия.

<…> Павел всюду ввел гатчинскую дисциплину <…> Малейшее нарушение полицейских распоряжений вызывало арест при одной из военных гауптвахт, вследствие чего последние зачастую бывали совершенно переполнены.

<…> Много полковников, майоров и других офицеров были включены в состав гвардейских полков, и так как все они были лично известны Императору и имели связи с придворным штатом, то многие из них имели доступ к Императору, и заднее крыльцо дворца было для них открыто. Благодаря этому мы, естественно, были сильно вооружены против этих господ, тем более что вскоре мы узнали, что они занимались доносами и передавали все до малейшего вырвавшегося слова.

Из всех этих лиц, имен которых не стоит и упоминать, особенного внимания, однако, заслуживает одна личность, игравшая впоследствии весьма важную роль. Это был полковник гатчинской артиллерии Аракчеев, имя которого, как страшилища Павловской и особенно Александровской эпохи, несомненно, попадет в историю. По наружности Аракчеев походил на большую обезьяну в мундире. Он был высокого роста, худощав и мускулист, с виду сутуловат, с длинной тонкой шеей, на которой можно было бы изучать анатомию жил и мускулов и тому подобное. В довершение того он как-то особенно смарщивал подбородок, двигая им как бы в судорогах. Уши у него были большие, мясистые; толстая безобразная голова, всегда несколько склоненная набок. Цвет лица был у него земляной, щеки впалые, нос широкий и угловатый, ноздри вздутые, большой рот и нависший лоб. Чтобы закончить его портрет, скажу, что глаза у него были впалые, серые и вся физиономия его представляла страшную смесь ума и злости. Будучи сыном мелкопоместного

дворянина[3], он поступил кадетом в артиллерийское училище[4], где он до того отличался способностями и прилежанием, что вскоре был произведен в офицеры и назначен преподавателем геометрии. Но в этой должности он проявил себя таким тираном и так жестоко обращался с кадетами, что его перевели в артиллерийский полк, часть которого вместе с Аракчеевым попала в Гатчину.

В Гатчине Аракчеев вскоре обратил на себя внимание Павла и, благодаря своему уму, строгости и неутомимой деятельности, сделался самым необходимым человеком в гарнизоне, страшилищем всех живущих в Гатчине и приобрел неограниченное доверие великого князя. Надо сказать правду, что он был искренно предан Павлу, чрезвычайно усерден к службе и заботился о личной безопасности Императора. У него был большой организаторский талант, и во всякое дело он вносил строгий метод и порядок, которые он старался поддерживать строгостью, доходившею до тиранства. Таков был Аракчеев. При вступлении на престол Императора Павла он был произведен в генерал-майоры, сделан шефом Преображенского полка и назначен петербургским комендантом. Так как он прежде служил в артиллерии, то он сохранил большое влияние на этот род оружия и, наконец, был назначен начальником всей артиллерии, в каковой должности оказал большие услуги государству.

Характер его был настолько вспыльчив и деспотичен, что молодая особа, на которой он женился, находя невозможным жить с таким человеком, оставила его дом и вернулась к своей матери[5]. Замечательно, что люди жестокие и мстительные обыкновенно трусы и боятся смерти. Аракчеев не был исключением из этого числа: он окружил себя стражею, редко спал две ночи кряду в одной и той же кровати, обед его готовился в особой кухне доверенною кухаркою (она же была его любовницею)[6], и когда он обедал дома, его доктор должен был пробовать всякое кушанье, и то же делалось за завтраком и ужином.

Этот жестокий и суровый человек был совершенно неспособен на нежную страсть, но в то же время вел жизнь крайне развратную. Тем не менее у Аракчеева было два больших достоинства. Он был действительно беспристрастен в исполнении суда и крайне бережлив на казенные деньги. В царствование Павла Аракчеев был, несомненно, из тех людей, которые возбудили неудовольствие общественного мнения против правительства; но Император Павел, по природе человек великодушный, проницательный и умный, сдерживал строгости Аракчеева и наконец удалил его[7]. Но когда после смерти Павла

Император Александр снова призвал его на службу[8] и дал его влиянию распространиться на все отрасли управления, причем он на деле сделался первым министром, тогда Аракчеев поистине стал бичом всего государства и довел Александра до того шаткого положения, в котором он находился в минуту своей смерти в Таганроге и которое разрешилось бунтом, вспыхнувшим при вступлении на престол Императора Николая[9], первою мерою которого для успокоения умов было увольнение и удаление графа Аракчеева. <…>

# Ш. Массон
# Секретные записки о России времени царствования Екатерины II и Павла I [10]

Среди новых офицеров ни один не сделал такой быстрой карьеры, как Аракчеев.

Семь лет тому назад[11] великий князь[12], желая иметь артиллерийскую батарею в Павловском, попросил генерала Мелиссино[13] указать ему офицера, который мог бы ее сформировать. Этим офицером стал воспитанник кадетского корпуса Аракчеев, который зарекомендовал себя успехами, а главное — усердием и ревнивой страстью к мелочам дисциплины. Несмотря на свою неутомимость, строгость и пунктуальность в службе, потребовалось некоторое время, чтобы он был замечен Павлом. Множество прекрасных фейерверков, которые он устраивал с помощью своего бывшего учителя для праздников в Павловском, в особенности же снедавшая его страсть к учениям, которая заставляла его день и ночь издеваться над солдатами, снискали ему наконец расположение великого князя. По восшествии на престол Павла Аракчеев был произведен в генерал-майоры гвардии и назначен петербургским комендантом. Он получил орден св. Анны и несколько тысяч крестьян и сделался правой рукой Императора. Аракчеев, вместе с которым майор М… [14] служил в кадетском корпусе, завоевал как унтер-офицер истинное уважение своими способностями, знаниями и усердием, которые он тогда проявлял, но уже в то время он отличался возмутительной грубостью по отношению к кадетам. Ни один лирический поэт не был столь бесконечно подвластен Аполлону, как был одержим демоном Марса этот человек. Его ярость и палочные удары, даже в присутствии Павла, стоили жизни многим несчастным солдатам[15]. Этот палач вернул в русскую армию такое варварство, о котором здесь уже забыли: он оскорбляет и бьет офицеров во время учения. Однако, чтобы показаться благодарным, он, будучи в случае, составил протекцию своему бывшему учителю, генералу Мелиссино, с которым был ранее в ссоре. Недавно он впал в немилость, затем возвратился ко двору и возведен в баронское достоинство; он шел на смотру во главе войск, отправлявшихся в Германию. <…>

Я рассказал молодым графам Салтыковым[16] о положении дел и спросил у них, что следует делать, чтобы выручить моего

брата[17] из рук инквизиции. Вследствие этого я поспешил отправиться к Аракчееву, генерал-адъютанту Императора, внезапно сделавшемуся его любимцем. Он был моим старинным приятелем по кадетскому корпусу и учителем молодых графов, служил под началом моего брата и сохранил к нему уважение. <…> Он всегда выказывал мне свое дружеское расположение, знаки внимания с моей стороны также были ему приятны. Я рекомендовал Аракчеева министру[18] в качестве учителя фортификации для его сыновей, что и явилось причиной его стремительного возвышения.

Я поехал к нему и застал его еще бодрствующим; он был окружен офицерами всех родов войск, которые сопровождали его из царских покоев после отхода государя ко сну. Он провел меня к себе в кабинет, но, как я его ни просил, не согласился замолвить слово в защиту моего брата. Он повторял, что, решив однажды не вмешиваться ни в какие дела, кроме непосредственных его обязанностей по военной службе, он не может входить ни во что, связанное с двором и политикой. Затем, сказав, что он устал и его клонит ко сну, он пожелал мне доброй ночи и удалился в спальню. На обратном пути я размышлял о дружбе и о внезапной перемене в человеке, который еще три дня назад стал бы уверять меня в своей привязанности <…>

# Ф. П. Лубяновский
# Воспоминания [19]

Разводы и ученья, полковые и баталионные, в Вильне и Гродне шли препорядочно и с похвалою[20]. Не так, по всем вероятностям, было бы в Ковне, если бы там шеф полка, Таврического гренадерского, что был кн. Потемкина, полуслепой и ветхий Якоби[21] совсем не оглох. Пришел он с полком в Литовскую инспекцию в отсутствие князя Н.В. [Репнина][22] из Литвы, был под судом и под спудом в продолжение не одной земской давности; нечаянно назначен шефом полка и произведен в генералы от инфантерии. Взглянув на роту, приготовленную к разводу, и с первого шага увидев, что там все еще было по-старому, Император обратился к шефу не без гневного слова. Тот со слезами благодарил за всемилостивейший отзыв о полку и о нем. Подоспел князь с докладом, что старик, совсем оглохши, плохо и видел. Тут же велено генерал-адъютанту отдать в приказе об увольнении Якоби от службы по прошению за старостью с мундиром и полным пенсионом. Смотря на роту, Его Величество изволил сказать: «Львы, а не люди, да неуч»; и тут же приказал барону А. А. Аракчееву остаться в Ковне, выучить полк. Адъютанта его не было с ним; оставлен я при нем.

Шесть недель находился я при Алексее Андреевиче, и два раза в день, с ранней зари и после обеда, подготовляли полк на смотр ему и на ученье. Он был тогда в полном разгаре ратного рвения; к тому же доверие, по которому он, в неожиданном отделении (Государь возвратился в столицу через Ригу) остался на берегу Немана, не совсем, казалось мне, было ему по сердцу. От всего этого, чего я тут не видел, чего не слышал! Сам же до сей поры не понимаю, как тогда все сходило с рук мне. Не только нынче, но и тогда не было во мне малейшей тени сомнения в том, чтобы самый младший из офицеров не знал во сто раз лучше меня хитросплетений воинского строя. При всем том не постигаю, откуда бралась тогда во мне такая находчивость, что ни ротные, ни баталионные начальники, ни сам полковой командир, старый служака Булгаков, не замечали темного невежества в животрепещущей моей скороговорке и по какому-то затмению себя же называли непонятливыми. Сам Алексей Андреевич, при прощанье с полком, благодаря всех их за усердие, благодарил и меня за содействие ему в успешном исполнении возложенного на него поручения; то же писал и фельдмаршалу, похваляя способность мою к военному делу. Читая это письмо, князь,

посмотрев на меня с ног до головы, молвил: «Таковский!»

Сколько строг и грозен был Алексей Андреевич перед полком, столько же дома был приветлив и ласков. Походное хозяйство, по лучшему моему в этой части разумению, тотчас образовалось. Поручено мне пригласить офицеров однажды навсегда на чай к Алексею Андреевичу после вечернего ученья. Собиралось каждый день человек 10–15. После обычных вопросов, откуда кто, давно ли в службе, был ли в походах, генерал благосклонно и вразумительно изъяснял равнение строя, плутонги, эшелоны, пуан-де-вю, пуан-д'аппюи и прочие мистерии воинского устава[23]; дозволял, даже и не без удовольствия, вопросы себе, отвечал терпеливо и с знанием дела; сам вопросами удостоверялся, хорошо ли понято, о чем вчера говорено.

Два раза в неделю Алексей Андреевич отправлял длинные письма к Государю Наследнику Цесаревичу[24], а мне поручал списывать их от слова до слова для архива его. Каждое письмо начиналось, каждое же оканчивалось, хотя не всегда в одних и тех же выражениях, излиянием из глубины сердца одной и той же приверженности душевной, живейшей, вечно непоколебимой; а между началом и заключением каждое письмо наполнялось пространным описанием, с первого шага — неведения во всех строевых эволюциях, потом — надежды к исправлению при неусыпном труде и точном исполнении монаршей воли, наконец — вожделенных успехов и усовершения.

Кратковременная бытность моя под начальством графа Алексея Андреевича не осталась без возмездия: при всякой встрече он узнавал меня; иногда жал мне и руку, а когда я приходил к нему с бумагами по разным комитетам, то никогда не заставлял дожидаться, что в ту пору имело свою приятность. Рано еще теперь, да и не мне, судить о графе А. А. Аракчееве; не в суд же и не в осуждение будь сказано, что в положении, в которое судьба завела его, он едва ли и мог не почитать себя государственным человеком, и мнился потому службу приносити России <…>

# Н. О. Котлубицкий [25]
# Рассказы генерала Кутлубицкого о временах императора Павла Петровича

## *V*

Покровительством Кутайсова[26] Аракчееву назначен был особенный доклад Государю, раз в неделю, в четверг, по делам Артиллерийского департамента, чего никогда не бывало и не нужно было, потому что Артиллерийский департамент составлял часть ведомства Военной коллегии. Это сделано было единственно для Аракчеева, чтобы доставить ему случай чаще быть в сношении с Государем; но это продолжалось недолго: Аракчеев имел только всего два доклада. Вот как это случилось: Государь тогда жил в Гатчине и после первого доклада Аракчеева рассердился на Кутайсова, прогнал его, не велел ему показываться на глаза; и перед его квартирой постоянно стояла кибитка, запряженная почтовыми лошадьми, которые переменялись каждые два часа, как бы в ожидании: куда везти любимца. Приехавши со вторым докладом, Аракчеев не нашел нужным посетить находящегося в немилости. Между тем в Петербурге жила жена Кутайсова[27] и не знала о происшествии с ее мужем: ей никто об этом не говорил, чтобы напрасно ее не тревожить — так как это случалось с приближенными Императора нередко и продолжалось недолго. К графине Кутайсовой в это время родственники прислали из деревни какого-то близкого им сироту-мальчика, прося определить его в кадетский корпус. Так как Аракчеев был в то время начальником военно-учебных заведений[28], то она послала этого мальчика к нему с адъютантом своего мужа, прося приказать определить его. Аракчеев накануне возвратился из Гатчины, и когда, войдя в приемную, увидел адъютанта с мальчиком и узнал от него, в чем дело, то сказал при находящихся тогда в приемной: «Мне все попрекают Кутайсовым, а я от него и выеденного яйца не видел; скажите графине, что я не могу его определить в корпус» <…>

Неожиданно Николай Осипович [Кутлубицкий] был потребован в Гатчину. «Правда ли, — спросил у него Государь, — что Аракчеев у себя в Грузине выстроил дом[29] артиллерийскими солдатами? Ведь ты у него бывал там?» Николай Осипович

хорошо знал, что это правда, и действительно бывал у него в Грузине, но отвечал: «Я был у Аракчеева не в Грузине, а в другой отчине и не думаю, чтобы это была правда, потому что у Аракчеева не две головы и ему известна вся ответственность за подобного рода поступки» <…>

У Николая Осиповича был верный кучер-татарин, на которого можно было совершенно положиться. А так как по прежней адъютантской привычке он имел всегда у себя карандаш и клочок бумаги, то он поспешил написать на ней несколько слов, предупреждая Аракчеева, чтобы тот принял свои меры (потому что, вероятно, тотчас же будет послан в Грузине флигель-адъютант для расследования этого дела), и, отдавая записку в руки кучеру, сказал: «По приезде в Петербург отнеси и отдай эту записку в руки самому графу Аракчееву и, когда он прочтет, попроси его при тебе же сжечь».

Когда Николай Осипович приехал в Петербург, явился туда флигель-адъютант Балабин[30], говоря, что при отправлении его для произведения следствия в Грузине ему приказано было увидеться с ним и расспросить о дороге. Из Петербурга в Грузино прямой проселочной дорогой было верст 75, а почтовой на Новгород верст 200. Николай Осипович советовал ему выбрать последнюю <…>

Между тем, когда кучер Кутлубицкого явился к Аракчееву и отдал ему в кабинете, глаз на глаз, отправленную чрез него записку, Аракчеев прочел ее, и слезы показались у него на глазах; и когда кучер повторил просьбу Николая Осиповича, чтобы он эту записку при нем сжег, Аракчеев отвечал: «Скажи своему генералу, что я не сожгу ее, а при тебе съем», — и тотчас же это исполнил.

Немедленно послан был Аракчеевым адъютант прямым путем в Грузино и с помощию местного исправника успел устроить там дело так, что, несмотря на то что <…> дом строили артиллерийские солдаты, по приезде флигель-адъютанта оказалось, что дом построен был наемными людьми под распоряжением отставного унтер-офицера. <…>

Впоследствии, в царствование императора Александра Павловича, когда граф Аракчеев, будучи на верху своего могущества, жил в Грузине, Николай Осипович, бывший давно в отставке, проезжая вблизи <…> на перекладной, смело подъехал к тому подъезду, к которому, кроме Государя, никто не смел подъезжать, и, несмотря на удивление пораженных такою смелостью адъютантов и свиты Аракчеева, был принят им чрезвычайно любезно как прежний сослуживец. Аракчеев все время разговаривал с ним и упросил его остаться отобедать <…>

# П.П. фон Гёце[31]
# Князь А. Н. Голицын и его время

Граф Алексей Андреевич Аракчеев (р. 1769), единственный из временщиков царствования Александра пользовавшийся постоянным его благорасположением и неограниченною доверенностью, был человек самый заурядный. Основою его характера была неумолимая, часто доходившая до жестокости строгость. По свидетельству графа Толя (в его записках, которые издал Бернгарди[32]), Аракчеев, будучи молодым офицером, уже вырывал у солдат усы за какую-нибудь ошибку в полковом ученье[33]. Он презирал людей вообще, чиновников в особенности, и придавал цену только соблюдению внешности и предписаний. Унизить кого-либо, наделать кому-либо неприятностей было для него наслаждением. Но если кто из подчиненных показывал, что его не боится, того он оставлял в покое. Аракчеев не мог внушать к себе приязни. Старый генерал Бухмейер[34] считался якобы другом его молодости, но и тому жестоко доставалось от него в случае неисправности.

Французский язык знал он очень плохо, зато любил похвастать знанием немецкого языка. Выписал он к себе в военные поселения молодого врача из Германии, и когда тот ему представлялся, он спросил его: «Sund Sie junger Mann?» («Молодой ли вы человек?») Это он хотел узнать, женат ли врач или нет.

Во внешнем виде Аракчеева не было ничего внушительного. Он глядел пожилым гарнизонным офицером; но его появление наводило страх и ужас. Александр считал, что без его помощи ему не усмотреть за тем, что делается в государстве, и непреклонная строгость Аракчеева служила Государю ручательством в уничтожении всякого мятежного зуда.

Аракчеев жил на Литейной, на углу Кирочной[35], насупротив нынешнего Главного Казначейства, в принадлежавшем артиллерийскому ведомству деревянном доме, в зале которого были зеркальные стекла. У подъезда появлялись иногда царские сани, и довольно часто являлись туда высокие сановники на поклон к всесильному временщику. Прохожие, зная, кто тут обитает, пробирались мимо него тихонько, а иные и не без страха.

При Павле Аракчеев был уже бароном, потом графом, имел Александровскую звезду и получил в подарок Грузине, бывшее некогда поместье князя Меншикова[36], в 2000 душ мужского пола

(женский пол при крепостном праве не считался). Крестьян этих считал он своим рабочим скотом, угнетал их барщиною и поборами. Личная прислуга получала пощечины и палочные удары даже без вины, а просто когда он был не в духе[37]. В так называемом арсенале стояли всегда бочки с соленою водою, в которой мочились розги и палки для наказания за малейшую оплошность. Если кто провинялся в третий раз, того наказывали в барском кабинете, стены которого дрожали от стука ударов и оглашались криками наказуемых. За особенное упущение отсылал он виновных в казарму, где должность палача исполняли самые коренастые из солдат, а когда наказанные возвращались домой, то Аракчеев осматривал окровавленные их спины.

Хотя Павел указывал своему наследнику на Аракчеева как на особенно надежного слугу, однако при нем он два раза подвергся опале и был увольняем от службы. Первая опала продолжалась всего несколько недель и состоялась по прихоти Государя, вторая вызвана самим Аракчеевым.

В артиллерийском арсенале сберегалась, в числе всякого старья, повозка, в которую ставились знамена и которая за ветхостью больше не употреблялась. Кто-то из солдат тайком от часовых пролез за решетку, ободрал с повозки бархат, золотые кисти и позументы и был таков. Тогда о самом незначительном проступке надо было докладывать Государю, что и следовало сделать Аракчееву как инспектору артиллерии. Начальник отвечал за проступки своих подчиненных, а начальником того батальона, из которого были ротозеи-часовые, служил тогда родной брат Аракчеева[38]. Чтобы не подвергать его взысканию, Аракчеев доложил, что часовые были взяты из полка, которым командовал генерал Вильде[39]. Сей последний, немедленно дневным приказом уволенный от службы, обратился к графу Кутайсову, прося его доложить Государю, как несправедливо с ним поступлено.

Кутайсов, некогда пленный турчонок, камердинер и брадобрей Императора Павла, до того ему полюбился, что в короткое время получил графское достоинство и стал влиятельным лицом при дворе; но, будучи вельможею, он продолжал брить Государя, который однажды выразился: «В России нет вельмож, кроме тех, с кем я разговариваю и покуда я с ними разговариваю». Впрочем, все, близко находившиеся к Павлу, утверждают, что вопреки своему странному нраву, в домашнем быту, в обращении с людьми он всегда был человеком вежливым; но относительно Кутайсова он не забывал, что этот новый граф был прежде камер-лакеем, и когда случалось ему этого лукавого и хитрого человека уличить во лжи, то он изволил

всемилостивейше колотить его из собственных рук палкою, как некогда Петр Великий Меншикова. Кутайсов, поссорившись недавно с Аракчеевым, рад был случаю ему повредить и потому исполнил желание генерала Вильде. В тот же вечер на балу в Гатчине Государь увидел Аракчеева и приказал флигель-адъютанту немедленно выпроводить его из дворца, а на следующий день, 1 октября 1799 года, высочайшим дневным приказом Аракчеев уволен от службы за фальшивый рапорт Его Императорскому Величеству. Он более не видал Павла. Собравшиеся к дневному вахтпараду офицеры поздравляли друг друга с удалением ненавистного Аракчеева. К ним подошел наследник[40] и спросил генерала Тучкова[41], слышал ли он, что Аракчеев уволен, и кто на его место. Тучков назвал генерала Амбразанцова[42]. «Каков он?» — спросил великий князь. Тучков отвечал, что Амбразанцов пожилой человек, вероятно, мало смыслит во фронтовой службе, но нрава честного. Наследник заметил, что назначения делаются большею частью наудачу, и прибавил: «Слава Богу, что на этот раз выбор пал не на такого мерзавца, как Аракчеев»[43].

После того понятно, что Александр, вступив на престол и возвратив на службу всех уволенных отцом его, не вызвал Аракчеева. Не раньше 1803 года вспомнил он, что некогда говорил ему Павел про Аракчеева. 14 мая Аракчеев принят вновь на службу и в прежнюю должность. Однако же прошло еще несколько лет, прежде чем Аракчеев появился на виду, и никто не мог тогда предвидеть, какое исключительное положение займет он в царствование Александра.

В противоположность известным по истории любимцам счастия, которые с ненасытностью пользовались милостями своих государей, Аракчеев не старался о своем внешнем возвышении, не накоплял богатства и постоянно отклонял царскую щедроту. В 1807 году он отказался от Владимирского ордена 1-го класса, в 1808 году от ордена Андреевского и взял себе на память только рескрипт, орденские же знаки возвратил, отозвавшись, что не почитает себя достойным носить украшение, какое присвоено его Государю. В то время жива была еще старуха-мать его[44]. Чтобы почтить заслуги сына, управлявшего тогда Военным министерством, хотели назначить ее статс-дамою[45]. Аракчеев отклонил и эту милость. «Итак, ты не желаешь ничего принять от меня?» — с упреком сказал ему Государь. Аракчеев заявил на это, что мать его постоянно живет в деревне, не знает придворного быта и будет только посмешищем для дворцового женского общества. Александр пожаловал ему свой портрет для ношения на груди[46]; он отослал в Кабинет драгоценные бриллианты,

которыми осыпан был портрет, и носил его в простой золотой оправе. В 1813 году он отказался от звания фельдмаршала[47]. Правда, он никогда не командовал лично и армейским корпусом в военное время, но самые озлобленные его противники отдают справедливость его заслугам по артиллерийской части и сознаются, что благодаря ему русская артиллерия доведена была до высокой степени совершенства.

Особенно ненавидели его за военные поселения. Говорят, что первая мысль о них принадлежала самому Александру и что Аракчеев сначала даже не соглашался приводить ее в исполнение. Но при устройстве поселений и в управлении ими он действовал с беспощадною жестокостью. По его понятию, крестьянин должен был считать себя счастливым, меняя свою избу на новый дом. Но в этом наскоро построенном холодном доме нельзя было согреться и высушить перемокшую в поле от дождя и тумана одежду. Доселе и крепостной крестьянин, отбыв барщину, был хозяином у себя в избе и в своей семье. Крестьянину же поселенцу педантически указан весь распорядок дня, и за всякое уклонение от этого порядка его жестоко наказывали. Бабу штрафовали за неподтертое пятно в избе или за несметенную пыль, за сбежавшую курицу, за то, что горшок поставлен не на предписанном месте. Неудивительно, что крестьянин-поселенец чувствовал себя злосчастнее каторжника, который, по крайней мере, в тюрьме своей мог двигаться как хотел. Заведены были таблицы бракоспособных девок и вдов, которых венчали по определению начальства, нисколько не справляясь о взаимной склонности брачующихся.

Аракчеев постоянно доносил Государю об успехах и процветании военных поселений. Однако, например, в отчетах за 1821 год значится в поселениях 69 случаев внезапной смерти и 12 самоубийств. По деревням выли, как скоро приходила весть, что их отдадут под военное поселение, и когда Государю в его путешествиях по России случалось проезжать по таким деревням, его вместо обыкновенных радостных криков встречали молчанием. Государь не мог не знать, что, вопреки докладам Аракчеева, мужики волновались и приходилось их обуздывать. Явное возмущение произошло, когда заводились поселения в казацких селах близ Чугуева[48]. Туда двинули значительное число войска. Аракчеев доложил Государю, что бунтующие вообразили, будто обращают их в военных поселян по требованию его, Аракчеева, и потому грозились убить его. Поэтому он не ездил в Чугуев, а оставался в Харькове, а когда бунт был подавлен, нарядил военный суд, которым приговорено к смерти 275 человек. Казнь заменена прогоном сквозь строй в 12 тысяч

ударов.

Сам Аракчеев мог обольщаться мнимыми успехами своей деятельности по этой части, и тут дивиться нечему, потому что никто не осмеливался говорить ему о военных поселениях иначе как с величайшею похвалою. Сперанский, некогда его совместник в милости царской, благодаря ему возвращенный из незаслуженной ссылки[49] и обязанный ему за то благодарностью, объезжал в 1822 году военные поселения. Суть дела не могла от него укрыться, и в дневнике своем он записал слова: «Fumus ex fulgore»[50]; Аракчееву же твердил он иное, и позднее даже напечатал (но не пустил в свет) книжку о военных поселениях[51]. Житейская мудрость превозмогла в нем над любовью к правде, ибо противоречить Аракчееву значило погубить себя в мнении Государя. Даже Кочубей, гордый Кочубей[52], в одном дошедшем до нас письме к временщику воскурял фимиам устройству и управлению поселений[53]. Прошло немного лет, и Аракчеев был еще жив, когда произошли старорусские кровавые ужасы[54].

Впрочем, Аракчеев не чужд бывал государственных соображений. Он умел довольно удачно отыскивать и употреблять нужных для дела людей. Надо также отдать ему справедливость в том, что он не делал столько зла, сколько мог, и, конечно, зная, как ненавидят его те самые люди, которые пред ним преклонялись, он не пользовался своею силою, чтобы раздавить их. А ведь у него были бланкеты[55] с царскою подписью, и ему ничего не стоило отправить в ссылку неугодного человека. При суровости нрава ему, однако, знакомо было чувство благодарности. Люди, принимавшие его дружески в то время, когда он был незначащим офицером, пользовались и позднее его расположением и покровительством. Память Павла была для него священна, и он обожал Александра, который неизменно к нему благоволил, несмотря даже на то, что прекрасная Марья Антоновна Нарышкина[56] иной раз не скрывала своего отвращения к этому его любимцу.

Не зная благороднейших человеческих ощущений, не нуждаясь в любви, дружбе, общении с людьми и развлечении, Аракчеев с железною настойчивостью занимался делами, которые поручал ему его повелитель. Им обладала одна только мысль: как бы сохранить за собою исключительную милость его. Совместников он не терпел и сумел отстранить двух людей, пользовавшихся значительным влиянием на Александра: начальника Главного штаба князя П. М. Волконского[57] и министра финансов графа Гурьева[58]. Их места заняли Дибич[59] и Канкрин[60]. Что он помог возвыситься этим людям, надо причислить к его государственным заслугам. Совместником в

царской милости оставался для него только князь А. Н. Голицын[61]. К его устранению Аракчеев воспользовался негодованием той части духовенства, которая желала, чтобы Министерство духовных дел было упразднено, находя, что лицо, управлявшее этим министерством, то же для Св. Синода, что министр юстиции для Сената. Не надо, впрочем, думать, чтобы Аракчеев сочувствовал монашескому изуверству. Оно ему было нужно только как орудие.

Незлобивый князь Голицын и не подозревал, какие облака сгущались над головою его. Именно тогда передавал он Тургеневу[62] и мне, в день нашего доклада, что он вел с Аракчеевым долгую беседу и что Аракчеев сообщил ему забавный анекдот о государственном канцлере графе Румянцеве[63]. Этот человек, как известно, отменно богатый, тратил большие деньги для целей ученых, но, хотя не имел прямых наследников, отличался иногда необыкновенною мелочною скупостью. Один офицер мелкого чина, израненный на войне и получавший ничтожную для него и для его семейства пенсию из инвалидного комитета, обратился к нему с просьбою о пособии. Эту просьбу граф Румянцев переслал при письме своем к Аракчееву, который, рассказывая о том князю Голицыну, выражал удивление, как граф Румянцев не усмотрел из самой просьбы офицера, что от казны ему дается все, что следует, и что офицер обращается к его благотворительности, а он, Аракчеев, тут ни при чем. Князь Голицын сказал на это, что если бы граф Румянцев обратился к нему с такою бумагою, он отвечал бы просто уведомлением, что, по его мнению, следует послать инвалиду столько-то денег <…>.

# А. И. Михайловский-Данилевский
# Из воспоминаний [64]

Без блистательных подвигов, без особенных дарований от природы, не учившийся ничему, кроме русского языка и математики, даже без тех наружных приятностей, которые иногда невольно привлекают к человеку, граф Аракчеев умел, однако же, один из пятидесяти миллионов подданных приобрести неограниченное доверие такого Государя, который имел ум образованнейший, обращение очаровательное и которого свойства состояли преимущественно в скрытности и проницательности.

Аракчеев был ненавидим за свои бесчеловечные поступки с солдатами и за дерзкое поведение с офицерами. Жестокость его с нижними чинами простиралась до того, что он однажды схватил гренадера за усы и оторвал оные вместе с мясом. При смотре Екатеринославского гренадерского полка, который он был послан инспектировать, он назвал при всех знамена сего полка, столько прославившегося своею храбростию, екатерининскими юбками. Можно вообразить, с каким негодованием должны были слушать офицеры века Екатерины слова сии, произнесенные человеком, не бывавшим никогда на войне.

Удалясь в Грузино, он соорудил там великолепный дом, насадил прелестный сад и так обстроил крестьян, что село сие по красоте своей, а особенно по существующему в оном необыкновенному порядку почитается в России образцовым. Оно было столь многими описано, что я об нем более не распространюсь.

Александр употребил на службу любимца родителя своего и поручил ему артиллерию, которую он совершенно преобразовал и сделал ее первою в Европе, чем навсегда приобрел себе признательность России. После Тильзитского мира[65] его назначили военным министром, на сем поприще он оказал необыкновенную и непомерную строгость, сделавшую его ужасом армии. Он ввел в разных частях управления, особенно в комиссариатском и провиантском департаментах, где искони были вековые злоупотребления, порядок и устройство, до того в оных неизвестные и которые поныне в оных существуют. При учреждении Государственного совета он поступил в председатели военного департамента оного, но так как по сему званию почти не было никаких занятий, то Государь, который со времени его министерства возымел к нему беспредельное доверие, поручал

ему разного рода дела. Во время Отечественной войны и заграничных походов он был неразлучен с Его Величеством, хотя в сражениях он находился всегда вне пушечных выстрелов, невзирая на носимый им военный мундир[66]. По возвращении армии из-за границы ему поручили трудный подвиг образовать военные поселения, которые он устроил превосходно, хотя, по обыкновению своему, поступая с неумолимою строгостию, он навлекал на себя упреки и нередко проклятия поселян, которых надлежало обращать в военные.

Граф Аракчеев отличался от всех тех, которые были при дворе, своею молчаливостью и уединенным образом жизни. Он вставал в четыре часа утра и, употребивши несколько времени на устройство домашнего своего хозяйства, в котором у него был примерный порядок, и на чтение периодических сочинений, он принимался за дела государственные в шесть часов, когда все еще в Петербурге покоилось во сне. Он обедал в два часа один или с доктором своим и редко с каким-нибудь старинным знакомым; званых же обедов у него почти никогда не бывало, стол его составляли три умеренные блюда. Потом он опять садился за работу, а иногда по вечерам играл в бостон по десяти копеек с некоторыми приятелями своей молодости, из круга коих он никогда не выходил. В девять часов уже бывал в постели, и сему образу жизни он ни под каким предлогом не изменял; в театре, на балах и в обществах его никто не видал.

Трудолюбие его было беспримерное, он не знал усталости, и, отказавшись от удовольствий света и его рассеянностей, он исключительно жил для службы, чего и от подчиненных своих требовал, Впрочем, он не во всех поступках своих был стойким; он имел у себя любовниц, из коих известнее прочих была Пукалова[67], поведением своим и корыстолюбием напоминавшая распутную Дюбарри[68] и женщин, подобных тем, каких представляет правление развратного Людовика XV. Отличительная черта в характере Аракчеева состояла в железной воле; он не знал никаких препон своему упрямству, не взирал ни на какие светские приличия, и все должно было ему покоряться, хотя в делах он на себя не принимал ответственности, говоря часто, что он не что иное, как исполнитель Высочайших повелений. По сей причине он был совершенно недоступен; дом его в Петербурге уподоблялся крепости, куда имел вход только тот, кого он приглашал. Тысячи имели в нем нужду, ибо все дела государственные шли чрез его руки, и никто к нему не был допускаем, а ежели кому удавалось каким-нибудь случаем изложить ему свою нужду, то лаконический и обыкновенно дерзкий ответ бывал последствием долговременных усилий до

него дойти. Можно легко себе представить, что таковые поступки сделали его для всех ненавистным, и так как он от природы не получил возвышенных чувств и учением не был приготовлен к занятию того важного места, на которое судьба его возвела, то нет сомнения, что странное поведение его, приличное визирям Востока, внушено ему было презрением к человечеству, ибо все без изъятия перед ним изгибалось. Я его почти ежедневно несколько лет видал во дворце; при появлении его в так называемой секретарской комнате, где собирались адъютанты Государевы и докладчики, происходило вдруг такое молчание, как в церкви. Аракчеев становился в углу близ окна; всех взоры на него устремлялись, но весьма немногие удостоивались какого-нибудь приветствия с его стороны. На мрачном лице его редко, очень редко показывалась улыбка, и надобно было видеть тогда, с какою жадностью ее ловили. Он во дворце как бы выходил из обыкновенного круга подданных и имел какую-то особенную сферу. Те, которых он приглашал в Грузино, где он бывал отменно гостеприимен, почитались счастливцами, особенно Провидением покровительствуемыми; люди, облеченные в первые государственные звания, поспешали туда с радостию новобрачных, несмотря ни на лета свои, ни на время года. Вот пример его обращения с вельможами. Однажды приехал он к князю Алексею Борисовичу Куракину[69], который был некогда генерал-прокурором и, следовательно, управлял всею Россиею, и сказал, что он желает играть в бостон с князем Лопухиным, бывшим тогда председателем Совета. Немедленно за сим последним посылают гонца, и восьмидесятилетний князь Лопухин, получа сие приглашение, оставляет гостей, находившихся в его доме, скачет к князю Куракину и садится играть с графом Аракчеевым. Чрез час сей последний говорит, что ему время спать, и, отдавши карты своему доктору, с ним всегда неразлучному, сам уезжает[70].

Иные хвалили его бескорыстие, но оно, по моему мнению, не было в нем добродетелью, а просто благоразумием, ибо, не имевши никакого родового имения, он получил по службе более двух тысяч душ, жил в казенном доме и пользовался казенным экипажем не только в городе, но даже и для частых поездок своих в Грузино, следовательно, чего же ему было более желать. Говорили также, что он нечестолюбив, основываясь на том, что он был один в России, который не принимал знаков отличия, но в подобном отказе я, напротив того, видел признак честолюбия, что он презирал ордена в такое время, когда все военные были ими без меры украшены и что для сходства их с Чупятовым недоставало им только мароккских лент и звезд[71]. Государь

хотел пожаловать его при взятии Парижа в генерал-фельдмаршалы, но он решительно отказался от сего чина. Он также отправил обратно орден святого Андрея Первозванного, а оставил у себя только рескрипт на оный[72]. Уверяют, что сие им сделано было по той причине, что за Аустерлицкое сражение[73] ему хотелось получить Георгиевский крест[74], который тогда во множестве и без всякого разбора раздавали, но так как ему оного не было назначено, то он с тех пор обещался не принимать никаких знаков отличия, за исключением, однако же, портрета Государева. Сия самая высшая награда пожалована была в царствование Александра только воспитателю его князю Салтыкову, избавителю России князю Смоленскому[75] и графу Аракчееву, который и при сем случае оказал одну из странностей, нередко в его жизни встречающихся. Портрет сей прислан был ему, как и прочим, с бриллиантовыми украшениями, но он драгоценные камни возвратил назад, а оставил у себя только одно изображение монарха.

Впрочем, император давал ему такие награды, каковых ни один подданный не удостаивался получать. Старший полк пехоты, Ростовский, был назван по его имени[76], чему тогда не было примера; император в сад Грузина подарил чугунные ворота и туда же прислал яхту, совсем вооруженную и с великими издержками в Грузино перевезенную. Экипаж морской на сем судне содержим был на счет казны[77]. Знамена полка его имени поставлены были тоже в церковь Грузина, в которой граф Аракчеев воздвиг памятник императору Павлу с изваянием сего монарха, перед коим лежит распростертый воин, произносящий следующие слова: «Дух мой чист перед тобою и сердце право»[78]. У подножия монумента вырыта могила для графа Аракчеева[79]. Лестнее, чем все сии награды и подарки, была к нему беспредельная доверенность Александра, который его одного во все свое царствование в письмах своих называл «другом, верным своим другом». Однако же сей Государь, всеми обожаемый, не мог обратить к нему сердца подданных своих, которые исполнены были истинною ненавистью к сему временщику, хотя при могуществе его ему стоило бы так мало, чтобы заставить себя любить, между тем как крутым нравом своим и дерзостью своею он довел себя до того, что хотя на него и не смели роптать явно, но едва имя его произносилось в дружеской беседе, как оно было покрываемо поруганиями[80]. <…>

Через несколько дней после получения известия о кончине Государя общий голос всех тех, которых мне удавалось видеть, восстал против графа Аракчеева. Лишившись насильственною смертию за два месяца перед тем своей любовницы[81], он был

сим происшествием столько огорчен, что сказался больным и не занимался делами, но потом, по внезапно случившейся перемене обстоятельств, он объявил в приказе, отданном им 1 декабря, о своем выздоровлении[82]. Толпа, или, лучше сказать, сотни, тысячи разного рода гражданских чиновников, подобно саранче наводняющих Россию, которые до того его трепетали, и те даже вдруг против него восстали. Это я имел случай видеть в маленьком городе, где я тогда жил, и сие обстоятельство привело мне на память басню об умирающем льве[83], которого в изнеможении его лягнул копытом даже — осел <…>.

# Ф. Ф. Вигель [84]
# Записки

## *V*

Во время последней кампании против французов[85] Император собственными глазами убедился во многих беспорядках по военному управлению, кои, по мнению его, были причиною последних неудач нашего войска; одною артиллерией, доведенною до совершенства графом Аракчеевым, остался он доволен. Зная, сколь имя сего человека, дотоле одними только отдельными частями управлявшего, было уже ненавистно всем русским, но полагая, что известная его энергия одна лишь в состоянии будет восстановить дисциплину в войске и обуздать хищность комиссариатских и провиантских чиновников, он не поколебался назначить его военным министром. Состарившемуся Вязмитинову[86] было действительно не под силу занимать сию должность, когда армия умножилась сотнею тысяч воинов, когда он не пользовался никакою доверенностию <…>. Еще в ребячестве слышал я, как с омерзением и ужасом говорили о людоеде Аракчееве. С конца 1796 года по 1801-й был у нас свой терроризм, и Аракчеев почитался нашим русским Маратом[87]. В кроткое царствование Александра такие люди казались невозможны; этот умел сделаться необходим и всемогущ. Сначала был он употреблен им как исправительная мера для артиллерии, потом как наказание всей армии и под конец как мщение всему русскому народу. Давно уже вся Россия говорила о сем человеке, а я не сказал ни одного слова; но здесь только нашел я место вкратце, по-своему, начертать его жизнь и характер, впрочем, всем известные. Сын самого бедного дворянина Новгородской губернии, он в малолетстве отдан был в артиллерийский кадетский корпус. Одаренный умом и сильной над собою волею, он с ребячества умел укрощать порывы врожденной своей злости: не только покорялся всегда высшим над собою, но, кажется, любил их власть, видя в ней источник, из коего единственно мог он почерпать собственную. Не занимаясь изучением иностранных языков, пренебрегая историей, словесными науками, до того, что плохо выучился русской грамоте, чуждый совершенно чувству всего изящного, молодой кадет, любя только все расчетливое, положительное, прилепился к одним наукам математическим и в них усовершенствовался. Выпущенный в офицеры, он попал в

артиллерийскую роту, которая для потехи дана была наследнику престола и находилась при нем в Гатчине.

Лучшей школы раболепства и самовластия найти бы он не мог; он возмужал среди людей отверженных, презираемых, покорных, хотя завистливых и недовольных, среди этой малой гвардии, которая должна была впоследствии осрамить, измучить и унизить настоящую, старую гвардию. Чувствуя все превосходство свое перед другими гатчинцами, Аракчеев не хотел им быть подобен, даже и в изъявлениях холопской своей преданности.

Употребляя с пользою данную ему от природы суровость, он давал ей вид какой-то откровенности и казался бульдогом, который, не смея никогда ласкаться к господину, всегда готов напасть и загрызть тех, кои бы воспротивились его воле. Таким образом приобрел он особую доверенность Павла I. При вступлении его на престол был он подполковник, через два дня после того генерал-майор, в Аннинской ленте, и имел две тысячи душ. Не довольствуясь обогащением, быстрым возвышением его, новый император открывал широкое поле его известной деятельности, создав для него новую должность коменданта города Петербурга (не крепости) и в то же время назначив его генерал-квартирмейстером армии и начальником Преображенского полка. На просторе разъяренный бульдог, как бы сорвавшись с цепи, пустился рвать и терзать все ему подчиненное: офицеров убивал поносными, обидными для них словами, а с нижними чинами поступал совершенно по-собачьи: у одного гренадера укусил нос, у другого вырвал ус, а дворянчиков унтер-офицеров из своих рук бил палкою. Он был тогда еще весьма не стар, не совсем опытен и в пылу молодости спешил по-своему натешиться. Впоследствии выучился он кусать и иным образом. И такие деяния, об ужасе коих не смели ему доложить, почитались милостивцем его за ревностное исполнение обязанностей. Год спустя чрезмерное его усердие изумило самого царя, и в одну из добрых его минут, внимая общему воплю, решился он его отставить и сослать в пожалованную им деревню.

Не более года оставался он в ней. Она была в близости от Петербурга, и как Государю стоило, так сказать, протянуть к нему руку, то он и не утерпел, чтобы не призвать проученного им приверженца и не назначить инспектором всей артиллерии.

Мне неизвестна причина новой немилости к нему Царя; вероятно, наговоры и происки бесчисленных неприятелей; только вторично должен был он удалиться. Вызванный в последний раз, он въезжал в заставу столицы в ту самую минуту, когда прекращалась жизнь его благодетеля.

Сельское житье его было мучительно для несчастных его крестьян, между коими завел он дисциплину совершенно военную. Ни покоя, ни малейшей свободы, ни веселия, плясок и песен не знали жители села Грузино, некогда поместья князя Меншикова. Везде видны были там чистота, порядок и устройство, зато везде одни труды, молчание и трепет. И эта каторга должна была служить после того образцом изобретенных им военных поселений. Непонятно, как мог император Александр, который знал, что в царствование отца его Аракчееву поручено было тайно присматривать за его деяниями[88], как мог он вновь избрать его начальником всей артиллерии? Не служит ли это доказательством, что личностями[89] умел он иногда жертвовать пользе службы? Войдя раз в частые сношения с молодым Императором, он лучше, чем отца его, успел его обольстить своею грубою, мнимо откровенною покорностию; все убеждало Александра в его чистосердечии, самый девиз в гербе, при пожаловании ему Павлом графского достоинства им избранный, «Без лести предан». Он умел уверить Царя, что, кроме двух богов, одного на небе, другого на земле, он ничего в мире не знает и знать не хочет, им одним служит, им одним поклоняется.

В явном несогласии с общим мнением, во многом к нему несправедливым, Государь выбором графа Аракчеева в военные министры как будто хотел показать, что он сим мнением не дорожит и более щадить его не намерен.

Такой человек, как Аракчеев, безусловно[90] не мог принять министерство. Он потребовал устранения графа Ливена[91] от военных дел, уничтожения канцелярии военно-походной, причисления ее к его собственной канцелярии и распространения его власти до того, чтобы сами главнокомандующие армиями должны были принимать его приказания. Обстоятельства ему благоприятствовали; назло недовольным, Государь на все изъявил свое согласие <…>

Весьма важную ролю <…> играл в это время [после войны 1812 года] один частный человек, отставной статский советник Иван Антонович ***[92]. Он женился на побочной дочери какого-то богатого боярина, которому для нее был нужен чин, чтобы законным образом оставить ей свое наследство. [Пукалов] был слишком благоразумен, чтобы ревновать жену моложе его тридцатью годами. Он пользовался ее имением; она пользовалась совершенной свободой. Я знавал ее лично, эту всем известную Варвару Петровну, полненькую, кругленькую, беленькую бесстыдницу. Она была типом русских Лаис, русских Фрин[93]. Из славянских жен одни только польки умеют быть увлекательны, прелестны, даже довольно пристойны и благородны среди

студияний[94] своих; русские в этом искусстве все как будто не за свое дело берутся.

Аракчеев, сначала сопровождавший Государя, еще из Праги давно уже воротился. Он жил, казалось, совсем без дела и, по-видимому, ни во что не вмешивался. Но чрез происки свои интересованные в том лица дознались, что он ведет тайную частую переписку с Императором, и оттого оказывали ему всевозможное почтение. На досуге завел он любовные связи с [Пукаловой]. С грубостию его чувств утонченность ума не могла бы уловить его сердце; его расчетливости нравилась и самая дешевизна этой связи, ибо [Пукалова] из чести лишь одной[95] предалась ему. Зато от других, от искателей фортуны, принимала она подарки, выпрашивала, даже вытребовала их. Она стала показываться на всех балах и изумлять своею наглостию. Все высокомощные стали ухаживать за нею и за мужем ее. А сей нечестивец, сей плут всех уверил, что через жену делает из Аракчеева что хочет. У Салтыкова, Горчакова[96], Молчанова[97] почитался он домашним другом; да и многие другие в надежде на его подпору ни в чем ему отказывать не умели. Он прослыл источником всех благ и просящим, разумеется не даром, раздавал места. Между тем сам Аракчеев охотно принимал его, ласкал, все из него выведывал, все помечал и обо всем доносил. Любовь над сим твердым мужем не имела довольно силы, чтобы заставить его забыть свой долг <…>

Во время оно, когда посещал я дом госпожи Танеевой[98], видел я у нее все аракчеевское общество и раза два его самого. На балах, на вечеринках встречал я семейства Апрелевых[99], Дибичей[100], Клейнмихелей[101] и других и никак не мог предвидеть будущего их величия. Судьба Аракчеева сходствует с участию Наполеона, когда тот и другой гасли в заточении: люди, ими взысканные, ими созданные, удерживались, а некоторые и возрастали в могуществе. <…>

# В. А. Сухово-Кобылин. Граф Аракчеев по рассказам В. А. Сухово-Кобылина [102]

Граф Аракчеев оставил по себе ненавистную память, но, по свидетельству Сухово-Кобылина, потомство оказалось слишком строго в своем приговоре. «Неоспорно, — говорит он, — что Аракчеева было бы странно назвать человеком добрым; неоспорно и то, что он был неумолим к иным проступкам, как, например, ко взяточничеству или нерадению по службе. Тому, кто пробовал его обмануть (а обмануть его было трудно, почти невозможно), он никогда не прощал; мало того: он вечно преследовал виновного, но и оказывал снисхождение к ошибкам, в которых ему признавались откровенно, и был человеком безукоризненно справедливым; в бесполезной жестокости его никто не вправе упрекнуть. Правда и то, что он оказался беспощадным, когда производил следствие после убиения Настасьи; но мудрено судить человека, когда он находится в ненормальном состоянии. К этой женщине он был сильно привязан, и ее смерть взволновала все страсти его крутой природы».

В. А. Сухово-Кобылин был записан 19 лет в гвардейский артиллерийский баталион, в чине подпоручика, и пожелал в 1803 году поступить в полевую артиллерию, куда и был переведен штабс-капитаном и получил приказание ехать немедленно в Москву, чтоб поступить в 8-й артиллерийский полк, где назначен был командиром роты. Отец его[103], прощаясь с ним, приказал ему заехать в Грузине, чтоб представиться Аракчееву, инспектору артиллерии.

Тогда ему пришлось в первый раз видеть александровского любимца. Аракчеев был высок и худощав. Он остался верен павловским модам, носил камзол старого покроя, и волосы его были подобраны в небольшой пучок на затылке[104]. Холодный, проницательный его взгляд и строгое выражение лица не смягчались сардонической улыбкой, которая появлялась часто у него на губах. Он говорил медленно, немного в нос и казался постоянно озабочен.

23-летний В. А. Сухово-Кобылин испытал понятную робость в присутствии человека, о котором все привыкли думать с невольным чувством страха; но Аракчеев поразил его изысканной учтивостью и приветливостью, с которой встречал обыкновенно своих посетителей.

«Надеюсь, что вы здесь отдохнете, — сказал он, — взгляните на Грузино; не стесняйтесь ни в чем, требуйте все, что вам вздумается. Вас сейчас отведут в вашу комнату».

Сухово-Кобылин раскланялся, обрадованный, что беседа так скоро кончилась, и последовал за официантом, который провел его длинным рядом великолепных комнат, походящих на музей: тут были статуи, картины, разные изваяния, серебряные и золотые кубки и вазы, словом, все прихоти роскоши; но Бог знает, насколько удовлетворили бы они тонкому чутью художника.

Официант привел гостя в назначенную для него комнату и спросил, не будет ли каких приказаний и где угодно кушать, в общей зале или у себя. <…>

В эту минуту раздался в коридоре женский голос. «Кто это там?» — спросил Сухово-Кобылин. «Настасья Федоровна», — отвечал официант, предполагая совершенно основательно, что все знают, кто такое Настасья Федоровна.

Молодому человеку захотелось на нее взглянуть. Он быстро отворил дверь и встретился с ней лицом к лицу. Глаза ее горели как угли, но смуглые черты рано утратили свою красоту. На ней было шелковое платье и жемчужное ожерелье, чепец прикрывал ее черные с проседью волосы. <…>

Настасья жила в отдельном доме, и многие из посетителей Грузина вменяли себе долгом являться к ней с изъявлением почтения.

Рассказывали, что она мучила Аракчеева своей ревностью и что жутко приходилось от нее молодым ее прислужницам. Раз одна из них, припекая ей волосы, обожгла ее в висок. Настасья вырвала у нее из рук горячие щипцы и ухватила ими губу бедной девушки. Но эти подробности Сухово-Кобылин узнал не в Грузине. Там, как в заколдованном замке, все молчали о его сиятельстве и о Настасье Федоровне или произносили их имена не иначе как с благоговением. Не было никакой возможности узнать от приближенных хозяина дома или от бесчисленной его прислуги малейшую о нем подробность. Сухово-Кобылин был долго знаком с одним адъютантом графа Аракчеева и никогда не слыхал от него ни слова о знаменитом временщике, который требовал прежде всего от окружавших его лиц совершенного на его счет безмолвия.

Зато хозяин знал все, что относилось к людям, у него служившим, и даже к простым его знакомым. Грузине походило на дворец и принимало своих посетителей с царской роскошью и гостеприимством; но каждый из них должен был мириться с мыслью, что ловкие графские шпионы выведают о нем все возможное.

Аракчеев был деятельности неутомимой. Даже во время похода, лишь только армия занимала дневные квартиры, его канцелярию разбирали, и все садились немедленно за дело. От его зоркого глаза не ускользали самые мелочные подробности вверенного ему министерства. На лето он ездил для отдыха в Грузине и вряд ли в продолжение целого дня уделял на отдых более двух-трех часов. Он вставал очень рано и принимался за бумаги. Несколько чиновников, адъютантов и фельдъегерей являлось к нему ежедневно с рапортами из разных мест. Посетители не переводились в Грузине. Иные являлись для того, чтоб полюбоваться его великолепием, и могли тут оставаться сколько душе угодно; другие, знакомые с графом хоть настолько, чтоб иметь право обмениться с ним при встрече поклоном, выжидали назначенного часа, чтоб засвидетельствовать ему свое почтение и поблагодарить его при отъезде за гостеприимство. Те, наконец, которых он знал короче, собирались к нему в свободные его часы и обедали с ним по его приглашению. Вряд ли кто завидовал им. Несмотря на пышность Грузина и на полную свободу, предоставленную его посетителям, казалось, что в самом воздухе присутствует какой-то стеснительный элемент, и становилось особенно неловко при мысли о возможности встретиться с владельцем этого волшебного дворца. Ничто не нарушало заведенного раз навсегда машинного порядка. Часы обеда, чая и ужина были неизменны. На дороге и даже по деревенским богатым улицам аракчеевских сел крестьяне заметали следы, оставленные колесами каждого проезжего экипажа. Но посетители были вольны распоряжаться временем, как желали. Молодежь отправлялась кто на прогулку верхом, кто на охоту, кто на катанье по Волхову, где красовался богато убранный катер, присланный Аракчееву императором Александром. Иные гуляли в великолепных садах, осматривали красивые окрестности, богатство самого дома или собор[105], в котором грузинский владелец приготовил себе заранее могилу у подножия изображения первого своего царственного покровителя, императора Павла.

Современники Аракчеева рассказывали, что своему сближению с Павлом он был обязан следующему обстоятельству. Павел, быв еще наследником, обратился к одному из екатерининских фаворитов[106] с просьбой доставить ему несколько пушек в Гатчину. С этими пушками был прислан великому князю неизвестный артиллерийский офицер Алексей Аракчеев, который и полюбился будущему императору. Незадолго перед тем толковали в петербургском обществе о покушении в артиллерийском кадетском корпусе на жизнь преподавателя

математических наук Аракчеева. Избалованные нерадением своих наставников, не привыкшие к серьезным занятиям, кадеты ненавидели этого человека, который первый потребовал от них добросовестного труда и оказывался немилосердным к лени и праздности. Они решились избавиться от него во что бы то ни стало. Все средства казались им законными, и убийство их не пугало. Классная комната была наверху, и к ней вела довольно узкая лестница, которая примыкала к площадке, обнесенной решеткой. Ученики придумали бросить с высоты площадки тяжелый камень на голову Аракчеева в ту минуту, как неумолимый педагог встанет на лестницу. Настал роковой час. Собравшиеся в кучку заговорщики ожидали на неосвещенной площадке появления жертвы. Вот показался Аракчеев. Он перешел пять-шесть ступеней, и камень упал с громом на лестницу. Все было верно разочтено, но в ту минуту, как он отделялся от площадки, Аракчеев сделал шаг назад, чтоб поднять платок, который уронил, вынимая из кармана, и остался невредим.

Сухово-Кобылин, пробывши три дня в Грузине, пожелал перед отъездом проститься с графом, который принял его с своей обычной любезностью и прочел ему короткое наставление о его новых обязанностях. Молодой человек отвечал обещанием исполнять их добросовестно и сел в свою дорожную коляску, которая была вычищена и приведена в блестящее состояние, немало его удивившее; но ему объяснили, что грузинские слесаря и работники обязаны заботиться об экипажах приезжих.

Добравшись до Москвы, он принял команду над своей ротой и с этой минуты имел случай видеть иногда Аракчеева с его подчиненными и следить за возраставшим порядком, введенным им в русскую армию. <…>

При Аракчееве находился постоянно в услужении один из его крепостных, которого он звал, неизвестно почему, Синицей, и под другим именем никто его не знал[107]. Синица всегда стоял или сидел в дверях приемной и пользовался особенной доверенностью своего барина, который любил его и был очень снисходителен к его слабостям. Раз в Шклове, куда была созвана часть нашей армии, Синица обошел артиллеристов, праздравляя господ со своими собственными именинами и потчуя их кренделями и яблоками, за которые получал, разумеется, от кого пять, от кого десять рублей, и, забравши свои сокровища, напился мертвецки пьян. На другой день командиры явились к Аракчееву и увидали с удивлением вывешенный на двери лист бумаги, на котором было записано, сколько каждый из них дал накануне имениннику. Приняв рапорты, Аракчеев сказал им, смеясь: «Прошу вас,

господа, быть другой раз не так щедрыми к Синице. Ему было, разумеется, очень весело вчера; но мне-то пришлось уж очень жутко; хотел поручить ему дело, а он лыка не вяжет. Когда он отрезвился, я велел ему записать, много ли он получил от каждого из вас: мне захотелось знать, насколько я кому обязан удовольствием, которым мы оба наслаждались вчера». <…>

# И. П. Тарнава-Боричевский [108] Аракчеев и Шумский

В последние годы много было писано об Аракчееве и Шумском[109]. Писали люди, близко знавшие Аракчеева, но как будто недосказывали чего-то; однажды Настасья Федоровна Минкина названа даже Шумскою, как никогда не называлась, да и называться не могла, как увидим ниже. Неизвестно также, кто действительно был флигель-адъютант Шумский и по какой причине лишился этого почетного звания.

Я не знал лично ни Аракчеева, ни Шумского. Скажу об них то, что слышал от свидетелей самых достоверных. <…>

В 1839 году я поступил на службу к графу Клейнмихелю столоначальником в инспекторский департамент Военного министерства. Помощником моим оказался старичок Михаил Панфилович Ефимов, чином губернский секретарь. На вид ему было лет 70; но, по всем соображениям, столько быть не могло, иначе он родился бы около 1770 года и служил бы еще при Екатерине II, о чем он никогда не говорил; значит, его измяли и состарили не годы, а обстоятельства жизни. Ефимов едва ноги таскал, но приходил на службу ранее других; несмотря на старость, писал как чистописец; все дела своего стола, одного из труднейших, знал в совершенстве; по всем делам составлял бумаги вполне удовлетворительно.

Ознакомившись, я узнал следующее: Ефимов служил при лице Аракчеева в звании писаря, но, к несчастию его, был графским докладчиком. Прошу припомнить, что значил Аракчеев и что пред ним писарь. Несчастный писарь Ефимов, как докладчик, был при нем день и ночь, всегда на тычку, всегда в загоне, всегда в опасении розог, разжалованья, ссылки. В то же время молодой поручик Клейнмихель был адъютантом Аракчеева; страдал он в канцелярии вместе с Ефимовым и часто, заваленный письменною работою, которая всегда была на срок, засыпал там же. В таком случае Ефимов приносил ему свою подушку. Ниже увидим, что эти услуги были спасением Ефимова.

Однажды я спросил Ефимова: «Как это, Михаил Панфилович, вы, служа при лице Аракчеева, не были произведены в чин?»

— В чин? — ответил он. — При Аракчееве? Да об этом нельзя было и думать, нельзя было и во сне грезить. За десятилетнюю верную службу он разжаловал меня в солдаты без выслуги.

Когда именно случилось это, теперь не припомню; но дело было так: на Аракчеева, как говорится, нашел худой стих; долгое

время был не в духе; на докладчика Ефимова, как ближайшее лицо, изливалась вся желчь. Приведенный в отчаяние, не видя возможности выйти из беды (ибо куда можно было уйти от Аракчеева?), Ефимов, по натуре русского простолюдина, запил. Аракчеев разжаловал его в солдаты без выслуги и сослал в новгородские поселения. В подобных случаях предварительно давалось сто лозанов. Как ему жилось после того, сам он не говорил, а я совестился спросить; но, вероятно, он успокоился и обжился, потому что женился. Служил по писарской части где-то в 3-й гренадерской дивизии. Пока Аракчеев властвовал, никто не смел вступиться за несчастного Ефимова, даже и сам Клейнмихель, уже бывший начальником штаба военных поселений. После Клейнмихель распорядился произвести Ефимова в писаря. В польскую войну[110] он был в штабе 3-й гренадерской дивизии; получил крест Virtuti militari[111]; а после войны Клейнмихель не только произвел его за отличие в чин, но и взял в инспекторский департамент прямо помощником столоначальника, тогда как и коллежские асессоры служили чиновниками для усиления. Это значит, что Ефимов из писарского оклада —10 или 12 рублей в год, с прибавкою амуниции и пайка, — шагнул на оклад 1700 рублей. Дистанция огромного размера! По этому случаю пусть судят о Клейнмихеле — помнил ли он давние услуги. Если по тому, что я сказал о Ефимове, он может быть достоверным свидетелем об Аракчееве и Шумском, то нужно дать веру и тому, что он рассказывал мне об них. Вот сущность его рассказа.

Настасья Федоровна была жена грузинского крестьянина, кучера[112]. Когда Аракчеев возвысил ее до своей интимности, то мужа она трактовала свысока: за каждую вину, за каждую выпивку водила на конюшню и приказывала при себе сечь.

Желая привязать Аракчеева к себе неразрывными узами, старалась забеременеть, но все усилия были напрасны. Тогда она ударилась в другую хитрость: узнав, что беременна крестьянка или солдатка — теперь не помню — по фамилии Лукьянова, Настасья, уже всесильная барыня в Грузине, приказала Лукьяновой, как только родится дитя, окрестить и принести к себе; а сама стала носить подушку, увеличивая ее по времени. Аракчеев был очень рад в ожидании потомства. Лукьянова родила мальчика; окрестили его именем Михаила. Вслед за тем Настасья разрешилась от мнимой беременности сыном, а в кормилицы взята Лукьянова.

У Аракчеева все делалось по рапортам и предписаниям. Поэтому сам же Ефимов по приказанию Настасьи Федоровны написал рапорт куда следовало от имени Лукьянова, что

«новорожденный сын мой Михаил Лукьянов волею Божиею помре». Настасья Федоровна приказала протоиерею похоронить никогда не умиравшего младенца — и похоронили гробик пустой. А у Настасьи Федоровны явился сын, крещенный также именем Михаила, к полному удовольствию Аракчеева.

Очень странно, что простая баба успела обмануть такого человека, как Аракчеев; но так было: когда Бог захочет наказать, то отнимет разум.

Мишенька рос как все дети-баловни. Настасья Федоровна с ним соединяла всю свою судьбу, или, иначе, привязанность Аракчеева.

Все это обходилось домашним образом, пока не потребовалось Мишеньку вывести в люди, как хотелось Аракчееву. Первое дело: нужно сделать его пажом и камер-пажом. Для этого надобно быть дворянином. Вот тут точка препинания; однако нашли средство. Литва и Польша известны дворянами, которых отцы никогда дворянами не были, сами они ничего не заслужили, а большею частию и вовсе не служили. Для получения дворянства без заслуг были два пути. 1) Король имел право в промежуток сеймов жаловать несколько человек дворянством по своему усмотрению. Они назывались kieszonkowa szlachta — карманные дворяне. Но короля в Польше уже давно не существовало[113]. 2) В Литве была фабрикация фальшивых дворянских бумаг. В Минской губернии в г. Слуцке адвокат Талишевский за 40 или 50 рублей давал документы на дворянство, какие угодно. Он весьма хорошо знал подписи и печати польских королей и пользовался своим искусством для составления документов, какие были нужны; потом носил те документы в сапоге, пока пожелтеют, для вида древности, и тогда уже пускал их в обращение. Граф Ржевуский в романе «Listopad»[114] рассказывает, каким образом в Литве расплодились графы, которых там никогда не существовало, а были только князья из рода Гедимина[115] и шляхта, т. е. дворяне. В Литве было много цыган; над ними с незапамятных времен был общий начальник, который носил титул цыганского короля и жил в городе Мире[116] (теперь местечко). В цыганской администрации он подписывался: Kröl, т. е. король. После это звание и подпись запрещены. Последним цыганским королем был Ян Марцинкевич. Имя Яна носил действительный король польский, известный герой Ян Собеский[117]. Охотники до графского достоинства, чтобы иметь какой-нибудь документ, покупали патент на графство у Марцинкевича, который подмахивал: «Круль Ян».

В такую обетованную землю для получения не только дворянства, но и графства Аракчеев послал генерала Бухмейера

добыть дворянство для Мишеньки. Бухмейер привез бумаги дворянства Михаила Шумского[118].

Ефимов говорил, разумеется, со слов других, что это были бумаги, купленные у кого-то из Шумских на имя умершего родственника Михаила; но я думаю иначе: Бухмейер знал, куда ехал, и потом ему гораздо легче было купить какие угодно бумаги у Талишевского или подобного артиста. Купил — и концы в воду; а входить в сношение с действительными Шумскими, которые суть настоящие, богатые помещики в Минской губернии, не совсем ловко, да и нельзя избежать огласки больше или меньше, хоть бы в самом роде Шумских; притом еще нужно, чтобы был недавно умерший Михаил. А пускать из-под руки молву так, как передавал Ефимов, было гораздо выгоднее: у Мишеньки были настоящие дворянские бумаги, хоть и чужие, а не поддельные.

Так или иначе, но в Грузине явился польский дворянин Михаил Шумский. Затем сделать его пажом и произвесть в свое время в офицеры и даже пожаловать в флигель-адъютанты Аракчееву было нетрудно.

Шумский был человек счастливых дарований, но пьяница. Числился в артиллерии, но командовал ротою в Аракчеевском полку. Часто был в Петербурге и сопровождал Аракчеева в Грузино. В одной коляске обыкновенно ехал Аракчеев с Клейнмихелем, а в другой Шумский с Ефимовым. Последняя выезжала со двора несколькими минутами позже, для того чтобы Шумский успел захватить ящик с вином. В первый раз Ефимов испугался; но Шумский сказал ему: «Чего боишься? Аракчеева? Не бойся: он дурак!»

Пьянство Шумского дошло до того, что однажды, когда он был в карауле на дворцовой гауптвахте, Аракчеев заехал посмотреть, все ли в порядке, и застал его совершенно пьяным и раздетым. Тотчас вытребовал офицера из 1-го Преображенского батальона, а Шумского, будто бы внезапно заболевшего, увез с собою.

Много проказ сходило с рук ому. Погубил его вот какой случай: пьяный, он пришел в театр, в кресла; принес с собою взрезанный арбуз, рукою вырывал мякоть и ел. Перед ним сидел плешивый купец. Опорожнив арбуз от мякоти, Шумский нахлобучил его на голову купца и на весь театр сказал: «Старичок! вот тебе паричок!» Купец ошеломел; но когда освободился от «паричка» и, обернувшись, увидел перед собою смеющегося пьяного офицера, то так же громко воскликнул: «Господи! Что же это? Над нами, купцами, ругаются публично». В театре произошла суматоха, Шумского арестовали; от Государя утаить нельзя было — и Шумский послан на Кавказ в бывший

тогда гарнизонный полк. По смерти Аракчеева он вышел в отставку, поступил в гражданскую службу, но за пьянство уволен; затем бродил из монастыря в монастырь в качестве послушника, ради куска хлеба, и умер, говорят, в кабаке.

Вот что слышал я от Ефимова, по своей печальной должности в течение многих лет бывшего весьма близким лицом к Аракчееву.

# И. С. Жиркевич
# Записки [119]

1806 год познакомил меня с графом Аракчеевым. Слышал я много дурного на его счет и вообще весьма мало доброжелательного; но, пробыв три года моего служения под ближайшим его начальством, могу без пристрастия говорить о нем. Честная и пламенная преданность к престолу и отечеству, проницательный природный ум и смышленость, без малейшего, однако же, образования, честность и правота — вот главные черты его характера. Но бесконечное самолюбие, самонадеянность и уверенность в своих действиях порождали в нем часто злопамятность и мстительность; в отношении же тех лиц, которые один раз заслужили его доверенность, он всегда был ласков, обходителен и даже снисходителен к ним.

Меня всегда ласкал он и каждый раз, когда я был у него поутру с рапортом, отпускал не иначе, как благословляя крестом, сопровождая словами: «С Богом, я тебя не держу!» Ставил меня примером для адъютантов своих, как деятельного, так и памятного служаку, — и в сентябре 1806 года, когда я был у него на дежурстве, пригласил меня к себе в инспекторские адъютанты и на отказ мой на меня не осердился за это. Чтобы дополнить черту о нем, прибавлю, что в семь или восемь лет его инспекторства над артиллериею, при всех рассказах о злобе и мучительности его, из офицеров разжалован только один Нелединский, за сделание фальшивой ассигнации, за что обыкновенно ссылают в Сибирь[120]. На гауптвахту сажали ежедневно; многих отставляли с тем, чтобы после не определять на службу, и по его же представлению принимали. <…> Об усовершенствованиях артиллерийской части я не буду распространяться: каждый в России знает, что она в настоящем виде создана Аракчеевым и ежели образовалась до совершенства настоящего, то он же всему положил прочное начало. <…>

Вот другая черта взыскательности Аракчеева. Мне как адъютанту гвардейского баталиона приказано было от него показывать ему в рапорте обо всех артиллерийских офицерах, которые не являлись к разводу. Для исполнения чего я всегда узнавал наперед, кто имел законную причину манкировать своей обязанностью, и таковых, всех без изъятия, вписывал в мой рапорт, присовокупляя, однако же, всякий раз по общему списку и известного шурина Аракчеева — Хомутова[121]. Но число внесенных никогда не превышало пяти или шести человек. В один

день случилось, что у развода не было более двадцати офицеров; я внес в рапорт четырех, и когда ожидал времени моего доклада, генерал Касперский, заглянув в рапорт, сказал: «Хорошо! Ты обманываешь графа, я скажу ему!»

Делать было нечего — я присел к столу и вписал остальных. Едва успел это сделать, позван был к графу, который, взглянув на рапортичку, тотчас встретил меня словами: «Это что значит? Сей же час напиши выговор своему генералу, что он худо смотрит за порядком!» Я, выйдя в залу опять, с торжествующим лицом принялся тотчас исполнять сие приказание. Подошел ко мне Касперский, спрашивая меня: «Что, граф весел?»

Я отвечал: «Очень! а мне велел написать вам выговор по вашим же хлопотам!» «Ну, брат, — сказал он, — что делать! Теперь и я вижу, что не за свое дело взялся учить тебя».

И, не дожидаясь выхода графа, уехал совсем <…>

Все приказания графа ту же минуту я заносил лично в книгу своею рукою, — в торопливости иногда испорчу, вычеркну и продолжаю писать, что следует далее; также и в рапортах помарки и поправки очень часто делал своею рукой, граф никогда за это не сердился, а хвалил меня, и один раз, когда его любимец и родственник, адъютант Мякинин[122], которому он отдавал довольно длинное приказание, стал просить позволения записать оное и вышел, чтобы взять карандаш, он сказал: «Ты, брат, не Журкевич (так звал меня): ты карандаш всегда должен носить с собой!»

В <…> 1809 году я вышел из адъютантов; потом чрез 14 лет, когда я, за отсутствием бригадного командира 15-й артиллерийской бригады, оною командовал, Аракчеев, проезжая Тульскою губерниею, остановился на три дня в деревне помещика Арапетова, где квартировала часть бригадной роты. По долгу службы я отправился к нему с рапортом и едва подал ему оный, он стал расспрашивать о служебном порядке. Бывший при нем Эйлер[123] спросил его:

— Граф! Вы, верно, не узнали полковника?

— Виноват! Ваша фамилия?

— Жиркевич.

Видно, что совсем потерял глаза, не узнав лучшего, одним словом, единственного своего хорошего адъютанта, — и, обратясь ко Клейнмихелю, велел позвать флигель-адъютанта Шумского, которого считал своим побочным сыном. При всходе его он взял его за руку и, подведя ко мне, сказал ему: «Познакомься с этим человеком, братец, — вот тебе лучший образец, как должно служить и как можно любить меня!..»

Пригласил меня остаться на все время, что тут пробыл.

Прошло много времени, но и теперь вспоминаю с благодарностью к человеку строгому, но, по моему мнению, справедливому и особенно благосклонному ко мне начальнику. <…>

По моем возвращении я нашел в графе к себе то же самое расположение, как и прежде; но когда я стал у него проситься в отпуск, то он шуткой мне отказал, говоря: «Еще рано тебе будет, надо прежде послужить», а потом согласился вместо четырех месяцев отпустить меня только на 28 Дней, но я предварил его, что буду просить отсрочки; он отвечал, что не Даст мне ее. <…>

Я прибыл в Смоленск накануне 1808 года и тотчас же подал рапорт, что я болен, и взял свидетельство о том из врачебной управы <…> Граф Аракчеев, сделавшийся в это время (13 янв[аря]) военным министром, предписал немедленно выслать меня из Смоленска, — что, однако же, не исполнилось, и я действительно пробыл в отпуску четыре месяца, а когда возвратился, то Аракчеев заметил мне: «Ты упрямее меня — поставил на своем!..» <…>

Весь 1808 год прошел для меня в усиленных занятиях; Аракчеев, бывши военным министром, хотел сему званию придать особенное уважение. Всех вообще, даже лиц, близких по родству к Государю, принимал как начальник, с прочими генералами обращался, как с далекими подчиненными; ездил по городу и во дворец всегда с особым конвоем[124]. Один раз, сделавшись нездоров, целую неделю никуда не выезжал из дома, и Государь был столь внимателен к заслугам сего государственного человека, что каждый день приезжал к нему рассуждать о делах. В один из таковых дней, за болезнью двух адъютантов графа, я был им приглашен дежурить у него и должен был стоять у дверей кабинета, когда он читал свой доклад Государю. В подобных случаях стоящий обыкновенно у дверей камердинер всегда был удаляем из покоя, дабы не мог слышать, о чем говорилось в кабинете, что было весьма благоразумно, так как Государь на слух был несколько крепок, то граф должен был докладывать весьма громогласно, так что на том дежурстве я слышал вполне донесение из турецкой армии фельдмаршала князя Прозоровского[125], представлявшего армию в весьма жалком отношении.

Когда Аракчеев переехал на дачу, на Выборгскую сторону, то Государь, щадя его здоровье, и туда продолжал ездить ежедневно.

Кстати, здесь расскажу несколько о домашнем быте графа. В начале 1806 года он женился на дворянке Ярославской губернии, Настасье Васильевне Хомутовой[126], девице лет восемнадцати, очень недурной собой и весьма слабого и деликатного сложения.

Графу в то время было лет 50, а может быть, и более; собою был безобразен и в речах произношения гнусливого, что еще более придавало ему лично неприятности, — и с самых первых дней его женитьбы замечено было, что он жену свою ревнует. Еще до женитьбы, ведя жизнь отдаленную от общества, он еще более после того отдалился от него. Обыкновенно вставал поутру около 5 часов; до развода он занимался в кабинете делами с неумеренною деятельностью; читал все сам и на оные клал собственноручные резолюции. Весьма часто выходил к разводу и всегда бывал при этом взыскателен, так что ни один развод не оканчивался без того, чтобы один или несколько офицеров не были бы арестованы. В 12 часов или в первом ездил во дворец с докладом, и проезд его мимо караулов и вообще всех военных был всегда грозою. Около половины 3-го возвращался домой и в 3 часа аккуратно садился за стол; кроме жены, брата ее — графского шурина Хомутова, служившего у нас подпоручиком, почти всегда обедывали графские адъютанты Творогов[127] и Мякинин и кто бывал дежурными, в том числе и мне приводилось несколько раз обедать у него. Из посторонних гостей, что бывало, впрочем, весьма редко, чаще других бывали у него: Сергей Михайлович Танеев[128], павловский отставной генерал-майор, вечно носивший длиннополый сюртук, смазные сапоги и голову, обстриженную в кружок; генерал-майор Федор Иванович Апрелев и Петр Иванович Римской-Корсаков[129] — надворный советник и советник ассигнационного банка; оба они были соседями графа по его имению в Новгородской губернии[130]; иногда обедывали генерал Касперский и полковник Ляпунов[131], командовавший ротою графа. Обед был всегда умеренный, много из пяти блюд, приготовленный просто, но очень вкусно; вина подавалось мало. За столом сидели не более получаса, и граф всегда был разговорчив и шутлив, иногда даже весьма колко, на счет жены. Так, однажды при мне он сказал ей:

— Вот, матушка, ты все хочешь ездить, кататься, гулять, — рекомендую тебе в кавалеры адъютанта моего Жиркевича.

— Что же, — отвечала графиня, — я совершенно уверена, что господин Жиркевич не отказал бы мне в этом, если бы я его попросила.

— Хорошо, если ты будешь просить, — возразил граф, — он еще сам не просит, ребенок еще, а впрочем, и теперь не клади ему палец в зубы — откусит!..

Графиня видимо сконфузилась и покраснела.

Другой раз, тоже за обедом, — не знаю именно, по какому случаю обедали я и бывший накануне дежурным адъютантом Козляинов, — граф в продолжение обеда был необыкновенно

весел, а в конце подозвал камердинера и на ухо отдал ему какое-то приказание; тот немедленно вышел и тотчас же подал графу какую-то записку.

«Послушайте, господа, — сказал граф, обращаясь к присутствующим, которых было человек с десять. — Высочайший приказ. Такого-то числа и месяца. Пароль такой-то. Завтрашнего числа развод в одиннадцать часов. Подписано: баталионный адъютант Жиркевич (при этом он взглянул на меня). Тут нет ничего особенного, кажется, — продолжал граф, — а вот где начинается редкость так редкость! Слушайте! «Любезный Синица (это был первый камердинер графа)! Если нет графа дома, то положи ему приказ на стол, а если он дома, то уведомь меня немедленно, но отнюдь не говори, что уходил с дежурства!» Тут недостает нескольких слов, — продолжал граф, — «твой верный друг» или «ваш покорнейший слуга», а подписано, посмотрите сами, М. Козляинов — и передал записку, чтобы она обошла кругом стола. «Вот, господа, какие окружают меня люди, что собственный адъютант учит плута слугу моего меня обманывать и подписывает свое имя. Впрочем, это замечание я обращаю не к вам, г. Козляинов, вы более не адъютант мой!..» <…>

Из министров, кажется, никто с графом не был лично близок, кроме министра внутренних дел Козодавлева[132], который иногда тоже у него обедывал.

Вот как рассказывали мне развод графа Аракчеева с его женою. В 1807 году, отъезжая в армию, Аракчеев отдал приказание своим людям, чтобы графиня отнюдь не выезжала в некоторые дома, а сам, вероятно, ее не предварил, — и один раз, когда та села в карету, на отданный ею приказ куда-то ехать лакей доложил ей, что «графом сделано запрещение туда ездить!». Графиня хладнокровно приказала ехать на Васильевский остров к своей матери и оттуда уже домой не возвращалась. Когда же, по окончании кампании, граф вернулся в Петербург, он немедленно побежал к жене и потом, недели с две, ежедневно туда ездил раза по два в день. Наконец однажды графиня села с ним в карету, и, проехав с ним Исаакиевский мост, граф остановил экипаж, вышел из него и пошел домой пешком, а графиня возвратилась к матери и более не съезжалась с ним. <…>

# С. Н. Глинка
# Записки

В то самое время [1808 год] <…> уроженец Германии, сын Августа Шлецера, <…> был профессором Московского университета[133], и профессором в полном смысле этого слова. Бросив горестный взгляд на быстрые политические переходы нашего века и видя, что война с берегов Немана перелетала в Испанию, на берега Атлантического океана, написал на немецком языке письмо, в котором, между прочим, сказал, что в наше время, когда дым огней бивуачных как будто час от часу более отталкивает Европу в туманный быт средних веков, последний приют ее наукам и образованности остается на берегах областей Северной Америки.

Василий Андреевич Жуковский, издававший тогда вместе с Каченовским «Вестник Европы», перевел и напечатал эту статью в своем издании[134]. В Военное министерство было препровождено возражение на письмо профессора Шлецера. Кем и откуда — этого не спрашивайте. Скажу только, что оттуда эта бумага возвратилась с прибавлением к ней слов: «Гений графа Аракчеева согласит огнестрельные орудия с холодным ружьем, которым побеждал Суворов»[135]. Под этими словами означена была подпись, гласная буква А., служащего при Военном министерстве. Печать на пакете была с надписью: «Предан без лести».

Главная сущность бумаги была следующая: во-первых, что нам, русским, не для чего бежать за океан и что и науки и искусства могут процветать в нашем отечестве. Во-вторых, что после Фридландского сражения[136] Наполеон мог бы то же сказать, что и Пирр сказал после своих побед в Италии над римлянами: «Еще одна победа — и мы погибли»[137]. <…> В-третьих, тут же было сказано, что в быстром поражении Пруссии 1806 года[138] непосредственно участвовала изворотливая политика Талейрана[139]. <…> В-четвертых, сказано было в той бумаге, что одно великодушие Александра I после Фридландского сражения остановило потоки крови человеческой. <…>

Однако же перенеситесь на досуге в 1808 год. Вообразите, что вы идете по улицам московским и слышите со всех сторон отзыв добрых граждан московских: «Ну, слава Богу, порадовал нас «Русский вестник»; душа у нас приосанилась, русская наша честь устояла!»

Вот какой был праздник и мне, теперешнему отшельнику от

мира, по напечатании изложенной бумаги! <…>

Напечатав в «Русском вестнике» 1808 года передовую весть о 1812 годе, то есть вышеупомянутую бумагу, я препроводил «Русский вестник» к графу Аракчееву[140]. С первою же почтой я получил от него благодарный ответ[141]. Письмо его вполне помещено в «Русском вестнике» 1808 года, и вот сущность его в тех же словах. Граф писал, что «хотя он сын бедных родителей, но прадед его, Аракчеев, под Очаковом служил при графе Минихе генерал-майором[142], когда чины были более уважаемы»[143]. К этому граф прибавил, что «он учился грамоте не по рисованным картам, а по букварю и псалтырю и что родителями своими препоручен был Казанской Божией Матери». В заключение письма сказано было: «Для того, кто по мере сил своих служил отечеству, все похвалы приятны тогда, когда, удалясь в деревню и войдя в свою совесть, он может сказать, что сделал что-нибудь полезное для отечества».

Хотя ни в письме моем, ни в «Вестнике» не возжигал я никакого хвалебного фимиама графу Аракчееву, но мне эти слова чрезвычайно понравились и, как тотчас увидим, приходились кстати.

Не знаю, почему стоустая молва разгласила по нашим губерниям, будто граф Аракчеев содействовал к заключению Тильзитского мира. Известно было только, что на предварительное совещание о том призваны были: Александр Андреевич Беклешов[144] и Василий Степанович Попов[145], бывший письмоводитель князя Потемкина.

<…>

Вскоре по получении от графа Аракчеева письма получил я от него другое письмо с приложением около двадцати писем, препровожденных к нему из разных губерний. Граф желал, чтоб я напечатал их в «Русском вестнике». Но я не исполнил его воли, и вот почему: лица, писавшие к нему, так увлеклись глубочайшею к нему преданностью, что возвеличили его наименованиями «избавителя и спасителя отечества». Не дивлюсь возгласам этих господ: случайность и богатство — такой волшебный талисман, что хотя бы и не ожидали себе от них никакой пользы, а все-таки им бьют челом. Но я удивляюсь графу. Я слышал, что он любил словесность и с жаром читал наизусть целые явления из трагедий Озерова[146]: следовательно, он знал силу и приличие выражений. И, несмотря на это, он два раза сделал два сильных промаха. В первый раз промахнулся он, возвратив из Петербурга в Москву, в письме под печатью своею «Предан без лести», вышеупомянутую бумагу с припиской: «Гений графа Аракчеева согласит огнестрельное орудие с холодным ружьем, которым научил

побеждать Суворов». И под этим еще, повторяю, выставлена была буква А., служащего в Военном министерстве. Во второй раз он промахнулся, препроводя ко мне письма с показанными возгласами. Тут спросим, отчего и на мудрецов бывает простота! Оттого, что хотя немного дашь некстати повадку уму, за него тотчас уцепится самолюбие и затянет в свои сети.

Как бы то ни было, вот что я отвечал графу: «Получа от вашего сиятельства письмо и приложенные к нему бумаги, повторяю собственные ваши слова: «Для того, кто по мере усердия своего служил отечеству, все похвалы приятны тогда, когда, удалясь в деревню и войдя в совесть свою, он может сказать, что и я сделал что-нибудь полезное для отечества». Не берусь возражать на восторженные изречения лиц, приветствовавших вас, и искренно желаю, чтобы вы долго проходили поприще свое; но теперь не могу напечатать присланных вами писем. Все то, что относится к случайным людям, разлетается громкою оглаской. Меня назвали бы льстецом, пресмыкающимся перед человеком случайным и добивающимся каких-нибудь у него милостей. А я от юности лет моих ни перед кем не раболепствовал. Но в свете редко верят и самым бескорыстным отзывам. Мнения людей различны, и пересуды привязчивы».

Это сущность письма, при котором препроводил я обратно к графу Аракчееву письма иногородних лиц, приветствовавших графа именами «избавителя и спасителя отечества». При первой встрече моей с графом Милорадовичем[147] после войны заграничной как-то зашла речь о графе Аракчееве, и я рассказал ему об этом случае. Милорадович с какою-то торопливостью вскричал:

— И вы это сделали с таким страшным человеком?

Я возразил:

— А что такое страшный человек?

Ответа не было.

Никогда граф Аракчеев не делал мне никакого добра. Никогда, однако же, не был для меня ни страшен, ни грозен. Напротив того, когда я написал в «Русском вестнике» в 1808 году «О необходимости колонновожатых, о лесных сельских засадах и о летучих отрядах»[148], он писал мне: «Сижу у камина, читаю «Русский вестник» и размышляю».

<…>

1825 года о графе Милорадовиче можно сказать Корнелиевым выражением: «В Риме не было уже Рима»[149]. <…> он облек себя личиною лести. Раболепствовал перед Аракчеевым[150], толкаясь иногда по получасу в его приемной. А

когда графу Аракчееву докладывали о Милорадовиче, он говорил:

— Пусть подождет, он пришел выманивать денег.

И при появлении сильного графа Аракчеева граф Милорадович изгибался в три погибели. Далеко, далеко был он от того Милорадовича, который в Итальянскую войну[151], видя, что ряды наших войск отступают от напора неприятеля, схватил знамя и воскликнул:

— Солдаты! Посмотрите, как умрет ваш генерал!

Далеко был он 1825 года от Милорадовича 1799 года.

# В. Р. Марченко [152]
# Автобиографическая записка

В исходе 1809 года Государю … угодно было посетить Москву. Граф, отъезжая в Грузино, приказал мне быть туда, с генерал-майором Бухмейером, к 30 ноября.

Три дня проведены в Твери, у великой княгини Екатерины Павловны и супруга ее[153], и 6 декабря прибыли мы в Москву, где прожили неделю. Поездка в Москву осталась в памяти у меня <… > по двум случаям: частному и государственному.

Случай частый. У графа Аракчеева был адъютант г. А.[154] В борьбе с совершенною бедностию, пристал он ко мне, чтобы я упросил Аракчеева взять его в Москву. Решено было ехать: мне с генералом Бухмейером в кибитке, а А. с фельдъегерем на перекладной, и прибыть в Грузино утром 30 ноября (храмовый праздник у крестьян)[155]. Мы выехали из Петербурга вечером, но лошади пристали у нас на половине дороги, и должно было поворотить в Софию[156] для перемены лошадей. Здесь, поправляя под собою сено в кибитке, заметил я, что пьяный камердинер Аракчеева забыл в кабинете трубку с картами, необходимыми по случаю бывшей тогда Турецкой войны[157]. Хотели послать за нею фельдъегеря с камердинером, но А. умолил дать ему эту комиссию, уверяя, что ему крайне нужно поговорить с отцом и что он догонит нас ночью. На рассвете приехали мы в Чудово[158]; ждали часа два и решились уже ехать с повинною, чтобы поспеть в Грузино к обедне, как является сахар наш в виде мумии, но с трубкою. До обеда прошло время в Грузине неприметно, в разговорах между съехавшимися гостями, которых было человек 20; но за обедом едва проглотил г. А. ложку супу, как упал со стула и одеревенел до такой степени, что ни растиранье, ни кувшины с горячей водой, ни зеркало, на лицо положенное, не обнаруживали в нем жизни. Хотя измученный вид его по приезде в Чудово и остаток во фляжке сладкой водки показывали цель поездки его в Петербург, тем не менее каково было мое положение? Решено после ужина ехать в Москву, и покойника, оставленного в нижнем этаже при одной свечке, отвезти ночью в Петербург.

В тишине, в задумчивости, отпили чай; но часов в 8 вечера входит в гостиную верхнего этажа кавалергардский офицер, и все удивились, узнав в нем г. А. Он ничего не помнил и уверял, что спал после обеда; когда же советовали ему возвратиться в Петербург, то заплакал, и это убедило графа Аракчеева взять его

в Москву, где и положено начало женитьбы его, впоследствии совершившейся.

Теперь о случае, имевшем значение государственное. На время высочайшего пребывания в Москве приказано было отправлять ежедневно из Петербурга бумаги с фельдъегерями, и один день с флигель-адъютантом, другой же с адъютантом графа Аракчеева (для экономии в прогонах). Все привезенные ими депеши разбирал я, и следующие в собственные Его Величества руки отдавал привезшему, а прочие распечатывал граф Аракчеев. В числе первых бывали листовые конверты, без надписи и с странною печатью; об одном из них сказал мне флигель-адъютант Марин[159], что получил его от камердинера Мельникова[160] и что Государь изволит знать, от кого[161]. После чего и не обращал уже я внимания на конверты сего рода; только впоследствии сказал об них графу Аракчееву, который с усмешкою отвечал: «Мельников важный человек!»

По возвращении в Петербург графа Аракчеева около 18 декабря 1809 года, спрашивает он у меня, когда пришел я с бумагами: «Что слышно новенького?» Не привыкши к таким вопросам, я сказал, что ожидают в городе каких-то перемен. «Да и мне граф Румянцев сказывал, что все новости в Москве готовились», — был ответ графа. Тут показал он свое малодушие. При неограниченной власти, какую он имел, ему досадно было, что новости сии скрыты от него. Он готовился ехать в Грузино; но Государь задержал, обещая прочесть с ним наказ Совету (Государственному). Хотя, по словам его, он отзывался, что труд будет напрасен, ибо он гражданской части не знает, но приметно было желание узнать то, что всех занимало. Один вечер Государь хотел прислать за ним; он и дожидался. Но докладывают, что Сперанский прислан от Государя. Не прошло десяти минут, как граф, отпустив Сперанского, спросил меня с делами. Я и не видывал еще его в подобном бешенстве. Не стал слушать бумаг и приказал прислать их в Грузино, куда сейчас он отъезжает. После рассказывал, что Сперанский привез ему одно оглавление, дабы на словах рассказать существо новой организации; но он не стал ничего слушать и отпустил его с грубостью и послал письмо к Государю об отставке. Тут припомнил он мне безыменные конверты, в Москву присланные. Три дня проведено в беспрестанной пересылке фельдъегерей в Грузино, но 30 декабря граф приехал в столицу. Сей и последующие дни прошли в объяснениях, прочитано образование Совета, и (по словам графа) на вопрос Государя: «Чем хочешь быть, министром или председателем?» — граф Аракчеев отвечал, что «лучше сам будет дядькою, нежели над собою иметь дядьку». Вечером после сего,

31 декабря, Государь прислал в подарок графу пару лошадей с санями, что крайне его порадовало, ибо едва ли не первый это случай был в столице.

1810 год. 1 января 1810 года, возвратясь из дворца, он объявил, что сделан председателем военного департамента Совета[162] и что министр будет другой, почему и отказывается от дел наших. Но как ошибся в перемене места!

Около половины января объявлен военным министром Барклай де Толли[163]. С первой работы удивились мы сему выбору, и по нескольким бумагам, у графа Аракчеева явившимся, по которым не оставил он тотчас призвать нас к себе, заключили, что воистину он дядькою будет Барклая. Однако же через неделю все переменилось: докладные записки начали выходить с резолюциями, рукою Государя писанными, и граф Аракчеев, увидев ошибку свою, начал ездить чаще в Грузино и проживать там по месяцу.

<…>

Проведя два года под начальством графа Аракчеева, я получил в сие время чрез него два ордена: 2-й Анны с брильянтами и 3-го Владимира; но он лишил меня и Бижеича[164] 4-го Владимира, пожалованного за службу при Вязмитинове[165], и не дал чина статского советника, зная, что скоро издан будет известный указ 1809 года[166], вследствие чего и поторопился произвесть Персидского[167] в коллежские асессоры. Впрочем, я расстался с ним (графом Аракчеевым) хорошо[168] и во время службы не только не имел никакой неприятности, но ощущал особенное к себе уважение: раза два назывался он обедать у меня и был доволен приемом; нередко подъезжал к департаменту, брал с собою кататься пред обедом; я у него обедал часто, что в тогдашнее время много значило; в Сибирь прислал он мне гравированный портрет свой и вел со мной переписку приятную. Но что в свете сем постоянно? Впоследствии он сделался врагом моим, и, Бог свидетель, не знаю иной тому причины, кроме замеченного им благоволения ко мне императора Александра I.

В управлении Военным министерством граф Аракчеев держался одного правила с Бонапарте: все гибни, лишь бы мне блестеть. Самовластием беспредельным и строгостию, конечно, сделал он много хорошего: восстановил дисциплину, сформировал, заново можно сказать, армию, расстроенную неудачами 1805 и 1807 годов[169] (неисправно и жалованье получавшую); удовлетворил справедливые полковые претензии; учредил запасы и оставил наличных денег, как помнится, 20 миллионов рублей. Но вместе с тем нанес и вред государству, отказавшись платить долги, и опубликовал о том в газетах, с

странною отговоркою, что он не может делать из одного рубля двух, подорвал сим более чем на 15 лет кредит казны и разорил многих подрядчиков; неумеренное же требование денег от Государственного казначейства заставило Голубцова[170] столько выпустить ассигнаций, что серебряный рубль из 1 рубля 30 копеек дошел в два года до 4 рублей. Унижение Голубцова пред графом Аракчеевым так было велико, что он подписал акт, дабы все начеты и взыскания как с чиновников, так и с подрядчиков передавать государственному казначейству, а Военному министерству отпускать из оного деньги тотчас по открытии начета. С сменою графа Аракчеева бедный Голубцов немедленно отставлен без просьбы, и Аракчеев мог хвастать, что оставляет министерство в блестящем виде! Так и впоследствии затеял он военное поселение и оставил его чрез девять лет с экономическим капиталом свыше 40 миллионов рублей. Но как составлен капитал сей? Грабежом казны! Министерство финансов удовлетворяло непомерные сметы Военного министерства, заключавшие в себе необъятное число войск, давало особо деньги на поселения и, лишась крестьян, в военных поселян обращенных, лишилось дохода в податях.

Может быть, политика Государя, после неудачных битв с французами и при расстройстве армии, заставила избрать министром именно графа Аракчеева, даже смотреть сквозь пальцы на деяния его, чуждые чувствам доброго Александра; и человек сей был ужасен. М. Я. Фок[171] справедливо изобразил его при пожаловании графу Аракчееву фамильного герба в стихе:

«Девиз твой говорит, что предан ты без лести; Скажи же мне кому? коварству, злобе, мести!»[172]

Вот несколько анекдотов о графе Аракчееве, без систематического порядка.

По вступлении в Военное министерство завел он конвой: карету его по очереди окружали кавалергарды, лейб-гусары и проч., с обнаженными саблями. Потом со всех полков отряжаемы были к нему ординарцы, как к Государю; наконец, и один флигель-адъютант должен был являться на дежурство. Первоначально жребий пал на Ставицкого[173], нынешнего сенатора, которому показалось это обидным, тем более что наряд был сделан не по Высочайшему повелению. Отдежурив, он объяснился с Государем поутру; но, по возвращении графа Аракчеева из дворца, Ставицкий тотчас услан в армию князя Голицына[174].

Никакого равенства с собою терпеть он не мог. Корсаков[175] жаловался Государю на дерзкие бумаги Аракчеева и получил такой собственноручный ответ, что с первою почтою прислал

просьбу об отставке.

Граф Буксгевден, главнокомандующий финляндскою армиею, отставлен за то, что партикулярным письмом просил с большею внимательностью к правде делать ему замечания[176].

Даже великий князь Константин Павлович имел от него неприятности, до мелочей. Так, например, в один праздник граф Аракчеев никого не принимал, и адъютант записывал всех приезжавших в книгу, которую на другое утро представлял графу. Увидя в ней, что являлась в одиннадцать часов с поздравлением конная гвардия с шефом своим, он отметил резолюцию: «Объявить, что военный министр один, так могли бы раньше приехать»[177]. Подобных чудес много в адъютантских книгах и на подлинных бумагах.

Один чиновник комиссариатский умер в Финляндии на гауптвахте, где содержался по личному приказанию графа Аракчеева. На рапорте о том коменданта резолюция: «Вечная память — одним мошенником меньше» На сенатском указе о производстве чиновников за выслугу лет резолюция: «Поздравляю; чинов прибавилось, да прибавится ли ума и способности?»

Власть его была неимоверна: в крепости сажал без доклада Государю. При мне призван был егерский шеф, помнится, полковник Жилка[178], и разруган за то, что при полку нашел граф Аракчеев множество чухонских подвод. Объяснения Жилки, что полк его новый, что он выступил с двумя ротами из Сибири, формировал его, не останавливаясь, на марше до Немана, а оттуда, тотчас по прибытии, обращен в Финляндию, обоза же не мог он строить на походе, но заказал в Москве, который, вероятно, и готов теперь, в такое привели исступление графа Аракчеева, что он, не помня себя, закричал: «Ты еще разговорился: нет, брат, не старая пора; я царю сказал, что я за все отвечаю и чтоб он в мелочи не мешался; да и покамест буду отвечать, не одну шкуру с вас сдеру, ты сгниешь прежде у меня в крепости, чем царь узнает», — и с сим словом, обратясь к адъютанту, графу Апраксину, сказал: «Отведи его в крепость, а оттуда ступай в Измайловский полк, возьми обоз, и чтоб полк проходил чрез город с своим обозом; а Измайловский полк получит деньги на счет этого командира татарской орды!» Все в одну ночь и исполнено.

Правивший в Саратове должность губернатора Панчулидзев[179] в указе назван был по ошибке действительным статским советником. Покровительствовавший его товарищ министра внутренних дел Козодавлев воспользовался сим и под предлогом, что цари не ошибаются, поднес указ о производстве;

граф Аракчеев, узнав о сем от Государя, тотчас поднес другой указ, в замену прежнего, с названием Панчулидзева статским советником, послал фельдъегеря в Саратов разменять указы и тем кончил недоумение.

По удачном переходе Ботнического залива, когда решено возвратиться в Або и князь Багратион[180] пришел в Аланд за приказанием, граф Аракчеев встретил его поздравлением с чином генерала от инфантерии; а ко мне обратясь, сказал: «Вот Василий Романович и приказ заготовит к приезду Государя о производстве вас и Барклая, которому можете послать (за 600 верст) и поздравить заранее». В самом деле, по приезде Государя в Або тотчас приказ объявлен, а главнокомандующий Кнорринг удалился после сего из армии в деревню[181].

Врожденному честолюбию и властолюбию графа Аракчеева много способствовало и баловство. Ростовскому полку велено называться его именем, потом бить барабан, когда он идет или едет; подарена царская яхта, содержание которой в Грузине стоило адмиралтейству столько же, как бы она за границею находилась. Все это давалось потому, что граф Аракчеев не принимал ни фельдмаршальского сана, ни Андреевского ордена. Повторяю: он не хотел ни с кем быть равным.

Льстецов и сродников жаловал он и награждал; но, прогневавшись, мстил им наравне с другими. Полковник Тишин сердечный был друг его, за язык, но по выходе графа Аракчеева из министерства проговорился, что «он не понял образования Совета 1810 года, которое подмыло его, как крепкий дуб водопольем». Это дошло до графа Аракчеева, и он таился два года, но в 1812 году, взяв опять силу[182], так наложил руку, что несколько представлений князя Барклая де Толли о производстве Тишина в генерал-майоры и о награде орденом 3-го Георгия остались без действия; после и при отставке даже не дано чина[183]. Генерал-майор Бухмейер, указавший некогда дорогу Аракчееву в Гатчино и заплаченный им за то впоследствии, был дружен с ним до унижения (осматривая каждое утро конюшни и кухню) и по окончании французской войны употреблен по новгородскому военному поселению. Тогда не было еще ни комитета, ни совета, ни штаба по сей части и все делалось по-домашнему. Но огромность затей и издержек и страх, что выйдет из мужиков, целыми волостями обученных военному ремеслу, избавленных от податей и еще получающих от казны не только для себя и детей обмундировку, но дома, как дачи устроенные, привели Бухмейера в недоумение: он прикинулся или в самом деле начал бредить о беде и ответе и отпущен с большим содержанием для излечения. Прожив года три в орловской деревне своей и думая, что с новым

устройством штаба, комитета и прочего расстался он навсегда с военным поселением и числится по артиллерии, только что приехал с женою в Петербург, дня за два до Петергофского праздника[184], как граф Аракчеев узнает о том и о добром здоровье Бухмейера и присылает в обед 21 июля полицеймейстера Чихачева[185] с высочайшим повелением: выслать Бухмейера с женою в Чугуев (где было также военное поселение), сопроводить до первой станции и в самый праздник 22 июля отрапортовать об исполнении так рано, пока граф Аракчеев еще не пойдет во дворец.

Барклая возненавидел он с той поры, как сверх ожидания своего увидел его утвердившимся на посте министра и пользующимся доверенностию Царя и всею помпою, изобретенною графом Аракчеевым лично для себя. Удаление Барклая из армии после Бородинского сражения[186] успокоило дух ненависти к нему графа Аракчеева, и он бесстыдно рассказывал мне, как приезжему из Сибири, при гостях, за обедом или за чаем, о неспособности Барклая, гордости и вместе подчиненности жене, жадности к деньгам, так что содержание его, как министра, было в 80 тысяч и проч. Но неожиданное восстание Барклая опять раскрыло характер графа Аракчеева. По назначении его на место Чичагова[187] главнокомандующим той армии, которая шла осаждать Торунь[188], он приехал в начале 1813 года на почтовых из Эстляндии в Плоцк, чтобы представиться Государю. Небольшой разоренный этот городок завален был постоем по случаю переправы чрез Вислу, и Барклай на сутки только приехавший, решился не хлопотать о квартире, а, остановившись на почтовом дворе, пошел во дворец, где и приглашен был к обеду. Пользуясь остающимся до того временем, решил явиться к князю Кутузову и графу Аракчееву; но Аракчеев, живший за версту от дворца, завидев в окно Барклая, идущего по грязи пешком, не сказался дома. Вслед за тем велел принести из придворной кухни три блюда; и я, работавший с ним утро и вечер, приписал все это занятиям, никак не предполагая, чтобы он остался обедать дома, единственно избегая встречи с Барклаем. Старик, получив приказания Государя и откланявшись, притащился опять вечером к графу Аракчееву, но он отозвался больным; нечего делать: остался ночевать и в седьмом часу утра явился в шарфе, как объяснилось после, с просьбою доложить Государю о назначении ему столовых денег. Вот уж натешился граф Аракчеев: заставил ждать в комнате, где один лакей чистил сапоги, а другой разливал чай; потом вышел в шлафроке, извиняясь, что, отвыкнув от визитов, особливо таких ранних, он не одет да и не очень здоров, не попросил садиться, а, выслушав

просьбу, отозвался, что это не по его части, ибо он секретарь Государя, не больше, и пишет только то, что ему прикажут. Барклай, уезжая из Плоцка, писал, однако, письмо, чтобы доложил Государю о столовых, и граф Аракчеев, возвратясь с докладами, сказал мне, что назначено 12 тыс[яч][189]. Я заготовил рескрипт министру финансов об ассигновании сей суммы серебряною монетою, как следовало за границею; но на другой день, получа Аракчеевы доклады и указы, удивился, что в рескрипте слово «серебром» пропущено. Спрашиваю кантониста, при нем бывшего, Леонова, и узнаю, что граф Аракчеев приказал ему переписать в таком виде присланный мною рескрипт. Мщение гнусное! Когда Барклай поступил на место Кутузова[190], то сам докладывал и получил серебром; но Государь отнес это к ошибке своей канцелярии <…>

Граф Аракчеев, по скрытному характеру своему, не показал мне при первом свидании[191] особых знаков недоброжелательства; однако между разговорами не упустил спросить: где я, по новому званию, служить буду? Ответ мой состоял «в приписанных Государем словах в указе»; и он дал почувствовать, что с окончанием войны не будет уже более заниматься гражданскими делами. Однако вслед за приездом Государя в Петербург предстала работа: разделение Военного министерства[192], и пошло все по-старому. С бумагами по сему предмету ездил к Государю и граф Аракчеев, и я вместе, и едва их кончили, как Государь изволил предложить мне место Молчанова, просившегося за границу. Я написал графу Аракчееву письмо, прося довести до Высочайшего сведения, что не в состоянии исправлять обеих должностей Молчанова, то есть по Комитету министров и по Комиссии прошений; а ежели угодно, то приму одну из них и преимущественно комитетскую. Я опасался докладывать по просьбам, зная, что граф Аракчеев не потерпит близкого сношения с Государем, и видя из опытов ненависть его ко всем тем, с кем Государь хорош, и желание всем заведовать, но так, чтобы ни за что не отвечать. Переговоры и приискание докладчика продлились до Рождества. 24 декабря сделан я правителем дел Комитета министров, а Кикин[193] определен уже в январе.

Дела по комитету начал докладывать граф Аракчеев; следовательно, удалена сим всякая недоверчивость ко мне, но во время отлучек его из города или болезни ездил к Государю я с бумагами по назначению графа Аракчеева. Для сего пожаловал мне Государь придворный экипаж, узнав, что я не могу содержать его от себя. Помаленьку начал граф Аракчеев все прибирать к себе, отвечая, однако, всякому, что он никакой отдельной части

не имеет и займется одним поселением войск. Дела советские[194] решительно к нему поступали, министрам назначено столько предметов, по коим входили бы они в комитет с представлениями, что иным ничего не оставалось к личному докладу Государю; наконец принялся было и за Кикина, но тот отгрызся.

Получив постоянное место в Комитете министров, я думал, что прогулки мои по свету уже кончились; но, сверх ожидания, в августе 1816 года велено ехать в Москву и Варшаву. Граф Аракчеев хотя скрыл негодование, зачем Государь берет меня с собою, однако показал неравнодушие свое тем, во-первых, что ни слова уже не говорил о том, поеду я или нет; во-вторых, ни теперь, ни после не испросил ни рубля мне денег на дорогу, зная совершенно нужду мою, и, в-третьих, не дал мне ни чиновника, ни писаря в дорогу, под предлогом, что ему нужны, хотя все дела его канцелярии и журналы забирал я с собою, исключая поселенческих.

13 августа, поутру в 7 часов, выехал я из Петербурга и, пробыв часа два в Твери, у матушки <…> увидел обновившуюся Москву 16 числа в 5 часов вечера. Квартира была в Чудовом монастыре. Примечательного в сие время по нашей части было: награды 30 августа и назначение к должностям Сперанского и Магницкого[195], из которых о Сперанском указ сочинил Государь сам, и граф Аракчеев, из излишней, вероятно, осторожности, спрятал отпуск у себя, чего с другими бумагами не делал[196].

31 августа, на рассвете, Государь изволил отправиться из Москвы, чрез Калугу и белорусское поселение, в Киев, а я, прожив еще двое суток в Москве, проехал прямо в Киев, чрез Тулу, Орел, Севск и Нежин. Граф же Аракчеев с поселения возвратился в Грузине <…>

В феврале 1817 года, подав отчет о делах Комитета, которые все очищены были, просил я награды чиновникам. Государь столь доволен был успешным течением дел, что утвердил вполне представление мое, а графу Аракчееву приказал заготовить для меня грамоту на орден 2-й ст[епени] Владимира. Узнав о сем, я убедительно просил графа Аракчеева доложить Государю о недостатках моих, и что, ежели не заслуживаю я аренды[197], то лучше буду ее выслуживать, но наружные знаки отличия мне не нужны. Государь вследствие сего пожаловать изволил мне в аренду на 12 лет староство Житомирское, и граф Аракчеев в первый раз показал при сем случае, что он не желал бы того сделать. Обыкновенно, кому доброжелательствовал, он подносил указ к подписанию или извещал министра финансов, в какую сумму пожалована аренда, отчего Персидскому, например, в

штаб-офицерском чине дана генеральская аренда; или же, наконец, сообщал министру финансов, чтобы до вступления в полное владение арендою производим был арендный доход; но для меня ни одной из сих выгод не было. Он глухо сообщил обо мне Гурьеву, и я получил аренду по чину, а не по званию, в 1200 рублей. Благодаря Ланскому[198], тот прибавил от себя до 400 рублей, под предлогом, что в обрез в 1200 рублей аренды не было, и вечная признательность сему доброму, честному человеку за то, что пособием его и знакомством с Катериничем[199] ежегодно продана аренда с 1819 года, когда большие последовали со мною перемены.

Не переставая ежедневно работать утром и вечером по Комитету министров и по Государственной канцелярии, я был еще по особым указам членом театрального комитета, в 1816 году членом комитета о недоимке в разоренных неприятелем губерниях, а в 1817 году членом следственной комиссии по воинским делам; и, благодаря Бога, меня доставало. Все шло хорошо; Государь постоянно был благосклонен. В половине августа 1817 года опять приказано мне ехать[200], и граф Аракчеев ни слова не говорил о том, имея, как последствие показало, надобность выхлопотать чрез меня 100 тысяч рублей за отделку мнимого шоссе чрез грузинское свое владение[201]. Уже не скрывал он пред тем, что Государь спрашивает у него иногда, как Марченко думает об этом деле. И когда, по Высочайшей воле, требовал, чтобы я написал свое мнение на бумаге, как будто в лучшее удостоверение Государя, и я, знав хорошо графа Аракчеева, с ужасом всегда исполнял сии требования, предвидя, что долго-коротко доедет он меня, и потому всегда старался сколь можно держать себя поодаль от Государя, не ездил иногда с докладами, хотя и примечаемо сие было. Наконец, одним средством ужиться с графом Аракчеевым считал то, чтобы избавиться вояжей, которые более всего могли поселять подозрение в человеке, уверенном, что его никто не жалует.

В исходе августа приехал я в Могилев, оттуда поехали в Киев, Кременчуг, Полтаву, Харьков, Курск, Орел и Калугу, и 1 октября прибыли в Москву, куда весь двор собран был на зиму. Граф Аракчеев оставался в деревне своей. Все время Государь удивительно милостив был ко мне. <…>

Первый шаг приезда в Москву показал явное недоброхотство графа Аракчеева. Он имел с собою всю канцелярию и высылал ко мне все без изъятия бумаги по гражданской части, так что и журналы, исходящие к нему, никогда уже не требовались. Отписав первые бумаги, посылаю их к писарям, для переписки набело, но граф Аракчеев объявляет, чтобы я не занимал его

людей; ибо им много дела. Должно было взять из последних чиновников Комитета, и три человека все время работали у меня в Москве. Два из них, Жихарев и Суровщиков, были уже в комитете, а третьего, Мочалина, помнится, принял я на службу в Москве по рекомендации Степана Петровича Жихарева, честнейшего человека[202], который и услаждал только неприятную жизнь мою. Мало-помалу житье московское приготовляло меня к тому, чего ожидать я должен был вперед от зависти графа Аракчеева; и как известно было, что Государь, побывав в Варшаве, недолго пробудет в Москве и Петербурге, а на осень отправится на конгресс в Ахен[203], то поездку сию и думал я употребить в свою пользу, открывшись князю Волконскому, что время от времени более примечаю, сколь неприятно будет графу Аракчееву, что Государь берет меня с собою, что и воспитание детей и продажа аренды требуют пребывания моего в России и что на конгрессе некогда будет заниматься гражданскими нашими делами. Почему и просил князя доложить Его Величеству, чтобы за границу меня не брать[204]. Он обещал это сделать, но чтобы я, ничего не говоря, съездил теперь в Варшаву.

Как на беду мою, в Москве чаще были поручения Государя. Неоднократно граф Аракчеев высылал бумаги с следующими резолюциями: «Государю угодно знать мнение статс-секретаря Марченки», «Государю угодно, чтобы по сей бумаге доложил г. ст.-секр. Марченко лично, с своим мнением». Все это раздирало душу графа Аракчеева: он становился холоднее ко мне; но я, как невинный человек, ограждался одним терпением и делал свое дело так, чтобы он никогда не мог упрекнуть меня ни леностию, ни небрежением. Неудовольствие его замечательнее было для меня по <…> следующим анекдотам. 1) В проезд от Калуги до Москвы скопилось много просьб у графа Аракчеева, к которому, как я сказал выше, все уже бумаги отсылались. В Москве вздумал он разбирать их со мною. Я хотя мог бы сказать, что это напрасный труд, ибо, сверх поданных лично Государю просьб, я имею впятеро более принятых мною по званию статс-секретаря, на основании инструкции, поднесенной мною чрез него же, графа Аракчеева, и притом все они идут по одному моему регистру; но, отклоняя всякую неприятность, безмолвно стал разбирать.

Вскоре попадаются просьбы о пособии. «Ну, что с ними делать?» — сказал граф. Я отвечал ему, как я поступаю и что у меня есть еще несколько подобных, которые отложил я до приезда губернатора в Москву. Он замолчал, но чрез несколько дней, выходя от себя к разводу, видит в передней женщину, которая, упав ему в ноги, назвала себя генеральшею Вырубовою[205] и умоляла исходатайствовать у Государя пенсион

по поданной просьбе. Он, рассердясь, сказал: «Матушка, это не мое дело; есть у Государя секретари, раздающие и пенсии и деньги; а я не имею такого кредита». Это явно уже было на мой счет, но я перетерпел и, дав бедной своих 50 рублей, научил ее, чтобы она шла к Кикину, приехавшему в то время в Москву, ибо просьбы ее нет у графа Аракчеева и не будет. Вот что мог бы и он сказать просительнице, никого не огорчая. 2) В ноябре купец Стариков подавал просьбу Государю по делу с княгинею Белосельскою-Белозерскою[206]. Одним утром граф Аракчеев присылает за мною. В приемной нахожу я какого-то мужика, с брильянтовыми медалями, и вслед за сим вышел Аракчеев из кабинета своего с Тормасовым и обер-полицеймейстером Шульгиным[207]. «Милостивый государь, — сказал граф, — вот я при вас объявляю господину Старикову, что Государь приказал дело его разобрать своему секретарю для того, что я в подозрении, и с Белосельскою в родстве штаб, который меня не жалует[208]. Так не изволь ко мне ходить больше и беспокоить, а знай его превосходительство (указывая на меня), который и сам живет вон там, в штабе же». На последние слова я невольно улыбнулся и сказал, что то же можно бы сделать и без процессии, после чего засмеялся и Тормасов, старик, которого нарочно для сего просил к себе граф Аракчеев. 3) В декабре граф Аракчеев был нездоров, и я ходил по утрам вместо его с докладами. 11-го числа Государь, отдавая мне списки Тормасова о награде чиновников, изволил сказать, что «чрезвычайно много представлено», о чем он и Тормасова предупредит. «Разберите вы их с графом и убавьте; а после скажи мне, кому что назначите, чтобы к завтрему, то есть двенадцатого декабря, дать им награды». Дорожа временем, я просил Тормасова, чтобы после развода зашел к графу Аракчееву для убавки; а сам между тем пошел к нему доложить о сем. Бешенство возобладало сим человеком, коль скоро объявил я ему волю Государя. «Что я за шпион, чтобы знать всех писарей и квартальных; я вчерась сказал уже Государю, когда он был у меня, что меня везде бранят; да зато, как он стал со мною говорить о полновесных, я все ему отпел: пусть же бранят за дело». Потом, заглянув в список, увидел первого губернатора Дурасова[209]. «К ленте? Давно ли кареты подавал на подъездах; скажи, не полюбят, а не скажи, так заговорят, что для Танеева[210] сделал; и верно, старее его много. Ты лучше знаешь, ты больше с Государем видишь губернаторов». И, развернув наудачу статский список, попался харьковский губернатор Муратов[211]. «Вот, каков этот?» — «Умный человек, как в сутки можно было заметить; но больше ничего не знаю», — отвечал я. «Вот, он старее Дурасова, а дадут и ему ленту, так скажут — за то, что угощал мою любовницу! Ведь у

вас в штабе все это знают». Последние слова сильно на меня подействовали, сколь я ни кроток. Сложив бумаги и встав со стула, я спокойно сказал: «Ваше сиятельство, я не привык говорить с вами ни о штабе, ни о любовнице вашей, еще менее заслуживаю слышать неприятности. Принеся вам списки, я исполнил волю Государя. Неугодно вам исполнять ее далее, мне остается доложить только Государю, ибо я должен дать ответ до обеда, а ночи едва ли достанет мне на заготовление к утру указов и грамот». Слова сии упоминаю я для того, что Персидский видел всю сцену. Они подействовали, однако, на него: он переменил тон и начал заниматься списками, так что с приходом Тормасова в полчаса все кончено было. 4) Наконец, в начале января[212] расположился Государь съездить на две недели в Петербург, и граф Аракчеев отправился прежде. Накануне отъезда, быв с докладом, я спросил Государя: «Можно ли мне ехать?» Ответ был: «Как же, повидайся с женою, а после опять надолго уедем». Я после сего и выехал ночью. Около Новгорода встречаю в откидной кибитке графа Аракчеева с Муравьевым[213], оба мы остановились. Он спросил, скоро ли Государь будет, и не воздержался заметить, что он не ожидал, чтобы я в Петербург поехал. Вопрос сей оставил я без внимания, никак не предполагая, чтобы от зависти он происходил; но последствия связали уже все обстоятельства. Прожив две недели в Петербурге, 30 января выехал в Москву, а 22 февраля из Москвы, чрез Смоленск, Минск и Брест, в Варшаву. Здесь был сейм, продолжавшийся со второй недели Великого поста до Пасхи. 19 апреля отправился из Варшавы, чрез Устилуг, в Старо-Константинов, где собран был корпус князя Горчакова[214]; оттуда в Каменец-Подольский. Здесь нашел я графа Аракчеева, и, следовательно, доклады чрез меня опять кончились <…>

Занимаясь своим порядком по Комитету и канцелярии, я заметил, однако, умножающуюся холодность графа Аракчеева и думал, в чистоте души своей, что он обрадуется, узнав, что меня не берут в заграничный вояж. Князь же Лопухин сам вызывался пред тем просить графа Аракчеева, чтобы оставили меня в Комитете, доказывая расстройство дел от моего отсутствия, особенно ежели Государь долго останется за границею. Так прошел и август, в котором удалось наконец графу Аракчееву совершить свое предприятие: удалить меня от лица Государя. 26 августа подписан указ о переводе меня в Государственный совет, по гражданскому департаменту, а объявлен не прежде, как чрез три дня по отбытии Государя из столицы, чего не мог я перенести хладнокровно. Хотя собственно для меня служба моя не унизилась от перевода сего; но тайна Аракчеева, который пред

тем много делал мне неприятностей, и неизвестность, не уменьшится ли содержание мое, невольно приводили в размышление, не оклеветал ли он меня пред Государем, столь много оказавшим мне знаков своего внимания и доверенности. О городской же молве, признаюсь, я нимало не помышлял, во-первых, потому, что, кроме хорошего отзыва и сожаления, ничего говорено не было; а во-вторых, что, по общему мнению, сколь ни лестно находиться при Высочайшей особе, но поездки крайне меня расстроивали по части денежной, и я с 1816 года никакой не видал за то награды, да и ожидать не мог, зная, что Государь сам собою не вздумает, а граф Аракчеев от недоброжелательства и зависти не напомнит. Доказательство тому, что каждый год к Святой неделе представлял я чиновников своих к награждениям — они все то получали, что я назначу, по списку, но обо мне помину не было.

Сдав Комитет на другой же день по объявлении указа действительному статскому советнику Колосову[215], я донес Государю за границу, что сдал ему и все прочие поручения, на мне лежавшие, считая их не принадлежащими до должности моей по Государственному совету; а сам явился в Совет 3 сентября 1818 года.

1 октября придворный экипаж по требованию графа Аракчеева перешел от меня к Муравьеву. Это уменьшило содержание мое и показало все злодейство Аракчеева. Я мог бы писать Государю, под предлогом сомнения, что он за границею, а здесь действуют его именем; но рассчитывал, что это будет жалоба на графа Аракчеева, которого не променяют на меня, что одним только сим поступком мог бы он укорять меня за все время совместного с ним служения, и потому решился молчать <…>

## *События, в глазах моих совершившиеся при вступлении на престол императора Николая I*

С сентября месяца [1825 года], когда зарезана старая его [Аракчеева] любовница Настасья, он жил в деревне и сбросил с себя служебные обязанности, занимался истреблением дворни и личным влиянием на уголовный суд и новгородского гражданского губернатора Жеребцова, изгнанного после, за лишнюю ему угодливость, из службы. Но предчувствие ли, тайные ли известия, при уверенности, сколько он ненавидим в военном поселении, заставили его переехать в Петербург[216] и запереться так, что не пускал даже к себе военного генерал-губернатора графа Милорадовича, приезжавшего с поручениями

от Николая Павловича. Потеря духа его была столь велика, что кстати рассказать здесь анекдот о полицеймейстере Чихачеве. Он был адъютантом графа Аракчеева, через него получил и место полицеймейстера, исполнял все его комиссии, словом, был и домашний человек, и приятель такой руки, что часто Аракчеев посылал сказать ему поутру, что сегодня будет у него обедать. Чихачев, видевший графа Аракчеева в последний раз в Грузине, в день похорон Настасьи (когда — о подлость величайшая! — архимандрит Фотий в надгробной речи утешал Аракчеева предвестием, что зарезанная поступила в сонм великомучениц[217]), узнав ночью о приезде графа Аракчеева, поспешил поутру заехать к нему; но в три приема получал один и тот же ответ, что «решительно ни об ком не велено докладывать». Вечером, часу в десятом, граф Милорадович призывает Чихачева и дает читать формальное отношение графа Аракчеева, коим [тот] просит воспретить Чихачеву беспокоить его, ибо надеется, что он «не состоит под надзором полиции». Все это и слухи, что в Грузине, при бытности полковника Тизенгаузена[218], исполняются уголовные приговоры с ужасною жестокостию, занимало публику рассказами и догадками <…> [14 декабря 1825 года] время близилось к двум часам, и дворец наполнился приехавшими по повестке для поздравления[219]. Дамы все были разряжены, но мужское одеяние представляло пестроту, ибо многие, быв оповещены на службе, чтобы не опоздать, прямо проехали во дворец в черных панталонах. Военные все уходили на площадь, и в зале оставались только два, князь Лобанов-Ростовский[220], по старости и непринадлежности к армии, и граф Аракчеев, по трусости, как говорили тогда, может быть, злословно, но на него жаль было смотреть: ни одна душа не останавливалась промолвить с ним слова[221], и он рад был, усевшись на диванчик с приехавшим во дворец князем Лопухиным, видеть его разговаривающего с графом Орловым[222], который неоднократно присыпан был с площади к императрицам.

Аракчеев подошел ко мне сначала с просьбою, не могу ли я, по старой дружбе, подарить ему экземпляр манифеста? Я послал своего курьера с полтинником в сенатскую типографию и через полчаса вручил Аракчееву просимый экземпляр. Он чувствительно благодарил и пожал мне руку (это было последнее явление в нашей драме, и я не встречался уже с Аракчеевым в остальные дни жизни его) и потом спросил: «Что, батюшка, есть ли утешительные вести?» Я ему сказал, что число строптивых увеличивается переходящими из полков солдатами к шайке, у Сената стоящей, и что Государь, не решаясь на крайнюю меру, надеется убеждениями образумить заблуждающихся, заботясь

более о бедном графе Милорадовиче[223], за жизнь которого не ручаются доктора. Аракчеев с ужасом отошел от меня, услышав первый раз о ране, нанесенной графу Милорадовичу, хотя это несчастное приключение часа два всем уже известно было. <…>

К чести Государя сказать должно, что в комиссии[224] не было ни одной злой души, которая могла бы превратиться в инквизицию, и потому привлеченные к делу, не только невинные, но и мало виновные, немедленно отпускаемы были на свободу.

Впоследствии узнал я, что Царь, поговоря с преступником и видя раскаяние, тут же прощал или удалял на житье для выслуги, и таким образом, сто два человека не были даже преданы суду[225]; но больше или меньше знали о том в городе по родству или знакомству. Столица дорого пенила правило, принятое Императором, и общее мнение слилось в один вопрос: «Что бы было, если бы сидели в комиссии граф Аракчеев или Клейнмихель?» — разумея под сим не потачку злодеям, которыми всякий мерзил, но преследование личное, мщение и жадность к злодейству.

Клейнмихель показал себя достойным учеником графа Аракчеева, чувствовавшего приближение старости и потому приготовлявшего заранее преемника себе. Уже погашены были в нем чувства родственные, а дружба и любовь к ближнему составляли для него пустой набор слов. По примеру Аракчеева, расстался с женою[226] (хотя по страсти увез ее от матери из церкви), и Аракчеев утешился, видя, как дрожит пред ним все в военных поселениях. К присяге Государь поручил приводить [поселенцев] не ему, а своим генералам[227]. От этого Аракчеев и Клейнмихель не могли действовать, и коль скоро присяга в поселении кончилась, они отправились из столицы под предлогом встречи тела покойного Государя. Таким образом спаслось русское дворянство от беды неизбежной, если бы следственная комиссия попала в руки Аракчеева и Клейнмихеля. <…>

# С. Т. Аксаков [228]
# Встреча с мартинистами

Воротясь домой, я нашел записку от университетского моего товарища, который некогда имел на всех нас сильное влияние смелостью своего духа и крепостью воли <…> «Любезный друг Аксаков, — писал он, — вчера привез меня раненого из Финляндии в своей карете также раненный вместе со мною благодетельный генерал Сабанеев[229], при полку которого я состою с моими орудиями. Алехин мне сказал, что ты здесь; покуда я остановился у Алехина[230]. Твой Петр Балясников[231].

Алехин был нашим товарищем в гимназии, но он не был студентом по весьма печальному обстоятельству, признанному за какой-то бунт против начальства, по милости глупого директора. Алехин находился в числе пятерых лучших воспитанников, исключенных из гимназии <…> он определился в военную службу солдатом и в настоящее время [1808 год] служил артиллерийским поручиком и состоял адъютантом при генерале Капцевиче[232], директоре канцелярии Военного министерства и любимце всемогущего тогда военного министра Аракчеева; у него-то остановился наш раненый товарищ. Само собою разумеется, что через несколько минут я уже обнимал Балясникова. Он был неопасно, но тяжело ранен: шведская пуля засела у него в ноге пониже коленки, между костями, по счастью не раздробив их. Военные армейские доктора нашли невозможным вынуть пулю и отправили раненого для леченья в Петербург <…> Балясников намеревался явиться к военному министру и настоятельно просить, чтоб немедленно вынули пулю из его ноги и дали ему возможность скорее возвратиться к действующей армии. Алехин предупреждал его, что Аракчеев человек страшный, что с ним надо поступать осторожно, но Балясников рассмеялся и сказал нам: «А вот увидите, как я поступлю с ним! Да еще и денег возьму с него! Я не хочу стеснять товарища и не давать ему спать по ночам своими стонами: я хочу жить на своей собственной, хорошей, удобной квартире! Прощайте!» Он ушел за перегородку, где ему была приготовлена постель, и мы расстались.

Воротясь домой и уснув несколько часов, я отправился в Комиссию составления законов, где служил переводчиком <…> часу в первом был уже на квартире Алехина. Он и Балясников еще не возвращались из Военного министерства. Впрочем, я недолго ожидал их. С громом подкатила карета, запряженная четверней

отличных лошадей, остановилась у калитки квартиры Алехина; лакей в богатой военной ливрее отворил дверцы кареты, из которой выскочил Алехин и вместе с великолепным лакеем высадил Балясникова. Поддерживая раненого под руки, они ввели его в скромную комнату, где я встретил их с вытаращенными от изумления глазами. Балясников сухо сказал: «Скажи, что я благодарю министра». Лакей поклонился, вышел — и карета ускакала. Балясников был совершенно спокоен. Сейчас лег на единственный диван, положил ногу на его боковую ручку (в этом положении боль от раны была сноснее) и сказал Алехину: «Ну, расскажи все Аксакову, а я устал». Лицо Алехина было очень весело, и прекрасные глаза его сверкали от удовольствия. «Ну, Аксаков, — начал он, — дорого бы я дал, чтоб ты был свидетелем всего, что происходило сейчас у Аракчеева! Мы приехали вместе; я оставил Балясникова в приемной, в толпе просителей, и побежал с бумагами к министру, потому что мой генерал болен, а в таких случаях я докладываю лично Аракчееву. Не успел я доложить и половины бумаг, как входит дежурный ординарец и говорит, что раненый гвардейский русский офицер, только что приехавший из действующей армии, просит позволение явиться к его высокопревосходительству. «Скажи, братец, господину раненому офицеру, — сердито сказал Аракчеев, — что я занят делом: пусть подождет». Я очень смутился. Начинаю вновь докладывать и слышу громкие разговоры в приемной и узнаю голос Балясникова. Через несколько минут входит опять тот же ординарец и говорит: «Извините, ваше высокопревосходительство, раненый офицер неотступно требует доложить вам, что он страдает от раны, и ждать не может, и не верит, чтоб русский военный министр заставил дожидаться русского раненого офицера». Я обмер от страха; Аракчеев побледнел, что всегда означало у него припадок злости. «Пусть войдет», — сказал он глухим, похожим на змеиное шипенье голосом. Двери растворились, и Балясников, на клюке, вошел медленно и спокойно. Слегка поклонясь министру, он прямо и пристально посмотрел ему в глаза. Аракчеев как будто смутился и уже не таким сердитым голосом спросил: «Что вам угодно?» — «Прежде всего мне угодно сесть, ваше высокопревосходительство, потому что я страдаю от раны и не могу стоять, — равнодушно сказал Балясников. С этими словами он взял стул, сел и продолжал с невозмутимым спокойствием: — Потом мне нужна ваша помощь, господин министр; шведская пуля сидит у меня в ноге, ее надобно вынуть искусному доктору, чтобы я мог немедленно отправиться в армию. Наконец, мне нужен спокойный угол, мне надобно есть и пить, а у меня нет ни гроша».

Все это было сказано тихо, но твердо и как-то удивительно благородно. Ну как ты думаешь, что сделал Аракчеев? Я думал, что он съест Балясникова; но он обратился ко мне и сказал: «Вели сейчас выдать триста рублей этому офицеру, вели послать записку к Штофрегену[233] (придворный лейб-медик), чтоб он сегодня же осмотрел его рану и донес мне немедленно, в каком находится она положении. Я поручаю этого офицера твоему попечению: найми ему хорошую квартиру, прислугу и позаботься об его столе; как скоро деньги выдут, доложи мне; а теперь возьми мою карету и отвези господина офицера домой».

<…> Мы поклонились, вышли, взяли министерскую карету и прискакали сюда, как сам ты видел. Ну, брат, это было какое-то волшебство, какое-то чудо! Балясников — колдун! Велика важность, что есть люди, которые заговаривают ядовитых змей. Нет, поди-ка заговори Аракчеева! Ведь он страшнее всякого зверя». Алехин не был студентом вместе с нами в университете и потому мало знал Балясникова, который был гораздо его моложе; но я знал Балясникова хорошо. Наша студентская жизнь воскресла передо мною. Прежде всего я принялся хвалить Аракчеева и доказывать, что совершенно дурной человек не способен к такому поступку, а потом рассказал Алехину, какую нравственную власть имел Балясников над студентами. Поболтав еще несколько времени <…>, мы, по настоятельному желанию Балясникова, в тот же день наняли ему прекрасную квартиру в Итальянской слободке <…>

На другой же день поутру Штофреген приехал к Балясникову, внимательно осмотрел и ощупал его рану и сказал, что теперь пулю нельзя вынуть, а надобно подождать, пока она опустится и выйдет из соседства костей. Он прописал какую-то мазь или примочку, и это лекарство чудесно помогло Балясникову. Он почти перестал страдать от своей раны <…>

Мы с Алехиным каждый день бывали у Балясникова <…>

Рана Балясникова находилась все в одном положении, нельзя было заметить, чтобы пуля спускалась книзу. Между тем деньги вышли; Алехин доложил о том Аракчееву, и вновь были выданы триста рублей <…> Не имея возможности убедить докторов вынуть пулю из его ноги и не имея терпения дожидаться времени, когда она выйдет из костей, Балясников через два месяца воротился в армию <…>

# Н. И. Шениг[234]
# Воспоминания

Павел Иванович Сумароков <…> был несколько лет губернатором в Витебске и Новгороде, где память его как правосуднейшего и честнейшего человека живет до сих пор[235]. Одаренный пылким умом и характером, он во всю жизнь свою старался бороться с сильнейшими и часто упадал в неравной борьбе. Сначала он делал всевозможные притеснения имению Сперанского, находившемуся близ Новгорода; но когда этот попал в опалу и приехал в свою деревню Великополье[236], Сумароков первый явился к его услугам и старался доставить ему все приятности и угождения. Могущество и власть графа Аракчеева подстрекнули его вступить с ним в бой, который сделал его известным самому Государю. Началось с того, что вскоре по прибытии в Новгород получил он письмо от графа, в котором тот самым вежливым образом просил его, по случаю ревизования уездов и проездом в Тихвин, посетить его уединенное Грузино и доставить ему случай познакомиться лично с почтенным начальником губернии. Сумароков отвечал сухо, что Грузино не будет лежать на его тракте и что он сожалеет, что ему невозможно будет исполнить желание графа.

Наступил 1812 год, с своими рекрутскими наборами, ополчением, сбором скота, лошадей, сухарей и пр. для действующей армии. Сумароков, снисходительный ко всем другим помещикам, был необыкновенно строг и взыскателен к исполнению повинностей графского имения. Бурмистр села Грузина[237], украшенный медалию, донес графу о строгостях губернатора и о забраковании людей и материалов, а тот обратился к губернатору с собственноручным письмом, прося о снисхождении, и между прочим написал: «Я полагаю, что неприятности по делам моего имения происходят оттого, что мы имеем с вами сношение чрез посредников, и потому, во избежание сего, я прошу ваше превосходительство во всех делах касательно до села моего Грузина относиться прямо ко мне, а я уже с своей стороны буду брать мои меры. Почему я и предписал моему бурмистру ожидать моих приказаний и не обращать внимание на требование земской полиции. Надеюсь, что в[аше] п[ревосходительств]о не откажете мне в сем одолжении». Сумароков отвечал резко: «В губернии моей до 500 помещиков, и ежели я исполню желание вашего сиятельства и войду с вами в особую переписку по делам вашего имения, то я не вправе буду

отказать в оном последнему из дворян и не буду иметь времени на управление губернией. А потому прошу в[аше] с[иятельство] переменить распоряжение ваше и предписать бурмистру вашему исполнять строго все предписания земской полиции, ибо в противном случае я буду вынужден потребовать его в город и публично наказать плетьми»[238]. Получив письмо и отправя ответ, Сумароков сообщил и то и другое бывшим у него дворянам и в том числе губернскому предводителю С…[239], который не замедлил обо всем уведомить графа с прикрасою. Вследствие этого граф опять написал собственноручно: «В письме, в[аше] п[ревосходительство], вы употребили не то выражение, которое сказано было вами при собрании дворян, а именно: ежели мне начать переписываться с графом, то придется вступить в переписку и с последним капралом. А потому, обращая к вам оное, прошу исправить сделанную вами ошибку». Сумароков возвратил присланное свое письмо и написал: «Бесчестно и подло переносить из дома в дом вести, а еще бесчестнее и подлее передавать их с прибавлениями. Я не отпираюсь от слов моих, и смысл их остается все тот же, кроме слова «капрал», вместо которого я употребил «последний дворянин», а потому написанное мною к вам письмо возвращено без поправки. После сих объяснений я уверен, что приобрел в особе вашей злейшего врага. Ваше сиятельство — вельможа, много значите при дворе, можете сделать мне вред, и, зная ваш характер, я уверен, что не упустите первого случая, чтобы оказать мне оный; но знайте, что я более дорожу моею честью, нежели моим местом и держусь русской пословицы: хоть гол, да прав» Отъезд графа за границу прекратил эту неприятную переписку, и Сумароков правил губернией к общему всех сословий удовольствию, но неожиданно сам согрел себе за пазухой змею. Он был давно знаком с новгородским же помещиком, отставным флотским офицером Николаем Назарьевичем Муравьевым (впоследствии государственный секретарь), и, по желанию и просьбе его, представил его в вице-губернаторы. Муравьев, рассчитав, что выгоднее угождать графу, передался на его сторону и начал вооружать его против Сумарокова. Возвратись из похода в 1815 году, Аракчеев вспомнил о своем враге и по указаниям Муравьева сделал на него донос, вследствие которого были отправлены для ревизии два сенатора (кажется, Милованов и Модерах)[240], которые, прожив несколько недель в Новгороде, донесли, что они не могут открыть ничего по той причине, что губернатор не допускает их для надлежащего исследования. Сумароков по этому случаю был вызван в Петербург, где и жил до тех пор, пока возвратившиеся сенаторы объявили, что они не могли найти

ничего противузаконного, и Павел Иванович возвратился в Новгород. Аракчеев, взбешенный на сенаторов, решился действовать сам: взял у генерал-губернатора[241] следственного петербургского пристава ст[атского] сов[етника] Шипулинского и еще другого надежного полицейского чиновника и отправил их в Новгород с купеческими паспортами, переодетых купцами, с фальшивыми бородами. Те, прибыв на место, начали ходить по рынкам, по харчевням и расспрашивать стороною о мнимых злоупотреблениях губернатора. Новгородский полицмейстер Болдырев[242], человек бойкий и преданный Сумарокову, вскоре попал на их след и, подозревая в них шпионов, донес начальнику, который без дальних отговорок велел представить их к нему на другой день закованных. Бондырев выпустил на Шипулинского содержащихся в тюрьме негодяев, приказав в трактире затеять с ними спор и драку. Те тотчас же исполнили приказание, и полицмейстер схватил всех и, рассадив порознь, начал допрашивать. Аракчеевские агенты сбились в словах, переодеванье их обнаружено, и на другой день оба в кандалах приведены к Сумарокову. Шипулинский выпросил позволение переговорить наедине и признался, кто он и зачем прислан; но Павел Иванович, как будто не хотя верить, чтобы вельможа решился употребить такие меры против ничтожного губернатора, велел обоих молодцов заковать и отправить по пересылке в С.-Петербург. Можно себе вообразить бешенство графа! Он дал пройти немного времени, но потом начал просить Государя о смене Сумарокова, уверяя, что он пьет. Сколько П. А. Кики и (приятель Сумарокова, тогда статс-секретарь) ни старался разуверить Императора, но слова Аракчеева подействовали, и Сумарокова разбудил ночью фельдъегерь с указом сдать губернию вице-губернатору Муравьеву и быть самому причислену к Герольдии. Павел Иванович вскочил с постели, послал за Муравьевым, членами Приказа и советниками, в течение трех часов сдал суммы и все дела, к утру, получив квитанцию, бросился в коляску и, в тот же вечер прискакав в Петербург, представил министру расписку о сдаче губернии. Таковая исправность доведена была до сведения Государя, но не переменила судьбы Сумарокова. С лишением места он потерял и жалованье, а собственного имения у него было около 60 т[ысяч] ассигнациями] капитала, из доходов которого надобно было еще уделять дочери и сыну, тогда капитану артиллерии (теперь генерал-адъютант и начальник гвардейской артиллерии)[243]. Поэтому он жил в двух комнатах и почти ежедневно ходил пешком обедать к Кикину, а для поддержания себя написал книжку «Изображение Екатерины Второй»[244], которую раскупали

для доставления сочинителю куска хлеба. Находясь в таком бедственном положении, он решился прибегнуть к Аракчееву и написал к нему письмо.

«Вы удивитесь, вероятно, получив письмо от человека, вам неприятного; но это самое должно возбудить в вас чувство самолюбия, видя, что я, доведенный вами до последней крайности, вас же избираю орудием к оказанию мне справедливой защиты, предполагая в вас благородство превыше мести.

Я 35 лет в службе, был губернатором в двух губерниях, везде был отличаем и начальством и великою княгиней Екатериной Павловной. Никогда не просил, никогда ничего не получал и до сих пор не имею даже в петлице украшения. Ныне, по происках и клевете, лишен места и с тем вместе дневного пропитания и, подобно страдальцу при Овчей купели, взываю: «человека не имам!»[245]

В вас-то надеюсь я обрести такового человека, почему и прибегаю об оказании мне справедливого возмездия за мою усердную и беспорочную службу»[246].

Граф получил письмо, прочел и, положив в бюро, сказал: «Кланяйся Павлу Ивановичу!» Тем все и кончилось. Сумароков прожил года два в Петербурге и страдал от недостатка и бездействия. Кикин, соболезнуя о его положении и согласясь с общими знакомыми, под предлогом выручки за книгу доставил ему несколько тысяч и уговорил ехать в чужие края. Сумароков поехал и, возвратясь года через полтора, издал свои путевые записки[247] и тем опять поддерживал свое бедное существование. В 1822 году, сидя у Кикина за обедом, вдруг он получает чрез фельдъегеря пакет со вложением указа о назначении его сенатором; под указом было подписано рукою графа: «С подлинным верно, граф Аракчеев». Сумароков на другой же день поехал к нему, но тот не принял. В 1825 году министр юстиции князь Лобанов, представляя к наградам сенаторов, спросил у Сумарокова, чего бы хотел он. Тот пожелал аренды, ибо тогда сенаторы получали, кажется, не более 4 т[ысяч] ассигнациями] и он от Гагаринской пристани хаживал в Сенат пешком[248], не имея экипажа. Государь отказал, отозвавшись, что поставил себе за правило не давать сенаторам аренд. Павел Иванович упросил князя Лобанова сказать от его имени об этом графу и представить ему его положение. Чрез два дня приехал опять фельдъегерь с указом о пожаловании аренды, и под указом та же подпись: «С подлинным верно, граф Аракчеев». Сумароков опять поехал и не был принят. Когда граф в конце 1826 года возвратился из-за границы и жил в опале в Грузине, не смея приехать в Петербург,

то Клейнмихель и другие им облагодетельствованные забыли о его существовании; один Сумароков не пропускал ни дня именин, ни рождения графа, чтоб не съездить в Грузине с личным поздравлением <…>

Ф. П. Львов[249] был секретарем Сперанского и оставался числящимся по Герольдии до 1823 года. Кочубей и Мордвинов[250] представляли о принятии его вновь в службу; но Государь, будучи дурно предубежден, всегда отказывал, и Львов увидел, что для этого нужно действовать через Аракчеева, которого никогда не знал лично. Случай к этому скоро представился. Федор Петрович проводил часть лета на Званке, у тетки своей Дарьи Алексеевны Державиной[251], в соседстве военных поселений. Аракчеев, наслышанный об уме старика Львова, захотел с ним познакомиться, и тот, приняв простодушный вид и простой тон, так умел очаровать графа, что через две недели был назначен помощником статс-секретаря в Государственном совете с назначением состоять при Аракчееве <…> Он умел подделаться под необразованный тон графский и не иначе называл его, как «Батюшка, ваше сиятельство! Вы единственный наш государственный человек. Берегите себя и подумайте, что будет с бедной Россией, если вы себя расстроите». Так говаривал он ему, и тот со слезами на глазах обнимал Львова и говорил дружески: «Вот человек, который один меня понимает». Между тем Федор Петрович, возвратясь домой, в кругу семьи <… > смеялся над глупою необразованностию Аракчеева <…>.

Находясь в 1824 году в военных поселениях, я слышал, что какая-то странствующая монахиня заходила в Грузино и, быв принята графом, сказала ему: «Береги Настасью; пока она жива, и ты счастлив, а с ее смертию и оно кончится». Это приписывали в то время пронырству Настасьи Федоровны, которая хотела этим подействовать на суеверный ум своего сиятельного любовника. Но последствие оправдало справедливость этого пророчества. Настасья Федоровна была крепостная девка графа и жила с ним более 20 лет, пользуясь большим уважением всех окружающих. Она, говорят, притворясь беременною, подкинула Шумского, которого граф долго считал своим сыном; но кто-то из дворовых людей, озлобленных на фаворитку, открыл графу всю правду, и она призналась. Между тем граф привязался к мальчику и продолжал его воспитывать как сына, выпросил ему дворянство и фамилию Шумского, определил в Пажеский корпус, где он был произведен в камер-пажи, выпущен офицером в гвардейскую артиллерию и назначен флигель-адъютантом к большой обиде своих товарищей. И действительно, он поведением своим срамил это высокое звание, являясь часто пьяным и раз даже свалился на

разводе с лошади. Это жестоко огорчило графа[252], который любил его без ума; наконец в 1826 году, в бытность графа в чужих краях, Шумский в пьяном виде, озлобленный против своего благодетеля, которого он, впрочем, ненавидел, явился к нему с пистолетом, грозя застрелить. Он отправил его на службу, но и тут пьяный, нашумев в театре, был сначала выключен из флигель-адъютантов и тем же чином отправлен в Грузию, а после и совсем выгнан из службы и еще при жизни графа определен писцом в Новгородский уездный суд, а потом поступил служкою в Юрьев монастырь. Куда потом девался, неизвестно.

Настасья Федоровна, пользуясь доверенностию графа, оказывала во многих делах протекцию и не отказывалась от подарков и денег. По смерти ее граф нашел, говорят, письма многих знакомых людей и возвратил их им вместе с найденными кружевами, серьгами и проч[253]. Сам Государь Александр Павлович удостоивал ее своим вниманием и, для ласки графу, заходил в ее комнаты и пивал чай. Разумеется, что в доме она была полной госпожой, сидела хозяйкой за обедом, к ней подходили к ручке, и она взыскивала и наказывала людей, не уступая в жестокости графу. В октябре 1825 года, во время отсутствия графа из Грузина по округам военного поселения, повар и сестра его, шестнадцатилетняя девка, бывшая в прислуге, забрались ночью в спальню Настасьи Федоровны и отрезали ей голову. Послали к графу известие о ее болезни, чтоб не испугать его, и тот на другой же день прискакал домой с фон Фрикеном (своим другом и командиром его полка)[254]. Не доезжая Грузина, встретил он на мосту строительного отряда капитана Кафку, домашнего человека в доме, который не знал о принятой предосторожности. Граф, остановясь, спросил: «Что Настасья Федоровна?» — «Нет никакой помощи, ваше сиятельство; голова осталась на одной только кожице». Услышав это, граф понял, в чем дело, и заревел диким голосом. Люди, и правые, и виноватые, были схвачены и преданы суду. Новгородский губернатор Жеребцов действовал по воле графа, и по восшествии на престол Николая Павловича дело было переследовано и многие возвращались из Сибири. Граф похоронил ее в Грузинской церкви возле своей могилы и сделал надпись: «Здесь похоронено тело мученицы Анастасии, убиенной дворовыми людьми села Грузина за беспредельную и христианскую любовь ее к графу». Я сам читал и списал ее, будучи в 1826 [году] в Грузине, и нашел на могиле красное яйцо и засохший букет цветов, положенные графом. Аракчеев так огорчился этой потерей, что отказался от дел, надел серый кафтан и переехал в Юрьев монастырь к отцу архимандриту Фотию, который в церкви на медной решетке

вырезал: «На сем месте болярин Ал. Анд. Аракчеев, в дни скорби своей, воссылал теплые свои молитвы к Богу». Император Александр Павлович, получив о сем происшествии известие, вызывал графа в Таганрог[255] и в милостивых и дружеских выражениях уведомлял, что сам занимается приисканием для него квартиры, уведомляя, что «никто более его не принимает живейшего участия в его сердечной потере». Это письмо граф, по кончине Государя, переписал во многих экземплярах и раздавал своим знакомым и, будучи в Берлине в 1826 году, напечатал на трех языках все собрание писем, писанных к нему покойным императором[256], но король прусский[257] захватил это издание и прислал во время коронации[258] в Москву к Государю.

Смерть девки отняла у Аракчеева способность заниматься государственными делами[259], а кончина Александра Павловича ему оную возвратила. При получении о ней известия он оставил монастырь и возвратился в Петербург, приняв оставленную должность, но сейчас заметил, что в новом Государе он не найдет того неограниченного доверия, которым пользовался при покойном. По случаю проезда тела Императора Александра через Новгород он выпросил позволение устроить ему церемониал встречи, и надобно было удивляться порядку, но и бесчувственности распорядителя[260]. Видя к себе немилость Царя, он вдруг написал к нему письмо, в котором уведомлял, что давно уже пожалован покойным Государем кавалером св. Андрея, но что он до сих пор не носил этого ордена, а теперь просит дозволения возложить его на себя. Государь отвечал, что, истребовав список кавалеров ордена св. Андрея, он не нашел его в числе оных и потому не может ему позволить носить орденских знаков. Вскоре потом Аракчеев отправился за границу и был уволен бессрочно, продолжая считаться главноначальствующим над военными поселениями, которые в его отсутствие управлялись начальником Главного штаба Е. И. Величества[261]. В октябре узнал Государь, что Аракчеев возвращается, и поручил Дибичу послать к нему письмо в Клев с уведомлением, что Император, полагая, что кратковременное пользование водами не могло совершенно излечить его, предоставляет ему возвратиться в чужие край до совершенного выздоровления; а ежели же граф полагает окончить курс своего лечения в России, то советует ему воспользоваться деревенским воздухом и, не приезжая в столицу, остаться в Грузине. Я сам сочинял и переписывал это письмо. Аракчеев, возвратясь в Грузине в ноябре, написал Императору, что, имея у себя многие государственные бумаги, которые требуют личного доклада, просит Его Величество позволить ему их представить. В ответ был послан к нему граф

А. И. Чернышев[262] с письмом Государя, в котором он изъявлял свое удивление, что граф, имев неоднократно доклады, до сих пор мешкал представлением важных государственных бумаг, и потому Его Величество поручает Чернышеву пересмотреть их и ему представить. Приехав в Грузино, Чернышев просил отпереть ему кабинет и привез оттуда не только бумаги, но и всю оригинальную переписку покойного Государя, и с тех пор граф более в Петербург не являлся и умер в Грузине. Имение поступило в казну, согласно с его завещанием[263], а движимость продана в Петербурге с аукциона. Им распоряжался коллежский советник Кованько на Литейной, в казенном деревянном доме, крытом бумагой[264], в котором обыкновенно жил Аракчеев. Для завлечения охотников купить Кованько рассказывал достоинства всякой вещи. Например, о простой, шитой шелками подушке провозглашал, что она шита императрицею Жозефиною[265]; две старинные рюмки будто те самые, из которых Государь и Наполеон пили за здоровье друг друга при свиданье в Тильзите[266]. Но кажется, что эти россказни мало нашли легковерных, и все вещи продавались дешево. И действительно, мало было вещей, заслуживающих особого внимания: это был сброд всякой всячины, обнаруживающий безвкусие мещанина во дворянстве. Точно то же можно сказать и про Грузино. С первого взгляда видны затеи богатого временщика, но не знатного барина. Везде какое-то чванство: в церкви на стенах бронзовыми буквами рескрипты на чины и ордена; везде портреты его в pendant[267] к портрету Меншикова, которому когда-то принадлежало Грузино. Гробница его, высеченная Мартосом[268] прелестно, заживо была сделана, и надпись с пробелом дня кончины. Памятник убиенным офицерам его полка также отлично хорош. В саду гротам, мостикам, беседкам нет числа, напоминающим известный сад Танина[269] в Петербурге <…>

В кабинете его на бюро разложены были перо, карандаш, каждый с надписью: «Этим пером писал император Александр Павлович во время последнего своего пребывания в Грузине[270]; этим карандашом…» и пр. В гостиной, диванной были припечатаны переплетенные книги, одна с собственноручными письмами великой княгини Марии Павловны[271], другая с письмами Анны Павловны[272] и других членов императорского дома. В гостинице для приезжих можно было иметь и стол, и вина из графского дома, но с оговоркой: на каждую персону не более одной рюмки водки и полубутылки вина. На реке богатая гранитная гавань и перед ней фрегат, на котором всегда были готовы казенные матросы. Во время старорусского бунта граф убежал в Новгород и требовал себе охранительного караула[273], а

в Грузине велел приготовить роскошный стол, выставить всю фарфоровую и серебряную посуду, лучшие вина и проч. Бунтовщики-солдаты пришли, обыскали весь дом и, не найдя графа, отобедали чинно и удалились, не тронув ничего.

Могущество и влияние графа на дела государственные кажутся теперь невероятными. Все дела Государственного совета рассматривались им и с его отметкою карандашом отсылались на утверждение. Все указы исполнялись тогда только, когда рукою графа были выставлены год и число. В приказах по военному поселению можно найти между прочим: «Такого-то уланского полка поручик N.N. и корнет N.N. высочайшим приказом произведены в следующие чины; но как поведение сих офицеров того не заслуживает, то я и предписываю считать их по-прежнему: N.N. в поручичьем и N.N. в корнетском чине». Все дрожало перед ним, не только в поселениях, но и во всей России. Зато и падение его было причиной всеобщей радости <…>

# Н. Н. Муравьев [274]
# Припоминания мои с 1778 года

Вступив в новгородские вице-губернаторы, я скоро увидел беспутство новгородского гражданского губернатора Сумарокова. Он наконец сделался моим гонителем и вытребовал от правительства сенатора, чтобы найти меня негодным <…> Он был в связях в Санкт-Петербурге, я ни с кем и ни в каких. Сенатор Миклашевский[275] был его приятель и старый сослуживец; я ему был вовсе неизвестен. Но кончилась сенаторская ревизия тем, что губернатора отозвали в Санкт-Петербург к ответу перед Сенатом, а мне поручили управление губернии, как отличному. Граф Аракчеев, злобствовавший за некоторые распоряжения губернатора Сумарокова по его новгородским деревням в 1812 году, — я должен присовокупить, злобствовавший на губернатора Сумарокова решительно несправедливо, — был очень доволен, что ревизия губернии нашла Сумарокова неспособным управлять губернией, и рад был, со своей стороны, сделать всевозможно худо и досаду губернатору Сумарокову и, видимо, не мог сделать более, как то, что меня высочайшим указом из Парижа в августе 1815 года назначили новгородским гражданским губернатором, а Сумарокова причислили к Герольдии <…>

[В должности статс-секретаря] я вел себя столь осторожно, столь от всех отдельно, что никакая клевета меня не касалась. Но зависть Аракчеева дышала и шипела, ибо Император удостаивал меня доверенности. Я это заметил и тем более остерегался. Я видел, что Аракчееву я не мил; но что он в то же время меня уважал и делал мне отменную от других доверенность, и в делах его службы, и в других его собственных, хотя я никогда не посягал, не навязывался, ибо не мог видеть тут себе лестного. Он бывал со мною откровенен даже до болтливости и об отношениях его к Императору, и о связях его частных. Я ведь все видел только более и более, что он ни единого человека не любил, всем завидовал, никому не желал добра <…>

Он часто мне, губернатору, советовал стараться понравиться слабости Государя, стать ему приятным и продавать ему свой товар лицом. Он говаривал мне всегда: водись с ним, но камень за пазухой держи; когда сделаешься ему необходим, тогда только будешь ему и любимым <…>

В первые дни по кончине Павла Аракчеев явился из своего Грузина в Петербург и был принят тайно Александром, который извинялся, что задержал его, потому что приятели-то (разумей

виновников кончины отца его) не спускают его [с] глаз. Но Александр мешкал открыто опять поставить Аракчеева на пути преобладания и сделал его инспектором артиллерии не прежде 1803 года, хотя решительно вопреки общего мнения. Я должен признаться в хвалу сего Государя, что он это сделал по сущей необходимости; ибо не можно было найти другого начальника артиллерии, которая под инспекторством генерала …[276] пришла в крайнее расслабление и расстройство. Впрочем, и граф Аракчеев действовал уже осторожнее с своими подчиненными. Этому научил его еще Император Павел, который его отставил за то, что он выбил камнями унтер-офицера, который имел Анненский орден. Аракчеев мне об этом рассказывал, подтверждая, что он его и выбил для того, чтоб он не мечтал, что кавалерство его может освободить его от телесного наказания. Он тогда опять искал быть принятым на службу, являлся к наследнику престола, сей за него ходатайствовал у Императора Павла и получил обнадеживание. Но Аракчеев спросил у наследника, кто после Его Высочества вошел в комнату Его Величества, и когда он отвечал: «Кутайсов», — то Аракчеев и отозвался Его Высочеству, что не будет исполнено по обещанию. После того он подаренный ему дом от Павла в Миллионной улице продал и уехал во свое село Грузино, где и жил в великом уединении до воцарения Александра I.

Будучи инспектором артиллерии, граф Аракчеев женился на одной благородной девице Хомутовой, имел от ней дитя, которое скоро умерло, и через 2 или 3 года с нею расстался. Когда я, бывши еще только Управляющим Новгородской губернией, приезжал к графу Аракчееву изредка в село Грузино, тогда он откровенно признавался мне, что он до знакомства с моим семейством никогда не предполагал, что могло быть супружество счастливое событие; ибо присовокуплял: «И я все сделал, чтоб иметь привязанность моей жены; я, женясь на ней, подарил ей 30 000 рублей на приготовление приданого, и ничто не помогло, чтоб мне быть с нею счастливым».

Надобно кратко при сем объяснить, что жена его была женщина наилучшего поведения и кротости; но крикливости, но строгости, но распутства его никак не могла долее снести и воспользовалась первою возможностью, чтоб остаться навсегда в доме матери своей.

Деятельность Аракчеева в делах артиллерии столько понравилась Императору Александру, что он сделал его еще в 1805 году военным министром[277], с званием генерал-инспектор всей пехоты. Император все возможное делал, чтоб поддержать его силою в лучшем мнении общества. Назвал полк его именем,

чему тогда не было примеров; велел отдавать ему от войск царские почести; ездил к нему в гости в село Грузино. Но Аракчеев, наконец, был недоволен нерадивостию Императора к делам войск во время Шведской войны в 1808 году; редко мог добиваться к нему с докладом дел, один раз даже выказавши Императору, что он его беспокоит собственно потому, что армия не его, но Его Величества, тогда Император прислал ему Андреевский орден, тот самый, который он сам носил. Однако Аракчеев на другой же день, удержав собственноручный Императора рескрипт на этот орден, — орден самый отвез Императору обратно, с извинением, что он сам признает себя его не заслужившим. В его министерство Император иногда его укорял, что его подчиненные крадут, — и он ему отвечал, что и он сам то же бы сказал, но что ущения за его послабление на это преступление он не заслуживает, ибо виновные всегда преданы суду. Он желал иметь более власти, а Император отзывался: «Что, разве тебе хочется быть Потемкиным?» Невзирая на сие, он подписом своим усилил Аракчееву врученное, дав ему, Аракчееву, неограниченную власть[278] в Финляндии в зиму на 1809 год, когда там был главнокомандующий Каменский[279], а второй генерал Барклай де Толли. Надобно было войскам нашим по льду перейти во двух местах через Ботнический залив; Аракчееву идти с Алан[д]ских островов, Барклаю в самом узком месте залива к северу, а Каменскому из Торнео идти берегом залива к Стокгольму же. Последние два исполнили на них возложенное, а Аракчеев пробыл несколько времени на Алан[д]ских островах и, не ведая, что его передовой отряд перешел залив, находился на пути к Стокгольму, не решился с своим главным войском идти туда же. В Стокгольме [в] это время сделалась перемена в правительстве! Густава IV свели с престола и возвели на него его дядю Карла XIII[280], а сей тотчас выслал предложение о мире с Россией, который и заключен с присоединением всей Шведской Финляндии к России. Тогда Император [спрашивал] Аракчеева, что он не перешел через Ботнический залив, и когда сей ему приводил, что это было бы подвергать войска к неминуемой гибели, что и без того желание Его Величества исполнилось в заключенном мире. Тогда сей отвечал ему: «Все-таки было бы лучше, когда бы знали, что мы были в Стокгольме».

По заключении мира со шведами Аракчеев решительно просил себе увольнение от Военного министерства, Император несколько этому противился, но при учреждении Государственного совета с начала 1810 года назначил Аракчеева в оном Совете председателем Военного департамента, а военным

министром Барклая де Толли.

Сим кончились на время частые сношения между Императором и графом Аракчеевым. Иногда Государь посылал ему на рассмотрение хозяйственные представления Барклая де Толли.

В начале же 1812 года Император Александр, отъезжая из Санкт-Петербурга к западной границе своего государства для приготовления встретить огромную нападающую силу всей Западной Европы под знаменами французского императора Наполеона, взял с собою, так сказать, лучшее извлечение своего совета Государственного, всех его председателей и государственного секретаря Шишкова. Итак, Аракчеев был в этом числе, но совершенно праздным, ибо начальником военных дел был Барклай де Толли <…>

Аракчеев мне сказывал, что он был совершенно празднен, доколе, наконец, наша армия отступила в укрепление лагеря на Двине у Дрис[с]ы[281]. Тогда он, [видя] крайний беспорядок в управлении войсками, однако давно решился войти к Императору с докладом <…> и со слезами предложил ему, при таком расстройстве военных дел, свою службу, какую бы то ни было. Император, также плача, обнял Аракчеева, приняв его предложение <…>. И вот начало его следующей деятельности в государстве, бывши всегда чужд всякого знания и своего отечества, в делах государственных совершенный слепец, даже никогда о них и не говоривший, так что во время моей служебной с ним связи, с 1814 по 1825 год — всего 11 лет, я ни 11 минут о государственных делах с ним не говаривал, хотя и имел в них его полную доверенность, даже невзирая на его на меня злобствование <…>

Начиная от Дрис[с]ы Аракчеев был все это время уже неотлучен от Императора Александра, хотя дел чрез его руки шло немного, ибо все производилось полководством, в котором скончавшегося Кутузова место заступил Барклай де Толли. Но способность Аракчеева, гражданская или военная, очевидно имела недоверенность государя, которому Аракчеев нравился только по старинному его предубеждению к своему фронтовому учителю и крайней Аракчеева готовности и деятельности исполнять ему от Государя приказанное и натолкованное. Аракчеев был *самый опасный придворный,* ибо он не видел, не знал, не имел и не хотел видеть и знать высокие достоинства в Государе его отечества; он с заботливостью высматривал и выкапывал все его государственные слабости, их лелеял, [по-собачьи как им угождать, притворяясь <…> простяком и невеждою в сравнении с Государем, всегда приговаривая по-

своему: «Вы, батюшка Ваше Величество, все знаете, а я ничего, ибо учен я на медные деньги».

Видя в продолжение семи лет вблизи и Императора и Аракчеева, я находил, что Государь, не имея никакого доверия к способности или дельности Аракчеева, даже и в честности его сомневался, но находил он его необходимым для его страстного предприятия учредить в огромнейшем виде военное поселение. Аракчеев был искренно против сего учреждения, не по рассуждению, но по безрассудности своей. Он мне, губернатору, в этом признавался, сказывая, что он за это дело взялся только потому, что оно было страсть Государя и он мог бы, за его отказом, возложить его на кого-нибудь другого, между тем как он видел возможность навсегда от этого дела иметь некое владычество у Императора, в чем действительно и успел, не [переставая], однако же, неусыпно и всенежно снискивать всеми мелочами благоволение Государя, дабы не лишиться его милости и не ввергнуться в ничтожество среди империи, чего он отменно страшился, видно, от укоризны совести или от зависти его сердца, которой не было никакой меры <…>.

Но Аракчеев при всем его достатке не пропускал себя забавлять скоплением денег, одною из его сильнейших страстей. Военно-провиантское ведомство всегда обращалось к нему за сеном, которого он из своей грузинской отчины ежегодно продавал до 5000 пуд. Ему комиссионер платил за него ту цену, которую он требовал <…> он захватил дровяной торг головы своей грузинской отчины, без явной вины захватил все его имущество тысяч на пятьдесят рублей и самого его отдал под суд, и когда сей присудил его к легкому только наказанию, то он настоял, чтоб его сослали в Сибирь на поселение, а сыновей его отдал в солдаты <…>. Издержки его по селу Грузину [состояли]: а) в содержании его дома; б) в строениях его прихоти и чванства. В Санкт-Петербурге он жил всегда в казенном доме, и от изобилия отпускаемых на отопку оного казенных денег имел себе выгоды даже до 5000 рублей в год <…>. Он был чрезмерно скуп и жаден на деньги, когда его чванство их не требовало. Он никого ими не награждал и ссуживал только своим ближайшим известным людям: Танеевой и Апрелеву <…>. С Танеевой и Апрелева он брал заемные письма, и когда видел, что они не в состоянии были ему заплатить, то он раза два посылал их письма, [в] тысячи четыре или пять рублей, им или детям их в подарок на именины. Вот жертвы его сим семействам, ему усиленно угождавшим, даже до низости <…>.

Приношение его в 1826 году 50 т[ысяч] рублей на пользу воспитания дочерей военного ведомства чиновников[282] и в 1833

году 300 т[ысяч] рублей на пользу воспитания в Новгородском кадетском корпусе дворян новгородских и тверских было движение его огромного излишества в денежном капитале и скорее злобы против кого-нибудь, нежели доброты <…>

# Н. А. Качалов[283]
# Записки

Замечателен случай, составивший карьеру Маницкого[284]. Аракчеев был всесильный человек и проживал в Грузине, на берегу реки Волхова. Император Александр I подарил Аракчееву свою парусную яхту «Голубку», служившую Императору вместо существующих паровых яхт. Для отвода этой яхты на реку Волхов был назначен морской штаб-офицер Маницкий и только что выпущенный из корпуса мичман Юрлов[285]. Когда Маницкий явился к Аракчееву и объявил, что яхту в Грузине провести невозможно, потому что она сидит в воде 8 фут, а вода в Волховских порогах только 2 фута, Аракчеев объявил, что требует, чтобы яхта была доставлена во что бы то ни стало. При исполнении он будет вечный должник Маницкого, при неисполнении — вечный враг. Яхту облегчили от всего, что только можно было снять, в порогах вытащили на берег и берегом протащили все пороги, с лишком 10 верст. Конечно, яхту не только поломали, но и исковеркали, но поправили и поставили против дома Аракчеева. За эту услугу Аракчеев составил быструю карьеру Маницкого и покровительствовал ему до смерти. За эту же сухопутную кампанию Юрлов, не бывший ни в одной кампании, произведен в лейтенанты и вышел в отставку <…>.

Яхта «Голубка» отслужила Аракчееву большую службу. В 1831 году, во время бунта новгородских военных поселений, толпа бунтовавших прискакала на Волхов против дома Аракчеева, стоящего на другом берегу, не посмела переправиться через реку, опасаясь 6 небольших пушек[286], бывших на яхте, и тем дала Аракчееву возможность уехать по дороге к Тихвину, в имение Алексея Петровича Унковского[287], где он и пробыл до усмирения бунта. Яхтой командовал морской унтер-офицер, исполнявший обязанность палача, — к нему отправляли всех для наказаний. Я не помню и не слыхал, куда девалась эта яхта.

Аракчеев большую часть года проживал в Грузине, и вся знать обоих полов считала своею обязанностью ездить на поклон к временщику[288]. Несмотря ни на какое высокое положение, никто не смел переправляться через реку и подъехать к дому, а все останавливались на другом берегу и посылали просить позволения. От того, скоро ли получалось это разрешение, измерялась степень милости или немилости приехавшим; нередко случалось, что приехавший получал отказ в приеме и возвращался в Петербург. Проезжали 120 верст на почтовых.

Начиная от Чудова до границы Тихвинского уезда, по дороге к Тихвину, Аракчеевым было устроено шоссе, существующее до настоящего времени. Во время всемогущества временщика шоссе было заперто воротами, устроенными в каждом селении, и Аракчеев дозволял проехать по своей дороге только тому, кому желал оказать особую милость, и тогда выдавал ключи для отпирания ворот. Все же проезжающие должны были ездить по невозможной грунтовой дороге, проложенной вдоль шоссе. Замечательно падение, почти моментальное, всех временщиков. Только что получено было известие о кончине императора Александра I, не было никаких официальных распоряжений, и сам Аракчеев, и вся Россия признала, что власть его окончилась. В это самое время проезжала в Петербург белозерская помещица (Екатерина Васильевна Рындина, бой-баба. Она топором разбила все замки на воротах шоссе, первая проехала без позволения, и с тех пор дорога поступила в общее употребление, замки не возобновлялись, и Аракчеев этому покорился <…>.

# А. И. Мартос [289]
# Записки инженерного офицера

1816 год я адъютантствовал при графе в Петербурге. Должность самая пустая — дежурить в прихожей комнате и зевать на Литейную улицу, — которую и исправлял я, как умел. Надобно вам знать, что граф часто давал мне и прочим намеки, что кто служит при нем адъютантом, должен вменять себе в особую честь, чего мы не догадывались и подлинно как были просты. Его влияние при дворе было самое сильное, одним словом — друг Царя, первый министр, должность приятнейшая делать добро, творить людей счастливыми, отереть слезы невинности, быть защитником против несправедливости и, владея сим небесным даром, так сказать, выйти вне сферы обыкновенного человека и передать свое имя, подобно Колбертам, Сюллиям, Долгоруким[290], потомству и бессмертию. Но сколько людей, столько и склонностей <…>.

В августе месяце мне приказано ехать Новгородского уезда в Высоцкую волость, снять все деревни, описать и сделать дорогу. Я прежде приехал в Новгород, откуда отправился водою вниз по реке Волхову в село Высокое. Потом мне велено описать ближние леса, отыскать глину, песок; я отыскал и описал, и все еще не знал, что будет из тех подробностей. Несколько квартирмейстерских офицеров там же, еще до меня, работали топографическую карту. <…>

26 сентября граф дал мне ордер управлять Высоцкою волостью, в которой должен поселиться его полка гренадерский баталион[291]; тогда сомнение исчезло, я должен был повиноваться и все еще не понимал во всем смысле слова: поселять войска в России, с которой берут рекрут когда хотят и делают с ними что хотят. <…>

Захотелось поселить войска ближе к Петербургу, и как по почве земли не найдено хуже Новгородской губернии, то и брошен на нее жребий, не говоря о Петербургской губернии, которая еще беднее и хуже Новгородской. Здесь зима продолжается шесть месяцев, три грязной распутицы и только три месяца хорошего времени, когда крестьянин должен убрать и засеять поле, сенокосы и сими тремя месяцами обеспечить годичное содержание своего семейства. Рожь при хорошем урожае более не дает, как сам-пять, а овес сам-третей; землю чрезвычайно много удобривают навозом, иначе зерно не дает никакой прибыли, а посему зажиточному хозяину надобно

держать скота как можно более. Места при Волхове приятны, и всюду, где была возможность, трудолюбивая рука пахаря в лесах расчистила нивы и луга; болота, мхи, топи, грязные речки и ручьи лежат вокруг тех расчистков, так что, кажется, должно ограничиться тем, сколько поля имеет всякий хозяин, ибо больше почти неоткудова взять. Вот главнейшая причина неудобств жизни в тамошнем краю; я удивился, когда в декабре месяце крестьяне приходили у меня спрашиваться ехать в Новгород за покупкою муки, ибо своей уже не становилось, и посему декабрь, генварь, февраль, март, апрель, май, июнь и до половины июля, до нового хлеба, жители должны покупать хлеб. Вы спросите: чем же они кормятся? Худое хлебопашество заменяется другими выгодами: они продают в Петербурге сено, дрова, телят, которых нарочно отпаивают, домашнюю птицу, иные ездят с рыбою и сими изворотами живут порядочно. <…>

Крестьяне были подчинены мне, а поселенный батальон стоял у них по квартирам в 23 деревнях; они вышли из всякой зависимости гражданского начальства: я творил и суд, и расправу, я был Харон с тою разницею, что этот проказник перевозил существа, переставшие чувствовать, а я приуготовлял к перевозу таких же двуногих животных, без перьев, в жизнь адскую [в] сравнении с их прежней. Теперь навязалась мне проклятая комиссия писать обо всем графу; я имел случай узнать, как он мелочен: почти все конверты сам печатает[292] и надписывает адресы (все это, разумеется, ко мне), имел случай узнать всю его коварность и злость, превышающую понятие всякого человека, образ домашней жизни, беспрестанное сечение дворовых людей и мужиков, у коих по окончании всякой экзекуции сам всегда осматривает спины и …. и горе тому, ежели мало кровавых знаков! Это не выдумка, клянусь вам; я лучше умолчу, боясь оскорбить ваше самолюбие; но да избавит Промысл от подобных добродетелей и вас, и каждого. Я вам скажу один случай о занятиях сего государственного человека, а множество подобных укажут вам масштаб измерять его занятия. В деревне Тигодке одна баба сушила в бане лен, и когда она затопила печь, то загорелась соломенная крыша; это часто бывает, и для того из предосторожности крестьяне всегда становят бани в отдаленности от жилья, близ воды. Должно было графу писать; пишем, переписываем, печатаем, посылаем (в противном случае беда за умолчание о столь важном предмете). Граф, как человек деятельный и неутомимый, во все входящий, знающий всю подноготную (это не выдумано, но его самые слова), пишет мне своею рукою: деревни Тигодки женщину, вдову, Матрену Кузьмину, от которой загорелась баня, высечь розгами

хорошенько и проч. Какие высокие мысли! Какая логика! Какое утонченное занятие, в такое время, когда просителям, у порога стоявшим с убедительными просьбами о притеснениях, отказ за отказом. Признаюсь, что мне часто хотелось поймать графа в неаккуратности, коей он страшный враг, и доложить, что в таком-то повелении он забыл включить, по чём именно высечь хорошенько Аглаю, сушившую в бане лен. Недостаток аккуратности! <…>

Тогда [1817 год] я занимался при построении домов в селе Высоком, которое сгорело. Бухмейер был главный директор-строитель, попросту сказать: и повар, и кучер, хотя он столько же смыслил архитектуру, как и татарский мурза. Начали громоздить домы, сделали проходные сени, разделяющие связь[293] на два жилья, по бокам избу для хозяина в три сажени квадратных, рядом комнату для постояльцев, не больше трех шагов длины, а как поставили печи, то и повернуться почти негде. Все это не мешало снаружи дать симметрию, насыпать булевар; даже на [печных] заслонках, литых здесь на чугунных заводах, изображены купидончики: где, играючи, коронуют себя веночками, другие малютки из чугуна пускают мыльные пузырьки. Подлинно, что пустили мужикам мыльные пузырьки. Издержка непомерная; но все сии новые домы, объявившие войну хозяйственному расположению, представляют глазам путешественника приятную деревню. Они те же казармы, где нисколько не портятся нравы и где честность, доброта, гонение кражи и мошенничества имеют непреложный престол. <…> Перновского полка батальон вошел в Халынскую отчину Новгородского уезда, на реке Мете и частию на большой Московской дороге, близ яма Бронниц. <…> Халынские мужики ни за что не хотели переменить свою одежду <…>.

Когда царская фамилия в половине сентября месяца проезжала в Москву через Бронницы, за несколько верст вдруг выходят из лесу несколько сот крестьян и останавливают великого князя Николая Павловича, ехавшего с молодою княгинею[294] и ее братом принцем прусским Вильгельмом[295]. Можете судить, сколь поразила подобная встреча (незваных, прибавлю); они все бросаются на колена, плачут, криком своим просят, дабы их пощадили. Женщины и девки пели primo в сей мелодии; но великий князь отделался словами и продолжал дорогу. Прекрасный пример пруссакам о нашем домашнем благоденствии, улучшении, счастии и пресчастии. <…> Халынские жители отдавали свои домы, свое имущество, все, что нажили подлинным трудолюбием, лишь бы их оставили в покое. «Прибавь нам подать, требуй из каждого дома по сыну на службу,

отбери у нас все и выведи нас в степь: мы охотнее согласимся, у нас есть руки, мы и там примемся работать и там будем жить счастливо; но не тронь нашей одежды, обычаев отцов наших, не делай всех нас солдатами» — эти их слова я часто сам слышал, в Бронницах будучи. <…>

# Е.Ф. фон Брадке [296]
# Автобиографические записки

В 1817 году последовало Высочайшее повеление откомандировать полковника Паренсова[297] и меня в распоряжение графа Аракчеева по военным поселениям, и поэтому, после весьма лестных прощальных отзывов со стороны Барклая и Дибича, я был отправлен в Москву, где в то время находился двор, а при нем и граф Аракчеев, которого я для краткости просто буду называть графом.

Принятый этим в то время всесильным человеком с величайшею любезностью, получил я от него позволение повеселиться в Москве, и точно, в течение двух месяцев, мною там проведенных, меня почти ничем не занимали. <…>

Помнится, в апреле месяце получили мы оба от графа приглашение прибыть в его великолепное имение — Грузино. Приехав туда вечером, мы были тотчас отведены полицеймейстером в назначенные для нас нумера, которых в особых флигелях находилось несколько десятков, весьма удобно устроенных. Нам подали и чаю, но с таким скудно определенным количеством белого хлеба, что мы никак не могли им насытиться и просили добавления; слуга вернулся через несколько времени с извинением, что он не мог нигде отыскать графа, и мы тогда узнали, что поданная нам порция хлеба определяется им самим для каждого гостя и не может быть увеличена без его соизволения. Вскоре после того мы получили извещение явиться на другой день ко второму завтраку, после которого граф намерен с нами заняться. Таким образом, мы оказались свободными все утро до 12 часов и осмотрели это великолепное жилище, во многих отношениях едва ли имеющее себе подобное по чисто царской роскоши и отделке. Двухэтажное каменное здание скорее слишком мало для своего назначения, но выстроено и отделано с роскошным комфортом; вы могли там найти совершенно просто расставленными драгоценнейшие предметы из Парижа, Лондона и Италии, великолепнейшие картины и образцовые произведения знаменитейших ваятелей — большею частью подарки Государя и царской фамилии, желавшей тем польстить привязанности графа к своему Грузину. Против дома, на расстоянии 150 саженей от него, стоит прекрасный собор, украшенный богатейшим образом; это единственная соборная церковь в частном имении. Между этими двумя зданиями выстроенные для гостей домики составляли красивую

улицу. Парк величествен, и прекрасная река Волхов, на берегу которой он расположен, еще умножает его прелесть. Все это украшается множеством хозяйственных построек, в том же стиле сооруженных, кладовыми, руинами и беседками. Целая флотилия, большею частью Государем подаренная, во главе которой находилась построенная для Государя в Англии яхта, которая была отделана по-царски, вооружена матросами, под командою флотского офицера — все это, вместе взятое, придавало этому месту вид царской летней резиденции. Из парка можно было обозреть почти все имение, состоявшее с лишком из 3000 душ. Прекрасные деревни, множество домов с зеркальными стеклами, соединенные между собою шоссейными дорогами, представляли весьма живописную общую картину.

К имению принадлежит огромное пространство земли. На Волхове имеются луга, с которых кроме сена, употребляемого во множестве на хозяйство, поступает в продажу до 20 тысяч пудов; таким же образом и лес, разбитый на участки, дает ежегодно от 8 до 10 000 рублей дохода. Казенные повинности крестьян обеспечены особым капиталом, процентами с которого они покрываются; равным образом помещены в Банке особые капиталы: для ссуды крестьянам, для ремонта строений, словом, для всех правильно наступающих расходов по имению[298]. И при всех этих нескончаемых выгодах сельское население чувствовало себя очень несчастным: деспотический характер графа ставил крестьянина в положение, которое не согласовалось с его бытом. Вообще все внутреннее и внешнее управление сопровождалось неумолимою строгостью и обременительною любовью к порядку. Обеденный стол графа был весьма хорош, но порции не должны были превышать известной меры; так, например, куски жареного или котлеты были определены по числу гостей, и горе тому, кто возьмет две котлеты: он мог рассчитывать на долгое преследование со стороны графа. Малейшая пылинка на стене, едва приметная для микроскопического наблюдения, имела последствием для слуги палочные удары и арест — для чиновника.

Мне хотелось предпослать это описание Грузина и его управления, чтобы сразу дать живое понятие о человеке, который играл столь важную роль в судьбах России.

В 12 часов явились мы в главное здание; нас провели немедленно в столовую, где мы были приняты графом не как подчиненные, а как дорогие гости знатного помещика. После завтрака и небольшой прогулки в парке, где он весьма благосклонно показывал нам все достопримечательное и водил нас даже в молочную, весьма красиво устроенную, прошли мы в

его кабинет, где он принял тотчас официальный, хотя и дружественный тон. Здесь мы были ознакомлены с ожидавшим нас назначением: нам предстояло определять линии построек, приготовлять поля, луга и пастбища для новых поселенцев, для чего предоставлялось в наше распоряжение известное число баталионов; затем мы должны были наблюдать за окончательною обработкою полей, покуда они не достигнут вполне удовлетворительного состояния. Когда же мы, каждый по-своему, заявили, что мы не имели ни малейшего понятия о сельском хозяйстве, что осушение болот и оплодотворение земли не входило ни на практике, ни по теории в состав наших занятий, то суровое выражение отразилось на лице графа, и он сказал нам, что он не привык выслушивать подобные неосновательные отговорки, что всякий служащий обязан выполнять возлагаемые на него обязанности, что он не желает слышать ни о каких затруднениях и что мы должны готовиться к этому труду без всяких возражений, несовместимых с служебными обязанностями.

Три дня нас приветливо угощали в Грузине; совершались прогулки сухим путем и водою на прелестной яхте и на роскошно убранном ялике, причем нас сопровождала музыка; часа по два ежедневно излагал он нам свои планы и предположения, и мы, однако, вновь утверждали, что при всем нашем желании мы, по незнанию, ничего не сумеем сделать путного. Наконец он весьма милостиво отпустил нас с заявлением, что им уже даны нужные приказания для выполнения наших требований. И так мы покинули Грузино, чтобы поближе присмотреться к делу на месте и затем внимательно взвесить все эти обстоятельства по отношению к нам лично.

Переехав в поселения, старались мы собрать все возможные сведения, относящиеся до их учреждения и до руководящих или основных положений, и результатом наших изысканий были следующие данные, которые я, во избежание повторений, здесь излагаю в том виде, как они мною были усвоены лишь после десятилетней опытности.

Императора Александра I весьма часто и болезненно смущала мысль, что солдат, выступая на защиту отечества, лишен даже утешения предоставить своей жене и детям особый кров, где он мог бы с уверенностью найти их по окончании службы. Многие планы возникали в умах его приближенных, чтобы пособить этой нужде, но они все оказывались неудобоисполнимыми, тем более что потребные к тому денежные суммы во многом превышали действительные средства государственной казны. Наконец остановились на той мысли, что следовало воспользоваться находящимися в Новгородской губернии обширными поместьями

казенного ведомства для доставления нескольким полкам постоянных квартир, где бы они могли в мирное время заниматься хлебопашеством и ремеслами, пользуясь полным благосостоянием, причем и военные упражнения продолжались бы своим чередом, так что их участие в войне также от этого не пострадало бы, но, напротив того, защита собственного очага еще могла усилить их мужество. Этот проект удостоился полнейшего одобрения Государя: его доброжелательной душе рисовались в будущем идиллии Геснера[299], садики и овечки. Но граф Аракчеев сначала был решительно против этого и был вынужден изъявить свое невольное согласие лишь из опасения, что тот, кто примет на себя выполнение этой любимой мечты, может сделаться его опасным соперником.

Таким образом, графу было поручено вначале поселить 1-ю гренадерскую дивизию, состоявшую из 6 полков (в количестве 18 тыс. человек) на берегу Волхова или в другой местности, на государственных землях Новгородской губернии. Когда для того было определено примерно 1200 кв(адратных) верст с принадлежащим к ним населением, то все это было передано графу в его управление, и постановлены следующие правила: все Домохозяева крестьянских дворов и все в хозяева годные были утверждены в звании хозяев, но в то же время зачислены солдатами в поселенные полковые баталионы; все остальные совершеннолетние крестьяне поступали солдатами в действующие баталионы и служили к их укомплектованию. Из несовершеннолетних крестьянских детей были образованы баталионы кантонистов[300], из которых достигшие законного возраста также вступали в ряды действующих баталионов, если только они в качестве наследников хозяев не должны были принимать на себя хозяйства. Каждая рота состояла из 228 хозяев, а образованный из четырех рот поселенный баталион — из 1012 домохозяев. Это количество, при недостатке наличных домохозяев, было пополняемо из соответствующих полков, причем выбирались люди надежные и преимущественно такие, которые обладали некоторыми познаниями и опытностью в земледелии.

Предполагалось поселить роты в целом их составе из 228 домохозяев в одном месте, полковые штабы устроить среди самых полков, соединив их шоссейными дорогами. Каждому домохозяину имелось в виду предоставить несколько сот кв[адратных] сажен огородной земли, $4\,{}^{1}/_{2}$ десятины пашни, разделенной на три поля, необходимое количество лугов и пастбище. У каждого поселенного хозяина должны были квартировать два солдата, по одному из каждого действующего

баталиона; он обязан был содержать их, а они в свободные часы помогать ему по его хозяйству. Потребное количество скота и земледельческих орудий следовало правительству раз навсегда припасти для каждого домохозяина. Это учреждение должно было начаться с полка графа Аракчеева, поселенного вдоль Волхова поблизости от Грузина, на расстоянии 30–40 верст от него.

Итак, мы заняли наши первые квартиры при этом полку и начали поближе присматриваться к делу. В числе предлежавших нам задач самою подходящею к кругу действий офицеров Генерального штаба была съемка местности для определения полковых штабов и рот, дорог, полей, лугов и пастбищ; а потому мы начали с обучения прикомандированных к нам офицеров практическим приемам съемки, и дело пошло так хорошо, что затем многие из этих планов удостоились Высочайшего утверждения. Но вскоре мы получили извещение, что будет прислан баталион для расчистки и осушения болот, и мы стали готовиться к тому, чтобы 250 рабочих сил могли быть употребляемы ежедневно с пользою. Тут дело шло плохо, так как о подобных работах мы положительно не имели никакого понятия. Правда, что были выписаны и прочитаны книги, но много ли это могло нам пособить, а потому и стали мы искать изустного наставления. Множество офицеров было здесь собрано для выполнения всех предстоявших столь различных задач; но при ближайшем знакомстве мы убедились, что, за исключением некоторых офицеров путей сообщения, никто не занимался никогда тем, что ему было поручено, и к тому не готовился: это был настоящий хаос. Не требовалось особенной проницательности, чтобы с достоверностью предположить, что первый год наших трудов не будет блестящим. Так как от этих господ многому нельзя было научиться, то мы разыскали разумных крестьян, поступили к ним в учение, кое-что изучили и затем развили с помощью чтения и размышлений. Тем временем прибыл баталион, и наши ловкие солдаты вскоре сами настолько приспособились к делу, что нам оставалось только указывать им на некоторые облегчения, принимать меры к устранению несчастий и ближайшим образом определять ежедневное количество работы.

Относительно болот и самая мудрость наших солдат простиралась недалеко, но, к счастью, в этом полку болота были менее значительны, и наши первые работы так хорошо нам удались, что некоторые болотистые местности, имевшие около квадратной версты в округе, по истечении двух лет могли быть употребляемы для посева овса. Вначале еще не могло быть и речи о разделении полей и раздаче земель домохозяевам, так как

прежде всего следовало обратить землю в пахотную, а потому и пользовались мы досугом для приобретения некоторых сведений по этим предметам. Граф неоднократно навещал нас, выражал свое удовольствие и преподал нам наставление, что с доброю волею можно всего достигнуть, и потому всякое колебание в предприятии чего-либо изобличает дурное намерение; наше возражение, что мы все-таки, наверное, наделали множество ошибок, которых человек сведущий легко бы избегнул, он не захотел признать справедливым…

Только этот год служили мы вместе с Паренсовым. Позднее у нас были разные обязанности, а летом я находился в непосредственном сношении с графом, который стал явно не доверять Паренсову по причине его увлечений. Между тем работы становились все значительнее и простирались на все поселенные полки В некоторые годы число баталионов доходило до 20 и 30, так что я мог ежедневно употреблять на работы до 5 и даже до 7 тысяч человек. Офицеров у меня тоже бывало человек по 30 и более: я имел право выбирать их по мере надобности изо всех войск военных поселений. С апреля по октябрь мы проводили в поселениях, а на зиму собирались в Петербурге…

Что же касается до моего личного положения в военных поселениях и по отношению к графу Аракчееву, то оно обрисовалось довольно оригинальным образом. Я поступил под начальство графа подпоручиком, двадцати лет от роду. Избалованный своими прежними начальниками, с преувеличенными понятиями о чести и с твердо установившимся сознанием своего достоинства, я, собственно говоря, не был подготовлен к службе при человеке, который в своем умственном высокомерии едва ли считал своих подчиненных людьми и часто обращался с ними en canaille[301]. Так как многие другие молодые люди, разделявшие мои чувства, были прикомандированы к поселениям, как, например, известный скрипач Львов[302], состоявший в то время поручиком путей сообщений, то мы вначале постоянно прощались друг с другом на долгое время всякий раз, что граф требовал нас к себе, твердо решившись не выносить никаких грубостей, а естественным последствием подобного образа действий несомненно было бы заточение в Шлиссельбургские казематы. Но эти опасения продолжались недолго: наше строго выработанное, полнейшее подчинение, при твердом обращении, произвело на графа благоприятное впечатление, а строгое выполнение возложенных на нас обязанностей, без всякого внимания к личным затруднениям, нравилось ему, и хотя он называл нас своими «carbonari»[303], но обращался с нами учтиво и приветливо, так что мы, молодые и

незначительные офицеры, находились в исключительном положении по сравнению с важнейшими чинами, его окружавшими. Когда он желал досадить нам или выразить свое неудовольствие, он обращался к нам в третьем лице: «В наше время молодые люди делают то и то»; имеют «те или другие взгляды» и т. д., причем мы, по зрелом обсуждении, решились на эти косвенные нападки не возражать и не высказывать досады, что было весьма трудно выполнить, потому что он мастерски умел отыскивать и затрогивать чувствительнейшие струны человеческого сердца. В позднейшие голы случилось однажды, что, после долгого подавления в себе досады, я наконец не выдержал, просил его уволить меня по расстроенному здоровью и, выходя из его кабинета, захлопнул за собою дверь с такою силою, что оконные рамы задрожали. Вернувшись домой и придя в себя, я стал ожидать фельдъегеря и отправления в Шлиссельбург; фельдъегерь действительно явился — но для приглашения меня на другой день к обеду, за которым граф посадил меня подле себя и обращался со мною как с почетнейшим гостем. Объяснить этот кажущийся непонятным поступок психологически довольно легко: граф был взволнован, желал в виде утешения и меня вывести из себя, и когда это не удалось ему, то мое наружное хладнокровие еще более его раздражило; а затем, при возбужденном во мне раздражении, он почувствовал себя весьма удовлетворенным. Впоследствии я имел много случаев убедиться в справедливости моих выводов; в особенности в тех случаях, когда, как и в настоящем, высокое государственное положение графа исключало всякое подозрение о желании оскорбить его. В первые годы моей службы под его начальством однажды сказал я ему: «Ваше сиятельство даете мне иные поручения, противоречащие моим убеждениям. Позвольте мне в таких случаях предъявлять вам мои соображения, и за это я вам обещаюсь, когда приказание ваше будет бесповоротно, исполнять его с таким же искренним усердием, как если бы оно вполне согласовалось с моим мнением, разве только вы прикажете (чего трудно ожидать) исполнить что-нибудь вопреки моей совести. В сем последнем случае я, конечно, выскажусь вам почтительнейше и стану спокойно ожидать моей участи». Долго смотрел он на меня испытующим взглядом. Просьба моя, очевидно, была для него новостью, и он как будто не знал, что сказать на нее, но через несколько минут последовал спокойный и решительный ответ: «Хорошо». Этим «хорошо» я воспользовался при первом случае; тогда в разговоре нашем он начал меня запутывать и забрасывать разными боковыми вопросами и замечаниями. На первых порах мне было чрезвычайно трудно

защищаться против его сильной логики, великой изворотливости в речи и против несравненного преимущества направлять самому прение, а не подчиняться ходу оного. Впоследствии я приобрел нужную для того опытность и стал сдерживать свою горячность. Впрочем, он никогда не соглашался прямо с моим мнением, но при окончательном исполнении отдавал приказание, измененное на основании мною заявленных доводов; и нередко он делал мне же косвенный упрек, будто я не понял его как следует. Я, разумеется, отмалчивался, довольный тем, что достиг своей цели. Отлично зная людей и притом специально искусившись в расследовании людских страстей и дурных склонностей, он пользовался этими познаниями с отменною ловкостью и лукавством. Самолюбие мое отлично им эксплуатировалось и доводилось до крайнего напряжения. Тогда я заметил, что очутился в его власти, и лишь после долгих усилий удалось мне освободиться от этих оков. Одно время выражал он мне желание ввести меня в свой тесный домашний круг; но так как он жил в разводе с своею женою и его домашний быт олицетворяла собою личность, бывшая его любовницею и теперь еще находившаяся в двусмысленных к нему отношениях, то я счел неприличным отвечать согласием на подобное предложение. За это он никогда не выражал мне своей досады, и когда я даже один с ним обедал, то эта дама не появлялась к столу, хотя важнейшие сановники и светлейшие государственные вельможи постоянно ухаживали за нею и почитали за честь принимать участие в ее многочисленных и пышных собраниях. Такое внимание к утонченному чувству мелкого офицера заслуживает, во всяком случае, особенно благодарного признания, тем более что оно проявляется весьма редко и, напротив того, навлекает часто преследование на главу непреклонного. По службе граф выказывал мне величайшее доверие; по моим аттестациям полковники и генералы получали благодарности или выговоры; он часто употреблял меня, чтобы сглаживать неудовольствия и придавать новое движение остановившимся предприятиям. С Паренсовым дела постоянно шли нехорошо: вначале его устранили, поручив другие занятия, а потом по его желанию вернули в Генеральный штаб, а мне была передана, в чине капитана, важная должность обер-квартирмейстера военных поселений, причем корпусные обер-квартирмейстеры, полковники и генералы, фактически мне были подчинены. Неохотно лишился я этого верного друга, с которым, при всем затруднении наших взаимных отношений, никогда у нас не было ни малейшего несогласия или недоверия.

В мае или июне 1819 года, еше будучи в капитанском чине, я был вызван из военных поселений в Петербург к графу. Когда я к

нему представился, он ввел меня в кабинет свой, разложил карту и сказал: «Цвиленев (генерал-лейтенант, начальник поселений в Могилевской губернии)[304] прислал на утверждение мое множество представлений поделан, которые зависят совершенно от местных условий. Поэтому я посылаю туда вас, чтобы вы на месте дали ему именем моим нужные разрешения. Вообще вы приведете тамошние хозяйственные дела в такой порядок, чтобы они потом могли идти без помехи. Я написал Цвиленеву, что вы знаете мою волю и сообщите ему ее и чтобы он считал ваши распоряжения за мои приказания. Я испугался и стал говорить графу, что поручение столь важное превышает мои силы, что я ничего не смыслю в сельском хозяйстве и не умею отличить овса ото ржи. На это он очень спокойно отвечал: — Это глупости. Поручения должны быть исполняемы, коль скоро на нас лежит служебная обязанность». — «Но, — сказал я, — если я исполню их дурно по действительному неведению?» — «Так я отдам вас под суд», — отвечал он мне в утешение. Тем кончилось наше первое объяснение. Второе не было успешнее. Я принял в соображение, что в самом деле не было налицо другого чиновника, который бы знал это дело, и, положившись на успех моих новгородских занятий, решился, чтобы совсем не оставлять служебного поприща, послушаться. Четыре месяца пришлось мне прожить в Могилеве, Я кинулся собирать местные сведения, работал и обсуждал, учился и учил в одно и то же время и наконец оставил генералу Цвиленеву общее наставление о хозяйственном управлении колониями. По возвращении в Петербург граф выразил мне полнейшую благодарность, но прибавил с насмешкою: «Видишь, все идет хорошо, коль скоро есть добрая воля». Я отвечал, что доброй воли тут мало, а надобно знать дело, с чем он решительно не согласился.

Скажу несколько слов о том, как мы жили. Летом работы начинались в 4 часа; от 11 до 1 или 2 часов отдых, обед и сон; затем опять работы до 8 часов. Зимою мы занимались в штабе военных поселений постоянно от 8 до 3 часов; но всего послеобеденного времени едва доставало, чтобы управиться с занятиями на дому. Часто приходилось сидеть до поздней ночи и затем приниматься за дело в 4 часа утра. В одну зиму я должен был ходить к графу с докладами по два раза в день: занятия шли беспрерывно, днем и ночью, и чиновники денные сменяли ночных. О воскресеньях и праздничных днях не было и помину. Я едва успевал причаститься св. тайн, не то чтобы навещать кого-нибудь.

Трудное было время. Мы его выносили, пока оно длилось, а начинать опять такую жизнь никто бы по доброй воле не

согласился. Но нам выбора не было. Большая часть чиновников не имели состояния, а кто уходил от графа против его воли, тому уже нельзя было нигде определиться[305]. Не было, таким образом, и поблажки суетности, которая легко могла развиться по моим отношениям к остальному миру: перед именем графа отворялись двери во всех ведомствах и у знатнейших сановников государства; всюду допускали нас и принимали с отменною вежливостью.

В 1819 или 1820 году шефом штаба военных поселений назначен полковник Клейнмихель, занявший таким образом очень важное положение. Он был крестный сын графа и находился к нему как бы в родственных отношениях, что для Клейнмихеля было скорее вредно, нежели выгодно, так как, на основании этого духовного родства, граф обращался с ним, уже нисколько не стесняясь. Сначала не обращали внимания на Клейнмихеля и, когда он захотел входить во все дела, нередко отстраняли его; но с приобретением большей опытности и в силу его сердечного и духовного самопожертвования графской воле с ним освоились, и влияние его становилось все сильнее. Выгоды от того, конечно, не было, так как вместо одного начальника приходилось иметь дело с двумя…

Думаю, что мне не следует покидать этого предмета, не коснувшись государственного положения и характера графа Аракчеева, насколько они для меня выяснились за то время, когда я находился под его начальством, по близости моих к нему отношений и вследствие дружественного обмена мыслей с моими товарищами.

Аракчеев происходил от древней, но весьма недостаточной фамилии Тверской губернии; как он мне сам рассказывал, все его воспитание обошлось в 50 рублей ассигнациями, выплаченных медными пятаками. По окончании курса в артиллерийском училище он долгое время давал уроки математики, попал наконец в Гатчину, где жил великий князь Павел Петрович, и заслужил его милостивое расположение. В царствование императора Павла мы видим его комендантом Императорской Главной квартиры и генерал-квартирмейстером, с редким в России титулом барона, живущим в Зимнем дворце и вскоре после того «выброшенным» из службы, как было буквально выражено в дневном приказе, и сосланным в его поместье Грузино, полученное им от Государя в подарок. Поводом к этой последней катастрофе послужил, как мне передавал один из его близких родственников, следующий случай. Тогдашний барон принял незадолго до того в число своих приближенных одного иностранца, ему неизвестного, но которого ему рекомендовали с

хорошей стороны и который числился в чине подполковника при нашем Генеральном штабе[306]. Однажды, в минуту сильного раздражения, барон высказал ему несколько глубоко оскорбительных слов, после чего подполковник решился застрелить Аракчеева и потом сам застрелиться. Он уже явился в Зимний дворец с заряженными пистолетами в кармане. Когда ему выяснили все безумие подобного поступка, то он, правда, отказался от него, но несколько дней спустя всадил себе пулю в лоб, оставив после себя письма к Государю, Наследнику[307] и некоторым государственным сановникам. По этому случаю поднялась буря негодования против Аракчеева при дворе и в городе, и даже Государь и Наследник ожесточились против него, и совершилось то, что было выше сказано. Лишь за несколько дней до кончины Императора Павла получил он прошение и был вызван обратно, Наследник никогда не отзывался об Аракчееве с выгодной стороны, и человеколюбивая, кроткая душа Монарха была слишком противоположна природе Аракчеева, чтобы можно было опасаться когда-либо сближения между ними, а между тем все-таки взяло верх соображение, что не следует оставлять без пользы такие замечательные дарования: ему была поручена артиллерия, находившаяся в то время в плачевном состоянии, и он ее совершенно преобразовал и, по крайней мере, приравнял к артиллерии, существовавшей в то время в остальной Европе. Потом он был несколько лет военным министром, покинул это поприще (по собственному ли желанию или вопреки ему), занимал затем разные обыкновенные должности, был впоследствии членом Государственного совета и Комитета министров, но находясь постоянно в числе ближайших особ, окружавших Государя. Здесь удалось ему приобрести все большее и большее влияние на дела государственные, и, наконец, в его лице, без особенного официального звания или положения, сосредоточилось все внутреннее управление империи, с непосредственным подчинением ему собственной императорской канцелярии. Все представления Государственного совета и Комитета министров восходили через него на Высочайшее усмотрение, и через него объявлялись все Высочайшие повеления. Таким образом, за исключением вопросов внешней политики и отчасти военного управления, состоял он как бы посредником между Монархом и государством, и, в силу особого Высочайшего указа, все объявляемые им от имени Его Императорского Величества повеления должны были приниматься за подлинное выражение монаршей воли[308]. Последовавшее затем создание военных поселений хотя и не послужило к умножению его власти, но усилило милостивое к нему расположение Государя, который

питал к этому вопросу сердечное участие. Неожиданная кончина Императора Александра застигла его на этой высшей ступени почестей, доступной для подданного, и Император Николай также продолжал оказывать ему благоволение и уважение, как ближайшему сотруднику покойного Монарха. Но тут сам собою начал возникать разлад. Новый Государь желал действительно быть самодержцем, что и принадлежало ему вполне в силу божественного и человеческого права, а граф, напротив того, считал бразды правления своею принадлежностью. Этот разлад очень легко разрешился. Государь приказал управляющему собственною его канцеляриею, статс-секретарю Муравьеву, перевести канцелярию из квартиры графа в Зимний дворец и докладывать ему дела лично, а не через графа. Государственный секретарь и управляющий делами Комитета министров были оставлены в непосредственные отношения к Его Императорскому Величеству, и таким образом граф был устранен, причем даже не было потрачено ни одного листа бумаги. Только военные поселения были ему оставлены, но его честолюбие не могло этим удовлетвориться, и он просил отпуска за границу[309], причем обнаружились разные проявления, ясно свидетельствовавшие о его раздражительности и высоком о себе мнении и оставленные императорской фамилиею без внимания. За границей напечатал он на французском языке письма Императора Павла и Александра и некоторых других членов царской фамилии, адресованные на его имя[310], и так как он не испросил на это, как бы следовало, Высочайшего соизволения и эти письма в некоторых отношениях не могли быть напечатаны, то все наши посольства получили повеление препятствовать их появлению в свет и перекупить все уже изданные экземпляры, так что, сколько мне известно, действительно из них ничего не сохранилось в обращении. Что затем совершилось — неизвестно: отказался ли он добровольно или вследствие полученного внушения от официального значения, это составляет тайну между ним и Императором Николаем и могло быть известным лишь весьма немногим, но достоверно одно, что он прямо отправился в Грузине, что ему оставлено все его содержание и дом в Петербурге и, согласно его желанию, предоставлено в его распоряжение несколько чиновников. Здесь мог бы он, при наступившей старости, благополучно и в почете довершить свое земное существование, пользуясь теми отличиями, которые и теперь еще часто оказывались ему от царских щедрот, и при таких доходах, которые несравненно превышали все его потребности; но честолюбие — такой червь, который никогда не умирает в отчужденном от Бога смертном, и к этому еще присоединилось

болезненное опасение, при всем своем избытке, умереть с голоду. Словом, он влачил жалкое существование и умер непримиренный с собою, без утешения и отрады; ни единая слеза сострадания не омочила его смертного одра. Так как, в силу сохранявшегося по повелению Императора Александра в Сенате духовного завещания его, титул графа Аракчеева должен был перейти к его наследнику, а между тем этот наследник им указан не был, и по смыслу самого завещания назначение наследника предоставлялось в подобном случае на усмотрение Государя, то Император Николай, по вскрытии духовного завещания, предоставил его наследство Новгородскому кадетскому корпусу, который и поныне носит название Новгородского графа Аракчеева кадетского корпуса и пользуется всеми доходами с его весьма значительного имущества.

Коснувшись, таким образом, внешней стороны деятельности графа, насколько я сам был тому свидетелем, и затем вкратце и последующего ее развития, я полагаю, что я обязан упомянуть и о внутренней жизни этого бесспорно замечательного человека, чтобы выяснить причину его необычайного государственного положения.

Что Аракчеев был человек необыкновенных природных способностей и дарований, едва ли может быть подвержено сомнению со стороны тех лиц, кто его хоть несколько знал и кто не увлекался безусловно своими предубеждениями. Быстро охватывая предмет, он в то же время не лишен был глубины мышления, когда сам того желал и когда она не вовлекала его в противоречия с предвзятыми его намерениями. Его образование ограничивалось математикою и военными науками, в которых он обладал обширными познаниями; история и литература промелькнули мимо него, оставив, впрочем, за собою некоторый след; но история, как основание государственного развития, и вообще государственное право были ему вполне неизвестны, и он даже почитал все возникшие на этой почве понятия и теории совершенною бессмыслицею и весьма искусно умел осаживать и осмеивать людей, которые толковали об этом заученными и отрывочными фразами. Его религиозные понятия были, так сказать, церковные, и он строго придерживался предписанных в этом отношении правил, но во внутреннюю его жизнь перешло из них весьма немногое: недоставало смирения, и при полнейшем отсутствии самосознания религия любви не могла утвердиться в его сердце и затем отразиться в его внешней жизни. Ему казалось, что он стоял одиноким, что его высота была умственно недосягаема, и с этого воображаемого величия взирал он на бедное человечество и пользовался его слабостями и страстями

для достижения своей цели и для усиления своего безгранично возраставшего самолюбия. Поистине редкая и строго направляемая деятельность, необыкновенная правильность в распределении времени и воздержание от безмерного пользования плотскими наслаждениями давали ему очевидную возможность совершать более того, что могло быть сделано обыкновенным путем, и служили в его беззастенчивой руке бичом для всех его подчиненных. Но его нравственные правила были нетверды; у него почти постоянно были незаконные связи, и при этом он часто хвалился своим воздержанием. Жена его лишь несколько дней могла вынести сожительство с ним, потому что он желал в то же время удержать при себе свою любовницу; они расстались и с тех пор не хотели уже знать друг друга.

Его отношения с Императору Александру отличались ловкостью и тонким расчетом, но их нельзя было назвать честными. Под личиною строгой любви к правде и попечения о государственном благосостоянии он часто весьма грубо и непочтительно возражал ему; но как только он замечал, что Государь не желает отступаться от задуманного им намерения, то он тотчас убеждался его доводами и покорялся его верховным соображениям. При этом, подделываясь под чувствительное настроение Монарха, он часто предавался нежностям и высказывал, подчас как бы невольно, сентиментальную преданность к Государю в виде неудержимого порыва, чем успевал действительно внушить доверчивому Монарху дружеское к себе расположение, которое иначе могло бы казаться непонятным. За решительным отклонением всякой награды и всякого официального повышения скрывалось, под видом смирения, неограниченное высокомерие человека, который и без того почитался бесспорно первым лицом в государстве после Его Императорского Величества.

Его обращение с товарищами по службе было повелительное и весьма часто бессовестное и грубое. Обнаруживалось иногда и милостивое снисхождение, но я думаю, что едва ли кого-либо считал он своим сотоварищем. По общей служебной иерархии он, как генерал от артиллерии и член Государственного совета, не составлял еще особенно выдающейся личности, но его неофициальное положение возвышало его над всеми и придавало ему совершенно исключительное значение. Вследствие этого председатель Государственного совета князь Лопухин (собственно говоря, непосредственный его начальник) и действительный тайный советник Куракин, председательствовавший часто во многих комитетах, где граф состоял простым членом, относились к нему как покорнейшие его слуги, принимали с глубочайшим

уважением все его приказания, подчинялись всяким с его стороны дерзостям, ухаживали за его любовницею и с величайшею поспешностью кидались к графу, когда ему недоставало партнера за карточным столом. Чего домогались эти две личности, которые принадлежали к знатнейшим фамилиям, обладали большим состоянием и уже пользовались всеми возможными государственными отличиями, довольно трудно понять. Это может объясниться лишь безгранично и бесцельно возбужденным честолюбием. Весьма немногие не следовали этому примеру или сохраняли, по крайней мере, некоторое собственное достоинство, но большинство высших сановников в столице поклонялись той высокой власти, которую он держал в своих руках. При этом он умел быть весьма любезным в своем снисхождении, в особенности в Грузине, где он желал разыгрывать роль простого дворянина, хотя и тут весьма часто проявлялись его тигровые когти. На станции Чудове, верстах в двадцати от Грузина, был выставлен флаг, который, подымаясь или опускаясь, возвещал, принимает ли граф в своем Грузине, так что высшие сановники нередко вынуждены были из Чудова возвращаться в Петербург, не достигнув своей цели. Его требования по отношению к подчиненным были неограниченны и безмерны: все семейные связи следовало приносить в жертву службе, то есть ему. Здоровье оставлялось без внимания до самого крайнего изнурения. Смертельная болезнь жены или ребенка не могла прервать служебных обязанностей ни на минуту; однажды он спросил одного штаб-офицера, который со слезами на глазах объяснял незначительное промедление по службе смертью своей жены: «А что мне за дело до смерти твоей жены?» Другой, по причине страдания в легких и совершенного физического расслабления, не мог подняться на лестницу к месту своего служения; он велел ему сказать, что если он тотчас не явится, то он заключит его в каземат, и тот, разумеется, немедленно взобрался наверх и, на сделанный ему мною упрек, возразил, что его здоровье, в сущности, еще более могло бы пострадать в каземате. После четырехмесячной нервной горячки, от коей я был спасен одним лишь божественным чудом, граф навестил меня в то время, когда два рослых солдата водили меня по комнате, и я собственно не мог еще вполне владеть ногами. Он сказал, что «я скучаю», и прислал мне на другой день работу, которою и затем продолжал постоянно снабжать меня, так что я впоследствии поплатился за это в течение многих лет сильнейшими нервными страданиями. С этою неумолимою бесчувственностью ко благу и вреду своих подчиненных соединял он в себе самое низкое лукавство. Так, например, держался он того правила, что следует

каждому обещать настолько, чтобы побудить его к самой сильной деятельности, но не следует спешить выполнением этого обещания, чтобы рвение не охладилось и привлекательная цель всегда оставалась бы перед глазами.

И, однако, этот человек, для которого чувство не имело никакой Цены, предался самым диким выходкам, когда умертвили женщину, которая некогда была его любовницею и затем не переставала удерживать за собою его привязанность. Он вполне отказался от служебных обязанностей, удалился в Грузино, отпустил себе бороду, носил на шее платок, омоченный ее кровью, стал дик и злобен и подвергал ужаснейшим истязаниям множество людей, которые на деле или только помыслами участвовали в убийстве или могли, хотя косвенно, знать о том. Но и его постигли кары небесные еще при жизни. Кроме того, что в самом непомерном его самодовольстве уже заключался зародыш того червя, который видимо подтачивал его сердце и еще усиливал муки уязвленного честолюбия, по воле Всевышнего еще был у него живой бич, причинивший ему немало раздражения, в особенности во время его заграничного путешествия. Он считал себя отцом одного незаконнорожденного сына, которого воспитал в Пажеском корпусе и затем возвел в гвардейские офицеры и флигель-адъютанты Императора Александра; этот молодой человек был одарен (насколько я его знавал) отличными способностями, привлекательною наружностью и большим природным добродушием. Хотя, говорят, впоследствии обнаружилось, что он не был сын Аракчеева, но граф все же сохранил к нему свою прежнюю привязанность. Этот юноша с ранних лет предавался разным увлечениям, в особенности пьянству; бывали минуты отрезвления, но продолжались недолго. Во время несчастной катастрофы убийства графской любовницы и следовавших затем жестокостей, которые его сильно возмутили, он обратился к графу с настоятельными увещаниями в пользу обреченных жертв и, не достигнув своей цели, предался безусловно пьянству и довел эту страсть до крайних пределов к тому времени, когда ему пришлось сопровождать графа в его путешествии по Германии и Франции.

В припадках опьянения, когда граф пытался удержать его от дальнейших кутежей, он, говорят, с поразительною наглядностью выставлял ему зеркало его собственной жизни, и с таким жаром, что передававший мне о том мой сослуживец доктор Миллер[311], который бывал иногда третьим лицом при этих часто повторявшихся сценах, приходил от них в трепет. В течение многих месяцев граф выносил эти тяжелые минуты, но потом пробужденная совесть, вероятно, слишком сильно заговорила, и

он расстался навсегда со своим обличителем. Шумский (так звали молодого человека) прошел все ступени погибели, погряз впоследствии в самой темной среде и умер преждевременно от последствий своего разврата. Тот же Миллер, мой почтенный друг, пользовавший графа в продолжение десятков лет, находился также при его смерти, когда он, цепляясь за жизнь с безграничною тоскою, не хотел думать о последнем часе и отталкивал от себя всякое о нем напоминание; а равно и не решался, под влиянием овладевшего им ужаса, дополнить свое завещание, хотя и намеревался это сделать в здоровом состоянии.

Если я несколько подробно изложил этот характеристический очерк, то поводом к тому послужило мне убеждение, что я изучил характер этого человека, игравшего столь значительную роль в истории России, несравненно ближе и имел гораздо более к тому случаев, чем большинство его окружавших, и что другим могло недоставать беспристрастия, которому я, по крайней мере сознательно, никогда не изменял; причем я не могу сообщать никаких анекдотов из chronique scandaleuse[312] графа и не хочу передавать того, что не могло бы служить к разъяснению его характера. Остается сказать еще несколько слов о его политическом и церковном положении. В политике во времена конституционных тенденций Императора Александра он держался совершенно противоположных воззрений и высказывал их вполне откровенно; однажды он сказал некоторым из нас: «Вы все карбонарии!» В церковном отношении он стоял на почве неподвижного православия; деятельность Библейского общества[313], вызов духовенства других исповеданий, влияние г-жи Крюднер[314] и других мистиков внушали ему отвращение, так что он прервал всякие сношения с князем Александром Николаевичем Голицыным и другими его единомышленниками. Он был руководителем той оппозиции, к которой принадлежал знаменитый архимандрит Фотий, графиня Орлова[315] и многие знатнейшие сановники империи[316]. В обоих этих направлениях он возымел перевес: Государь возложил на него, как на представителя самодержавного начала, бразды внутреннего управления, а в церковном вопросе князь Голицын был вынужден оставить Министерство духовных дел, передав его адмиралу Шишкову[317]. Русское библейское общество было закрыто, и православие превозмогло, хотя, по милости Божьей, библейское настроение не вполне погибло.

Если теперь спросить: были ли военные поселения плодом мудрости и человеколюбия, сделали они солдата счастливее и его семейные отношения разумнее, доставили они государству опору, ратующую за свой очаг силу и сократили ли они огромные

затраты на содержание действующих армий? — то на все эти вопросы приходится отвечать решительным «нет», в особенности по отношению к северным поселениям пехоты, состоявшим под непосредственным наблюдением графа. Уже самый выбор местности может почитаться роковым. В Новгородской губернии, в округе И гренадерской дивизии, почти сплошной лес, и притом уже устаревший, попорченный, с обширными и глубокими болотами, весьма затруднительными для обработки; население — большею частью весьма мало занимавшееся земледелием, благодаря близости столицы и большой судоходной реки Волхов; грунт — глина с глинистой же подпочвою, при сыром и холодном климате, требующем громадных усилий при обработке. В Могилевской губернии была избрана обширная волость, и ее население в несколько тысяч человек было переселено в Херсонскую губернию, но из них лишь весьма немногие достигли места своего назначения, остальные погибли с отчаяния, с тоски по родному жилью, от пьянства, от голода, по собственной вине причиненного, и от полнейшего уныния, и сошли в безвременную могилу во время самого переселения. Я забыл настоящую цифру погибших, но она была ужасна; говорят, что это известие повергло Императора Александра в величайшее горе. На их место поступил баталион солдат, отвыкших от земледелия, вполне незнакомых с местностью, недовольных своим новым назначением, лишенных опытных руководителей, и потому они страшно бедствовали и долго не могли обеспечить себе даже самое жалкое существование. Все эти поселенцы, впредь до ожидавшихся распоряжений, получали с женами и детьми определенное для солдата количество хлеба, и, таким образом, нельзя было в скором времени ожидать какого-либо сбережения, а расходы еще увеличивались содержанием солдатских семейств. Сооружение великолепных зданий для полковых штабов, для помещения поселенных солдат и устройство шоссе обошлись в каждом полковом округе с лишком в три миллиона ассигнациями; подготовка пашни, заготовление земледельческих орудий, скота, запасов семян и других необходимых потребностей стоили около миллиона, так что на каждый полк была сделана затрата в четыре миллиона, с которых приходилось выручать проценты. В самой основе учреждения не заключалось залогов успеха. Деревни состояли каждая из одной роты, то есть 228 человек, а в Могилевской губернии из 57 домохозяев, представлявших собою отдельное капральство, что на Севере, где без удобрения ничего не произрастает, составляло громадный труд при одном лишь удабривании полей, так как луга и пастьбы находились за полями, и скот приходил на пастьбу совершенно

изнуренным. Накупили дорогого заграничного скота, а луга еще не были подготовлены, и скотина падала от голода и от злокачественности болотных трав. Внешний порядок был тягостен, так что соблюдение его отвлекало поселян и их жен от работы. Все это и еще множество других затруднений, проистекавших от неумения и деспотического произвола, при полнейшем невежестве, возбудило среди солдат неудовольствие и отчаяние, еще усугубленные бесцельною жестокостью обращения, так что это учреждение в общей его сложности представляло по своему внешнему, поверхностному виду нечто весьма блестящее, но внутри его преобладали уныние и бедствие. Когда Император Николай отправлялся на коронование в Москву и пожелал посетить поселения 1-й гренадерской дивизии, то все эти обстоятельства впервые подверглись открытому обсуждению. Граф был в то время за границею, а Клейнмихель не находил нужным что-либо скрывать. Размеры зла слишком ярко кидались в глаза, чтобы не заметить их, если только желали. Но как горю пособить? Трудно отменить предприятие, совершенное в таких громадных размерах и с такими страшными затратами, в особенности когда к нему причастна такая масса людей; кроме того, Клейнмихель не был в состоянии изобразить Государю истинное положение вещей, ему самому лишь поверхностно известное. Было предложено множество преобразований, и стоило много труда и времени, чтобы доказать, что они нецелеобразны; наконец, уже гораздо позднее, прекрасные новые здания гвардейской кавалерии были обращены в казармы, для которых они оказались весьма пригодными, а колонисты вернулись к хлебопашеству по деревням, особо с этою целью устроенным, и говорят, что они теперь вполне довольны своим положением. О поселениях близ Старой Руссы я не говорю, хотя я также принимал в них весьма деятельное участие; но они в государственном отношении не представляют ничего нового. Вам достаточно будет и общей картины, мною изображенной, так как я не желаю вдаваться в частности в тех случаях, когда они не имели влияния на общий ход дела. <…>

Но вы вправе, дети мои, спросить меня: почему ты не выставлял Аракчееву на вид вредной стороны военных поселений, коль скоро она тебе была так знакома? На это я дам вам откровенный и добросовестный ответ. Во-первых, я не мог обнять в то время этот предмет в общем его виде так, как в настоящую минуту, и был так поглощен возложенными на меня частностями, что не имел досуга предаваться соображениям, не относившимся прямо к моим обязанностям. Кроме того, мне шел всего 21-й год, и мой взгляд еще недостатонно созрел; а затем образовалась

привычка, всегда заменяющая ясность наших суждений. Во-вторых, граф очень хорошо сознавал истинное положение вещей, но не желал его видеть; то была игрушка, подносимая им Государю в виде важного дела, и при этом многие тысячи человек несчастными; и, наконец, в-третьих, я положительно и весьма часто говорил графу правду, навлекая на себя нередко его неудовольствие, и мои так называемые романтические мечтания были им постоянно отклоняемы. Неоднократно представляемые просьбы мои об увольнении были просто помечаемы «к делу», а в тех поручениях, которые лично на меня возлагались, не заключалось ничего такого, от чего бы я по совести был вправе отказаться. <…>

# М. А. Крымов [318]
# Отрывки из воспоминаний офицера новгородского поселения

## *I*

В конце 1818 года я определен был на службу в новгородское поселение, в округ полка графа Аракчеева. В то время по всему поселению стали производиться постройки различных зданий, каменных и деревянных. Работа кипела: десятки тысяч солдат заняты были осушкою болот в окрестностях поселений, вырывали пни и коренья, жгли их, копали канавы, исправляли дороги. В то же время они приготовляли кирпичи для поселенных зданий, пилили доски, сплавляли по рекам и т. п. <…>

В 1822 году в округе графа Аракчеева постройки каменных и деревянных домов приходили к концу. Первые назначались для помещения полковых штабов; вторые, называвшиеся *связями,* для поселян с их семьями. В каждой из этих связей было два помещения для двух семейств и общая большая комната, в которой складывались сельские инструменты. Двор при них разделялся также надвое, с особым для каждого хозяина амбаром, конюшнею и хлевом.

Из нескольких связей составились роты, при каждой роте устроен был так называемый ротный двор и тут же здание ротного комитета.

Затем в полковом штабе находились обширные помещения для офицеров, состоявших при штабе, церковь, госпиталь и манеж.

Занятия поселян были двоякого рода: хозяйственные и фронтовые; хлебопашество, однако, не составляло важнейшего, хотя время было распределено как для тех, так и для других равным образом. На фронтовые обязанности обращалось особенное внимание, так что в самое короткое время поселяне до такой степени успевали в знании военных артикулов, что не уступали в этом старым солдатам действующих полков. Случалось, что к нам в поселение присылали офицеров и унтер-офицеров гвардии для усовершенствования во фронтовом искусстве. <…>

К тем из поселян, у которых не было детей, вытребовались из разных батальонов военные кантонисты, по одному или по два,

смотря по мере надобности. На содержание их отпускались особенные пайки, и попечению поселянок предоставлено было, чтобы кантонисты не были ничем обижены. Последние, в свою очередь, должны были вести себя относительно своих хозяев как бы родные дети и называть их *батюшкой* и *матушкой*.

Но потому ли, что большая часть кантонистов были уже взрослые, или вследствие тех фальшивых отношений, в которые одни становились к своим названым детям, другие к родителям, как бы то ни было, только нередко поднималось знамя семейного бунта, сопровождаемого ссорами, драками, и затем с обеих сторон поступали жалобы в ротный комитет. <…>

## *III*

Тотчас по водворении поселенных войск всем крестьянам велено было сбрить бороды, и вслед за тем они надели общеармейскую форму <…>

Приказание сбрить бороды произвело сильное впечатление на крестьян тем более, что многие из них принадлежали к раскольничьим сектам. Крестьяне просили полковых Цирюльников, чтобы те возвращали им по крайней мере уже отрезанные бороды. Цирюльники придумали сделать спекуляцию и стали возвращать бороды не иначе как за деньги. <…> Начальство, узнав о проделке цирюльников, приказало возвращать бороды по принадлежности, а старикам даже разрешено было не сбривать их. Некоторые из крестьян-раскольников, подучаемые своими наставниками, стали, после вышеописанной катастрофы, носить под платьем железные вериги, дабы, как они говорили, замолить постигнувший их гнев Божий <…>.

## *IV*

Пробегая мысленно ряд годов, проведенных в поселении, где одна фронтовая служба поглощала все существо человека, где безусловное стремление к возможно строгой дисциплине становилось задачею его жизни, какою-то idée fixe, и возвращаясь к настоящему времени, с особенным чувством твердишь: «Что было, то не будет вновь»[319].

В жизни поселенного офицера (как и солдата) не было темных или светлых сторон: была одна, если можно так выразиться, сторона бесцветная, гнетущий, тяжкий рутинизм,

заедавший всякую человеческую способность, решительное отсутствие всякой разумной мысли и слова.

В быту наших офицеров умственной жизни, высших потребностей и тому подобного существовать почти не могло. В разговорах предметом, «вызывающим на размышление», говоря словами Гоголя[320], был исключительно фронт. О современных книгах и журналах у нас имели весьма темное понятие. Книги считались роскошью почти непозволительною. Был, говорю, фронт, а затем несколько часов отдыха, то есть ночь, которая большею частию офицеров проводилась в развлечениях известного рода: картах, вине и т. п. По праздникам кулачные бои на реке Волхове, и затем опять фронт и какая-то жажда соперничества по этой части.

Нельзя, впрочем, сказать, чтобы начальство не сознавало необходимости не давать уснуть совершенно всякой умственной деятельности, и поэтому, не помню, как в других округах, но в нашем одно время издавался «Семидневный листок», что-то вроде еженедельной газеты[321]. Заключал в себе этот листок сочинения некоторых офицеров (из семинаристов) на заданные темы. Темы задавались цензором на какие-нибудь предметы из обыденной жизни. Вот случай, который может дать читателю хотя небольшое понятие о том, что такое была эта газета. Цензор (в то время был один штаб-офицер, едва умевший подписывать свое имя и выбранный в цензоры за отличное знание фронтовой службы) задал однажды тему: каким образом вывести в некоторых каменных зданиях сверчков, которые сильно беспокоили жившее там начальство? Кто-то из офицеров-редакторов, не находя никаких других средств, предложил одно, весьма радикальное, — срыть эти здания. Редактор сильно поплатился за то, а цензору предложили в чистую. Вообще же говоря, газета эта служила чем-то вроде детских упражнений по части грамматики. <…>

Оканчивая эти воспоминания, я остановлюсь на том, чтобы сказать несколько слов о тех отношениях, в каких стоял Аракчеев к поселянам как начальник. Принадлежа к числу тех личностей, которые вместе с необычайною строгостию соединяют в себе в то же время и какую-то заботливость о подчиненных, он не держал себя относительно солдат на недосягаемой высоте. В закаленном дисциплиною и строгостию солдате он видел идеал: только в человеке, прошедшем по такому пути, можно было, как казалось ему, по-видимому, искать закон верного и честного защитника своего отечества <…>.

С высшими чинами Аракчеев был строже и недоступнее, может быть, потому, что встречал здесь часто и лесть и обман.

Часто по ночам он заходил к солдатам смотреть, как они

спят, все ли исправно у них, и тут его внимание обращалось на самые мелкие предметы.

И солдаты любили его настолько, насколько не любили большинство им же поставленных над ними начальников <…>.

# А. Ф. Львов [322]
# Записки

В 1818 году <…> я был командирован по высочайшему повелению для производства работ на военные поселения Новгородской губернии под начальство графа Аракчеева. Легко вообразить, что сделалось у нас в доме. Родные мои были в крайней заботе: изнеженный чувствами, неопытный, не понимавший еще настоящей подчиненности, я должен был ехать и служить у такого начальника, которого все трепетали. <…> Кто не слыхал про графа Аракчеева? Но немногие были свидетелями того, что видел я. С весны я употреблен был для приготовительных работ по построению штаба графа Аракчеева полка. Труд от нас требовался неимоверный: производители работ должны были находиться при них от трех часов утра до двенадцати и от часа до девяти вечера безотлучно; взыскания начальства превосходили всякую меру. Для этих работ употреблены были нижние чины гренадерских полков, и старые солдаты, сделавшие многие походы, с лопатами в руках работали до изнурения. И истинно невозможно было видеть равнодушно покорность русского солдата к воле старшего. В скором времени усердие и покорность притупились, и меры жестокости были единым средством к выполнению требований начальства. Во время работ молчание общее, на лицах страдание, горе! Так протекали дни, месяцы, без всякого отдохновения, кроме воскресных дней, в которые обыкновенно наказывались провинившиеся во время недели. Я помню, что, ехав однажды на воскресенье верхом верст 15, я не проехал ни одной деревни, где бы не слыхал побоев и криков. Мы сами лишены были самого необходимого для жизни и спокойствия; от начальников ни малейшего внимания, никогда ласкового слова, все это от подражания верхнему начальнику и желания угодить ему. В ноябре работы прекращались, и мы возвращались в Петербург для приготовления к будущему лету планов и смет. Здоровье, молодость, радость при возвращении домой, все заставляло забывать прошедшее; однако, рассказывая другу-родителю моему все, что я испытывал, неоднократно говорил я, что если служба такова везде, то нельзя не позавидовать простому мужику, который в поте лица приобретает средства к существованию, но душой покоен… После нескольких лет я более имел случая видеть графа Аракчеева, который, несмотря на его жестокий нрав, наконец полюбил меня, видя, что я с кротостию исполнял свою

обязанность и трудился с полным усердием. Ни один из моих товарищей не был столько отличен им, ни один не получил столько наград, и я, несмотря на все труды и безмерные требования начальства, находил еще средства поддерживать свой талант. <…>

Сблизясь с графом, я имел возможность всмотреться в необыкновенные черты нрава этого человека. Одаренный необыкновенным умом, но без всякого образования, он имел душу твердую, но самолюбив был до крайности; сожаления к ближнему никакого…

Прослужа при графе Аракчееве восемь лет, то есть по 1825 год, в течение этого времени я был употреблен для построения искусственных работ, мостов, стропил, экзерцирзгаузов[323] и проч. А как в производстве сих работ ни Клейнмихель, ни сам граф ничего не понимали, то я имел всегда возможность отклонить от себя разные мелочные взыскания, представляя непонятные для них причины моих действий. Слишком было бы долго описывать разные анекдоты, случившиеся во время служения моего на военных поселениях; но я хочу описать обстоятельство, со мною случившееся, которое доказывает, что ежели граф был строг, то умел понимать и чувства нежные. В 1823 году матушка писала Государю Александру Павловичу, прося его дать место батюшке. Письмо это Государь передал графу Аракчееву, как в то время все ему передавалось. Несколько времени потом, в Санкт-Петербурге, получаю я приглашение обедать у графа с приказанием прийти четвертью часа ранее. Лишь вошел я к нему в кабинет, он подает мне бумагу; я развертываю и вижу копию с указа, им сверенного, об определении батюшки в Государственный совет. Трудно объяснить мое чувство в эту минуту. Граф, заметя это на моем лице, сказал: «Очень я рад, что мог сделать и батюшке твоему, и тебе такое удовольствие; теперь пойдем обедать, а там ты отвезешь это батюшке, которому скажи от меня, что я очень рад с ним послужить». За обедом граф приказывал несколько раз скорее подавать кушать, посадил меня возле себя и, не дав последним окончить последнее кушанье, встал, обнял меня и сказал: «Ну, с Богом, поезжай! Я знаю, как тебе домой хочется; не забудь моего поручения».

<…> В ответственности и неприятностях непрестанных, исполняя две должности (старшего адъютанта в штабе и строителя искусственных работ), я видел, что мне надо решиться оставить службу, ибо чувствовал себя более не в силах продолжать столь усиленного труда с ответственностию, угрожающею несчастием мне и, следовательно, родным моим. Но

как это сделать? С военных поселений добром никого не отпускали; надо было решиться и всю надежду возложить на Бога. В 1825 году летом, оканчивая построение огромного искусственного моста чрез Лажитовский ручей в округе короля Прусского полка, я решился написать графу письмо, которым просил его позволить мне выйти в отставку. Граф сам приехал на мои работы и разным образом стал уговаривать меня остаться, ласками и угрозами, а как я за лучшее почел менее говорить, а больше делать, то граф уехал, не получив от меня решительного ответа, и я уверен, что эти обстоятельства мои весьма дурно бы кончились, если бы обстоятельства другие, весьма важные, не затмили меня и моей службы, так что отставка моя пошла по начальству путей сообщения, где я числился, и я вышел без отрепьев…

В тот самый день, как граф Аракчеев объяснялся со мною насчет моей отставки, поехал он обратно в округ имени своего полка, пошел осматривать штаб, как получается известие, что Настасью Федоровну зарезали. Доктор Далер[324] приказал тотчас заложить коляску и сам, вошед к графу, сказал ему, что Настасья Федоровна очень занемогла. Граф, заметя, что должно быть нечто необыкновенное, так потерялся, что едва мог найти дверь для выхода и, увидав свою коляску, поспешно сел в нее и приказал ехать. Кучер мчал лошадей, сколько было силы, и наконец доскакивает до оврага, где строился мост под присмотром капитана Кафки (этот Кафка жил в Грузине и был употреблен при собственных работах графа). Увидав его, граф остановил коляску и закричал: «Что, Кафка, говори!» — «Что делать, ваше сиятельство, несчастие! Зарезали!» На эти слова граф не отвечал ни слова, тихо вышел из коляски и, обращаясь к Далеру, который сидел с ним, сказал: «Ну, теперь мне ничего не надо; поезжайте, куда хотите, оставьте меня; я пойду пешком» (это было в 6 верстах от Грузина). Граф шел, не говоря ни слова, и все следовали за ним, не смея нарушить его молчание. Пришед в Грузино, граф тотчас пошел в комнату, где было тело Настасьи, кинулся обнимать ее и, после нескольких минут рыдания, снял с ее шеи окровавленный платок, надел на себя и, вышед на крыльцо, разорвал свой сюртук и закричал окружавшим его людям: «Злодеи, зачем меня не зарезали; мне бы легче было!» Первое время положение графа было ужасно: он все молчал, почти не ел, спал сидя и не иначе, как под тихий разговор его окружающих; страх преследовал его ежеминутно. Настасья была зарезана молодым поваром за то, что она обещала высечь сестру его, которая, будучи у нее в услужении, переносила нестерпимые зверства. Подробности исследования сего дела мне не довольно

верно известны, чтобы их описывать, ибо я был уже в Петербурге и ни с кем не видался, подав рапорт о болезни. Знаю только, что зверские поступки и жесточайшие наказания со ссылкою в Сибирь довершили намерение Государя Николая Павловича удалить графа, и, наконец, въезд в столицы ему был воспрещен. <…>

По возвращении в Россию граф Аракчеев жил безвыездно в Грузине. Сколько прежде всякий поступок, всякое слово его занимало всех, столько тут никто не помышлял о его существовании. Могущество его исчезло совершенно, и в доказательство того приведу случившийся со мною пример. В 1833 году получил я от графа два письма, которыми он просит моего ходатайства на производство в офицеры унтер-офицера Киевской жандармской команды Андреева. Я доложил об этом графу Бенкендорфу[325], и он сказал мне: «Когда граф Аракчеев был во всей силе и мог делать, что хотел, моя нога у него не бывала, потому что никогда до него настоящего дела не имел; но теперь я готов все сделать, что от меня зависит, для удовлетворения его желания». Он приказал написать тотчас доклад, в котором, подтвердив о добрых качествах Андреева, он испрашивал ему производство в офицеры, присовокупив, что о том ходатайствует граф Аракчеев. Каково было наше удивление, когда доклад от Государя возвратился с надписью: «Рано». Резолюцию эту я сообщил графу и воображал, что должно было ощущать его самолюбие! В ответ я получил от графа письмо собственноручное, замечательное во всех отношениях и доказывающее, до какой степени он был бережлив во всем.

Нельзя не обратить внимания на ужасный конец этого могущественного человека. Даже доктор Далер и архитектор Минут[326], прожившие с ним несколько десятков лет, его оставили и из Грузина выехали; и граф Аракчеев остался один, совершенно один, потеряв все и всех. Он с горем и подавленным самолюбием доживал в Грузине последние дни жизни и умер в 1834 году <…>

# П. П. Свиньин [327]
# Поездка в Грузино

Я весь объехал белый свет:
Зрел Лондон, Лиссабон, Рим, Трою,
Дивился многому умом;
Но только в Грузине одном
Был счастлив сердцем и душою,
И сожалел, что — не Поэт!

А может быть, некоторые скажут, что я слишком далеко увлекаю любопытство моего странника, что Грузино выходит из границ окрестностей Санкт-Петербурга, отстоя от сей столицы в 135 верстах; но, конечно, большая часть не только извинит меня, но будет довольна, когда узнает, что при сем главная цель моя — познакомить просвещенный мир с житьем истинного русского дворянина, с управлением помещика, коим должны гордиться соотечественники, уважать и пленяться иностранцы. Самое путешествие в Грузино скоро превратится в приятную, непродолжительную прогулку, ибо нынешним летом, вероятно, кончится половина прекрасной, ровной дороги, которая предполагается быть проведенною от Санкт-Петербурга до Москвы <…>

Из *Чудова* большая Московская дорога идет вправо, а Тихвинская, лежащая чрез Грузино, сворачивает влево. Скоро открываешь широкую реку и видишь себя как будто перенесенным в новую страну, в новый климат. *Волхов* спокойно течет в прелестных ровных берегах, покрытых самою яркою зеленью и опушенных, как будто рукою Искусства, тенистыми дубовыми рощами, доказывающими богатство почвы. Исчезли утомительные болота; нигде не видно ни унылых песков, ни мрачных, диких скал. Зрелище Волхова и его окрестностей возбуждает неизъяснимую радость в душе путешественника, рождает мысль о сельском счастии и безмятежной, покойной жизни пастыря. Луга покрыты многочисленными стадами, кои то небрежно отдыхают после роскошной трапезы, то смотрятся в тихие воды Волхова, или, стоя в молчании поодиночке, прислушиваются, кажется, к приятным звукам свирели их юного стража, или в неге и на воле резвятся между собой: вот конь летит гордо, распустив крутой хвост свой и потрясая пламенною гривою; он рыщет подобно вихрю из места в место и ржанием

изъявляет радость о своей свободе… а там — новое зрелище: суда, нагруженные избытками внутренних губерний, тянутся бечевою против течения, другие же, подняв белые паруса, с песнями тихо плывут посредине величественной реки. Нет, это не тот мрачный Волхов, который привык воображать я всегда волнующимся, всегда пенящимся в берегах своих; это не тот грозный Волхов, на берегах коего жил некогда злобный чародей, всеведущий волхв, призывавший заклинаниями бури и ветры с севера, на пагубу пловца[328], не тот Волхов, в волны коего низвержен славный Перун Новогородский[329], крутящий беспрестанно глубокие бездны его, неприязненный и страшный искусству и усилиям кормчего! — Еще шаг, и представились веселые группы поселян за сенокосом: ароматы душистых трав наполняли воздух, песни и смехи работающих доказывали, сколь приятен им сей труд, сколь они счастливы! «Это, верно, *Грузино?*» — спросил я у моего вожатого, указывая на прекрасное, регулярное село, отражающееся в зеркале вод на правой стороне реки. — Я узнаю его по правильности, по миловидности домов крестьянских». — «Нет, барин, это еще одна из деревень графских, — отвечал он мне, — Грузино впереди». Заехали за мыс, и на горизонте засверкало, подобно зарнице: лучи солнца отражались там в светлые шпицы и куполы. Не спрашивая, отгадал уже я, что это цель моего странствия. Предметы становились час от часу явственнее, прелестнее: над построенными рядом красивыми домиками величественно возвышался Божий храм и великолепные господские палаты. Разноцветные знамена развевались на четырех высоких башнях[330]. Мы подъехали к большому зданию хорошей архитектуры: это дом для перевозчиков через реку и матросов. Коляску мою поставили на плот, а мне предложили прекрасную шлюпку.

В Грузине знают за несколько часов о приезде каждого гостя по флагу, который поднимается в таком случае на Чудовской башне, выстроенной графом нарочно для сего над почтовым там двором.

Для приезжих находятся в Грузине всякого рода жилища, снабженные всем, что можно ожидать от утонченного гостеприимства и попечительности предусмотрительного хозяина. Дамские комнаты даже удивительны: на уборном столике придумано все нужное для туалета самой изнеженной, роскошной щеголихи: захочет ли она отправить Меркурия — на богатом бюро найдет различного рода и цвета облатки[331], сургучи и бумажки — розовые, серебряные, золотые; любит ли чтение — библиотека избранных поэтов и романов к ее услугам;

имеет ли расположение заняться рукоделием — легкие пяльцы с натянутою кисеею стоят в готовности; стройное фортепиано ожидает прелестных перстов красавицы!

Благовест призывает к утренней молитве, и между тем, как собирались молельщики, я предался рассматриванию собора. Первое внимание обращают во внутренности его два великолепные монумента, возвышающиеся по обеим сторонам церкви. С правой — посвящен памяти Государя Императора Павла Первого — благодарностию, не изменившеюся и за пределом сей юдоли — *без лести преданного* — Доблестный воин, сбросив тяжелый шлем с гордого чела и опустив из мужественной мышцы грозный меч и щит, с поникшею главою и преклоня правое колено, соединяет молебные воздыхания с чистейшим фимиамом, курящимся на жертвеннике, и взором говорит, кажется: «Сердце чисто и дух прав пред тобою», — слова сии ярче блестят в его сердце, чем на пьедестале в золоте. По верху виден зодиак с изображением Весов, Стрельца и Овна, означающих месяцы рождения, вступления на престол и кончины оплакиваемого воином Государя[332]: над ними лик Монарха в лучезарном сиянии. Сколь счастливо выражена высокая мысль художником, г. Мартосом, не менее того и во всех частях соблюдена соответственная гармония и великолепие: пьедестал сделан из красного шокшенского мрамора[333], фигура воина и прочие принадлежности — из бронзы, из коих украшения, как то символы царские: корона, скипетр и держава, медалион и сияние, герб воина и прочее — богато вызолочены.

Верный слуга царский верность свою уносит и в гроб — назначив себе место вечного покоя у подножия памятника его Царя-Благодетеля. То показывает гранитовая доска с сею прекрасною и лаконическою надписью: «Да пребудет и прах мой у подножия твоего изображения!..» Далее изображено: «На сем месте погребен русский новогородский дворянин граф Алексей Андреевич Аракчеев, родился 1769 года, умер…» Вельможа, помышляющий о смерти, видя, так сказать, пред глазами своими отверстый гроб свой, — не страшится деяний своих ни пред Богом, ни пред потомством!

Другой памятник, находящийся насупротив, воздвигнут графом Алексеем Андреевичем своим сослуживцам, офицерам полка его имени, убитым в сражениях в достославную войну с Наполеоном. Слава держит в левой руке венок бессмертия, а правою начертывает имена тринадцати павших героев с показанием мест, где кто из них положил живот свой. На алтаре курится жертва чувств признательности отечества: двуглавый орел покрывает его крылом своим. Вверху в зодиаке означены

достопамятные 1812, 1813 и 1814 годы подвигов сынов России.

Всевидящего Ока. База сделана из граниту, постамент из черного аспида[334], а памятник — из шокшенского мрамора, красотою своею весьма схожего с порфиром[335]. По сторонам изображено из бронзы разное оружие, и сверх того осеняют памятник остатки тех почтенных знамен, под коими храбрые воины сии сражались и славно пали. Трофеи сии поступили сюда по особенной воле Государя Императора, когда за отличную храбрость полк графа Аракчеева получил Георгиевские знамена.

Памятник производился по рисунку архитектора Томона[336] и под наблюдением ректора Мартоса разными искусными художниками: модель фигуры делал Крылов[337], украшения из бронзы отливал, чеканил и золотил академик Ажис[338].

На подножии изображена золотыми литерами следующая надпись, сочиненная генерал-майором Княжниным[339]:

Се памятник сынам Российский Державы,
Которы, пламенным усердием горя,
В боях против врагов, на поле вечной славы,
Скончали жизнь свою за Веру и Царя.

Если памятники общей признательности редки и от лица сословий и государств, то сколь уважительнее, сколь благороднее должны считаться те, кои посвящаются частным человеком с пожертвованием значительного достояния своего!

На ступени пьедестала лежит книжка, заключающая в себе описание жизни и военных подвигов тринадцати героев, коим посвящен памятник. Всякий посетитель имеет право на экземпляр оной. Честь и хвала предавшему в потомство черты русской храбрости и патриотизма, кои так несправедливо теряются между современниками! Сердце русское радуется! Читая их, юный воин научается и поощряется к подобным деяниям!

«Порутчик Михаил Дементьевич Яковлев получил жестокую рану пулею в грудь, когда был он с 5-й гренадерскою ротою впереди колонны, выбивавшей неприятеля из парижского предместья Бельвиля[340]. Быв принесен для перевязки к лекарю, сей храбрый офицер сказал ему: «Я знаю, что мне непременно должно умереть; но прошу вас, если можно, продлить жизнь мою только до завтрашнего дня, чтоб я мог быть свидетелем, как русские войдут в Париж!» К несчастию, он не имел сей радости; через пять минут кончил достославную жизнь свою, и тело его предано земле на поле бессмертной для России славы.

Подпорутчик Яков Михайлович Кириллов в сражении при деревне Заболотье[341] вышел с шестью человеками стрелков из

лесу, дабы удобнее видеть движение неприятеля, как вдруг был атакован эскадроном польских улан. «Сдайся или смерть!» — закричали ему. «Мне отдаться в плен! — возразил герой. — Верно, вы забыли, что я русский!» — И в ту же минуту застрелен был из пистолета.

Прапорщик Григорий Иванович Дергач, в Бородинском сражении покрытый ранами, дабы не отдаться в плен, сражался, доколе не пал мертв на месте от штыков неприятельских!»

Между тем началась божественная литургия: хор певчих славил Творца Вседержителя. Три священника в блестящих золотом ризах, заключая достоинство в каждом слове, величие в каждом движении, представляли достойных служителей Еговы! Порядок и тишина божественны!

В храме останавливают внимание еще следующие предметы:

Противу главного алтаря на западной стороне поставлен образ святого Андрея Первозванного. По сильному выражению, по прилежному изучению натуры узнаешь с первого раза, что сие отличное живописное произведение есть кисти знаменитого художника нашего Егорова[342].

Подле него портрет Петра Великого, под которым на особенной медной доске изображен герб князя Меншикова и следующая надпись: «Грузинская вотчина, бывшая во владении монастырей, пожалована Государем Императором Петром Первым в 1705 году князю Александру Даниловичу Меншикову».

По другой стороне портрет Павла Первого. Под ним на подобной первой доске изображен герб графа Алексея Андреевича с сею подписью: «Грузинская волость, в двух тысячах душ состоящая, пожалована Государем Императором Павлом Первым в вечное и потомственное владение графу Алексею Андреевичу Аракчееву, 1796 года, декабря в 12 день».

По правую руку его портрет Императора Александра Павловича. При нем в бронзовом ковчеге хранится Высочайший рескрипт Государя, изъявляющий признательность и благоволение графу Аракчееву за благоустройство селений села Грузина. На нем подпись: «1810 года 7 июня» — означает день посещения Монарха.

Ризница соборная достойна отличного внимания во многих отношениях: сколько по богатству облачений, драгоценности утвари, но более еще по историческим эпохам, коих ход сии последние ясно показывают, начиная от младенчества русской церкви до величия и торжества ее. Достопамятности сии состоят из следующих вещей:

1) Потир[343] деревянный с довольно сохранившеюся надписью вкруг его краев.

2) Потир свинцовый.

3) Потир, дискос, звезда и лжица[344] оловянные.

4) Воздухи и одежда из простой набойки[345].

5) Евангелие, писанное в 1525 году.

6) Крест серебряный 1652 года.

7) Евангелие, печатанное в 1651 году.

(Сии два последние предмета замечательны и потому, что подарены они в здешнюю церковь Мисаилом, архиепископом рязанским, убиенным в Мордве в 1655 году за проповедование христианской веры[346].)

8) Древний серебряный потир, самой простой работы.

9) Два богатые канделябра, присланные графом Алексеем Андреевичем из Вильны в 1812 году.

10) Великолепный потир, присланный им же в 1815 году из Фрейбурга, с сею вкруг его надписью: «Soli Deo Gloria»[347].

При нем хранится, по приказанию покойного митрополита Амвросия[348], в футляре письмо, с коим препровожден был дар сей к верховному пастырю, письмо, исполненное высоких, благочестивых чувств даятеля. Самые начальные строки его: «По старинному русскому данному мне воспитанию я страстно люблю благолепие сего храма и главные эпохи нашей жизни переношу в церковную историю оного, как к *предмету начала и конца* нашего в мире сем пребывания» — могли бы послужить всюду правилом философу-христианину!

Потир, дискос, звезда и лжица, превосходной работы, сделанные графом в Париже во время пребывания там победоносных российских войск. На потире под надписью «Святая Святых» изображены еще следующие достопамятные слова: «1814 года 29 марта из Парижа в Грузинский собор».

Чрезвычайно богатые парчовые ризы и облачения.

В храме здешнем находится три отделения. Средний и главный во имя святого Андрея Первозванного. Кроме описанных портретов Императоров нельзя не отметить двух больших богатых образов Корсунской работы[349], находящихся при входе в него. Пол в приделе устлан дорогими коврами[350]. Иконостас сделан в высоком стиле и украшен хорошею живописью[351].

Сторонний придел по правую руку, посвященный св. апостолам Петру и Павлу, сооружен совершенно в новом, оригинальном вкусе. Иконостас возвышается от полу осмью полукруглыми ступенями и окружен десятью белыми колоннами. Образа писаны на белом мраморе. Внутренность алтаря освещается единственно кристальными, разноцветными лампами, над горним местом[352] сияют сии слова: «Горе имеем сердца!»[353] Нельзя достаточно изобразить благоговейного

трепета, который невольно производят сия благородная простота и священный мрак сего храма. Здесь желал бы я слушать страсти Господни[354], сокрушаться душою и сердцем и принести нелицемерное покаяние милосердому, долготерпеливому Отцу.

Третие отделение храма посвящено святителю Алексию-митрополиту, московскому чудотворцу. Иконостас составлен из древних икон прежней Церкви. Местная храмовая икона показывает веру и преданность храмо-созидателя к Богу. Из символического ее значения видеть можно, что он получаемые дары от земных монархов приемлет нисшедшими от вышней Десницы ходатайством святых угодников.

Вообще внутренность собора, не имея чрезвычайной огромности, просторна и величественна; богата украшениями, не быв обременена излишними. Из купола изливается приятный свет, а в четырех углах под окнами поставлены лепные евангелисты работы Мартоса. Против главного сделаны хоры, увеличивающие гораздо помещение в храме.

Теперь скажем несколько слов о древнем состоянии церкви в Грузине и сооружении собора.

Церковь в селе Грузине находится с отдаленнейшей древности и подвержена была различным переменам и опустошениям от шведов в царствование Иоанна Васильевича и внутренних возмущений, происходивших до восшествия на престол Романовых.

Из одной рукописи Деревяницкого монастыря игумна Макария видно, что во первых находилась здесь церковь деревянная. О каменной упоминается в 1583 году в писцовых книгах Андрея Плещеева, которая потом сгорела и переправлена была в 1691 году. Целое столетие оставалась она в одном положении, и уже в 1791 году приделана к ней каменная колокольня. Ветхость и малость церкви, а более преданность и усердие помещика к благолепию храма Божия, коими отличаются все истинные русские дворяне, были причиною, что старая церковь сломана и на место ее воздвигнут великолепный собор сей.

Он заложен каменный в 1805 году 6 мая и кончен в следующем, 1806-м, иждивением графа Алексея Андреевича, по плану архитектора Димерцова[355]: имеет в длину 10 сажен и столько же в ширину, украшен портиком с шестью колоннами ионического ордера и куполом отличных пропорций. Место, на коем построен храм сей, есть самое возвышенное из окрестностей, так что он со всех сторон издалека виден.

У горней стены снаружи поставлен деревянный огромный крест, найденный на берегу Волхова. Из сохранившейся на нем

надписи явствует, что крест сей водружен на том месте в 7201 году июля 6 (1695) в царствование царей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, при патриархе Адриане и новогородском митрополите Корнелии[356] — жителями Грузинского погоста. Ниже сей надписи начертано еще: «Чудный крест сей Христов на поклонение православных христиан». Первоначальные же буквы: К. Т. Ч. П. Х. И. В. Т. С., поставленные снизу, означают: «Кресту твоему честному поклоняемся, Христе, и воскресение твое славим»[357].

С самых древних времен в день сей, т. е. 6 июля, установлен праздник святому апостолу Андрею и отправлялось церковное торжество при кресте оном. Оно и доныне продолжается под именем «крестового дня» и сверх того сопровождается ходом из Николаевской церкви, что в деревне Людне. По окончании божественной литургии, освящения воды на Волхове с пушечной пальбою и крестного хождения вокруг селения поется молебен у креста. При сем случае каждым грузинским крестьянином по старинному обычаю приносится ко кресту пшеничный белый хлеб, называющийся курцом; по совершении и окроплении сих хлебов святою водою жители потчевают ими тут же пришедших к ним на праздник гостей.

Созидатель храма не удовольствовался беспрерывным украшением оного: он обратил внимание на обеспечение его к содержанию в одинаковом велелепии на предбудущие времена и взнес для того в Государственную комиссию погашения долгов на вечность капитал из 12 000 рублей; равномерно улучшил состояние священников и церковных служителей, состояние, столь у нас почтенное и имеющее все права на уважение и отличие. Во-первых, внесено им в ту же Комиссию на содержание протоиерея 5000 рублей и сверх того для всех других построены красивые просторные домики с службами и отведены удобные участки земли. Служители алтарей служат примерами своей пастве в любви к трудолюбию и мирным сельским занятиям. Напрасно утверждают некоторые, что сельским священникам неприлично заниматься земледелием; я думаю напротив: селянин, видя пастыря своего за плугом, полюбит благородный труд свой, будет его более почитать.

Заключим описание прекрасного Андреевского собора в селе Грузине кратким извлечением из любопытного исследования генерал-майора Писарева о знамени в[еликого] кн[язя] Владимира[358], хранящемся здесь же в богатом ковчеге. Древность сия принесена в дар сему храму сенатором Ключаревым и была обретена в Польше покойным сыном его[359]. Весьма замечательно, что по прошествии почти осьми столетий

действием счастливого, чудесного случая единственная уцелевшая от разрушения времени хоругвь просветителя России перенесена в храм первого провозвестника слова Божия в отечестве нашем! <…>

Нельзя оставить также без замечания богатого серебряного кадила, принесенного в дар усердием грузинского крестьянина Панкратьева в 1799 году.

Скоро, вероятно, храм сей украсится великолепною бронзовою люстрою, которую Государь Император Александр Павлович пожаловал по отслушании здесь божественной литургии во вторичное посещение свое 1816 года 8 июля. Она заказана в Париже известному художнику Ле-Дюру. Вышина люстры будет 7 $^{1}/_{2}$ английских футов и 4 в диаметре.

Отсюда поведу вас мимо зеленого бруствера, покрытого грозными блестящими пушками, на террасу, сделанную из пудожского камня[360] и цементу, и по отлогой каменной лесенке с железными перилами сведу в оранжерею, или, лучше сказать, в густую рощу гигантских апельсинных, померанцевых и лавровых деревьев. На правой стороне и вверху расположены покойные кабинеты для чтения и занятий[361]. Вдыхая ароматы счастливой Аравии, лежа на роскошных диванах Востока с книгою в руках, видишь повсюду прелестную зелень, отражающуюся в бесконечных зеркалах. Очарование сие еще приятнее, еще ощутительнее, когда огромная цветущая аллея сия бывает ярко освещена кенкетами[362].

Из оранжереи выходишь на ровную площадь; на другой стороне ее здание одинаковой архитектуры определено для гостиниц проезжающим путешественникам. Под террасою, на которой мы пред тем были, сделан свод, или грот, в коем хранится та примечательная лодка, в которой Император Александр, быв в приятном расположении духа, державными руками своими перевез через Волхов хозяина и обергофмаршала Толстого[363], сопровождавшего Его Величество. Время даст ей истинную цену, подобно челноку Петра I; станут нарочно приезжать сюда взглянуть на предмет, изображающий красноречивее многих дееписаний историю сердца великого Монарха. Нельзя не заметить, что свод делает честь архитектору Минуту своею легкостию и красотою.

Вот мы пришли по бульвару и к пристани. Две готические башни с круглыми поверху беседками или храмами, составленными из колонн, на коих развеваются флаги, украшают ее вместо фаров[364]. В одной из башен сделан прелестный и великолепный кабинет, откуда видны златые брега Волхова в обе стороны. Другая служит жилищем матросам, и в ней сделана

также будет комнатка, в которой бы мог обогреться путешественник. Башни сии построены по плану известного архитектора Стасова[365], так, как и самая пристань. Широкие лестницы, проложенные к поверхности воды, выстланы пудожскою плитою и ограждены чугунными перилами. Несколько богатых катеров и шлюпок — двух-, четырех-, шести- и двенадцативесельных — в готовности дожидаются в пристани: возьмем любую и покатимся по сребристой влаге Волхова. Свисток останавливает мощных гребцов; они взмахнули веслами, как крыльями, и катер пристает к военному кораблю. Лучше всякого описания — скажу в двух словах, что судно сие есть одна из прекрасных императорских яхт, подаренная Александром хозяину Грузина в 1816 году и названная «Волховом». После сего напрасно входить в описание ее подробностей: всякий легко может представить себе ее великолепие и убранство; но как военное судно могло прийти из Петербурга в Грузине, спросят многие. Удивление их справедливо и основательно: большую часть дороги корабль сей везен был на санях зимою! Пятьсот человек употреблено было для сей работы Они ежедневно подвигали его на несколько сот сажен[366]. После сего можно ли не поверить, что и Олег с флотом своим подкатился к Царю-граду[367]? Корабли его, вероятно, не были столь огромны. Русским нет ничего невозможного! В летнюю жаркую пору помещик приезжает сюда с гостями своими обедать под тентом на палубе. Тихий ветерок навевает приятную прохладу, а золотые рыбки, прыгая и плескаясь вокруг яхты, немым образом дают серенаду. Прошлого года граф ездил на яхте в Новгород; древний град славян в первый раз узрел у стен своих военное судно. На другой стороне пристани стоит на якоре буер, сделанный в Петербурге с возможною точностию с голландского, присланного от короля Нидерландов[368] к Императору Александру как испытанный беспримерною своею легкостию в ходу и безопасностию. Прекрасное судно сие подарено графу также Государем Императором прошлого, 1817 года.

Теперь пойдемте в большой дом: нижнее жилье занимает сам хозяин; широкая легкая лестница, устланная коврами, ведет в бельэтаж. Здесь вы найдете залы, размерами, убранством и вкусом достойные царских палат; но главное внимание обращают на себя два предмета: описанный нами монумент из гипса Павлу I и противу него кристальный стол, в коем хранятся высочайшие рескрипты обоих императоров к владельцу Грузина, письма и записочки, писанные монархами в разные времена и обстоятельства, в эпохи важные и любопытные для России. Сколь будут они драгоценны для будущего историка отечественной

славы!

Из бельведера, или, лучше сказать, из обсерватории, представляются бесподобные виды во все стороны. Двадцать две деревни, принадлежащие графу, как на блюдечке; в телескоп видно даже, что в них делается; глаз помещика блюдет всегда над ними и, подобно как в паноптике[369], одним взором управляет их действиями. Дамские комнаты, о коих мы уже сказали, находятся в среднем этаже. Невозможно при сем умолчать о пышном кабинете с ванною, устроенном внизу. Здесь соединено все, что роскошь могла изобресть для неги чувств и воображения: даже свет, изливаясь сквозь тусклое большое стекло, распространяет приятный нежный сумрак.

Конечно, это храм, храм вкуса! — отгадал я…[370]

Дом сей также построен по плану Демерцова.

Древняя липовая аллея, посреди коей цветочный партер[371], ведет к старому дому самой привлекательной наружности: не входя в него, согласишься с надписью над дверями: «Мал, да покоен». Гостиная комната украшена портретами друзей и ближних хозяина. По мне, таковая коллекция приятнее всех возможных картинных галерей — вот торжество, вот истинное достоинство живописи — сближать, содержать нас, так сказать, всегда в кругу милых нам существ! Из окошек отсюда вдоль бесконечной аллеи синеется на горизонте одна из прелестных деревень графских. Если б поставить посредине ее высокую башню или пирамиду, то глаз с приятностию мог бы отдыхать на ней.

Дабы сделать приятную и любопытную прогулку вокруг сада, должно идти вправо на террасу, которая покрывает грот, отличающийся своею оригинальностию. Широкое зеркало отражает сквозь три огромные двери, сделанные из одного стекла, противулежащие предметы. Гортензии, розы, георгики[372], гвоздики — одним словом, целое царство Флоры вторится в нем в тысяче оттенков ярких, согласных, привлекательных. Внутренность грота убрана мохом и украшена вокруг фаянсовыми и фарфоровыми вазами и чашами в роде этрурских, из коих многие российского изделия.

Прежде чем приближимся мы к обширному пруду, который можно весьма прилично назвать архипелагом по множеству и разнообразности островов, коими он усеян, зайдемте осмотреть библиотеку, помещенную в беседке, лежащей по левую руку. Кажется, большая и отборная часть оной состоит из творений, касающихся до военного искусства. Собрание карт отличное. Один шкап наполнен планами, принадлежавшими знаменитому фельдмаршалу Захару Григорьевичу Чернышеву[373]. Сверх того, в

библиотеке есть несколько любопытных моделей, между коими отличается замысловатостию своею небольшая машинка: ею весьма легко и верно узнается сила мышц человеческих. Петр Великий дивил Голландию и [Англию своею необычайною силою: праправнуку его Александру Павловичу угодно было также над сею машиною испытать крепость рук своих, и стрелка показала 82 градуса, чего самый сильный мужчина редко может достигнуть. Здесь можно заметить еще несколько ружей, пистолетов и сабель отличной отделки и изобретения, также полные азиятские вооружения и обоего рода Конгревовы ракеты[374]. Арсенал сей перенесется вскорости в одну из беседок, нарочно для сего выстроенную на острову.

Не забудьте взглянуть поблизости на памятник Исааку, стодвадцатипятилетнему старцу, скончавшемуся в полном здравии и разуме 1806 года. Монумент сей воздвигнут под двумя липами, самим им саженными в юношестве, тогда, как употребляем был он князем Меншиковым для разведения сада[375]. Мир праху твоему, добрый Исаак! Да предания твои, кои любил ты рассказывать о страшных духах, сопровождавших славного князя твоего, и рассказывать так ужасно и красноречиво, что волосы дыбом становились у слушателей, предадут потомству память о твоей храбрости[376]!

У каменной пристани стоит несколько маленьких челноков. Садитесь в эту раскрашенную шлюпку, и я повезу вас в беседку Мелиссино[377]. Вода чистотою своею и прозрачностию нисколько не походит на стоячую: это оттого, что [с] помощию шлюзов она ежегодно зимою выпускается, а с другой стороны свежая каждую весну впускается с Волхова. Лишь только поравнялись мы с тенистым островком, посреди коего возвышается пирамида, поставленная в память чрезвычайно большой воды, как встречены были стаею воинственных лебедей: они с криком до самой беседки нас преследовали. Храм сей посвящен признательностию за воспитание генералу Мелиссино и отличается от всех благородною архитектурою и уединенностию.

Острова и виды здешние всегда наполнены пернатыми. Дикие утки, бекасы, кулики выводят покойно птенцов; соловьи и малиновки вьют себе гнезда, как в самых дремучих лесах, и громким пением наполняют окрестные места. Пагубные сети ловца никогда здесь для них не раскинуты; никто их не потревожит; сии робкие и осторожные птицы встречают человека как друга своего и покровителя! По извилинам пруда можно выездить несколько верст в шлюпке с величайшим удовольствием и открывая беспрестанно новые виды.

С северной стороны сад ограждается густою, непроницаемою

для холодных ветров еловою аллеею. Она ведет прямо к огромной полуразвалившейся башне, называемой башнею князя Меншикова[378]. В нижней части внутренности ее, под мрачным сводом, поставлен бюст славного сего мужа Петрова века. Тысячи мыслей, тысячи уподоблений, заключений мелькают в воображении при виде развалин, посвященных памяти сего падшего исполина, малого в величии и счастии, но великого, удивительного в ничтожестве и бедствиях! С верху башни проведен отлогий, длинный спуск для катанья в колясочках, и с другого конца сделана такая же гора в виде круглого храма. В отличие пред обыкновенными горами сего рода можно заметить, что во все пространство ската прелестная зелень в переплетенных гирляндах составляет непроницаемый свод для лучей солнечных. Оставя в стороне множество беседок, храмов, палаток, урн, из коих каждая имеет оригинальность свою и цель, как то: Императору Павлу, в память родителя, в воспоминание посещения родительницы[379] и проч., — взглянем на луг, который подобно бархату расстилается на несколько сот сажен и, соединяясь с цветущими берегами Волхова, представляется бесконечным.

Не упустите осмотреть теплицы, огороды и другие хозяйственные заведения: в них так чисто и порядочно, что даже при сравнении с английскими находишь некоторые преимущества, особливо на счет вкуса. Отдохнемте в молочне и прохладимся свежими густыми сливками. Нам подадут их в граненом хрустале, который еще придаст аппетиту. Стены молочни украшены портретами идеальных красот в очаровательных формах и положениях!

Освежась, пустимся далее в деревню. На дороге, противу церкви, в одном из двухэтажных флигелей расположена больница на 20 постелей, а в другом помещаются лекарь и аптека. Не надобно красноречия, чтоб дать цену сему благотворному заведению: тяжелобольные из всех графских деревень пользуются[380] здесь на счет его с возможным попечением и человеколюбием; сверх того, ежедневно лекарь объезжает деревни для вспомоществования одержимым легкими недугами.

Другое учреждение — съезжая — не менее благодетельно и важно. При ней находится отставной унтер-офицер Петербургской пожарной команды, две прекрасные пожарные трубы и всевозможные для того инструменты. Каждое воскресенье пред обеднею приходит сюда по очереди с двух деревень десять человек учиться ими действовать: в год достанется, без исключения, всякому крестьянину побывать здесь несколько раз, так что вскорости будут все они уметь обходиться с машинами.

Кроме двух больших труб заметна небольшая деревянная, действующая довольно хорошо; но главное ее достоинство состоит в том, что она стоит вместо 700 рублей — 70, а потому может быть удобно заведена по деревням в России.

Начинает смеркаться; вы устали: отложим путешествие по деревням до завтра и возвратимся к хозяину в дом, где ожидает нас самовар и приятная беседа. Зайдемте, однако, по пути в Швейцарский домик: он назван так потому, что внутри стены его убраны различным деревом на манер швейцарский. Домик сей определен для гостя, который бы приехал в Грузино с большою фамилиею и пожелал бы иметь свое хозяйство, для чего нашел бы он все удобности, начиная с прекрасной кухни. Под низом со стороны сада отделена уединенная комната, в коей лежит на столе развернутая Библия: крытая аллея, не имеющая никакого с другими сообщения, может служить прогулкою погруженному в священные размышления.

Должно обладать чрезвычайною фортуною[381], чтоб завести и содержать столько прекрасных и отличных учреждений, а у владельца Грузина с небольшим шестьдесят тысяч рублей ежегодного доходу. Вот разительный пример, вот торжество благоразумного распоряжения деньгами и строгого порядка! Здесь все заведено с предусмотрительностию, с возможными выгодами; все сделано в свое время, своими собственными мастеровыми, коих предвидящий помещик воспитал нарочно в различных ремеслах, не переменяя, впрочем, их крестьянского состояния и платя им чистыми деньгами за малейшую работу. Петр I, переодев русских и приучив их вкус к редким питьям и иностранной роскоши, не переменил любви их к щедрости — похвальной, благородной без вреда себе и ближнему, пагубной, если не руководствуется она благоразумием, разорившей самые богатейшие и знатные из фамилий русских. В старину русскому барину можно было быть гостеприимну без осторожности и даже до расточительности: милых гостей своих он потчевал медами душистыми и пенистым полпивом[382] *своего варенья;* трапезу его составляли избытки его хозяйства, огородов и садов; ныне нельзя никому благопристойно позвать на обед без устриц, фазанов, апельсинов, шампанского и бургонского. А все это чужеземное и стоит звонкой монеты! Помня обычай наших предков, мы не перестаем содержать великое число слуг, людей праздных. В Грузине, напротив, всякий имеет свое ремесло и должность: например, малютки певчие смотрят за беседками, музыкантам розданы дорожки и проч.

Между тем в прекрасно освещенной зале гремела согласная музыка. Мы слышали симфонии Моцарта, концерты Маурера[383],

вариации Роде[384] и узнали, что оркестр сих музыкантов состоит из собственных людей графских.

После сего прошу сказать мне, в каком другом государстве на свете помещики имеют сию роскошь, знают так полезно, приятно и разнообразно проводить жизнь и угощать других?

# Ф. А. Пенкин [385] Воспоминания о Военно-учительском институте

Современники приписывали много дурного характеру графа Аракчеева; Военно-учительский институт может и должен засвидетельствовать и о хорошей его стороне. Этот институт был любимым заведением Аракчеева, и граф основывал на нем многие задушевные свои надежды, что не раз высказывал вслух. Так, иногда он говаривал: «У меня из института со временем будут выходить отличные офицеры»; давая же наставление по управлению заведением, прибавлял: «У меня институтских не бить; скажи только ученику — он поймет и сделает; каждый в институте стоит десятерых кантонистов учебного баталиона». <…>

В «Проекте учреждения» о военных поселениях, между многими другими предметами, изложены были мысли об образовании молодого поколения военных поселян. Для более верного достижения этой цели граф Аракчеев признал необходимым основать небольшое учебное заведение, где воспитание было бы осуществлением того направления и духа относительно образования умственного и нравственного, которые предполагалось развить в военных поселениях. Так возник *Военно-учительский институт*. Учредителем его был инженер-генерал-майор граф Сивере[386]. <…>

Военно-учительский институт получил основание в 1818 году. Первоначальный состав его был из тридцати воспитанников: пятнадцать, по распоряжению графа Аракчеева, поступили из воспитанников новгородского военно-сиротского отделения и столько же — из с.-петербургского военно-сиротского отделения в возрасте от 16 до 18 лет включительно. Они были приняты в институт после предварительного испытания.

Военно-учительский институт состоял при санкт-петербургском военно-сиротском отделении и в хозяйственном отношении довольствовался от него всем, без всякого различия, даже в наружной форме. <…>

С начала 1822 года учебная деятельность в институте стала ослабевать заметно: нового ничего не сообщали, а повторяли лишь пройденное, и то слегка. Между тем пронеслись слухи, что скоро институт переведут из Петербурга в округ графа Аракчеева полка, где уже будто бы и помещение для него готово. Учители

нас ободряли, советовали продолжать образование, чему в институте (во время его пребывания в Петербурге), как они справедливо замечали, положено только начало, и положительно уверяли, что граф Аракчеев не оставляет без внимания людей образованных и что, при его могуществе, образованный человек легко может попасть на хорошую дорогу по службе.

Слухи оправдались. В конце апреля 1822 года граф Аракчеев приказал перевести институт в свой округ <…>

Во время пребывания Военно-учительского института в Санкт-Петербурге все добрые намерения графа Е. К. Сиверса, все труды наставников были сосредоточены на развитии умственных способностей учеников, с передачей им сведений, необходимых учителям низших военных заведений с тою разумностию, какой тогда не знали не только в низших, но и в средних учебных заведениях военного ведомства. В округе графа Аракчеева полка институт постепенно принимал вид самостоятельного учебного заведения, с развитием в нем начал учебно-рабочего характера — начал, общих всем военным поселениям. Поэтому институт в округе графа Аракчеева полка (в первые годы) не столько замечателен по части учебной, сколько по тем приемам, которые сам граф Аракчеев пускал в ход для усвоения ему некоторых занятий по части хозяйственной и фронтовой. Институт, в смысле заведения учебно-рабочего, был поставлен графом Аракчеевым на такую степень, что впоследствии служил образцом для всех военно-сиротских отделений, кроме щеголеватости в наружном виде, чем он не отличался от корпусов кадетских.

В моих воспоминаниях я заботился сохранить черты, рисующие характер некогда знаменитого государственного деятеля.

После двухнедельного путешествия[387], помнится, 9 мая, мы пришли на вид громкого между военными поселениями округа графа Аракчеева полка, средоточия всех учреждений по устройству военно-земледельческого хозяйства. Перед нами развернулась картина однообразного порядка домов с мезонинами и с бульварами перед улицами. Думаем себе: «Это не русские деревни, не русские села, а что-то похожее на немецкие колонии».

По переправе через Волхов нас повели в штаб полка, где в это время был и граф Аракчеев. С любопытством смотрели мы по сторонам и под ноги: улицы — шоссе, везде все чисто, дома новые и опрятные; вот нам встречаются солдат и баба, или баба или солдат с замечательно суровым выражением лица. Отчего же они так нахмурены? Верно, думаем, они еще не привыкли к новому порядку, неохотно расстаются с прежним своим бытом, а

может быть, им в поселении и не совсем хорошо[388].

В полковом штабе мы увидели прежде всего командира полка, полковника фон Фрикена. «А! это Военно-учительский институт! Здорово, ребята! Сию минуту будет граф!» Экзерциргауз, в котором мы ожидали графа Аракчеева, немало удивлял нас своею обширностию, особенно шириною и узловатым механизмом потолка. Вот и граф Аракчеев, про которого в Петербурге носились недобрые слухи, хотя, правду сказать, видев его там только два раза, я ничего не мог заметить недоброго. «Здорово, ребята! Что, устали? Отвести их в госпитальный флигель и накормить».

Нас поместили в госпитальном корпусе. <…> В тот же самый день, когда мы прибыли, явились кровати, столы, стулья, тюфяки, подушки и тонкое постельное белье, какое дай Бог иметь и в дворянских заведениях. Вскоре привезли из Петербурга кадетские сукна, темно-зеленое и серое, отличный холст и сапожный товар. Граф Аракчеев прежде все это осмотрел сам, а потом уже приказал одеть нас по образцу, им утвержденному. В неделю нас одели и обули просторно и щегольски. Наша щеголеватость была в диковинку и нам и поселянам, за что мы и прослыли между ними аракчеевскими кадетами. <…>

*Рекрутская школа.* Как только нас перерядили, тотчас отдали под команду старого, но бравого унтер-офицера для обучения рекрутской школе. В этом занятии мы проводили часа два и столько же времени после обеда. Обучение фронту шло самым терпеливым способом — без брани, без угроз и побоев, что нас удивляло: мы видели кругом, как мало было известно человеколюбие в поселениях. Граф Аракчеев не имел привычки откладывать что-либо вдаль: бывало, прикажет, даст необходимое время на исполнение, да тотчас сам же и поверит. Так и наше обучение фронту не ускользнуло от его внимания. Лишь только мы преодолели трудности движения тихим и скорым шагом, как граф приказал посылать нас каждый день к разводу. <…> Нельзя забыть суеты и хлопотливости, снисходительности и терпения приставленного к нам в руководители по церемониальному маршу адъютанта графа Аракчеева: то он выравнивал нас на марше, то приказывал переменить ногу, то направлял шаг наш под такт музыки, и, несмотря на то, наш взвод прошел мимо графа как не надобно хуже. Однако граф поблагодарил: «Спасибо, ребята!» — «Рады стараться, ваше сиятельство!» <…>

*Начало работ.* «Выходи на двор! стройся в две шеренги!» Вместо бравого унтер-офицера глазам нашим представился плешивый инвалид, в оборванной шинели, с различными

орудиями уличной опрятности. Что бы это значило? Смотрю, одному дают лопату, другому скребок, этим носилки, мне метлу. «Направо! Марш!» В тонкой новой шинели, а на плече грязная метла… что-то непонятно! да и за что такая немилость, когда, по-видимому, граф к нам очень благоволит? Вот и место работ. Чтобы наш плешивый надзиратель не имел повода быть нами недовольным и чтобы показать, что из наших рук не вываливается дело, ловко и проворно принялись мы за работу. Дня в три обчистили, обскребли, вымели и выровняли мы все улицы, бульвары, площадки внутри и вне штаба полка. Работа и ничего бы, да крепко надоедали нам молодые поселянки своими насмешками: «Смотрите, смотрите! вон аракчеевские кадеты скребут улицы». Бывало, погрозишь им лопатою или метлою, и опять за дело. <…>

Граф Аракчеев к воспитанникам института был очень ласков: со многими разговаривал, спрашивая, какого класса, чему обучались и хорошо ли у него в поселении. Не забуду одного случая. Я, с кем-то втроем, стоял у булки часового, и все мы смотрели на учение кадровых баталионов. К нам подошел граф Аракчеев. Как теперь вижу: на нем был старенький артиллерийский сюртук, а поверх сюртука полусуконная серая куртка; на голове клеенчатый картуз (в таком наряде он обыкновенно ходил по работам). Спросив, какого мы класса и которые по успехам в науках ученики, он стал всматриваться и вслушиваться. Кто-то из обучающих, как нарочно, бранился. «Слышите? он бранится, а все по-пустому; вот я прежде был очень жесток, а теперь я только строг» Потом, дав наставления относительно хладнокровия, ушел на кирпичный завод. Любимою мыслию графа Аракчеева, которую он горячо преследовал в поселении, было согласование фронтовой службы с земледельческими работами и с некоторою степенью образования. Мысль несбыточная при средствах, пущенных в ход графом Аракчеевым. Нельзя любить того, что навязывается под страхом.

Устройством Военно-учительского института как учебного заведения, уже во всех частях самостоятельного, граф Аракчеев занялся сам и для того входил в малейшие подробности: ни ввести чего-либо, ни отменить, ни переиначить без воли его никому и ничего не дозволялось. Мы видели графа поутру рано, в полдень, вечером и даже ночью, и такие посещения редко обходились без того, чтобы граф Аракчеев чего не указал или не заметил (на первых порах) какой-либо неисправности[389]. <…>

*Посещение института Императором Александром I.* В конце 1822 года Император изволил вторично посетить округ графа

Аракчеева полка. На этот раз институт имел счастие представиться как учебное заведение, уже устроенное во всех своих частях. Его Величество с заметным удовольствием слушал ответы учеников верхнего класса из закона Божия и русского языка. Награждение законоучителя (он же преподавал и русский язык) камилавкою[390], а лучших учеников сторублевыми [ассигнациями] показало нам еще раз, что мы учились недурно. В двенадцать часов Государь Император посетил столовую залу, когда кантонисты приготовлялись сесть за обед. При этом Его Величество изволил заметить: «Граф! у тебя лучше, нежели в кадетском корпусе». — «Государь! они у меня делают все сами», — был ответ графа Аракчеева. <…>

*Граф Алексей Андреевич Аракчеев.* Для чего каждый раз во время обеда один из нас читает «Деяния Петра Великого» Голикова[391]? Граф Аракчеев имел даже намерение послать двоих из нас в Санкт-Петербург учиться изящному чтению у Гнедича или Гр[еч]а[392]. Для того, чтобы мы, слушая, понимали и сравнивали деяния Петра Великого с деятельностью графа Аракчеева. Петр Великий преобразовал дворянство и государственную администрацию на европейский лад, а граф Аракчеев переустраивал быт крестьян (в малом покуда размере) также на лад иноземный, пересаживая все лучшее по сельскому хозяйству на почву русскую. Как действовал граф Аракчеев? Быстро, неумолимо, даже жестоко, как и Петр Великий. <…>

Из всего, что я читал, слышал от лиц, достойных веры, и видел собственными глазами, вывожу следующее, *личное* мое мнение: граф Алексей Андреевич Аракчеев в образе жизни любил умеренность, простоту и порядок; удовольствиями общественной жизни не увлекался, в обхождении со всеми был одинаков: никому не льстил и не был знаком с утонченною вежливостию. Он мало обращал внимания на то, что говорили про общественные дела, зато внимательно следил за тем, что на службе делали; образованный ум, истинная заслуга были им ценимы и уважаемы; выслужливость презирал: из числа окружавших его и приближенных к нему не было ни одного, кого бы он выдвинул на вид по одной благосклонности или по уважению к связям. По своим понятиям о государственной пользе он посвящал ей всю свою деятельность и во всех своих действиях обнаруживал ясность взгляда, глубокость соображений и прозорливость. Ничто не могло поколебать его заветных дум; воля его была так непреклонна, что никакие препятствия не останавливали его при исполнении, он начинал, продолжал и оканчивал все с одинаковою силою: отчетливо, ровно и быстро.

Как человек граф Аракчеев не обладал теми качествами

души, которыми приобретаются любовь и искренняя привязанность. <…>

# И. И. Европеус [393] Воспоминания о службе в военном поселении и об отношениях к графу Аракчееву

В изданных М. И. Семевским книгах: 1) «Бунт военных поселян в 1831 г.» (СПб., изд. 1870 г.) и 2) «Граф Аракчеев и военные поселения 1816–1831 гг.» (СПб., 1871 г.) была упомянута моя фамилия, в первой — сыном командира короля прусского полка Чевакинским, а во второй — старшим священником того же полка П. В. Воиновым. Это подало и мне мысль сообщить мало кому известные черты характера графа Аракчеева, относящиеся лично ко мне или занимаемой мною должности и могущие служить дополнением будущей биографии столь сильного государственного деятеля, равно и дополнить пропущенные факты о бунте военных поселян короля прусского полка. Рассказ мой не вымышлен, а основан на факте и документе. Для объяснения некоторых обстоятельств не лишним полагаю сообщить, что по определении меня в 1820 году в гренадерский корпус прикомандирован я был к госпиталю графа Аракчеева полка, оттуда назначен объездным врачом поселенного баталиона короля прусского полка, а впоследствии и старшим лекарем полка.

В бытность мою объездным врачом, я имел возможность познакомиться не только с бытом поселян, их семейными отношениями, нуждами, но и с тяжелыми работами как самых поселян, равно резервных войск, назначенных для обработки полей. Работы сии были столь обременительны для солдат, помешенных в сырых мазанках и не привыкших к рубке леса, осушке болот, выворачиванию пней и камней до глубокой осени, что, несмотря на сытную пищу и графскую чарку водки, больных было много, большая часть страдала лихорадками, покосом, цингою, водяною и куриною слепотою. Смертность была значительна. Солдаты хотя и роптали, но с работ возвращались с песнями и бубнами в угождение начальству; зато ночью раздавались по всему лагерю стоны и оханье, ибо, по неимению печей в мазанках, солдатам негде было греться, тем менее сушить обувь и платье. Мне помнится, что между офицерами ходили стихи под заглавием: «Политическая Сибирь, или Работа за гривну», а о женщинах-поселянках сказано было: и за цену разврата покупали себе соль.

Обязанность моя, как объездного врача, состояла в ежедневном осмотре всех жителей округа, помешенных в более 300 связях, на расстоянии тридцати верст. Что обязанность сия была нелегка, поймет каждый, кому бы пришлось, несмотря ни на какую погоду, вязнуть несколько раз в грязи, ибо шоссированных дорог тогда еще не было, несколько десятков раз подниматься в мезонины для осмотра заболевших нижних чинов или кантонистов и не быть уверенным, что тебя и ночью могут потребовать к внезапно заболевшим или родильницам. Для этой цели находилась безотлучно пара лошадей при объездном враче.

Не знаю, по какой причине граф особенно полюбил короля прусского полк и по неделям проживал в любимой, для него переделанной связи 3-й поселенной роты у Лажитовского моста, выстроенного производителем работ Алексеем Федоровичем Львовым, впоследствии директором придворной певческой капеллы. Здесь он разговаривал с бабами, слушал их сплетни, заходил к поселянкам во время отсутствия хозяев. Возвращаясь раз осенью из бывших саперных рот, близ мызы графа Сперанского, мимо связи, я взглянул по обыкновению на окна и увидел, что граф не только машет мне рукою, но и стучит в оконную раму. Я подумал: беда, вероятно, какой-нибудь недосмотр с моей стороны или со стороны фельдшера; я оробел, и нельзя было не испугаться при тогдашних строгостях, но делать было нечего, нужно было явиться. Очистив свою обувь от грязи, я вошел по заднему крыльцу в приемную залу. Не прошло несколько минут, как в приемную вошел дежурный адъютант и спросил: «Что мне угодно?» Когда я рассказал, в чем пело, он тотчас доложил обо мне графу и, возвратившись, сказал: «Граф приказал вам ждать». Адъютант, заметив мое расстроенное лицо, спросил:

— Все ли у вас в порядке, ибо граф прогуливался еще рано утром и, вероятно, заходил в некоторые связи, где вы, может, не были, и больным не было дано помощи?

Но каково же было мое удивление, когда дверь кабинета отворилась и граф, с довольно веселым видом, кланяясь мне оттуда, сказал:

— Я, братец ты мой, был сегодня у тебя, желал с тобою поближе познакомиться, но жаль, что не застал тебя дома.

«Слава Богу, — подумал я, — а то быть бы на гауптвахте».

— Я слышал, что ты поселян бережешь и о них заботишься; служи, как ты служил, и я тебя не забуду. Прощай!

Граф исполнил свое обещание, ибо к новому году я награжден был бриллиантовым перстнем. Возвратившись с облегченным сердцем домой, встретил меня денщик и передал,

что после моего отъезда, то есть около шести часов пополуночи, зашел никем не замеченный граф и спросил:

— Дома ли лекарь?

— Никак нет, ваше сиятельство; ибо барин мой давно уже уехал и ранее сумерек не возвратится.

— Ты, братец, врешь, вероятно, твой барин и дома не ночевал, а у кого-нибудь в карты играет!

— Никак нет, ваше сиятельство, барину некогда в карты играть.

Получив такой ответ, он спросил:

— А что у вас там в мезонине?

— Аптека.

— Веди меня туда! — И, застав там засаленного аптекарского ученика за работою, спросил обо мне и, получив подобный же ответ, сказал: «Как же ты, братец, лжешь, когда денщик мне передал, что лекарь и дома не ночевал!»

— Денщик не прав, ваше сиятельство, ибо лекарь уже давно уехал, и по его рецепту я приготовляю лекарство в № 91, — был ответ засаленного фельдшера.

Граф вообще не любил щеголей, полагая, что подобные люди плохие работники и занимаются более своею персоною, нежели делом. Поблагодарив денщика за найденный уже так рано порядок в комнатах, отправился дальше, не заходя в другую половину связи, где жил священник Воинов, не желая беспокоить семейного человека так рано.

Несколько времени спустя пришлось мне посетить одну больную поселянку, которая меня спросила:

— Помните ли, ваше благородие, когда вы с неделю тому назад проезжали здесь мимо, взглянули на окно и я вам кланялась?

— Очень хорошо помню, но что же?

— А более ничего, что в это время стоял граф за моей спиной и спросил, кому я так низко кланялась. «Нашему лекарю, ваше сиятельство, Дай Бог ему доброго здоровья, он нас лечит и бережет!»

Этот маловажный случай был причиною посещения графом моей квартиры и послужил мне рекомендацией, ибо не прошло и двух лет, как я назначен был старшим лекарем короля прусского полка.

Граф был, несмотря на его многосложные обязанности, сопряженные с необыкновенной деятельностью и бессонными ночами, страстно мелочен не только по службе, но и в домашнем быту; он имел подробную опись вещам каждого из его людей, начиная с камердинера и кончая поваренком или конюхом. По

этим спискам поверял он каждый год все имущество, приказывал кое-что переделать, починить или вовсе уничтожить.

Мелочность эта по службе была даже несносна; так, при устройстве госпиталя короля прусского полка, который должен был быть образцовым, граф сам показывал, как поставить кровати, куда скамейки, где должен быть ординаторский столик с чернильницею и даже какого формата должно быть перо, то есть без бородки, в виде римского calamus[394]. Хотя граф и был уверен, что его приказания исполнялись с точностью, но тем не менее хотел сам во всем удостовериться и, зайдя несколько дней спустя в палату с полковником Чевакинским, заметил на подставке для чернильницы брошенное испугавшимся фельдшером перо с бородкою; призвав к столу полковника и меня, он сделал нам замечания, а фельдшеру приказал дать пять розог.

От проницательного взгляда графа не ускользали и беспорядки в квартирах чиновников. Так, однажды, подходя к дверям квартиры смотрителя Фарафонтьева, почувствовав что-то мягкое под ногой, приказал дежурному унтер-офицеру поднять мат перед дверями и, найдя под ним сор и пыль, нахмурил брови; призвав к себе г-жу Фарафонтьеву, сделал ей род выговора в надежде, что подобных ужасных беспорядков впредь не найдет. Еще пример мелочности: как-то раз получил я, по приказанию графа, выговор от дежурного штаб-офицера за то, что мой суточный рапорт подписан был нечеткою рукою.

Вот какими мелочами занимался государственный человек, но он хотел показать, что его хватит на все, и немудрено, что граф мучился тоскою и биением сердца: более 4–5 часов он не спал. К такой же деятельности приучил он и начальника штаба, генерала Клейнмихеля, которого он иногда так обременял работами, что ему часто вовсе не удавалось ложиться спать, а, наклонившись к пюпитру, мог только вздремнуть. Чем же наградил он Петра Андреевича за такую деятельность? У графа обедали ровно в час и за несколько минут до обеда собирались все в приемную, в том числе и Клейнмихель; но каково же было его удивление, когда подошедший к нему камердинер объявил, что «для вашего превосходительства сегодня прибора нет», и сконфуженный начальник штаба принужден был послать за молоком и куском хлеба. Эту историю передал мне слуга, заведовавший назначенным для Клейнмихеля флигелем, в котором и я впоследствии останавливался.

Граф любил блеснуть и показать все в лучшем виде, обманывал посетителей, обманывал и Государя, но <неразбочиво> ухитрялся и его обмануть. Так, однажды при

посещении госпиталя он сделал мне строгий выговор зато, что много лежащих, и [сказал, что] надеется, что при будущем посещении столько трудных больных не найдет. Что было делать? надобно было его обмануть, и это было нетрудно, так как граф уже после развода в манеже заходил в госпиталь. За полчаса до его прихода надобно было больных, могущих стоять, поместить на скамейках между выздоравливающими. Граф, поздоровавшись, окинул взглядом всю палату и, увидя только трех или четырех лежащих, сказал: «Благодарю, теперь у вас мало лежащих», а полковник Чевакинский, посетивший еще утром госпиталь и увидев довольно много трудных, усмехнулся при выходе графа из палаты, ибо понял, в чем дело. Но что после подобных осмотров число трудных усиливалось, граф и знать не хотел, а показать в суточных рапортах было рискованно.

К людям, в которых граф нуждался, был он необыкновенно вежлив и снисходителен, не только с инженерами, архитекторами, механиками, но и с простым мужиком-подрядчиком ходил под руку, выслушивал их советы, хотя и торговался, но все-таки предоставлял им значительные выгоды. При посещении графом только что отстроенного лесопильно-мукомольного завода на реке Волхове жаловался ему, как надобно было полагать, начальник оного инженер-майор Шахардин, любимец графа, на механика-машиниста англичанина Глина. После подробного осмотра завода приказано было Глину явиться в так называемый государев дом, выстроенный на высоком кургане, в четверти версты от завода, Глин явился, застал у графа Шахардина. Граф встретил Глина сурово, сделал ему строгое замечание, что он к начальству непочтителен и с полезными людьми ужиться не может, и грозил ему даже гауптвахтою.

— На гауптвахту не хочу, у меня в Петербурге удобная квартира, а в Лондоне дом! — отвечал Глин. — У вашего же Шахардина язык колокольчик (то есть болтун и сплетник), а голова вот что! — ударил пальцем по столу и вышел.

Граф, чувствуя, что он без Глина обойтись не может, звал его вторично к себе, извинялся, что погорячился, и просил его остаться, но гордый англичанин недолго служил и возвратился в Англию.

Из Новгорода ездил я нередко в Грузино, не оттого, чтобы граф не имел полной доверенности к состоящему при нем врачу его же имени полка Степану Петровичу Орлову, но оттого, что граф начал сомневаться в искренней к нему преданности Орлова, подозревая его в интимных сношениях с племянницею Настасьи Федоровны, Татьяною Борисовною[395], несмотря на то что Орлов

имел молодую, красивую и приятную жену; но граф верил сплетням людей, не любивших Орлова за его аккуратность и строгость, как дворовым, так и крестьянам графского имения. Все эти дрязги кончились, однако же, тем, что ни в чем не виновную, скромную и тихую Татьяну Борисовну отправил в новгородский Свято-Духов монастырь, к игуменье Максимилле Петровне Шишкиной[396], будто для обучения рукоделию, а меня просил не оставить ее в случае надобности.

После же смерти графа наша пленница вышла замуж за поручика Андреева, боровичского помещика[397].

Ежели графу необходимо было остаться на несколько дней в штабе короля прусского полка, то он возил с собою и флигель-адъютанта М. Шумского, а меня просил заниматься с ним шведским разговорным языком, ибо состоящий при нем учитель шведского языка А. Вульферт возвратился в Финляндию. Какую граф имел цель, не понимаю, но полагаю, что он желал приготовить Шумского к одной из административных должностей в Финляндии. Шумский, как известно, спился, отправлен был на Кавказ и, вышедши в отставку, шлялся по новгородским монастырям, был на Валааме и в Соловецком монастыре, пробовал заняться частно в одном из новгородских присутственных мест, кажется, в казенной палате, но не мог, сделался совершеннейшим идиотом, забыл все, даже французский язык, а об других и говорить нечего. Графом назначено было ему 1200 рублей ассигнациями, и ежели бы не эта пагубная его страсть, то он все-таки мог бы кое-как существовать. Куда он впоследствии времени девался, не знаю, но, вероятно, давно уже умер. Как-то раз вечером зашел граф в госпиталь в то время, когда я занимался с Шумским. Я должен был встретить и провожать графа, но каково же было мое удивление, когда я, возвратившись, нашел Шумского пьяным, ибо, видя мой шкаф незапертым, он воспользовался случаем и выпил почти полбутылки рому. Насилу дотащил я его с денщиком на другую половину графского флигеля, приказав его раздеть и уложить; явиться же к утреннему чаю он не мог и приказал доложить графу, что, бывши вчера у меня, сильно угорел. Граф поверил, но при выезде из штаба сделал мне замечание.

По выступлении короля прусского полка против польских мятежников[398] просил меня наш бригадный командир, генерал фон Фрикен, посещать его жену Анну Григорьевну, оставшуюся с детьми в Собачьих горбах (бригадная квартира, в трех верстах от штаба короля прусского полка), и не оставить их в случае надобности. При посещении г-жи Фрикен познакомилась и моя

жена с его сиятельством, тем охотнее, что Алексей Андреевич был в женском обществе необыкновенно вежлив, предупредителен и всегда в хорошем расположении духа. Заметив мою жену в интересном положении, он предлагал Анне Григорьевне быть с ним восприемниками будущего ребенка, а жене приехать с Анною Григорьевною погостить в Грузино. Граф исполнил свое обещание и был восприемником моей дочери с Анной Григорьевной, в честь которой и графини Орловой, у которой я был врачом, наречена Анной.

Устройство военных поселений обратило на себя внимание иностранных держав. Ежегодно, особенно летом, приезжали аккредитованные лица; присутствовали, как водилось, сперва на параде, потом возили их повсюду, показывали церковь, манеж, юнкерскую школу, госпиталь, ферму, офицерские флигеля и общую для них столовую. <…>

Во время бунта военных поселян австрийского и короля прусского полков[399] граф находился в Грузине, но, узнав, что несколько троек назначены для поимки его, ускакал в Тихвин, а не в Новгород, как сказано в брошюре «Граф Аракчеев», ибо по шоссе он проехать не мог, так как там поставлены были поселянами пикеты; по усмирении же мятежа, то есть скоро после проезда Государя, возвратился в Новгород и остановился на Софийской стороне, в гостинице купца М<неразборчиво>, Поговаривали, будто бы губернатор А. У. Денфер[400], узнав о приезде графа, послал к нему полицеймейстера с просьбою о выезде из города, так как присутствие его сиятельства могло быть опасным для жителей, без того уже боявшихся нападения со стороны поселян. Можете себе представить гнев и злость графа, которому, несмотря на то что он уже не был в силе, все еще по старой привычке кланялись и раболепствовали. Граф отправил тотчас эстафету в Петербург; ему разрешено было остаться в Новгороде, а губернатору выставили его опрометчивость на вид. Во время своего пребывания в Новгороде граф ни к кому не ездил и никого не принимал; заезжал иногда ко мне по вечерам и любил играть в бостон по грошу. Хотя граф и был уверен в своей безопасности в Новгороде, но тем не менее опасался за свою шкатулку, которую передал мне и просил хранить в безопасном месте. Спрятав шкатулку под кровать, я очень обрадовался, когда граф, несколько дней спустя, сам приехал за шкатулкой, причинявшей нам много бессонных ночей. Нехорошо быть богатым, но еще хуже хранить чужое, может быть, миллионное богатство. Не помню, долго ли граф прожил в Новгороде, но помню, что раз вечером, выходя от меня, задел воротником шинели за какой-то почти незаметный гвоздь в дверях,

рассердился и сказал:

— Вот какие у тебя неисправности; эту шинель снял со своих плеч покойный Государь на поле сражения в 1812 году и подарил мне, и эту драгоценность пришлось мне разорвать у тебя. Прощай, никогда более к тебе не приеду.

И действительно, не был, но пред своим отъездом звал меня и жену на прощальный обед, был весел и любезен и просил меня, в случае надобности, приехать в Грузино.

По усмирении бунта в Старой Руссе возвратился в Новгород генерал Эйлер в сопровождении резервного баталиона карабинерского полка для начальствования над войсками. Несколько дней спустя явился при мне к графу адъютант генерала Эйлера, штабс-капитан П. Н. Манкошеев[401] с докладом: когда его сиятельству угодно будет принять начальствующего над войсками.

— Благодарите вашего генерала за оказанную мне честь, но с моей стороны было бы непростительно отрывать вашего генерала от столь важных государственных дел. Честь имею кланяться! — И ушел в свой кабинет, а адъютанту пришлось передать саркастический ответ графу Эйлеру.

Генерал фон Фрикен, возвратившись из польского похода, остался по-прежнему в хороших и даже дружеских отношениях к графу. Возвратившись как-то раз из Грузина, он передал мне желание графа, чтоб я оставил службу и переехал к нему, предлагая мне 2500 рублей ассигнациями, без прислуги, кроме одной кухарки. Федор Карлович хотя и знал, что я на этих условиях у графа остаться не согласен, тем более что при феодальном управлении в Грузине за чертою селения ничего не дозволялось покупать, но тем не менее передал мне желание графа. Я просил генерала Фрикена поблагодарить графа за оказанную мне честь и передать, что я на этих условиях у него остаться не могу, что, вероятно, он и исполнил. Но, несмотря на сие, приехал ко мне несколько дней спустя домашний доктор графа г. Орлов, мой сослуживец в графском полку. Первое его приветствие было:

— Поздравляю тебя, ты назначен состоять при графе, а мне предписано принять от тебя госпиталь[402]. Вот тебе предписание медицинского департамента с приложением Высочайшего приказа; распорядись как знаешь.

— Я в Грузино не поеду, — был мой ответ, — ибо ты хорошо знаешь, какое там житье и как неделикатно граф обращается с врачом; приезжай завтра в госпиталь и вручи мне бумаги в конторе.

— Прощай, брат, завтра увидимся! — был ответ Степана

Петровича.

Я не знал, что и начать, но, подумав немного, поехал, хотя уже довольно поздно, к генерал-лейтенанту Данилову[403] и, рассказав, в чем дело, просил его превосходительство уволить меня хотя на 4 дня в Петербург; на что он и согласился, хотя был вполне уверен, что все мои хлопоты отделаться от графа ни к чему не поведут, тем более что Высочайший приказ уже состоялся, а между тем приказал меня снабдить билетом. Прибыв на другой день в контору госпиталя, я застал там г. Орлова, который мне и вручил вышеозначенные документы при своем отношении, на которое я уведомил, что я еще вчера уволен генерал-лейтенантом Даниловым в С.-Петербург на 4 дня, и до моего возвращения приказал приготовить все необходимое для сдачи госпиталя и, передав свою должность, отправился в Грузине, куда прибыл около шести часов пополудни и остановился в доме для приезжающих, в так называемой гостинице. С полчаса спустя пришел грузинский полицеймейстер, г. Макариус, которого я просил доложить графу о моем приезде и назначить, когда ею сиятельству угодно будет меня принять. Г. Макариус возвратился скоро и передал мне желание графа видеть меня теперь же, так как чай уже подан. Одевшись против обыкновенного в мундир, я застал графа за чайным столом; увидев меня в полной форме, он спросил:

— Что это у тебя, братец, новый мундир, что ли, что приехал в мундире?

— Никак нет, ваше сиятельство, но, быв назначен состоять при особе вашей, долгом счел явиться, — причем я сообщил ему переданное мне предписание медицинского департамента и Высочайший приказ.

— Не думал я, чтобы Государь так скоро исполнил мою просьбу. Спасибо Якову Васильевичу Виллие[404] за его дружбу ко мне, больному старику. Вы уже совсем из Новгорода?

— Никак нет, и ежели ваше сиятельство позволите, то мне нужно бы предварительно побывать в Петербурге по некоторым домашним обстоятельствам.

— Хорошо, но, пожалуйста, поторопись, ибо Орлов от меня уже отчислен.

— Слушаю, ваше сиятельство; но позвольте мне доложить, что на условиях, переданных мне генералом Фрикеном, я у вас служить не могу. Вы даете мне 2500 рублей ассигнациями и квартиру, но это для меня недостаточно, так как все припасы у вас в Грузине дороже. Я имею теперь уже двоих детей и содержу двух старух, так что из определенного вашим сиятельством жалованья я ничего отложить не могу, и совесть попрекала бы

меня в том, что я, в угождение вашему сиятельству, жертвую благосостоянием своего семейства. Прибавьте мне 500 рублей — и я готов остаться у вас до гробовой доски, поберечь вас, сколько хватит знания и опытности, готов пользовать и крестьян ваших по деревням, как мой предместник.

— Ты, брат, в Новгороде избалован, — сказал граф, — впрочем, здесь рассуждать нечего, у тебя Высочайший приказ, и это свято.

— Я это очень хорошо понимаю, — был мой ответ, — но какая вашему сиятельству охота иметь при себе врача, которому вы доверяете свою жизнь против его воли и желания. Я обязан у вас служить, но первого сентября подам в отставку и все-таки вашему сиятельству придется искать себе другого врача.

Граф, по-видимому, расстроился, нахмурил брови и сказал:

— Пора спать, скоро десять часов. Утро вечера мудренее, ступай в свой флигель и явись к утреннему чаю, то есть к шести часам, тогда потолкуем! — и, пожелав доброй ночи, ушел.

Не спавши почти всю ночь, я должен был явиться к графу к шести часам и застал его за столом (с чайником в руке, ибо после трагической смерти Настасьи Федоровны он редко кому доверял приготовить чаю, разве только приезжим дамам или Татьяне Борисовне, которой он вполне верил. Походивши по комнате с четверть часа и посматривая на меня с какою-то насмешливою и язвительною улыбкою, спросил, хорошо ли я обдумал вчерашний разговор?

— Как же, ваше сиятельство, но, к сожалению, я должен вам объявить, что, несмотря на ваше ко мне благодеяние и ласки, я у вас долее сентября остаться не могу. Извините мой дерзкий отзыв, но я говорю от души, как отец семейства.

Граф переменился в лице, ибо он действительно был тронут моим ответом.

— Не ожидал я этого от тебя, любезный кум, — сказал граф, начал ходить по комнате и после некоторого раздумья спросил: — Кто же назначен на ваше место в Новгород?

— Господин Орлов! — был мой ответ.

— Какой Орлов?

— Ваш бывший врач, Степан Петрович.

— Гм! Гм! Где же и настоящее время ваш госпиталь?

— В порожних строениях бывшей фабрики.

— Как? Следовательно, стена об стену с Духовым монастырем?

— Точно так.

Граф, подумав недолго, проговорил вполголоса:

— Этому не бывать! Знаете ли вы, за что я просил удалить от

себя Орлова?

— Слыхал кое-что, но мне что-то не верится.

— Но это так, и потому я отправил Татьяну в Духов монастырь, а теперь предстоит им опять случай видеться и возобновить прежние отношения, но этому никогда не бывать. Я хотел их разлучить, но ваше начальство соединило их опять. Шутить, что ли, надо мною, стариком, хотели?

Граф, по-видимому, был вполне уверен, что все грузинские сплетни должны быть известны и медицинскому департаменту, который, чуждый всем грузинским происшествиям, назначил Орлова в Новгород, а меня в Грузино.

— Позвольте мне теперь отправиться, ибо я уволен только на четыре дня и господин Орлов ждет меня в Новгороде.

— Подождите немного, зайдите в церковь или в библиотеку, где найдете разные новые модели и рисунки.

Я зашел в церковь, где под бюстом Императора Павла сторож показал мне будущую могилу графа, а подле ее и могилу зарезанной Настасьи Федоровны. Пол в церкви чугунный, составленный из ромбоидов. Сторож, заметив, что я обратил внимание на желтое колечко, прикрепленное к одному ромбоиду, предложил мне поднять оный. Под ромбоидом на вызолоченной дощечке над могилою Настасьи Федоровны была надпись: «Здесь погребен 25-летний мой друг, Настасья Федоровна, убиенная своими людьми в сентябре 1825 года»[405]. Граф заходил каждое утро в церковь поклониться праху двадцатипятилетнего своего друга и возобновлял увядшие цветы свежими. В день смерти Настасьи Федоровны граф был в округе короля прусского полка и тотчас после обеда намеревался отправиться по другим округам, но прискакавший грузинский голова объявил о случившемся главному доктору военных поселян К. Х. Долеру, другу графа, который под видом внезапной болезни Настасьи Федоровны насилу мог уговорить графа возвратиться в Грузино. Не доезжая несколько верст, объявили графу о случившемся несчастии. Граф остолбенел, но через несколько минут начал рыдать, рвать на себе волосы, бросился без фуражки из кареты, так что Долер и лакей насилу могли его удержать. Что было в Грузино, не знаю. Вышедши из церкви, я зашел к графу, который вручил мне письмо к Якову Васильевичу и просил передать свой поклон. Я отправился тотчас же и на другой день явился в медицинский департамент к дежурному генералу и в департамент военных поселений. Отовсюду один вопрос:

— Вы из Грузина?

— Точно так.

— Хорошо, что исполнили так скоро волю Государя.

Около двух часов явился к Якову Васильевичу Виллие. Тот же вопрос:

— Вы уже совсем переехали?

— Никак нет.

— Пожалуйста, поторопитесь, ибо вы знаете, что граф без врача долго оставаться не может.

— Граф просил передать вашему превосходительству свой дружеский поклон и вручить это письмо.

Яков Васильевич прочел письмо, взял свое увеличительное стекло, прочел вторично и задумался.

— Вы уверили меня, что граф здоров, но мне кажется, что он с ума сошел.

— Не думаю, — был мой ответ, — ибо при моем выезде вчера вечером я ничего особенного не заметил.

— Знаете ли вы содержание этого письма?

— Никак нет.

— Граф просит меня об одной милости у Государя: оставить вас на прежнем месте в Новгороде, обещая уже более не беспокоить Государя о назначении ему врача. Скажите, пожалуйста, что за причина столь быстрого и крутого поворота? Может быть, вы сами умоляли графа остаться в Новгороде?

— Я и подумать не смел, — и рассказал подробно всю историю с Татьяною Борисовною, прибавив, что более всего рассердило графа, вероятно, то, что Орлов, вопреки его предположениям, назначен в Новгород, а не в Сибирь или на Кавказ. За обедом Виллие рассказал всю эту историю своим знакомым, которые от души смеялись, а хозяин остался не в духе. Я возвратился прямо в Новгород и вступил в прежнюю должность; Орлов назначен был, кажется, в Чугуевский госпиталь, а граф нанял для себя вольнопрактикующего врача, который недолго выдержал. Граф, оставшись без врача, обращался к состоящему при департаменте военных поселений, бывшему имени его полка, доктору К. П. Миллеру, а иногда и ко мне.

В домашнем быту граф был необыкновенно мелочен и аккуратен; все У него делалось по часам, он любил порядок и чистоту, особенно же пыли нигде терпеть не мог. Он был более скуп, нежели даже следовало бы при его средствах, ибо часто вместо свежего жаркого подавали соленую телятину, а вместо пирожного — гречневую кашу с сахаром; рюмки же для вина были чисто гомеопатические, и не каждый из обедающих удостаивался получить рюмку вина или ликеру; зато на званом обеде существовала роскошь русского магната: все подавалось на серебре или лучшем китайском фарфоре, вино отличное, редкое, равно и фрукты.

Что же касается до характера графа, то он был непостоянен, зависел от его занятий, окружающих его людей, других обстоятельств, которые влияли на расположение его духа, так что с точностью определить свойство его характера трудно, тем более что он всегда был озабочен государственными делами да сверх того страдал *расстройством всей нервной системы*, *застоем печени* и *дефлективным страданием сердца*; от этого происходили его мнительность, недоверчивость, бессонные ночи, тоска и биение сердца. Хотя вспыльчивость иногда и доводила графа до исступления, но злопамятным и мстительным к людям, ниже его стоящим, никогда не был. К поселянам был снисходителен; так, заметив какой-нибудь беспорядок в доме или около, делал им только замечания и предостерегал их от взгляда графа Клейнмихеля или полкового командира. Поэтому графа и не так боялись и всю вину строгостей приписывали ближним начальникам, которым граф Клейнмихель внушал быть по возможности строже, а сам оставался в стороне, свалив все с больной головы на здоровую. Граф был необыкновенно впечатлителен; так, при рассказе какой-нибудь печальной истории он прослезится, бывало, как дитя, но, заметив, что у какой-нибудь десятилетней девчонки дорожки в саду не так чисто выметены, в состоянии был приказать строго ее наказать, но, опомнившись, приказывал выдать ей пятачок. Это было при мне, но всегда ли граф так поступал, не знаю. Граф, если был в хорошем расположении духа, имел обыкновение награждать исправных хозяек-поселянок за чистоту пятачком, и эту награду ценили как царскую милость.

Вот все, что я мог вспомнить о моей службе в военном поселении с 1820 и до конца 1832 года. Может быть, мой рассказ содержит в себе много лишнего, собственно до меня касающегося, может, он мелочен, что касается личности графа, но именно эти мелочи обрисовывают характер этого государственного деятеля, Государю и отечеству без лести преданного (девиз герба графа Аракчеева).

# Н. А. Титов [406]
# Бал у графа Аракчеева в 1820 году

В декабре месяце 1820 года у графа Аракчеева был маскарад и бал[407], устроенный в честь двоюродной сестры моей, В. А. Клейнмихель, к которой граф был особенно расположен. Как родственники В.А., сестра моя А[нна], брат мой А[лександр][408] и я принимали участие в этом маскарале. Хотя я был портупей-юнкером, но был костюмирован тирольцем и, будучи в маске, обходился весьма фамильярно с графом, так что он сказал своим гнусливым голосом: «Видно, знакомая маска». Маскарад продолжался недолго, вслед за ним начался бал; дамы оставались в костюмах, а кавалеры должны были переодеться в мундиры. Я также должен был явиться на бал, а потому отправились мы с братом на квартиру к П. А. Клейнмихелю, который жил напротив, где переодевшись, явились на бал. Как шалун и проказник, и здесь не мог я удержаться, чтоб не напроказничать. Во-первых, я вошел в первую комнату в кивере, что увидав, Клейнмихель подошел тотчас ко мне: «Ты, мальчишка, и здесь думаешь шутить, как и везде, — сказал он мне, — сними сейчас кивер и пойдем, я представлю тебя графу». Я вошел в зал, в коем граф принимал гостей, и Клейнмихель представил меня графу, сказав, что я двоюродный брат жены его. Аракчеев мне поклонился, пожал мне руку, сказав: «Очень рад». Предложив мне снять амуницию, просил быть без церемонии и танцевать. Повесив в передней на вешалку кивер и тесак, я вошел в зал, надев место перчаток рукавицы. Заметив это, Клейнмихель снова подошел ко мне: «Ты забыл, мальчишка, у кого ты? — сказал он мне, выйдя из себя, — пошел сейчас ко мне и возьми мои перчатки». Я отвечал ему, что, напротив, я очень хорошо помню, что я у графа Аракчеева, а потому и не смел надеть перчаток, не имея на это права, а между тем перчатки были у меня за рукавом. Надев их, я встал удверей. Аракчеев снова подошел ко мне и приглашал танцевать. Так как солдат кланяться не смеет, то я вместо поклонов шаркал и стучал каблуком об каблук, оставаясь все-таки у дверей. Наконец граф подошел ко мне и крикнул: «Да что же ты не танцуешь!» Я, как стоял и увидев прямо перед собой сидящую сестру мою, отправился через зал на нее, но, отуманенный, остановился перед сидящею рядом с сестрою матерью Клейнмихеля[409] и, кланяясь ей, сказал: «Ежели ты не желаешь, чтобы я был в Сибири, провальсируй со мною». Старушка захохотала, сказав мне: «Подле меня сестра твоя, проси ее; ты с ума сошел, я не танцую».

Провальсировав с сестрой, я снова встал у дверей, но, как бы нарочно, граф всегда стоял или подле, или близ меня, так что, когда разносили питье или мороженое, я не брал ни того, ни другого, а между тем пить хотелось ужасно. Наконец забрались мы с графом Н. в голубую гостиную, где стоял стол с фруктами и где никого не было, и тут-то мы дали себе волю. Во время попурри, который танцевал я с моею сестрою, мне пришлось стоять спиной к знаменам; надо сказать, что танцевали в знаменной зале, а как граф был шефом полка его имени, то и знамена находились в его доме. На мою беду, кто-то, вальсируя, толкнул меня так сильно, что я чуть не уронил знамена. Смотрю, граф подходит ко мне и говорит: «Вы знамена чуть не уронили, знаете ли, что это священная вещь». Я не знал, что и отвечать, но меня выручил стоявший подле меня приятель графа, Г., сказав, что я не виноват, но что меня танцующий сшиб было с ног[410]. Не дождавшись ужина, мы с братом отправились домой; но когда уселись ужинать, граф заметил наше отсутствие и спросил Клейнмихеля: «Петр Андреевич, а где же братцы твоей супруги?» Он отвечал, что одному из них сделалось дурно, и поэтому они уехали. «Скажи-ка ты им, чтобы они в понедельник приехали ко мне обедать».

На другой день, когда я пришел к Клейнмихелю, он меня сильно журил за мои проделки, а когда сказал мне, что я приглашен на обед к графу, я ему отвечал, что я приду, но принесу с собою деревянную ложку, так как нижним чинам серебряных ложек не полагается. «От тебя всего можно ожидать, а потому лучше не приходи, а я скажу, что ты дежурный».

# К. А. Измайлов [411]
# Граф Алексей Андреевич Аракчеев (Рассказ к его характеристике)

Предлагаемый рассказ, сохранившийся в моих заметках, записан мною еще в 1833 г, со слов бывшего тогда моего, по 8-й резервной] артиллерийской роте, командира — капитана Н. Ф. Демора, который прежде того служил в военных поселениях и едва ли не сам был свидетелем сиены объяснений с графом Аракчеевым действующего лица в рассказе, поручика Долгорукова — не князя[412], умершего, надобно полагать, 1826–1827 года.

В молодости моей, в тридцатых годах, еще были свежи воспоминания и рассказы о графе Аракчееве тех лиц, которые служили в военных поселениях. С одним из таких поселенцев пришлось и мне встретиться по службе моей в артиллерии. С горечью передавал он нам, молодым сослуживцам своим, те тяжелые впечатления, которые были вынесены им из его пребывания в этих «скитах», как называл он угрюмые, однообразные связи построек Новгородских военных поселений. Эти рассказы переполнены были повествованиями о таких деяниях временщика, которые могут казаться баснословными. Граф Аракчеев не терпел противоречий, не выносил возражений, и горе было тому, кто порицал его распоряжения. Грубый по природе, подозрительный, злой и мстительный по характеру, пользуясь широкою властью, он не разбирал средств для преследования и кары своих антагонистов; только лесть и беспрекословная покорность его воле были им отличаемы. Обладавшие этими добродетелями могли надеяться на его снисхождение. Вот один из образчиков, подтверждающий эти прекрасные доблести знаменитого графа Алексея Андреевича, — факт, переданный мне бывшим моим сослуживцем.

В первой половине 1820-х годов кипели работы по созданию военных поселений. Известно, что исполнителями их были большею частью артиллерийские офицеры, так как Аракчеев почему-то недолюбливал инженеров и эти последние были только составителями смет и проектов. Впрочем, и сам хозяин зорко следил за производившимися работами, поощряя по-своему усердных и карая нерадивых. Офицеров, желавших служить в поселениях, почти не встречалось, и они были переводимы туда большею частью по распоряжению начальства, то есть по

указанию графа или по рекомендации тех начальников, которым он более доверял, — и вот такая доля выпала и на артиллерийского поручика Долгорукова, даровитого, бойкого и смелого молодого офицера. Он служил где-то на юге — и волею-неволею, по последовавшему приказу о переводе его в военные поселения, был немедленно отправлен к месту назначения. Это было в исходе зимы. Проезжая по почтовой дороге от Москвы до Новгорода, Долгоруков вечером остановился на одной из почтовых станций, чтобы погреться чаем. Покончив эту операцию, он стал собираться в дальнейший путь, как вдруг зазвенел почтовый колокольчик — и храп остановившихся под окнами лошадей дал знать о прибытии на станцию нового проезжего, а вслед за тем вошел в комнату пожилой господин, в помятой артиллерийской фуражке, закутанный в поношенную енотовую шубу.

Вновь прибывший проезжий, пытливо осмотрев Долгорукова, приветливо поклонился ему, и Долгоруков почтительно ответил на поклон старика.

— А, артиллерист, мое почтение, куда едете? — спросил проезжий.

— В военные поселения, — был ответ.

— А, к Аракчееву, ну и хорошо, — заключил проезжий, усаживаясь на кожаный диван.

— К сожалению, ничего не предвижу в этом хорошего, — с горечью возразил Долгоруков.

— Да почему же так, или служба там тяжела?

— Не служба, а жизнь. Кто не знает графа, этого жесткого и жестокого человека, у которого нет сердца, который не оценивает трудов своих подчиненных, не уважает даже человеческих их прав, — с горячностью заключил Долгоруков.

— Вот как; а я так знаю, что Аракчеев только лентяев и вертопрахов не любит, пьяниц и мотов преследует, а хорошему слуге и у него хорошо, — протяжно проговорил проезжий, пристально глядя на Долгорукова.

— Хорошо слуге, который льстит ему, слуге, который…

— Смеленько, смеленько, молодой человек, смеленько осуждаете человека, которого знаете только по слухам, — несколько сурово заметил проезжий.

— Не я один осуждаю его, — поспешил оправдаться Долгоруков, торопливо собираясь выйти из комнаты.

— Мое почтение, желаю счастливого пути, доброй службы и советую не слушаться дураков — может быть, увидимся, — проговорил незнакомец на прощальный поклон Долгорукова.

В воротах, при выходе его на улицу, прошмыгнул кто-то мимо

его в военной шинели и в фуражке солдатского покроя и прошел на крыльцо станционного дома. «Это слуга проезжего», — подумал Долгоруков, и злая догадка промелькнула в его голове. Последние слова проезжего: «Может быть, увидимся» — несколько его озадачили.

«А что, если это сам Аракчеев? — невольно подумалось ему. — Вот попался!»

Но почтовая тройка тронулась, зазвенел колокольчик — и Долгоруков помчался ухарскою прытью ямской езды, какою славилась Русь до искрещения ее сетью железных дорог, и на другой день, вечером, путник был уже у цели своего путешествия.

Явившись к новому своему начальству, он узнал, что все прибывающие на службу в поселения должны были непременно представляться к самому графу, и как граф накануне выехал в южные поселения, то Долгорукову и предстояло исполнить этот долг по возвращении его.

Известие, что Аракчеев уехал «накануне», неприятно отозвалось в ушах Долгорукова, и теперь он был вполне убежден, что в дорожном незнакомце встретил страшного своего начальника. С приезда своего, в течение трех недель, Долгоруков был без дела и, однако, никому не промолвился о своей встрече, ожидая разрешения своей догадки и придумывая средства, как выйти из затруднительного положения, если бы эта догадка оправдалась. Но вот, наконец, раз вечером он получил форменную записку, содержащую в себе приказание: «Ваше благородие, имеете честь завтра в 10 часов представиться его сиятельству». Тревожно проведена была Долгоруковым наступившая ночь. На другой день, за час до назначенного времени для представления графу, он уже был в знаменитом Грузине, резиденции графа. Войдя в залу, назначенную для представления, Долгоруков нашел уже там двух-трех офицеров. Но вслед за тем молча, тихо, как бы под давлением страха или благоговения, стали входить новые лица — и скоро вся зала наполнилась военными чинами разных родов войск, начиная с генерала до прапорщика. В ожидании чего-то в зале царила глубокая тишина, нарушаемая изредка порывистым шепотом речи старших чинов. У одной из запертых дверей стоял навытяжку офицер в парадной форме: это был дежурный. Дверь, на которую часто обращались взоры присутствовавших, вела во внутренние покои графа. Но вот дверь отворилась, все встрепенулись — и из нее вышел какой-то генерал с бумагою в руке.

— Клейнмихель! — шепнул Долгорукову сосед его.

Он был начальник штаба военных поселений. Генерал, раскланявшись с присутствовавшими генералами, развернул

бумагу, оказавшуюся списком представляющихся графу, и стал по ней приводить длинный строй их в порядок вокруг залы. Окончивши эту проверку, Клейнмихель удалился в заветную дверь, а в зале водворилась мертвая тишина. Но не прошло и пяти минут, как та же дверь снова отворилась, и из нее вышел старый генерал, сопровождаемый Клейнмихелем.

Сердце бедного Долгорукова дрогнуло и крепко забилось: это был он проезжий, встреченный им на станции, это был сам Аракчеев, которому Долгоруков высказал о нем же самом столько дерзких истин[413].

Аракчеев, войдя в залу, остановился, суровым взглядом обвел всех присутствующих, как будто отыскивая кого-то взором своим, — и Долгорукову показалось, что этот обзор заключился на нем. Но вот началось и самое представление. Генерал Клейнмихель по списку именовал представляющихся: граф одних обходил молча, другим выражал за что-то свое одобрение, а некоторым строго выговаривал. Но вот дошла очередь и до Долгорукова. Начальник штаба громко прочел:

— Поручик Долгоруков, переведенный из…

Аракчеев не дал докончить генералу его доклада.

— Мое почтение, — сказал он Долгорукову полунасмешливо, носовою нотою, и тот отдал ему почтительный поклон.

— Мое почтение, — повторил граф с особенным ударением, и тот снова повторил такой же поклон.

— Мы с ним старые знакомые, — сказал Аракчеев, обернувшись к начальнику штаба. — Не так ли? — обратившись снова к Долгорукову и пристально глядя на него, спросил его граф.

— В первый раз имею счастие представляться вашему сиятельству, — смело ответил Долгоруков.

— Как в первый раз? а помнишь станцию на Московской дороге? помнишь, как ты честил меня?

— Я говорил с проезжим, ваше сиятельство.

— О, да ты, я вижу, молодец на слове, каков-то на деле? Повторяю тебе, что Аракчеев дураков и лентяев не терпит. Пусть он будет по-твоему такой-сякой, а посмотрим, ты какой.

— Петр Андреевич! — обратился граф к Клейнмихелю. — Поручить поручику Долгорукову постройку номера… — При этом Аракчеев назвал номер предполагавшейся постройки какого-то нового здания, близ самого Грузина.

Во все время этой сцены в зале царила мертвая тишина. Отдав это приказание относительно Долгорукова и затем пасмурно с места обозрев все остальное собрание представлявшихся, Аракчеев удалился. Все стали расходиться. По

выходе из дома несколько лиц обратилось к Долгорукову с расспросами о знакомстве его с графом, и на объяснения свои о том он выслушал предупреждение: «Будьте осторожны, вам предстоит тяжкое испытание».

Работы по устройству военных поселений открывались рано весною: граф торопился окончанием их. Через две-три недели должен был начаться египетский труд. В это время Долгоруков получил для соображения все письменные и словесные наставления. Так как порученная ему постройка находилась близехонько от Грузина, то он догадывался о цели этого распоряжения и приготовился к борьбе со всякою случайностью.

Но вот, наконец, настала и самая пора работ, и молодой офицер со всею горячностью предался порученному делу. Отрешившись ото всех знакомств, товарищеских связей, бросивши все посторонние занятия, он только и помышлял о том, как выйти ему из того тяжкого положения, в какое он поставил себя своею опрометчивостью: он думал, что его труды и усердие все-таки укротят затаенный гнев графа. Прошло несколько дней от начала его занятий, как вдруг граф пожаловал для осмотра работ. Осмотрел их и, не сказав ни слова, удалился. Не прошло после того и двух дней — новое посещение графа, потом скоро не замедлилось и третье — и все три в разные часы дня. Долгоруков понял, что надобно не дремать, а быть постоянно настороже, и вооружился терпением. Чтобы еще ближе быть к работам, он расположился бивуаком в одном из рабочих сараев — и ночь только отдал себе. С раннею утреннею зарею он уже был на работах и с вечернею возвращался в свой сарай на ночлег, а граф неустанно посещал и посещал его, но всегда заставал строителя на месте работ. Уже Долгоруков слышал от графа и слово одобрения: «Хорошо, молодец», и было за что. Работа под наблюдением Долгорукова действительно кипела — и он далеко опередил своих товарищей по той же профессии. В средине лета постройка была совершенно окончена — и через неделю после того Долгоруков запискою был приглашен представиться графу.

— Ну, поздравляю тебя, ты штабс-капитан, — обратился Аракчеев к представлявшемуся ему Долгорукову. — Повторяю тебе, что Аракчеев лентяев и дураков не жалует, но усердие и труды оценивает.

Сказавши это, граф тут же передал приказание генералу Клейнмихелю о поручении Долгорукову новой работы.

Как ни обрадовался Долгоруков чину штабс-капитана, который в то время весьма туго доставался в артиллерии, но едва ли не более был опечален новым поручением. Он не боялся труда, но его крепко возмущал надоедливый надзор за ним графа.

Но и новая работа была окончена, и так же благополучно, как и предшествовавшая, с тем же благоволением графа, и заключалась новою наградою Долгорукова. Таким образом, два с половиною года тянулись тяжкие для него испытания, и за это время он успел получить и чин капитана, и орден. Граф видимо благоволил к нему и даже отличал своим доверием, но, к несчастью, капитан Долгоруков зазнался перед своим грозным начальником.

В то время, когда граф Аракчеев, увлекаемый идеею создать что-то необыкновенное из устройства военных поселений, так ревниво преследовал малейшее порицание этой идеи, он встретил в лице Долгорукова непрошеного, дерзкого противника своей заветной мысли. Долгоруков находил, что устройство военных поселений, обращение мирных поселян с их потомством в пахотных воинов не только не может принести пользы, но в будущем готовит непоправимое зло и грустные последствия. От мнения Долгоруков перешел к делу: в обширной записке он изложил свой взгляд по этому предмету и критически отнесся к этому нововведению, пророча ему в будущем полную несостоятельность и самую отмену его. Эту несчастную записку он имел смелость представить через начальство своему грозному принципалу. История умалчивает, с каким чувством читал граф эту записку, но только она скоро возвратилась по начальству же к ее автору с лаконическою, энергичною пометкою рукою Аракчеева: «Дурак, дурак, дурак!» Говорили, что и посредствующему начальству передача этой записки обошлась нелегко.

Но Долгоруков не угомонился. Оскорбленное ли самолюбие, уверенность ли его в непогрешимости своего мнения, изложенного в записке, и, наконец, не упрямая ли настойчивость подстрекнули Долгорукова, но он успел, вероятно, при помощи врагов графа, а их было у него немало, довести свою записку до сведения Императора Александра Павловича. Государь прочитал записку, и она была им обращена к графу Аракчееву, с изображенною на ней, как говорили, такою приблизительно резолюциею Государя: «Прочитал с удовольствием, нашел много дельного и основательного, препровождаю на внимание графа Алексея Андреевича».

Можно себе представить то раздражение графа, в какое он был приведен дерзкою настойчивостью Долгорукова. Муравей осмелился восстать на слона и беспощадно был раздавлен им: капитан Долгоруков исчез, бесследно исчез в одну ночь. Ходили разного рода слухи, догадки — и даже денщика его не оказалось на квартире капитана. Говорили, что в роковую ночь кто-то видел

троичную повозку, отъезжавшую от квартиры Долгорукова с ямщиком и двумя пассажирами. Поговорили, посудили тихомолком об этом событии, а капитан все-таки пропал, бесследно пропал. Минуло около двух лет после исчезновения Долгорукова. Не стало Императора Александра: воцарился Николай Павлович, и совершилось падение всемогущего временщика. Появился наконец и Долгоруков, изможденный, убеленный сединою, со всеми признаками надломленной жизни. Два года несчастный, жертва необузданного своеволия, томился в казематах Шлиссельбургской крепости. Произведенный в подполковники, с зачетом двух страдальческих лет в этом чине, он скоро переселился в вечность.

И мне привелось один раз в жизни встретить всемогущего графа. Это было давно, в лета моего детства, но и теперь еще живо рисуется в моем воображении его высокая, сгорбленная фигура с мрачным выражением лица, закутанная в поношенную енотовую шубу, в трехугольной шляпе, надетой на голове, как говорили тогда, шутя, поперек улицы, то есть по форме. Зимою, в начале 1825 года, мы с братом, новички-кадеты, шли с отцом около старого арсенала, здания, существовавшего на месте, с которого начинается ныне монументальный Александровский мост через Неву[414].

— Генерал, — сказал нам отец, напомнив этим, что мы обязаны были отдать честь шедшему нам навстречу военному офицеру.

Мы с братом остановились, повернулись во фронт, что сделал и отец наш, приложивши руку к шляпе: он был в отставной военной форме.

— Мое почтение, — произнес сурово, носовою нотою, встретившийся генерал. — Это ваши детки — хорошо, молодцы — видно, что дети военного!

— Кто это? — спросил я отца, когда прошел генерал.

Отец осторожно оглянулся назад — и, наклонившись, шепотом, таинственно произнес:

— Граф Аракчеев — запомните его, он строгий, очень строгий человек.

И запомнили мы его. И сколько наслышались и начитались впоследствии сказаний об этом *строгом человеке.*

# А. К. Гриббе[415]
# Граф Алексей Андреевич Аракчеев (Из воспоминаний о Новгородских военных поселениях 1822–1826)

В ряду разных бедствий и невзгод, перенесенных русским народом в течение тысячелетнего его существования, не последнее, конечно, место занимают военные поселения, оставившие по себе неизгладимые следы не только в памяти значительной части населения России, но и в его экономическом быту.

Как возникла злосчастная мысль об учреждении у нас военных поселений и как применялось на практике ее осуществление, я не буду говорить, так как об этом много уже было писано. Кроме весьма обстоятельно составленной книги «Граф Аракчеев и военные поселения», в некоторых из наших периодических изданий помещено было несколько статей и рассказов из истории и быта военных поселений, преимущественно Новгородских. Полной истории этих учреждений у нас еще нет, да таковая, разумеется, еще и невозможна ныне, когда многое, что было бы в состоянии пролить яркий свет на эпоху царствования Благословенного, лежит пока еще под спудом и, Бог весть, когда выглянет на белый свет. Между тем учреждение и существование военных поселений представляют собою весьма крупное явление Александровской эпохи. В тех приемах, с какими осуществлялось у нас чуждое духу русского народа учреждение, виден характер тогдашнего времени; поэтому я полагаю, что всякий факт из истории этой эпохи, — как бы ни казался он, с первого взгляда, незначителен, — на самом деле никогда не будет лишним, и — кто знает? — быть может, пособит будущему историку представить правдивую картину нашего прошлого.

Эти соображения, а также и настояния некоторых моих друзей побудили меня, старого инвалида-поселенца, взяться за перо, припомнить давно минувшее и передать на бумаге те, уцелевшие в моих воспоминаниях, случаи из быта военных поселений, которые могут отчасти служить к характеристике того времени.

## *I*

20 января 1822 года я, тогда еще шестнадцатилетний мальчик, отправлен был моим отцом на службу в гренадерский графа Аракчеева полк, поселенный в Новгородской губернии, по реке Волхову. В этом полку уже служил, в чине поручика, мой старший брат, и потому неудивительно, что отец, зная о всей строгости службы на глазах самого Аракчеева, что называется на юру[416], решился отдать меня туда: моя молодость и совершенная неопытность требовали, в особенности на первое время, бдительного надзора и руководства со стороны человека более или менее солидного и хотя несколько поиспытанного уже жизнью.

По поступлении в полк, несмотря на новость положения и на кажущуюся свободу, какою пользовались тогда подпрапорщики и унтер-офицеры из вольноопределяющихся, я сильно тосковал первое время и очень смущался некоторыми, дикими для меня, сторонами военной жизни; мне так и казалось, что будто бы я попал в какое-то механическое заведение, где каждое движение, каждый шаг, каждое слово были заранее определены, размерены и отсчитаны.

На другой же день по приезде моем в полковой штаб брат мой представил меня полковому командиру, полковнику фон Фрикену, пользовавшемуся особенною благосклонностью Аракчеева и милостью Александра I.

На немецком языке фон Фрикен выразил свое удовольствие принять меня к себе в полк и обещал содействовать моему определению на службу. Действительно, когда в апреле месяце того же 1822 года Аракчеев приехал в полк, я был представлен ему.

Фигура графа, которого я увидел тогда впервые, поразила меня своею непривлекательностью. Представьте себе человека среднего роста, сутулого, с темными и густыми, как щетка, волосами, низким волнистым лбом, с небольшими, страшно холодными и мутными глазами, с толстым, весьма неизящным носом, формы башмака, довольно длинным подбородком и плотно сжатыми губами, на которых никто, кажется, никогда не видывал улыбки или усмешки; верхняя губа была чисто выбрита, что придавало его рту еще более неприятное выражение. Прибавьте ко всему этому еще серую, из солдатского сукна, куртку, надетую сверх артиллерийского сюртука[417], и вы составите себе понятие о внешности этого человека, наводившего страх не только на военные поселения, но и на все служившее тогда в России.

— Кто твой отец? — спросил меня граф своим гнусливым голосом, так часто заставлявшим дрожать даже людей далеко не

трусливых.

Надо заметить, что Аракчеев произносил сильно в нос, причем еще имел привычку не договаривать окончания слов, точно проглатывал его. Трепеща всем телом, я ответил на вопрос.

— Я принимаю тебя, — сказал Аракчеев, — но смотри, служить хорошо. Шелопаев я терпеть не могу!

Я был зачислен подпрапорщиком в 4-ю фузелерную[418] роту гренадерского графа Аракчеева полка и поступил в полное распоряжение капрального унтер-офицера Дмитрия Ефимовича Фролова, бывшего первым моим наставником в военной премудрости.

Фролов, переведенный в 1807 году, в числе 800 человек, из Архаровского полка в Аракчеевский, представлял собою совершеннейший тип капрала старого времени. Геркулес сложением, двенадцати вершков роста, стройный и красивый, он был страшный службист, строгий к самому себе и не дававший пощады своим подчиненным. К такому-то человеку попал я в опеку, и он своими бесконечными дисциплинарными наставлениями нередко доводил меня до слез. Поставит, бывало, под ружье и начнет преподавать истины рекрутской школы, о том, как должен стоять солдат, пересыпая эти пунктики и до сих пор непонятными для меня фразами: «Никакого художества в вас я не замечаю; но только вы всеми средствиями подавайтесь вперед и отнюдь на оные не упирайтесь да на левый бок не наваливайтесь! Стыдно, стыдно плакать! Плачут одни бабы, а нам, молодцам-гренадерам, не приходится!»

## *II*

В том же 1822 году, в июле месяце (числа не упомню), объявлено было, что Император Александр Павлович посетит Новгородские военные поселения[419]. Для встречи Государя приказано было приготовиться той половине полка, по району которой он должен был проехать.

На случай проезда Государя установлен был особый церемониал, который и соблюдался всегда во всех поселенных полках: поселяне-хозяева, с своими женами и детьми, становились каждый перед домом своего нумера; постояльцы каждого хозяина помещались по левую сторону его семейства; все, как хозяева, так и постояльцы, были в мундирах, фуражках и в штиблетах; женщины и дети также наряжались в свои лучшие праздничные костюмы. Ротные командиры находились на правых флангах связей, то есть у домов № 1-го, где и представляли

рапорты о состоянии своих рот; полковой же командир встречал Государя на границе своего полка.

При въезде в роту Государь останавливался, принимал рапорт и потом медленно ехал, отвечая приветливым поклоном на громогласное «здравия желаем» гренадер.

В этот день я в первый раз увидел Благословенного. Он ехал в коляске вместе с Аракчеевым, сидевшим по правую его руку. Иногда Государь приказывал остановиться, входил в дом, осматривал житье-бытье поселенцев, пробовал кушанье, приготовленное в этот день хозяевами (а в этот день хозяева ухо остро держали!)[420].

За прием и угощение Царя хозяйка дома получала в подарок сарафан, очень нарядный, обшитый серебряною бахромой и усаженный такими же пуговицами. Об этом подарке объявлялось впоследствии в приказе по полку, причем объяснялось, что такая-то за примерный порядок в хозяйстве Всемилостивейше жалуется штофным сарафаном в 150 рублей (в то время считали еще на ассигнации).

На другой день по приезде Государя происходил смотр полку графа Аракчеева и армейским кадровым баталионам. Эти баталионы — несчастная жертва тогдашнего времени — приходили иногда в числе пятидесяти или шестидесяти в Новгородские поселения еще в апреле месяце и были употребляемы в разные работы: вырубку лесов, расчистку полей, проведение дорог, выделку кирпича и т. п. Обыкновенно они оставляли свои бараки на поселениях и уходили на зимние квартиры в разных более или менее отдаленных уездах Новгородской и смежных с нею губерний в сентябре месяце; но иногда те из них, которые не успели выполнить определенных им рабочих уроков, оставлялись на работах в наказание и на октябрь.

Царский смотр сошел благополучно; Государь остался всем очень доволен и, по обыкновению, благодаря Аракчеева за представление в отличном виде подведомственных ему частей, обнял его и поцеловал.

По отъезде Государя все, экстренно подтянутое, начало мало-помалу приходить в свое обычное состояние, и поселенная жизнь потекла будничным порядком; только начальствующие лица все еще продолжали волноваться в ожидании наград.

## *III*

Спустя недели две после Высочайшего смотра приехал в полк Аракчеев. На другой день назначен был развод с церемонией. В

караул по полку — очередная рота; состав развода следующий:

1) караульная рота; 2) караул Военно-учительского института; 3) два караула от армейских кадровых батальонов; 4) караул от фурштатской роты[421]; 5) караул от рабочего батальона; 6) учителя военно-сиротских отделений[422]; 7) уланы Чугуевского и Херсонского поселений; 8) парольные унтер-офицеры от всех батальонов и 9) унтер-офицеры и рядовые (при офицере) от жандармского взвода и фурштатской роты, верхами являвшиеся ординарцами и вестовыми к старшему при разводе.

Я нарочно привожу этот мозаичный состав развода, чтобы читатель мог составить себе понятие о разводах былого времени.

Все готово. Все подтянуты, выглажены и вылощены; все с трепетом ждут грозного начальника. Тихо так, что слышно жужжание больших синих мух, ожесточенно нападающих на потные лица и затылки гренадер и самого начальства… Старшие офицеры, собравшиеся на правом фланге развода, разговаривают вполголоса, передавая друг другу свои предположения о том, кому какую дадут награду. Офицеры, находящиеся в строю, проходят иногда по фронту, выравнивая ряды, поправляя на людях амуницию и кивера… Звуки подзатыльников и зуботычин раздаются как-то очень глухо — бьют осторожно… крепкое русское словцо, в обычное время неумолкаемым эхом перекатывающееся по плацу, теперь слышится иначе, мягко и сдержанно…

— Идет! — полушепотом проносится по разводу, и действительно, он наконец появляется.

Встреченный барабанным походом, граф после обычного приветствия: «Здорово, гренадеры!» — отправляется по фронту. Музыканты изо всей силы надувают приветственный марш, под звуки которого его сиятельство обходит представляющиеся на разводе части, делая по пути свои замечания. Вот он останавливается перед учителями в треуголках, и по плацу раздается его гнусливый голос:

— Вы, дураки! Не знаете, как надо встречать начальника! Вы должны были поднять левую руку к шляпе! — Затем, обращаясь к полковнику фон Фрикену, граф прибавляет: — Обтесать этих болванов!

— Слушаю-с, ваше сиятельство! — было ответом исполнительного командира.

Подарив многих лиц разными наименованиями, как то: *дурак, болван, нечесаный чурбан,* Аракчеев подозвал к себе полкового адъютанта и отдал ему какое-то приказание; тот, взяв с собою двух офицеров и двух унтер-офицеров, отправился с ними в дом шефа полка (Аракчеева), откуда вскоре и вынесли огромный

серебряный поднос, покрытый красивою салфеткою, и понесли его по фронту. Во все время, пока продолжалось шествие с подносом, развод держал на караул, а музыканты играли торжественный марш. Когда, наконец, поднос был вынесен на середину, шагов на двадцать от фронта, подошел Аракчеев и, открыв салфетку, взял бумагу и прочел довольно громко приблизительно следующее:

— Государь Император, осмотрев (такого-то числа) вверенные мне войска, изволил найти их в отличном состоянии как по фронтовой, так равно и по хозяйственной части; почему за ревностное и неусыпное старание нижепоименованных начальствующих лиц, представленных от меня к наградам, всемилостивейше жалует. Генерал-майор NN! — вызывает Аракчеев по списку.

Генерал подходит и узнает, что Государь за усердную службу жалует его орденом Св. Анны 1-й степени. Аракчеев берет с подноса орден и надевает его на нового кавалера, за что тот целует — сначала портрет Императора на груди у Аракчеева, а потом и самого Аракчеева в плечо и отходит в сторону; за ним подходят другие, удостоенные награды. Когда очередь доходит до фон Фрикена, голос Аракчеева возвышается, и он громко провозглашает:

— Имени моего полка командир, полковник фон Фрикен!

Тот подходит, по привычке с сжатыми кулаками, точно собираясь оттузить своего благодетеля. Граф упоминает о всей *боевой* (кулачной) службе своего фаворита и вручает ему пожалованную золотую, осыпанную бриллиантами табакерку.

Надо заметать, что награды получали только генералы и штаб-офицеры, командовавшие отдельными частями; прочие же смертные не были избалованы в этом отношении, и Аракчеев обыкновенно говорил, что их, то есть младших штаб-офицеров и обер-офицеров, надо держать в черном теле, что только строгим с ними обращением и можно заставить их служить как следует.

По окончании церемонии раздачи наград граф обращается к остальным предстоящим и объявляет:

— Государь Император поручил мне изъявить вам Высочайшее его благоволение за вашу усердную службу (благоволение это потом и отпечатывалось в приказе по военному поселению).

Обращаясь затем к разводу, Аракчеев провозглашает:

— Государь благодарит гренадер за службу и просит передать такую же Высочайшую благодарность всем их товарищам.

В заключение граф поздравлял получивших награды с монаршею милостию, и тем обыкновенно оканчивалась вся

церемония развода.

## *IV*

Начальство тогдашнего времени в обращении с подчиненными вообще не отличалось особенною деликатностью. Конечно, в гвардии, где служила преимущественно аристократическая молодежь, богатая средствами и связями, соблюдались правила вежливости и общежития; в полках армейской кавалерии отношения начальствующих лиц к подчиненным офицерам были также более или менее приличны, да иначе, впрочем, и быть не могло, так как офицеры, служившие в гусарах, уланах и кирасирах, принадлежали по большей части к среде состоятельных, а нередко и очень богатых помещиков, и если шли на службу, то скорее *из чести,* как говорили тогда, а никак уж не ради тех скудных средств, какие давала эта служба в то время. Совсем иное дело было в армейской пехоте. Здесь большинство офицеров существовало службою, то есть тем, что отпускалось от казны: жалованьем, квартирою и прислугою в натуре. Собственные средства были очень не у многих, да и то небольшие; поэтому волей-неволей приходилось держаться службы, и держаться тем крепче, что по своему воспитанию наше *благородное* военное сословие вовсе не было подготовлено к какой-либо иной деятельности и не могло, следовательно, улучшить своего положения переходом на другой род службы. Начальство наше очень хорошо, разумеется, понимало все это и потому в обращении с подчиненными не слишком-то стеснялось. Аракчеев, например, обращавшийся почти со всеми одинаково грубо, почти всем говорил *ты;* эпитеты: «дурак», «болван», «осел» и т. п. так и сыпались, бывало, из сиятельных его уст, когда он осматривал какой-нибудь полк или команду. Все наши поселенные генералы, а также командиры полков и батальонов, следуя примеру своего главного начальника, были крайне грубы и дерзки и в отношении к младшим офицерам нередко позволяли себе такие неприличные выражения, что повторять их не позволяет одно уже чувство благопристойности.

Редкие, одиночные случаи протеста постоянно оскорбляемых офицеров ни к чему, разумеется, не вели и дорого стоили самим протестующим; так называемые жалобы скопом имели тот же результат.

В 1822 году в гренадерский графа Аракчеева полк были выпущены из 1-го кадетского корпуса четыре офицера: Соллогуб, Власов, Асосков и Дудитский-Лишин[423]. Все четверо — могу

смело сказать — были образцовые офицеры: честные и очень серьезно относившиеся к своим служебным обязанностям. В том же году на репетиции царского смотра полковой командир, вызвав прапорщика Соллогуба на середину полка, приказал ему учиться маршировать.

— Господин полковник, — ответил Соллогуб, — в уставе сказано, что если полковой или батальонный командир найдет нужным учить офицеров, то должен пригласить их на свою квартиру или в другое приличное место, а не делать этого на плацу перед целым полком. Поэтому, господин полковник, я не могу исполнить вашего приказания.

— Адъютант! — неистово возопил фон Фрикен. — Возьмите у него шпагу и отведите его на гауптвахту!

Юношу предали суду, по приговору которого он был разжалован в рядовые в один из армейских полков и через шесть лет, в Турецкую кампанию 1828 года, был убит.

Спустя некоторое время, на баталионном учении, баталионный командир, подполковник Воронцов, своими неимоверно дерзкими выражениями вывел из верблюжьего терпения поручика Клейника, который наконец отказался отвечать на какой-то крайне грубый вопрос своего начальника. Разумеется, Клейник немедленно был отправлен на гауптвахту, а на третий день увезен фельдъегерем Бог весть куда; в приказе же по полку было объявлено, что поручик Клейник исключается из списков полка.

Мы думали уже, что бедного Клейника постигла такая же участь, как и Соллогуба; но, к счастью, ему удалось отделаться сравнительно дешево. Через год после его исчезновения один из офицеров Аракчеевского полка встретил Клейника в Петербурге, на Невском проспекте, уже в статском платье, и на вопрос: «Где путешествовал?» — тот рассказал, что высидел год в каземате, в Шлиссельбургской крепости, и теперь, мол, «свободен как птица».

Около того же времени случилось следующее: фельдфебель 5-й фузелерной роты принес к прапорщику Духонину приказание от ротного командира, написанное крайне бестолково и безграмотно. Прочитав и не будучи в состоянии добраться до какого-нибудь смысла в этом приказе, Духонин имел неосторожность выразиться вслух при фельдфебеле:

— Какой это дурак писал?

Фельдфебель повернулся налево кругом и, конечно, отрапортовал об этом ротному командиру, который под влиянием уязвленного самолюбия не преминул, в свою очередь, донести полковому командиру о таком неслыханном неуважении подчиненного к своему непосредственному начальнику.

Духонин предан был суду, разжалован в рядовые, в тот же полк графа Аракчеева, в Польскую кампанию 1831 года получил знак отличия военного ордена и произведен был в прапорщики.

Все эти, а также и многие другие, подобные им, случаи произвола не могли, конечно, не возмущать офицеров, которые постоянно подвергались совершенно безнаказанно различным оскорблениям со стороны их начальства. Несмотря на суровость тогдашних военных законов и на всю силу временщика Аракчеева, сознавая вполне всю беззащитность и беспомощность своего положения как мелких подчиненных, молодые офицеры решились заявить Государю на предстоявшем тогда Высочайшем смотру о невыносимой службе, грубом и дерзком обращении с ними их начальства. После неоднократных совещаний они положили сделать это так: когда Государь по окончании смотра будет объезжать войска и благодарить за службу, то всем офицерам — конечно, участвовавшим только в заговоре — встать на колена и, обратя этим на себя внимание Государя, выразить свою претензию. Но так как заговорщики не были вполне уверены друг в друге и сомневались, что каждый из них не спасует в решительную минуту и выполнит данное обещание, то и нашли необходимым связать себя взаимною присягою. С этою целью по окончании последней репетиции смотра все общество собралось в квартире капитана Матвеева, куда пригласили и младшего полкового священника, отца Тимофея Камчатова, но лишь только этот последний успел надеть епитрахиль и провозгласить: «Мы, нижеподписавшиеся!..», как вдруг, о ужас! входит фон Фрикен…

— Что здесь за сборище? — крикнул он. — Почему ротные командиры пустили свои роты при одних фельдфебелях?

Само собою разумеется, что появление фон Фрикена, которого офицеры называли «полковым воротилой», а солдаты — «Федором Кулаковым», произвело на заговорщиков то же действие, как падение бомбы, и расстроило все их предположения.

Из всей собравшейся тут компании не потерялся, кажется, один только поручик Евфимов, который вышел вперед и объяснил грозному полковнику, что они собрались с целью отслужить общий молебен о благополучном окончании предстоявшего Высочайшего смотра, для сего и пригласили «батюшку». Как ни казалось такое объяснение естественным, но фон Фрикен не обратил на него никакого внимания и разогнал всех по своим местам. Первым поспешил отретироваться отец Тимофей.

В это время Аракчеев осматривал работы по постройке домов фурштатской роты, расположенной в семи верстах от полкового штаба. Дали ли ему знать о происходившем собрании, или он сам

подозревал что-либо не совсем обыкновенное, но только на возвратном пути граф, не заезжая, против обыкновения, в штаб полка, проехал полевою дорогою в свое имение Грузино.

Собраться снова, чтобы осуществить свое намерение — скрепить замысел присягою, никто из офицеров теперь уже и не думал. Все понимали, что дело не выгорело, пропало и что начальству все известно и оно не замедлит принять необходимые меры… Действительно, вскоре после этого начальник штаба военных поселений Клейнмихель (впоследствии граф и министр путей сообщения) потребовал к себе капитана Иванова, штабс-капитана Титкова, поручика Евфимова и прапорщика Галкина (за что и за кого пострадал этот последний — невинная душа — один Бог знает) и объявил им Высочайшую волю… Посадили их с фельдъегерем в почтовые тележки — и след простыл… только в приказе отпечатали, что «такие-то офицеры имени моего полка переводятся на службу в дальние сибирские гарнизоны»…

Надо, однако ж, заметить, что Клейнмихель при прощании с ссыльными со слезами на глазах дал им слово, что через год они будут возвращены. Обещание это действительно было исполнено: Евфимов и Титков возвратились в тот же полк, а двое других — в армию.

Три раза в год, а именно в первый день св. Пасхи, в Рождество и в день св. Апостола Андрея Первозванного, шеф полка, граф Аракчеев, *приглашал* к себе на обед нижних чинов своего полка, то есть, конечно, не всех, а по одному унтер-офицеру и рядовому от каждой роты, что составляло команду в 24 человека. Приглашение это делалось всегда собственноручною запискою Аракчеева следующего содержания: «Шеф полка просит достойных гренадер к такому-то числу пожаловать к нему и разделить с ним трапезу».

По получении в полковом штабе такого приглашения сейчас же писались в роты записки о назначении желающих, а в случае отсутствия таковых — о наряде людей на шефский обед.

В 1823 году к празднику Андрея Первозванного, 30 ноября, получено было в полку обычное приглашение. Я был тогда еще подпрапорщиком и, по заведенному в полку порядку, исполнял службу наравне со всеми унтер-офицерами. Из любопытства ли или же из какого-то совершенно непонятного теперь для меня честолюбия я отправился к ротному командиру с просьбою назначить меня на графский обед.

Наряженный уже на эту *службу* унтер-офицер очень обрадовался, что нашелся такой простота — охотник до шефских обедов — и, конечно, с удовольствием уступил мне свое место. Начались приготовления — чистка амуниции, мундира и т. п. Все

пригонялось, осматривалось, переделывалось и снова пригонялось и осматривалось, пока опытный глаз командира не находил уже никаких погрешностей.

Сборным пунктом нашей команды назначен был правый фланг полка, то есть во 2-й гренадерской роте, откуда мы 30 ноября, ранним утром, под начальством фельдфебеля Якова Гавриловича Протопопова (любимца Аракчеева) и при одной конной подводе отправились к месту торжества — в село Грузине. По прибытии в деревню Палички (в полуверсте от села Грузине) вся команда оделась в парадную походную форму: мундиры, краги, портупеи и кивера в чехлах.

Почтеннейший Яков Гаврилович, до тонкости изучивший нрав и требования графа Аракчеева, во все время нашего путешествия читал нам наставления, как вести себя в гостях у графа, где молвить «да», где — «нет», а где и совсем промолчать.

— Но, смотрите, — прибавлял он, — при всяком ответе величать графа отцом и благодетелем!

Наконец раздался благовест к обедне, и мы, подтянувшись и еще раз оправившись, выстроились поротно по два в ряд и отправились в церковь. По окончании литургии и молебствия наша команда выстроилась перед церковью в ожидании выхода великого Могола[424] военных поселений. Вышел наконец и он.

— Здорово, гренадеры!

— Здравия желаем вашему сиятельству, — гаркнули мы всеми легкими.

— Здоров ли ваш полковой командир? — спросил граф.

— Слава Богу! Поручил нам поздравить ваше сиятельство с престольным праздником, — ответил уже один Яков Гаврилович.

— Спасибо! Прошу вас, молодцы, разделить со мною трапезу, — сказал Аракчеев.

Нам скомандовали направо и повели в стройном порядке, как на параде, в подвальный этаж бельведера графского дома, где уже был накрыт стол человек на тридцать. Выстроившись в столовой в том же порядке, как и по выходе из церкви, но уже без киверов, мы ожидали нашего шефа. Он вошел и еще раз поздоровался с нами. Вместе с Аракчеевым в столовую вошли: командир Архангельского порта — Миницкий, тверской помещик Волынский[425] и еще какой-то статский — как я узнал после — действительный тайный советник Балтазар Балтазарович Кампенгаузен[426].

Обед начался тем, что лакей в ливрее, обшитой басонами[427] с Аракчеевским гербом, на котором красовался известный девиз: «Без лести предан», внес поднос с небольшим графином водки и крошечною, вроде дамского наперстка, рюмкою синего стекла.

Сначала поднесли, конечно, графу, потом гостям, по старшинству их чинов, а наконец и нам — гренадерам. Когда очередь дошла до меня, я, по молодости своей, пропустил мимо эту горькую чашу; другие же выпили, с желанием здоровья шефу полка. Уморительно было смотреть, как неловко и с каким страхом брали гренадеры графин, наливали дрожащей рукою рюмочку и, выпивая заключавшиеся в ней несколько капель водки, как-то удивленно посматривали то друг на друга, то на ливрейного лакея, с невозмутимым спокойствием и серьезнейшею физиономиею останавливавшегося перед каждым солдатом.

После этой церемонии все присутствовавшие, помолясь в передний угол, уселись за стол, и начался не пир, а очень и очень скромный обед. Нам, нижним чинам, подали щи с кислой капустой, пироги с говяжьей начинкой, жареную говядину и какую-то кашу, а в заключение обеда по стакану кислейшего белого вина, вроде известного русского кислого кваса.

Когда стаканы были налиты этой кислятиной, представитель наш, Яков Гаврилович Протопопов, встал со своего места (конечно, за ним поднялись и мы все) и провозгласил тост за здоровье сиятельного хозяина. После этого все гости поднялись и, помолясь Богу, обратились с благодарностью к Аракчееву, который в ответ пробормотал что-то вроде: «Чем богат, тем и рад».

В это время в столовую явилась дама с извинением, что по некоторым обстоятельствам не могла принять участия в обеде. Дама эта, одетая, впрочем, очень просто, невольно обращала на себя внимание своим гренадерским ростом, дебелостью и черными, огненными глазами. Это была известная тогда не только по военным поселениям, но и по всей России Настасья Федоровна Шумская, занимавшая высокий пост в Грузине в качестве *друга* Аракчеева.

Когда мы, выстроившись фронтом, в две шеренги — унтер-офицеры в первой, а рядовые — во второй, провозгласили: «Благодарим покорнейше, ваше сиятельство, за хлеб, за соль!» — Аракчеев проговорил:

— Спасибо и вам, господа гренадеры, что не забыли меня, старика. Прошу и впредь меня помнить!

В эту минуту вошел официант с подносом, на котором лежали какие-то бумажные свертки в виде небольших колбасок. Лакей подошел сперва к Протопопову, а потом и ко всем нам.

— Прошу принять от меня на дорогу, — сказал граф.

Мы, конечно, разобрали поднесенные нам свертки и поблагодарили.

— Спасибо, — сказал еще раз Аракчеев, — передайте мой

поклон Федору Карловичу (фон Фрикену) и попеняйте ему, что не удостоил меня, старика, своим посещением.

— Счастливо оставаться вашему сиятельству, благодарим покорнейше! — прогремели мы всею командой и мерным шагом в прежнем порядке отправились на свою квартиру, в деревню Палички.

— Ну, что, молодцы? Хорошо ли вас угостили? — спросил нас квартирный хозяин, лукаво улыбаясь.

— Всем довольны! — отвечали мы и, помня наставления Якова Гавриловича, прибавили: — Это не начальник, а отец родной, истинный благодетель!

Тотчас по приходе с обеда мы переоделись, уложили вещи и тронулись в обратный путь, и только когда прошли последнюю деревню, почувствовали себя на свободе и обратились к своей подводе, на которой между мундирами и амуницией у старых солдат припрятаны были узелки с хлебом. Из страха к хозяину-графу и вследствие невыносимо тесных мундиров мы очень плохо пообедали, поэтому теперь вся команда порядком набросилась на сухой хлеб. Потом мы полюбопытствовали — что заключается в тех бумажных колбасках, которыми нас угостили вместо десерта. Оказалось, что в поднесенных нам свертках было по десяти медных пятаков, а в свертке Протопопова, как фельдфебеля, двадцать.

— Ничего! — проговорил один солдатик. — Годится на баню и свечку, а не то, пожалуй, хватит и пропустить малую толику.

— Ну, брат, — заметил старый усатый унтер, — лучше отслужи-ка молебен царице небесной, что вынес Бог тебя целого, да чтобы не пришлось к Рождеству опять отправляться за этими пятаками.

Молчание остальных гренадер ясно свидетельствовало, что слова старого служивого выражали общее мнение; даже сам Яков Гаврилович не нашелся, что сказать в защиту графского обеда, только нахмурил свои густые брови да как-то конфузливо крякнул.

## *VI*

В исходе 1825 года Аракчеев, будучи в нашем полку, осматривал строительные работы, которыми остался очень недоволен, и производителя работ, инженерного капитана Симкова, посадил лично сам на гауптвахту за решетку вместе с арестованными нижними чинами; при этом граф, почти не помня себя от раздражения, сам запер дверь арестантской комнаты и

ключ положил к себе в карман.

Когда Аракчеев, ведя за собою несчастного Симкова, проходил мимо дома, занимаемого холостыми офицерами, около этого дома можно было заметить мужика с окладистою черною бородою и с Георгиевским крестом на груди; это был голова села Грузине, Шишкин[428]. Завидя графа, он скрылся за дом, а когда процессия миновала, обратился к одному из бывших тут офицеров с просьбою доложить полковому командиру, что ему необходимо переговорить с ним по секрету от графа. Фон Фрикен подошел к нему и спросил:

— Что надо?

— У нас в Грузине, ваше высокоблагородие, неблагополучно, — проговорил Шишкин. — Настасья Федоровна оченно больна.

Фон Фрикен побледнел и, бросившись за Аракчеевым, дрожащим голосом передал ему известие, привезенное грузинским головой.

Граф вздрогнул, лицо его вдруг как-то исказилось, и он… зарыдал…

Вид плачущего Аракчеева представлял зрелище до того поразительное, что нам всем, людям, более или менее не расположенным к нему, перенесшим от него много обид и оскорблений, сделалось, однако ж, как-то не по себе, стало жутко, стало даже жалко его. Нам тяжело было видеть неподдельное горе этого человека-зверя, не знавшего ни жалости, ни сострадания к своим подчиненным и подневольным, хладнокровно, не содрогнувшись, подписывавшего смертные приговоры, — говорю «смертные», так как наказание шпицрутенами через 1000 человек три-четыре раза — несомненно, та же смертная казнь, только медленная и потому гораздо мучительнейшая… Только в эту минуту — может быть, в первый раз во всю его жизнь — проглянула в Аракчееве человеческая сторона, выказалось, что и он не был чужд человеческого чувства…

— Нет! она более не существует! — скорее прохрипел, чем проговорил он. — Лошадей! — крикнул он вслед за тем.

Через пять минут коляска была подана. Аракчеев вскочил в нее, посадил с собою фон Фрикена и полкового доктора Миллера и понесся марш-маршем. Но в Грузине Аракчеев не поехал: он послал туда фон Фрикена и Миллера, а сам остался в селе Пшеничище, у помещика Путятина[429], в семи верстах от Грузина.

Фон Фрикен и Миллер, прибыв на место преступления, сейчас же распорядились заковать по рукам и по ногам всех

дворовых людей графа, без разбора, как причастных, так и непричастных роковому делу. Аракчеев приехал домой только к вечеру и немедленно потребовал к себе *злодеев,* которые и были приведены к нему в цепях.

По словам доктора Миллера, неистовству этого человека, потерявшего женщину, к которой он, как известно, был искренно привязан, не было меры. Оборвав борты сюртука и обнажив грудь, он бегал по комнате и кричал: «Режь меня, коли, злодей!» — и наконец упал без чувств.

Пока все это происходило в Грузине, бедный Симков оставался в арестантской, ключ от которой Аракчеев взял с собою. В самом разгаре драмы, последовавшей за убийством Настасьи Федоровны, никто, разумеется, не решился подступить к обезумевшему от горя графу и спросить его, как быть с арестованным инженерным капитаном; ближайшие власти сами уже решились сломать замок и освободить его из-под ареста, а также дали возможность и другим арестантам удовлетворить необходимым естественным потребностям.

Здесь кстати будет заметить, что помещенные в «Русской старине» (изд. 1872 г., т. VI, стр. 225–242; 547–558) воспоминания об Аракчееве почтенного и многоуважаемого доктора Ивана Исааковича Европеуса[430], пользовавшегося особенным уважением и любовью общества офицеров гренадерского графа Аракчеева и короля Прусского полков, грешат несколько, так сказать, в топографическом отношении. В статье этой, между прочим, сказано, что известие об убийстве Настасьи Федоровны достигло Аракчеева тогда, когда он был в Прусском полку.

Присутствуя лично при том моменте, когда фон Фрикен докладывал графу об опасной болезни его любовницы, и будучи свидетелем отчаяния Аракчеева при этом известии, я думаю, что почтеннейший Иван Исаакович, по давнему времени, ошибся в определении места. Это случилось именно в расположении гренадерского графа Аракчеева полка: история арестования капитана Симкова в солдатской арестантской и ключ от двери этой арестантской, оставшийся в кармане Аракчеева, могут служить подтверждением приведенного мною рассказа.

Мщение Аракчеева убийцам его друга было беспощадно. Целые реки крови пролиты были в память погибшей графской любовницы и в назидание дворовых и крестьян чуть ли не всей Новгородской губернии. Описывать подробно все кровавые сцены, происходившие тогда на берегах Волхова, сцены, которых я, к моему несчастию, был невольным свидетелем, я не берусь, не желая возмущать чувство человечности в моих читателях; да мне и самому слишком тяжело было бы переживать те ощущения,

какие я тогда испытывал. Скажу только несколько слов о той обстановке этих казней, какую ревнивые исполнители воли всемогущего временщика постарались придать кровавому мщению его за смерть возлюбленной.

В октябре или ноябре месяце 1825 года — хорошо теперь не упомню — приказом по полку наша рота назначена была к походу в село Грузине. Рота приведена была на *военное положение,* людям розданы были боевые патроны, по 60 на человека, и мы отправились в резиденцию Аракчеева, куда к этому времени привезены были из Новгорода и преступники. На другой день назначена была самая казнь правому и виноватому, без разбора.

Местом казни была избрана обширная поляна по дороге из деревни Палички в село Грузино, против колоннады церкви св. Андрея Первозванного. В 9 часов утра рота наша вышла с квартир и оцепила лобное место. Сзади цепи солдат стояли собранные почти со всего поселения крестьяне с женами и детьми, всего около четырех тысяч человек. Посредине оцепленного пространства врыт был станок, по обеим сторонам которого, по случаю холодного времени, горели огни, а около них прогуливались в ожидании *дела* заплечные мастера, то и дело прикладывавшиеся к огромной бутыли с водкою, поставленной со стаканом около станка, Распорядители казнью нашли, вероятно, необходимым обеспечить сердце палачей от опасности воспламениться тою искрою, которая зовется человечностью, и хотели залить в них вином всякое чувство сострадания к несчастным преступникам. А между тем большинство этих «преступников» и даже сам убийца заслуживали несравненно большего участия, чем все эти клевреты Аракчеева, проливавшие горькие слезы о погибшей варваре-женщине…

Но набросим, читатель, покров на то, что происходило потом на этих мирных полях. Мне, невольному свидетелю казни, при воспоминании об этой трагедии и теперь еще слышатся резкие свистящие звуки ударов кнута, страшные стоны и крики истязуемых и какой-то глухой, подавленный вздох тысячной толпы народа, в назидание которого совершались эти истязания[431]…

Время Аракчеева было время железное, мрачное по своей жестокости. Чуть ли не вся Россия стоном стонала под ударами. Били в войсках, в школах, в городах и деревнях, на торговых площадях и в конюшнях, били и в семьях, считая битье какою-то необходимою наукою-учением. В то время действительно, кажется, верили, что один битый стоит двух небитых и что вернейшим средством не только против всякого заблуждения и шалости, но даже и против глупости, чуть ли не идиотизма было

битье. Вероятно, вследствие этого убеждения палка гуляла и по старому, и по малому, не щадя ни слабости детского возраста, ни седины старости, ни женской стыдливости.

В поселенных войсках битье процветало в особенности, обратилось в действительную науку и даже выработало особых экспертов по этой части. Аракчеев, конечно, знал об этом, и потому, вероятно, командир нашего полка, Федор Карлович фон Фрикен, прозванный солдатами Федором Кулаковым, и пользовался особенною его благосклонностью.

Если кто-либо из дворовых людей Аракчеева имел несчастие провиниться в чем-нибудь, граф обыкновенно писал нашему полковому командиру такую записку: «Препровождаемого при сем Федота Аксенова прогнать через *пятьсот* человек *один* раз, поручив исполнение этого майорам Писареву или князю Енгалычеву».

Обе эти майорские личности славились в Аракчеевском полку своими *боевыми качествами.*

Веря в назидательность публичности подобных наказаний, Аракчеев вместе с виновным присылал всегда и несколько человек зрителей из своей дворни; эти последние, одетые в парадные ливреи, с гербовыми басонами, шли всегда по той же *зеленой улице,* по которой тащили и главное действующее лицо этой драмы, — непосредственно за ним. По окончании церемонии несчастного лакея, побывавшего в *науке* у Писарева или Енгалычева, отвозили, конечно, в госпиталь, где он и оставался иногда целые месяцы, а невольные ливрейные свидетели учения отправлялись обратно в Грузине и по прибытии туда должны были передать, во всех подробностях, виденное ими своим товарищам.

## *VII*

В моих воспоминаниях об аракчеевщине встает цельная, полновесная Фигура майора Федора Евфимовича Евфимова, личности, далеко недюжинной по своему энергическому характеру и по той силе воли, с какою он переносил разные невзгоды своей служебной карьеры.

Евфимов, по формулярному его списку, значился из ямщиков Крестецкого уезда, села Зайцева (Яжелбицы тож), что на Московской дороге. По сдаче в рекруты он поступил на службу в Ростовский мушкетерский молк, переименованный в 1807 году в гренадерский графа Аракчеева; отсюда при переформировании — не помню в точности, лейб-гвардии Волынского или Литовского

полка — Евфимов, в звании фельдфебеля, вместе со 2-ю гренадерскою ротою, под командой капитана Тимофеева, поручика Самбурского и подпоручика Неелова, переведен был в гвардию. По производстве в 1812 году в подпоручики он назначен был в полк графа Аракчеева, где и продолжал свою службу с разными превратностями до 1827 года.

Когда в 1817 году 2-й баталион Аракчеевского полка был отделен от полка и под командою майора фон Фрикена ушел из С.-Петербурга для основания военного поселения, то и капитан Евфимов, командовавший тогда 2-ю гренадерскою ротою, назначен был в число деятелей этого новою великого дела. Тут-то Федор Евфимович попал, что называется, в свою колею и заметно выдвинулся из среды рьяных исполнителей аракчеевского замысла. Он первый наложил свою мощную руку на священную бороду мирного селянина, и не воображавшего до того, что его бобровая бородушка исчезнет под косою железного времени и рукою Федора Евфимовича, который во всю свою ямскую мощь старался исказить русского крестьянина и сделать из него солдата-пахаря…

Совершенно безграмотный, с большим трудом, и то только при помощи своего фельдфебеля Лаптева, подписывавший какими-то невозможными каракулями свою фамилию деспот, с железною волею, грубый и неотесанный, Евфимов тяжелым гнетом давил все ему подначальное. Но, несмотря на всю грубость и дубоватость своей натуры, он был, однако ж, далеко не глуп и ловко умел подлаживаться и под обстоятельства, и под характер людей, власть имеющих. В особенности достойно удивления было в нем одно качество — это какое-то чувство обоняния или предугадывания, нечто высшее инстинкта животных: он, например, всегда, и почти безошибочно, заранее знал, когда Аракчеев приедет в полк. Евфимов брал тогда несколько человек из поселян-хозяев и, выйдя с ними в поле, прилегающее к той дороге, по которой обыкновенно ездил Аракчеев, начинал преподавать им практический урок землепашества.

Современному читателю довольно трудно, я думаю, представить себе эту картину: штаб-офицер в эполетах идет по полю за сохою, а за ним плетется целое капральство солдат-поселян!..

Едет граф, видит эту интересную картину, умиляется и, остановившись, спрашивает:

— Что это ты, Федор Евфимович, сам беспокоишься? мог бы, кажется, заставить и помощника своего заняться этим делом.

Евфимов вместо ответа приветствует графа по-солдатски:

— Здравия желаем вашему сиятельству и поздравляем с приездом, которого совершенно не ожидали!

Затем уже Евфимов объясняет, что личное его участие в землепашестве вызывается тем, что многих хозяев надо еще учить, как ходить за сохою.

Аракчеев благодарит его за усердие поцелуем и приглашает к себе в коляску, объявляя, что едет к нему пить чай.

Но Федор Евфимович недолго, однако же, красовался на своем пьедестале. По неразвитости ли, по свойственным ли вообще натуре русского человека нравственной распущенности, самонадеянности и т. п. отечественным добродетелям, но он не мог удержаться на высоте того положения, на которое его подняли фавор и каприз всесильного временщика.

В 1823 году полковой командир делал инспекторский смотр поселенному батальону (то есть 2-му) поротно, начав таковой со 2-й гренадерской роты.

На опросе нижние чины этой роты заявили претензию на своего ротного командира, майора Евфимова, жалуясь, между прочим, на то, что он как их самих, так и жен их жестоко наказывает за малейшую неисправность; что деньги, отпускаемые на продовольствие кантонистов, Евфимов удерживает у себя; что из следующего ежегодно в раздачу поселянам, по случаю падежей рогатого скота[432], лучшие особи отбираются ротным командиром и отправляются к нему в усадьбу близ города Валдая; то же самое делается и с овцами; по отчетам же присвоенные себе Евфимовым быки и коровы показываются павшими, а овцы — съеденными волками.

Полковой командир, при всем своем расположении к Евфимову и при всем желании не выносить сора из избы, не мог, однако ж, замять это дело, так как заявленная 2-ю гренадерскою ротою претензия сделалась известною по всему поселению; Аракчеев же хотя и знал, конечно, о воровстве разного начальства и смотрел вообще на это сквозь пальцы, очень хорошо сознавая всю неизлечимость векового зла, но не любил, чтобы об этом говорили, и в подобных случаях не шутил[433]. Поэтому делать было нечего, пришлось нарядить следственную комиссию, которая кроме подтверждения заявленных ротою претензий открыла и еще кое-какие злоупотребления со стороны ротного командира.

По окончании следствия дело было представлено на рассмотрение графа Аракчеева, который, недолго думая, конфирмовал так: «По Высочайшему повелению имени моего полка майор Евфимов лишается чинов и орденов и записывается в рядовые в тот же полк графа Аракчеева».

Когда дежурный по полку, капитан Дядин, прочел Евфимову конфирмацию и приказал ему надеть солдатскую шинель, тот совершенно спокойно, с полнейшим самообладанием, снял с себя свой сюртук с эполетами и, принимая поданную ему серую шинель, сказал:

— Здравствуй, моя старая знакомая! Опять нам пришлось свидеться с тобой!

Надев шинель, Евфимов громко провозгласил:

— Здравия желаю, ваше благородие! В какую роту прикажете явиться?

Будучи зачислен в 1-ю фузелерную роту, которая занимала в тот день караул при полковом штабе, он отправился в кордегардию[434], отрекомендовался караулу и просил гренадер любить его и жаловать; по выходе с гауптвахты он снял шапку перед первым попавшимся ему унтер-офицером, а при встрече с одним из юнейших прапорщиков вытянулся во фронт. Затем явился к фельдфебелю роты и капральному унтер-офицеру и был помещен в числе непоселенных нижних чинов (то есть унтер-офицеров и ефрейторов), получил всю боевую сбрую, которую и привел собственноручно в полный порядок. На четвертый день по снятии густых эполетов Евфимов шил уже башмаки, отправляя их в свою валдайскую усадьбу для дворни; в этой же усадьбе жила и жена его, заправляя хозяйством.

Ни от каких служебных обязанностей Евфимов никогда не уклонялся и везде был первым. Во фронте он ни за что не хотел встать в заднюю шеренгу, говоря, что «с козел ямской телеги поступил прямо в первую»; когда же он бывал в карауле, то всегда просил не назначать его на часы в какое-нибудь теплое захолустье, а непременно у фронта, на платформе гауптвахты. Зато, когда он стоял на часах, караульный офицер мог быть спокоен, будучи уверен, что караул вовремя будет вызван для отдачи чести начальству, — а тогда караул выходил в ружье при проезде и проходе всякого начальства! Одним словом, Евфимов был до мозга костей лихим русским солдатом старого времени. Никто никогда не слыхал от него ни одной жалобы на судьбу, хотя ему и было на что жаловаться, о чем пожалеть: он все переносил без ропота, усердно молясь Богу…

Беспощадно суровый прежде к своим подчиненным, не знавший, кажется, жалости при наказании провинившихся подначальных ему людей, Федор Евфимович теперь словно переродился, точно постигшее его несчастие принесло для него какое-то откровение свыше о необходимости братской любви между людьми и милосердия к ним… Каждый из его новых сотоварищей-солдат в случае какой-либо невзгоды или

затруднения обращался к нему, и он действительно помогал чем мог — делом, словом, советом, участием… Глядя на этого человека, одиннадцать лет носившего эполеты, пользовавшегося особенною любовью Аракчеева, не слышавшего в нем, что называется, души; лично известного Государю, который всегда благосклонно и приветливо относился к этому фавориту своего друга, видя, с какою душевною твердостию и силою воли он нес выпавший на его долю тяжелый крест, невольно удивлялся и жалел, что такая замечательная душа была зашита в такую грубую оболочку…

В следующем, 1824 году Государь смотрел наш полк и при проезде мимо 2-го взвода 1-го баталиона Аракчеев остановил Государя и, указывая рукой на Евфимова, спросил:

— Узнаешь ли, Государь, этого гренадера?

— Нет! — отвечал государь.

— Это твой бывший любимец — Евфимов, — сказал Аракчеев.

Государь заметил, что граф поступил с ним слишком жестоко, но Аракчеев, возвыся свой гнусливый голос, громко проговорил:

— Кто не умел дорожить Высочайшим вниманием и милостью царя, тот не заслуживает никакой жалости!

Терновому поприщу Федора Евфимовича не суждено было, однако ж кончиться обыкновенным образом.

Он продолжал свою службу по-прежнему ретиво и беспорочно, но в 1825 году на него нашла новая туча.

2-я гренадерская рота, которою командовал когда-то Евфимов, при инспекторском опросе полковым командиром фон Фрикеном заявила какую-то претензию и на самого полкового командира, причем в смелых выражениях настойчиво и решительно требовала для себя каких-то уступок и льгот. Будучи заведены при опросе направо и налево, в кружок, люди сплотились очень тесно и слишком близко подвинулись к фон Фрикену, который, опасаясь какого-либо насилия, бросился в толпу, пробился из круга, сел на дрожки и уехал. Вслед ему раздалось несколько голосов, по всей вероятности, повторявших заявленные уже просьбы, но что, конечно, было противно установившемуся порядку службы и правилам строгой воинской дисциплины.

О происшествии этом было тотчас же, разумеется, доведено до сведения Аракчеева, но так как это случилось за два дня до праздника Пасхи, то граф приехал в полк только на третий день Святой недели.

Поселенный батальон был собран, и началась расправа, о

подробностях которой лучше умолчу: это был поистине Шемякин суд — били и виноватых и правых, и последним, как это подчас водится и доныне, досталось, пожалуй, еще больше, чем первым.

В этот день я был в карауле при полковом штабе и принимал под арест несколько десятков поселян-хозяев, в том числе и фельдфебеля 2-й гренадерской роты. После всех, за усиленным конвоем, при офицере, привели Федора Евфимова и унтер-офицера Алфимова, с приказанием посадить их в темный каземат под замок, что, конечно, и было тотчас исполнено мною. Спустя час по приводе этих двух арестантов явился и сам Аракчеев, ведя на казнь главных зачинщиков «возмущения». Караул вышел в ружье и отдал честь с пробитием похода. Аракчеев подошел ко мне и спросил:

— Где Евфимов?

— По приказанию вашего сиятельства посажен в темный каземат.

— Показать мне его! — повелительно крикнул граф.

Я распустил караул и повел Аракчеева наверх, во второй этаж, где был заключен несчастный страдалец.

Евфимова вывели… Аракчеев злобно посмотрел на него и скорее проскрипел, чем проговорил:

— Неблагодарный негодяй!.. Железа! — неистово закричал он вслед затем.

Чего другого, а этого добра, так же как палок и розог, на нашей гауптвахте всегда было в изобилии: поэтому кандалы сейчас же были принесены.

— Заковать наглухо! — крикнул граф.

Кузнец был под рукой. Сняли с несчастного Евфимова краги, которые тогда еще носили, и надели на него «арестантские шпоры». Аракчеев оставался до самого конца этой операции, точно наслаждаясь унижением своего бывшего любимца, которого он теперь ненавидел. Когда прозвучал последний удар кузнечного молота и все было кончено, Аракчеев толкнул Евфимова в шею. Тот с непривычки к оковам едва было не упал от этого подзатыльника и, обернувшись к графу, громко проговорил:

— Ваше сиятельство, видит Бог, невинно страдаю!

— Поставить им ушат! дверь на замок, и чтобы всегда была запечатана! По два фунта хлеба и ведро воды! — грозно крикнул Аракчеев, обратившись ко мне.

Нечего и говорить, что приказание это свято исполнялось и переходило *в сдачу* при смене караула.

Командира 2-й гренадерской роты, капитана Мильковского, перевели за эту историю в сибирские гарнизоны; фельдфебель той же роты разжалован был в рядовые, а через месяц последовал

приказ и о том, что «рядовой, из дворян, Федор Евфимов переводится в армейский полк», куда, по снятии с него оков, он и был отправлен по этапу.

За что пострадал несчастный Федор Евфимович, совершенно непричастный ко всему этому делу, один Бог знает! Вероятно, личность этого служаки, умного, сметливого и притом коротко знакомого со всеми тонкостями ротного и полкового хозяйства былого времени, мозолила глаза начальству, которое видело в нем лишнего и не совсем безопасного свидетеля своих проделок по экономической части… Придраться к Евфимову из-за каких-либо упущений по службе не могли: он был всегда исправен и вел себя безукоризненно; оставалось одно — припутать его как-нибудь к скандальной истории и таким образом избавиться от него. Сочинили какие-то подстрекательства и вредное влияние, оказываемое подумали о том, что вследствие жалобы именно этих-то людей Евфимов и попал из майоров в рядовые. Впрочем, несмотря на всю пристрастность произведенного над Евфимовым следствия, виновность его в деле «возмущения» 2-й гренадерской роты не была доказана, и он был удален из полка так называемым административным распоряжением. Ни правильного следствия, ни *праведного* гласного суда в то время еще не было, и старая пословица: «У сильного всегда бессильный виноват»[435]— ежедневно оправдывалась на деле. <…>

# Г. С. Батеньков [436]
# Об Аракчееве

***[Из следственных показаний 31 марта 1826 г.]***

Осенью [1822 года] граф Аракчеев пригласил меня в Грузине, и я должен был поступить к нему на службу.

Сперанский мне дал следующие приказания и советы:

Ничего никогда с ним не говорить о военных поселениях.

Ежели не хочу быть замешан в хлопоты, вести себя у графа совершенно по службе и избегать всех домашних связей.

Никогда не давать графу заметить, а лучше и не думать, что я могу кроме его иметь к Государю другие пути.

Все сие исполнено было мною в точности, и я нашелся в состоянии три года быть близким к графу. С Сперанским мы почти расстались <…>

Как ни сильно было лицо графа Аракчеева, но поелику стал он знать меня с портфелью статс-секретаря и членом своего Совета, притом я знал, что ему был нужен, то и мог принять не тот тон, какой наблюдал с Сперанским.

Осмеливаюсь здесь сделать отступление, представив кратко параллель между сими лицами.

Аракчеев страшен физически, ибо может в жару гнева наделать множество бед; Сперанский страшен морально, ибо прогневить его — значит уже лишиться уважения.

Аракчеев зависим, ибо сам писать не может и не учен; Сперанский холодит тем чувством, что никто ему не кажется нужным.

Аракчеев любит приписывать себе все дела и хвалиться силою у Государя всеми средствами; Сперанский любит критиковать старое, скрывать свою значимость и все дела выставлять легкими.

Аракчеев приступен на все просьбы к оказанию строгостей и труден слушать похвалы; все исполнит, что обещает. Сперанский приступен на все просьбы о добре, охотно обещает, но часто не исполняет, злоречия не любит, а хвалит редко.

Аракчеев с первого взгляда умеет расставить людей сообразно их способностям: ни на что постороннее не смотрит. Сперанский нередко смешивает и увлекается особыми уважениями.

Аракчеев решителен и любит наружный порядок; Сперанский осторожен и часто наружный порядок ставит ни во что.

Аракчеев ни к чему принужден быть не может; Сперанского характер сильный может заставить исполнять свою волю.

Аракчеев в обращении прост, своеволен, говорит без выбора слов, а иногда и неприлично; с подчиненным совершенно искрен и увлекается всеми страстями; Сперанский всегда является в приличии, дорожит каждым словом и кажется неискренним и холодным.

Аракчеев с трудом может переменить вид свой по обстоятельствам; Сперанский при появлении каждого нового лица может легко переменить свой вид.

Аракчеев богомол, но слабой веры; Сперанский набожен и добродетелен, но мало исполняет обряды.

Мне оба они нравились как люди необыкновенные. Сперанского любил душою.

## *[Из автобиографических записей]*

*8 февраля 1862*

Разнородные полиции были крайне деятельны, но агенты их вовсе не понимали, что надобно разуметь под словом «карбонарии» и «либералы», и не могли понимать разговора людей образованных. <…> Трудно утверждать, чтоб какой-нибудь шпион из преданности был верен правительству.

Мудрено ли, что в таком положении дел Аракчеев был полезен как некоторое средоточие, знамя, которое видеть можно. Полиция наблюдала и за ним. Вот случай.

Я шел с ним по набережной Фонтанки. Вдруг указал он мне на одного порядочного человека. И когда сказал я, что в нем ничего не примечаю особенного, он ответил: «Смотри только на него». С приближением нашим щеголь поворотил в сторону и быстро вошел в мелочную лавочку. Это уже заметил и я. Граф пояснил, что вот и шпион, который за ним наблюдает. К тому прибавил: «Государь умен, истинный царь, это не значит, чтоб он в чем-нибудь мне не доверял, но ему нужно знать, где, когда, как и с кем меня видят, и полиция хотя без его приказания, но исполняет на всякий случай свое дело. Меня не так она любит, как свой долг» <…>

В России в это время, кроме Императора, едва ли кто так думал, хотя многие из страха и корысти развивали на деле эту мысль. Аракчеев слушал наушников, подобно диктатору Парагвая[437], запретил строго въезд в свои Новгородские поселения и ограничил проезд чрез грузинское имение, но в системе шпионства он не был ни образцовым мастеровым, ни

страстным дилетантом. Легко можно удостовериться, что в полиции он не имел никакого действия.

***Данные. Повесть собственной жизни***

<…> Граф Аракчеев имел обширную и непреклонную волю. Нелегко было достичь у него принятия не его собственной или не им самим требуемой мысли. Но единожды обнятого им предмета он уже не оставлял на ответственности предложившего и приуготовившего. Деятель был неутомимый, и хотя главное его предприятие, военные поселения, сильным общим мнением не одобрялось и было причиною неумолимого на него негодования, однако он, несмотря ни на что, и мерами слишком крутыми дал ему обширное развитие. Не наше дело одобрять или охуждать; мы заметим только, что такое дело принадлежит уже государственной науке, и под развалинами военных поселений скрывается драма времен Петра I, поучительнее и резче всех шекспировских и заставляющая обмыслить, не осталось ли чего-нибудь доброго от самого ее представления…

# И. Р. Тимченко-Рубан[438]
# Из воспоминаний о прожитом

Путь наш лежал через знаменитое село графа Аракчеева — Грузино. Здесь, как и везде при следовании на долгих[439], мы остановились на постоялом дворе, чтобы пообедать и накормить лошадей. Хозяйка двора, женщина молодая, стройная, красивая, высокого роста, видя, что Мина Иванович[440] заказывает для нас обед более изысканный против обыкновенного приготовлявшегося у них для проезжающих, полюбопытствовала узнать, кто мы, откуда и куда едем. Брат Степан рассказал ей историю странствования нашего по белому свету со всеми подробностями.

Дня через три мы достигли деревни Висленева[441], крайне удивя его дочерей неожиданностью приезда. По-прежнему зажили мы припеваючи. Наступил декабрь; приехал Висленев. День нашего выезда в Малороссию назначен на 16-е число. Последние дни проводили мы как-то невесело, с сознанием неопределенности нашей дальнейшей судьбы. Вдруг вечером 15-го числа в страшную метель со стороны мельницы, мимо которой пролегала большая дорога, послышался колокольчик. Звонок слышится все ближе и ближе, и к дому подкатывает курьер в крытых санях.

Курьера провели прямо в кабинет к Висленеву; там он отдал последнему запечатанный пакет, произнеся:

— От графа Алексея Андреевича Аракчеева!..

Страшно побледнев, старик протянул было ему дрожащую руку, но, не успев взять пакета, повалился без чувств. Изумленный курьер как стоял, так и остался, не трогаясь даже с места, чтобы позвать кого-нибудь. К счастью, двери кабинета не были прикрыты, и Мина Иванович, бывший в коридоре, первый поднял тревогу.

Испуганные барышни[442] бросились вместе с нами в кабинет, и скоро общими усилиями старик был поставлен на ноги. Бумага за подписью графа Аракчеева была такого содержания: «Немедленно с сим курьером отправить ко мне двух малолетних Тимченко-Рубанов; прислать и документы на них, буде таковые имеются».

Через час все уже было готово к нашему отъезду. Благословляя нас, старик расплакался, разрыдались и мы, целуя руки нашего благодетеля.

Сели в кибитку и с места помчались во весь дух. Ночь

пролетела незаметно Утром попросили у курьера позволения напиться чаю: не тут-то было! Так же любезно поступил он с нами и в обеденную пору. К вечеру мы приехали в Грузине страшно голодные. Нас поместили в ближайшем ко дворцу флигеле[443]. Следующий день, должно быть, был воскресный, так как тотчас после чая нас повели в дворцовую церковь.

По окончании богослужения мы были приведены в приемный зал. Сюда к нам вышла знаменитая Анастасия Федоровна и, обласкав нас, объявила, что до приезда графа мы можем оставаться в том же флигеле, а к обеду нас будут звать во дворец.

Накануне праздника Рождества Христова приехал и сам граф. Анастасия Федоровна представила ему нас. Он поцеловал нас обоих в лоб, спросил, у кого и зачем мы были в Петербурге, но подробностями, как и зачем мы попали в Новгородскую губернию, граф не интересовался. Потом, обратясь к артиллерии полковнику Куприянову, граф поздравил его с новыми племянниками и предложил поместиться с нами в отведенном уже нам флигеле. Граф приказал, чтобы его архитектор занимался с нами чтением, чистописанием, арифметикою и рисованием, и, отпуская нас, присовокупил, чтобы к обеду мы ежедневно присылались к нему.

Почти весь 1823 год мы провели у графа Алексея Андреевича, сначала в Грузине, а потом в Петербурге. В Грузине мы довольно часто гуляли, в Петербурге же, кроме сада и двора при доме графа, на углу Кирочной и Литейной улиц, нас никуда не выпускали. Поэтому жизнь в Грузине нам была несравненно более по сердцу. Что теперь представляет из себя Грузино — не знаю; но шестьдесят пять лет тому назад оно совершенно было достойно названия второго Царского Села. Дворец графа, конечно, был самым выдающимся зданием. С задней стороны дворца находился сад с оранжереями, парниками и затейливыми беседками. Одна из последних считалась опасной, вследствие отражения из нее эха прямо в кабинет графа. Со стороны переднего фасада дворца, у подъезда, была чистенькая, усыпанная желтым песком площадка, впереди которой, против парадного крыльца, красовалась широкая липовая аллея. Эта аллея шла посреди широчайшей улицы, застроенной различными флигелями. В конце аллеи стоял храм, собор Андрея Первозванного, и рядом с ним павильон, в котором помещалась статуя того же святого во весь рост. За собором находился штаб военных поселений и принадлежащие к нему постройки. Площадь, усыпанная желтым песком, содержалась замечательно чисто: если кому-либо из служащих случалось пройти по ней, то следы от его ног немедленно заметались сторожами.

Посторонним запрещалось ходить по этому плацу.

Собор Андрея Первозванного удивлял меня своими массивными размерами, но особой красоты по наружной своей архитектуре не представлял. Так, по крайней мере, казалось мне. Внутренней отделки положительно не припомню. Осталось только в памяти, что при входе в него через северную дверь, на стене, по левую от входа руку, был повешен портрет во весь рост Государя Императора Александра Павловича, у ног которого стоял гроб, заготовленный графом для своих бренных останков. На крышке гроба стояла надпись: «Прах мой у ног твоих», а на боковой наружной части гроба: «Без лести предан».

Любимою нашею прогулкою была дорога, ведущая к пристани на реке Волхове[444]. Здесь стояли и сновали суда разной величины и конструкции. Между ними красовались два небольшие, хорошенькие фрегата, предназначавшиеся для разъездов самого графа. По углам на фрегатах подняты были или спущены флаги, по чему едущие через Грузино могли узнавать, дома ли граф или в отсутствии.

Пристань обозначалась двумя башнями, построенными на берегу со стороны Грузина. Одна из башен служила кордегардией для караула, в другой была контора для расчетов с хозяевами, прибывшими в Грузино с разными продуктами.

Во время нашего пребывания в Грузине граф был осчастливлен посещением Императора Александра Павловича[445]. В другое время в Грузино приезжали великие князья Николай и Михаил[446] Павловичи с докладами: первый по инженерной части, а второй по артиллерийской. Несколько позже приезжал Цесаревич Константин Павлович, но, недовольный долгим ожиданием приема, чему, как говорили, очень часто подвергались его младшие братья, выбранил графа и уехал, не видевши его.

В конце октября нас с братом перевезли в Петербург, прямо в дом графа Аракчеева. Почти два месяца проболтались мы здесь, ровно ничего не делая. Самого графа в Петербурге не было: он приехал около 20 декабря, а 23-го по записке графа к директору Императорского Военно-сиротского дома, генерал-майору Арсеньеву[447], нас приняли в это заведение. В напутствие нам граф сказал:

— Я помещаю вас в лучшее и любимое заведение, основанное по моему проекту блаженной памяти Императором Павлом Петровичем, и, ежели вы будете учиться и вести себя хорошо, я не забуду вас.

Таким образом мы были пристроены окончательно.

О личности графа Алексея Андреевича я, конечно, немало

знаю, читая почти все, что только писали о нем в разное время, но, живя в Грузине, нам, детям, не приходило даже в голову изучать характер этого замечательного государственного деятеля. Все, что я намерен сказать о нем, заимствовано из одних лишь рассказов, случайно нами слышанных в Грузине. Хорошо же они сохранились в моей памяти потому, что и в более позднее время вспоминали мы их с братом.

Деятельность Аракчеева, по словам всех его окружавших, была изумительная. Все в один голос повторяли, что не знают, когда он и спит. Он ложился спать около одиннадцати часов, а уже в два часа ночи посещал и штаб военных поселений, и чертежную, где в это время кипела работа. Дежурные при нем адъютанты должны были быть на ногах целые сутки, в полной форме. Они то и дело рассылались с его поручениями.

Не лишним считаю сказать несколько слов и о сожительнице графа, Анастасии Федоровне Минкиной, которую граф называл «своею Настею». Это была весьма видная, красивая и умная женщина. Происхождения ее не знаю; говорили, впрочем, что она была простая крестьянка графа, поступившая к нему вскоре после похорон его жены. Одевалась она всегда чрезвычайно парадно: бархат, кружева, бриллианты составляли ее обыкновенный наряд. Своею угодливостью и предупредительностью она снискала себе безграничную любовь графа и его доверие. Все дворцовое хозяйство в Грузине было на ее руках; всем распоряжалась она бесконтрольно.

Устроив себе тайную полицию из женщин, она отлично знала, что делается в каждом уголке Новгородского поселения, хотя сама почти всегда сидела дома. Эти свои сведения, когда находила нужным, она сообщала графу, но не иначе, как при гаданиях на картах. Убедясь неоднократно в справедливости этих гаданий, граф пристрастился к ним и никогда не выезжал из дому, не испросив на это соизволения своего домашнего оракула, своего «ангела-хранителя», как называл он Анастасию Федоровну. Дворовые люди ненавидели сожительницу графа и трепетали перед ней. Они называли ее колдуньей, и это название особенно упрочилось за ней после ее предсказания о заряженном ружье у одного из рядовых того батальона, который граф намерен был смотреть. Все были изумлены, когда во время смотра, обходя первую шеренгу, граф неожиданно остановился у второго с левого фланга солдата, и после приказания взять на изготовку и выстрелить в поле выстрел действительно последовал. Виновный тут же сознался в намерении убить графа.

Быть может, женской полиции и мы обязаны нашим определением в корпус. Что мудреного, что хозяйка постоялого

двора, на котором мы останавливались при нашем проезде из Петербурга через Грузино, могла передать Анастасии Федоровне, каких гостей принимала у себя?

Прощаясь с нами в 1826 году, граф выразил желание, чтобы мы по окончании курса заехали к нему в Грузино. К сожалению, ни я, ни мой брат не могли этого сделать и только письменно благодарили его за оказанное нам покровительство. Граф прислал ответы через директора корпуса Клингенберга[448]. К ответу на письмо брата были приложены двести рублей, принадлежавшие нам и оставленные в Грузине. Удивительно, как граф не забыл об этих деньгах.

Граф Аракчеев скончался в 1834 году. Это событие сообщил нам в Полоцке бывший командир нашего 2-го армейского корпуса, генерал от кавалерии барон Крейц[449], когда, по случаю первого дня Пасхи, все военнослужащие собрались к нему с поздравлениями.

— Теперь, — добавил барон, — уже я стал первым по времени производства в генералы русской армии.

Мир праху твоему, благодетель, граф Алексей Андреевич! Что бы ни говорили и ни писали о тебе, я лично все-таки сохраняю и сохраню по гроб свой память о тебе как об истинном моем благодетеле! <…>

Во время нашего пребывания в корпусе граф Аракчеев часто брал нас с братом к себе в отпуск. Наш ротный командир, подполковник Бриммер[450], отпуская нас к графу, осматривал во всей подробности наше платье и белье, а выдавая отпускные билеты, наставлял, что именно должны мы отвечать, если граф будет спрашивать нас о порядках в заведении. Мы были до того пропитаны этими наставлениями, что на вопросы графа, обращенные к одному из нас, оба, слово в слово, спешили отвечать словами Бриммера. Однажды граф улыбнулся и сказал:

— Вижу и верю, что вы хорошие дети, ежели так хорошо вытвердили начальнические наставления.

В последний раз граф взял нас к себе на Масленице в 1826 году. К нашему удивлению, мы нашли у него до двадцати кадет других корпусов, с которыми прежде никогда не встречались. Это были дети офицеров, служивших в поселенных войсках и тоже определенные в корпуса графом.

Нас привели в приемный зал, куда немного спустя вошел и граф. Перецеловав всех нас, граф спросил:

— Ну, что, дети, довольны ли вы своими заведениями? Научились ли строго и точно исполнять все требования начальства? Не тяготитесь ли ими?

Получив обыкновенный ответ: «Стараемся, ваше

сиятельство!» — граф продолжал:

— Да, да, надобно стараться! Все это впоследствии послужит вам же на пользу. Я говорю вам это по собственному моему опыту. Служба моя в Гатчине, при блаженной памяти Императоре Павле Петровиче, была необыкновенно трудна: не было ночи, чтобы Государь не требовал меня к себе; поэтому и ночью я не знал покоя, я дремал лишь в своем кресле в полной парадной форме. Все это я делал без малейшего ропота на тягость службы, единственно по безграничной любви и преданности к его высокой особе. Так точно служил я и покойному Государю Императору Александру Павловичу. Милость его ко мне была беспримерна! Она выражалась в самой высшей награде: в доверии к моим трудам. С таким же чувством долга и самоотвержения начал я служить и ныне благополучно царствующему Императору Николаю Павловичу, но сам чувствую, что силы мои уже не те: одрях, стал негоден к своей прежней деятельности. Возьмите, дети, пример с меня и поверьте, что для достижения высших служебных положений не нужны ни богатства, ни знатность происхождения: нужен труд и полное самоотвержение для блага своего отечества!

После раннего обеда, собственно для нас устроенного, граф приказал прокатить нас к ледяным горам на тройках. Нас сопровождали полковник Куприянов и два адъютанта графа. С прогулки мы возвратились только в сумерки. Куприянов по старой памяти пригласил нас с братом к себе на чай. Тут один из его знакомых, какой-то статский, с Анной на шее, не стесняясь нашим присутствием, повел с Куприяновым следующий разговор:

— Знаете ли вы, что в больших сферах поговаривают о графе Алексее Андреевиче?

— А что? — спросил Куприянов.

— Графу, кажется, несдобровать! В прошлую пятницу он был с докладом у Государя и по обыкновению вошел прямо в его кабинет. Император взглянул на него весьма холодно и, встав с своего кресла, указал ему на дверь комнаты, в которой он обыкновенно принимал министров. Выйдя потом и сам туда, он сказал: «Не ближе, как здесь, желаю я встречаться с вами, граф!» Вслед за тем он удалился опять в свой кабинет. Понятно, — продолжал рассказчик, — такая неожиданность не могла не поразить графа. Бледный как полотно, с слезами на глазах, он направился к выходу из дворца. На лестнице его встретил великий князь Михаил Павлович. «Что с вами, граф? Больны? За границу, за границу!»

— Если это так, — сказал Куприянов, — то нужно ждать больших перемен. Теперь ясно, под каким настроением говорил

так долго граф с этими юношами сегодня. Вот оно что!..

Перед отправлением нас в корпус мы были приведены к графу проститься. Теперь он действительно показался нам грустным. При прощанье граф благословил нас и завещал не забывать его наставлений. <…>

# Н. В. Басаргин[451]
# Записки

Государь, осмотрев 2-ю армию[452] и будучи ею очень доволен, пригласил Киселева[453] ехать с собою в поселенные войска Украинского поселения. Там ждал его граф Аракчеев. Киселев взял меня с собою, но как при генерале Дибиче не было адъютанта, то он попросил его прикомандировать меня на время смотра поселений к нему.

Мы ехали с Государем и прибыли вместе в Вознесенск. Там застали Аракчеева. Трудно объяснить то влияние, которое он имел на покойного Александра. Смешно было даже смотреть, с каким подобострастием царедворцы обходились с Аракчеевым. Я был свидетелем его стычки на словах с Киселевым, который его не любил и не унижался перед ним, и где он его славно отделал. Услышав от Государя, как он остался доволен 2-ю армией, и, вероятно, будучи этим недоволен, Аракчеев в первое свидание с Киселевым, когда Государь ушел в кабинет, обратился к нему, при оставшемся многолюдном собрании, с следующими словами: «Мне рассказывал Государь, как вы угодили ему, Павел Дмитриевич. Он так доволен вами, что я бы желал поучиться у вашего превосходительства, как угождать Его Величеству. Позвольте мне приехать для этого к вам во 2-ю армию; даже не худо было б, если б ваше превосходительство взяли меня на время к себе в адъютанты». Слова эти всех удивили, и взоры всех обратились на Киселева. Тот без замешательства отвечал: «Милости просим, граф; я очень буду рад, если вы найдете во 2-й армии что-нибудь такое, что можно применить к военным поселениям. Что же касается до того, чтобы взять вас в адъютанты, то, извините меня, — прибавил он с усмешкою, — после этого вы, конечно, захотите сделать и меня своим адъютантом, а я этого не желаю». Аракчеев закусил губу и отошел.

Вот одно из доказательств значения Аракчеева у Императора Александра. С ним был в это время побочный сын его Шумский, молодой прапорщик гвардейской артиллерии, шалун, пьяница и очень плохо образованный юноша. Во время случившихся маневров его обыкновенно ставили с батареей на какое-нибудь видное место. Государь, зная, кто он, нередко подъезжал к нему и разговаривал с ним. Аракчеев, чтобы более и более обратить на него Высочайшее внимание, обыкновенно брал его с собою, когда бывал с докладом у Государя, извиняясь, что делает это потому,

что не может по слабости зрения сам читать доклады. Однажды нас пригласил на вечер один из адъютантов графа Витта[454]. Шумский был там же и так напился, что едва мог стоять на ногах. Вдруг прислал за ним граф, чтобы идти с докладом к Государю. Мы принуждены были облить ему несколько раз голову холодной водой, чтобы хотя несколько протрезвить, и в таком положении он отправился.

Впоследствии он был сделан флигель-адъютантом. Государь сам прислал ему мундир и эполеты с нарочным фельдъегерем. В следующее царствование его исключили за пьянство и перевели, кажется, в гарнизон. <…>

# С. И. Маевский [455]
# Мой век, или история генерала Маевского

Чтобы дать идею о плане, для исполнения которого избрал меня Благословенный Александр, я должен пройти ход общих государственных предположений. Государь, получив расположение к умножению военных поселений, решительно предположил обратить весь Старорусский уезд (то есть все казенные вотчины оного) под поселение остальных 2-х гренадерских дивизий — 2-й и 3-й с их артиллериею, а Ярославскую губернию под поселение пехоты. Графу Аракчееву предоставлено было обработать план сей. Но, сказать истину, он потерял над ним 5–6 лет даром: множество его предположений, противореча одно другому, доказывали только простые вычисления, ни на чем не рассчитанные и не имевшие хороших последствий. Планы сии можно видеть в актах. Но, сравнивая предположения его с моими действиями, тотчас увидим, что это была игра случайных расчетов. Граф, как сам мне говорил, сначала вовсе отказывался от этого поселения; потом желал иметь его в меньшем виде, представляя: то затруднения управлять такою обширною массою при буйстве тамошнего народа, то неимение в России людей, которым бы можно было вверить управление народонаселением до 60 тысяч людей. Но Государь твердо держался своего плана, и Аракчееву оставалось следовать только священной его воле.

Я знаю характер графа и подозреваю его в двух обстоятельствах: первое — граф, бывши напуган неудачами собственного поселения 1-й гренадерской дивизии, страшился новых неприятных последствий [бунта]; второе — боялся иметь соперником подобного графу Витту и разделять с ним свои лавры[456]. Он сначала ввел туда на постой до 50 баталионов, «ожесточая поселян с намерением», как он говорил, чтобы звание поселянина было для него сноснее, чем звание свободного крестьянина.

Утеснительный этот способ продолжался с 1817 по 1824 год.

Должно думать, что Государь, утомившись долговременным отлагательством пламенно желаемого им исполнения, изъявил наконец твердую свою волю. Аракчеев согласился; но не брал на себя избирать человека, способного управлять обширною этою массою, говоря: «Когда при водворении одной дивизии, где на 20–

30 солдат приходилось по одному жителю, было столько затруднений и беспорядков [бунтов], то чего же должно ожидать там, где вдруг 60 тысяч должны расстаться с млечными, так сказать, привычками и принять новый род жизни и одежды, расставшись с бородами, которые, по их понятию, считаются наравне с священными, ибо тут были все раскольники».

Государь сказал: «Ответственность за последствия беру я на себя. А что касается до человека, долженствующего управлять, я выберу его сам».

И тут же, взяв генеральский список и проходя имена генералов, остановился на мне, сказав:

— Вот тебе человек, который все это сделает (слова статс-секретаря Трофимова).

Повеление послано было ко мне в ноябре 1823 года, а я получил уже в январе 1824 года. Граф, зная, что с ним немногие любят служить, полагал, что я отделываюсь медленностью. Но Дибич, увидевши меня, объявил мне, что он с намерением[457] продержал это повеление, полагая, не будет ли перемены, «ибо пост сей пламенно хотел занять дивизионный мой командир Храповицкий[458], в надежде еще более приблизиться к царю, который и без того удостаивал его особой своей милости и внимания».

Я, как теперь, помню тот день, когда я явился к графу. Невольный трепет пробежал по моим жилам. Сепор правду говорит, что и самый близкий к придворному обращению, приготовляясь быть представленным к монарху, которого он еще не видал, невольно чувствует какое-то смятение, берущее верх над расчетами самого высокого ума[459]. Меня ввели в переднюю, где я дожидался с полчаса; потом перевели в парадную залу, где я опять дожидался с час. Во все это время лихорадочная дрожь не оставляла меня. Надобно заметить, что храм, или дом Аракчеева, весьма много похож на египетские подземные таинства. В преддверии встречает вас курьер и ведет чрез большие сени в адъютантскую; отсюда, направо, собственная канцелярия Государя Императора, налево — департамент Аракчеева, а прямо — приемная. Везде мистика, везде глубокая тишина; даже на физиогномиях ничего более, кроме страха, не отсвечивается. Всякий бежит от вопроса и ответа, всякий движется по мановению колокольчика и почти никто не открывает рта. Это тайное жилище султана, окруженного немыми прислужниками.

«Попался!» — думал я. Но, успевши в полтора часа прийти в самого себя, я живо представил себе всю картину могущества и ничтожества. «Так, — думал я, — вымышляют вельможи расстанавливать время представления. А для чего? Для того,

чтобы, оценив сперва представляющегося и набросив на него мрак, располагать потом им по первому чувству впечатления. Не у египетских ли жрецов занял граф тайну сего очарования, посреди которого теряется рассудок и простая вещь принимается за сверхъестественную, а простой человек принимается за бога Вулкана или Юпитера?» Наконец — раскрываются двери и входит граф. Вот наш разговор: Граф: «Государю Императору угодно было назначить вас в помощь мне для сформирования Старорусского военного поселения».

— Я выбор сей считаю священнейшею для меня обязанностью и, сколько силы и способности мои позволят, буду стараться оправдать доверенность вашу ко мне.

Граф: «Нет, не мою, а Государя. Я вас не выбирал и даже не знал, а выбрал вас сам Государь. Я давно уже запретил себе избирать помощников; (с злостью) они проучили меня, и я ни за кого из вас не хочу краснеть пред Государем. (Еще с большею злостью.) По мне, выбери Государь хоть козла, для меня все равно, лишь бы только он не умничал, а делал то, что я приказываю. (С улыбкою, означавшею усиливающуюся злость.) А вы привыкли говорить: «Это невозможно». Вас тотчас и слушают, и думают, что действительно невозможно. Нет, брат, у меня — не у Сакена[460]: я требую службы, слепого исполнения, а не умничанья. Да и тебе запрещаю принимать резоны от своих подчиненных. У меня надобно служить, работать да и работать!»

Пока я был один, я походил на нецианта[461], трепещущего при мысли испытания. Но когда грубый язык и незаслуженная укоризна тронули и чувство и достоинство мыслящего, я дал свободу духу моему и продолжал:

— Ваше сиятельство! посвятив себя службе обожаемого царя, я не рассчитываю власти, вверяемой надо мною. Я слепо следую этому правилу и принимаю волю моего начальника как святой закон. Будет время, когда ваше сиятельство оцените труды мои и, может быть, отделите сами от толпы, не умевшей оправдать высокой вашей доверенности.

Граф (смягчившись): «Посмотрим, посмотрим. Я не люблю армейского вашего духа: у вас все «нельзя, да нельзя!»».

— Ваше сиятельство справедливо изволите заключать, что слово «невозможно» составилось аксиомою ленивых и худо обнимающих предметы. Но я не ленив, а не постигать вещей при таком совершенстве учителя, как ваше сиятельство, было бы даже и непростительно.

Граф: «Нет, нет! Я уже стар, я не могу всех учить, я не так воспитан, как вы; я не так красноречив, как вы. Вас мне дали, и я только потребую вашего действия».

— Ежели ваше сиятельство лишаете меня главнейшего пособия на пути предстоящих трудов моих или, все равно, лишаете меня наставлений и тайны управлять обширнейшим поселением, то я буду как в лесу, и действительно умственная способность уступит физической.

Граф (с приметным удовольствием): «Ну, когда ты не льстишь мне и действительно хочешь учиться у меня, то и я скажу тебе, что ты мне нравишься, и я хочу иметь тебя не помощником и не подчиненным, а другом моим», — повторив это несколько раз.

Из приемной перевел он меня в свой кабинет, посадил и после недолгих отвлеченных разговоров начал работать при мне, показывая тем свои занятия и говоря, что он все делает сам, а не другие.

Граф: «У вас в армии принесут к главнокомандующему бумаги, он возьмет перо и подписывает».

— Наш главнокомандующий едва ли в год увидит столько бумаг, сколько ваше сиятельство обработаете в один день. Да и тут разница: всякая бумага требует гениального искусства и опыта, а бумага главнокомандующего почти составляет повторение предшествовавших.

Граф: «Но ведь он — главнокомандующий, а я — просто граф Аракчеев».

— Не только главнокомандующий, но многие короли предпочли бы вас себе. Во-первых, вы приближены к первому монарху в Европе; во-вторых, природа излила на вас все усилия и одарила вас гением, которому нет в Европе даже соперников.

Граф (с радостною улыбкою): «Ты, брат, много мне льстишь. Где мне равняться с людьми нынешнего воспитания! Они все умнее меня. Это гог-магоги[462] (так он называл вельмож). Но я имею одно пред ними преимущество: я душою предан царю и, конечно, не продам его».

Говоря со мной, он продолжал читать и поправлять. Перо у него за ухом, карандаш в зубах, а гумми-ластика[463] в руках. Окончивши все, граф подает мне табель капитала военного поселения. Я, боясь задержать, пробегаю вскользь, но граф заставил меня прочитать постепенно всю; тридцатимиллионный капитал раскрыл новый материал.

— Самая сия табель есть уже дело возвышенного гения! Для вас мало было сотворить небывалое до вас колоссальное заведение поселения, вы умели еще удивить Россию приобретением такого капитала, который бы всякий другой на вашем месте потребовал бы сам на одни только издержки.

Граф: «Всякой другой сделал бы то же, что и я, но, конечно, никто бы их так не сохранил. У меня, брат, не украдешь. Но я уже

стар; может быть, Государь выберет себе помоложе, повоспитаннее; Бог знает, может быть, изберет и тебя…»

Я догадался, что злоба выказывалась от доверенности ко мне царя, а может, и против воли графа, и, не давая сего заметить, продолжал:

— Ежели Государь, избирая на ваше место другого, может сообщить ему дар небесного вашего гения, тогда ваш дух будет водить пером его так, как некогда конь Тюреня[464] вел в бой целую французскую армию.

Граф (в восторге): «Ты все мне льстишь. Не думай, брат, у меня этим выиграть: я не люблю лести, я знаю сам себя».

— Собственное ваше чувство есть уже ручательство за нельстивый язык мой. Покажите же другого, кто бы был равен вам? Тридцатилетнее управление делами кабинета, доверенность такого прозорливого царя, как наш, и образование многих предметов — не внушает ли в каждом из нас удивление к гению, которому обязана Россия многим прекрасным и совершенным!..

Вдруг докладывают, что приехал Княжной[465]. Граф: «Спросите, зачем?» Пока ходили, он мне говорит:

— Княжной — друг мой; его портрет висит в моем кабинете. Но я так справедлив, что ни для кого не переменю моего правила.

Клейнмихель: «Княжной просил Государя дать ему место в совете Военного министерства; но Государь отправил его к вам. Княжной говорит, что от вас зависит участь службы его».

Граф: «Нет, этого я не сделаю. Пусть просится в военное поселение. Другого места он не будет иметь во всю мою жизнь. А после моей смерти пусть Государь посадит его хоть в верховный совет».

В 11 часов граф, по обыкновению, поехал во дворец, а меня перекрестил и отпустил домой с тем, чтоб в 2 часа я приехал обедать к нему.

После обеда мы были с графом как будто столетние знакомцы. Он был со мною ласков и отбросил грубый и злой свой тон. Для испытания меня граф дал мне кодекс поселения с тем, чтобы я читал и сказывал ему мысли мои. Для этого назначены были мне часы: всякое утро и 6 часов вечера каждого дня до 11, а иногда и позже. Вот опять жизнь по-кутузовски![466]

Читая проект образования военного поселения, который в главнейших предметах написан был собственноручно Государем Императором, а исправлен был вообще личным пером его, я не мог без слез и восторга следовать за движением души сего великого образователя-Царя. Все, что дышит устройством и счастием народа, — это говорилось божественным сердцем его. Возвышенный язык вместе с счастливым изобретением и

желанием врезывались в душу мою и ослепляли меня блаженством золотого века. Я, как ребенок, вверял чувства мои графу, а он передавал их Царю. Я после только узнал, что тиран-исполнитель далек от бога-царя, определяющего счастие людей.

Государь хотел меня видеть в первые дни, но он опасно заболел. Сам граф не всякий день мог быть у него. Однажды он мне сказал: «Государь очень нездоров, но хотел принять тебя хотя на постеле. Я все, все ему пересказал, и он так же, как и я, доволен тобою».

Посещения мои графа постепенно продолжались всякий день, поутру — в 6 часов; обедал я у него всегда, а после обеда опять являлся в 6 часов. Часто я графа вовсе не видал, но он всегда присылал извиняться предо мной. Когда я бывал допущен в кабинет, то он меня сажал и занимался со мной. Все это для того, чтобы показать, что я учусь у него…

Сделавши для себя образцовый семейный список, я изложил его на бумаге и показал графу. Граф его одобрил и в точных моих словах передал всем поселенным начальникам, только под своим именем. Он после служил законом для рассортирования семейств и утверждения прочного их существования.

Серьезная болезнь Государя все еще продолжалась, и Петербург был среди страха и надежды. Между тем наступила Сырная неделя, и Петербург, не видя нигде обожаемого Царя, приметно уменьшил свои радости. Я, с остатком моей казны (500 руб.), не мог быть роскошен: небогатая комната, 2–3 блюда — вот и все, что составляло утешение мое. Между тем, бывши обязан всякий день быть у графа, я 5–6 раз в день получал от него приказания с фельдъегерями: то он велит явиться в столько-то часов, то пришлет дела для обработки их, то зовет на обед, и т. д., и т. д. Между 11-м и 3-м часом утра, между 4-м и 6-м пополудни я объезжал столицу, ибо нанятый извозчик даром бы брал в сутки по 15 рублей ассигнациями.

Пробыв с месяц при графе, поехал я по его воле в полк его имени. Намерение было то, чтобы я познакомился с образцовым устройством поселения и принял все его формы. Граф столько был честолюбив, что, показывая лучшую сторону, не умел приметить дурной… Все, что составляет наружность, пленяет глаз до восхищения; все, что составляет внутренность, говорит о беспорядке. Чистота и опрятность есть первая добродетель в этом поселении. Но представьте огромный дом с мезонином, в котором мерзнут люди и пища; представьте сжатое помещение — смешение полов без разделения; представьте, что корова содержится как ружье, а корм в поле получается за 12 верст; что капитальные леса сожжены, а на строение покупаются новые из

Порхова с тягостнейшею доставкою; что для сохранения одного деревца употреблена сажень дров для обставки его клеткою — и тогда получите вы понятие о государственной экономии. Но при этом не забудьте, что поселянин имеет землю по названию, а общий его образ жизни — ученье и ружье; что он, жена и дети, с грудного ребенка, получают провиант и что все это приобретается миллионами казне. Притом от худого расчета или оттого, что корова в два оборота делает в день по 48 верст для пастбища, определительно всякий год падало от 1000 до 2000 коров в полку, чем лишали себя позема и хлебородия, а казна всякий год покупала новых коров. Еще: всякий названный хозяин был не более как солдат, поступивший в рекруты из другой губернии. С прошествием времени службы он уходил на родину; следовательно, его ничто к поселению не привязывало, и он смотрел только на число лет, приближающих его к свободе. Бывало не раз, что такой поселянин бросал жену и детей и спешил домой, отчего местные женщины без усилия никогда почти не выходили замуж. Странно было слушать обряд их свадеб. Полковник строит женщин в одну, а солдат — в другую противоположную линию и, называя солдата по имени, дает ему невесту, вызывая ее по имени ж. Брачные эти союзы никогда не согласовались с выбором и согласием сердца, но учреждались полковником, который раздавал невест, как овец, судя по достоинству жениха! Стоит бросить взгляд на плодородие и разврат этого поселения, тогда грех, великий грех падет на Аракчеева!

Не имея глупости Пифагора — возмущать младших против старших[467], я взял себе в урок худое и хорошее; но, чтоб не озлобить графа, который не терпел правды… я вторил только то, что я действительно видел хорошего. Надобно признаться, что в этом поселении все придумано ко благу человека: повивальные бабки, родильные, ванны, носилки, самые отхожие места — все царские. Мысль Царя изображала его сердце и отражалась на каждом шагу человеколюбивого и незабвенного его чувствования. Но цари — не боги, их всего легче обманывают. Бережливость и чистота погребла пользу всего учреждения. В больнице полы доведены были до паркетов, и больные не смели прикоснуться к ним, чтоб их не замарать. От этого-то вошло в пословицу, что «они ходят про себя чрез окно». У каждого поселенного полка были богатая мебель и богатый серебряный сервиз. Но мебель хранилась, как драгоценность, на ней никто не смел сидеть. То же самое было и с офицерами: они не смели ни ходить, ни сидеть, дабы не обтереть и не замарать того, что дано для их употребления. Комнаты до половины не вмещали их вещей, и

чердаки по большей части были их комнатами[468]. Граф имел дар стеснить каждое состояние и поселить такую ненависть, которая доходила до исступления. Один ужас связывал язык, но чувство отражалось на физиогномии. Читая одни приказы графа, почувствуешь уже невольный ужас и разницу между предположительным счастием и мучительным требованием. У меня от приказов его всегда подымались волосы. Но, сделавшись последователем, и я не избег его погрешностей. Мы оба были Ромулы[469]. Но я, по сердцу, не был чудовищем.

Это правда, что всякая новизна имеет всех своими врагами; тут нужна стоическая настойчивость.

Наскучив бесполезною петербургскою жизнию, я порывался проситься к месту назначения; но граф все это откладывал под предлогом болезни Государя. Чтобы занять чем-нибудь праздный мой ум, он составил комитет и велел мне написать проект для будущего моего управления, не дав, однако ж, никакой идеи[470]. Признаюсь, я никогда не был так глуп, как при этом случае. Писать то, о чем не имеешь понятия; изъясняться во власти, которой не дано положительного, и тогда, когда граф не терпит другой власти, кроме своей, — это значило сказать ни то ни се. Мы взяли среднюю пропорцию, и как Старорусское поселение не имело ничего общего с другими, то мы ввели и предметы новые. Граф назначил день для слушания. Мы собрались у Клейнмихеля, и едва я прочел один параграф, граф закричал:

— Что это вы написали? Такой вздор напишет у меня всякий писарь! Не правда ли, Петр Андреевич?

Клейнмихель, изъявляя знак, согласия, вторил: — Точно так, ваше сиятельство.

Граф: «Читай далее».

И после всякого параграфа было одно и то же повторение.

— Ваше сиятельство! Я признаюсь, что этот предмет слишком для меня нов и что я, не зная точного плана и воли вашего сиятельства, легко мог не постигнуть высокого вашего намерения. Но…

Граф: «Но надобно иметь тут (показывая на свой лоб), тогда всякое намерение будет ясно и понятно. Ты привык служить с такими начальниками, которые соглашались во всем, что ты ни напишешь. Нет, у меня, брат, не то. Я не Волконский! я выходок и красноречивых слов не люблю; да и тебе запрещаю говорить и писать красноречиво. Я все люблю просто и коротко».

Со всем тем проект прочли. Но граф изъявлял жалкую улыбку, какую изъявляет учитель ученику при чтении жалкого его сочинения. Комитет разошелся, а проект поступил к Самбурскому[471]. Он прибавил только вступление, но содержание

и мысль остались те же. Стыжусь сказать, но этот труд совсем был напрасен. Это был кафтан пигмея, натянутый на великана. В нем только и осталось святого имя или подпись графа, а в прочем ни один параграф не шел к образу мною принятого действия. Спрашиваю, кто из нас был новее в образе понятия о поселении?

В день гнева я у графа не обедал, но вечером явился по установлению.

Граф, следуя своей системе и поминутно боясь бунта, употреблял некоего Морковникова в роде агента[472]. Этот злой человек сделал многих подозрительными… Морковников, по воле графа, привез депутатов от всех двенадцати волостей. Чтобы не сделать шуму в столице и не наделать гласными неудач, которых очень боялись и которыми в Петербурге ковали невыгодные толки, граф остановил их в Ижоре. С вечера приказано мне быть готову к дороге. Подвезли возок. Граф назначил место, где сесть ему и мне; мы уселись, и с нами поехал воспитанник его — Шумский. Подъехав к дому князя Лопухина, возок остановился. Граф с воспитанником пошел к князю, чтобы за один раз, как он говорил, сделать два Дела, то есть и съездить в Ижору, и представить воспитанника князю. Чрез две минуты граф воротился. Шумский пошел домой пешком, а граф сел ко мне в возок, где я его дожидался.

— Ты знаешь ли, — сказал мне граф, — ведь это не наш брат; это гог-магог! Я, правда, не люблю их и почти никогда у них не бываю. Но, чтоб не сказали, что Аракчеев собака, я не мог отвязаться от его просьбы и должен был представить ему Шумского. Ведь у него всегда балы: надобно же молодого человека ввести в круг хорошего общества.

Дорогою граф принял веселый тон. Вот наш разговор. Я пишу слова его потому, что Аракчеев — историческое лицо России; но его знают только по отголоскам, а не по чувствованиям.

Граф: «Что обо мне говорят у вас в армии?»

— Удивляются всеобъемлющему вашему гению и неимоверным вашим трудам, которые вы посвятили отечеству; а несчастные благословляют ваше правосудие и милости.

Граф (сердито): «Россия глупа: надень на кого хочешь андреевскую[473], она будет в пояс ему кланяться. Читал ли ты некрологию Уварова? Его едва ли не сравнивают с полубогами. А он больше ничего, как соглядатай и наушник[474]. Я его не боялся; да он мне и сделать ничего не мог. Я служу верно. Пусть Государь сыщет другого, мне подобного! А Уварову написали Бог знает чего и убавили даже лет жизни: это подлая лесть и ложь! А что говорят о твоем Волконском?»

— Все думают, что падение его и Закревского[475] подписано

вами. Граф (с самодовольною улыбкою): «Ведь они гог-магоги, могу ли я вредить им?»

— Говорят, что Закревский недоволен своим постом, не зная ни языка, ни нации, которою управляет.

Граф: «Как ему не быть довольным, ведь это важнейший пост в России».

Я: «Как трудно найти людей в мире, которые бы вполне были довольны своим настоящим!»

Граф: «А вот тебе Бог свидетель, что я своим совершенно доволен и ничего больше не желаю».

— Ваше сиятельство можете быть причислены к феноменам нашего века. Ваш гений ставит вас выше всех смертных. И если можно еще поставить в параллель к вам, то это не больше, как Меттерниха, Велингтона[476] и Наполеона!

Граф (с довольною улыбкою): «Где мне до них! Это народ ученый, образованный, а я учился на медные деньги. У них целые королевства, а у меня одно Грузино — и тем я, Бог свидетель, доволен».

— Ваше Грузино, конечно, лучше всех резиденций германских князей и многих королей.

Граф (очень довольный): «А кто его сделал таким? Я! Я для управления его сотворил особую методу. И если бы я был частный человек, то выдал бы ее в свет. Конечно бы, короли учились по ней управлять народом. У меня ничто не позабыто: я не беру большого оброка. Лес и луга вот мой доход! Но я недавно выдумал новый: мои крестьяне имеют большое скотоводство. Нанимающиеся у них пастухи платят мне положенную цену. Из этого я содержу ночных сторожей и делаю ежедневное освещение Грузина».

Проезжая чрез Царское Село, граф говорит: «Вот Государю хотелось бы, чтобы все города были так красивы и хорошо выстроены. Я покажу, как возвышать города без издержек».

Я: «Ежели бы все имели такую цель, как ваше сиятельство, тогда бы наши лачуги превратились в здания».

Граф: «Да, они любят только воровать».

Мы не ехали, а летели. Фельдъегерь, скакавший вперед, загнал двух лошадей, а под нами пала одна. Я во всю жизнь не езжал так скоро.

Депутаты были представлены. Граф говорил им о непременной воле Государя учредить поселения. Одиннадцать преклонили только колена; двенадцатый вдруг начал приходить в исступление и рассказывать сон, что он видел Пресвятую Богородицу и множество нашедших на них людей с железными крючьями, что они стали молиться Богу и что Бог разогнал их,

как тьму. Не успел он докончить, как его схватили и повезли. У графа всегда была готовая повозка, и он любил сюрпризные ссылки. Граф, придя в себя, начал ласкать остальных и, представляя меня им как начальника, говорил: «Не думайте, чтобы он (т. е. я) что-нибудь значил. Я его тотчас сожму в рог: он не смеет ничего у вас брать. А если бы потребовал, пишите обо всем ко мне: вы посмотрите, что я с ним сделаю».

Я хотел его остановить. Но можно ли остановить лаву? Итак, я видел здесь вместо одного целых двоих, пришедших в исступление. Граф имел низость выигрывать расположение у черни унижением мыслящих существ.

Назад воротились мы еще скорее. Граф отослал меня в своем экипаже домой, а сам после обеда поехал к Государю. Весь Петербург знал уже о нашем путешествии и завидовал моему счастию. Вот как оно по наружности обманчиво!

Всякое воскресенье граф возил меня в военно-сиротское отделение… Я не могу обратиться к судьбе, которая меня ровно 40 лет баловала и Делала мишенью для выстрелов зависти. Мудрецы правду говорят, что лишняя известность есть уже несчастие[477].

Граф, показывая мне военно-сиротское заведение, говорил, что 80 тысяч этих малюток, раскиданных по лицу России, до поступления в его ведомство гасли как свеча: десятый умирал, а пятый был болен. Вообще же все имели закоренелую чесотку. Хлеб получали они пополам с песком, а говядину раздавали им как артос[478], и то в год не более трех раз. Зато наружный вид заменял все: кровати были лакированные, а полы, столы и скамейки светились, как зеркало!

Истину сего мог я подтвердить и сам, видевши смоленское отделение, где эти малютки ели хуже страусов. Я понять не мог, как желудок человека мог в себя принимать вместо хлеба почти живой песок, а вместо пищи — жидкость, составленную из одной почти теплой воды. В 1830 году я видел петербургское сиротское отделение в команде уже Клейнмихеля: обучение прелестно, порядок необыкновенный, установление и расснащивание обеденных столов, прием и раздача пищи — почти театральные; пища прекрасная; гимны, которые 1000 человек поют одним хором или одним согласным тоном в церкви, до и после обеда, восхищают слух зрителя и возносят душу к предмету ее обожания. Содержание сих детей, как Клейнмихель мне говорил, казне ничего не стоит, но содержатся они остатками провианта и амуниции…

В один день, когда мы обедали у графа и шел обыкновенный разговор о здоровье обожаемого царя, вдруг — фельдъегерь с

огромным пакетом, за ним другой, за тем третий и т. д. Граф в восторге сказал:

— Ну, слава Богу! Государю, видно, легче, если он опять начинает работать.

В последний день Масленицы, когда Государь решительно еще никого не принимал, велено мне представиться Его Величеству: таково его было нетерпение! Граф Аракчеев дал мне письменный пропускной вид к Царю с тем, чтоб я тотчас после придворной обедни представился. <…>

На другой день граф встретил меня с довольною миною.

— Ну, Государь тобою доволен так же, как и я. И когда я сказал Государю, что мы с тобою довольно уже занимались, Государь изволил отвечать: «Это видно, граф, что он побыл с пользою в твоей школе. Как кажется, он любит поселение и подает надежду». — Граф, улыбаясь, продолжал: — Видишь ли, как Государь прозорлив, от него ничего нескроется. Но он так же, как и я, подозрителен. Чуть что солжешь, тогда он тебе ничего уже не поверит. Мне никто не верил из гог-магогов, чтобы я успел сделать то, что я сделал. Они не могли даже представить себе, как 30–40 тысяч рабочих поместить в одном месте и назначить каждому свой круг действий, не мешая другому. Но мне Бог помог, и Государь до сих пор мною доволен. Но я уж стар. Легко может быть, что Государь захочет иметь помоложе; может быть, и тебя сделает генерал-лейтенантом, ты же мастер писать и говорить и лучше меня учился, а я учился на медные деньги.

Я молчал, чтобы не ввести его опять в исступление, ибо никто легче его не переходил от умиления… к грубостям и преследованию. Я здесь догадывался, что мне, конечно, хорошо у Государя, когда граф в колкостях изображает свою зависть.

…Надобно отдать графу полную справедливость… у него на все написаны правила и всякому дано место. Кто поверит, что солдату и корове написаны с одною и тою же точностью маршруты для ежедневных их переходов! По моему мнению, излишний педантизм есть мера гибельная, стеснительная и опасная.

Наконец наступил день моего отъезда. Граф, зная, что я небогат и не охотник просить, упредил мои нужды, испросив мне 5000 рублей ассигнациями на подъем, жалованья 8000 рублей ассигнациями и прогонов по 6000 рублей в год, приказав тут же послать за моею женою[479] и детьми адъютанта. Смешение грубостей с отеческим, можно сказать, попечением) явно противоречило свойству одного и того же человека. При отъезде граф мне запретил начинать какое-либо дело.

Чрез неделю приехал он сам, и с этой минуты начинаются

новые сцены.

Чтобы лучше знать характер графа, надобно сперва приблизить к нему слух и внимание. Это вот какой человек: зол, вспыльчив без ограничения, а иногда и до забывчивости, нетерпелив, как дитя; деятелен, как муравей, а ядовит, как тарантул. Ежели ему хочется кого связать с собою (это выражение можно отнесть к одному ему, ибо без сильной цепи не было человека, который бы мог ужиться с ним), то он вначале его ласкает, обнадеживает и дает чины и кресты на словах. Но когда утвердит его на месте, тогда обращается с ним как с невольником и позволяет себе все дерзости. Но чуть кто покажет вид гнева или захочет оставить его, того гонит с злодейскою жестокостью. В этих случаях надежда на Царя, и иногда божественная улыбка его смягчала страдания и отводила душу от отчаяния… Когда ему чего захочется, он употребляет ласки и большие обещания; когда это исполнится, находит недостаточным, и никогда у него не обойдется без шума и неудовольствия. Скорее можно открыть квадратуру круга, чем средний характер графа: у него сто характеров в один день Будучи охотник до мелочей, он вечно занимается мелочью: ссорить подчиненных и, выведывая тайны их, обнаруживать потом их в глаза, делая их непримиримыми врагами. У него шпион и инвалид при его доме, которому иногда дает по 300 лозанов…

Образ мыслей графа столь же странен, как и характер его. Он подозрителен до неимоверности; он не знает различия между людьми и всех считает как одного. Ему кажется, что самое слово *человек* есть уже злоупотребление; ибо, по его мнению, что ни человек, тот и вор, что вся страсть его — брать и наживаться. Для этого-то он ссорит одного с другим, чтобы оба ему высказали… Но, может, никто в мире не был столько обманут, как граф. Доказательство — собственный его полк или фаворитный Ефимов[480].

В первый день приезда графа к нему никто не является: этот день берет он на успокоение и на осмотр. Ему подают все домашние приборы до десертной ложки, и чуть что-либо запылено или оботрется, с того взыскивает.

Но вот он уже и в Старой Руссе с наперсником своим — г. Жеребцовым, которого можно поставить в одну раму с Морковниковым. Он принял меня ласково и тут же дал кучу письменных комиссий, к свету я их кончил. Граф, читая мое положение о перевозке больных, написал своею рукою: «Исполнить; а чтоб память трудов генерал-майора Маевского оставалась всегда в виду, проект сей хранить в дежурстве». За этим посыпались от него приказания и поручения, которые

исполнялись мгновенно и с точностью. Граф в двух-трех местах объявил Высочайший указ сам, а в остальных объявляли Жеребцов, Клейнмихель и я. Граф и устал, и струсил, ибо на первом и последнем ночлеге обставил себя баталионом солдат, а у входа в двери положил Шумского, опасаясь бунта…

Ему набрали до двадцати человек из сопротивлявшихся… которых он при себе велел обрить… Все сомневались в удаче; ежедневные письма к графу показывали общую недоверчивость и опасения…

Меня самого провожали из Петербурга с сожалением, полагая, что я беру на себя весьма опасное предприятие и что оно кончится или моею смертию, или бунтом. Граф наставлял меня, как ребенка, и нарочно при всех, как приступить к делу. И едва он выехал, как я на другой день обрил и одел роту до 500 человек. Донес графу; но граф… меня остановил.

За первый опыт сына моего, Александра, пожаловали пажом[481], а его Шумского — Государь пожаловал флигель-адъютантом.

Через 3 недели я обрил и одел еще 1500. Я бы сделал это в один день, но граф меня расстанавливал.

В июне 1824 года был смотр 1-й гренадерской дивизии, куда был приглашен и я. Граф встретил меня сухо, а чрез полчаса потребовали меня к Государю. Я подал рапорт. Государь, рассматривая оный, сказал; «А! у тебя за 30 тысяч под ружьем».

Я: «Государь! больше, нежели армия Миниха и Румянцева»[482].

Государь (улыбнулся): «А каково у тебя?»

Я: «Государь! Баталион уже обрил и одел».

Государь: Как баталион? Я слышал одну еще роту».

Я: «Нет, Государь, четыре; прежде одну, а за вчера три».

Государь: «Знает ли об этом граф?»

Я: «Я имел честь доносить его сиятельству».

Государь: «Хорошо. У тебя это идет очень успешно».

Я: «Кто имеет счастие иметь учителем вас, Государь, и графа Алексея Андреевича, тому не трудно никакое предприятие».

Государь: «Но ведь всякий достигает своими способами; твои — превзошли мои ожидания. Я тобою очень доволен и надеюсь, что ты еще больше окажешь усердия и оправдаешь мою доверенность».

С этим я откланялся и вышел, а граф во все время стоял у дверей и подслушивал разговор. Увидя меня, сказал: «Я тобою очень доволен и всем тебя хвалю. Спроси у них», — показывая на Дибича и других царедворцев.

Я во все 7 дней имел счастие обедать у Государя. Но тут были

два штрафные генералы: Сент-Лоран и Рылеев[483]. Первый призван был для практического нравоучения, второй — для познания службы военного поселения. Они так были несчастливы, что ни разу не удостоились быть за Государевым столом. Я чувствовал мое преимущество и какое-то особое к себе уважение графа. Без сего последнего и моя участь не была бы выше Сент-Лорана и Рылеева.

Государь по большей части подзывал меня к себе на учениях, называя Уже не Маевским, но Сергеем Ивановичем и говоря о разных эволюциях гвардии, при конце почти смотра спросил: «Как ты надеешься на дальнейшие успехи?»

Я: «Надеюсь, Государь, что конец будет отвечать началу».

Государь: «А не выйдет ли чего?»

Я: «Нет, Государь; за это, кажется, смело можно поручиться; но только позвольте мне употребить мое средство».

Государь (изумясь немного): «Какое?»

Я: «Ассигновать на баталион по бочке водки».

Государь: «А это на что? Ты знаешь, я не люблю такого рода употреблений». (Государь ненавидел пьянство и не любил табачников.)

Я: «Государь! Я вот как поступаю: ставлю бочку водки и без предисловий говорю: кто хочет пить водку, тот скорее одевайся! В четверть часа тысячи обриты и одеты и с песнями идут домой солдатами». (Я точно так поступил со всеми 30 тысячами.)

Государь: На этих условиях я согласен. Скажи графу. Но не будет ли тут нового беспорядка?»

Я: «Нет, Государь, за это я уже отвечаю».

Приехав в Руссу, я в 11 дней обрил и одел 27 тысяч человек. Графу это было очень неприятно, и он при первом свидании вот что мне сказал: «Ты скоренько все делаешь: ты везде спешишь и хвастаешь. Ты думаешь, что ты одел людей? Нет — я! Что тут удивляться: «сила солому ломит». Я пять лет трудился и готовил их к повиновению и покорности, а ты думаешь, что ты все сделал сам по себе. Знаешь, что я с тобою сделаю? Разотру, как пыль! Я не таких учил, как ты: гог-магоги, да и те не смеют идти против меня! Меня Европа, вся Европа трепещет! Ко мне Бог милостив. У меня один только остался злодей — Гурьев, да и тот, слава Богу, околевает. Нет, брат, нет! мне не надо скороспелок. Мне надо такой помощник, который бы не умничал, а исполнял слепо мои приказания. Пусть он будет дурак, лишь бы делал только то, что я велю».

— Ваше сиятельство! Я полагал, что в таком случае скорость есть первое счастливое средство. Если в войне должно пользоваться первою удачею, то здесь всего более надобно

воспользоваться первыми впечатлениями и не дать времени простыть и обдумать средства. Впрочем, я думаю, что у вас не может быть дурак подчиненный; ибо для того только, чтобы постигнуть вашу волю и уметь ее исполнить, надобно быть умному человеку.

Граф, успокоившись этою лестью, оставил колкости, но не мог простить мне моего успеха…

Граф, при каждом виде на мое поселение, находил все не так, ко всему придирался и повторял, по крайней мере, сто раз: «Ты думаешь, что ты это сделал…»

Граф во весь этот год нарочито часто ездил в Руссу… ибо его присутствие было необходимо…

К обнажению характера графа расскажу собственный его разговор. На смотру Царя опоздали войска выйти на плац. Граф сердился, суетился, рассыпал с приказаниями. И когда собрались, он собрал всех генералов вокруг себя и начал говорить: «Хотя Александр Сергеевич (Шкурин[484], командир сих войск) и приятель мне, но я и его не пощажу, отдам в приказе по корпусу… Представьте вы себе: я посылаю к Шкурину, а он еще в шлафроке. Я, я — граф Аракчеев, давно уже одет, а он еще нежится! Да у вас и у всех, господа генералы, такая же привычка. Вы отдадите приказ — вам скажут: «Этого нельзя», — и вы приказ уничтожаете. Но если бы вы поступали по-моему, тогда бы беспорядков не было. Бухмеер ведь друг мой и однокорытник по корпусу, но вот что я сделал с ним: отъезжая в Виттово поселение, я отдал приказ, чтобы он заступил мое место. Бухмееру показалось это тяжело и свыше его сил; он сказался больным. Я призвал его, уговаривал, и ничто не помогло! Я еду к Государю и прошу выключить из службы Бухмеера.

Государь остановился и говорит:

Помилуй, граф, он так давно и хорошо служит. Не лучше ли отставить его с пенсионом?

Воля ваша, Государь, я отдал приказ и ни за что его не переменю. Ежели вам не угодно исполнить просьбы моей, так я уж больше не служу.

Государь, подумав немного, сказал:

— Помилуй, граф, сделай с ним, что хочешь, кроме выключки из службы.

Я посадил его с фельдъегерем и отправил в Чугуев!»

Граф сказал нам это с намерением, чтобы доказать свое могущество и… после этого прикусишь язык и, конечно, не захочешь скакать на повозке!

За опоздание войск Шкурину был выговор, а четырех офицеров граф хотел посадить в крепость, но его упросили, и он

выписал их в дальний гарнизон.

Граф был самолюбив, и ему казалось, что природа подарила совершенство одному ему; прочих он считал ниже скотов. В одно время расспрашивал он у меня об армейских генералах. Я описывал их достоинства, а когда коснулось В[итта] и я сказал: «Он храбр». — «Что ваша храбрость, подхватил граф, — вот напиши это, — показывая на свои проекты и приказы, — тогда будешь храбр!»

Полк свой считал он совершенным, хотя он далеко был ниже других; назвать его посредственным, даже равняться с ним в глазах графа было преступление. Полк этот составлялся из всей армии, и, конечно, в руках другого он был бы первый в России, Тогда был в моде Семеновский полк. Государю было угодно, чтоб мы были у развода его. После ученья граф спрашивал у нас, как этот полк в сравнении с его? Кто же скажет правду! и натурально, мы отдали справедливость графскому. Граф передал это Государю. Но Государь не согласился с нашим мнением. Да и действительно, в Семеновском полку была особая благородная свобода в движении, ловкость и развязка, пленяющая взор, а графский был… очень обыкновенный[485].

Граф, вводя меня в поселение, приказал привесть из Новгорода в Старую Руссу учебный свой баталион, дабы я принял его правила. Но баталион этот так был дурен, что граф, разбранив всех, полковника арестовал…

Отделавши всех, граф принялся за меня.

— Помилуйте, ваше сиятельство, — говорил я. — Я тут не принимал никакого участия, вы сами изволили отдавать приказания, и следственно, я на свой счет ничего не беру.

— Но у тебя нет вовсе военного глаза, и т. д., — говорил граф. К несчастию, мимоходом попался ему генерал-майор Кузьмин, которого считал он добрым дураком.

— А ты чего же смотрел? — говорит ему граф. — Ты давно у меня уже в поселении и знаешь мои правила. Пожалуйста, ваше превосходительство (обращаясь ко мне), сажайте его чаще на гауптвахту, а я и Государь скажем вам за то спасибо.

В июле 1824 года граф смотрел мой учебный баталион. Баталион учился отлично. Клейнмихель не скрыл его достоинства, и когда граф был восхищен, то и Клейнмихель вторил: «Прекрасно! Посмотрите, ваше сиятельство, с какою аттенциею[486] делаются построения».

Граф после учения на плацу обнял меня и сказал:

— Ты у меня не только хороший хозяин, но и мастер фронтового дела. Государю скажу. Я от него ничего не скрываю.

Граф обедал у меня: был с визитом у жены моей и подарил

обоим нам особое свое расположение. На жену мою возложил ввести в городе веселости и оживить дух города, который получал что-то мрачное. Мы дали ему вечер. Он был восхищен, сказав, что он в жизнь свою не имел приятнее этого дня и что он в Старой Руссе оживает и перенесет сюда свою резиденцию… Он хотел завесть там серные ванны и привлечь туда всю Россию. Чтоб оказать внимание к столь высокому посетителю, я спросил его, кого ему угодно будет видеть у меня гостей.

— По мне, кого хочешь, — отвечал граф, — я и с волками уживусь.

Обхождение графа было по большей части грубое, дерзкое; оно было нестерпимое. Но он, от недостатка образования и от излишка счастия и власти, вовсе того не примечал. Напротив, всегда думал, когда он кого бранит, то это значит — учит. Посему он всякому, кого бранил, говаривал:

— Ты мне должен быть благодарен за это, ибо я тебя учу добру. Слушайся только меня и делай так, как я приказываю, ты будешь счастливый человек.

Граф всегда противоречил самому себе: письменно приказывает, как государственный человек, а словесно велит делать, как деспот. Кто его послушает, он сам же после отречется и наделает тьму неприятностей; не послушаться же графа — значит быть уже без вины преступником. Когда один раз был он недоволен (а это бывало у него в час по десяти раз), он начал мне говорить:

— Когда бы я был на твоем месте, я не то бы сделал: я сделал бы то-то и то-то.

Я знал, что графу хочется ввести меня в грубую ошибку, выставить ее пред Царем и потом, в виде милости, простить. Я ему отвечал: «Ежели ваше сиятельство письменно прикажете мне обрить митрополита, я не остановлюсь ни на одну минуту; но ежели дадите приказание под рукою, я ничего исполнить не осмелюсь, ибо после сами же, ваше сиятельство, повторите любимую вашу пословицу, что вы не Бог, а человек и что вы легко могли ошибиться. Но я, как местный начальник, должен был все сообразить и не поступать против рассудка…»

Ежели кого он бранит и тот после признается в небывалой вине и просит у графа прощения, того он называет «умным и славным человеком». Но беда кто спорит, беда кто даст себе сесть и на шею! Тут надобно среднее искусство: «лисий хвост и волчий рот», как говорит пословица.

Характера этого довольно бы было для того, чтоб в графе видеть Аракчеева. Но это было бы еще простительно в частности. Но он в целом разрушал целое. Например, в малороссийском

баталионе, при 2000 поселянах, начал бранить начальников без всякой вины и, обращаясь к поселянам, говорил им; «Видите, как я с ними поступаю[487]? Ежели бы не я, у вас давно бы гнили спины от палок; молите Бога за меня. Не слушайте их и пишите обо всем ко мне — я ваш покровитель! Но когда меня не станет, тогда вы меня вспомните и не раз кулаком утрете слезы».

Между тем требует от начальников порядка и исполнения до деспотизма, и за проступки поселян часто подвергает их аресту. Такое вероломство во всякой другой нации произвело бы бунт и несчастие. Граф как будто поклялся ставить одного против другого и с намерением всегда искал просителей, чтобы, по его мнению, знать все и истреблять злоупотребления, упирая в глаза, что от него ничего не скроется. Жалобы эти не касались до маленьких властей, а относились к высшей, и следовательно, жаловались ему — на него. И граф обыкновенно оканчивал их наказанием самого просителя. В другой раз граф бранил генерала Чеодаева[488] по того, что у него от слез сделались сильнейшие судороги. Поступок этот был в присутствии целой бригады. Я подошел к нему и говорю:

— Ваше сиятельство, генерал Чеодаев, полагая, что вы на него прогневаны, плачет, как ребенок. Утешьте его хоть немного!

Граф: «Это ваше дело. Ведь я его учу не к злу, а к добру. Вы бы ему растолковали, что граф — милостивый и справедливый начальник и желает вам же добра, а потому и учит. Но ежели он считает это обидою, так он ошибается. Я бонжурить[489] не умею, по-французски не знаю, комплиментов не терплю, учился на медные деньги, а взыскиваю и говорю с вами, как умею. За это надобно не сердиться, но благодарить меня».

Я извинял Чеодаева новостию и непривычкою к здешней службе (или лучше к здешнему обращению).

— То-то, — подхватил граф, — у вас в армии гладят вас по головке; вы там все бонжурите да играете вместе в бостон, офицеры тоже; а я этого не люблю, да и тебе строго запрещаю.

Граф, успокоившись, сел в мои дрожки. Чтоб возвратить его к себе, я говорю:

— С вашим сиятельством гораздо легче работать, чем с Петром Андреевичем [Клейнмихелем]. Мы осмотрели уже три роты, а он смотрит еще одну.

Граф: «Ну ведь он делает не по-вашему, а все аккуратно».

— Ваше сиятельство, вы еще больше не пропускали ничего (смотрели и бранились) и уже давно кончили.

Граф: «Ну, я более его сделал навык…»

— Надобно отдать справедливость нашим поселянам; извольте посмотреть, с каким они духом идут поротно.

Граф: «А ты думаешь, ты это сделал? Нет, я» — и т. д., и т. д.

— Я ничего не беру на себя; но чтобы уметь исполнять и собственно волю вашу, на это нужен некоторый ум.

Граф далее говорит: «Государь пожаловал тебе 3000 рублей, и я прислал их тебе по эстафете, а ты пишешь, что тебе даны в долг. Перепиши свою бумагу. Государь тотчас догадается и прогневается».

— После тех милостей, которыми Государь осыпал меня, я не смею просить пособия; а если бы попросил, то не три тысячи, а десять тысяч рублей.

Граф: «А десять тысяч Государь тебе бы не дал».

— А три тысячи я бы не взял.

Тут граф был как-то любезнее и ни слова более не сказал, но переменил разговор, говоря:

— Вы думаете, граф собака, он кусает. А ежели бы вы знали, как мне часто за чуб (это его слово) от Государя достается. Я один раз осмелился сказать Государю: «Государь! Ежели бы я служил черту, и тот бы уважал меня более!» Я уже стар; у меня написан уже и прощальный приказ. Пусть Государь изберет другого помоложе и поспособнее меня, — по мне хоть тебя. Я уеду за границу.

— А нас обрадовал слух, что Государь жалует вас новгородским князем.

Граф: «А на что мне это? Ежели бы это увеличило мою жизнь или ввело в царство небесное, тогда было бы хорошо; но это ни к чему не ведет. От этого я не буду ни святее, ни счастливее; мне эти титлы не нужны. (Потом продолжал.) У тебя пока что идет хорошо. Бог тебя знает, может, ты и атеист; но я не проникаю ни в чью душу, а наружным твоим поведением доволен. Едва ты написал письмо ко мне, я ту же минуту поехал во дворец пред самым выездом уже Государя, и он велел пожаловать тебе 3000 рублей. Видишь, как Государь тебя любит!»

Служа и живя с таким начальником, как граф, у которого поутру одно, а в полдень другое расположение и наоборот, нельзя похвастать равнодушием мудреца и спокойствием духа: они ежеминутно в трепетном, по крайней мере, в горько-нестерпимом положении. Самый великодушный человек под эгидою его управления сделается раздражителен…

Он отдал под суд майора Сухачева. Я положил мое мнение, основанное на истине. Граф сделал мне замечание за слабость мнения, но я в другой раз остался при моем.

Граф требовал щегольства и издержек на украшение фронта. Издержки эти, натурально, падали на собственность солдата. Граф сам это знал и одобрял в тишине кабинета. Но когда

невольные злоупотребления случайно обнажались, он преследовал их… так, как будто это делалось самопроизвольно.

Я по делу Сухачева объяснился с графом, говоря: «Ежели обвинять за это Сухачева, то, не разбирая лиц, надо судить начальников всей армии и самого меня. Ибо те тысячи, которые употребляются на украшения, равно везде падают на собственность солдата, под скрытыми, но допущенными видами».

Граф мне на сие отвечал:

— Я и сам твоего мнения. Но пока оно негласно, мне нет дела до того.

Следовательно, граф держался пословицы Ваньки Каина[490] «Воруй, да не попадайся»…

Граф возложил на меня составить проект для промышленников-поселян. Я сделал его, сообразно с государственным постановлением, приспособив его к званию поселян и к местным необходимостям, способствовавшим им и отправлять свои обязанности, и заниматься с выгодою промышленностью, обогащавшею край. Граф был другого мнения. Боясь рассеянности поселян и толков их, и наоборот, он хотел сжать весь круг их промышленности в кругу одной Старой Руссы, сделав купцов ее монополистами; привязывая всеми способами купцов, полагал торжеством и то, что они не оставили города. Но я воспротивился его мнению, утверждал, что выгода поселянина-хлебопашца есть первостепенная, выгода купца есть второстепенная. Довольно для него (поселянина), говорил я, когда перекупщик, получая рубль на рубль барыша, не стесняет производителя и не лишает его охоты к трудам и умножению произведений земли.

Когда граф упрекал меня, что я не хочу споспешествовать ему, я сказал:

— Ваше сиятельство требовали моего мнения, я изложил его. За мнение никто не сердится: оно есть свидетельство или истины, или ошибки. Высокие умы принимают только полезное и отбрасывают излишнее.

— Но я не хочу, — подхватил граф, — чтоб поселяне были купцами и заражались другими мнениями. Знаешь ли ты, — продолжал он, — что ничего нет опаснее богатого поселянина? Он тотчас возмечтает о свободе и не захочет быть поселянином. Да и кто же из свободы пойдет в неволю?.. Я не верю их чувствованиям и уверениям.

— Так всего лучше, — сказал я, — не писать положения о промышленности, где тень свободы покрывает яркими красками всю картину невольничества.

— Вы все филантропы, у вас везде свое, а я хочу вести по-

моему.

<…> Я должен, впрочем, признаться, что я обязан графу точностию идей моих и глубоким исследованием самого себя. Графу нельзя написать того, чего нельзя доказать анализами, а эту науку приобрел я, служа только с графом. Боясь говорить поверхностно, я стал обнимать основательно, и корень извлечений моих не слабее был кубического корня. Взвешивая каждую мысль, даже каждое слово, я видел сам, что поверхностное знание с глубоким и основательным есть то же, что мрак при молнии с дневным светом, при ярких лучах солнца. Граф подал мне первую о сем мысль двумя родами: первый был тот, что он кучу моих предположений проходит со мною сам и на каждый предмет требует неопровержимых доказательств. После чего кладет решения собственною рукою, что можно видеть в штабе Старорусского военного поселения; второй — тот, что граф сильнее рассматривает безделицы, чем важные дела. В один раз, когда он строго поверял строевой рапорт баталионного командира и исписал его кругом своими замечаниями, вот что он мне сказал:

— Ты скажешь, что граф занимается такими пустяками посреди важных государственных занятий, А я тебе скажу, что я важными никогда так не занимаюсь, как пустыми. Ибо важным занимается и вполне обрабатывает тот, на кого это возложено, а бездельным никто не занимается. Но когда я найду и здесь ошибку, тогда все скажут: ежели граф занимается и видит ошибки в безделицах, то что же он увидит уже в важном деле, которое, конечно, читает он с большим напряжением и вниманием?.. И ты учись этому и делай так, как я делаю.

Отчетность в людях и формы о том так были перепутаны и неудобопостигаемы, что граф от дня издания их не обращал на то внимания. При излишестве требований потребовал он и от меня точного изъяснения его формам. Дело это предоставлено было Клейнмихелю, как созидателю форм, и он сам увидел спутанность, затруднявшую собственное его понятие. Итак, формы переменили по-моему.

Граф имел злую привычку, минуя начальника, обращаться непосредственно к его подчиненным. Адъютанту моему прислал он собственноручное повеление, требуя ответа в его действии, Адъютант в испуге принес эту бумагу и, по словам моим, отвечал, что он только исполнитель, но что все пишу и действую я. Граф, увидевши меня, говорит:

— Для чего ты по моему предписанию все принял на себя? Чтоб скрыть адъютанта? Я этого не люблю. Эго значит потворить и баловать подчиненных. Ты бы сказал, когда граф находит тебя

виноватым, то ты уж должен быть виноват.

— Ваше сиятельство! Такой способ выведет только подчиненных из подчиненности, и когда я буду что приказывать, то никто меня не послушается, не зная, худо ли, хорошо ли это делается. Я и так едва успел покорить общий отзыв: «Я не смею, граф за это меня арестует». Ежели мой подчиненный будет делить себя между исполнением моего приказания и ответов за то пред вами, то всякий будет уже в зависимости вашей, а не моей. И что тогда будет с лицом, на которое падает общая ответственность?..

Граф три раза велел мне упущенное исправить на счет баталионных командиров, Я взял вину на себя, ибо ее не было, и заплатил 300 рублей. Граф почувствовал несправедливость и деньги приказал мне возвратить.

Все мои письма граф читал Государю. В одном ответе граф мне писал: «И Государь изволил заметить, что ты теперь в лучшем расположении духа».

Граф терпеть не мог похвал и наград, я и того, и другого домогался.

Граф говорит:

— Не хвали ты мне никого: я и сам знаю, кого и чем наградить.

— Ваше сиятельство, ежели бы я был вельможа, как вы, тогда бы одного моего слова, одной улыбки довольно было составить их счастие, но как я простой генерал, то мне надобно показать всю мою признательность, чтобы подвигнуть людей к бескорыстному действию и неимоверным трудам, успеху которых сами вы отдаете справедливость.

Граф: «Ну, с этим я согласен. Да я уже и так произвел трех твоих капитанов в майоры, чего я другим не делаю». (Граф никогда не производил капитанов в майоры, чтобы не было лишних штаб-офицеров[491] и чтоб они не выбыли в армию и тем избавились бы от ужасов поселения.)

Граф, хотя и не хотел, не мог не отдать справедливости Старорусскому поселению. Оно в полтора года, как будто волшебною силою, сотворилось в прелестнейшем виде. Все его части имели полный вид совершенства. А что всего важнее, не стоив казне ни копейки, составило собственно своего капитала до шести миллионов, разумея с запасами хлеба и с продовольствием от себя поселенных солдат <…>

В 1825 году, при освящении церкви полку графского[492] граф говорит при мне всем, бывшим там, петербургским посетителям:

— Мы сей год сделали такую перевозку плиты, какой у меня еще не было. Вот и он (указывая на меня) никогда мне не верил, чтобы это возможно было так скоро сделать. Мы все это сделали

по-военному, как делается в больших армиях.

Это правда, что перевозку прожектировал и сделал я по плану моему о продовольствии молдавской армии. <…>

Еще нечто о святости печатных графских приказов.

Граф предоставил мне сделать план для поселян-работников, не вошедших в строевые округи. Граф переделал план этот по-своему, взяв масштаб с полевых рабочих баталионов, и отдал в печатном приказе. Когда дошло до исполнения, то люди, живущие за 80 верст, должны были, подобно волне, сменять одну другою, не оставаясь дома и двух часов. Я арифметически сделал выкладку и поднес графу. Граф рассердился, но, поверяя, увидал, что я еще смягчил выкладку. Тогда, бросив перо, сказал:

— Я ведь не учитель арифметики, а учился ей просто для себя. Но печатного моего приказа ни за что не переменю прежде двух лет. А ты сделай, как хочешь, чтобы «и волк был сыт, и овцы целы». Понимаешь? Я на это буду смотреть сквозь пальцы.

Я всегда был осторожен и всякое распоряжение посылал к нему, а он своею рукою отмечал: «читал» или «аппробую»[493]. И тогда только, когда имел сей акт, приступал к делу. Это впоследствии спасло меня от великих бед <…>

Государь сам-третей осматривал все здания и устройство полку графа. Это любимое было его общество. Граф так искусно умел показывать, что Государь видел все хорошее…

Государь Александр недаром спешил окончательным устройством поселения. Судьба, конечно, ему шептала: «И век великих не свыше обыкновенного смертного».

Граф часто мне говаривал; «Я не знаю, для чего Государь спешит поселением и хочет открыть еще новое в Ярославской губернии. Он молод, силен и тверд в своей воле, но я стар и не доживу до конца всех этих начал. Я и теперь уже утомился этими работами. Я и Старорусское поселение принял в свою команду только потому, что оно близко и под рукою. Но Ярославского ни за что не приму. Я скорее оставлю службу, чем возьмусь за такое дело, которое погребёт семнадцатилетние труды мои и славу творца поселений. Я люблю видеть все своими глазами, но как же мне скакать в Ярославль и Херсон, имея на шее дела всего государства?» <…>

Вскоре Государь уехал в Таганрог, а граф — в Грузино. Несчастная история с его Настасьей лишила его рассудка. Он проклинал свет, людей и, как уверяют, осквернял уста свои богохулением; отказался от всех должностей и, бегая с окровавленным платком и отрубленными пальцами Настасьи, скрывался от всех более двух месяцев. Время, рассудок и увещания известного архимандрита Фотия возвратили его к себе.

Он открыл процесс и запутал в него множество людей.

Этот переворот удивил всю Россию, а особенно меня, которому граф за несколько недель до сего печального происшествия говорил:

— Я вижу, что Бог меня любит. Я не знаю еще случая, который бы огорчил меня. Даже мое Грузино и мой сад поминутно приводят меня в восхищение.

Из этого можно вывесть общее заключение, что человек прежде смерти не может похвалиться своим счастием. <…>

Вечером я явился к графу, и внимание его ко мне еще более удвоилось. Он знал чистую и глубокую преданность мою к Императору Александру, и потеря сего великого Монарха еще более связала наши чувства. На другой день, в пятницу, он был с докладом у Государя и испросил мне Высочайшую аудиенцию — знак особого его внимания и милости Государя. Милость эта тем сугубее была велика, что я один из всех удостоился этой чести.

В субботу, в 12 часов, я имел счастие представляться Государю после саксонского посланника. Отеческий прием Царя увеличил мое счастие и удвоил мою преданность.

На другой день я благодарил графа за доставление мне случая видеть вблизи Государя. Он рассматривал улан, присланных от Коровкина[494] и Витта. Сохраняя прежний тон, он диктовал свою строгость в передаче приказаний. Потом, введя меня в кабинет, начал говорить:

— Пока я служу, я не переменю моих правил; да и тебе то же советую. У вас, конечно, теперь толки: граф упал в милости Царя. Ну, можно его теперь и не слушать. Нет, я этого не допущу прежде моей смерти. И пока я буду управлять, я все буду тот же граф Аракчеев. Но когда не буду служить, приди кто хочешь — хотя бы и ты — и брани меня под окном, я не скажу ни слова; а кто придет ко мне на двор, того попрошу вон, а если не послушает — пошлю за полицией. (Это был голос павшего вельможи, которого один взор, даже одно имя приводило в трепет всю Россию!) Вот расскажи это всем и внуши, что граф не упал и что ему должно по-прежнему повиноваться. Конечно, я уже стар и слаб — никуда теперь не гожусь. Я скоро еду за границу: год меня не будет — и тогда посмотрим, что будет с вами и со всем вашим поселением. Я ничего не хочу и всем доволен; моя драгоценность — вот эти письма (подает мне целую связку собственноручных писем Императора Александра). Читай, ты увидишь, что это писал не Д. [то есть не Дибич?], а сам Государь. Цари не имеют таких писем. Я их напечатаю и покажу целому свету.

Я, из скромности, хотел только пробежать, но граф заставил меня прочитать все.

— Конечно, — сказал я, — ни один подданный не излил бы на бумаге столь высоко и столь искренно чувств своего Государя, как сам Государь. Это язык и чувство богов, а не человека.

Граф, принимая от меня письма, сказал:

— А теперь он несчастлив, я несчастлив — мы оба несчастливы.

И, поцеловав их с горестным чувством, положил в комод.

Один дом графа клал уже тяжелую грусть на человека. Прежде в нем заключалась служба России, а может, и Европы. Каждая стена говорила о памятниках великих происшествий. Теперь все пусто, и, кроме литографских камней, не видно было ни одного стола, с которого прежде рассыпались перуны собственного его Ватикана[495]. Теперь все еще больше в нем опустело, и грустное чувство скоротечного счастия доказывает только ничтожность нашего счастия.

Когда я откланивался графу, он с удивлением спросил меня:

— Неужели уж ты едешь? Поэтому ты не так, как другие, не ищешь и не даешь пышных обедов и не составляешь себе новых партий.

Это произнес он с горьким тоном против тех, кои накануне почти ползали подле него и теперь оставили.

В апреле, кажется, граф уехал за границу. Клейнмихель заступил его место. <…>

## *История графа Аракчеева из собственных его слов, сообщенных в течение всего нашего знакомства*

Граф Алексей Андреевич Аракчеев — сын отставного майора, человека бедного, но строгого. Мать его происходила из небогатых дворянок и заменяла у отца и ключницу и кухарку. Граф часто говаривал, что она, по мановению отца его, а ее мужа, должна была, не разбирая времени, бегать сама в отдаленный погреб и приносить сама все, чего бы ни потребовал муж.

Когда графу совершилось 7 лет, отец привез его в Петербург, чтобы отдать в корпус. По тогдашнему порядку вещей, должно было новицианту, или принимаемому кадету, иметь собственный свой фрак, стоивший не более семи рублей. Но фрака этого отец графа сделать был не в состоянии (так-то деньги тогда были редки!). Итак, отец графа, несмотря на все слезы сына, готов уже был взять последнего назад в деревню и предоставить судьбу его жребию обыкновенного хода. Но, быв убежден отчаянием и слезами сына, которому, видно, не совсем сладко было при отце, решился прибегнуть еще к последнему способу. Вот он: С.-

Петербургский митрополит[496], имея правилом всякую субботу раздавать бедным некоторую часть денег, питал в отце последнюю надежду: не поможет ли он ему, услыша нужду, от которой зависело счастие молодого человека. Итак, в назначенный день отец с сыном пошли к митрополиту и ожидали его выхода. Граф говорит [автору]:

— Я и теперь помню еще эту ступеньку, на которой, среди других нищих, заняли мы свое место.

Митрополит вышел, обошел всех и дошел до Аракчеевых. Вид майорского мундира сделал на него впечатление, и он неравнодушно выслушал виды старика Аракчеева. Но потому ли, что и для митрополита семь рублей составляли большую сумму, или потому, что он в раздаче милостыни не хотел отступать от своих расчетов, он дал Аракчеевым 150 копеек, а в остальной сумме извинился собственными недостатками.

Потеряв последнюю надежду, Аракчеевы собрались совсем уже ехать домой. Но, желая на прощанье посетить некую свою знакомую (Гурьеву), без всяких видов или больше посреди разговоров, рассказали ей и цель приезда, и цель отъезда. Она была богата и издержки в семь рублей приняла на себя. Вот кто положил начало счастью героя моей истории. За то граф по гроб питал благодарность к ней и оказал большие услуги сыну ее — горбылю Гурьеву[497].

В ученье граф был неутомим. Но как метода тогдашних наук оканчивалась на том, с чего ныне она начинается, то граф знал первые четыре правила арифметики, несколько алгебры, математики и часть слабую артиллерии. Со всем тем, трудолюбием, точностью и исправностью он превосходил других, хотя вовсе не знал словесности и не умел написать ортографически двух-трех слов. Товарищи ненавидели его за мрачный и уединенный характер, и не было дня, чтобы они его не били и чтобы он не орошал слезами бедной подушки. Но старшие любили его и ставили в образец другим; а этого и довольно [было], чтоб в нем [видеть] виноватого и бить. Когда он вошел в корпусные офицеры, то Милисино, директор корпуса, отличал его пред всеми и удостоил доверенности быть учителем его детей. Он сблизил его с собою и сделал почти домашним своим человеком. Когда Павлу I желалось иметь лучшего артиллерийского офицера, который бы умел составить металл орудий, то Милисино послал Апрелева и Аракчеева. Последнего Павел предпочел первому, и с этой минуты продолжалось тридцатилетнее его счастие. Вот собственный рассказ графа:

«Я сделался комендантом Гатчины и всякий день должен был быть в параде, в разводе и на ученье. У меня был один мундир и

одни лосиные панталоны. В ночь сниму я их с себя, выбелю и поутру рано мокрые надеваю опять. Летом это было сносно, но зимою доходило почти до слез, когда панталоны примерзали к телу и жестокий холод проницал все нервы мои. Всякий день обедал я у Павла, но на ужин получал два блюда, которые приносились в мою комнату. Итак, и здесь все богатство мое заключалось в одном жалованье, которым я помогал родителям. Отец мой часто твердил мне: «Алеша, ты дослужись до майора и выйди в отставку с пенсионом, — тогда мы все будем счастливы». Но что бы он сказал теперь, увидев меня в нынешнем моем состоянии.

Всякую зиму Павел оставлял Гатчину, чтобы проводить сие время с Матерью в столице. Тогда мне шли порционные деньги. С моею бережливостью накопил я около 3000 рублей и считал себя богатейшим и счастливейшим в мире! С сею суммою вошел я в генералы, и теперь видишь, как я приобрел все трудами и милостями моего Государя, которого я боготворю и до сих пор.

С нынешним Государем (Александром) знаком я с 1794 года. Вот его первое ко мне письмо, и с тех пор я служу ему душою, так же как и его отцу. Мне ничего не надобно: все мое желание — угодить Государю. Я расскажу тебе два пассажа, по которым ты можешь судить, как мне бывает прискорбно, когда я и видом даже заслужу гнев Государя. В один день работал я с Государем в кабинете и не знаю как-то замарал нос. (Ты знаешь, что Государь не любит табашников.) Государь, увидя это, говорит мне:

— Граф! Нынче и ты нюхаешь табак?

Мне так было стыдно, что я поклялся быть впредь осторожнее. В другой раз докладывал я рапорт Императорскому Величеству о понтонах. Новость вещи и слова ввела меня в ошибку. Государь это заметил и вывел меня из затруднения. Я в другой раз поклялся, прежде чем говорить о вещах, надо узнать в подробности всю их сущность».

В веселом расположении духа граф говорил мне один раз:

«После кампании[498] Государь возвращается в Петербург. Всякий рисовал собственные свои надежды. Я, напротив, считал себя счастливым и тем, ежели государь среди многих отличившихся в войне вспомнит хоть издалека меня. (Графу среди боевого пыла было хуже, чем среди бумажного) На другой день, довольно еще рано, слышу я вестовой колокольчик, которым швейцар извещаете приезде Государя. Я поспешил одеться и встретить Государя. Государь меня обнял, расцеловал и просил поспешить приездом к нему. Я явился в кабинет Государя и снова был счастлив его ласками и милостию. Но вижу, что Государь что-то беспокоится, чего-то ищет на столе и между

бумаг. Наконец он нашел и подал мне бумагу. Я читаю и вижу, что мать моя жалуется в статс-дамы! Я бросился на колени и умолял Государя отменить сию милость. Мать моя не рождена для двора, и милость сия, выводя ее из неизвестности, уронила [бы] нас обоих. Государь долго не соглашался, говоря: «Я не знаю, граф, чем другим тебя наградить». Но наконец убедился моею просьбою и согласился милость сию отменить. Женщины все честолюбивы. Мать моя не знала до гроба о сей милости. Но ежели бы узнала, она и за гробом не простила бы этого мне… <…>

# И. А. Бессонов [499]
# [Рассказы об Аракчееве]

Не прошло еще двадцати лет, как покойный граф А. А. Аракчеев сошел с русской сцены, на которой играл, помнят *многие* и знают все, какую роль; и воспоминание о нем если не исчезло, то слабеет — и заметно. Я говорю о воспоминаниях, сохраняющихся в народе, или, лучше сказать, в известных классах общества, о действователях современных в их вседневной, закулисной жизни. Мне кажется, это отнести должно главнейше к тому, что образу своих действий граф Аракчеев, а следовательно, и современному влиянию, старался всегда по известному для него, вероятно, расчету придавать характер и выражение *официальности, службы,* а не своей *личности,* исчезавшей как бы в массе приказов, повелений, указов и узаконений, издававшихся и управлявших царством от Высочайшего имени. Вольно или невольно он редко выступал из этих границ, по-видимому довольно тесных, и не гонялся за известностию, довольно, впрочем, жалкою, остроумия, истощаемого в наше время *людьми важными* в приказах и деловых бумагах. Пример — учитель не всегда чтим бывает довольно учениками. Аракчеев, сколько помнится, не добивался гласности, народности, довольно легкой для людей, стоящих на такой заметной для толпы ступени, и часто приобретаемой удачною выходкою, острым словом, наконец, самою странностию и причудами. Суворов стал известен большинству русских, по крайней мере своего времени, прежде всего едва ли не с этой стороны, стороны причуд и странностей, а не своих дарований, глубоко обдуманных и изумлявших своею быстротою и последствиями, — воинских движений.

Едва ли не большею частию известности своей как чудак, замечательный человек этот обязан примерным изучением истории его жизни. Современники великого человека прежде всего, может быть, всегда спрашивают: *кто он* и *что такое!* Потомство вопрошает: *как, для чего* и *что он сделал великого?* В этих вопросах заключена жизнь людей, истории принадлежащих. Не таков был граф Алексей Андреевич. Всегда осторожный, всегда скрывающий глубоко свою мысль и свои страсти, он не любил около себя шуму и восклицаний, в каком бы они роде ни были.

Поступки его были медленно-тихи, как род и действие пружины необходимой, может быть, все управляющей, но глубоко сокровенной. Была ли то врожденная или рассчитанная скромность, склонность к тишине и уединению, размышление

души, в себя углубленной, или боязнь ропотной совести — как знать? Аракчеев не был балагуром и, сколько известно, крепко недолюбливал людей этого рода, крайне докучающих своим франпарлерством[500], на которое нельзя серьезно сердиться. Впрочем, с ним и шутить было не совсем удобно или ловко: и все эти умники тогдашнего времени, не щадившие, как говорится, для острого словца ни матери ни отца, делались, если верить рассказам, замечательно тупы и теряли дар слова, свыше ниспосланный, не только в присутствии сурового временщика, но даже при одном его имени. Странно, и здесь кстати будет, кажется, заметить, что подобные противоречия самим себе господ острословов встречаются и не раз в истории, — и до сих пор не отмечено в множестве памфлетов и сатир времен Ришелье и Мазарини[501] ни одного с подписью собственного имени автора! Граф Аракчеев, как рассказывают современники его, не дозволял будто бы никогда гравирования своего портрета[502]. В самом деле, редкость их на станциях в трактирах и постоялых дворах (я не видал ни одного, кроме *снятого с мертвого,* можно сказать, — на эстампе, изображающем коронование благополучно царствующего Государя Императора Николая Павловича и супруги его) делает довольно вероятными подобные рассказы. Несмотря на то, в народной памяти живет холодный и строгий его образ; эти выразительные, крупные, как бы из камня иссеченные черты лица, седая, гладко выстриженная голова; гнусливое произношение речи и самая речь грубая, отрывистая, металлическая. В частых своих путешествиях с *нашим ангелом*[503] неразлучный его спутник *аггел*[504] не старался быть любезным ни с кем и явно говорил неприятные часто вещи как *лицам,* так и *толпе.* У меня еще теперь свежа в памяти сцена, происходившая у графа Аракчеева с одной из просительниц, осаждавших Государя в проезд его чрез Серпухов в 1823 году[505]. Графу поручено было отобрать от нее нужные указания и сведения о ее деле. Выслушав рассказ, может быть, довольно несвязный, граф с нетерпением закричал на нее: «Стыдно вам, сударыня, беспокоить Государя такими пустяками. Вы должны идти и просить по порядку». На это неробкая, как видно, просительница отвечала ему: «Ваше сиятельство. Я шла по порядку, но меня принудили к беспорядку». Сцена эта происходила на крыльце Государевой квартиры при многочисленном стечении верноподданных.

Дошла до нас память о непреклонности его воли, неутомимости нрава и ничем не подкупной строгости правил. В самом семействе моем был случай, который довольно резко обрисовывает одну из сторон этого замечательного в современной

нашей истории характера. Брат мой, служивший, как говорили тогда, *на поселениях* Аракчеева, имел неосторожность впасть в дело, могшее иметь весьма важные последствия. За подачу рапорта баталионному командиру с дерзкими будто выражениями он был арестован и предан военному суду. Все считали погибшим моего брата. Батальонный командир имел связи и могущественное покровительство. Правительство, напуганное сколько заграничными, столько и домашними событиями подобного рода (это было в 1823 году)[506], смотрело с крайнею неприязненностию и предубеждением на происшествие этого свойства в гвардии и армии, и нельзя было ожидать какого-либо снисхождения со стороны графа Аракчеева, считавшегося как бы воплощенным *началом,* руководившим тогда действиями правительства. Несмотря на все это, материнское сердце, не знакомое с расчетами политической, государственной необходимости, изыскивало все возможные средства к спасению сына от неминуемой гибели. В числе средств, большею частию химерических, безрассудных, слабых, народилась и надежда на заступничество и ходатайство довольно, впрочем, в то время сильной графини А. А. Орловой, по некоторым отношениям покровительствовавшей нашему семейству. Она обещала сделать все, что было в ее возможности, и сдержала свое слово. В приезд, едва ли не последний, покойного Государя в Москву в августе 1824 года графиня Анна Алексеевна давала огромный для него бал в своем доме за Москвой-рекою, ныне обращенном в Александрийский дворец[507].

Улучив минуту возможности, графиня отозвала графа Алексея Андреевича в одну из дальних комнат и там, передав ему коротко историю моего брата, умоляла его о пощаде. К большему убеждению она сочла нужным тут же представить ему расстроенную сильно мать нашу, не могшую, разумеется, сказать от слез, и этим чуть было не испортила всего дела. Граф, не любитель, как видно, мелодраматических сцен, нахмурил более обыкновенного свои седые брови, взял записку о деле и сухо отвечал как графине, так и матери, что «это дело не его, а военного суда и будет рассмотрено в свое время и своим порядком». Надежд было мало. Прошло несколько месяцев ожиданий, для матери весьма мучительных, и вдруг, к крайнему всех удивлению, получается посредством почты на имя моей матери пакет за печатью штаба графа Аракчеева, в котором заключал ось извещение о решении дела моего брата. Приговор военного суда о разжаловании в солдаты без выслуги смягчен был графом в *шестимесячное* крепостное заключение, и он спешил известить о том мать, помня как говорилось и бумаге, «ее

ходатайство, столь хорошо рекомендующее сына». Этот ответ *жестокосердого и неумолимого временщика* хранится у матери моей в месте подле дедовского благословения, образов, с письмами сыновей. Но простите за отступление. Обратимся к нашему рассказу.

Рассказ этот предпринят, могу уверить, мною не для того, чтобы втеснить в него, как нынче, впрочем, принято, свою жалкую личность, а единственно, чтоб сохранить один замечательный, если он справедлив, случай, относящийся некоторым образом к частной, домашней жизни графа Аракчеева, если только люди этого разряда могут сходить в нее, забываться, так сказать, от ежечасного повторения своей роли. Вот этот случай, рассказанный мне особою весьма почтенною и заслуживающею доверия.

«Ты знаешь, — говорила мне эта особа, — что молодые лета мои я провел большею частию в доме князя П. В. Лопухина, покровительствовавшего еще и отцу моему и заботившегося о моем воспитании. Вероятно, известно тебе также как о важности мест, занимавшихся князем, о могущественных его связях со всем, что называется у нас аристократиею, и милостивом к нему всегда расположении двора. Князь Петр Владимирович, не имевший, конечно, как у вас нынче говорится, всеобъемлющих способностей, имел много светского толку, такту и уживался со всеми восходившими и нисходившими величиями. Он не радовался особенно ничьему возвышению и не сожалел долго о падавших. Равнодушие, свидетельствовавшее, может быть, об отсутствии — как быть по-вашему, *могущественных убеждений,* что ли? — всегда было кстати и весьма ему пригодилось. Он мог быть зависим от графа Алексея Андреевича, а в то время это очень много значило. В свиданиях своих граф иногда даже пожимал руку князю Петру Владимировичу, улыбался как-то странно, по-своему — от непривычки, что ли, улыбаться — и удостоивал полудоверенностию, полусловом, имевшим смысл только впоследствии. Князь Лопухин довольствовался таким положением вещей, не добиваясь ничего, не обнаруживая притязаний на рецензию и пересуды. В награду, что ли, право не знаю, такого политического самоотвержения и самоуничтожения князь Петр Владимирович получил однажды изустное извещение графа Алексея Андреевича о том, что он к нему будет вечером *напиться чаю и сделать партию в бостон.* Помню очень живо, как князь Петр Владимирович, возвратившись домой, объявил всем нам торжественно столь важную новость. Помню, как были мы изумлены все и не знали, должно ли было тому радоваться. Помню заботливость, сомнения, затруднения князя при

умственном соображении партии *редкого гостя,* как он выразился, к нему назвавшегося, и должно согласиться, что было о чем подумать. Теперь только я вижу, и очень ясно, всю щекотливость, всю трудность подобного дела и оправдываю покойного председателя нашего Государственного совета (помяни, Господи, душу его с миром) в его нерешимости, казавшейся мне тогда уж чресчур излишнею. Наконец выбор удостоившихся приглашений был сделан; приглашения собственноручные написаны князем и развезены мною к немногим (всего, кажется, шести) лицам. «Из них уж многих нет»[508], как, кажется, сказал Пушкин, а о других поминать не хочу. Наступил вечер. Свечи были зажжены; в комнатах накурено[509]. В гостиной были разложены два стола, и приглашенные все собрались к семи часам (час был назначен графом), вполголоса разговаривая между собою, как бы опасаясь прослушать стук кареты знаменитого посетителя. На всех лицах мог я читать по тогдашней беззаботности и неопытности моей, и довольно ясно, помышления, которые они сами хотели бы забыть, может статься, тотчас же после их зарождения. Так прошло часа два или более. Карты оставались, само собою разумеется, нераспечатанными, какая-то тоска, похожая чуть ли не на предсмертную, начинала овладевать всеми посетителями и наконец самим хозяином. Положено было общим приговором этих седых голов (после, говорят, признавались многие, что это был один из тех приговоров, который они обдумывали с участием и страстию) послать кого-либо узнать тихомолком, что могло задержать его сиятельство и не отложил ли уж он своего намерения удостоить князя своим посещением. Выбор князя, естественно, упал на меня (тогда еще мы не стыдились быть на подобных посылках). Я торопливо и не совсем покойный бросился в первую из стоявших у подъезда карет и велел себя везти как можно скорее в Литейную. Расстояние было недалекое[510], и в пять много минут я уже был недалеко от своей цели. Я велел остановиться, не доезжая дома, и пошел к нему пешком в странном каком-то состоянии духа. Вечер был ненастный, мокрый снег валил шапками; фонари мерцали слабо. Ставни дома, занимаемого графом, были затворены, и самый дом погружен в какой-то полумрак, усиливавшийся, может быть, темною его окраскою. Он уцелел еще, этот памятный всем дом (на углу Литейной и [пропуск в рукописи] переулка как занимаемый Долгоруким[511], начальником штаба Великого князя Михаила Павловича), и я никогда не проезжал мимо его не погружаясь невольно в воспоминания о прошедшем и прошедших мимо нас. Я вступил в ворота, на довольно обширный и вовсе почти не освещенный двор; сани, заложенные парою лошадей в дышло,

стояли неподалеку от крыльца. Добившись возможности видеть графского камердинера, персонажа тоже довольно сурьезного и неговорливого, я узнал от него, что граф не раздумал ехать куда-то, но что еще не окончил своих занятий и когда кончит — неизвестно. Едва успел он сообщить мне столь ободрительное известие, как послышался голос графа: «Одеваться!» Камердинер бросился опрометью в одни двери, а я в другие; не переводя духа добежал до кареты, меня ожидавшей, и поскакал с известием. Несмотря на свое проворство, я успел предупредить графа едва несколькими минутами.

Он пожаловал в половине десятого часа, как заметил после один из бывших тут сановников, любивший, видно, справляться с часами. Хозяин дома встретил его в передней, без особенного оказательства восторга, без особых ужимок придворного, а с некоторою важностию и достоинством человека *хорошей компании,* считающего свой дом довольно порядочным для всякого, как бы он ни был велик и значителен.

Граф не торопясь прошел аванзалу, еще комнату и вступил в гостиную, сухо отвечая на поклоны и продолжая разговор с князем, заключавший, кажется, извинение, что заставил себя ждать, и ссылаясь на множество скопившихся случайно дел. «Мы так зачитались с Никифором Ивановичем, — говорил граф, снимая перчатки и укладывая промокшую от снега фуражку на малахитовый подстольник, — что не ведали время. Извините, князь, право, если бы не дал вам слова, то едва ли бы решился выехать в такую погоду. Присмотреть у меня за домом некому, и меня отправили к вам в санях!» Он утирал лоб и щеки пестрым бумажным платком, поглядывая пристально на двери, в которые вошел и близ которых стояла, прислонившись и вытянувшись, чуть дышащая фигура какого-то человечка в истертом вицмундирном (анахронизм, кажется, рассказчика. Были ли тогда они?) фраке[512], белом, или, лучше сказать, сероватом галстухе и с круглою шляпою в руках.

Довольно яркое освещение комнаты, упадая на этот предмет, не имевший, как видно, значительных выпуклостей, разливалось по нему как-то без особенного блеска, не отражаясь ни в тусклых полуопущенных глазах, ни в матовой бледности худощавого лица. Только следуя направлению графского взгляда, бывшие тут лица могли остановить свои взоры на этом молчаливом собеседнике, очутившемся тут как бы неестественною силою. Граф не мог не заметить общего, хотя и молчаливого, хотя и осторожного, изумления и, обратившись небрежно, как бы нечаянно к хозяину, только тут сказал ему: «Я и забыл второпях, извините, ваше сиятельство, представить вам и рекомендовать хорошего моего

приятеля Никифора Ивановича, помогающего мне вечерами в чтении этих проклятых бумаг. Рекомендую, рекомендую. Садись, братец, — продолжал он, обращаясь уж к призраку, — господа эти не взыщут, что мы с тобой одеты не по-бальному!» При окончании этой фразы, на которую призрак отвечал издали глубоким, безмолвным поклоном, хозяин дома не мог не подойти к нему, сказать ему несколько оставшихся неизвестными от истории слов и усадить его на несколько ближайшем к центру беседы кресле Между тем был подан чай, карты розданы, и партия началась. Утомившись довольно долгим и напряженным наблюдением и не ожидая ничего особенного, я уже сбирался идти спать в свою комнатку, находившуюся в нижнем этаже дома. Было часов около одиннадцати. Вдруг внезапный шум и разговоры в гостиной привлекли снова мое внимание. Подойдя к дверям, я сквозь створы их увидел всех партнеров на ногах и графа Алексея Андреевича с фуражкою в руках, раскланивающегося с хозяином. Лицо последнего было довольно мрачно и бледнее как-то обыкновенного. «Не беспокойтесь, любезный князь, сделайте одолжение, — говорил ему граф Аракчеев. — останьтесь, без церемонии; зачем вам покидать партию. Мне, право, жаль, что не могу продолжать еще. Заремизилось[513], видите. Пора мне спать. Вставать рано надобно. Дела куча. Прощайте, прощайте, господа. Прошу полюбить моего Никифора Ивановича. Он великий мастер в бостон. Доиграет за меня, а мне пора. Прощайте, князь, А ты, братец, — продолжал он, обращаясь к Никифору Ивановичу, отдохнувшему было во время игры и дерзнувшему даже на несколько скромных в сем отношении замечаний и теперь снова погрузившемуся в свое чиновническое ничтожество, — ты что проиграешь, скажи мне; я разочтусь с этими господами. Авось либо нам повезет», — прибавил он, улыбаясь одному ему свойственною улыбкою, в которой что-то было дикое.

Когда хозяин дома возвратился в гостиную, Никифор Иванович занимал указанное ему и только оставленное графом место и с решимостию человека, отчаявшегося в возврате, собирал сдаваемые ему карты. В гостиной было тихо; на дворе шумел и завывал ветер. Будочники и часовые подле Арсенала[514] перекликались протяжно между собою.

Один из присутствовавших при сем занимательном явлении лакеев на другой день между прочим довел до моего сведения, что партия кончилась благополучно; что ужинать никто не остался и даже не был особенно упрашиваем хозяином, что Никифор Иванович остался в замечательном по количеству куша (они играли по 10 копеек медью) выигрыше и что один из господ, которого именно обыграл он, сходя с лестницы, предложил ему

завезти его домой в своей карете; что Никифор Иванович согласился на то с первого разу, и княжеские сани, для него было приготовленные, были отложены.

# Д. К. Тарасов [515]
# Император Александр I

Его Величество отправился в село Грузино к графу Аракчееву[516]. Мне поведено было сопровождать Его Величество на место бароне Виллие.

В этом путешествии, в которое предположено было осмотреть Новгородские военные поселения, при Государе место начальника Главного штаба занимал барон Дибич, а князь Волконский по причине болезни был уволен за границу.

Не имея доселе понятия о селе Грузине — столице столь замечательного государственного человека, я с особенным любопытством отправился в путь в одной коляске с бароном Дибичем, ибо Государь в Грузино ехал в коляске один.

Граф Аракчеев, быв предварен о прибытии Императора по телеграфу из Чудова, ожидал Его Величество на своей пристани, на берегу Волхова; Государь переправился с графом Аракчеевым на катере, а коляски переправлены были на пароме.

Государь по обыкновению занял свой кабинет в главном доме, барона Дибича назначен отдельный домик, а мне дано помещение в другом домике, другую половину коего занимал доктор графа, Даллер.

Для Императора граф Аракчеев в нижнем этаже главного своего дома устроил постоянный кабинет, в коем Его Величество находил все, что для него необходимо, то есть кабинет этот был точно такой, какой кабинет у Императора в Царском Селе; даже самые мелочные подробности были те же самые, как в собственном кабинете Государя. Поэтому Его Величество всегда особенно был доволен своим помещением в селе Грузине.

По прибытии Государь занимался с графом, а мне не приказано было являться в тот вечер к Его Величеству.

Заняв назначенное мне помещение, состоящее из двух комнат, небольших, но чрезвычайно удобных, я нашел в нем до самой малости все, что для меня нужно, — даже трубку и табак. Необыкновенная предупредительность!

Зная чрезвычайную аккуратность хозяина, я встал поутру очень рано и поспешил одеться, чтоб явиться в кабинет к Его Величеству. Это было шесть с половиною часов утра. Только что я успел окончить совсем свой туалет — вдруг вижу вошедшего ко мне графа Алексея Андреевича, который очень благосклонно спросил меня, как я провел ночь и доволен ли моим скромным помещением? Я вежливо отблагодарил заботливого хозяина.

Вслед за графом принес мне буфетчик прибор с чаем и кофе.

— Вот вам и наш деревенский завтрак, — сказал граф, — милости просим кушать нашего хлеба и соли, чем Бог послал в моем уединенном приюте.

Граф присел, пока я пил чай.

— А разве трубку вы не будете курить? — спросил он.

Я отказался, сказав, что я должен спешить в кабинет к Государю, где меня скоро спросят.

— Нет, вы должны явиться туда ровно в восемь часов, — граф заметил благосклонно, — а теперь пойдемте со мною, я вам покажу свое хозяйство.

Я за ним последовал.

Граф начал с своей церкви, которая составляла великолепный храм, выстроенный на лучшем возвышенном местоположении. В церкви, которая заранее была отперта и отворена, он показал мне всю богатую церковную утварь и ризницу и, наконец, близ правого клироса памятник всем офицерам графа Аракчеева полка, павшим на поле сражения; а подле левого клироса приготовленную им для себя могилу, закрытую мраморною плитою, на коей уже иссечена и самая надпись, кроме дня кончины. Над могилою устроен парящим бронзовый, густо вызолоченный ангел, держащий икону Божией Матери в золотой ризе; на задней стороне этой иконы по золотой доске вырезано подробное описание всех походов, в коих участвовал лично граф Аракчеев. Пред этою иконою денно-ночно теплится лампада.

По выходе из церкви граф показал мне древний крест, водруженный подле алтаря церкви, и чугунную колоннаду с портиком, великолепно отделанные по повелению Императора; в средине колоннады, на пьедестале, стоит статуя апостола Андрея Первозванного со крестом — произведение высокого художества.

Указав мне на здание сельской больницы, граф просил меня осмотреть оную особенно, с его медиком, коему им дано уже о том приказание.

Потом граф повел меня в свои оранжереи, в коих у него устроен маленький кабинет для занятия государственными делами. Показывая его, он мне указал на огромную кипу пакетов большого размера, присовокупив, что все эти пакеты надписаны собственною рукою императора; в них он получал все важные дела и хранит их свято как памятник монаршего доверия. Наконец, граф показал мне скотный и птичий свои дворы и, проведши в сад, показал грот князя Меншикова, где поставлен бюст этого знаменитого вельможи Петра Великого, на пьедестале коего лежит книга — жизнеописание этого сановника. Обширный сад в Грузине содержится в таком же порядке и чистоте, как сад

Царского Села, и это все поддерживается одними дворовыми людьми, для коих весь сад разделен на участки, и каждый из дворовых людей отвечает за свой участок.

Вынув часы, на коих было 7 часов и 50 минут, граф мне сказал:

— Теперь извольте идти к Императору, в восемь часов ровно Его Величество вас потребует. <…>

— Каково ночевал ты и обозрел ли хозяйство здешнего хозяина? — спросил меня Государь.

Ответив утвердительно, я прибавил, что порядок в доме и устройство хозяйства поставляют здешнего помещика на степень самого опытного и благоразумного хозяина.

— Да оно так и есть! — сказал Государь. — У него надобно многому учиться.

Пробыв в Грузине двое суток, Император с графом Аракчеевым отправился для обозрения военных поселений и прибыл вечером в штаб полка графа Аракчеева.

Штаб полка расположен на берегу Волхова, на прекрасном месте, состоит из многих каменных корпусов и представляет целый великолепный город. Нельзя не удивляться могуществу воли человеческой при виде воздвигнутых подобных городов во всех поселенных полках, в особенности на таких местах, где были за три года пред тем совершенно дикие и почти необитаемые места! Каждая рота полка составляет превосходную колонию; все дома выстроены на величественном берегу Волхова в одну линию по одному, очень красивому фасаду. Перед домами устроены бульвары — дома и эти бульвары содержатся в отличном порядке. В каждом доме помещаются две семьи хозяев, обращенных в поселенцы из мужиков, и каждый хозяин обязан содержать по нескольку постояльцев, фронтовых солдат, которые помещаются отдельно — в мезонинах домов — и обязаны работать вместе с хозяевами.

Все это прекрасно видеть по наружности, которая военною дисциплиною поддерживается в математическом порядке, но крайне неестественно, что производит скрытный ропот в новообращенных поселенцах.

Государь повелел мне осмотреть подробно полковой госпиталь в штабе графа Аракчеева полка, который я нашел в отличном положении, как по хозяйственной, так и по медицинской части. Устройство и снабжение госпиталя показывают, что тут все употреблено с роскошью. При больных отличная мебель и посуда, тонкое белье и прекрасно устроенные ватерклозеты. При личном донесении о сем Государю, Его Величество отозвался, что «здесь иначе и быть не может».

Здесь я встретил нескольких своих товарищей-врачей, которые мне жаловались на суровость и трудность службы и уверяли меня, что положение и быт военных поселян ужасно стеснительны и едва выносимы.

На берегах Волхова Государь осмотрел полки: графа Аракчеева, короля прусского, императора австрийского и наследного принца прусского. Устройство, порядок и дисциплина везде одинаковы. Потом через Новгород Государь отправился для осмотра Старорусских военных поселений, где расположены для поселения карабинерные полки. Здесь позже началось введение военных поселений и встретило в коренных жителях некоторое сопротивление, требовавшее усиленных мер, потому особенно, что между коренными жителями много старообрядцев, для коих новый порядок и особливо бритое бород представлялись пришествием антихриста. <…>

9 ноября [1825] приехавший [в Таганрог] из Петербурга курьер привез Известие, что в имении графа Аракчеева, Грузине, случилось важное происшествие[517]. Дворовые люди графа зарезали заведовавшую его хозяйством и пользовавшуюся особенной его доверенностию женщину, Настасью, столь известную в свое время. Убийство это так поразило графа Аракчеева, что он заболел и отказывался прибыть, по повелению Государя, в Таганрог, куда Его Величество вызывал его для занятия с ним делами особенной важности, Это обстоятельство опечалило Государя, как по случившемуся у графа такому происшествию, так и потому, что присутствие графа в Таганроге было необходимо нужно для Императора, так что, несмотря на уклонение графа, Его Величество приказал баронету Виллие написать к нему, чтобы он поспешил приездом в Таганрог. Письмо это писал я, которое по своему содержанию очень замечательно. В нем изложено было участие, принимаемое Государем в грустном положении графа, и что в Таганроге, где для него был приготовлен наилучший дом, со всем комфортом, он найдет благосклонный и дружеский прием, и глубокая грусть его может здесь рассеяться. Несмотря на это, граф Аракчеев не приезжал в Таганрог. Такой поступок графа, имевший вид ослушания, унизил его в общем и самого Государя Императора мнении. <…>

# Ф. В. Булгарин [518]
# Поездка в Грузино в 1824 году (Из воспоминаний)

Грузино никогда не видывало незваных или нежданных гостей. Приглашение в Грузино почиталось особенною милостью или вниманием хозяина его, графа А. А. Аракчеева, и весьма многие дорожили этим приглашением. Мне также было весьма приятно это внимание вельможи; но меня влекло туда любопытство, а не иная какая цель. Я ничего не искал! Отправился я туда с Н. И. Кусовым[519], бывшим тогда с.-петербургским градским главою, который также был приглашен и, при этом случае, вез вклад в церковь Грузина. Это было в конце августа.

На станции Чудове нам не давали лошадей до тех пор, пока не последовало на то соизволение графа. На крыше станционного дома устроен был телеграф, который немедленно приведен был в движение, и чрез несколько минут получен приказ, также посредством телеграфа: *дать лошадей.* По прекраснейшей дороге прибыли мы к берегу реки Волхова; проскакав девять верст и переправившись чрез реку на пароме, мы уже были в Грузине. Господский дом, небольшое каменное четвероугольное здание в три этажа, с бельведером, возвышался на холме конической фигуры. На платформе холма были флигели и церковь, а по косогору и вокруг холма разлетался обширный английский сад. Несколько строений находилось у подножия холма, на берегу, поблизости перевоза, и между прочими гостиница и инвалидный дом. На берегу реки встретил нас полицеймейстер Грузина, отставной гвардии унтер-офицер, и стал расспрашивать: кто мы, откуда приехали и куда едем. Вследствие ответа нашего, что мы приехали в гости к графу, полицеймейстер повел нас в гостиницу и отвел комнаты для нашего помещения. Гостиница эта не трактир, но просто дом для помещения гостей. Комнаты в ней чистые, светлые и удобные; меблировка простая.

Было около 12 часов утра, когда мы приехали в Грузино. Графа не было дома: он отправился на торжество освящения новопостроенной церкви в военных поселениях с несколькими из гостей своих, между которыми был М. М. Сперанский. Графа ждали к обеду. К нам пришел в гостиницу один из приятелей моих, служивший при графе и пользовавшийся особенною его благосклонностью. Он стал учить нас, а особенно меня, врага всех

возможных курбетов[520], этикету, наблюдаемому в Грузине. Вот главные пункты: 1) не должно самому начинать говорить, но только отвечать на вопросы графа; 2) садиться в его присутствии тогда только, как он прикажет и где укажет; 3) не следовать за ним в другую комнату или куда бы ни было, но оставаться в том месте, где гости собраны хозяином; 4) ни о чем не спрашивать и не расспрашивать графа; 5) не разговаривать с другими в его присутствии, не улыбаться и не смеяться до тех пор, пока улыбка не покажется на устах графа… Наконец этот приятель натолковал столько, что наскучил мне, и я решительно объявил, что не берусь за исполнение всех этих условий, потому что это не в моей натуре. Фамилияриться не люблю я с старшими и гнушаюсь фанфаронством, которое не чтит ни лет, ни заслуг, ни звания, но не умею также играть ни роли лакея, ни серальского немого, ни бездушного льстеца. В жизни моей я имел случай быть в близких сношениях с несколькими не только сильными людьми, но истинно великими мужами и всегда приближался к ним бестрепетно и не заикался в разговоре именно потому, что никогда к никому не навязывался.

На убеждения приятеля вести себя как возможно осторожнее, чтоб не заслужить неблаговоления хозяина, я отвечал одною французскою поговоркою: «Qui se porte bien, ne craint pas le médecin», то есть: «Здоровому доктор не страшен».

Еще мы не успели переодеться, явился лакей графский, в роде шута, называвшийся *домашним стихотворцем.* Он непременно хотел заставить нас прослушать нелепые свои стихи, которые весьма многие из почетных гостей Грузина выслушивали терпеливо, но мы, узнав от приятеля, что этот поэт любит более ассигнации, нежели похвалы и внимание слушателей, отделались от него подарком и стихов не слушали. В три часа пошли мы на эспланаду[521] перед домом и застали тут многочисленное общество, несколько генералов, офицеров и петербургских гостей. Ждали графа. Все были в мундирах, только один я безмундирный, в черном фраке. Это место перед крыльцом прелестное: огромные липы, в два ряда, составляют широкую аллею, которая ведет к флигелям или службам. Вид вокруг бесподобный! Сад как на ладони. Волхов виден на необозримом пространстве, посреди обширных лугов, между холмами. На реке фрегат[522], перевезенный сюда сухим путем из Петербурга. Кой-где селения и шпицы церквей. Везде богатая зелень и превосходные, рослые деревья. Но главная прелесть — это разнообразие ландшафтов с каждой точки этой вершины, господствующей над окрестностями. Все господские строения в Грузине каменные и красивые — это подлинно жилище вельможи.

Наконец приехал граф, в линейке. Он был подвязан черным платком, страдая зубной болью. Мы все приосанились и стали вполкруга. Граф подошел к толпе, поклонился всем, потом стал быстрым взглядом всматриваться в толпу, поздоровался отдельно с каждым из приезжих из Петербурга и, к великому удивлению моему и всех присутствовавших, подошел прямо ко мне и, сказав: «А! очень рад любезному гостю!» — взял меня под руку и повел в комнаты. Можно представить себе, в каком я был положении! Я в первой паре с графом — перед всеми, иду с ним рука об руку, как будто старый приятель и товарищ! Но граф любил следовать евангельскому правилу, по которому возвышающийся унижается, а унижающийся возвышается[523]. Не в темя я бит — и тотчас постигнул, что граф возвышает меня для примера другим и чтоб показать, что милость его зависит не от степени или звания в обществе. Я чувствовал, что на этот раз буду заглавною буквою в его нравоучении, то есть что обращение графа со мною должно быть уроком для других и что на них же должен падать смысл его речей, обращаемый ко мне. Я уже видывал в жизни моей людей с подобным характером и с первого раза смекнул, в чем дело. Это было исполнение русской пословицы в обратном смысле: «Кошку бьют, а невестке намеки дают».

Итак, прошу каждого, читающего сии строки, не приписывать самолюбию моему, тщеславию или чванству приведение речей графа, весьма лестных для меня, и рассказ о необыкновенной его ко мне ласковости. Я попал в добрый для меня час — и только! Но собственные слова графа и его обращение со мною послужат к характеристике этого необыкновенного человека, стоявшего на первых ступенях величия в продолжение двух царствований. Граф А. А. Аракчеев принадлежит истории и под пером историка-философа займет в ней весьма важное место. Главнейшее достоинство графа А. А. Аракчеева состояло в том, по моему мнению, что он был *настоящий русак,* как мы говорим в просторечии. Все русское радовало его, и все, что, по его мнению, споспешествовало славе России, находило в нем покровительство. Не надобно было только ложиться поперек на том пути, по которому он шествовал! Да это вряд ли кто любит! Другое важное достоинство графа состояло в ненависти к всякому фанфаронству и самохвальству. А неусыпность его, а быстрота в исполнении!.. Но я позабыл, что пишу не историю и не биографию. Итак, обратимся к нашему делу.

В зале граф подозвал к себе воспитанника своего и сказал ему: «Познакомься, братец, с ним (указывая на меня): ты от него научишься чему-нибудь хорошему». Воспитанник был молодой человек весьма привлекательной наружности и приятный в

обхождении. Граф разговаривал с гостями, а я стоял возле него, помня наставление приятеля не переменять места без приказания.

Дали знать, что кушанье подано. Граф взял под руку М. М. Сперанского и повел вверх, а мне велел следовать за собою. Мы шли рука об руку с его воспитанником. Когда все вошли в столовую, граф сел по средине овального стола, посадил возле себя М. М. Сперанского по правую сторону, по левую — одного из своих подчиненных генералов, потом каждому гостю указал рукою и мановением головы место, где он должен сесть, то есть на каком конце и на какой стороне стола, а мне словесно приказал сесть насупротив его, между своим воспитанником и любимым чиновником, приятелем моим, который встретил нас в гостинице. Граф сказал моим соседям: «Угощайте моет любезного гостя!» Н. И. Кусову с которым граф обходился чрезвычайно милостиво, указано место возле моего соседа, то есть от меня чрез человека.

Кушанье было отличное, вина превосходные, десерт богатый, и хозяин находился в хорошем расположении духа, был разговорчив и любезен. Радушие с гостем — отличительная черта русского характера, и я ссылаюсь на всех, бывавших в доме графа А. А. Аракчеева, что невозможно быть гостеприимнее его и любезнее, когда он принимал человека не как начальник, а как хозяин дома. После первого кушанья он тотчас завел со мною разговор: «Выкушай, братец, — сказал он, указывая на бутылку, — ведь я у тебя в долгу. Ты уже давно потчеваешь меня своими сочинениями, за которые не раз сказал я тебе, за глаза, спасибо!» Веселое расположение графа привело и меня к веселости. Я отвечал ему шуткою: «Благодарю вас, граф, за доброе слово, и охотно готов почаще меняться с вами угощением!» Шутки посыпались одна за другою, и граф Чрезвычайно развеселился. Но между тем сосед мой и приятель, то есть чиновник, любимый графом, отдавил мне ногу, желая удержать порывы моей веселости, и нашел даже случай шепнуть мне, прикрывая рот салфеткою: «Ради Бога не начинай сам разговаривать и шутить! граф не любит этого и может тебя озадачить!» Я не мог слушаться этого совета, потому что был, как говорится, на ходу (j'étais en train). «Скажи правду, ты, верно, намерен описать Грузино? — сказал мне граф. — Пожалуйста, не ври же так, как наврал кто-то, сделавший из Грузина какую-то святыню, сущий рай. Грузино село-селом, важное только тем, что принадлежит мне по царской милости, украшено царскими щедротами и тем еще, что добрые люди меня здесь навещают. При последних словах граф обратился к М. М. Сперанскому. «На этот раз вы не угадали,

граф, — отвечал я. — Уверяю вас честью, что у меня и в уме не было описывать Грузино и что я не возьмусь за это, хотя бы даже вы пожелали!» Граф поднял голову и, сделав серьезную мину, спросил меня: «А почему же это?» Между тем сосед мой, приятель, любимец графа, жестоко жал мою ногу. Я отвечал графу прехладнокровно: «Описывать здания, сады, виды в Грузине было бы напрасно. Вся Россия знает, что здесь все это превосходно. Выдумывать пошлые истории о древностях Грузина, которых не осталось никакого следа, я не в состоянии, а говорить о любезном хозяине — неприлично. Похвалу сочтут лестью, потому что когда критика невозможна, то и похвала не может иметь никакой цены, и лучшая статья о Грузине есть безмолвная благодарность за радушие и любезность хозяина. Лицо графа оживилось улыбкою; он поднес рюмку к губам и сказал: «За твое здоровье!» Посыпались снова шутки, между которыми открыл я весьма важное для меня обстоятельство, а именно, что я оклеветан был пред графом, и притом самым гнусным образом, насчет моего образа мыслей. «Мне что-то не хотелось верить этим толкам, читая твои сочинения», — сказал граф. «И вы не ошиблись, — отвечал я, — с моим образом мыслей я никогда не скрываюсь, не скрывался и до гробовой доски скрываться не стану, не по излишеству благоразумия, а по характеру. Если б мне нравился образ правления Северо-Американских штатов, то, не обинуясь, я поехал бы в Америку и поселился б в ней. Наполеона я полюбил именно за то, что он оковал гидру Французской революции и держал теоретиков на привязи. По мне, там и хорошо, где нет воли страстям человеческим, где личность и имущество каждого гражданина ограждены законом и где сила блюдет за исполнением закона, В России живем мы тихо, смирно, без всяких потрясений, никого у нас не тронут понапрасну; а если иногда закон не так истолкован и исполнен, то виновны мы сами, ибо нам же вверено истолкование и исполнение законов. Но люди везде не ангелы, и везде есть жертвы страстей, интриг, злобы! Сократа отравили в республике, а Велисария ослепили в империи[524]. Все улучшения приходят со временем, и только безумные или заблужденные могут желать притянуть к себе *насильно* будущее время. А я, слава Богу, не безумный и не восторженный и потому прошу у вашего сиятельства позволения выпить эту рюмку вина за благоденствие сильной и единодержавной России!» Графу понравилась речь моя. Подали десерт, и граф, наложив плодов на тарелку, подозвал служителя и велел подать мне, сказав, улыбаясь: «Тарелка эта поставлена передо мною неправильно; она твоя — по принадлежности!» На тарелке изображен был Цицерон!

«Принимаю сходство мое с Цицероном в одном только отношении, а именно в ненависти к Каталине[525] и всем подобным ему!» — сказал я, поблагодарив графа за вежливость. «А знаешь ли, кто во сто раз хуже Каталины и всех возможных карбонаров?» — спросил меня граф. «Мне кажется, дураки, которые лезут насильно к занятию мест не по силам…» — «Браво, — воскликнул граф, — ты у меня с языка сорвал! — примолвил он. — Вот теперь, брат, ты доконал меня! — примолвил он, смеясь громко. — Тебе и книги в руки! А имел ли ты дело с дураками, набитыми премудрою мудростью?» — спросил граф, «Я имею дело с самыми опасными из них, — отвечал я. — Вы не можете вообразить себе, граф, до какой степени сумасбродства доводит самолюбие шепчущее безграмотному и бесталантному глупцу (который, по несчастью, окунулся в омут наук), что он должен быть писателем! Это ужасно! Он почитает злодеем каждого, кто только намекнет ему о его ничтожности». — «Это все игрушки! — сказал граф. — А вот когда глупцу поручишь дело важное, государственное, а он, идя ощупью, опираясь на чужие плечи, на родство и другие костыли, падает в яму и верит сам и уверяет других, что взлетел за облака! Я сам человек не из преученых, учился в Артиллерийском корпусе, зато и не возьмусь написать статьи в журнал, потому что не умею этого. А у меня есть такие орлы, которые возьмутся пролететь сквозь шар земной, если на том конце земного шара будет аренда или орден!.. Граф хохотал, и собеседники хохотали — но не все, кажется, искренно.

Из столовой мы перешли в залу с балконом на противоположную сторону от эспланады. В одном конце залы, по правую сторону, выходя из столовой, стоял стол, с ящиками со стеклом, в которых хранились собственноручные письма к графу Императоров Павла Петровича и Александра Павловича, и рубаха, которую Император Александр Павлович, будучи наследником престола и с.-петербургским военным губернатором, переменил однажды у графа Аракчеева, проведя весь день на службе. Зала украшена была двумя прекрасными портретами, во весь рост, Императоров Павла I и Александра I.

Подали кофе. Гости остались в зале, а граф Алексей Андреевич перешел с М. М. Сперанским на балкон. Любимый чиновник графа, мой приятель и сосед за столом, который отдавил мне ногу своими предосторожностями, подошел ко мне и стал мне пенять… за что бы вы думали?.. за мое свободное обхождение за столом и веселое расположение духа, говоря, что я некоторым образом ввел его в ответственность перед графом, потому что он всегда говорил ему обо мне хорошо и опровергал

дурные внушения… «Помилуй, да что же я сделал?» — «Я тебе уже сказывал, что не должно заводить первому речи, а только отвечать графу, — возразил чиновник, — просил не входить ни в какие состязания и возражения, — примолвил он, — и если все это так благополучно кончилось, то благодари счастье!.. Меня это просто взбесило. «Послушай, — отвечал я, — я уже сказывал тебе сто раз, что не могу терпеть фамилиярности, не только между начальником и подчиненным, но даже между родителями и детьми; но при всем том никогда не стану вести себя таким образом в гостиной и в столовой, как в приемной или в кабинете, куда я прихожу только по делу. За честь, сделанную мне графом, я не мог ничем отплатить ему, как только моей доверенностью, которая не могла иначе обнаружиться, как непринужденностью в обхождении. Ни за какие земные блага не пойду я туда, где я должен играть жалкую и безмолвную фигуру… быть кариатидом в зале! Я не рожден безгласным! Ведь я не барабанщик же и не писарь, а дворянин и офицер…»

Видя, что приятель хочет прервать речь мою и спорить, я отошел от него будто для того, чтоб взять чашку кофе с подноса, и в полном забвении от досады вышел на балкон. Признаюсь, что, увидев здесь графа А. А. Аракчеева с М. М. Сперанским, сидящих рядом в углу балкона, я испугался после всего того, что мне наговорил приятель, но граф весьма милостиво сказал мне: «Возьми, братец, стул и садись с нами!» Я ожил!..

— «Мне говорили много — кое-чего о тебе, — сказал граф, — расскажи-ка нам о своих странствиях верно и откровенно». — «Я иначе и не умею рассказывать о себе», — отвечал я и начал повествование о моих военных похождениях и странствиях от Лапландии до скал Гибралтара, сокращая рассказ по возможности. Но граф сам заставлял меня распространяться об Испании. Когда я кончил, граф, помолчав несколько, сказал: «Да, братец, я по себе знаю, как судьба располагает человеком и как малейшее обстоятельство может иметь влияние на всю жизнь. Отец мой, бедный дворянин, — продолжал граф Алексей Андреевич, — не прочил меня в военную службу. У нас был родственник в Москве, к которому меня хотели выслать, потому что он обещал записать меня в какую-то канцелярию. Из меня хотели сделать подьячего, то есть доставить мне средства к снискиванию пропитания пером и крючками. Не имея понятия ни о какой службе, я даже не думая прекословить отцу. Между тем приехали в наше соседство, в отпуск, два брата Корсаковы, кадеты Артиллерийского кадетского корпуса (ныне 2-го Кадетского)[526]. Мы с отцом поехали в гости к их родителям. Лишь только я увидел Корсаковых в красных мундирах с черными

лацканами и обшлагами, сердце мое разгорелось. Я не отходил ни на минуту от кадет, наблюдал каждый их шаг, каждое движение, не проронил ни одного слова, когда они рассказывали об ученье, о лагерях, о пальбе из пушек. Возвратясь домой, я был в лихорадке; несколько дней сряду кадеты днем и ночью виделись мне, и наконец я не мог преодолеть себя, бросился отцу в ноги и, рыдая, сказал, что умру с горя, если он не отдаст меня в кадеты. Мне был тогда тринадцатый год от роду, и я знал только русскую грамоту и четыре правила арифметики. Единственными моими учителями были отец мой и дьячок. Отец старался обучить меня хорошему почерку, но я никак не мог достигнуть до этого, и хотя впоследствии я изредка чертил планы, но никогда не мог писать красиво. Это самое приводило отца моего в отчаянье, потому что красивое письмо необходимо человеку, который должен выслуживаться в канцеляриях. Отец выслушал меня, поднял, посадил возле себя и сказал: «Я не прочь; да как попасть в Петербург, как определить тебя? У меня нет ни денег, ни покровителей!» — «Позвольте мне пойти пешком, — возразил я, — я дойду как-нибудь, брошусь в ноги Государыне, и она, верно, сжалится надо мною. Вы мне столько рассказывали о ее благости!..» — «Нет, если уже идти пешком, так идти вместе, да и терпеть вместе!» — сказал мой добрый отец, заплакал и прижал меня к сердцу. Продав все, что можно было продать, и запасшись нужными бумагами, отец мой отправился со мною на долгих в Петербург. Я был в восторге и тогда только призадумался, когда пришлось прощаться с доброю моею матерью. Рыдая, благословила она меня образом, который ношу до сих пор и который никогда не сходил с груди моей, и дала мне одно увещание: молиться и надеяться на Бога. Всю жизнь мою следовал я ее совету!

В Петербурге мы остановились в Ямской, на постоялом дворе, и по нашим деньгам наняли уголок за перегородкой. На другой день отец мой нашел писца, который написал нам просьбу, и после того, отслужив молебен, мы пошли хлопотать по нашему делу. Много нам стоило ходьбы и терпенья, пока от нас приняли просьбу. О решенье не было ни слуху ни духу, а между тем мы каждый день из Ямской ходили на Петербургскую сторону и ожидали на лестнице директора корпуса, Петра Ивановича Мелиссино, чтоб поклониться ему и припомнить о нашей просьбе. При этом ожидании скудный денежный запас моего отца все таял да таял и наконец вовсе растаял, так что нам не осталось ни копейки. Положение было отчаянное! Отец мой слыхал, что тогдашний митрополит Гавриил помогает бедным. Нужда заставила отца моего прибегнуть к прошению помощи. Мы

отправились в Лавру. Множество бедных стояли вокруг крыльца. Отец мой просил доложить высокопреосвященному, что дворянин желает видеть его. Нас впустили. Отец мой рассказал о несчастном своем положении и просил помощи. Высокопреосвященный отправил нас к казначею, и нам выдали рубль серебром. Вышед на улицу, отец мой поднес этот рубль к глазам, сжал его и горько заплакал. Я также плакал, смотря на отца. Одним рублем мы прожили втроем, то есть со служителем нашим, целые девять дней! Не стало и рубля. Мы пошли опять на Петербургскую сторону и опять поместились на директорской лестнице. Вышел Мелиссино; я не дал отцу моему говорить, выступил вперед и в отчаянье сказал: «Ваше превосходительство! примите меня в кадеты! Мы ждать более не можем, потому что нам придется умереть с голоду. Всю жизнь буду благодарен вашему превосходительству и буду молиться за вас Богу! Батюшка мой не вытерпит и умрет здесь, а я за ним!» Слезы градом полились у меня. Мелиссино посмотрел на меня пристально. Я рыдал, а отец мой также утирал слезы в безмолвии. Мелиссино спросил меня о фамилии и когда подана просьба, и потом воротился в комнаты, велев нам подождать. Через несколько минут он вышел и, подавая нам записку, сказал: «Ступай с этим в канцелярию: ты принят в корпус». Я бросился целовать его руки — но он ускользнул, сел в карету и уехал.

Прежде чем идти в канцелярию, мы пошли с отцом в церковь и, не имея на что поставить свечки пред образом, помолились Богу с земными поклонами и вышли из церкви с радостным сердцем. На другой день я был принят в корпус. Исстари говорят, что счастье и несчастье приходят всегда со свитою своею. Отец мой в тот же день встретился с одним родственником, приехавшим из Москвы с туго набитою мошною и давшим ему денег на проезд в деревню. Бог помиловал нас!» Граф при этих словах перекрестился и продолжал: «Этот первый урок бедности и беспомощного состояния сильно подействовал на меня. Я старался заслуживать милость моих начальников, и Мелиссино особенно полюбил меня за мою исправность. Я был произведен в унтер-офицеры, потом в корпусные офицеры и им же рекомендован Наследнику Престола[527] в Гатчино. Там была служба тяжелая, но приятная, потому что усердие всегда было замечено и знание дела, исправность отличены. Наследник Престола жаловал меня, но иногда и журил крепко, всегда почти за неисправность других. Однажды, когда мне крепко досталось за упущение по службе караульного офицера, я побежал с горя в церковь и стал молиться, класть земные поклоны и, чувствуя свою безвинность и думая, что лишился навсегда милости Наследника

Престола, не мог удержать слез и даже зарыдал. В церкви не было никого, кроме пономаря, который тушил свечи. Вдруг послышались за мною шаги и звук шпор. Я вскочил и утер слезы, оглянулся и вижу Наследника Престола! «О чем ты плачешь?» — спросил он меня ласково. «Мне больно лишиться милости Вашего Императорского Высочества…» — «Да ты вовсе не лишился ее! — примолвил Наследник, положив мне руку на плечо. — И никогда не лишишься, когда будешь вести себя и служить так, как до сих пор. Молись Богу и служи верно; а ты знаешь, что за Богом молитва, а за Царем служба не пропадают!..» Я бросился на колени перед Наследником и, в избытке чувств, воскликнул: «У меня только и есть, что Бог да Вы!..» Наследник велел мне встать и идти за собою из церкви. Я шел за ним в молчании; наконец он остановился, быстро посмотрел на меня и сказал: «Ступай домой… Со временем я сделаю из тебя человека!..»

Он сдержал слово, но за то и я был привязан к нему душою, и теперь обожаю память его! Он осыпал меня милостями не по заслугам, а по благости своей…»

Граф замолчал, вздохнул и потупил глаза. Через несколько минут он сказал: «В жизни моей я руководствовался всегда одними правилами. Никогда не рассуждал по службе, когда не спрашивали моего совета, и всегда исполнял приказания с буквальною точностью, посвящая все время и все силы мои службе царской. Знаю, что меня многие не любят, потому что я крут, — да что делать? Таким меня Бог создал! И мною круто поворачивали, а я за это остался благодарен. *Мягкими французскими речами не выкуешь дело!* (собственные слова графа). Никогда я ничего не просил для себя, и милостью Божьею дано мне все! Утешаюсь мыслью, что я был полезен…» При сих словах граф встал, и мы тоже встали. Он подошел ко мне, положил руку на плечо и сказал с улыбкою; «С пылкостью, брат, недалеко залетишь! Терпенье, терпенье, терпенье!» Потом сказал несколько слов М. М. Сперанскому и, призвав из залы своего воспитанника, сказал ему: «Поведи его (указывая на меня) и градского главу в сад и покажи им все в Грузине». Я поклонился и вышел.

Грузинский английский сад бесподобен; он лежит вокруг горы, на которой построена усадьба. Сад вмещает в себе пруды, беседки, павильоны и прелестные рощи. Цветов множество, растительность богатая. С разных пунктов открываются прекрасные виды на Волхов и на окрестности. Мы обошли весь сад. Меня удивило, что в саду нет ни одного сторожа. Но воспитанник графа захлопал в ладоши — и в разных местах показались сторожа[528]. Будки для них устроены в ямах и закрыты кустами. Это что-то необыкновенное! Осмотрев чугунный

портик, под которым стоит лик Андрея Первозванного, мы зашли в церковь, подивились ее великолепию и полюбовались памятником работы знаменитого Мартоса[529]. Ризница богата драгоценною старинною утварью. Отсюда мы прошли в деревню или на село. Улицы выметены; домы прекрасные и выстроены в линию, в домах такая чистота, как в самых лучших <неразборчиво>. В одном крестьянском доме нас попотчевали сотами. Крестьянский хлеб превосходный. Крестьяне показались мне зажиточными. Потом осмотрели мы инвалидный дом и госпиталь. Инвалиды одеты в форму, бывшую при Императоре Павле Петровиче. Везде удивительная чистота, порядок, дисциплина, все на военную ногу. Окрестные поля возделаны превосходно.

Чай пили мы в гостинице, и нашей квартире, и к вечеру отправились в обратный путь, потому что и меня и товарища моего дела призывали в Петербург. Оба мы остались довольны нашею поездкою. До конца своей жизни граф был ко мне милостив и радовался, когда появилась «Северная пчела»[530]. Соизволение на издание ее шло чрез его руки. Когда программа вышла в свет, он, встретив меня однажды на Невском проспекте, возвращаясь пешком домой из Государственного совета, изъявил мне свое удовольствие и сказал, что ждет с нетерпением первого номера. Когда стали появляться в «Северной пчеле» статейки мои о нравах, он читал их и, встречая меня, всегда говорил, шутя: «Коли, брат, руби! Истребляй крапивное семя!» Я собирался ехать к нему в Грузино в 1826 году, но дела воспрепятствовали мне, а между тем с точностью посылал к графу, до самой его кончины, издаваемые мною журналы и все выходившие в свет мои сочинения[531].

# Н. И. Греч[532]
# Воспоминания старика

Смерть Екатерины и вступление на престол Павла изменили порядок и наружность дел, но не характер и мнение Александра <…> Вокруг него собрались благородные люди: В. П. Кочубей, П. В. Чичагов, М. Н. Муравьев[533], граф П. А. Строганов[534], князь А. А. Чарторыжский[535], Н. Н. Новосильцев[536], князь П. П. Долгорукий[537], А. А. Витовтов[538], М. А. Салтыков[539]. С некоторыми из них он занимался изучением предметов философии, истории, политики, литературы. <…>

Свидетельством <…> двуличности и переменчивости Александра служит то, что, окружив себя этою блистательною плеядою, он, конечно без ведома их, сблизился в то же время с человеком неглупым, но хитрым, коварным, жестоким, грубым, подлым и необразованным Аракчеевым. Этот бессовестный, но дальновидный варвар успел подметить слабую сторону Александра, неуважение его к людям вообще и недоверчивость к людям высшего образования, и вкрался к нему в милость, но, вероятно, сам просил его *не* выказывать своего к нему благоволения слишком явно: он всю жизнь свою боялся дневного света.

Существование тесной связи Александра с Аракчеевым, в бытность его Наследником Престола, известно мне по одному неважному обстоятельству: Аракчеев, получив какую-то должность, помнится, с.-петербургского коменданта, и чувствуя свою неграмотность, вытребовал себе в писцы лучшего студента Московского университета, обещая сделать его счастие. К нему прислан был Петр Николаевич Шарапов (бывший потом учителем в Коммерческом училище), человек неглупый, кроткий, трудолюбивый и сведущий. Аракчеев обременял его работою, обижал, обходился с ним как с крепостным человеком. Исключенный из службы по капризу Павла, [Аракчеев] почувствовал сожаление к честному труженику и поручил его покровительству Александра, сказав: «Наследник мне друг, и тебя не оставит». Действительно, Шарапов получил хорошее место; впоследствии сгубила его чарочка.

Аракчеев, заметив в бумагах какого-либо высшего чиновника толк и хороший слог, осведомлялся, кто его секретарь, переводил его к себе, обещал многое, сначала холил и ласкал, а потом начинал оказывать ему холодность и презрение. Так приблизил он к себе почтенного и достойного Василия Романовича Марченка

и впоследствии сделал его своим злейшим врагом. Потом вытащил он из провинции простого, неученого, но умного и дельного Сырнева. По окончании ревизии Сибири выпросил у Сперанского Батенькова, посадил его в Совет военных поселений и потом до того насолил ему, что Батеньков пошел в заговор Рылеева[540]. Между тем Аракчеев хорошо умел отличать подлецов и льстецов.

Таким образом втерся к нему бывший потом генерал-провиантмейстером в Варшаве Василий Васильевич Погодин[541], человек необразованный, но неглупый, сметливый, честолюбивый. Он начал свою кариеру в Министерстве юстиции, женился на отставной любовнице графа Шереметева, сделал себе тем состояние и пошел в люди. Что лучше, думал он, как служить у Аракчеева? Втерся к нему, работал неутомимо, кормил и поил Батенькова, чтоб пользоваться его умом, льстил графу, соглашался на все гнуснейшие его меры и, по-видимому, обратил на себя милостивое его внимание. Однажды, когда он докладывал, графа вызвали в другую комнату. Погодин воспользовался этою минутою и заглянул в лежавшие на столе формулярные списки, в которых Аракчеев вписывал свои аттестации для поднесения Государю. Против своего имени прочитал он: «Глуп, подл и ленив». И Погодин рассказывал это всем, жалуясь на несправедливость и неблагодарность.

Полагаю, что Александр видел в светских друзьях своих будущих своих помощников пред глазами света, а в Аракчееве готовил цепную собаку, чем он и был во всю свою жизнь. Аракчеев выбрал себе девизом: *Без лести предан.* Из этого общий голос сделал: *Бес лести предан.* <…>

При дворе составились две партии. С одной стороны, граф Аракчеев, окруженный подлыми рабами, в сравнении с которыми сам он был героем добродетели. С другой — князь А. Н. Голицын, к которому примыкали Гурьев и другие подобные. Аракчеев не участвовал в духовных помыслах и подвигах Александра, смотря на них издали со скотским благоговением злого пса, еще неуверенного в своих силах, чтоб напасть на врагов своих. Голицын же сделался поверенным души Императора, двигателем и орудием его чувств и мыслей. <…>

Вошел в моду Лабзин, Попов[542], Магницкий, Рунич, Кавелин[543] и тому подобные ханжи, лицемеры и плуты завладели Голицыным и его министерством. Главную роль играл при том Магницкий. Ему отдан был на съедение Казанский университет. Приехав туда и взглянув на профессоров, он тотчас отличил подлецов от порядочных людей: первых приближал к себе, возвышал, представлял к наградам; других преследовал,

обижал и выгонял. И в этом поступал он как кровожадные члены Комитета Общественного блага (du salut public) во Франции[544]. Является к нему профессор, толкует с ним, сообщает свои мнения, может быть, приносит жалобы. Магницкий слушает его внимательно, благосклонно. По окончании речи говорит: «Я имел до вас просьбу и надеюсь, что вы ее исполните». Профессор кланяется. «Вот лист гербовой бумага, потрудитесь написать прошение об увольнении вас от службы и будьте уверены, что оно вскоре будет исполнено». Студентов заставлял он ходить в церковь как можно чаще; инспектору и профессорам предписано было присматривать, кто из них молится с большим усердием; по гримасам их повышал и награждал. Ханжество, лицемерие, а с тем вместе разврат и нечестие дошли там до высшей степени. Особенно отличался подлостями всякого рода профессор Пальмин[545], поступивший туда из плохих учителей с.-петербургской гимназии. Когда иезуитский устав Казанского университета был введен в Петербургский, казанский ректор Никольский[546] поздравил петербургскую обитель благочестия и просвещения отношением, составленным трудами благочестивого Пальмина. <…> Эта бумага сделалась известною и возбудила общий смех. Магницкий видел, что его дураки пошли слишком далеко, и обратил свой гнев на Пальмина. Это же обстоятельство подало Магницкому средство или, лучше сказать, предлог расторгнуть связь свою с Голицыным и передаться Аракчееву.

<…> Он поехал на поклонение в Грузино. Там он всячески льстил и пресмыкался, но вряд ли умел надуть Змея-Горыныча. Аракчеев, употребив его в свою пользу, бросил бы как выжатый лимон. Магницкий, уезжая, поднес Аракчееву описание вещего сна, будто бы виденного им, когда он ночевал в Грузине: в этом сне видел он дивные вещи в будущем и предсказывал успехи и всякое счастие поборнику православия[547]. Воротясь в Петербург, занялся он какими-то планами о преобразовании просвещения и духовной части в России. <…>

Голицын, Попов и вся эта шутовская компания восхищались плодами трудов своих. Но — on n'est jamais trahi que par les siens, что значит по-русски: «не выкормя, не выпоя, ворога не узнаешь». Аракчеев издавна со всею злобою зависти смотрел на успехи и распространение силы Голицына. Под влиянием его внушений составилась партия антиголицынская, ничем не лучше в нравственном отношении: ее составляли петербургский митрополит Серафим[548], отданный преосвященным митрополитом московским Платоном[549] из семинаристов в монахи, чтоб спасти его от позорного наказания за какое-то мерзкое преступление; петербургский обер-полицмейстер пьяный

Иван Васильевич Гладков; сестра его, игуменья казанского женского монастыря Назарета[550]; Прасковья Михайловна Нилова, урожденная Бакунина[551], и еще некоторые особы, собиравшиеся у вдовы Державина. Чрез кого действовать на [Голицына], не знали. Думали, думали и наконец догадались пощупать Магницкого, не согласится ли святой человек сыграть роль Иуды, изменить своему благодетелю. Между тем В. М. Попов не согласился на предложение Магницкого об исключении из службы казанского профессора Пальмина (величайшего скота), которого он сам недели за две представил к ордену за христианскую его душу, и положение Комитета министров было уже утверждено Государем. К тому Магницкий получил все, чего мог ожидать: аренду, земли, пенсион, единовременное награждение: с чего было ему оставаться у Голицына? Он склонился на предложения благородного Аракчеева и поехал на поклонение в его Мекку (Грузино). Там Иуда Искариотский раскрыл пред Вельзевулом все подробности, все таинства библейского союза, всю нелепость, все ухищрения их: он мог сделать это легко и скоро, ибо сам был в этих проделках главным действующим лицом. Новые друзья условились, как погубить Голицына, и действительно в том успели. <…> Государя убедили, что Голицын и его приверженцы составили заговор против православной церкви, распространяли учение протестантизма и намерены водворить в России безбожие и нечестие. Выкрали для того подлым образом корректуру одной книги[552], печатавшейся с одобрения цензур князя Голицына, выписали из нее несколько мест и дали им кривой толк. Слабый Александр испугался, отнял у Голицына Министерство просвещения и духовных дел, оставив его только главноначальствующим над Почтовым департаментом, сменил Александра Ивановича Тургенева, бывшего директором Департамента просвещения Попова с преданием последнего уголовному суду. Министром на место Голицына поступил выживший в то время из ума бестолковый Шишков за сочинение нелепого разбора означенной заподозренной книги[553]. Не знаем, что сталось бы с лицами, прикосновенными к этому делу, если б не умер Александр. <…>

К этому же времени принадлежит любопытный эпизод из жизни Аракчеева. Александр осматривал летом 1825 года Новгородские военные поселения[554] и был восхищен этим уродливым произведением его прихоти, которой исполнение мог принять на себя только один Аракчеев и воспитанник его Клейнмихель. Оставляя поселения, Александр сказал графу: «Любезный Алексей Андреевич! требуй чего хочешь! я ни в чем не

откажу тебе». Аракчеев стал на колени и с сатанинским лицемерием сказал: «Прошу одного, Государь, позвольте мне поцеловать вашу ручку». Дружеское обнятие было ответом. Оттуда Государь приехал в лагерь под Красным Селом, где встретил его весь штаб гвардейского корпуса. Подошли дежурный генерал-адъютант и флигель-адъютант. Последним был Шумский, воспитанник, то есть побочный сын Аракчеева, прижитый им с подлою бабою Настасьею Федоровною. Шумский был совершенно пьян; он подошел к Государю, споткнулся, упал, и его вырвало. Александр, брезговавший всем, что походило на пьянство и его последствия, был выведен из себя этим последним явлением, обратился к Аракчееву и сказал: «Ваша рекомендация, граф, покорнейше благодарю!» — и пошел далее. Шумского подняли; он исчез и не появлялся более. Говорят, его увезли в Грузино и там спрятали. Негодование Государя не имело следствий, ибо Аракчеев слишком глубоко гнездился в его сердце. Провидение приняло на себя поразить злодея.

Наложница его, как слышно было, беглая матросская жена, была женщина необразованная, грубая, злая, подлая, к тому безобразная, небольшого роста, с хамским лицом и грузным телом. Владычество ее над графом было так сильно, что в народе носился слух, будто она его околдовала каким-то питьем и, когда Александр бывал в Грузине, варила волшебный суп и для его стола, чтоб внушить ему благоволение и дружбу к графу. Она обходилась со слугами и людьми графа очень дурно — наговаривала на них, подвергала жестоким наказаниям без всякой вины и особенно тиранила женщин и девок. Они вышли из терпения. В отсутствие графа, осматривавшего поселения, вошли ночью (в сентябре 1825) в ее спальню, убили ее, отсекли ей голову и потом сами объявили о том земскому начальнику. Аракчеев, узнав о том, оцепенел было, а потом впал в бешенство, похоронил ее с почестью, подле могилы, которую заготовил себе в церкви села Грузино, и сам сочинил ей надгробную надпись. Он известил Государя о постигшем его несчастии и в ответ получил письмо, в котором Александр выражал ему свое соболезнование, уговаривал его и поручал уроду Фотию принять на себя утешение царского друга в постигшем его несчастии. Едва веришь глазам, читая эти письма. Первым движением Аракчеева было отомстить несчастным, увлеченным в преступление невыносимым тиранством. Опасаясь, чтобы при ревизии этого дела в Сенате не открылось некоторых тайн его домашней жизни, он приказал новгородскому гражданскому губернатору Жеребцову повесть дело так, чтоб оно решено было уголовною палатою без переноса в Сенат. Преступников было более девяти (двадцать шесть), и

поэтому непременно следовало представить процесс Сенату. Что же сделал подлец губернатор? Разделил подсудимых на три категории, каждую не более девяти человек, составил из одного дела три и ускользнул от ревизии Сената.

Между тем воцарился Николай. Вышел милостивый манифест, по которому смягчались казни, еще не исполненные[555]. Полученного в Новгородском губернском правлении манифеста не объявляли и приговор, жестокий, варварский, исполнили. Николай Павлович ужаснулся, но дело было так искусно облечено во все законные формы, что не к чему было придраться. К тому и не хотели срамить памяти Государя, лишь только умершего, но чрез полгода воспользовались беспорядками в Новгородской губернии, при проходе гвардии в Москву на коронацию, и выгнали Жеребцова. Аракчеев барахтался еще несколько времени, как утопающий, но его солнце закатилось навеки. Между тем он оставил России наследство, которое она долго будет помнить, умолив Александра дать звание генерал-адъютанта другу и помощнику его Клейнмихелю. Достоин замечания отчет Аракчеева, напечатанный им в «Инвалиде» в январе 1826 года, в оправдание управления военными поселениями[556]. Превосходнейшее произведение плутовства и наглости! <…>

Николай Иванович Тургенев, будучи статс-секретарем Государственного совета, пользуясь разными окладами и т. п., толковал громогласно об всех министрах и особенно истощал все свое красноречие на обличение Аракчеева. В начале 1824 года изъявил он желание ехать за границу: ему дали чин действительного статского советника, орден Владимира 3-й степени и, кажется, тысячу червонцев на проезд. Тургенев обедывал обыкновенно в Английском клубе и после обеда возвращался домой пешком[557], но, вскоре уставая от хромоты, отдыхал на скамье аллеи Невского проспекта. Вечером в апреле (1824) мы шли с Булгариным по проспекту, увидели отдыхающего Тургенева и присели к нему. Булгарин стал рассказывать, как я накануне в большой компании уличал гравера Уткина[558] в лености и говорил: «Ты выгравировал картофельный нос Аракчеева, получил за то пенсию и перестал работать». Булгарин думал, что рассмешит Тургенева, вышло иное; он сказал с некоторою досадою: «С чего взяли, будто у Аракчеева картофельный нос: у него умное русское лицо!» Нас так и обдало кипятком. «Вот наши либералы! — сказали мы в один голос. — Дай им на водку, все простят!»[559] <…>

По возвращении Сперанского в Петербург и по представлении им донесений и отчетов своих в Государственный совет, все

знающие люди изумились скорой и тщательной их обработке. Граф Аракчеев, искавший <…> людей способных, спрашивал у Сперанского, кто помогал ему, Сперанский назвал Батенькова и, по просьбе Аракчеева, предложил ему вступить в службу по военным поселениям. Батеньков принял предложение с тем, чтоб ему не давали ни чинов, ни крестов, а только положили хорошее содержание. Его назначили членом Совета военных поселений с десятью тысячами рублей (ассигнациями) жалованья. Он работал усердно и неутомимо, Аракчеев был им доволен, называл его *мой математик, но* мало-помалу охладел к нему, стал им пренебрегать, обременял работою, не давая никакого поощрения. Батеньков жил в Петербурге у Сперанского (в доме Армянской церкви), занимался науками, например, изъяснением египетских иероглифов[560] и исследованием разных отраслей государственного управления. Однажды прочитал он мне прекрасный проект устройства гражданской и уголовной части, в котором было много ума, начитанности, наблюдательности и ни малейшей собственно политической идеи, которая заставила бы подозревать его в либерализме. Все знали, что он приближен к Аракчееву и пользуется его доверенностью, и потому многие боялись и остерегались его. Видя в нем человека умного, интересного и прямодушного, я обращался с ним просто и находил большое удовольствие в его беседе. <…>

26 ноября 1825 года обедал я с ним у И. В. Прокофьева[561] и до обеда беседовал. Он сообщил мне, что ему надоело служить у гадины Аракчеева, что он выходит в отставку и хочет посвятить себя наукам, заняв где-нибудь место профессора математики. Все это было сказано просто, равнодушно, без злобы или огорчения, С тех пор до декабрьских дней мы с ним не видались. Я простудился на похоронах графа Милорадовича[562] и слег в постель. Ко мне пришел, не помню, кто-то из канцелярии Батенькова[563]. Это меня изумило до крайности. «Таким образом, — сказал я, — доберутся до графа Аракчеева». Оказалось потом, что Батеньков завербован был в эту пагубную компанию Рылеевым и увлекся своим воображением, нелепою мечтою преобразований в государственном составе. <…>

*Граф Алексей Андреевич Аракчеев* (род. 1769 г., ум. 1834 г.) происходил от старинной, но бедной фамилии Новгородской губернии. Один из предков его был генералом в армии Миниха, действовавшей в Крыму. Алексей Аракчеев молодым мальчиком пришел пешком в Петербург с рекомендательным письмом к митрополиту Гавриилу. Преосвященный, приняв его ласково, подарил ему рублевик и определил в тогдашний Артиллерийский и Инженерный (что ныне 2-й кадетский) корпус. Образование

тогда было скудное: лучше всего преподавалась математика, и Аракчеев оказал в ней большие успехи, но уж в детстве оказывал коварство, низость и подлость, доносил на товарищей и кланялся начальникам. За то ненавидели его товарищи, и самый сильный из них, великан Костенецкий[564], больно колотил его. Видно, в благодарность за его уроки Аракчеев потом перевел его в гвардию. Непосредственным начальником его был корпусной офицер Андрей Андреевич Клейнмихель, женившийся на красавице Анне Францевне Ришар, которую очень жаловал генерал Мелиссино, директор корпуса. По выпуске в офицеры А[ракчеев] оставлен был в корпусе для преподавания кадетам артиллерии, дослужился в 1790 году до капитанского чина и был взят генералом Мелиссино в адъютанты. В то же время преподавал он математические науки и в частных домах, между прочим, сыновьям графа Н. И. Салтыкова. В 1792 году Великий князь Павел Петрович просил Мелиссино найти ему хорошего офицера для командования батареек» при его Гатчинских баталионах, и Мелиссино рекомендовал Аракчеева. Капитан вскоре заслужил внимание Великого князя деятельностью по службе, точностью и строгим исполнением всех приказаний, как бы они нелепы и бестолковы ни были; особенно нравилось строгое наблюдение им воинской дисциплины. По вступлении Павла на престол Аракчеев произведен был в полковники и в генерал-майоры, получил орден Св. Анны 1-й степени, титул барона и две тысячи душ (село Грузино) в Новгородской губернии. Замечательно, что он служил в то время не по артиллерии, а командовал Преображенским полком и был санкт-петербургским комендантом. В командовании полком обязанность его была истребить в офицерах и нижних чинах дух свободы и уважение к самим себе; он оскорблял офицеров, а у солдат срывал усы с частью губы. Не знаю, излишество или недостаток усердия не понравились Павлу, только Аракчеев в 1798 году[565] был отставлен от службы, но с чином генерал-лейтенанта. В том же году он опять вошел в милость, был назначен командиром гвардейского артиллерийского баталиона и инспектором всей артиллерии, возведен в графское достоинство, получил александровскую ленту и мальтийский командорский крест. В 1799 году за какие-то беспорядки в артиллерийских гарнизонах и арсеналах был вновь отставлен. Говорят, что Павел недели за две до кончины своей пригласил его приехать в Петербург и вновь вступить в службу. Пален[566], узнав о том, ускорил исполнение своего замысла и притом запретил пускать в город кого бы то ни было. Аракчеев прибыл уже по совершении катастрофы, явился к Александру Павловичу и в слезах повалился

к ногам его. Потом очень умно и хитро, будто бы с откровенностью и самоотвержением, дал знать Александру, что если б он (Аракчеев) был в то время в Петербурге, Павел сидел бы на престоле. Все это было исполнено с успехом.

Замечательно, что в первые годы царствования Александра Аракчеев стоял в тени, давая другим любимцам *износиться,* чтоб потом захватить Государя вполне. Он особенно стал усиливаться с 1807 года, когда угасли в Александре порывы молодых мечтаний, когда он совершенно разочаровался в людях. В то время Аракчеев принес России существенную пользу преобразованием нашей артиллерии и исполнением многих важных поручений Государя. Например, а финляндской войне, когда наши генералы не решались пройти по льду на Аландский остров и на шведский берег, ездил к ним Аракчеев и убедил их исполнить волю Государеву.

В Аракчееве была действительно ложка меду и бочка дегтю.

Он придрался к главнокомандующему графу Буксгевдену за недочет нескольких пудов пороха и написал ему грубое отношение. На это Буксгевден отвечал сильным письмом, в котором представил разницу между главнокомандующим армией, которому Государь поручает судьбу государства, и ничтожным царедворцем, хотя бы он и назывался военным министром[567]. Этот ответ стоил дорого Буксгевдену, но разошелся в публике, к радости большинства ее. Аракчеев не знал или не думал, чтоб это письмо было известно. Однажды у себя за столом, говоря со мной о каком-то историке, неучтиво отзывавшемся о Румянцеве, он сказал: «Да знаете ли вы, что такое главнокомандующий?» — и повторил слова врага своего. Я не знал, куда деваться, и боялся смотреть на бывших при том. Еще достойно внимания, что Аракчеев и Балашов видели необходимость удалить Александра из армии в начале 1812 года и достигли цели, заставив Шишкова написать о том Государю[568]. Что хорошо, то хорошо.

Аракчеев не был взяточником, но был подлец и пользовался всяким случаем для охранения своего кармана. Он жил в доме 2-й артиллерийской бригады, которой он был шефом, на углу Литейного и Кирочной (деревянный дом этот существует доныне). Государь сказал ему однажды: «Возьми этот дом себе». — «Благодарю, Государь, — отвечал он, — на что мне он? Пусть остается вашим; на мой век станет». Бескорыстно, не правда ли? Но истинною причиною этого бескорыстия было то, что дом чинили, перекрашивали, топили, освещали на счет бригады, а если б была на нем доска с надписью: «Дом графа Аракчеева», — эти расходы пали бы на хозяина.

По окончании войны Александр возымел странную и

несчастную мысль: завести военные поселения, для пехоты на севере, для конницы на юге России. Он полагал получать из этих округов и рекрут, с детства уже готовившихся в военную службу, и продовольствие и обмундирование и вооружение из устроенных в поселениях фабрик и заводов, а остальную часть России освободить от рекрутства и податей на Военное министерство. Здесь не место излагать невозможность и неисполнимость миллионов людей производить то, что отбывали дотоле с трудом и истощением пятьдесят миллионов. Скажу только об исполнении. Оно возложено было на Аракчеева, и он взялся осуществить бестолковую мечту, грезу. Несколько тысяч крестьян превращены были в военные поселяне. Старики названы инвалидами, дети кантонистами, взрослые рядовыми. Вся жизнь их, все занятия, все обычаи поставлены были на военную ногу. Женили их по жеребью, как кому выпадет, учили ружью, одевали, кормили, клали спать по форме. Вместо привольных, хотя и невзрачных, крестьянских изб возникли красивенькие домики, вовсе неудобные, холодные, в которых жильцы должны были ходить, сидеть, лежать по установленной форме. Например: «На окошке № 4 полагается занавесь, задергиваемая на то время, когда дети женского пола будут одеваться». Эти учреждения возбудили общий ропот, общие проклятия. Но железная рука Аракчеева. Клейнмихеля сдерживала осчастливленных, по мнению Александра, крестьян в страхе и повиновении. В южных колониях казацкая кровь не вытерпела. Вспыхнуло восстание: оно было потушено кровью и жизнью людей, выведенных из пределов человеческого терпения, генерал-майором Саловым[569], поступавшим при том с величайшим бесчеловечием. Аракчеев бессовестно обманывал Императора, потворствуя его прихоти, уверял его в благоденствии и довольстве солдат, а вспышку приписывал влиянию людей злонамеренных и иностранных эмиссаров. До какой степени простиралось в этом его бесстыдство, он доказал отчетом, поданным им Николаю Павловичу по вступлении его на престол и обнародованным в газетах.

Мы описали в тексте историю посрамления Аракчеева Шумским, смерть Настасьи и последовавшие затем события. Сообщим здесь некоторые подробности. Аракчеев взял к себе Настасью осенью 1796 года, но вскоре потом вступил в законный брак с девицею Хомутовою, благовоспитанною и нежною. Чрез несколько недель брак <неразборчиво> жена увидела, к какому гнусному уроду ее приковали, он не понимал благородства и нежности чувств, не любил, не уважал ее, и они вскоре разошлись. Настасья осталась его хозяйкою и тайною советницею.

Между тем имел он и фаворитку из высшего класса, жену бывшего обер-секретаря Синода Варвару Петровну Пукалову, миловидную, умную и образованную женщину, которая, пользуясь своею властью над дикобразом, была посредницею между им и просителями. В одной из тогдашних сатир, в исчислении блаженств, сказано было: «Блажен… через Пукалову кто протекции не искал»[570]. Тиран Сибири Пестель[571] жил в одном доме с Пукаловою и чрез нее действовал на друга ее сердца.

В начале связи Аракчеева с Настасьею родился у ней сын Михаил. В детстве был он хорошенький и умный мальчик. Аракчеев воображал, что из него выйдет великий человек, и старался дать ему хорошее воспитание. Он отдал его (1809 г.) в Петровскую школу, и именно пенсионером ко мне[572]. По этому случаю познакомился я с Аракчеевым и бывал у него. Медленное, методическое преподавание наук в немецкой школе не понравилось нежному родителю; не принимая в уважение того, что Мишка его плохо знал первые правила арифметики, он требовал, чтобы его учили геометрии, и когда это оказалось невозможным, он взял его из училища, отдал в какой-то пансион, а потом поместил в Пажеский корпус. Отдавая в школу, он назвал его: Михайло Иванов Лукин[573], купеческий сын; потом дал ему фамилию Шумский. Мальчик этот был выпушен в гвардию и поступил в флигель-адъютанты, которых число тогда было очень ограничено. Между тем он сделался совершенным негодяем и горьким пьяницею. После катастрофы, сгубившей почтенных родителей, достойный их сын переведен был в армию и там спился совершенно. Потом пошел он в монахи и умер в Соловецком монастыре.

Аракчеев похоронил Настасью подле того места, где приготовил могилу для себя, и вырезал на гробе ее следующую надпись, сочиненную им самим:

«Здесь погребен двадцатисемилетний друг Анастасия. Убиенная села Грузина дворовыми людьми. Убиена за нелицемерную и христианскую ее к графу любовь.»

По смерти Настасьи Аракчеев рассмотрел ее переписку с разными особами и нашел верные свидетельства ее плутней и взяточничества. Он отправил найденные в наличности подарки к тем особам, от которых они были получены, и, как я слышал, велел перенести труп Настасьи на обыкновенное кладбище[574].

По увольнении от службы Аракчеев вздумал отправиться в чужие края, где незадолго до того был принимаем с уважением, как доверенный человек Александра. Времена переменились: его принимали менее нежели равнодушно. Желая напомнить о своем

прежнем величии, он напечатал в Берлине перевод (французский) писем к нему Императора Александра. Этот поступок усилил справедливое к нему негодование Императора Николая и окончательно прекратил его поприще. Когда он въезжал во Францию, таможня отобрала у него серебряные вещи, предлагая возвратить ему при обратном выезде его из Франции или изломать их и отдать ему. Он избрал последнее, но когда таможенный служитель стал разбивать серебряный чайник, пришел в бешенство, бросился на него и схватил за ворот. Сопровождавшие его с трудом уладили дело.

Не находя отрады и развлечения за границею, воротился он в Россию и прожил до конца своей жизни в Грузине. Он все еще считался на службе, но не подавал никакого знака жизни. Все его оставили. Тварь его, Клейнмихель, сделался первым его врагом и не называл его иначе, как злодеем. Когда в 1831 году вспыхнул бунт в поселенных войсках, он испугался и приехал из Грузина в Новгород. Не знаю, какая скотина был тогда новгородским губернатором (помнится, осел Демпфер). Он приказал объявить графу, что он присутствием своим в Новегороде мутит народ, и велел ему ехать обратно в Грузине. В это время приехал в Новгород по повелению Государя граф А. Ф. Орлов. Узнав о поступке губернатора, он призвал его к себе, спросил, по какому праву он выгоняет председателя Государственного совета, когда не смеет без причины выслать из города и отставного солдата, надел александровскую ленту и поехал к падшему вельможе. Аракчеев был приведен в восхищение этим вниманием. «Ваше посещение, граф, — сказал он Орлову, — было для тем приятнее, что я никогда не видал вас у себя в передней…

Нынешние происшествия огорчительны. Жалею только, что нет здесь Петра Андреевича (Клейнмихеля): он мог бы насладиться зрелищем плодов своих усердных трудов!» Так негодяи сваливали друг на друга вину в этих подвигах!

Аракчеев в уединении своем принимал посещение соседних помещиц и каждую уверял, что сделает ее своею наследницею. И в этом отчуждении, в этом унижении против прежней высоты ему умереть не хотелось. Последние слова его были: «Проклятая смерть». Он умер 13 апреля 1834 года, и известие о том пришло в Петербург накануне присяги наследника Александра Николаевича по наступлении его совершеннолетия[575]. Для распоряжения о погребении его и прочем послан был в Грузино Клейнмихель.

Я был в придворной церкви у обедни и при присяге цесаревича. Любопытно было видеть и слышать чистосердечные отзывы об Аракчееве людей, знавших его коротко. Всех

откровеннее и умнее говорил бывший при нем долго Василий Романович Марченко, ненавидевший и презиравший его всеми силами своей души. Некоторые из бывших его клевретов обрадовались его смерти: она их уверила, что он не воротится. Борис Яковлевич Княжнин, бывший командир полка графа Аракчеева, узнав в церкви о кончине его, сказал, перекрестясь: «Царство ему небесное! себя успокоил и всех успокоил».

Произнося такой строгий суд над Аракчеевым, мы виним не столько его, сколько Александра, который, наскучив угодливостью и царедворством людей образованных и умных, бросился в объятия этого нравственного урода. Аракчеев был тем, чем создала его природа. Должно отдать ему справедливость: он, как сказано выше, преобразовал (в 1809 г.) нашу артиллерию и прилежно работал в должности военного министра до назначения в это звание благородного и добродетельного Барклая. Еще спасибо ему за то, что он обратил внимание Александра на Канкрина. но он сделал это не потому, что постигал достоинства этого необыкновенного человека, а только в пику врагу своему, Гурьеву. Не случись под рукою Канкрина, он рекомендовал бы Андрея Ивановича Абакумова[576], Ничто так не характеризует подлости духа графа Аракчеева, как отметка в положении, которым прибавлялось жалованье артиллерийским офицерам: «Ротным командирам прибавки не полагается, потому что они пользуются доходами от рот». Конфирмуя это положение, Государь не видал, что этим официально признают и допускают воровство. <…>

# И. И. Свиязев [577]
# Воспоминания

В начале 1825 года был вызываем через газеты архитектор на службу в Новгородских военных поселениях, с жалованьем по 4000 в год, с квартирою и другими угодьями. Хотя жалованье 2000 рублей, которое я тогда получал в горной службе, при всей дешевизне в Перми жизненных потребностей и равном значении тогдашнего ассигнационного рубля с нынешним серебряным, не казалось скудным по сравнению с окладами других, за всем тем без посторонних работ я крайне затруднялся в своем содержании, несмотря на скромный образ своей жизни. И потому я воспользовался сказанным вызовом и просил графа Аракчеева *частным* письмом «удостоить меня чести служить под лестным его начальством». Вскоре получено было предписание от министра финансов Канкрина горному правлению о немедленной меня отправке в военные поселения; тотчас сделано было распоряжение о выдаче мне прогонов, по чину моему, на две лошади. Я просил на три, так как по моему званию у меня должен быть необходимый для службы запас книг и инструментов. Пока маститые члены правления совещались о противозаконном моем требовании, из Петербурга прибыли два горные ревизора и посоветовали, удовлетворив мое требование, отправить меня поскорее. По подорожной на тройку с магическим именем Аракчеева я покатился как по маслу, без обыкновенных отговорок на станциях, что лошади в разгоне. В предписании не сказано было, куда я должен явиться, и я направился прямо в летнюю резиденцию графа — Грузино.

Здесь мне отвели одну из крестьянских *связей,* со входом с улицы — в виде балкона, в сени или коридор во всю ширину дома и с выходом во двор. Из сеней направо дверь вела в комнату безукоризненной чистоты, со стенами, обшитыми в рустик[578] и окрашенными розовой краскою. Налево от дверей нечто подобное русской печи, с чугунными дверцами в Щите. Я сказал хозяйке, что боюсь запылить ее чистейшую комнату своими дорожными вещами. Мне показали другую половину, состоящую из чистой, но нероскошной избы с русскою печью, свежо отбеленною. Сами хозяева жили летом в каменной избе, построенной во дворе и, признаюсь, не слишком-то опрятной, а дом стоял пустой — для показу гостям. Я отдал хозяйке свою подорожную. Вскоре после того влетел ко мне адъютант Шумский (считавшийся тогда сыном графа) и спросил меня, по какому случаю я приехал в Грузино —

граф не помнит. Я объяснил. «Ожидайте, когда вас граф потребует», — сказал Шумский при уходе.

На другой лень, в воскресенье перед обедней, я осмотрел ближайшую к квартире моей часть Грузина. Особенно врезался в мою память портик ионического ордера, открытый со сторон, весь чугунный. Посередине храмика — статуя Андрея Первозванного с словами в надписи на фризе, будто бы им здесь произнесенными: «Да будет благословенна страна сия отныне и до века».

Зазвонили к обедне; я пошел в церковь весьма хорошей архитектуры, с колокольней, у которой весь верхний этаж чугунный. Прямо против входа в церковь дворец графа, с неизбежною надписью во фризе: «Без лести предан». Все готово было к службе, входная дверь отворена. Вот граф вышел из дворца, дьякон вошел на амвон и провозгласил: «Благослови владыко», лишь только граф вступил в церковь. Проходя мимо меня, он взглянул на новое лицо, встал у левого пилона, сделал земной поклон, оглянулся на меня; опять поклон и опять оглянулся; наконец после третьего поклона подошел ко мне и спросил: «А ты Свиязев?» На утвердительный мой ответ сказал: «Молись, молись!» Я не знал, что и подумать; мне невольно припомнились причуды Суворова!..

После обедни я остался в церкви для осмотра. Подойдя к левой боковой стене, я увидал вверху ее бронзовый медальон Императора Павла I; под ним из бронзовых литер, расположенных полукругом, надпись: «И прах мой у ног твоих». Опустив глаза по указанию надписи, я увидел надгробную плиту, на которой начертано: «Здесь погребено тело новгородского дворянина Алексея Андреевича Аракчеева». Вероятно, здесь похоронен отец графа, подумал я, но его имя было Андрей! Что ж это такое? Не решив сам вопрос, я решился спросить у причетника:

— Кто тут похоронен?

— Тут нет никого, а граф для себя приготовил могилку!

На конце плиты к алтарю помещена изваянная Мартосом фигура ангела, держащего в руке неугасимую лампаду.

После обеда, часу в седьмом, вбежала к нам испуганная хозяйка с известием, что граф показывает гостям дома своих крестьян, и начала нам помогать прибирать разбросанные дорожные вещи. Через несколько минут входит к нам граф с двумя какими-то генералами и, обращаясь к ним, сказал:

— А вот рекомендую вам господина архитектора, который приехал из Сибири у меня служить, да — у меня служить! — Потом спросил у меня, почему мы не заняли чистой комнаты. На ответ мой он сказал:

— А я думал, что хозяин не захотел.

Показав гостям чистую комнату, граф вышел с ними на крыльцо и, обратясь к моей жене[579], сказал:

— Вы, сударыня, не были у обедни, а муж ваш так был; не грешно Богу молиться, право, не грешно!

Жена оправдывалась усталостию от дороги и проч.

— А вот отдохните у меня, гуляйте везде, — сказал граф и уехал. Воспользовавшись этим дозволением, мы отправились на прогулку и только подошли было ко дворцу, как выбежал верзила-лакей и сказал, что здесь запрещено гулять. Без всяких объяснений мы пошли в сторону. Излишним считаю описывать роскошь и великолепие сада, строгий во всем порядок и неимоверную чистоту. Многое уже истребилось из памяти, но я живо припоминаю: две башни с пушками по сторонам пристани на берегу Волхова, целый остров роз, изящно отделанный грот, устроенный для ялика, на котором переехал через Волхов Император Александр I, как гласила надпись с означением года, месяца и числа.

Во вторник поутру граф потребовал меня к себе. В приемной, на плетеном диванчике, сидела и вязала чулок знаменитая Настасья Федоровна, вскоре погибшая такою трагическою смертию. Она извинилась передо мною, что, не зная о дозволении графа, сочла нас чужими и выслала лакея. Потом указала мне дверь в кабинет графа. Он сидел за письменным столом. Расспросив меня о моем воспитании и службе, обратил внимание на бумаги, бывшие у меня в руке.

— А это что такое?

— Мои аттестаты, ваше сиятельство.

— Нам их не надо: мы узнаем тебя на самом деле. Теперь отдыхай и приходи сегодня обедать.

В назначенный час мы отправились на ялике через пруд в павильон Мелиссино — благодетеля графа. За столом были Шумской и несколько молодых офицеров. Граф расспрашивал меня об Урале, о краже золота и т. п. С офицерами шутил добродушно. Один из них спорил с ним бесцеремонно. Обращаясь к нему, граф, между прочим, говорил:

— У вас в корпусах нынче все вежливости да нежности, все *вы* да *вас* а в наше время, бывало, отдуют в субботу правого и виноватого и тогда отпустят домой. Зато и учились хорошо и годились на всякий род службы, а вы куда годитесь?

Во все продолжение обеда казачок стоял за графом и отгонял от него мух опахалом…

Я прожил в Грузине десять дней, и хотя не скучал, встречая на прогулках новые предметы и лица, за всем тем я желал скорее освободиться от безделья, тем более, что у меня вышел уже запас

курительного табаку, а продажа его и вина запрещена была в Грузине под смертною казнию. Наконец граф откомандировал меня в полк короля прусского, под начальство генерала А. Х. Эйлера. Зная, вероятно, о благорасположении графа, меня приняли все благосклонно. Мне отвели для квартиры целую деревянную *связь*[580] для двух поселян, только что оконченную, и дали мне денщика. На меня возложено было окончание двух каменных домов, по образцу которых предполагалось построить дома для целой роты австрийского полка. Для поселенных солдат назначался бельэтаж, с каминами и голландскими печами, а для поселян-хозяев — нижний, с русскими печами. Мне говорили, что проект на эти дома был составлен по указанию самого Государя Императора. Вместе с поручением я получил форму донесений и формат бумаги. Такой уж был порядок во всем…

В одно утро приехал осмотреть отделываемый мною дом какой-то генерал — в армейском мундире, высокой, довольно сухой, с скромным и добродушным лицом. Когда он уезжал, я спросил сопровождавших его офицеров об его имени. Мне отвечали: «Шварц[581]!» — «Как, это Шварц, бывший командир Семеновского полка?» Мне подтвердили. Я не верил своим глазам!..

Когда отделка дома приходила уже к концу, вдруг сделалась какая-то тревога: начали убирать, очищать, подметать, укладывать, все приводить в порядок. Спрашиваю — не самого ли царя ожидают? Мне отвечают: граф будет!.. Все ожидают, все навытяжку, хотя на работе и дозволено быть не в полной форме. Наконец граф приехал, внимательно осмотрел весь дом; только заметил мне, что в оштукатуренной печке один из углов крив; я отвечал, что прям.

— А я говорю, крив, — повторил он. Подали отвесную доску — угол оказался верен.

— Виноват, извини, — и затем, сказав несколько лестных слов, уехал. Вскоре после того отдано было в печатных приказах повеление, что я назначаюсь производителем работ по постройке каменных домов для роты императора австрийского полка, на трактовой дороге, между Новгородом и станциею Подберезье, в шести верстах от моей квартиры.

Для постройки на первый раз шести домов мне отрядили батальон солдат, большею частию из Ярославской губернии, в уверенности, что всякий ярославец непременно каменщик. На деле оказалось не то: из батальона выискался один, кой-что разумевший в каменщичьем деле. В такой крайности я должен был отыскать старые записки, веденные мной с первых дней моей практики, так как в мое время в Академии художеств не

преподавалось строительного искусства. Припомнив по запискам подробности, предоставляемые обыкновенно десятникам, я выучил избранного иной кондуктора разбивке строения, приготовлению известкового раствора, подливке кирпича и т. п. Сначала подливали у меня до 80 кирпичей в день, а потом дошли и до 200.

По окончании домов в фузелерной роте меня перевели в Подберезье и отвели крестьянскую квартиру — на трактовой дороге; очень комфортабельное житье для человека, никогда не бывавшего в походах… Но и в такой квартире с деньгами можно б быть довольным, а я несколько уже месяцев не получал никакого жалованья. О производстве его я просил рапортом генерала Эйлера. Это было в то время, когда граф не занимался делами, пораженный смертию Настасьи Федоровны.

В «Русской старине» уже было напечатано подлинное дело об убийстве Настасьи[582]; но я полагаю, что небезынтересно упомянуть здесь о слухах, доходивших до меня в поселениях. Н[астасья] Ф[едоровна] была женщина весьма аккуратная, любившая чистоту и порядок и, вследствие того, чрезвычайно взыскательная. Этими именно качествами она и заслужила благорасположение графа. Народ понимал это иначе, считая ее колдуньею, которая сверхъестественною силою все узнает наперед и предостерегает графа. В одно время горничная ее как-то подсмотрела, что к ней прилетел змей и что-то ей шептал. Н[астасья] Ф[едоровна], с своей стороны, заметила любопытство горничной и хотела ей вытянуть язык, чтобы лишить ее возможности рассказать о виденном. Девушка вырвалась, убежала и поведала обо всем брату, служившему на кухне. Брат, в порыве гнева, стал точить нож. Когда его спросили о причине, он отвечал: «Я зарежу Настасью». Товарищи только засмеялись. Однако ж в следующую ночь сестра провела его в спальню Н[астасьи] Ф[едоровны] — и он исполнил, что сказал!.. Начались аресты и преследования. Говорили, будто в Новгороде не только все тюрьмы, но и обывательские бани были переполнены арестованными; говорили, что граф писал Государю в Таганрог, стоя в гробнице, и отправил письмо с Шумским…

Когда все поуспокоилось, генерал Эйлер препроводил мой рапорт о жалованье к начальнику штаба военных поселений Клейнмихелю. После долгого ожидания я получил повестку явиться в Новгород, где был построен для приезда графа небольшой дворец, нижний этаж которого занимал Клейнмихель. Он потребовал меня в свой кабинет и долго уговаривал меня согласиться на 2000 рублей жалованья, так как другие архитекторы, давно служащие в поселениях, будут обижены, если

мне вдруг дадут 4000 рублей. «Мне не было известно, какое получают жалованье другие архитекторы, я знал только о заявленном в газетах жалованье», — отвечал я. «Ну что нам до газет», — возразил генерал. «Напротив, они служат основанием моей просьбы». Не добившись от меня никакой уступки в тот вечер, Клейнмихель приказал мне явиться завтра. На другой день он повел меня в бельэтаж — к графу. Граф взглянул только на нас, когда мы вошли в кабинет, и продолжал перебирать бумаги на письменном столе. Он оброс бородой, вероятно из опасения бритвы; подойдя ко мне, Аракчеев взял меня под руку и стал ходить со мной по кабинету, начав разговор так: «Александр Христофорович (Эйлер) так доволен тобой, так много говорил о тебе хорошего, а ты не хочешь у нас служить!» Я доложил ему, что особенною честию считаю служить под начальством его сиятельства, но я существую одним только жалованьем и не дозволяю себе никаких незаконных к нему дополнений.

— Все это хорошо, но вдруг мы не можем тебе дать полного жалованья, а ты послужи у нас, и вот тебе сегодня чин, завтра крест и выведем тебя в люди!..

После некоторых моих объяснений граф наконец сказал: «Ну хорошо, мы сделаем вот как: дадим тебе 2400 явно, а 1600 *инкогнито,* и будем знать это ты, да я, да Петр Андреевич!»

Клейнмихель стоял навытяжку, когда мы ходили. В моем затруднительном положении я нашелся только сказать: «Получая таким образом жалованье, я все буду думать, что не заслуживаю получать его обыкновенным порядком».

— Э, братец, — возразил граф, — оставь ты свою *вольтеровщину* и будь истинным христианином. Ну какая тебе надобность в том — как бы ты ни получал жалованье, лишь бы получал, по примеру одного царя, который наложил подати на грязные места. Сын его — вот такой же молокосос (он указал на Шумского, который что-то писал) — сказал ему, что будет грязный налог. Царь промолчал, но, собравши золото, взял его в горсть, поднес к носу сына и спросил — пахнет ли грязью?[583] А тебе, — продолжал граф, — что за стыд получать жалованье, как я сказал. Разве ты мне не веришь? Я старик, мне 58 лет, а у тебя еще молоко матери на губах не высохло. Ну, давай же руку, — и взял.

От графа пошел я к старшему адъютанту Эйлера, Я. П. Красовскому[584]. Это был человек умный, образованный, добрый и ко мне расположенный. Я рассказал ему о всех переговорах и просил совета его — как бы мне выпутаться из неестественного для меня положения на службе по военным поселениям. Он советовал мне твердо стоять на своем и не

доверяться обещаниям по бывшим примерам.

Возвратясь в Подберезье, я написал начальнику штаба письмо, в котором изложил, что только надежда на большее обеспечение своего существования склонила меня оставить горную службу, и потому я не предвижу ничего для себя лучшего, если по каким-либо обстоятельствам должен буду довольствоваться одним только *явным* жалованьем. В конце прибавил я, что хотя обещания его сиятельства графа для меня священны, но будущее одному Богу известно, намекая тем на сомнительность *секретного* жалованья. Но этим словам придали другой какой-то смысл, так как в то время носились уже темные слухи о каком-то тайном обществе.

Быть может, по этому поводу я, как человек подозрительный, был уволен из поселений предписанием такого содержания:

«Граф Аракчеев весьма удивляется (так начинается предписание), что господин молодой мальчик Свиязев не уважил того, что граф призывал его лично к себе и объявил решительную свою волю в рассуждении назначения ему жалованья, на что он был согласен[585], и после того осмелился вторично (?) переменить свои мысли и писать к начальнику штаба возвращаемое при сем к нему письмо, что доказывает его молодость и неосновательность, вследствие чего увольняет его из корпуса военных поселений и прикажет сделать расчет в его жалованье. Граф Аракчеев.

№ 3176. Новгород, 25 ноября 1825 года».

Полагаю, что эту грамотку писал Шумской под диктовку самого графа. Но чем она была безграмотнее, тем худших последствий должен был я ожидать для себя, зная, что граф шутить не любит, что подтверждали и посещавшие меня офицеры. «Если б граф и вы, — говорили они, — были в Петербурге, он сказал бы вам: «Или оставайся в поселениях, или ступай за речку». Известно, что дом графа был на левом берегу Невы, а крепость на правой.

Для развлечения пошел я на почтовую станцию справиться, не проехал ли мой знакомый в Петербург, но вместо того узнаю о кончине Александра Благословенного. С осторожностию сообщил я эту горестную весть жене: она в слезы, а я, признаюсь в эгоизме, подумал: не спасет ли благодушный Государь и смертию своею одного из своих подданных?.. Думал ли граф, читая мои пророческие слова в письме «будущее одному Богу известно», что его скоро оставит Государь и друг и что со смертию его он не может уже выполнить данного мне обещания насчет секретного жалованья, и чинов, и крестов?

В немногие дни царствования Константина Павловича[586]

граф оставался в Новгороде, но когда узнал о вступлении на престол Николая Павловича — выбрил бороду и, забыв свою горесть; тотчас поскакал в Петербург вместе с Клейнмихелем. Ничего не зная, что делается в Петербурге, и я отправился туда 19 декабря на *долгих* — по малому остатку денег. Проехав верст 30, мы остановились ночевать; нам отвели особую комнату. Когда мы пили чай, к нам приходит хозяйка и как-то грустно и трусливо говорит:

— Что это вы вздумали ехать в Петербург?

— А что ж такое?

— Да там не совсем-то ладно, — и начала рассказывать о событиях на площади 14 декабря.

Жена в слезы, услыхав о друзьях наших Бестужевых[587], а я ходил по комнате и смеялся, считая все это вздором.

— Да от кого ж ты узнала об этом, хозяюшка?

— Да от извозчиков, батюшка, которые как-то прорвались чрез Волковскую заставу.

На другое утро на следующей станции мы остановились пить чай. От меня потребовали уже вид. Тут же остановился чиновник, ехавший из Петербурга, и сообщил мне по секрету о некоторых подробностях события. Признаюсь, после того мы продолжали путь не без страха. Каждый завиденный вдали воз с сеном я принимал за толпу бунтовщиков и немедленно вооружался. К удивлению, мы въехали в Петербург без всякого опроса на заставе. На улицах везде царствовала тишина и спокойствие. На Исаакиевской площади я не заметил ни малейшего признака бывших событий, но толков об них было еще много. Между моими знакомыми я находил людей, большею частию не сочувствующих декабристам. Некоторые просто называли их глупцами. Я сказал на это, что я знал немногих из них, но те, которых я знал, были люди весьма образованные и умные.

— А скажите, пожалуйста, — возражали мне, — какой умный бросается в воду, не отыскав броду?..

Но мне было не до того с одним рублем в кармане. Я отправился в штаб военных поселений (где ныне Главное казначейство). Клейнмихель принял меня в кабинете. На вопрос его я отвечал, что пришел просить его превосходительство о расчете в следующем мне жалованье.

— А разве вы не хотите у нас служить?

— Я получил уже предписание от графа об увольнении меня из корпуса военных поселений.

— Но это предписание можно изменить, если вы остаетесь у нас на службе.

— После того, что случилось, я считаю его неизменимым.

— После того с вами нечего и говорить, — сказал надменно Клейнмихель.

Мне показалось это оскорбительным; я обернулся и вышел из кабинета, порядочно хлопнув дверью.

Вскоре предложили мне опять вступить в горную службу с увеличением содержания. Дело по моему определению зависело от И. А. Кованько, старого моего знакомого, бывшего начальника отделения в горном департаменте[588]. Я представляю ему выданный мне из военных поселений аттестат.

— Эзоп Эзопович (так он обращался к лицам, коротко ему знакомым)! Да тебя нельзя принять ни в какую службу!

— Вы шутите, И[ван] А[фанасьевич]: разве в аттестате написано, что я замешан в декабрьских происшествиях?

— Хуже, Эзоп Эзопович, хуже — ты служил у Аракчеева в поселениях, а Канкрин, его создание, ни за что не примет тебя в нашу службу!

— Помилуйте, И[ван] А[фанасьевич], разве я кабальный Аракчеева[589]?

— Вот и угадал! Теперь поди же в сенатскую лавку и спроси таи указ такого-то года…

Указ говорил, что служащий в поселениях может выйти в отставку только по болезни, а если выздоровеет и пожелает вступить в службу, то исключительно в поселениях!.. Теперь я понял, что Аракчеев и Клейнмихель хорошо знали, что я вынужденным найдусь просить у них, как милости, оставить меня на службе в поселениях. Нет, я лучше пойду в десятники к какому-нибудь подрядчику, а не унижусь до этого! Однако ж надобно было на что-нибудь решиться. Ничего не придумав, я решился написать в Новгород Я. П. Красовскому, что «в аттестате, которым меня удостоил почтеннейший генерал (Эйлер), сказано, что я служил в военных поселениях и поэтому меня не принимают ни в какую коронную службу. Бога ради, снимите с меня это позорное пятно!»

По присланному свидетельству, в котором сказано было, что я находился в военных поселениях только для испытания моих способностей и, по собственному желанию, уволен, я был опять принят в горную службу.

В это время приезжал ко мне несколько раз полковник, служивший в штабе военных поселений, посоветоваться со мной насчет места для постройки в Перми отделения для кантонистов. Разговаривая с полковником о своих делах, я проговорился, что намерен подать прошение Государю Императору, если мне не выдадут жалованья из 4000 рублей. Не знаю, передано ли это было кому следует или случилось само собою, но вскоре меня

пригласили в штаб. Войдя в приемную, Клейнмихель прямо обратился ко мне лисой:

— Что это вас не видать?

Я сослался на праздники и на то, что приискивал себе место.

— Все же, однако ж, надо было показаться: ведь не от хлеба ходят, ко хлебу. Позвать ко мне генерала Воронова! — приказал он курьеру. Через минуту генерал Воронов предстал с руками по швам. — Сделайте расчет с господином Свиязевым.

Признаюсь, я немало был удивлен тем, что генерал продиктовал мне, что из 4000 рублей следует мне получить за 4 месяца столько-то рублей!..

Таким образом кончились все мои исключительные сношения с военными поселениями, где я видел страшный сон наяву, от которого проснулся только по милости Божией, но проснулся с потерею осьми месяцев действительной службы…

# И. В. Шервуд [590]
# [Исповедь]

Меня привезли прямо в Грузино 12 июля, где я ночевал на буере, на реке Волхове (должен сознаться, что мне очень неприятно было, что меня привезли к графу Аракчееву, помимо которого я писал к Государю Императору, и боялся, что не увижу Его Величества). На другой день, 13-го числа, я был позван к графу Алексею Андреевичу Аракчееву, он меня встретил на крыльце своего дома, и когда я его приветствовал обычным «Здравия желаю, ваше сиятельство», граф, осмотрев меня с ног до головы, подозвал к себе, взял меня под левую руку и повел чрез залу, прямо в противоположную сторону, в сад, и пошел со мной по средней дороге, приказав мальчику отойти дальше. Я внутренно приготовился к всякого рода вопросам и дал себе слово ничего не говорить, а употребить все силы видеться с Государем Императором.

Граф: Скажи ты мне, братец, кто ты такой?

Я: Унтер-офицер 3-го Украинского уланского полка, ваше сиятельство.

Граф (с нетерпением): Я это, братец, знаю лучше тебя, скажи ты мне, какой ты нации?

Я: Англичанин, ваше сиятельство.

Граф: Есть у тебя отец и мать, и где они находятся?

Я: Есть, ваше сиятельство, живут в Москве.

Граф: Есть у тебя братья и сестры?

Я: Три брата и одна сестра.

Граф; Чем они занимаются?

Я: Механикой, ваше сиятельство.

Граф: Где ты родился?

Я: В Кенте, близ Лондона.

Граф: Каких лет ты приехал в Россию?

Я: Двух лет, ваше сиятельство, вместе с родителями, в 1800 году отец мой был выписан в Россию блаженной памяти покойным Императором Павлом Петровичем как механик и первый основал суконные фабрики в России с машинами.

Граф: Знаешь ли ты языки, кроме русского?

Я: Знаю французский, немецкий и английский.

Граф: О! ты, братец, ученее меня, ну, да ты англичанин, а у нас в русской службе делается так: когда унтер-офицер хочет писать Государю Императору, он должен прийти и передать письмо своему взводному командиру, взводный командир

передал бы эскадронному, эскадронный — полевому, тот — бригадному, бригадный — дивизионному, дивизионный — корпусному, корпусный — мне, а я бы и представил Государю Императору.

Я: Ваше сиятельство, смею ли я вам сделать вопрос?

Граф: Говори, братец.

Я: Если я хотел, чтобы ни взводный командир, ни полковой, ни корпусный, ни даже ваше сиятельство об этом не знали, как бы вы, ваше сиятельство, приказали мне в таком случае поступить?

Граф остановился, долго смотрел на меня, выпустив мне руку, и сказал:

— Ну, братец, в таком случае ты очень умно поступил, но ты, братец, знаешь, что я все-таки твой начальник, ты, верно, знаешь, как я предан Государю, а потому скажи мне, в чем дело и что хочешь Государю сообщить.

Я: Я очень хорошо знаю, ваше сиятельство, что вы мой начальник, уверен в преданности вашей Государю Императору, но смею вас уверить, как честный человек, что это дело не касается ни до вашего сиятельства, ни до военного поселения, решительно ни до чего, кроме собственно Государя Императора, а потому, наше сиятельство, за что хотите лишить меня счастия лично объяснить дело Государю Императору?

Граф: Ну, в таком случае я тебя и спрашивать не буду, поезжай себе с Богом.

Граф меня так этим поразил, что я ему сказал: — Ваше сиятельство! Почему мне вам и не сказать: дело в заговоре против Императора[591].

И после короткого объяснения я 13-го числа вечером с тем же фельдъегерем отправился и 14-го прибыл в Петербург, на Литейную, к генерал-лейтенанту Клейнмихелю, которому был представлен. Мне отвели в его доме комнату вверху. <…>

Написав свое предположение, которое было вручено Государю Императору 26 июля, выехал я из Петербурга и прибыл в Грузино 27-го числа. <…> Граф Аракчеев принял меня как нельзя лучше, всякий день я завтракал с Настасьей Федоровной (это в Грузине была большая честь), а обедал с графом Аракчеевым, который всегда сажал меня подле себя, сам меня угощал, наливал мне вино и просил говорить с Шумским (тогда флигель-адъютантом) по-английски. Всякий день мы обедали в разных местах, и всегда было несколько человек из окружающих графа Аракчеева за обедом, но вместе с тем со мной обедал человек замечательного ума, один из самых ревностных революционеров, принадлежавших к заговору, Батенков, сколько помню, инженер-полковник. Раз шесть он меня спрашивал, за что

меня привезли[592], и я должен был ему объяснять историю Сивиниса и Зосимы с такими подробностями и обиженным тоном, что решительно выучил наизусть предлинный рассказ[593]. Граф Аракчеев дал за чичероне[594] какого-то офицера Розенталя, который занимался у него капеллой, приказал мне осмотреть все Грузино, окрестные деревни, что я и сделал, и наконец 3 августа получено было Высочайшее разрешение мне ехать и приступить к открытию заговора.

Граф, отправляя меня, призвал к себе и, вручая мне билет, который у меня хранится за подписом графа Аракчеева и начальника штаба Клейнмихеля, в котором сказано, что я увольняюсь в отпуск на год с дозволением иметь пребывание в России там, где пожелаю, и по миновании срока обязан явиться в полк[595], объявил мне Высочайшую волю, сказав:

— Ну, смотри, Шервуд, не ударь лицом в грязь.

Я уверил графа, что если это мне жизни будет стоить, но цели своей достигну. Граф спросил, как мне нравится Грузино. Я отвечал и, конечно, без лести, что в моих глазах Грузино есть эмблема вкуса, прочности и порядка.

— Это так, — сказал мне Аракчеев, — но ты мне скажи, что тебе всего более нравится в Грузине?

Я отвечал, что остров Мелиссино.

— Да он, кажется, не так хорошо отделан.

На это я сказал графу:

— Может быть, ваше сиятельство, но благодарность выше всех украшений.

Граф был растроган моим ответом.

— Ну, Господь с тобой, — прибавил он, — поезжай.

Все время нашего разговора начальник штаба Клейнмихель стоял возле графа Аракчеева, и… конечно, я очень хорошо понимал, что граф, обращаясь со мною так ласково все время, меня изучал. <…>

Я пробыл у Вадковского[596] несколько дней, отправился под предлогом своей надобности в Орловскую губернию, Карачевский уезд, в имение Гревса, где написал подробно графу Аракчееву все, что узнал, что существуют три общества: северное, среднее и южное, наименовал многих членов и просил прислать ко мне в Харьков кого-нибудь для решительных мер к открытию заговора. Я приехал в город Карачев в назначенное мною число и час, несколько минут раньше в ожидании по назначению моему фельдъегеря; но прошло несколько часов, фельдъегерь не явился; смотритель спросил меня, не прикажу ли я лошадей закладывать; я сказал, что у меня сильно голова болит, и ехать далее не могу, спросил уксусу, перевязал голову, три дни мнимо страдал, потом

начал понемногу выздоравливать, и наконец чрез несколько дней после назначенного срока приехал фельдъегерь; я выслал под предлогом какой-то покупки смотрителя вон и расспросил фельдъегеря, почему он не приехал раньше десятью днями, на что он мне отвечал, что зарезали в Грузине Настасью Федоровну, а потому Аракчеев был как помешанный; между тем весь город стал меня подозревать; городничий города Карачева наконец явился для спроса меня, кто я такой, и почему живу так долго на станции. Я ему отвечал, что я унтер-офицер, остался долго на станции, потому что нездоров, что нахожусь в годовом отпуске, и показал ему билет за подписью графа Аракчеева и начальника штаба Клейнмихеля; городничий просто испугался, извинился, что меня обеспокоил, и ушел; но эти 10 дней разницы имели большие последствия: никогда бы возмущение гвардии 14 декабря на Исаакиевской площади не случилось; затеявшие бунт были бы заблаговременно арестованы. Не знаю, чему приписать, что такой государственный человек, как граф Аракчеев, которому столько оказано благодеяния Императором Александром I, которому он был так предан, пренебрег опасностью, в которой находилась жизнь Государя и спокойствие государства, для пьяной, толстой, рябой, необразованной, дурного поведения и злой женщины; есть над чем задуматься. <…>

# К. С. Сербинович [597]
# Николай Михайлович Карамзин

7 июля [1825]. Николай Михайлович показывал мне новую книгу, дающую отчет о военных поселениях. Сочинитель ее — Сперанский[598]. Николай Михайлович при этом случае изъявляет сожаление, что этот государственный человек, так блистательно начавший и продолжавший свое поприще, взял, наконец, на себя обязанность аракчеевского секретаря. <…>

22 июля, день св. Марии Магдалины и тезоименитство Императрицы Марии Федоровны. Среди бесчисленного множества стремившихся на петергофский праздник поехал и я туда на пароходе и прежде всего поспешил отыскать дом, по воле Государя отведенный Николаю Михайловичу неподалеку от заставы, через которую тянулись толпы пешеходов и непрерывная цепь экипажей. За обедом <…> Николай Михайлович рассказывал о своей трехдневной поездке в военные поселения[599] по настоятельному приглашению Государя, который желал этого вследствие откровенных пред ним замечаний Николая Михайловича о тяжкой участи поселян, подвергнутых действию жестокой для них системы поселений. Много интересного было в этом рассказе о том, что он видел. Аракчеев возил его везде и все ему показывал сам, был с ним очень любезен и говорил, по-видимому, очень откровенно.

— К удивлению моему, — прибавил Николай Михаилович, — я не мог не заметить, что граф сам был в числе *недовольных*. <…>

# К. И. Фишер[600]
# Записки

Клейнмихель начал службу у графа Аракчеева и был долгое время начальником его штаба; немудрено, что за ним осталась и система Аракчеева. Хорош был! Один только раз видел я его вблизи: в 1824 или 1825 году на паперти Петергофского дворца против Самсона[601], во время иллюминации 22 июля в именины Императрицы Марии Феодоровны[602]. Вся паперть покрыта была сплошною массою народа, и только около одного старика, высокого роста, в смятой форменной фуражке и изношенной военной шинели, оставалось как бы незанятое место у перил. Я вел сестру, не видавшую никогда этого праздника; мне самому было лет 18, я не обратил внимания на ненормальность этого простора и продвинул сестру к перилам. Сестра моя, m-me Villîers, была красавица. Генерал-адъютант в полной форме, который стоял за грязным стариком и которого я прежде не заметил, взял меня за руку и, останавливая, сказал: «Нельзя», но старик, взглянув на семнадцатилетнюю красавицу, сказал: «Оставь», — и нас оставили в покое. Тут я заметил, что за стариком в фуражке и шинели, единственных в этот вечер во всем парке, стоял не один, а три генерала. В недоумении стал я рассматривать старика; подлая, грубая, солдатская рожа с кривым ртом и кривою спиною; старик начал произносить какие-то шуточки гнусливым тоном, не помню какие, но я сказал сестре: «Allons nous-en»[603] — и вывел ее из привилегированного соседства. Старик обернулся ко мне с цинически-насмешливою улыбкою, а генералы взглянули на меня как будто не то с удивлением, не то с любопытством. Это был Аракчеев, вице-император, если не больше, ибо Император был в парке в мундире и в эполетах; вся свита *culotte courte*[604], а Аракчеев — как денщик, идущий из бани. Хорош был и телом и душою!

Один раз, дожидаясь приема у графа Клейнмихеля с полчаса, я сказал: «Какая скука ждать бессознательно о том, долго ли это будет». Бывший тут же старик Ольденборгер, директор типографии военных поселений[605], вздрогнул и взглянул на меня с каким-то трепетом.

— Что с вами? — спросил я.

— Ах, — отвечал он мне с участием. — Надобно быть в приемных очень осторожным; я расскажу, что со мной случилось. Ждал я в приемной у графа Алексея Андреевича, ждал часа два, — ну, молод был; дела была пропасть; вот я и сказал: «Ах,

скоро ли примет меня граф?» Адъютант входил к графу и выходил; звали к нему того, другого, — а я жду. Перед обедом графа адъютант объявляет мне, что его сиятельство приказал мне прийти завтра в восемь часов. Пришел. Жду, жду. В два часа граф проходит мимо, со шляпой, не глядя на меня, едет со двора, в четыре возвращается, проходит мимо, не глядит на меня, — а я дошел почти до обморока. Слышу: сел обедать. В шесть часов приказывает мне явиться завтра в семь часов; я смекнул, в чем дело. Иду на другой день, взял в карман корочку хлеба и несколько мятных лепешек, — опять жду, но уже спокойнее. Наконец, в двенадцать часов зовут меня к графу. Когда я вошел в кабинет, граф говорит мне: «Ну что, любезный, привык?»

Как ученик такого воспитателя, Клейнмихель был еще мягкосердечен. Таков он был и у себя дома при второй жене. Первая жена его была Кокошкина, вышедшая за него против воли родителей. Он оказался несостоятельным обратить эту девицу в супругу и вдобавок требовал от нее благосклонного приема волокитства Аракчеева; он насильно сажал ее к окну, когда Аракчеев проезжал мимо, и щипками заставлял ее улыбаться. Так, по крайней мере, рассказывала она сама. Начались домашние распри, в которых утешил ее двоюродный ее брат Булдаков[606]. Клейнмихель жаловался Аракчееву, и Булдакову было высочайше запрещено жить в том городе, в котором живет госпожа Клейнмихель, но она сама стала ездить туда, где жил Булдаков: отсюда — юридическая компликация[607]. Наконец Клейнмихель, вероятно, не имевши уже прежних интересов держать у себя непокорную жену, вошел с нею в сделку. Она уступала ему свое приданое, а он обязывался быть виновным в нарушении брачной верности, и они развелись. M-me Kleinmichel вышла за Булдакова, с которым она была очень несчастна, а Клейнмихель женился на вдове Хорвата, рожденной Ильинской[608] <…>.

Таков был Клейнмихель, росший во времена Павла I и прошедший службу под начальством Аракчеева! Это обстоятельство должно служить великим ему оправданием, если верна пословица: «Dis-moi qui tu hantes, je te dirai, qui tu es!»[609] Об Аракчееве знает вся Россия как о деспоте, бесчеловечном, свирепом; я случайно узнал и виновника его возвышения и меру его бескорыстия.

Апрелев, отец сенатора И. Ф. Апрелева, был при Екатерине начальником Арсенала. Наследнику престола, Павлу, понадобились в Гатчине две маленькие пушки. Он обратился о том к Апрелеву, и этот исполнил его просьбу. Случай редкий! Так как Великий князь был в дурных отношениях с матерью-императрицею, то отказывать ему в просьбах, даже действовать

ему назло было в моде. Великий князь, по открытии вакансии начальника артиллерии в Гатчине, просил Апрелева принять это место, но Апрелев отозвался, что Императрица благоволит к нему, и он не имеет ни повода, ни мужества проситься из Петербурга; вместо себя он рекомендовал Павлу Аракчеева. Аракчеев взят, а через год или два Павел воцарился. Аракчеев был пожалован в бароны, с девизом в гербе: «Без лести предан», который публика потом переделала в другой: «Бес, лести предан!» <…>

# А. И. Герцен [610]
# Былое и думы

Старая Русса, военные поселения — страшные имена! Неужели история, вперед закупленная аракчеевской наводкой[611], никогда не от дернет савана, под которым правительство спрятало ряд злодейств, холодно, систематически совершенных при введении поселений? Мало ли ужасов было везде, но тут прибавился особый характер — петербургско-гатчинский, немецко-татарский. Месяцы целые продолжалось *забивание палками и засекание розгами* непокорных… пол не просыхал от крови в земских избах и канцеляриях… Все преступления, могущие случиться на этом клочке земли со стороны народа против палачей, оправданы вперед! Монгольская сторона московского периода, исказившая славянский характер русских, фухтельное[612] бесчеловечье, исказившее петровский период, воплотились во всей роскоши безобразия в графе Аракчееве. Аракчеев, без сомнения, одно из самых гнусных лиц, всплывших после Петра I на вершины русского правительства; этот «Холоп венчанного солдата», как сказал об нем Пушкин[613], был идеалом образцового капрала, так, как он носился в мечтах отца Фридриха II[614]: нечеловеческая преданность, механическая исправность, точность хронометра, никакого чувства, рутина и деятельность, ровно столько ума, сколько нужно для исполнения, и ровно столько честолюбия, зависти, желчи, чтоб предпочитать власть деньгам. Такие люди — клад для царей. Только мелкой злопамятностью Николая можно объяснить, что он не употребил никуда Аракчеева, а ограничился его подмастерьями.

Павел открыл Аракчеева по сочувствию. Александр, пока еще у него был стыд, не очень приближал его; но, увлеченный фамильной страстью к выправке и фрунту, он вверил ему походную канцелярию. О победах этого генерала от артиллерии мы мало слышали[615]; он исполнял больше статские должности в военной службе; его враги приводились к нему в цепях, они вперед были побеждены. В последние годы Александра Аракчеев управлял всей Россией. Он мешался во все, на все имел право и бланковые подписи. Расслабленный и впадавший в мрачную меланхолию, Александр поколебался немного между кн. А. Н. Голицыным и Аракчеевым и, естественно, склонился окончательно на сторону последнего.

Во время таганрогской поездки Александра в именье Аракчеева, в Грузине дворовые люди убили любовницу графа; это

убийство подало повод к тому следствию, о котором с ужасом до сих пор, т. е. через семнадцать лет, говорят чиновники и жители Новгорода.

Любовница Аракчеева, шестидесятилетнего старика, его крепостная девка, теснила дворню, дралась, ябедничала, а граф порол по ее доносам. Когда всякая мера терпения была перейдена, повар ее зарезал. Преступление было так ловко сделано, что никаких следов виновника не было.

Но виновный был нужен для мести нежного старика, он бросил дела всей империи и прискакал в Грузино. Середь пыток и крови, середь стона и предсмертных криков Аракчеев, повязанный окровавленным платком, снятым с трупа наложницы, писал к Александру чувствительные письма, и Александр отвечал ему: «Приезжай отдохнуть на груди твоего друга от твоего несчастия»[616]. Должно быть, баронет Виллие был прав, что у императора перед смертью вода разлилась в мозгу.

Но виновные не открывались. Русский человек удивительно умеет молчать. Тогда, совершенно бешеный, Аракчеев явился в Новгород, куда привели толпу мучеников. Желтый и почерневший, с безумными глазами и все еще повязанный кровавым платком, он начал новое следствие; тут эта история принимает чудовищные размеры. Человек восемьдесят были захвачены вновь. В городе брали людей по одному слову, по малейшему подозрению, за дальнее знакомство с каким-нибудь лакеем Аракчеева, за неосторожное слово. Проезжие были схвачены и брошены в острог; купцы, писаря ждали по неделям в части допросов. Жители прятались по домам, боялись ходить по улицам; о самой истории никто не осмеливался поминать.

Клейнмихель, служивший при Аракчееве, участвовал в этом следствии…

Губернатор превратил свой дом в застенок, с утра до ночи возле его кабинета пытали людей. Старорусский исправник, человек, привычный к ужасам, наконец изнемог, и, когда ему велели допрашивать под розгами молодую женщину, беременную во второй половине, у него недостало сил. Он взошел к губернатору — это было при старике Попове[617], который мне рассказывал, — и сказал ему, что эту женщину невозможно сечь, что это прямо противно закону; губернатор вскочил с своего места и, бешеный от злобы, бросился на исправника *с поднятым кулаком:* «Я вас сейчас велю арестовать, я вас отдам под суд, вы — *изменник».* Исправник был арестован и подал в отставку; душевно жалею, что не знаю его фамилии, — да будут ему прощены его прежние грехи за эту минуту, скажу просто, геройства: с такими разбойниками вовсе была не шутка показать

человеческое чувство.

Женщину пытали, она ничего не знала о деле… однако ж умерла[618].

Да и «благословенный» Александр умер. Не зная, что будет далее, эти изверги сделали последнее усилие и добрались до виновного; его, разумеется, приговорили к кнуту. Середь торжества следопроизводителей пришел приказ Николая отдать их под суд и остановить все дело.

Губернатора велено было судить Сенату…[619], оправдать его даже там нельзя было. Но Николай издал милостивый манифест после коронации; под него не подошли друзья Пестеля и Муравьева — под него подошел этот мерзавец. Через два-три года он же был судим в Тамбове за злоупотребление власти в своем именье; да, он *подошел* под манифест Николая — он был ниже его. <…>

# М. С. Муханова [620]
# Из записок

## *V*

Когда Государь Александр Павлович кончил жизнь, отец мой[621] поехал в Петербург поздравить Николая Павловича с восшествием на престол.

Императрица Мария Феодоровна спросила его об Аракчееве. Отец мой стал говорить искренно, что он думал о нем. Тогда она сказала: «Ах! пожалуйста, не говорите об нем дурного, это был друг Императора Александра». Тут вошел Великий князь Николай Павлович и увел моего отца к себе в кабинет. «Не говори матушке об Аракчееве, — ты ее расстроишь», — сказал он. «А вам могу я говорить?» — «Мне, конечно, ты можешь все говорить». — «Ну, так я вам скажу, что пока вы здесь церемонитесь с вашим братом в том, кто должен взойти на престол, Аракчеев занят тем, чтобы разыскивать убийц своей любезной. Все тюрьмы новгородские полны, и у него множество царских бланков, так что он может ссылать в Сибирь кого ему угодно». — «Хорошо, что ты мне это сказал, — отвечал Великий князь, — я сам ничего не могу сделать, но сегодня соберу Государственный совет, который немедленно пошлет курьера взять бланки. Я не могу тотчас удалить Аракчеева, так как он был дружен с моим братом, но ты можешь всем сказать, что при мне он не будет иметь той силы, которую имел». Так и было исполнено. Чрез несколько дней Аракчеев приехал в Петербург и представился Императрице Марии Феодоровне. После сего она рассказывала батюшке, как он ее тронул, как он распростерся у ее ног. «Ну, что же ты ничего не говоришь, Сергей Ильич?» — спросила она. «Да вы запретили мне говорить». — «Теперь я требую, чтобы ты сказал, что думаешь», — говорила Императрица. «Я думаю, — отвечал отец мой, — что Аракчеев совсем не так расстроен, как вы воображаете, и в доказательство я приведу вам то, что после смерти этой скверной женщины, которую он любил, он был так расстроен, что не мог приехать в Государственный совет шесть недель, а теперь приехал и занял свое место, чтоб его не потерять». — «Я вижу, как ты его не любишь», — сказала Императрица.

Великий князь Николай Павлович поручил батюшке везти тело Александра Павловича из Москвы в Петербург. Когда он сопровождал тело, то Аракчеев выехал навстречу из Грузина в

трауре и просил позволения сесть на дроги, в головах у тела. Батюшка не решился ему в этом отказать. Впоследствии ямщики спрашивали моего отца: «Видел ли ты, батюшка, черта?»[622] — «Нет, не видал и надеюсь на милость Божию, что никогда не увижу». — «А как же, он сидел в головах у Царя и мертвому также не давал покоя, как и живому?» <…>

# А. П. Языков [623]
# Из воспоминаний о селе Грузине, имении графа Аракчеева в 1826 году

За обедом граф говорил, что в вотчине теперь всего 32 деревни, но что их было более, а он все перестроил по планам, что все дороги от одной деревни до другой шоссейные, что все постройки и работы сделаны собственными его средствами, и вообще крестьяне блаженствуют. После обеда граф был особенно ласков и словоохотлив, и, казалось, ему очень хотелось высказаться, сообщить многое, касающееся близкого его положения к покойному Императору Александру I…

Сперва повел он нас в комнату, занимаемую Императором Александром I во время посещений Грузина, и указал на диван, на котором почивал он; здесь впоследствии граф Аракчеев поставил портрет Императора и сделал следующую надпись: «В Бозе почивающий Государь, отец и благодетель мой, Император Благословенный Александр I-й, в приезд свой к графу Аракчееву в село Грузино, всякий раз изволил занимать сии комнаты. Посетитель! преклони колена с умилением и сокрушенным сердцем на месте сем и принеси теплую молитву к Всевышнему об успокоении в Царствии Небесном души Александра Благословенного Отца Отечества!» На этом самом диване граф Аракчеев окончил свою жизнь, и взоры его до последней минуты были обращены на портрет горячо любимого им Императора.

Затем граф обратил внимание наше на письменный стол, покрытый множеством разных вещей.

«Это стол, — сказал он, — на котором Император Александр I писал, когда приезжал в Грузино». И в этом роде продолжался весь остальной рассказ графа; поразительна была точность, с какою сохранилось у него воспоминание о каждой веши, которая чем-нибудь напоминала ему покойного Императора, и во всех словах его виделось священное уважение к этим предметам.

«Вот ящик, где хранятся пустые конверты с собственноручными на них надписями Императора Александра I на мое имя, как то: «графу Аракчееву, графу Алексею Андреевичу Аракчееву». За сим он взял лист, лежавший сверху, и прочел следующее: «В этом ящике лежат конверты с собственноручными надписями покойного Императора Александра I-го к графу Аракчееву за три последние года». За прежние годы граф Аракчеев имел неосторожность подобные конверты разрывать,

чего он себе никогда не прощал. Конверты же с письмами от Императора, на которых адрес был печатный или писан другою рукою, все уничтожены; всех тут конвертов находится 840 разной величины.

Потом указал на маленький сафьяновый ящик, где находились 4 ружейные чугунные пули эллиптической формы, совершенно подобной голубиному яйцу, и сказал: «Я сохраняю эти пули для того, что человек должен зазнаваться и помнить, что всегда может сделать глупость. Вот в чем дело: в 1812 году, когда Наполеон приближался к Москве и страх был всеобщий, Император Александр мне сказал: «Ко мне явился некто, предлагающий мне вылить подобные пули, наверно попадающие, дай ему средство делом заняться». Я, осмотрев пулю, позволил себе сказать: «Вы, верно, хотите похристосоваться с вашею армией и подарить каждому солдату по чугунному яйцу; поверьте, Государь, этот изобретатель — обманщик: пуля по своей форме далеко и метко лететь не может!» На это Император мне сказал: «Ты глуп!» Я замолчал, дал прожектеру средство что-то делать и забыл о том. Вскоре за тем Император вновь меня призвал и сказал: «Явился человек, который хочет строить воздушный шар, откуда можно будет видеть всю армию Наполеона; отведи ему близь Москвы удобное место и дай средство к работе» Я вновь позволил себе сделать возражение о нелепости дела и вновь получил в ответ: «Ты глуп!» Прошло немного времени, как мне поднесли, что прожектер шара бежал; с самодовольным лицом предстал я пред Императора и донес о случившемся; но каково было мое удивление, когда Император с улыбкою сказал мне: «Ты глуп!» Тогда только мне все прояснилось: для народа подобные меры, в известных случаях, нужны; такие выдумки успокаивают легковерную толпу, хотя на малое время, когда нет средств отвратить беду. Народ тогда толпами ходил из Москвы на расстояние 7 верст к тому месту, где готовили шар; это было на уединенной даче, окруженной забором, куда внутрь никого не пускали, но народ, возвращаясь домой, рассказывал, что видел своими глазами, как готовится шар на верную гибель врагу, и тем довольствовался. Часто после того Император со мною говорил об этом случае, удивлялся, что я в первый же раз его не понял, и я сознавался, что точно «был глуп», возражая намерениям, придуманным для спокойствия толпы».

Во внутренности футляра на крыше сделана надпись: «Пули чугунные, отданные Государем Императором Александром I-м, при получении коих сделан был графом неосторожный ответ, за который Его Величество изволил показать свое неудовольствие, почему граф Аракчеев, сознаваясь в своей ошибке, в память сего

сохранил эти пули».

Затем граф показал нам ящик в 4 вершка длины и ширины, а сверху стекло; под ним было полотно, на котором виднелась метка: *А.* «Это, — сказал он, — рубашка Императора Александра, мне подаренная, и в ней я буду похоронен. История ее следующая: когда покойная Императрица была в предсмертных страданиях и не было надежды к ее выздоровлению, то Император Павел I, зная, что его ожидает вступление на престол, послал за мною в Гатчину, чтоб я скорее приехал в Петербург; дороги тогда были дурные; я скакал что было силы и весь в пыли явился к Императору, — Он меня принял самым ласковым манером, сказал мне: «Служи мне верно», — и, взяв меня за руку, подвел к Александру, вложил мою руку в его руки и сказал: «Будьте друзьями!» И мы всегда были друзьями. Александр, видя меня всего в пыли, сказал: «Верно, ты за скоростию белья чистого не взял с собою; пойдем ко мне, я тебе дам», — и тогда дал мне эту рубашку. После я ее у него выпросил, и вот она; а когда умру, то ее на меня наденут, и в ней я буду похоронен». Граф точно похоронен в этой рубашке, а ящик и до сих пор хранится в ризнице. <…>

Во всех словах и мыслях графа выражались необъятная преданность, неподдельная любовь и высокое благоговение к памяти покойного Императора; во всем видна была душа и сердце, жаждущие высказать эти чувства пред каждым и находящие собственную отраду, когда представится к тому случай.

Теперь прошло уже 43 года, и нет возможности припомнить все мелкие подробности, сообщенные тогда; но помню, что все мы были поражены глубиною чувства, этим благоговением графа, которым он увлекался, а также и тем, что слышим такую увлекательную речь от человека, о котором и тогда еще Россия не иначе говорила, как шепотом и даже пред именем которого каждый, проезжая мимо дома, им занимаемого, останавливал свое дыхание и всякую мысль свою. <…>

# И. Р. Мартос[624]
# Из рассказов графа Аракчеева

Первое свидание, нечаянное и внезапное, случилось в 1826 году, <неразборчиво> декабря в 11 часов утра[625]. Граф был очень доволен тем, что я его узнал. Последовал общий разговор о человеческой и философской жизни <…> Между прочим, я говорил ему о ленте Петру Андреевичу [Клейнмихелю], для чего он в сем удовольствии помешал ему. Он возразил на сие, уверяя, что он по философским побуждениям и сам не имеет ленты, то есть Андреевской[626]. Государь Павел Петрович, призвавши наследника из комнаты Императрицы Марии Федоровны и взяв его руку и руку графа Аракчеева, сложил их и сказал: «Будьте вы оба вечными друзьями!»[627] С тех пор началась дружба графа с будущим Государем Александром Павловичем. Когда соединил их таким образом Государь Павел Петрович, Императрица Екатерина II лежала на полу при последнем издыхании, грудь у нее при дыхании чрезвычайно сильно подымалась и опускалась, но она была уже в беспамятстве.

Граф пробыл у меня около двух часов. Мы расстались с уверением, что мы «друг другу не будем в тягость»; итак он обещал посещать меня и показать мне письма, которые писал к нему Государь из Таганрога[628].

Второе посещение, вечернее, последовало по назначению 17 декабря, в 6 часов вечера.

Беседа наша началась чаем, который он пил с удовольствием, по обыкновению своему в количестве двух чашек. Потом граф мне дал читать приведенные им с собою письма Государевы, полученные из Таганрога. Когда я читал сии письма, то часто на его глазах показывались слезы, особенно при чтении письма, чрез которое Государь принимал в нем живейшее участие, приглашая в Таганрог[629]. Граф повторил и сам после моего чтения. <…> По окончании чтения последовали разговоры о той же материи, с присоединением следующего анекдота: Государь Павел Петрович, уволивши его от службы, принял опять в свою свиту, и потом он поручал ему иметь за Наследником наблюдение, как за бабушкиным баловнем, дабы доносить ему обо всем. Но граф при сем докладывал Государю, чтобы Его Величество избрал для этого дела кого-нибудь другого, он же для такого дела не способен и не может быть орудием несогласия между отцом и сыном. Тем это поручение и кончилось, а граф остался с большой Государевой милостью. Вседневные рапорты по утрам с пяти часов граф

подносил Государю лично. Эти рапорты должен был подписывать Наследник и подписывал их в постели, между тем Елисавета[630] закрывалась одеялом, чтобы граф ее не видел. Он Государю всегда докладывал, что Наследник Уже встал, тогда как Наследник еще лежал в постели.

Третье посещение, вечернее, прощальное, последовало 21 декабря в 6 часов вечера и продолжалось до конца одиннадцатого часа. После чая граф сам читал мне Высочайшие рескрипты покойного Государя и записки, которые он напечатал для редкости в одном только экземпляре. Потом читал он в печатной же книжке[631] свое прошение к Государю Николаю Павловичу об увольнении в чужие края на теплые воды[632]. После читал отданный им приказ по военным поселениям об отлучке в чужие края[633] и письмо к Императрице с пожертвованием 50 тысяч, пожалованных ему на дорогу, кои он предоставил на воспитание пяти девочек из военных поселян Новгородской губернии с тем, чтобы они слыли воспитанницами Александра I. <…>

Между прочим поверхностный разговор был о Сперанском. Пространный разговор был о благоустройстве Грузина, не только в господской части, но и в крестьянской. Банк их имеет 140 тысяч. Единонаследие в Грузине утверждено покойным Государем, и акт сей хранится в Сенате. Воспитанник его, кажется по фамилии Шумский, — пьяница; теперь он в Грузине, куда выписан в гарнизон за буйство.

Граф, со мною прощаясь, запретил мне бывать у него здесь, но прилежно просил побывать в Грузине. Он предполагал выехать отсюда в Брянск, через Чернигов и Стародуб, 28 декабря. <…>

# П. И. Савваитов [634]
# Заметки

## *1*

Проводив Сперанского из Грузина до самой пристани (на Волхове), граф Аракчеев пригласил к себе на вечерний чай Н. С. Ильинского[635], П. А. Клейнмихеля, домашнего своего доктора и еще кого-то. За чаем начался разговор об уехавшем госте. «Знаете ли, какой это человек? — сказал граф. — Если бы у меня была *треть* ума Сперанского, я был бы великим человеком». <…>

## *2*

Замечателен случай, заставивший Николая Степановича Ильинского оставить Грузино. Когда зарезана была любовница Аракчеева Настасья, граф приказал похоронить ее в Грузинском соборе, рядом с могилой, которую он приготовил для себя. Для избежания каких-нибудь неприятностей от своего начальства Николай Степанович послал донесение об этом преосвященному Моисею[636], тогдашнему викарию новгородскому, и просил разрешения исполнить требование графа. В это время известный архимандрит Фотий, отправляясь в Грузино — утешать Аракчеева и, конечно, принять участие в погребении его возлюбленной, посетил преосвященного Моисея и узнал от него о полученном из Грузина донесении; по приезде в Грузино он сообщил об этом графу. Аракчеев вскипел гневом на своего протоиерея и, между разными угрозами, сказал: «Ему не будет места не только в Сибири, а и на земле!» Когда весть об этом дошла до Николая Степановича, то он поспешил обратиться к митрополиту Серафиму с просьбою, чтоб владыка перевел его куда-нибудь из Грузина. Митрополит определил его протоиереем в собор Боровичский <…>

От того же Н. С. Ильинского слышал я и следующий рассказ об Аракчееве: обязанный первоначальным своим возвышением Императору Павлу Петровичу, Аракчеев до конца жизни глубоко чтил память своего благодетеля. В грузинском саду, неподалеку от дома, в котором жил Аракчеев, был поставлен бюст Императора. В летнее время, когда Аракчееву угодно было

приглашать к себе на обед грузинскую служебную знать, обеденный стол в хорошую погоду обыкновенно накрывался у этого бюста, против которого всегда оставлялось незанятое место и во время обеда ставилась на стол каждая перемена кушанья; в конце обеда подавался кофе, и Аракчеев, взявши первую чашку, выливал ее к подножию императорского бюста; после этого возлияния он брал для себя уже другую чашку.

Вспомнился мне еще один рассказ о графе Аракчееве, слышанный мною от А. С. Норова[637]. Отец Авраама Сергеевича был хорошо знаком с Аракчеевым, который, по этому знакомству, и покровительствовал Норовым в первые годы их службы[638]. Бывши уже в чине полковника, Авраам Сергеевич вздумал просить себе у Императора Александра I губернаторской должности. На другой или третий день после того, как он подал об этом прошение Государю, граф Аракчеев пригласил его к себе.

«Благодари меня», — сказал ему граф, поздоровавшись с ним. «Благодарю покорно, хотя еще и не знаю — за что», — отвечал ему Авраам Сергеевич. «Да хорошенько благодари — за то, что я успел оказать тебе большое благодеяние. Ты просил Государя сделать тебя губернатором; ведь Государь чуть было не согласился на твою просьбу, да, к твоему счастью, я остановил его. Знаю я, что ты храбрый офицер, что ты человек добрый; но какой ты губернатор? по своей доброте ты испортил бы всю губернию, да и сам попался бы в неприятное положение».

# Л. В. Ширяев [639]
# Из записной книжки старожила

Известный граф Алексей Андреевич Аракчеев не знал ни одного иностранного языка, о чем часто сожалел. Он, как известно, был очень груб в обращении. Однажды, при представлении выпушенных из 2-го кадетского корпуса офицеров, он, выйдя из кабинета, поклонился собравшимся и затем, проходя мимо выстроенных офицеров, бормотал про себя: «Какие рожи, — все незнакомые!» Кстати заметим, что сам Аракчеев получил воспитание в этом корпусе.

В 1818 году последовало распоряжение о включении в число войск военных поселений гренадерского императора австрийского полка. По этому случаю офицеры полка представлялись графу как главному начальнику поселений. Один из представлявшихся, ротный командир Емельянов (впоследствии полковник и смотритель Чесменской богадельни), так передавал потом подробности этого единственного в своем роде свидания. «Мы были напуганы заранее рассказами о грозном графе, но вместо того увидели перед собою сухощавого, высокого старика в семеновском мундире[640], который, низко поклонившись на все четыре стороны, повел такую речь: «Господа! Имею честь рекомендоваться: верою и правдою служу Государю-батюшке, от роду имею 60 лет; прошу любить и жаловать. Вы будете, господа, у меня служить (тут голос его стал сильно возвышаться), а потому прошу порядков моих не нарушать; я вас, ротных командиров, знаю! Вам только солдат обирать, курочек да яички незаконно собирать; только я этого не потерплю!» Дальше Аракчеев уже не говорил, а кричал, сопровождая речь грозными жестами: «А если вы у меня — что-нибудь, то я вас туда турну, куда Макар телят не загонял, куда ворон костей не занашивал. Я имею от Государя-батюшки подписанные им бланки, и на основании их могу делать со всяким, что хочу. Помнить у меня это!» Сраженные таким приемом, — рассказывал Емельянов, — мы не помним, как и вышли на улицу».

На одного майора, полагавшего, что во время осмотра Аракчеевым каких-то учреждений в военных поселениях следует ходить сзади графа, Аракчеев, неожиданно обернувшись, грозно закричал: «Да что ты за мной ходишь, как собака!»

Аракчеев очень любил играть в бостон. Однажды случилось так, что каким-то образом два Высочайшие повеления не были исполнены. По этому случаю Аракчеев неожиданно сказал

окружавшим его: «Господа! Я преступник: я не исполнил двух Высочайших повелений. Я знаю, что мне стоило бы пойти к Государю, пасть перед ним на колени и просить прощения; тем и кончилось бы дело. Но граф Аракчеев хочет наказать Аракчеева: он не должен за это два года играть в бостон». И Аракчеев действительно сдержал слово.

В начале 1800-х годов только министры имели право разрешать покупки казенных вещей, хотя бы и в самых незначительных размерах. Поэтому однажды генерал-провиантмейстер Мертваго[641] обратился к военному министру графу Аракчееву о разрешении покупки пары кенег (род больших галош) для часовых при каком-то складе. Аракчеев вместо обыкновенной резолюции написал следующую фразу: «Горе нам и в генеральских чинах, когда мы не смеем собственною властью разрешить покупку пары кенег». Эти странные слова были приняты за разрешение и почти всегда до 1840-х годов приводились как закон при разрешении подобной покупки.

Едва ли кому известно, что граф А. А. Аракчеев писал сочинения и даже печатал. А между тем в журнале «Вестник Европы» за 1807 год, в № 22, находится статья Аракчеева под заглавием: «О качестве делаемого в России пороха»[642], из которой видно, что в то время русский порох признавался лучше английского, и вместе с тем в той же статье приводятся довольно интересные сведения о производстве пороха в России в XVIII веке.

# П. А. Вяземский [643]
# Старая записная книжка

Строгость наказаний доходила во времена Аракчеева до ужасных размеров. Прежде чем собирали войска на ученье, привозили на плац целые возы розог и палок; кулачная расправа была самою умеренною из мер наказаний… Во многих полках офицеры в обращении к полковому командиру должны были титуловать его «ваше высокоблагородие», что, впрочем, не составляло чего-либо особенного, потому что между ними, особенно в армии, да еще в гарнизонах, многие не знали грамоты. Расписки вроде нижеследующих: «Прапорщик (или подпоручик) такой-то, а за него, неграмотного, расписался рядовой такой-то», — были нередки. Жизнь солдата считалась даже в мирное время ни во что; их выводили в трескучие морозы на парады в одних мундирах, и многие так обмораживались, что приходилось у некоторых ампутировать руки и ноги.

Похороны Ф. П. Уварова (ноябрь 1824 г.[644]) были блестящие и со всеми возможными военными почестями. Император Александр присутствовал при них от самого начала отпевания до окончания погребения. «Славно провожает его один благодетель, — сказал Аракчеев Алексею Федоровичу Орлову, — каково-то встретит его другой благодетель?» Историческое и портретное слово. Кажется, с этих похорон Аракчеев пригласил Орлова сесть к нему в карету и довезти его домой. «За что меня так не любят?» — спросил он Орлова. Положение было щекотливо, и ответ был затруднителен. Наконец, Орлов все свалил на военные поселения, учреждение которых ему приписывается и неясно понимается общественным мнением. «А если я могу доказать, — возразил с жаром Аракчеев, — что это не моя мысль, а мысль Государя; я тут только исполнитель». В том-то и дело, каково исполнение — мог бы отвечать ему Орлов, но, вероятно, не отвечал.

Первое сорокалетие нынешнего столетия в военном мире было временем ничем не стеснявшихся «генералов». Говорили они не «по дружбе», а «по принципу», на основании традиции почти всем подчиненным: «ты», «братец», «любезнейший» и т. п. В то время граф Аракчеев, например, говорил раз своим гнусливым голосом своему любимцу, двадцатипятилетнему генералу П. А. Клейнмихелю (впоследствии графу): «То-то и есть, Петр Андреевич! сначала говорил: «дай генерала», — ну, и дали; потом — «дай звезду», — ну, и дали, и толку-то что?» Такая рацея

сказана была при всех и по поводу какого-то пустяка. Удивительно ли, что и Клейнмихель, наслушавшись при своем быстром возвышении таких комплиментов относительно еще в молодые годы и при блестящей карьере, впоследствии сам точно так же и даже еще хуже обращался с своими подчиненными. Сделавшись после отставки Аракчеева самостоятельным начальником, Петр Андреевич на каком-то смотру сделал выговор старому майору в такой резкой форме: «Ей, майорина, чего эполеты-то эти таскаешь, а дела не знаешь!» <…>

<…> Император Александр Павлович в последние годы царствования своего совершал частые и повсеместные поездки по обширным протяжениям России. В это время дорожная деятельность и повинность доходили до крайности. <…> Народ кряхтел, жаловался и приписывал все невзгоды Аракчееву, который тут ни душой, ни телом не был виноват. Но в этом отношении Аракчеев пользовался большою *популярностью:* он был всеобщим козлом отпущения на каждый черный день. В Саратовской губернии деревенские бабы певали в хороводах:

Аракчеев дворянин
Аракчеев
Всю Россию разорил,
Все дорожки перерыл <…> [645]

# Д. В. Давыдов[646]
# Анекдоты о разных лицах, преимущественно об Алексее Петровиче Ермолове

Доклады и представления военных лиц происходили у Аракчеева очень рано, чуть ли не в шестом или седьмом часу утра. Однажды представляется ему молодой офицер, приехавший из армии и мертво пьяный, так что едва держится на ногах и слова выговорить не может. Аракчеев приказал арестовать его и свести на гауптвахту. В течение дня Аракчеев призывает к себе адъютанта своего, князя Илью Долгорукова, и говорит ему: «Знаешь ли, у меня не выходит из головы этот молодой пьяный офицер: как мог он напиться так рано, и еще пред тем, чтобы явиться ко мне! Тут что-нибудь да кроется. Потрудись съездить на гауптвахту и постарайся разведать, что это значит». Молодой офицер, немного отрезвившись, признается Долгорукову: «Меня в полку напугали страхом, который граф Аракчеев наводит, когда представляются к нему; уверяли, что при малейшей оплошности могу погубить карьеру свою на всю жизнь, и я, который никогда водки не пью, для придачи себе бодрости выпил залпом несколько рюмок водки. На воздухе меня разобрало, и я к графу явился в этом несчастном положении. Спасите меня, если можно!» Долгоруков возвратился к Аракчееву и все ему рассказал. Офицера приказано было тотчас выпустить из гауптвахты и пригласить на обед к графу на завтрашний день. Понимается, что офицер явился в назначенный час совершенно в трезвом виде. За обедом Аракчеев обращается с ним очень ласково. После обеда, отпуская его, сказал: «Возвратись в свой полк и скажи товарищам своим, что Аракчеев не так страшен, как они думают». (Рассказано князем Ильею Долгоруковым.)

N. По вступлении на престол Императора Александра формуляр Ермолова[647], который был вовсе исключен из службы, был найден с большим трудом в Главной канцелярии артиллерии и фортификации. Граф Аракчеев пользовался всяким случаем, чтобы высказывать свое к нему неблаговоление[648]; имея в виду продержать его по возможности долее в подполковничьем чине, граф Аракчеев переводил в полевую артиллерию ему на голову либо отставных, либо престарелых и неспособных подполковников. Однажды конная рота Ермолова, сделав переход в двадцать восемь верст по грязной дороге, прибыла в Вильну, где

в то время находился граф Аракчеев. Не дав времени людям и лошадям обчиститься и отдохнуть, он сделал смотр роте Ермолова, которая быстро вскакала на находящуюся вблизи высоту. Аракчеев, осмотрев конную выправку солдат, заметил беспорядок в расположении орудий. На вопрос его: «Так ли поставлены орудия на случай наступления неприятеля?» — Ермолов отвечал: «Я имел лишь в виду доказать вашему сиятельству, как выдержаны лошади мои, которые крайне утомлены». — «Хорошо, — отвечал граф, — содержание лошадей в артиллерии весьма важно». Это вызвало следующий резкий ответ Ермолова в присутствии многих зрителей: «Жаль, ваше сиятельство, что в артиллерии репутация офицеров зависит от скотов». Эти слова заставили взбешенного Аракчеева поспешно воротиться в город. Это сообщено мне генералом Бухмейером.

<…> Александр начал Лагарпом[649], а кончил Аракчеевым. (Спешу заявить при сем, что по моей личной судебной системе я не одержим безусловною аракчеевофобией, которою страждут многие; считаю, что и Аракчеева должно всецело исследовать и без пристрастия судить, а не то что прямо начать с четвертования его. Но, во всяком случае, совестливость моя и оптимизм мой не доходят до того, чтоб не видать разности между Лагарпом и Аракчеевым.) Эти два имени, две противоположности, две крайности, так сказать, обставливают имя Александра. <…>

Аракчеев сказал однажды Ермолову: «Много ляжет на меня незаслуженных проклятий».

Ермолов, произведенный в генералы от инфантерии в 1818 году, чрез десять лет после производства своего в генерал-майоры, не принадлежал, однако, никогда к числу особенных фаворитов Государя. Граф Аракчеев в поздравительном письме своем от 2 августа 1818 года по этому случаю писал ему между прочим: «Когда вы будете произведены в фельдмаршалы, не откажитесь принять меня в начальники главного штаба вашего»[650].

Граф Аракчеев и князь Волконский, видя, что расположение Государя к Ермолову возрастает со дня на день, воспользовались отъездом его в Орловскую губернию, чтобы убедить Его Величество, что Ермолов желает получить назначение на Кавказ. Ермолов, вызванный фельдъегерем в Петербург, узнал о своем назначении, Государь, объявив ему лично об этом, сказал ему: «Я никак не думал, чтобы тебе такое назначение могло быть приятно, но я должен был поверить свидетельству графа Алексея Андреевича и князя Волконского. Я не назначил ни начальника штаба, ни обер-квартирмейстера, потому что ты, вероятно, возьмешь с собой Вельяминова и Иванова[651]». Действительно,

оба эти генерала, из которых второй погиб преждевременно жертвою ипохондрии, были утверждены в этих должностях.

Граф Аракчеев находился с 1808 года в весьма хороших сношениях с Ермоловым; оставшись недоволен отзывом Ермолова о военных поселениях, впервые устроенных близ Могилева, он немного охладел к нему.

Незаконный сын Аракчеева, Шумский, одаренный необыкновенными способностями, был, к сожалению, горьким пьяницею; эта болезнь развилась в нем, по показаниям медиков, вследствие болезни солитера. Император Николай, разжаловав его из флигель-адъютантов, прислал в Грузию, где Ермолов имел о нем большое попечение. Граф Аракчеев, называемый Закревским «Змеей, что на Литейной живет», прислал последний поклон Ермолову чрез губернатора Тюфяева[652]. Он велел ему передать: «Весьма желал бы с вами видеться, но в обстоятельствах, в коих мы с вами находимся, это невозможно». Этот отлично умный, хотя грубый и кровожадный солдат нередко пугал военные поселения именем достойного своего адъютанта Клейнмихеля[653]. Найдя после смерти своей любовницы Настасьи много писем с подарками, он собрал их в одну комнату, пригласив к себе всех просителей, имена которых находились в конце писем, он сказал им: «Это ваши вещи, пусть каждый возьмет свое».

# Н. Г. Сигунов [654]
# Черты из жизни графа Аракчеева

## *I*

Приехав в Петербург по смерти Екатерины, Император Павел тотчас же вытребовал к себе из Гатчины полковника Аракчеева. Аракчеев, получив приказание, немедленно прискакал в Петербург, как был, в одном мундире, не взявши с собою решительно никаких вещей и даже теплой одежды. При Екатерине офицеры Гатчинского отряда никогда не допускались в Зимний дворец, и потому, не зная расположения комнат, Аракчеев насилу отыскал Императора. Павел принял его очень милостиво, тотчас же произвел в генералы и назначил комендантом; Наследник же престола, Александр Павлович, назначен петербургским военным генерал-губернатором. Павел поставил их рядом, соединил их руки и сказал: «Будьте друзьями и помогайте мне». С этого момента началась дружба Аракчеева с будущим Императором. Не имея при себе даже перемены белья, Аракчеев на следующий день обратился к своему новому другу и объяснил ему неудобство своего положения. Александр прислал ему собственную рубашку, которую Аракчеев сохранил во всю свою жизнь, и чрез 38 лет был в ней похоронен согласно его завещанию. По смерти Александра I она лежала на столе в бывшем кабинете Императора, в грузинском доме графа Аракчеева, в сафьянном футляре, и золотая тисненая надпись сообщала о дне, в которой она была подарена графу, и завещание Аракчеева: быть в ней похороненным.

## *II*

Вскоре по восшествии на престол Император Павел пожаловал Аракчееву и Архарову[655] по 2500 душ крестьян с тем, чтобы они сами выбрали себе поместья. Несколько времени спустя Император спросил Аракчеева: где он выбирает себе имение? Аракчеев ответил, что он очень благодаря Императору за его милости и примет именно там, где ему угодно будет назначить. Павел отвечал, что он говорит вздор, и прибавил: Впрочем, Архаров выбрал Грузино, а он промаху не даст; возьми ты себе Грузино, а он пусть поищет в другом месте». В том же

1796 году Аракчеев вступил во владением Грузином.

## *III*

Будучи восемью годами старше Александра I и притом телосложения и здоровья слабого, Аракчеев никак не думал пережить его, и потому в духовном завещании отказал все свое состояние Государю. После 1825 года он собирался изменить завещание и наследником своим хотел назначить Павла Васильевича Ильина, отец которого был самым искренним его другом[656]. В 1821 году Аракчеев выручил из большой беды Павла Васильевича, командовавшего тогда 1-ю гвардейскою батарейною ротою Его Императорского Высочества. В Гатчине во время похода из Петербурга в Вильну рота эта взбунтовалась. Я не знаю причины этого бунта; знаю только, что при усмирении его Ильин засек розгами до смерти фельдфебеля. Император Александр смотрел очень неблагосклонно на это дело, но Аракчеев сказал Государю: «Я нахожу, что Ильин не виноват; на его месте я поступил бы точно таким же образом». После того Ильин должен был только выйти в отставку.

Задумав назначить Ильина своим наследником, Аракчеев пригласил его поселиться в Грузине, где Ильин и жил в течение двух лет между 1825 и 1830 годами.

Тяготясь, по-видимому, этой жизнию, Ильин просил Аракчеева отпустить его для поступления на государственную службу. Аракчеев согласился, и Ильин был сделан управляющим кронштадтскою таможнею. В Кронштадте он женился на девице Павловой и вместе с женою приезжал несколько раз в Грузино. В последний раз они были в феврале 1834 года, менее чем за два месяца до смерти Аракчеева. При отъезде Аракчеев провожал их до Чудова, где все они остановились в моем доме. 28 февраля на прощанье Аракчеев сказал Ильину: «Дай Бог, чтобы наше дело увенчалось успехом». Затем около 10 апреля Аракчеев заболел и 21-го умер от водяной в груди, не успев привести в исполнение свою мысль. Ильин потом сильно претендовал на меня за то, что я не известил его о болезни Аракчеева.

В разговорах со мною Аракчеев иногда упоминал, что он желал бы продать Грузино. Он думал устроить продажу его в казну чрез друга своего, графа Канкрина, и собирался писать к нему об этом. Я однажды спросил у Аракчеева: во сколько же он ценит Грузино? На это он отвечал, что не отдаст его дешевле, как за 10 000 000 рублей. После продажи Грузина он хотел жить за границей. Аракчеев никогда не предполагал, чтобы Император

Николай сделал из его имущества употребление, увековечившее его имя в потомстве. Если бы он мог этого ожидать, то, я убежден, никогда бы не подумал изменять свое завещание.

## *IV*

Новгородский кадетский корпус был основан по подписке дворян Новгородской и Тверской губерний. Аракчеев пожертвовал 300 000 рублей, на проценты с которых должны были постоянно содержаться 12 воспитанников. Государь приказал именоваться им *Аракчеевскими* и носить на погонах буквы «Г.А.»[657]. Открытие корпуса последовало в марте 1834 года в присутствии Великого князя Михаила Павловича; сначала ожидали даже приезда Государя, но потом он был отменен. Аракчеев не считал удобным уклониться от участия в этой церемонии открытия, но проездом чрез Чудово говорил мне, что ему ужасно не хочется ехать. Он приехал в Новгород за день до открытия корпуса и ночевал в Новгороде; следующую ночь он провел в Бронницах в 9 верстах от корпуса, куда приехал только утром в самый день его открытия После церемонии он тотчас же отправился обратно, причем в Чудове опять заезжал ко мне и был в ужасно дурном расположении духа. Чрез месяц после этого он умер. Деньги, вырученные от продажи его движимого имущества, вместе с оставшимися после его смерти деньгами, составили капитал в $2^1/_2$ м(иллиона) рублей. Наследником всего имения, согласно завещанию, был царствовавший Император Николай, пожертвовавший все это в пользу Новгородского корпуса с тем, чтобы он именовался корпусом графа Аракчеева, имя которого, в случае преобразования корпуса в какое-либо иное заведение, должно быть перенесено и на это заведение.

Русский воин, упомянутый в описании памятника Александру Благословенному в Грузине[658], подле которого стоит щит с гербом и девизом подданного слуги, есть не кто иной, как сам Аракчеев. Бронзовых крестов, подобных надетому на русского воина, роздано народу было 3000[659]. Для дам было 40 позолоченных крестов. Кроме того, три креста были золотые, украшенные брильянтами. Один из них был подарен архиерею, освящавшему памятник, другой протоиерею Грузинского собора — Малиновскому[660], третий же, в футляре, был положен в кабинете Императора Александра, возле его рубашки, с золотою тисненою надписью, сообщавшею о том, что он будет принадлежать жене владельца Грузина, которая должна надевать этот крест ежегодно 29 июня, 30 августа и 30 ноября[661]. Стол, на

котором лежали рубашка и крест, был очень замечателен. Он имел в длину аршина три, в ширину полтора и разделен был на два квадратные ящика под стеклянною крышею, открывавшеюся кверху. На этой-то стеклянной крыше и лежали крест и рубашка, ящики же заключали в себе письма Императора Александра к Аракчееву и важнейшие документы, относящиеся к его царствованию. Бумаги эти, уложенные очень плотно, занимали в вышину вершков шесть. Говорили, что Аракчеев во время своего путешествия по смерти Александра напечатал за границей часть этих бумаг, на что на него были недовольны в России. Впрочем, от самого графа я ничего не слыхал об этом предмете. Он говорил мне только, что сохраняет даже все письма, полученные им в течение всей его жизни от кого бы то ни было, но где они лежали, я не знаю. Он мне показывал однажды печатный экземпляр приказа, данного после взятия Парижа, которым он и Барклай де Толли производятся в фельдмаршалы. Остальные экземпляры этого приказа были тогда же уничтожены. По смерти Аракчеева все его бумаги забрал с собою граф Клейнмихель, Аракчеев предполагал при памятнике устроить дом для инвалидов, но не успел исполнить этого намерения.

## *V*

Когда после Тильзитского мира гвардия вернулась из похода, то особенно плохи были лошади в лейб-гвардии уланском полку. Командир его, Чаликов[662], был очень любим Константином Павловичем. Великий князь выхлопотал у Государя единовременную выдачу 100 тысяч рублей на улучшение лошадей и прочего в полку. Аракчеев, бывший тогда военным министром, представил Государю, что финансы наши и без того расстроены, выдача же денег одному только полку будет несправедливостью относительно других, и Государь отменил эту выдачу. Великий князь Константин Павлович, узнавши об этом, ужасно рассердился и тотчас же бросился к Аракчееву. Аракчеев увидел его подъезжающим из окна и, понявши, в чем дело, вышел из дому с заднего крыльца и поехал во дворец. Великий князь поехал вдогонку и, настигнув Аракчеева во дворце, побранил его. Аракчеев в слезах бросился к Государю с жалобою на Великого князя и просил уволить его от занятий делами. Насилу Государю удалось уговорить Аракчеева остаться военным министром, и чтобы дать ему хоть некоторое удовлетворение, Ростовский пехотный полк был назван полком графа Аракчеева. Этот случай рассказан мне бывшим адъютантом Аракчеева, Петром

Яковлевичем Перреном[663]. Аракчеев сам вообще никогда не рассказывал про свои неприятности или неудачи.

# Рассказы крестьян и солдат об Аракчееве

# 1. Рассказы бывших военных поселян о графе Аракчееве[664]

## *I*

Когда была убита кастелянша Аракчеева, то тело ее было погребено в Грузине и на памятнике сделана надпись: «Здесь покоится прах Анастасии». Но нашелся такой человек, который, чтобы рассердить графа, внизу под этой надписью на бумаге написал:

> Здесь покоится прах Анастасии и Аракчеева к себе зовет для благости России[665].

Каким колдуном ни был граф, но никак не мог отыскать проказника.

## *II*

Графский повар говорил, что он тайком от графа нюхал табак, а граф ему запрещал.

Вот однажды Аракчеев, чтобы уличить повара, ощупал в кармане у него табакерку и спросил: «Что это такое?» Заставил вытащить и потом велел ему эту табакерку положить на пол и самому разбить ее молотком, чтобы он не осмеливался больше нюхать. Повар по своей привычке не утерпел и обзавелся новой табакеркой, но скоро граф заставил его и эту разбить. Тогда повар стал носить табак то в бумажке, то в платке. Видит граф, что ему не отучить повара нюхать табак; купил ему в подарок дорогую серебряную табакерку, а потом и сам нередко вместе с поваром нюхал из этой же табакерки.

## 2. Рассказ новгородского старожила [666]

У Аракчеева, в его Новгородских военных поселениях, был один штаб-офицер, которому, как почти всем тогдашним офицерам, донельзя противна была вся эта неустанная, ежечасная деятельность по так называемому муштрованию несчастных тамошних крестьян, превращаемых в каких-то кукол наподобие потсдамских, лудвигсбургских и иных немецких воинов. Штаб-офицер этот имел в своем ведении целый поселенный участок и должен был с утра до ночи заниматься всяческою чистотою от рубашки крестьянина до паутины по углам его избы, от канав и изгородей до измерения угла при подъеме ноги на учебных смотрах. Что делать? Как ни противно, а служба! Ею дорожили в старину больше нынешнего. Затаенную злобу на эти беспощадные порядки штаб-офицер выразил иронически. В домашнем хозяйстве своем он развел множество индеек и устроил им большие клетки с ящиками снаружи для корму. Долговременным упражнением довел он индеек до того, что, как только клетка отворялась, индейки чинно и стройно выходили из нее, в предводительстве зобастого петуха, и поочередно становились одна за другою у ящиков, вытягивали шеи и оставались неподвижны до тех пор, пока штаб-, офицер гнусливым аракчеевским голосом не произносил слов: «Здорово, ребята!» Тогда только петух бормотал обычные свои звуки с трясением красного зоба, а вместе с ним все индейки стройно и в один миг оборачивались и принимались клевать пищу. Это повторялось ежедневно утром и вечером, и фронтовые шаги и обороты птичьи доведены были до высокого совершенства. Крестьяне-солдаты об этом знали и, конечно, про себя выражали сочувствие затее чудака, своего начальника. Слух о ней, разумеется, дошел до самого Аракчеева, сего грозного Силы Андреевича. «Быть беде!» — думает штаб-офицер.

Однажды приезжает к нему в участок Аракчеев и начинает подробный осмотр с обыкновенными своими придирками. Но начальник поселенного участка был деятелен и заботлив: куда ни пойдет Аракчеев, все в отличном порядке и полнейшей исправности, все согласно инструкциям и напечатанным планам, всюду примерная чистота, каждая вещь под номером и на своем, назначенном месте. Даже в избе солдата-поселенца подметено, выметено; ни паутины, ни сору. Аракчеев доволен, заметно смягчается и начинает убеждаться, что штаб-офицер простер свою порядливость даже на индеек не в насмешку, а по любви к делу. Обозрев все поселения и все нашед в хорошем положении, он

спрашивает штаб-офицера: «Ну что еще у тебя посмотреть? Не покажешь ли твоего собственного хозяйства?» И вот они отравляются в офицерскую усадьбу, и тут тоже тщательный осмотр. «Да нет ли у тебя чего особенного на показ?» — «Кажется, ничего такого нет», — отвечает истомленный и внутренне трепещущий хозяин. «Слышал я, что охотник ты до птиц». — «Точно так, ваше сиятельство». — «Так дай мне полюбоваться». Нечего делать, надо вести к индейкам. «Покажи, покажи, вели отворять клетки». Индейки выскочили и стройно обступили свои корытца. Граф не может надивиться. «Ну как же ты их кормишь? Правда ли, что по команде?» Офицер принужден произнести: «Здорово, ребята!» — но произносит эти слова обыкновенным свои голосом: ни петух не кудахчет, ни его подруги не поворачиваются к корытцам. Тогда Аракчеев сам произносит то же, и мгновенно совершается привычная эволюция.

Грозный граф доволен отменно и уезжает, похваливая усердного офицера.

# 3. Крестьянин Шеллоник
# Граф Аракчеев [667]

## *I*

Люблю я слушать рассказы дедушки Ивана о старине. Рассказывает Дедушка живописно и просто — факты он передает так, что будто бы ты сам видел их, заметил все мелочи.

Записывая рассказы дедушки, я чувствую, что они многое теряют под моим пером.

А рассказывает дедушка о тяжелых временах аракчеевщины, о военных поселениях и о всякого рода издевательствах над мужиками разного начальства.

Сам дедушка Иван не жил во времена царства Аракчеева и о деятельности его он узнал от старожилов, а главным образом от своего отца Степана и деда Феофана.

«Терпеть не могу, — начнет дедушка Иван, — когда начнут ругать графа и называть его — такой, сякой — мучитель, тиран… Благодетелем мужиков был Аракчеев, добрым и заботливым отцом, а не мучителем. Без хлеба ни один не сиживал, не вздувало с голоду брюхо, как в нынешние времена.

А лупцевал он нашего брата за дело — дарма никого не обижал. Пьяниц и лентяев не любил он дюже, а зато кто работал по порядку, то тому граф оказывал всякую помощь. Бывало, околела лошадь или корова — другую распорядится дать, — получи и работай!

А теперь что? Пьяниц разводят, чтобы водки больше выпили, кабаков понастроили!..

Чтобы нынче кому корову или лошадь дали, хотя бы взамен околевшей, — и вспомину нет. Последнюю со двора уводят. Теперь вот и хлеба нет, и работы нет, и дров неоткуда привезти, — кругом леса барские да казенные, а подати все-таки подай. Выжимают последнюю силу…

Аракчеев, бывало, возьмет оброк только с того, кто в силу взойдет, кому нет от этого разоренья…

Да и народ-то нынче стал не то, что прежде. Видно, Бог в наказание и начальство-то такое дал.

Эво, теперь не могут соблюсти порядка в полях. Ни дорог, ни канав, ни мостков не стало в поле; плехнет немного дождя, ну и затонули все полосы и все труды, а дороги обращаются в лужи — ни пройти, ни проехать. Стыдно за народ-то становится…

Приезжают агрономы, говорят о том, как лучше работать надо, о травосеянии, о скотоводстве, а что из этого толку? И добра агрономы-то желают, это видно, — спасибо им, но народ-то… Снопы на полосах начинают воровать один от другого, и может ли тут идти речь о травосеянии?

При Аракчееве не так было. Он за такой беспорядок запорол бы.

У графа не было агрономов, и он не допустил бы уговаривать мужиков, чтобы лучше работать.

У него агроном сидел в голове. Приедет, осмотрит, прикажет, и глядишь — мужик с хлебом. Да и на поля-то любо посмотреть было. Всюду порядок, канавы глубокие, не засорены, дороги ровные, а рожь-то так весело колышется, словно кланяется в пояс каждому и говорит спасибо за внимание к ней. <…>

Вспомнишь Аракчеева — царство ему Небесное — не раз, глядя на теперешние порядки», — и дедушка всегда в конце своих суждений высказывает пожелание, чтобы граф явился с того света хотя на один бы годик почистить землю от мусора.

Теперь передам несколько отдельных рассказов дедушки, характеризующих Аракчеева в разные моменты истории его власти и господства.

В изложении буду придерживаться того порядка мыслей и фактов, который установился в голове у дедушки, а также, по возможности, буду дословно воспроизводить наиболее характерные выражения дедушки.

«Прежде не так живали — по спинам нашим и наших отцов ходила палка и розги, собой ты не мог распорядиться ни на одну минуту, — везде чувствовался сердитый и дозорный глаз Аракчеева. Прежде и народ не такой был: покорно исполнял он волю начальства и безропотно вытягивался перед ним в «струнку».

Бывало, катит по деревне на рысаках окружной командир, так все кто куда — в разные стороны, лишь бы не налететь на грех. Если не удавалось улизнуть от налетевшей грозы, так становись и — глазом не моргни, головой не тряхни, а руки и ноги в колья обрати…

А когда изволит осматривать своих подданных поселян сам Аракчеев, то… — дедушка в этот момент с каким-то трепетом покачает головой и отрывчато махнет рукой. — Замрет комар и муха…

Однажды Аракчеев осматривал поля, только что зазеленевшие всходами озими. От дождя в бороздах стояла вода, и где хозяин полосы не успел выпустить ее, Аракчеев останавливался.

Выйдет из кареты, запряженной шестеркою лошадей, и грубо-гнусавым голосом завопит; «Чья полоса? где мерзавец? давай его сюда!»

Но не могли же все хозяева полос быть в поле, и Аракчеев набрасывался на голову.

Раз, раз, — хлопал по щекам голову, — раз, раз. Голова не пошевелится, и когда граф от него отойдет, то подзовет сотского и поступит с ним по-аракчеевски, т. е. накрасит морду за недосмотр.

Сотский добирался уже до хозяина полосы.

Таким-то манером и поучался поселянин Аракчеевым, если не личной расправой, то через посредство начальников.

И все были довольны.

Но, сказывали старики, — иногда милостив был Аракчеев-шутник. Едет этак он по полям и видит непорядок — в межах вода. Подозвал голову и затопал на него ногами. Голова не квыкнет — молчок…

Граф смотрел-смотрел на него и скомандовал: «Ложись и пей и выпей до капли, чтобы полоса не мокла!..»

Голова растянулся на зеленевшей озими и начал сосать…

«Ха-ха-ха!» — захохочет граф и поедет дальше.

И, надо вам сказать, натуристый был граф. Уж раз что назначит, прикажет — шабаш, так. Иногда и жалость одолевала его, но уж настоит на своем.

Служил при графе писец, шестидесятилетний старичок, трудолюбивый и добрый такой. Аракчеев любил своего писца, и иногда этот писец, царство ему небесное, сокращал гнев графа. Но однажды старичок чем-то провинился перед графом, и граф приказал ему всыпать полсотни.

Началась расправа. Старичок взвыл… Граф присутствовал при расправе, и, должно быть, жалко старика-то стало. Но вместо того, чтобы отменить наказание, граф встал перед растянутым и привязанным к скамейке стариком на колени и почти со слезами умолял: «Голубчик, потерпи, ведь пятьдесят положено, только-то, потерпи, дорогой!..»

## *II*

Здоровенный мужчина был мой дед Феофан — высокий, в плечах целая сажень, а кулаки что полупудовки.

Аракчеев почитал Феофана, всегда заезжал к нему на дом держать советы. Феофану привольно жилось, не так, как прочим мужикам. Он был освобожден от всех обязанностей пахотного

солдата.

Вас это удивит, но я постараюсь объяснить, в чем дело.

Приехал однажды в наше село Аракчеев из Грузина, собрал мужиков и прочитал: по указу Е[го] Императорского] В[еличества] объявляю вас на положении пахотных солдат и т. д.

— Кто желает исполнить царскую волю?

На предложение графа мужики ответили молчанием. На второе предложение они ответили, что не желают быть солдатами. Граф начал уговаривать мужичков и объяснил, что волю Государя бесполезно не слушать.

— Кто желает? — повторил граф третий раз.

Из толпы мужиков вышел мой дед Феофан.

Граф посмотрел на него, смерил взглядом с головы до ног, а когда Феофан подошел к нему совсем близко, граф взирал на него так, как смотришь на верхушку большого дерева…

— Ну, ты чего?

— Желаю исполнить волю Его Величества, ваше сиятельство!

По лицу графа разлилась улыбка удовольствия, и он сказал: «Однако, хорош молодец — будешь мне товарищем!..»

Кроме Феофана пожелали быть солдатами еще три мужика, но они были из других деревень.

Остальным же, не пожелавшим добровольно быть солдатами, граф приказал всыпать по полсотне розог по очереди, пропуская одного. К этому делу приступили солдаты — граф, верно, чувствовал, что мужики будут упорствовать, и захватил с собою на всякий случай их целую роту.

Так-то вот наших мужиков и обратили в военно-пахотных солдат.

Через несколько времени Аракчеев снова приехал в наше село, собрал мужиков и прочитал царский указ о даровании льгот крестьянину Феофану Филиппову.

Кроме льгот граф привез Феофану от самого Царя подарок — почетный кафтан, а супруге его от Государыни платье и кокошник.

В первую же службу Феофан с супругою стоял среди церкви, дабы показать народу, что за Царем служба не пропадает.

Феофан осенял себя широким крестом и был доволен тем, что народ смотрел на него с благоговением.

## *III*

Кроме землепашества Феофан занимался рыбной ловлей неводами в реке Волхове.

Тогда не надо было платить за право ловли рыбы неводом, как теперь, а лови кто хошь, у кого сила есть.

У Феофана было два сына — Степан и Михаил. Кроме сыновей на рыбную ловлю Феофан нанимал поденщиков, а сам он не ездил на ловлю. Однажды сыновья Феофана изловили в Волхове трех больших стерлядей.

Пойманных стерлядей, как небывалую редкость, Феофан задумал подарить графу за его милость и уважение.

Едет этак граф по дороге на шестерке, Феофан выбежал на дорогу и сделал рукою знак, чтобы кучер остановил лошадей.

Лошадей кучер задержал, но графа это так рассердило, что он выскочил из кареты и закричал, как будто не замечая Феофана: «Кто меня осмелился остановить? Кто такой? давай его сюда!» — и т. д. и понес и понес.

Феофан молчал, но когда граф успокоился, то заявил, что остановил графа ради преподнесения ему подарка, состоящего из трех живых стерлядей.

Граф ухмыльнулся и, как всегда, грубо-гнусавым голосом проговорил: «Выдумал тоже — графу подарок! Да за что? Ты бы лучше придумал подарить их Царю, а не графу. Царь отблагодарить сумеет, а то выдумал — графу подарок!..»

— Ты можешь свезти их в Питер живыми?

— Могу, ваше сиятельство, — пересажу их из садка в кадку с водой, запрягу лошадей — и марш!..

— Ты лучше у графа спроси, как везти их, а то ляпнешь тоже — запрягу и марш! Ты поезжай в Чудово и скажи только, что Феофан едет, и лошади будут до самого Питера — я распоряжусь.

Граф сел в карету, застучали колеса, и через минуту он скрылся за поворотом дороги.

Дело было осенью. Следующее утро было холодное, и Феофану не захотелось самому ехать в Питер со стерлядями.

И говорит он своему старшему сыну: «Степка, а Степка, поезжай в Питер к царю с подарками, а мне что-то не хочется — холодно на улице. Да не забудь, смотри, сказать в Чудове, что едет Феофан».

Мигом стерляди были пересажены в кадку с водою, и до Чудова Степана повез его брат Михаил.

В Чудове было уже известно, что в Питер поедет Феофан и что ему нужно будет лошадей. Известно было об этом и на других станциях.

Только что Степан подъехал к Чудовской почтовой станции, смотритель выскочил и тревожно спросил, что не Феофан ли приехал. Получив утвердительный ответ, он мигом распорядился запрячь лучших лошадей, и Степан покатил по ровной шоссейной

дороге.

В Померанье, в Тосно и на прочих почтовых станциях смотрители встречали Степана с той же осторожностью и тревогой, как и в Чудове. Кроме этого, они почтительно предлагали Степану зайти закусить, — тогда чаев не было, — но Степан отказывался, ссылаясь на то, что у него не съедена еще взятая из дому коврига хлеба.

Живо Степан явился в Питер, подъехал ко дворцу, и придворные служители, заметив в кибитке мужика в сером солдатском кафтане, сообразили, что это Феофан.

Весть о прибытии стерлядей не замедлила дойти до Царя, и он вышел вместе с Аракчеевым из дворца принять подарок. Аракчеев смутился и взволновался, что приехал Степан, а не Феофан, и он спросил: «Почему не приехал Феофан?»

Народ тогда простой был, — нужно было сказать, что Феофан заболел, — а Степан ответил так: «Да ему холодно показалось, — поезжай, говорит, Степка, а я дома останусь!»

Граф разгорячился и сказал Степану: «Передай отцу, что ему от меня попадет».

А Царь, обращаясь к Степану, сказал: «Скажи твоему отцу, что граф ничего ему не сделает!»

Сразу после этого разговора Степан поехал обратно.

Сидя в кибитке, он жевал ковригу хлеба и поглядывал на прохожих, проезжих и на деревья, около дороги, взвившиеся к небу.

На станциях так же поспешно и тревожно перепрягали лошадей, и Степан скорехонько примчался в Чудово. С Чудова до дома он ехал на своей подводе.

Дома Степан сказал отцу, что граф рассердился на него, и передал разговор Царя с графом по поводу того, что он не приехал.

Феофана от такой вести как-никак, а коробило, и он с беспокойством поджидал графа.

Вскоре граф приехал и остановился против дома Феофана.

Феофан выскочил из избы, и граф, обращаясь к нему, сказал: «Иди, иди, голубчик, иди домой — тебе холодно, как раз озябнешь, — иди, ступай, ступай! Да пошли-ка сынка-то Степана!..»

Пришибленный и сконфуженный Феофан поплелся обратно. Когда Степан выскочил, то граф обратился к нему с такой речью: «Вот тебе монарх прислал сто рублей и отцу двести — на, неси их отцу!» Передал деньги и помчался дальше.

А после, месяца через два или три, граф все-таки помирился с Феофаном, и между ними установились прежние отношения <…

>

## 4. Народное сказание о смерти Аракчеева [668]

В городе Тихвине мне пришлось услыхать характерное предание о смерти Аракчеева, лица еще очень памятного здесь.

Как-то раз проходила через Грузино одна цыганка-волшебница. Граф узнал о ней и призвал ее к себе погадать. «А ну-ка, — говорит, — старуха, скажи мне, когда и как я умру?» — «А умрешь ты, голубчик, — отвечает волшебница, — через столько-то и столько-то времени от *севоднишново* дня, и не своей смертью помрешь». Задумался Аракчеев. «А ты правду говоришь?» — спрашивает. «Никогда не вру», — говорит цыганка. «Ну а как ты умрешь и когда ты умрешь?» — «А я умру сегодня, и тоже не своей смертью». — «Ну хорошо, — говорит Аракчеев, — если будет так, то я поверю твоему предсказанию». Наградил Аракчеев цыганку и отпустил, а за нею сзади послал верхового следить за нею. Долго шла цыганка, часа четыре шла, а верховой за ней едет шажком да думает: «Ишь, проклятая, не умирает-то как долго». Ехал, ехал верховой, надоело; повернул он коня, да так круто повернул, что конь сорвал с ноги подкову; подкова-то соскочила да прямо цыганке в висок. Сразу же тут и умерла цыганка. Приехал верховой к Аракчееву, докладывает: «Так и так, умерла цыганка». — «Ну, значит, правду она мне предсказала, — подумал Аракчеев. — Значит, скоро я умру и не своей смертью». И действительно, через то самое время, как цыганка предсказала, отправили его на тот свет: зелье в кушанье подсыпали.

# Е. М. Романович [669]
# Предсмертные дни и кончина графа Аракчеева

Служа в Аракчеевском, ныне Ростовском гренадерском принца Фридриха Нидерландского полку, я с полком своим стоял в Новгородской губернии, в 60 верстах от местопребывания графа Аракчеева, то есть от села Грузина, в так называемом Графском поселении, расположенном по берегу реки Волхова. Аракчеев был шефом нашего полка, и во время торжественных дней и праздников от нашего полка всегда отряжался офицер для поздравления графа. В 1834 году, перед наступлением Пасхи, я, в звании полкового адъютанта, назначен был к поездке в Грузино для поздравления графа с светлым праздником. Грузино — это богатое село, расположенное по реке Волхову, с роскошным домом и великолепным садом. Я прибыл туда в четверг на Страстной неделе; обо мне докладывают его сиятельству, который изъявил желание меня видеть. Я был тогда ловким молодым человеком. Застаю графа сидящим в кабинете; я ему раскланялся и отрапортовал о себе и о своем назначении.

— Кто ты такой? — спросил граф несколько в нос.

— Романович, ваше сиятельство! — отвечал я.

— Поляк!! — воскликнул как будто с ужасом Аракчеев.

— Никак нет, ваше сиятельство! Малороссиянин из Черниговской губернии, — возразил я.

— Это все лучше, — ответил Аракчеев уже несколько смягченным тоном, — а то поляк — подлец!

Тут он стал приветливее, посадил меня, вступил в разговор, порицал правительство, причем великому князю Михаилу Павловичу также досталось немало.

— Знаешь ли ты К[лейнмихеля]? — спросил он меня потом.

— Имею счастие знать, — отвечал я.

— Какое тут счастие! — с гневом возразил он мне и при этом рассказал о тех благодеяниях, которые он будто бы оказал генералу К[лейнмихел]ю, когда тот был еще в офицерских чинах, и горько жаловался, что К[лейнмихель] забыл его и никогда не навестит. Затем спросил меня, не желаю ли я осмотреть его комнаты, и когда я изъявил согласие на его любезное предложение — «Смотри, — сказал он, — почаще читай, что написано на стенке». Я, признаться, вначале не понял слов этих, смысл которых был для меня весьма загадочен. Камердинер повел

меня по комнатам, роскошно отделанным; каждая комната имела свой инвентарь, где было вписано все, что заключалось в комнате. Инвентарь этот висел на стене, и рукою самого графа было надписано: «Глазами гляди, а рукам воли не давай». Тут-то стал мне понятен смысл его слов: почаще читай, что на стенке написано. Из всех комнат, мною осмотренных, особенно замечательна так называемая Александровская; называлась она так, потому что Император, бывая у Аракчеева, там занимался. В этой комнате сосредоточено было, так сказать, все величие Аракчеева, все прошедшее его славы, уже померкшей при покойном Николае. Так, на столе стоял мраморный бюст Александра на литом серебряном пьедестале, на одной стороне которого выписано было золотыми буквами письмо Государя к Аракчееву из Таганрога незадолго до кончины Его Величества. В этом письме Государь уведомлял его о расстроенном и почти безнадежном состоянии своего здоровья, уверял его в своей вечной дружбе и преданности к нему. На другой стороне — надпись такого содержания: «Кто осмелится прикоснуться к этому бюсту, тот да будет анафема, проклят!» Тут же стояла чернильница и хранилось перо, которым писал Император Александр; сорочка, в которой он родился, печать, им употребляемая; в стеклянном ящике сберегалась холщовая сорочка, в которой почил Александр и в которой Аракчеев завещевал себя похоронить; лоскут глазета от его гроба и множество писем и бумаг. На стене висели часы, которые однажды в год, а именно 19 ноября в 1 час (в день и час кончины Императора), играли «Со святыми упокой!..». Осмотревши комнаты, я возвратился в кабинет к графу Аракчееву. «Пьешь ли ты водку?» — спросил он меня и, получив отрицательный ответ, похвалил меня, сказав, что и он ее не употребляет, и приказал подать вина. Мы выпили.

На другой день в пятницу, в 3 часа пополудни, Аракчеев почувствовал сильную боль в груди (антонов огонь) и тотчас потребовал медика. При нем находился тогда в качестве домашнего врача некто г. Левицкий. Тот явился и увидал, что состояние графа безнадежно. Аракчеев начал бранить и медиков и медицину, требовал, чтобы продлили ему жизнь на два месяца, потом уменьшил этот срок на месяц, умолял, сердился. Наконец просил, чтобы послали за Арендтом[670] в Петербург. Я послал тотчас фельдъегеря, которых при графе находилось 6 человек, и тот полетел в Петербург. Между тем Аракчеев стал приходить в бешенство. Раздавались проклятия; наконец он взмахнул руками и одну из них всунул в рот с криком: «Проклятая смерть!» — и испустил дух в присутствии моем, в присутствии врача и

камердинера. Омывши тело покойного, мы стали одевать его: надели на него холщовую рубашку, в которой умер Император Александр, облекли его в парадный генеральский мундир и положили на стол. Потом я запер двери и запечатал их своею печатью и печатью бурмистра и отправился во флигель спать. Вдруг в 4 часа ночи меня будят; говорят: «Пожалуйте, приехал генерал Клейнмихель». Я тотчас встал, являюсь. «Кто такой, и зачем?» — спросил генерал. Я объясняю. «Все ли благополучно?» — снова спросил меня К[лейнмихель]. «Все благополучно», — отвечал я. Тогда мы пошли в дом в сопровождении фельдъегеря, прибывшего с генералом. Я отпечатал и отпер двери. К[лейнмихель] вошел в Александровскую комнату и стал прибирать бумаги покойного, вынул письма из пакетов, пересчитал их и другие бумаги в моем присутствии, вложил в папку, запечатал и отдал фельдъегерю, который и отправился с ними в Петербург.

В Светлое Воскресение приехали генералы и другие важные лица из Петербурга, а также племянник Аракчеева, полковник со звездою, и Грузино оживилось. Между тем вызван был Аракчеевский полк, прибывший на подводах, и батарея артиллерии. Когда нужно было класть тело покойного в гроб, то К[лейнмихель] обратился к нам, офицерам, с вопросом, не желает ли кто переложить тело покойного, но никто не изъявил желания, и тело должны были положить священник и племянник Аракчеева. Ко гробу приставлен был почетный караул из офицеров, которые менялись чрез каждые два часа денно и нощно; диакон читал псалтырь. Нам однажды захотелось шампанского. Подали, конечно, в другой комнате, куда вышли и мы. Один из офицеров подошел ко гробу со стаканом в руках. Диакон положительно обмер: «Что вы! — сказал он отчаянным голосом, — как это можно! Что, если да граф встанет? беда нам, все пропали!» Во вторник совершено было погребение новгородским архиепископом с участием архимандритов и множества духовенства. Тело покойного положено при находящемся в Грузине великолепно устроенном храме, в склепе, рядом с прахом его наперсницы Анастасьи. Над могилой поставлен памятник художественной отделки.

Вот что рассказывали тогда о истории этого памятника[671]. В декабре 1833 года приезжает в Грузино молодой человек и привозит этот памятник. На вопрос графа: откуда этот памятник? — молодой человек отвечал, что кто-то от имени графа заказал его, что даже деньги за него, и равно и за провоз, отданы. На памятнике была изготовлена надпись следующего содержания: здесь лежит тело новгородского дворянина Алексея

Андреевича Аракчеева, родившегося в таком-то году и умершего (оставалось вписать только год и месяц смерти). Это обстоятельство немало удивило Аракчеева и крайне его смутило. Предполагали, что оно имело немало влияния на ускорение его смерти. Этот-то самый памятник и был поставлен над могилою его. Другая причина могла быть та, что Аракчеев, столько трудов положивший на свою любимую идею, на свое создание (я говорю о военных поселениях), замечал, что они год от году все более и более приходили в упадок и не было уже сил поддержать их. Жалкое состояние этих поселений, конечно, не могло не возбуждать крайне и без того раздражительного темперамента этого причудливого временщика; оно не могло не поселять грусти в его сердце при виде столь жестоко обманутых ожиданий.

Почти тотчас по смерти знаменитого владельца Грузина начались между крестьянами беспорядки: избавившись от долго висевшего над ними гнета, крестьяне бросились все опустошать. Вследствие этого в виде военной экзекуции мы, то есть наш полк должен был простоять в Грузине еще несколько времени, и мы простояли там более двух месяцев и отправились оттуда в Петербург. Славно пожили мы тогда! Офицеры и солдаты — все это жило на счет Аракчеева, и мы были всем обеспечены совершенно. Распорядителем всего был уездный предводитель дворянства Тыртов[672], и мы ему, признаться, много надоедали нашими требованиями.

Недели чрез две приехал в Грузино брат Аракчеева Петр Андреевич с женою[673]; отдали последний долг усопшему и прожили некоторое время в Грузине; но когда открылось, что Аракчеев все имение свое передает Новгородскому корпусу, то эти родственники с негодованием уехали. Замечу при этом, что поведение наше, это веселие и этот разгул солдатской жизни вначале сильно не нравились брату Аракчеева, и он дал нам заметить через Тыртова, что подобное поведение неприлично, что тело покойного еще не остыло и что мы живем на всем содержании графа, следовательно, должны почесть его память. Но, как я сказал, Аракчеев-брат и жена его скоро уехали, и разгул наш не потерпел перерывов…

Странная личность была этот покойный Аракчеев, скажу я вам! Кому неизвестна желчность, раздражительность его? Вот несколько случаев в дополнение к моему рассказу: одних я сам был свидетелем, о других слышал от лиц, к нему приближенных. Так, например, граф не питал никакого уважения к браку — он, можно сказать, пренебрегал им. Вот что мне рассказывали. В огромном имении Аракчеева постоянно нарастало значительное число женихов и невест; о них обыкновенно докладывал графу

бурмистр, и граф приказывал представить их к себе; являлись парни и девицы целою толпою. Граф расставлял их попарно — жениха с выбранною им невестою; Иван становился с Матреною, и Сидор с Пелагеею. Когда все таким образом установятся, граф приказывает перейти Пелагее к Ивану, а Матрену отдает Сидору и так прикажет повенчать их. Отсюда в семействах раздоры, ссоры и разврат. В Грузине был большой порядок и чистота: главная улица не уступала любому паркету богатого аристократического дома. Это была, так сказать, парадная улица. Хозяйственные и другие принадлежности домашние крестьяне обязаны были возить по околице, облегавшей задние дворы селения. Избави Боже, если кто попадется из крестьян с навозом или другим чем на главной улице: тот бит будет много! В экзекуциях своих Аракчеев доходил до нероновской артистичности: так, донесли ему однажды, что у крестьянина нашлась табакерка с табаком, чего Аракчеев терпеть не мог. Назначена крестьянину порка: откомандировали хор певчих, состоящий из молодых красивых девиц, все в красных сарафанах; разложили мужика с табакеркой и всыпали ему значительное число горячих. Во время экзекуции певчие пели: «Со святыми упокой, Господи!»

# А. П. Бровцын [674]
# Опровержение рассказа о кончине графа Аракчеева

Прочитав во 2-й книжке «Русского архива» за 1868 год статью «Предсмертные дни и кончина графа Аракчеева», я поражен был чувством горького соболезнования о вымысле, доведенном Г[осподином] Романовичем даже до того, что он не остановился назвать себя очевидцем смерти графа Аракчеева и будто, беседуя с графом перед его смертию, пил с ним вино.

Не вхожу в рассуждение о том, что г-н Романович был наряжен от полка поздравить графа не с четвергом Страстной недели, а с праздником Воскресения Христова, следовательно, и не мог приехать в Грузино в четверг и докладывать о себе графу, что он прислан от полка поздравить его с праздником Воскресения Христова. При известной всем привычке графа к аккуратности и точности исполнения, он не вино бы стал пить в Великий четверг с г-м Романовичем, а подверг бы подобное действие неминуемо замечанию, а может быть, и более.

Я, как действительный очевидец предсмертных дней и кончины гр[афа] Аракчеева, для восстановления истины не должен пройти молчанием вымышленного сказания г-на Романовича и считаю себя обязанным опровергнуть последовательно весь его вымысел. Граф Аракчеев в кабинете своем в Грузине не принимал, вероятно потому, что кабинет его был вместе и его спальней; а в то время в кабинете своем не мог принять еще и потому, что кабинет вновь отделывался, и граф по этому случаю перешел в другую комнату, и именно в ту, которую г-н Романович называет Александровскою, то есть в ту, в которой опочивал и занимался покойный Император Александр Павлович, когда бывал у графа в Грузине. Так резко, как слово «подлец», граф никогда не позволял себе выражаться; а царскую фамилию, перед самыми близкими своими, не только не позволял себе порицать, но, напротив, показывал себя благоговеющим и преданным ей. Можно ли же дать веру, что граф, при его сдержанности, порицал правительство и Великого князя, выпив рюмку вина в Великий четверг с офицером полка своего имени? Инвентари в каждой комнате были, но надписей на них рукою графа «глазами гляди, а рукам воли не давай» не было; в том можно удостовериться и ныне на месте. Мраморный бюст покойного Государя Александра Павловича не токмо никогда не

стоял на столе, но и не мог стоять, потому что оный поставлен не на серебряном пьедестале, а на серебряной колонне двух аршин высоты, и не в комнате, называемой г-м Романовичем Александровскою, а в соседней с нею между двумя окнами, перед зеркалом во весь простенок, от потолка до полу. На колонне выписано не все письмо покойного Государя Александра Павловича, и для зрителя оно остается тайною, а г-н Романович определяет самый текст письма; на колонне вырезан токмо конец письма, и именно: «Прощай, любезный Алексей Андреевич, не забывай друга, и верного тебе друга!» Под сими словами вырезан текст из Священного Писания славянскими буквами: «Прильпни язык мой к гортани моей, аще не помяну тя на всяк день живота моего»[675]. Так граф Аракчеев, желая показать расположение к себе Государя, во услышание всех изъявлял и свое обещание неизменной преданности и благодарности к Государю и благодетелю своему, как он всегда выражался. На противуположной стороне колонны, обращенной к зеркалу, нет вырезанного запрещения под проклятием не дотрогиваться до бюста (напротив, в присутствии самого графа все его смотрели и трогали); а вырезано завещание под проклятием не уничтожать сей знак преданности Аракчеева к Государю и после его смерти. Так как комнаты всего нижнего этажа, в которых граф жил постоянно и которые хранят сии памятники преданности его к Государю, оставлены до сего времени в том виде, как они были при жизни графа, то желающие проверить описанное мною, в опровержение вымысла г-на Романовича, могут все увидать, посетив Грузино. Сорочки, в которой родился будто бы покойный Государь, на столе никогда не было; да если бы и признано было приличным сохранять подобное, то, вероятно, нашлось бы место не в селе Грузине. Это выше уже всякого вымысла! Полотняная рубашка Государя Александра Павловича на столе хранилась, но не в стеклянном ящике, а в полированном деревянном, на котором была надпись, объясняющая случай, по которому оная была дана графу Государем во дворце, а совсем не та, в которой Государь скончался. Часов в комнате, г-м Романовичем называемой Александровскою, не было никаких, а были часы в соседней комнате, мраморной, и не висящие на стене, а на большом пьедестале, стоящем на полу также в простенке и против колонны с бюстом, очень большие столовые часы, превосходной бронзы и работы, заказанные в Париже за сорок тысяч франков, которые не однажды в год, а каждый день в час кончины Государя Александра Павловича играют «Со святыми упокой». Вина граф не пил, находя его вредным. И для гостей самых почетных ничто не выходило в Грузине из определенного часу и порядка; вино

там подавалось только к столу, и для г-на Романовича граф не вышел бы из этого порядка, раз и навсегда утвержденного. <…>

Граф Аракчеев занемог не в Страстную пятницу, а в пятницу шестой недели поста и немедля послал в Петербург за доктором Миллером, который пользовал его прежде; и в то же время Государь Николай Павлович, узнав о болезни графа, прислал к нему лейб-медика Я. В. Виллье; Левицкий же был токмо врачом госпиталя, устроенного в Грузине для крестьян. В понедельник Страстной недели граф почувствовал себя хуже и во вторник послал в Старую Руссу (в 150 верстах от Грузина) за генералом фон Фрикеном[676], бывшим некогда командиром полка имени графа, которого граф любил и впоследствии оказывал свое расположение ко всему его семейству; а вместе с тем послал и за мною. В то время я был в имении моем (50 верст от Грузина). Ко мне граф был расположен по дружбе его с отцом моим[677], корпусным его товарищем; сему я имею доказательством сохранившиеся у меня в большом количестве собственноручные письма графа Аракчеева к отцу моему, часть которых передана мною артиллерии генералу В. Ф. Рачу[678], пишущему записки о графе Аракчееве, которому я обещал, когда придут к тому времени записки, сообщить и более подробные сведения о предсмертных днях и кончине графа Аракчеева.

Я приехал в Грузино в среду в полдень. Граф выразил мне свою признательность, что скоро приехал, и я оставался при нем до часу его смерти, Я. В. Виллье и доктора Миллера я нашел уже в Грузине при графе; они объявили мне о безнадежном его состоянии. Весть о болезни графа дошла и до Новгорода. В четверг приезжал в Грузино новгородский губернский предводитель дворянства Н. И. Белавин[679], но о нем графу не докладывали, и Н. И. Белавин, узнав о тяжком состоянии болезни графа, в четверг же и уехал. В пятницу болезнь пошла еще к худшему; сделалась сильная одышка (у него предполагали аневризм в сердце, а не антонов огонь), но при всем том в пятницу вечером около 8 часов граф пожелал видеть свой кабинет, только что оконченный возобновлением, и просил меня свести его туда, что я и исполнил, поведя его под руки вместе с человеком его Власом; но, проведя комнату соседнюю с тою, где граф лежал, мы встретили идущего к графу Я. В. Виллье, который тотчас же его остановил, объяснив, что движение может сделать ему вред. Тогда граф приказал посадить себя в той же комнате на кресло против бюста, на серебряной колонне стоящего; говорил со мною о многом, и когда подали огонь, просил меня читать ему газету, что продолжалось часа полтора; потом приказал положить себя на диван в комнате, где он лежал; но лежать не мог, сел на

том же диване обложенный подушками и скончался в субботу утром, в то самое время, когда за заутреней носили плащаницу крутом Грузинского собора[680].

Удостоверяю как очевидец, что граф, больной, медицины и докторов не бранил и скончался, не всовывая в рот пальцев. Тело графа обмыли его люди, и я сам помогал надеть на него завещанную им полотняную рубашку покойного государя Александра Павловича. Г-на Романовича во все это время я при графе и в Грузине не видал. В пятницу же вечером приехал новгородский уездный предводитель дворянства А. Д. Тырков, который, как посторонний, к графу не входил, но в Грузине ночевал, и в субботу, когда положили графа на стол, Тырков взял к себе ключи, а я запечатал стол и бюро и отпечатал их по приезде в Грузино в первый день светлого праздника для похорон графа генерал-адъютанта Клейнмихеля, который и принял все в свое распоряжение.

За Арендой граф посылать не просил, и тот, кто говорит с такою уверенностию: «Я послал фельдъегеря за Арендом», — послать фельдъегеря не мог по очень простой причине, потому что при графе в Грузине не находилось ни одного фельдъегеря. Описанный г-м Романовичем поступок одного офицера, подходившего к гробу со стаканом шампанского, конечно, не может быть признан поступком блестящим и делающим честь тому офицеру; подобные действия офицеров своего полка желательно лучше бы постараться скрыть, нежели выставлять наружу; но я отношу и оное к вымыслу. В то время был уже в Грузине генерал-адъютант граф Клейнмихель, который не допустил бы подобного безобразия. Погребение было совершено не во вторник, а в среду Святой недели. Рассказ г-на Романовича о памятнике графа также вымысел; памятник состоит из гранитного камня; появился он не в 1833 году, а я помню его еще в 1818 году над могилой в Грузинском соборе, самим графом себе приготовленной. Грузинское имение отдано Новгородскому корпусу не самим графом, а Государем Императором Николаем Павловичем, в силу духовного завещания графа, предоставлявшего оным право и выражавшего просьбу Государю после его смерти назначить ему наследника по выбору и волею Государя Императора, если бы он при жизни своей не назначил себе сам такового. В силу такого-то духовного завещания, в Сенате хранившегося, как граф сам себе наследника не назначил, то Государю и угодно было назначить все имущество графа в Новгородский кадетский корпус, присвоив ему герб и наименование Новгородского графа Аракчеева кадетского корпуса.

При жизни графа я в Грузине бывал довольно часто, гостил у графа по неделям, катался с ним по деревням его, граф при мне не стеснялся в своих действиях, но подобных действий, как описывает г-н Романович, с свадьбами и экзекуций с пением «Со святыми упокой, Господи», мне никогда ни видеть, ни слышать не случалось; да и граф, при его природном уме, держал себя слишком религиозно, чтобы позволить себе святотатствовать; да и при наказаниях никогда не присутствовал. Итак, весь рассказ г-на Романовича о графе Аракчееве есть вымысел, и если г-ну Романовичу угодно будет удостовериться, что при смерти графа был я, а не он и что все описываемое мною о смерти графа верно, то может он обратиться ко мне: я представлю свидетелей. Жительство имею в С.-Петербурге, в Надеждинской улице, в собственном доме.

# Приложение

# Автобиографические заметки графа Аракчеева [681]

*на прокладных белых листах принадлежавшей ему книги Св. Евангелия*

Февраля 2-го 1782 г. Аракчеев определен на службу, в артиллерийский кадетский корпус — кадетом.

Сентября 27-го дня 1787 г. пожалован Алексею Аракчееву первый обер-офицерский чин, от армии поручика.

Июля 24-го дня 1790 г. Алексей Аракчеев взят в старшие адъютанты к генерал-поручику Мелиссино.

Октября 8-го дня 1792 г. пожалован Алексей Аракчеев артиллерии капитаном и от армии премиер-майором.

Августа 5-го дня 1793 г. пожалован Алексей Аракчеев артиллерии майором, а от армии подполковником.

Июня 28-го дня 1796 г. пожалован Алексей Аракчеев полковником.

Ноября 8-го дня 1796 г. пожалован Алексей Аракчеев генерал-майором и кавалером 1-й степени Св. Анны.

Декабря 12-го 1796 г. пожалована Алексею Аракчееву Грузинская вотчина, 2000 душ.

Апреля 5-го 1797 г. пожалован А. Аракчеев бароном Российской Империи и орденом Св. Александра Невского.

Января 5-го дня 1799 г. пожалован Алексей Аракчеев орденом Иоанна Иерусалимского, с командорством по 1000 рублей в год.

Мая 5-го дня 1799 г. пожалован Алексей Аракчеев графом Российской Империи; оного же числа 1805 г. заложена графом Аракчеевым в Грузине церковь каменная Апостола Андрея.

Марта 11-го числа 1801 г. пополудни в 12-м часу кончина Императора Павла I.

Апреля 27-го 1803 г. получил именной указ от Императора Александра Павловича, чтобы быть графу Аракчееву в Петербург из Грузина.

Мая 14-го 1803 г. принят граф Аракчеев в третий раз в службу, инспектором артиллерии.

Ноября 20-го 1805 г. оного числа был граф Аракчеев на сражении, бывшем в Моравии под Аустерлицем с Французами, с Императором Александром I.

Февраля 4-го 1806 г. женился граф А. Аракчеев на Наталье Федоровне Хомутовой. Венчание было в Сергиевском артиллерийском Соборе, в присутствии Государя Императора

Александра I.

20 сентября рождение Императора Павла I [в] 1754 г.; в оный же день 1806 г. освящена новая каменная церковь в селе Грузине, во имя Апостола Андрея. построенная графом Аракчеевым.

Января 13-го 1808 г. В сей день граф Аракчеев сделан военным министром и генерал-инспектором всей пехоты и артиллерии.

Января 14-го 1809 г. прислал Прусский король с флигель-адъютантом бриллиантовую звезду ордена, но мною не принята, а возвращена обратно.

Января 18-го 1809 г. В сей день пожалован кавалером орденов: Красного и Черного Орла Прусского.

Сентября 6-го. В сей день, 1809 г. Государь Император Александр I изволил прислать к графу Аракчееву, по случаю мира со Швециею, с флигель-адъютантом, орден Св. Апостола Андрея Первозванного, тот самый, который сам изволил носить, при рескрипте Своем; оный орден упросил граф Аракчеев, того же числа ввечеру, взять обратно, что Государем Императором милостиво исполнено; а дабы сей рескрипт не утерялся, то с оного копия списана в сей книге на листах в Пасхалии, а другая копия написана на листах в Евангелии, в селе Грузине. На оное останется в доказательство, в фамилии Аракчеевых, рескрипт Государя Императора, на сей случай собственною рукою писанный.

Января 1-го 1810 г. В сей день сдал звание военного министра. Советую всем, кто будет иметь сию книгу после меня, помнить, что честному человеку всегда трудно занимать важные места государства.

Июня с 7-го на 8-е число 1810 г., что было с понедельника на вторник, Государь Император Александр I, возвращаясь из Твери, нарочно изволил заезжать в Грузино, посетить графа Аракчеева; прибыв ночью во 2-м часу, изволил лечь почивать, а поутру 8-го числа, в 9 часов, одевшись, изволил посещать церковь и гулять по всему саду и селению до 11 часов; потом, возвратясь в дом, изволил фрыштыкать[682] и потом с графом Аракчеевым ездить на дрожках по деревням, и, возвратясь во 2-м часу, изволил иметь обеденный стол, и после обеда пробыл до 7 часов вечера, и потом изволил отправиться в С.-Петербург и был чрезвычайно весел и доволен.

Апреля 17-го 1811 г. Сего числа Государь Император Александр I конфирмовал собственною рукою доклад графа Аракчеева, чтобы грузинской церкви Андрея Апостола быть грузинским Собором, и утвердил сумму 12 тысяч рублей, внесенную графом на содержание Собора.

Июня 6-го 1811 г. Сего числа в селе Грузине в Соборе служил архиепископ Рязанский Феофилакт[683] обедню, при стечении множества народу, и говорил поучение на случай открытия грузинского Собора, в присутствии многих господ, между коими находился и Войска Донского атаман генерал Матвей Иванович Платов[684].

Апреля 14-го дня 1812 г. выехал граф Аракчеев в армию в Вильну, что было пятница Страстной недели.

Апреля 28-го 1812 г. приехал граф Аракчеев в Вильну.

Июня 12-го дня 1812 г. Французы перешли нашу границу чрез Неман; в то время я был с Государем в Внльне, откуда выехал с Государем 14-го числа в Свенцяны.

Июня 17-го дня 1812 г. в городе Свенцянах призвал меня Государь к себе и просил, чтобы я опять вступил в управление военных дел, и с оного числа вся Французская война шла через мои руки, все тайные донесения и собственноручные повеления Государя Императора.

Декабря 6-го 1812 г. В сей день ввечеру выехал граф Аракчеев из Петербурга в Вильну с Государем для заграничного похода в 1813 и 1814 годах.

Декабря 6-го 1812 г. Государь Император Александр I утвердил духовную графа Аракчеева собственноручным подписанием.

Марта 31-го дня 1814 г. в Париже, Государь Император Александр I изволил произвесть графа Аракчеева в фельдмаршалы вместе с графом Барклаем, о чем и приказ собственноручно был написан, но гр. Аракчеев оного не принял и упросил Государя отменить.

Августа 30-го, 1814 г. В сей день граф Алексей Аракчеев получил от Государя Императора Александра I его портрет для ношения на шее.

30-го ноября 1815 г. поставлены в грузинском Соборе памятники покойному Государю Павлу Петровичу и офицерам графского полка и в оный день освящены.

Декабря 12-го 1815 г. Государь Император Александр I изволил давать графу Аракчееву звание статс-дамы для его матери, но граф оного не принял и упросил оное отменить.

Апреля 24-го 1816 г. прибыла в село Грузине пожалованная графу Аракчееву яхта Государева Роченсалм, которая и переименована[685].

При приходе в Грузино она салютовала из пушек, на что и ей отвечали с батареи грузинской.

Июля 8-го числа 1816 г., что было суббота, Государь Император Александр I изволил нарочно приехать из Царского

Села в Грузино, посетить графа Аракчеева, прибыл 8-го числа в $10\,{}^{1}/_{2}$ часов пополудни с генерал-адъютантом Волконским, изволил лечь почивать, а поутру 9-го числа в $7\,{}^{1}/_{2}$ часов, одевшись, изволил гулять в саду и, пройдя чрез большой мост в деревню до магазина, где изволил сесть в елбот[686], заехал в беседку, посвященную генералу Мелиссино, которая очень понравилась; оттуда переехал на большую пристань садовую и прошел в палатку, где готов был фрыштык, и изволил кушать, а потом возвратился в дом, уже в 10 часов утра, в которое время начали благовестить к обедне.

Августа 18-го дня 1816 г. Государь Император Александр I в Москве, посетил мать графа Аракчеева в ее квартире, в доме, нанимаемом генерал-майором Ильинским[687].

# Приложение

# Литературные и фольклорные произведения об Аракчееве

## Г. Р. Державин [688]
## На прогулку в грузинском саду

О, как пленительно, умно там, мило все,
Где естества красы художеством сугубы,
И сеннолистны где Ижорска князя[689] дубы
В ветр шепчут, преклонясь, про счастья колесо!

*1807*

## М. В. Храповицкий [690]
## К хозяину

Готов и ревностен отечеству служить,
Царю и в обществе умеет быть полезным;
Уединясь — с собой умеет в мире жить,
С друзьями быть любезным.

*26 декабря 1809 г.*

## А. А. Писарев [691]
## Надпись к портрету его сиятельства графа А. А. Аракчеева

Без лести преданный Монарху своему,
Он жизнь, и время, труд, все посвятил Ему.

*1816*

## А. С. Пушкин [692]

Всей России притеснитель,
Губернаторов мучитель
И Совета он учитель
А Царю он — друг и брат.
Полон злобы, полон мести,

Без ума, без чувств, без чести,
Кто ж он? *Преданный без лести,*
[Бляди][693] грошевой солдат.

*1817–1820*

## А. Ф. Малиновский[694]
## Стихи, при удалении от Грузина 17 сентября 1818 г. сочиненные

Кто не был в Грузине, на Волховских брегах,
Едва ли тот видал хозяйство в совершенстве,
Хозяйство русское, на деле, не в словах.
Крестьянам нужды нет мечтать там о равенстве;
Имев добро в руках, не ищут уж добра.
В поместье Грузинском приволье — дар природы,
Искусством обновясь, оно во всем щедро;
Обильны пажити, поля, обширны воды.
Воздвигнув на холме великолепный храм
Во славу Божию, в свидетельства векам,
Как благодарным быть — и к тени, нам любезной,
Как подвиг в гробе чтить, отечеству полезный[695].
В приютах садовых зрят памятники в честь
Надежну дружеству, любви сыновней нежной,
Для любомудрия там пищи много есть
И все приятности для жизни безмятежной.
Устройство Грузина поместьям образец.
Должно б то ж всюду быть, помещик где отец.

*1818*

## А. С. Пушкин (?)[696]

В столице он капрал, в Чугуеве — Нерон.
Кинжала Зандова везде достоин он[697].

*1819*

## К. Ф. Рылеев[698]
## К временщику
## (Подражание Персиевой сатире «К Рубеллию»)[699]

Надменный временщик, и подлый и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны своей,
Взнесенный в важный сан пронырствами злодей!
Ты на меня взирать с презрением дерзаешь
И в грозном взоре мне свой ярый гнев являешь!
Твоим вниманием не дорожу, подлец;
Из уст твоих хула — достойных хвал венец!
Смеюсь мне сделанным тобой уничиженьем!
Могу ль унизиться твоим пренебреженьем!
Коль сам с презрением я на тебя гляжу
И горд, что чувств твоих в себе не нахожу?
Что сей кимвальный звук твоей мгновенной славы?
Что власть ужасная и сан твой величавый?
Ах! лучше скрыть себя в безвестности простой,
Чем с низкими страстьми и подлою душой
Себя, для строгого своих сограждан взора,
На суд их выставлять, как будто для позора!
Когда во мне, когда нет доблестей прямых,
Что пользы в сане мне и в почестях моих?
Не сан, не род — одни достоинства почтенны;
Сеян[700]! и самые цари без них — презренны,
И в Цицероне мной не консул — сам он чтим
За то, что им спасен от Катилины Рим…
О муж, достойный муж! почто не можешь, снова
Родившись, сограждан спасти от рока злого?
Тиран, вострепещи! родиться может он,
Иль Кассий, или Брут, иль враг царей Катон
О, как на лире я потщусь того прославить,
Отечество мое кто от тебя избавит!
Под лицемерием ты мыслишь, может быть,
От взора общего причины зла укрыть…
Не зная о своем ужасном положенье,
Ты заблуждаешься в несчастном ослепленье,
Как ни притворствуешь и как ты ни хитришь,
Но свойства злобные души не утаишь.
Твои дела тебя изобличат народу;
Познает он — что ты стеснил его свободу,
Налогом тягостным довел до нищеты,
Селения лишил их прежней красоты…
Тогда вострепещи, о временщик надменный!
Народ тиранствами ужасен разъяренный!
Но если злобный рок, злодея полюбя,
От справедливой мзды и сохранит тебя,

Всё трепещи, тиран! За зло и вероломство
Тебе свой приговор произнесет потомство!

*1820*

## Неизвестный автор[701]

Девиз твой говорит,
Что *предан ты без лести.*
Поверю. — Но чему? —
Коварству, Злобе, Мести.

*Конец 1810-х — начало 1820-х*

## Неизвестный автор[702]

Не имев ни благородства, ни чести,
Можешь ли быть *предан без лести?*

*Конец 1810-х — начало 1820-х*

## Неизвестный автор[703] Аракчееву

«Без лести преданный!» Врагу преданный льстец,
Добыча адская и черных книг писец!
Во аде, по делам своим, ты стоишь обелиска,
Об этом уже есть у сатаны записка.
Ты пища вечная превечного огня,
Ты адских фурий брат, ты чертова родня;
Тебя сам черт кроил, ты целым адом шитый,
Куда тебе готов давно и лист открытый.
О, хитрый временщик! Царь, лестью упоенный,
Не зрит в тебе того, что видит Царь вселенной:
Что целая тобой разорена страна,
Что в пышных житницах в запасе нет зерна,
Что жизнию людей ты осушаешь блата,
Что пухнут без соли, тиранят что солдата,
Что хлеба данного на месяц не стает,
Что высохшую грудь младенец не сосет,
Что в тридцати селах телицы нету млечной,

Что равнодушно зрит мать сон дитяти вечный!

## Неизвестный автор [704]
## Акростих на Аракчеева

Аггелов племя,
Рыцарь бесов,
Адское семя,
Ключ всех оков.
Чувств не имея,
Ешь ты людей;
Ехидны злее
Варвар, злодей!

*Около 1823*

## С. А. Путята [705]
## Дни моего отчаяния

<…> Тебя в пример я поставляю,
Уполномоченный злодей!
Твои дела изображаю:
Ты враг отчизны, льстец царей,
Ты бич столь славного народа,
Ты самый ядовитый змей,
Не человек, а чародей,
Тобой гнушается природа:
Она известна, что коварный
Сего ты времени подлец,
Самолюбивый и тщеславный,
Рушитель благ ты общих, льстец!
Ты ад в самом себе вмещаешь,
Твоя душа, как ты, черна,
Одним невежеством полна,
Кое ты пользой называешь.
Взгляни на пользу твоих дел,
Где разорил селенья ты,
Лишил того, что кто имел,
И сделал жертвой нищеты?
Привел народ в подобострастья,
Открыл жестокости следы.
Какие же с того плоды?

Лишь только всем одни несчастья…

*Первая половина 1820 г.*

## Е. А. Баратынский [706]

Отчизны враг, слуга царя,
К бичу народов — самовластью
Какой-то адскою любовию горя,
Он не знаком с другою страстью.
Скрываясь от очей, злодействует впотьмах,
Чтобы злодействовать свободней,
Не нужно имени: у всех оно в устах,
Как имя страшное владыки преисподней.

## В. Н. Олин [707]

Как русский Цинциннат[708], в душе своей спокоен,
Венок гражданский свой повесил он на плуг.
Друг Александра, правды друг.
Нелестный патриот — он вечных бронз достоин!
Что зависть для него? Как мощный исполин,
Он смотрит на нее с презреньем!
О русская земля! Гордись им: он твой сын,
Бессмертный — самоотверженьем!

*1832*

# [Народные песни об Аракчееве] [709]

## Корабельщики бранят Аракчеева [710]

Бежит речка по песку
Во матушку во Москву,
В разорёну улицу
К Аракчееву двору.
У Ракчеева двора
Тута речка протекла,
Бела рыба пущена;
Тут и плавали-гуляли
Девяносто кораблей:
Во всякием корабле
По пятисот молодцов,
Гребцов-песенничков,
Сами песенки поют,
Разговоры говорят,
Все Ракчеева бранят:
«Ты, Ракчеев-господин,
Всю Россию разорил,
Бедных людей прослезил,
Солдат гладом поморил,
Дороженьки проторил,
Он канавушки прорыл,
Березами усадил,
Бедных людей прослезил!»

## Ах по морю, морю синенькому [711]

Ах по морю, морю синенькому
Плавали-гуляли девяносто кораблей;
Как на каждом корабле по пятисот человек.
Хорошо пловцы плывут, весело песни поют,
Разговоры говорят, все Ракчеева бранят:
«Ты разбестия-каналья Ракчеев-дворянин!
Всю Россию разорил, солдат бедных погубил:
Пропиваешь, проедаешь наше жалованье,
Харчевое, пьяновое, третье денежное!
Как на эти-то деньжонки граф палаты себе склал,
Хороши белы палаты, стены мраморные,

Из хрусталя потолок, позолоченный конек.
Мимо этих ли палат быстра речка протекла —
Не сама собой прошла, фонтанами взведена.
Как во этой ли во речке жива рыба пущена,
Жива рыба пущена, серебряна чешуя.
Возле этой быстрой речки кровать нова смощена,
Кровать нова смощена, перинушка пухова.
Как на этой на кровати
Сам Ракчеев тут лежит,
На живу рыбу глядит».

## Василий и Андрюшка-палач [712]

Как за теми за рядами,
Все за лавочками
Тут и шли-прошли солдаты,
Заслуженны господа.
У них ружья за плечами,
Штыки примкнутые.
Наперед идет Андрюшка,
Андрей — грузинский палач.
Позади ведут Василья,
Васю Демидова.
Как возговорит Василий
Анёдрюшке-палачу:
«Ах ты братец мой Андрюшка,
Андрей — грузинский палач,
Ты послушай, брат Андрюшка,
Моих глупыих речей:
Уж вешай меня скоро,
Ты скорым меня скоро,
Не повесишь меня скоро —
Сам туда же угодишь!»
Испугался вор-собака,
Он Васильевых речей,
Он со этого испугу
На рессорны дрожки сел,
Он поехал, вор-собака,
На Гражданску улицу,
Он заехал, вор-собака,
Ко Васильевой жене,
Он разрезал, вор-собака,
Белу грудь у ней

## Набор военных поселенцев [713]

Загоняли нас, добрых молодцев, в Великое село,
Становили добрых молодцев в шеренгу всех,
Снимали с нас, добрых молодцев, шелковы волосы,
Нам бороды выбривали и шинели надевали.
Мы с манежи выходили ко цареву кабаку,
У царева кабака закричали все: «Ура»[714].

# М. Л. Магницкий
# Сон в Грузине с 26 на 27 июля 1825 года[715]

26 июля ввечеру, после самого приятного угощения в том месте, где десять лет тому назад разрешилась участь моего семейства[716], я почувствовал такое смешение разных ощущений, что не мог сам себе изъяснить положения души моей, — и заснул.

Вижу во сне, что сижу в библиотеке занимаемого мною дома на диване и смотрю на стеклянную дверь; к ней подходит почтенного вила древний старец с длинною седою бородою, спокойным и светлым лицом, в русском голубом кафтане без кушака. Отворяет дверь, три раза перекрестясь по-старинному, молится на образ Божией Матери и, поклонясь мне в пояс, подходит, садится со мною на диване и говорит тихим, но приятным голосом. «Не прогневайся, любезный о Христе брат, что я без позволения пришел к тебе. Я нездешний, а житель мира духовного; с тобою же знаком коротко, хотя ты меня и не знаешь. Вчера, поутру, когда показывали тебе воздвигнутый мне земным благодетелем моим памятник, ты подумал про себя: помяни его Господи во Царствии Твоем.

Нам очень полезно, а потому и крайне приятно таковое молитвенное о нас возглашение сердец. Вот мое с тобою знакомство, и вот почему отпущен к тебе на все время сна твоего, с тем чтобы пояснить тебе много такого, чего бы сам ты никогда не разгадал. Слушай хорошенько: я дух грузинского старожила, известного на земле под именем Исаака Константинова. Я жил по-вашему долго, от Петра до Александра первых, или, лучше сказать, единственных; довольно насмотрелся на величия земные, на славу, почести, богатство и их пепельность (здесь сохранены собственные слова духа), видел падение и смерть всего великого и с здешним имением достался новому его владельцу; он призрел, успокоил и даже до того утешал мою древность, что когда, почти выжив из ума, просил у него как малое дитя игрушек, например: позволения давать мне во всех его отчинах по моему требованию подводу с колокольчиком, он не посрамил лепетания малодушествующего старца ниже улыбкою, выслушав бред мой как дело, и желание мое исполнил. Сие тонкое благодеяние любви христианской и почтение к сединам столетнего старца записано там, где все дела наши до смертного часа записываются (прочти Четьи минеи марта 26, житие Василия Нового)[717]; а в сердце у меня осталось навеки. Я люблю его и,

как услышишь из речей моих, короче теперь знаком с ним, чем был на земле. Пойдем гулять со мною по Грузину, со мною не соскучишься, перенесемся нечувствительно куда нужно». За сим словом очутились мы посреди церкви соборной. «Вот великолепный храм Божий, нельзя сказать, чтобы палаты хозяина были его богаче: он исполнен сокровищ. Все чистейшие чувства сердца человеческого заключены в нем, как в достойном их хранилище: почтение, любовь и молитва к Величеству небесному, почтение, любовь и благодарность к Величеству земному. Но взгляни на правовечный памятник благодарности Царю почившему[718].

У подножия памятника заготовлен гроб верного слуги царского. Он помнит смерть, он знает, что память ее есть надежнейшее средство противу крушений гордости и честолюбия, а простая надгробная надпись показывает, что он помнит смерть, что слава, почести и титла земные останутся по сю сторону гроба, знает, что между тем как густая пыль могильная покрывает раззолоченные гробы, коими тщетная гордость повапливает мертвенность развалившуюся, дух покойного вельможи, по ту сторону гроба не граф и не князь уже, а бедный и смиренный грешник, раб Божий, равно как и дух нищего, в ужасе и трепете ожидает или вечного помилования ради Христа и живой, добрыми делами оправданной веры, или вечного осуждения. Схимники приготовляют себе гробы; но царедворцы обыкновенно и мысль об них удалить стараются; ибо тщеславие и чувственность в самом отвращении от мира духовного носят в себе зародыш вечного осуждения. Вблизи от церкви символы сил воинственных. Мысль высокая и истинная! Церковь, не охраняемая силою, обуревается врагами; сила, не защищающая церковь, без ее молитв и благословения сама собою сокрушается. Самые цари святы и неприкосновенны по повелению Царя царствующих.

Вот памятник Андрея Первозванного! Он первозванный и первый воззвал Россию к христианству, на горах Киевских. Он благословляет весь сию. На берегах Днепра предрек славу Киева; на берегах Волхова предрекает он, может быть, будущую участь Грузина[719]. Как бы в тумане вижу отсюда то, чего ты видеть не можешь… несколько златоглавых церквей, ряды домов каменных, большую торговую площадь, кипящую народом, и множество разных кораблей у пристани, вижу… но этого тебе знать еще не должно.

Развалины Меншикова — красноречивейший памятник пред глазами вельможи, им самим поставленный, — мысль смелая и прекрасная. Башня крепка и высока была. Она пала, разрушена, и

мох растет на самом верху ее, и пресмыкавшийся у ее подножия смело ползет по ней. Зловещий ворон безбоязненно вьет гнездо в ее трещине. Бюст Меншикова во всем великолепии его придворной одежды стоит в погребу башни в темноте, внизу. Кто, придя сюда, не вспомнит славы, падения, ссылки сего временщика? Кто не вспомнит, как недовольный им офицер (недостойный сего имени и как Герострат в истории живущий) в Березове плюнул ему в то лицо, на которое прежде взглянуть не осмеливался; наш Меншиков, смиренный и тем высший прежнего своего величия, отерся и перекрестился.

Трогательный памятник родителям здешнего хозяина напоминает так известное, глубокое почтение и нежность к матери.

Зеленый обелиск печального дерева скрывает внутри себя изображение Царя почившего[720]: все сказано, и невольный вздох взят у прохожего. Беседка Мелиссино есть красноречивейшал история добродетельного мудреца, умевшего в бескровном и бедном юноше открыть, воспитать и образовать будущего Сюллия[721]. Но вместе с тем она есть история сердца благодарного, в продолжение многих лет, от самой юности доныне, свидетельствующего ту память благодарности, благодеяний, ему оказанных, которая так редка в свете. Выйдя из беседки, невольно любишь воспитателя и почитаешь воспитанника.

Видишь, подходя к большому дому, некоторый свет из этих окон. Это отблеск царственной славы жившего здесь державного гостя[722]. Вместо успокоения переносит он с собой сюда иногда дела Камчатки и Лиссабона, Америки и Швеции, Торнео и Персии. Чрез полвека, когда сей гигант славы и могущества отдалится на расстояние историческое, его увидят. Вы слишком малы, он слишком велик: стоя близко, всего обозреть невозможно.

<…>

# П. А. Вяземский [723]
# По поводу записок графа Зенфта [724]

<…>

В обществе нашем, а особенно в печати нашей, очень любят, когда предают им на прокормление, на съедение какое-нибудь событие политическое или имя высоко поставленное. В подобном случае все зубы острятся и работают до оскомины. Разница в этом отношении между живым обществом и печатью, еле живою, заключается в том, что устное слово заедает более живых, а печатное пока лакомится мертвечиною. Публицисты-Чичиковы скупают мертвые души, промышляют ими и готовят их на все возможные соусы. Одна из этих мертвых душ и есть Аракчеев. Разумеется, не беру на себя защищать его и безусловно отстаивать. Я опять-таки не адвокат. И при жизни, и при силе его многое мне в нем не нравилось: многое претило понятиям моим, правилам, сочувствиям. Но у Аракчеева был и есть другой адвокат, а именно Александр. Если он держал его при себе, облекал, почти уполномочивал властью, то, несомненно, потому, что признавал в нем некоторые качества, вызывающие доверие его. Император Александр был щедро одарен природою. Ум его был тонкий и гибкий. Все духовные инстинкты его были в высшей степени развиты. Он удивлял других не столько тем, что знал, сколько тем, что угадывал. Свойства и нрава был он мягкого и кроткого. Он более заискивал любви, нежели доискивался страха. Личного властолюбия было в нем немного. Преимуществами, присвоенными державе, он не дорожил. Скорее, а особенно в последние годы жизни своей, он властью и царствованием как будто тяготился. Были даже слухи, что он намеревался отречься от престола. Духом был он не робок. Почитали его мнительным; но он не укрывал себя во дворце, как в неприступной твердыне, не окружал себя вооруженными телохранителями. Везде могли встречать его одного, на улице, в саду, за городом, во все часы дня и ночи. Следовательно, он за жизнь свою, за себя не боялся. Можно сказать утвердительно, что он имел неопределенные, темные сведения о политическом брожении некоторых умов, о попытке устроить тайное общество. Рассказывали, и довольно достоверно, что при одном смотре войск на Юге, оставшись особенно доволен одною кавалерийскою бригадою, сказал он начальнику ее, который после оказался крепко замешанным в заговоре: «Благодарю тебя за то, что бригада приведена в отличное положение, и советую тебе и вперед более заниматься

службою, нежели политическими бреднями»[725].

При таких обстоятельствах, при подобном расположении и настроении духа, спросим мы: к чему нужен был ему грозный Аракчеев, это пугало, каким рисуют его? Александр, при уме своем, при долгой опытности, он, умевший оценить обаяние Сперанского и Каподистрии[726], мог ли быть в ежедневных сношениях с человеком по государственным делам и не догадаться, что это человек посредственный и ничтожный? Здравый смысл и логика отрицают возможность подобных противоречий. Ясно и очевидно, что Аракчеев был не вполне тот, что мерещится нам в журнальных легендах, которые поются с такою охотою на удовольствие общественного суеверия. Александр был в данном случае лучшим судиею в этом деле: пред судом его слабеют улики посторонних соглядатаев того, что есть, и особенно того, что было. Нужно при этом вспомнить, что Александр в последнее десятилетие уже не был и не мог быть Александром прежних годов. Он прошел школу событий и тяжких испытаний. Либеральные помыслы его и молодые сочувствия болезненно были затронуты и потрясены грубою и беспощадною действительностью. Заграничные революционные движения, домашний бунт Семеновского полка, неурядицы, строптивые замашки Варшавского сейма, на который еще так недавно он полагал свои лучшие упования, догадки и более чем догадки о том, что в России замышлялось что-то недоброе, все эти признаки, болезненные симптомы, совокупившиеся в одно целое, не могли не отразиться сильно на впечатлительном уме Александра. Диагностика врача не могла не измениться. Переписка о Семеновском деле, напечатанная в «Русском архиве»[727], убеждает нас, что сей бунт был не просто солдатский. Александр до конца жизни оставался в этом убеждении. Если и не соглашаться со всеми соображениями и выводами честного и прямодушного Васильчикова и благоразумного и опытного князя Волконского, то нельзя не признать, что в их воззрении много было государственной прозорливости и правды. Эта переписка проливает на них благоприятный свет, особенно же на Государя. Волею или неволею должен был он спуститься с поэтических и оптимистических, улыбающихся вершин. Мы уже заметили: лично был он выше страха; здесь боялся он не за себя, а мог бояться за Россию. Политические поветрия очень прилипчивы и заразительны. В такое время нужны предохранительные меры и карантины. Аксиома «laissez faire, laissez passer»[728] может быть удобно и с пользою применяема в иных случаях, но не всегда и не во всех. Например, хоть бы в отношении к огню, когда горит

соседний дом. Мы оберегаемся от худых и опасных влияний в мире физическом; против разлития рек и наводнений мы устраиваем плотины; против бедствий от грозы мы застраховали себя громовыми отводами; против засухи мы пользуемся искусственными орошениями; против излишней влажности и болотистой почвы — искусственными осушениями. Никто не порочит этих предосторожностей, никто не назовет суетною мнительностью и слабодушием этой борьбы с природою. Почему же в одном нравственном и политическом мире признавать предосудительными эти меры общественного охранения? Почему присуждать правительство и общественные силы к бездействию и бесчувственности восточного фатализма, даже и в виду грядущей опасности?

Государь, вероятно, обратил первоначальное внимание свое на Аракчеева как на преданного и благодарного слугу Императора Павла. Он имел административные военные способности, особенно по артиллерии; он был одинок в обществе, не примыкал ни к какой партии влиятельной или ищущей влияния, следовательно, не мог быть орудием какого-нибудь кружка; не мог быть и его главою. Государь не опасался встретить в нем человека, систематически закупоренного в той или другой доктрине. Не мог бояться он, что, при исполнении воли и предприятий его, будут при случае обнаруживаться в Аракчееве свои здания или передовые мысли. Вспомнив бывшего приятеля своего Наполеона, Александр мог так же, как и тот, не возлюбить идеологов. Сам Александр оставался в ином более идеологом, нежели практиком; но в работниках, в дельцах своих не хотел он идеологии. Не должно терять из виду ни времени, ни обстоятельств, в которые Государь приблизил к себе Аракчеева. Мы выше уже упомянули о том. В Александре не могло уже быть прежней бодрости и самонадеянности. Он вынужден был сознаться, что добро не легко совершается, что в самих людях часто встречается какое-то необдуманное, тупое противодействие, парализирующее лучшие помыслы, лучшие заботы о пользе и благоденствии их. Здесь опять теория сталкивается с действительностью, и теория редко оказывается победительницею. Тяжки должны быть эти разочарования и суровые отрезвления Александр их испытал: он изведал всю их уязвительность и горечь. Строгие судии, умозрительные и беспощадные, могут, конечно, сказать, что человек с твердою волею, одаренный могуществом духа, должен всегда оставаться выше подобных житейских невзгод и сопротивлений. Может быть. Но мы не чувствуем в себе достаточной силы, чтобы пристать к этим строгим приговорам. Мы полагаем, что если и были ошибки,

то многие из них были искуплены подобными испытаниями и подобным горем. Мы здесь не осмеливаемся судить: мы можем только сострадать.

В таком расположении Государь прежде всего искал исправных делопроизводителей, бдительных и строгих соблюдателей насущного порядка.

Die schönen Tage in Aranjuez sind nun zu Ende[729].

Исправнейшего исполнителя в круге подобной деятельности он найти не мог: выбор его пал на Аракчеева.

Вот что говорит о нем сенатор Брадке в «Записках» своих[730]: «Что Аракчеев был человек необыкновенных способностей и дарований, едва ли может быть подвержено сомнению со стороны тех лиц, кто его хоть несколько знал и кто не увлекался безусловно своими предубеждениями. Быстро охватывая предмет, он в то же время не лишен был глубины мышления, когда сам желал и когда она не вовлекала его в противоречие с предвзятыми его намерениями».

Еще выписка: «Поистине редкая и строго направляемая деятельность, необыкновенная правильность в распределении времени давали ему очевидную возможность совершать более того, что могло быть сделано обыкновенным путем, и служили в беззастенчивой руке бичом для всех его подчиненных (Р[усский] арх[ив]», 1875, кн. I).

Последние строки не могут быть иначе разъяснены, как в следующем смысле: что он был взыскательным начальником и что, много делая, беспощадно требовал он от подчиненных своих, чтобы и они многое делали.

У Брадке за мадригалом обыкновенно недалеко следует и эпиграмма: мед не мешает быть и дегтю. Следовательно, одобрительное слово его имеет свою существенную ценность. Доверять ему можно. Брадке долго служил при Аракчееве по ведомству военных поселений. Сделал он, что называется, дальнейшую служебную карьеру не при нем. Следовательно, нельзя подозревать его в излишней признательности к милостивцу своему. Он был человек нрава независимого. Он был вовсе не аракчеевец, ни по образованию своему, ни по чувствам, ни по своим понятиям. Он был ума светлого, беспристрастного. Сам был делец и тоже работник неутомимый по разным отраслям государственного управления. В нем самом были зародыши высшего государственного деятеля, а потому и судит он Аракчеева как государственный человек. А доселе и после Брадке многие судили о нем по анекдотам, более или мене достоверным, которыми питалась уличная молва.

Вот еще свидетельство, которое можно привести в

подтверждение и объяснение нашего тезиса. В практическом отношении оно не имеет веса и авторитета, подобного свидетельству, которое доставил нам Брадке; но в нравственном отношении оно тоже чего-нибудь да стоит. В продолжение пребывания своего в Петербурге Карамзин ни в каких сношениях, даже просто светских, с Аракчеевым не состоял. Карамзин не мог быть безусловным сторонником военных поселений. Вероятно, между ним и Государем возникали прения по этому вопросу. Как бы то ни было, однажды летом Государь предложил Карамзину съездить вместе с Аракчеевым в Новгородские поселения и лично ознакомиться с ними и с порядком их. Отказываться было невозможно. Карамзин и Аракчеев отправляются вдвоем в коляске. Двое суток, а может быть, и трое, проводят они друг с другом почти безразлучно. Карамзин был словоохотлив и скорее невоздержан, чем сдержан в разговоре. Между придворными он часто возбуждал смущение и недоброжелательство своею речью, недостаточно официальною. Любопытно было бы подслушать разговор двух этих личностей с глазу на глаз. Странные сиены разыгрывает случай: например, сближение Карамзина и Аракчеева, двух разнородностей. Оба преданы были Государю, но преданность каждого была привлечена к нему едва ли не с противуположных полюсов. Карамзин возвратился с этой поездки, вероятно, не совсем убежденный в пользе военно-колонизаторской системы, и во всяком случае не возвратился он обращенным в аракчеевскую веру. Положение воина-хлебопашца, ремесленника, семьянина могло до некоторой степени пленять воображение его, как пленило оно воображение и Александра, *идиллиею в будущем,* по меткому выражению Брадке. Но Карамзин не принадлежал к тем людям, которые хотят строить здание будущего благоденствия на жертвах, страданиях и развалинах настоящего. Разумеется, поселения были представлены Карамзину хозяином их с казового конца[731]. Аракчеева винят в подобном способе казания. Но это вовсе не исключительно аракчеевский обычай. Не он выдумал его, а просто русский человек: товар лицом продается. Но Карамзин возвратился с некоторыми впечатлениями, выгодными для Аракчеева. Он убедился в уме его, в распорядительности, в некоторых свойствах, нужных для государственного человека. Он говорил, что, несколько сблизившись с ним, он теперь понимает, как Александр привык к нему и облекает доверием своим. Такие два свидетельства, как Брадке и Карамзин, могут несколько поколебать веру в другие, на скорую руку приведенные свидетельства: в приговоре по тяжбе, вызванной в печати против подсудимого, эти два голоса должны быть приняты в соображение

и повести, по крайней мере, к тому, что есть в пользу его и некоторые смягчающие обстоятельства. Огульно приговорить человека, лишить его *весьма живота,* как то многие делают с Аракчеевым, и в виде нравоучения говорить с поэтом:

Поди душа во ад и буди вечно пленна[732], — конечно, суд короткий и ясный; но мы в деле правосудия предпочитаем проволочки этим скорым производствам дел: мы не любим ни гражданских, ни литературных шемякинских расправ и судов.

Вопрос о военных поселениях слишком обширен и многословен, чтобы затрогивать его беглым пером, чтобы изучать и исследовать его мимоходом. Сей вопрос имеет две стороны, одинаково важные: военную и политическую, или государственную. Нужно глубоко проверить, может ли подобное учреждение образовать и облагонадежить существование военных государственных сил, то есть таких, которые были бы залогом мира внутреннего и хранителями безопасности и независимости государства во внешних отношениях его. Не может ли такая вооруженная сила быть опасностью для своих и вместе с тем слабостью для отражения нападающих внешних врагов? Уже известно, что не Аракчеев был родоначальником этой мысли. Она, собственно, принадлежит Государю и в таком случае истекает, может быть, из ошибочного, но человеколюбивого побуждения. Освобождение народа от ежегодных и тяжких рекрутских наборов, водворение войска в домашний и семейный быт, пополнение на будущие времена этого войска собственными и наследственными средствами, уничтожение различия, которое существовало между понятиями и действительностью в звании землепашца и воина, соединение этих двух лиц в одном лице — все это могло улыбаться воображению и внутренним стремлениям Александра. Несмотря на суровые опыты, его все еще несколько тянуло в область мечтательности и благодушных упований. С новою возрожденною силою схватился он за эту мысль. Он пристрастился к ней, он видел в успешном осуществлении ее одно из великих дел царствования своего. В борьбе с препятствиями, которые встречались ему на пути, не признавал он законной причины отказаться от цели своей. Каждое нововведение требует более или менее пожертвования. Он надеялся, что самое время придет ему на помощь, что предубеждения, народные закоснелые суеверия ослабеют, что одолеет их в свой час видимая, осязательная польза; что зло, неминуемое при каждом перевороте, так сказать, перемелется и забудется, а добро, вначале сопряженное с ним, от него отделится и устоит. При всей мягкости характера и возвышенного человеческого настроения, которыми Карамзин пленялся в

Александре, в нем было много и самолюбивой упорности. Этим последним свойством примыкал он к Аракчееву. Аракчеев, с своей стороны, был пропитан чувством восточного повиновения. Эти два качества, царя и подданного, на беду сошлись в деле военного поселения: друг другу помогали, то есть вредили друг другу. Аракчеев, по натуре своей, по всем обстоятельствам жизни, был человеком порядка, порядка, доходящего до педантизма, до деспотизма. Русский человек вообще порядка не любит; закон и подчиненность ему претят натуре его. Вот, кажется, в коротких, но правдоподобных словах объяснение прискорбных последствий, которыми омрачено было дело военного поселения, задуманное во благо народа. В этом случае Аракчеев был анахронизмом. Он был бы на месте своем как орудие реформ Петра Великого. Но, по современным понятиям, не был он приличным орудием преобразований в руках того, которого наименовали *Александром Благословенным.* Как бы то ни было, когда улягутся страсти и злопамятные впечатления, история, то есть суд, произносимый потомством, взвесит все соображения за и против и произнесет свой окончательный приговор.

Мы Аракчеева лично не знали, но многое слышали о нем от людей, более или менее близких ему. Не только по кончине, но уже и при жизни был он живая легенда. Дом его на Литейной был каким-то таинственным, заколдованным замком: в нем обитал Змей Горыныч. Толпа с невольным страхом проходила мимо дома, любопытно и суеверно заглядывала с робостью в окна его, ничего особенного в нем не подмечала; тем более многое ей мерещилось. Для пополнения очерка, нами намеченного, соберем из памяти кое-какие сохранившиеся о нем впечатления. Общий вывод их заключается в том, что он был человек, выходящий из ряда обыкновенных людей. Он пробил себе дорогу сам собою. Но он и не пробивал ее, а просто шел и нечаянно дошел до высоты, на которой мы видели его. Он был бескорыстен, по крайней мере относительно и сравнительно. Обеспеченный и щедро обеспеченный милостью Императора Павла, он мог бы желать разбогатеть еще более. Случаи к тому были ему сподручны. Но он остался при том, что имел. Когда Император Александр пожаловал ему свой портрет, осыпанный алмазами, то он алмазы возвратил и просил дозволения носить один портрет. Охотно верим, что тут проглядывает отчасти гордость и желание отличить себя от других. Но все ли и многие ли способны иметь такое желание? Другой на месте его и также для отличия мог бы ходатайствовать о том, чтобы алмазы при портрете были покрупнее *не в пример другим.* Не чужды были ему гордость и надменность, но и их выказывал он не подобно другим. Пошлого

чванства в нем не было. Он не хотел ослеплять город и толпу роскошью и пышностью. Он мог желать сравняться с Потемкиным в объеме власти; но по догадливости своей и благоразумию расчел, что Таврическая постановка и обстановка были уже не в духе времени. Он в будничной силе своей не гонялся за праздничными принадлежностями исключительного положения своего. Род жизни его был более домоседный; привычки мало изменялись и сохранили во многом первоначальную простоту темных и трудовых годов его. В блестящих собраниях двора какая-то суровость военного схимника отличала его от среды других сановников и вельмож. Эта черта личности его, ему врожденная или им благоприобретенная, могла также служить точкою сближения его с Александром. Известно, что и Государь был врагом роскоши и пышности. Гордость Аракчеева, когда выступала наружу, имела что-то саркастическое и высказывалась какою-то эпиграммою в лицах и в действиях. Некоторые из податливых сановников испытывали ее и бывали ее жертвами. Он знал их насквозь: хорошо ведал, что они готовы потворствовать ему и трусят пред ним, но вместе с тем всей душою ненавидят его. Он над ними подтрунивал, например, таким образом. Когда живал он в Грузине, многие сановники приглашаемы бывали им из Петербурга или сами усердно напрашивались. Туалетный этикет в то время везде еще строго соблюдался. Тогда черных нашейников не знали; не знали разных пальто и пиджаков. Фрак и белый галстух были необходимыми принадлежностями порядочных людей даже и на утренних посещениях. Разумеется, на официальных съездах у высокопоставленных личностей, у знатных особ обоего пола, соблюдение правил, в какой *быть форме,* было еще строже. Человек порядка, человек военной дисциплины и чинопочитания, каковым был старый гатчинец, не мог не держаться такой туалетной иерархии. Заранее распределено было, в каком виде явиться: в мундире ли с лентой или без ленты, во фраке ли без ленты или с лентою. Гости были о том заранее оповещены в Петербурге. Но когда на хозяина находил веселый час, а этот веселый час падал особенно на самые именитые личности, на станции Чудове ожидала их повестка, а которой означалось, что туалетная форма изменена, так что приходилось им возвращаться в город без допущения к лицезрению или просидеть несколько часов на станции, в ожидании посланного, который был отправляем курьерами в Петербург, чтобы привезти требуемые принадлежности одевания. Или вот еще потеха Аракчеева. В известный день недели проводил он вечер, кажется, у генерала Апрелева. Тут за партией бостона непременным партнером его была сановитая,

престарелая личность, а именно, если не ошибаемся, светлейший князь Лопухин. На одном таком вечере хозяин предложил графу начать партию. «А где же князь Петр Васильевич?» — спрашивает Аракчеев. «Он прислал извиниться, что за болезнью быть сегодня не может». — «Какой вздор! Верно, старик поленился. Послать за ним!» И вот несчастный является. Садятся за ломберный стол, разумеется, с князем. Аракчеев, едва взяв карты в руки, подзывает кого-нибудь из присутствующих, отдает ему игру свою и, вставая, говорит ему: «Играй за меня, а мне сегодня что-то играть не хочется», — и тут же уезжает. Вот картина и драматическая сцена! Можно представить себе, как вытянулись лица хозяина и бледного князя. Шутка жестокая, неблаговидная, недостойная человека благовоспитанного. Совершенно согласны. Но Аракчеев и не выдавал себя за человека благовоспитанного. Он любил хвастаться тем, что учился и образовывал себя на медные деньги. Нельзя похвалить его за грубый и дикий поступок. Но, грешный человек, мне как-то нравятся зги проказы его: в них есть замысловатость и много комического, есть и саркастическая язвительность. Впрочем, рассказом этим мы едва ли угодим некоторым из наших общественных Катонов-цензоров[733]. Это, может быть, хотя несколько примирит их с Аракчеевым; после таких выходок его они скажут: нельзя не согласиться, что и в Аракчееве было что-то хорошее.

В грубой и тусклой натуре Аракчеева, которой вполне отрицать нельзя, просвечивались иногда отблески теплого и даже нежного чувства. Не знаем, в какой степени способен он был ощущать радость, но скорбь чувствовал он сильно и этому чувству предавался с порывом и с глубоким постоянством. Все изъявления благодарной памяти его к почившим благодетелям. Павлу и Александру, носят отпечаток не только глубокой преданности, но и чего-то поэтического. Часы, им заказанные[734], которые в минуту, когда совершилась смерть Александра, издавали заупокойные звуки, могут служить доказательством, что если и были в нем стороны очерствелые, то очерствение не вполне охватило его. Многие другие памятования или поминки его обозначаются такими же оттенками. Если даже и признавать в них характер не чисто духовный, более наружный, нежели глубокий, что-то языческое, то и в таком случае скорбь все остается скорбью. Каждый выражает ее по внутреннему настроению и по-своему.

Мы говорили, что Аракчеев как историческое лицо будет в свое время подлежать истории. Но он не страшился этого суда, а главное, хотя человек мало образованный, он сознательно или малосознательно признавал и уважал достоинство и авторитет

истории. Мало того, что не страшился, он сам вызвал этот суд над собою. Много в последнее время было написано о нем. Его разбирали по косточкам, даже по яблокам. Помнится, где-то чуть не ставили в вину ему, что он требовал от хозяйственного управления в Грузине ведомости о сборе яблок с яблоней в саду его или что-то подобное. Немцев не удивила бы такая взыскательность и аккуратность. В Германии все на счету и все записывается; подлинно у них каждое лыко в строку. Нашим счетчикам до мелочи всем действиям, движениям и словам Аракчеева не пришло на ум обратить внимание на знаменательную черту из жизни его. Мы говорим о завещании его, по которому определяет он значительную сумму, кажется, 100 000 рублей, тому, кто представит через сто лет лучшую, по приговору ученых, историю царствования императора Александра. Он знал, что в этой истории найдется место и ему, хорошее ли, дурное ли, но неминуемо. Если он хотел задобрить и подкупить историка в пользу свою, он не отложил бы ее появления на целое столетие. Напротив, он поторопил бы благосклонного и благодарного историка написать ее как можно скорее и при нем, еще заживо. Сомневаться нельзя, что нашлись бы историки, которые взапуски старались бы перещеголять друг друга в восхвалении щедрого героя. Il s'en présentera, gardez-vous d'en douter[735].

Но Аракчеев, по тонкому и истинно просвещенному чувству, не хотел, ни в отношении к обожаемому Монарху, ни в отношении к себе, заискивать благоволительность присяжного и подкупного адвоката. Он веровал в историю и требовал отдаленного и нелицеприятного историка. Одна эта светлая, оригинальная черта убеждает, что в Аракчееве были зародыши и заявления, не во многих людях встречающиеся. Если некоторые из этих зародышей не вполне развились; другие, может быть, и заглохли, то причина тому недостаток образованности и сила житейских условий и обстоятельств. Беда его в том, что он родился в среде хотя дворянской, но малообразованной и что первоначальное воспитание его было совершенно пренебрежено. Другая беда его, что почти без приготовления он был судьбою заброшен на вышину, которая давала ему обширную власть, обязывала его большою ответственностью и ставила всем на виду. Поболее равномерности и равновесия в распределении того, что он дать был в силах, и того, что случайные обстоятельства и взыскательность людей от него требовали, одним словом, участь менее порывистая, но более правильная и рациональная — и из Аракчеева вышел бы человек, который мог занять с пользою второстепенное место в государственном управлении. Во всяком

случае, избежал бы он тогда многих ошибок и тех укоризн, частью справедливых, большею частью празднословных, и наглых поношений, которыми безжалостно и беспощадно преследуют память его.

А знаете ли, что меня, вовсе не почитателя и не приверженца Аракчеева, вовлекло в защиту, не защиту, в апологию и того менее, а разве просто в некоторое изучение и разъяснение этой загадочной исторической личности? Во-первых: добросовестность. Говоря об Александре и о способности его пристращаться (*s'engouer*), указывая на лица, которые были предметами такого пристрастия, я не мог выключить, утаить из этой портретной выставки имя, которое более и долее других было у всех на виду. Я не мог «слона-то и не приметить», или скорее не слона, а козла отпущения. Но сознаюсь: у мен «было и другое побуждение. У меня есть своего рода скептицизм, недоверие к тому, что неправильно именуется общим или общественным мнением. По моему мнению, общего мнения нет и быть не может. Это опять одна из узаконенных мистификаций, которыми промышленники цыганят и надувают толпу, собранную на площади, Каждый кружок, как бы ни был он мал, каждый журнал имеет у себя наготове доморощенное общее мнение, во имя которого он разглагольствует, судит и рядит, карает и милует. Это общественное мнение, раздробленное на многочисленные части, друг другу противоречащие и друг другу враждебные, и есть — в добрый час молвить, а в худой промолчать — тот бес, которого имя «легион, яко мнози есмы»[736].

Когда же ночью и днем, в горах и гробах под этою кличкою раздается, разносится и пошло повторяется суждение и приговор, тут невольно возбуждаются во мне сомнения в правоте и законности подобного единогласия.

Было еще и другое побуждение. В наше время, проповедующее систему всеобщих голосований, истина бывает нередко заглушена и затерта именно обилием этих голосов. Бороться, в текучий час, с подавляющим извержением этих голосов бесполезно и неблагоразумно; но это не мешает подавать, хотя для очистки совести, свой одиночный, протестующий голос. Этому голосу не дается сила старого польского veto, *не позволим,* который на польских сеймах останавливал бурный поток большинства; но нравственная сила и одинокого протеста может быть принята в соображение, если не ныне, то завтра, как ни будь еще далеко это гадательное завтра.

Приступим наконец к заключению. Мы не хотели и не хотим возбуждать полемики об Аракчееве. Во всяком случае, от нее

заранее отказываемся. Повторяем: мы не защитники его. Еще менее принимаем на себя обязанность оправдать Александра, который, пред судом истории и потомства, не будет нуждаться в наших оправдательных речах. Мы единственно, исключительно в качестве свидетеля, хотели по возможности разъяснить некоторые темные места в летописи событий, которых мы были современниками.

**notes**

# Примечания

# 1

Саблуков Николай Александрович (1776–1848) — с 1792 г. унтер-офицер Конногвардейского полка, в 1799 г. полковник и командир эскадрона; пользовался доверенностью Павла I и ни разу не подвергся опале. После цареубийства 11 марта 1801 г. — начальник караула при императрице Марии Федоровне в Павловске; в сентябре 1801 г, вышел в отставку с производством в генерал-майоры, В 1806–1809 гг. вновь на службе (в Адмиралтейств-коллегии); участник войны 1812 г. После окончательного выхода в отставку (1813) жил преимущественно в Англии. «Записки» впервые напечатаны по-английски в 1865 г. в лондонском журнале «Fraser's Magazine for Town and Country»; по-русски, в отрывках: РА. 1869. Стб, 1871–1951. Здесь печатаются в переводе К. А. Военского по: Цареубийство 11 марта 1801. СПб… 1907. С. 27–28, 34–37.

## 2

После смерти Екатерины II (6 ноября 1796 г.) императором стал Павел I.

# З

Аракчеев Андрей Андреевич (ум. 1796) в 1750-е гг. служил в Преображенском полку, с 1762 г. в отставке в чине поручика. У него было семеро сыновей (четверо из них умерли в младенчестве) и четверо дочерей, ни одна из которых не дожила до взрослых лет. Сохранилась записка великого князя Павла Петровича к А. (август 1796) с соболезнованием по поводу кончины отца: «Зная мое расположение к себе, не можете сумневаться об участии моем, тем более, что я его знал и был человек старого шлагу [т. е. склада — от нем. der Schlag]. Боже, утеши вас» (РС. 1873. № 4. С. 486).

## 4

Имеется в виду Артиллерийская (Пушкарская) школа, основанная в Москве в 1701 г. Ее старший класс — Инженерная школа — в 1712 г. стал отдельным учебным заведением, а в 1723 г. был переведен в Петербург и слит с учрежденной там в 1719 г. новой Инженерной школой. В 1731 г. в столице возникла новая Артиллерийская школа. Школы были объединены в 1758 г. по проекту П. И. Шувалова; их преобразование в кадетский корпус, названный Артиллерийским и Инженерным шляхетным, относится к 1762 г. В марте 1800 г. корпус был переименован во 2-й кадетский.

# 5

С 4 февраля 1806 г. А. был женат на Наталье Федоровне Хомутовой (1783–1842), дочери генерал-майора Ф. Н. Хомутова, дослужившегося до этого чина из сдаточных рекрут; в день свадьбы она получила фрейлинский шифр и Екатерининский орден 2-й степени. Упоминания о ней часты в письмах А. родственникам и близким знакомым за 1806 г.; см., например, письмо к П. И. Корсакову от 21 апреля: <…> любовь и дружба ее есть единое мое исканное в ней благополучие, чего я единственно прошу от Всевышнего, а без оного, по чувствительному моему характеру, я не могу быть здоров и счастлив» (ВЕ. 1870. № 5. С, 473); однако уже в следующем году ее имя исчезает из писем. Оставив мужа, графиня А. жила в своем поместье Липные Горки в Тихвинском уезде Новгородской губернии *(Отто.* № 1. С. 97). Существует еще одна версия разъема супругов: «Относительно причин, послуживших поводом к разлучению графа А. А. Аракчеева с женою, вот что передавал Д. А. Иванов со слов лица, слышавшего этот рассказ от графа П. А. Клейнмихеля Граф Алексей Андреевич, как известно, был женат на Наталье Федоровне, урожденной Хомуговой. Несогласие супругов во взглядах на жизнь и известные светские отношения, конечно, проявлялись нередко, но жена должна была подчиняться воле своего деспота-супруга и не находила этого чем-либо необычайным, так как симпатии ее и антипатии для него были безразличны. Декорум брачного сожития, однако, сохранялся, пока графу не представилось случая убедиться, что сожительство с подобной супругою для человека, стоящего у кормила государственного управления, не вполне удобно. Обстоятельство это заключалось в следующем, До сведения графа Аракчеева дошло, что обер-полицеймейстер города С.-Петербурга, получивший 100 000 р. экстраординарной суммы на секретные расходы, тратит ее совсем на другие надобности, с интересами службы ничего не имеющие, и он доложил об этом государю императору Александру Павловичу. Последовало высочайшее повеление обревизовать расходы экстраординарной суммы Аракчееву лично, и он потребовал к себе все книги и дела по тому предмету. Каково же было его изумление, когда он самолично удостоверился из записей по книге экстраординарных расходов, что его супруга два раза получила из этой суммы по 5000 руб. Вне себя он приказал камердинеру позвать к себе Наталью Федоровну, и когда та вошла в кабинет, встретил ее словами; «Вы, сударыня, изволите брать взятки с полиции?» — «Какие

взятки? Что вы говорите? я не понимаю», — отвечала растерявшаяся графиня. «Я говорю, что вы получили от обер-полицеймейстера два раза по 5000 рублей». — «Да, получила, но я взяла их по просьбе маменьки, ей были деньги очень нужны…» Но граф, в пылу негодования, не позволил ей продолжать более и гневно высказал: «Женщина, состоящая на содержании тайной полиции, не может более оставаться у меня в доме. Извольте убираться куда хотите! Час даю вам на сборы и чтобы духа вашего у меня не пахло!» И Наталья Федоровна прямо из кабинета отправилась к своей матери Дарье Алексеевне Хомутовой, у которой и жила остальное время жизни. Духа ее больше у графа А. А. Аракчеева в доме и не пахло. Но что бы там ни говорили, а всемогущий временщик с своей точки зрения был прав» *(Мартьянов П. К.* Дела и люди века. Отрывки из старой записной книжки, статьи и заметки. СПб., 1893. Т. *2.* С. 190–191. Иванов Дмитрий Андреевич — обер-провиантмейстер, действительный статский советник, в 1840-х гг. служил в новгородских округах пахотных солдат — бывших военных поселениях). История женитьбы и разрыва А. с женой излагается также в «Записках» И. С. Жиркевича, «Припоминаниях…» Н. Н. Муравьева и «Воспоминаниях старика» Н. И. Греча (см. ниже).

# 6

Речь идет о Настасье Федоровне Минкиной (р. 1780-е гг.; убита грузинскими дворовыми 10 сентября 1825 г.), экономке А. с 1798 г. По свидетельству самого А., он купил ее «от помещика Шляттера, узнав о продаже <…> из с.-петербургских газет». Минкина «находилась в доме <…> 27 лет, начала получать жалованья по 300 руб. в год и по мере ее усердия и привязанности получала последние годы 2400 руб.»; зимы проводила в Петербурге, остальное время года — в Грузине, где в знак благодарности к ней в 1806 г. была установлена на особой поляне, недалеко от каменного дома, чугунная ваза» *(Языков.* Стб. 1483). Во второй половине 1810-х гг. А. обеспечил ей (по-видимому, посредством фиктивного брака) дворянство под фамилией Шумская. Через несколько дней после ее кончины он писал: «Двадцать два года спала она не иначе, как на земле у порога моей спальни, а последние пять лет я уже упросил ее ставить для себя складную кровать. — Не проходило ни одной ночи, в которую бы я, почувствовав припадок и произнеся какой-нибудь стон, даже и во сне, чтобы она сего же не услышала, и в то же время входила и стояла у моей кровати, и если я не проснулся, то она возвращалась на свою, а если я сделал оное, проснувшись, то уже заботилась обо мне <…>. — Во все 27 лет ее у меня жизни, не мог я ее никогда упросить сидеть в моем присутствии, и как скоро я взойду в комнату, она во все время стояла. <…> Она была столь чувствительна, что если я покажу один неприятный взгляд, то она уже обливалась слезами и не переставала до тех пор, пока я не объясню ей причину моего неудовольствия» (Описание происшествия по смертоубийству в Грузине [подробное изложение обстоятельств смерти Минкиной, составленное А. по просьбе Александра I и отосланное в Таганрог 26 октября 1825 г.) // РС. 1900. № 4, С. 15–17). Двенадцать писем ее к А. (за 1816 и 1819–1820 гг.) см.: РА. 1868. Стб. 1656–1672; в их принадлежности Минкиной усомнился позднее М. И. Семевский, автор биографического очерка о ней: «Дело не в грамматических ошибках, а в самом литературном складе писем, слишком уже высоком для такой личности, как Настасья Минкина. <…> не сочинял ли эти письма кто-нибудь из настоящих сердечных избранников Настасьи, которые как готовые та уже переводила на свои каракули, так глубоко трогавшие и приводившие в восхищение Аракчеева? (РС. 1884. №3. С. 497; очерк подписан криптонимом *В.);* еще два письма см.: Российский архив. Вып. 2–3. М., 1992. С. 77–79.

## 7

В царствование Павла I А. был в опале дважды: с февраля по август 1798 г. (об этом см. «Записки» Е.Ф. фон Брадке) и с октября 1799 г. (см. воспоминания П.П. фон Геце) до смерти императора.

# 8

26 апреля 1803 г. Александр писал А.: «Алексей Андреевич! Имея нужду видеться с вами, прошу вас приехать в Петербург» (*Александр*. Т. 2. С, 557).

## 9

Имеется в виду восстание 14 декабря 1825 г.

# 10

Массон (Массон де Бламон) Шарль Франсуа Филибер (1762–1807) в 1786 г. приехал в Россию, где находился на службе его старший брат, составивший ему протекцию у П. И. Мелиссино, директора Артиллерийского и инженерного кадетского корпуса. Массон-старший был определен преподавателем в корпус, где и состоялось его знакомство с А. С 1789 г. находился при Н. И. Салтыкове, вел его иностранную корреспонденцию и был гувернером его сыновей; получил чин капитана и назначение в адъютанты Салтыкова. С 1795 г. секретарь великого князя Александра, премьер-майор Екатеринославского гренадерского полка. Вскоре по восшествии на престол Павла I братья Массоны оказались в немилости и в конце 1796 г. были высланы из Петербурга. В 1800 г. Ш. Массон вернулся во Францию. «Записки» был «опубликованы в конце 1790-х гг. Отрывки из них печатаются здесь в нашем переводе, выполненном по: *Masson C.A.* Mémoires secrets sur la Russie pendant les règnes de Catherine II et de Paul I. Vol. 1. Amsterdam, 1800. P. 209–210; Vol. 4. Paris, 1804. P. 297–298.

# 11

В 1792 г.

# 12

Павел Петрович.

# 13

*Мелиссино* Петр Иванович (1726?—1797) — выпускник Сухопутного шляхетного кадетского корпуса, с 1759 г. служил по артиллерии: майор (1760), подполковник (1762), полковник (1764), генерал-майор (1769); с 22 февраля 1783 г. директор Артиллерийского и инженерного кадетского корпуса, генерал-поручик; инспектор всей артиллерии (с 1796). Известно девять его писем к А. (1787–1797), сначала покровительственных, а с возвышением его питомца все более дружеских и даже искательных, ср.: «Во всякое время лестно бы было для меня получить столь одолжительное письмо, каково ваше от 16 мая, но теперь, чистосердечно говорю вам, причинило оно мне несказанную радость; я все еще тревожился сомнением вашим о моей преданности к вам и думал о средствах истребить услугами моими оную [так!], новы меня совершенно успокоили и мне остается только сохранять вашу истинную сыновнюю чувствительность, которую вы приятнее изъяснять умеете, нежели я описывать мою благодарность за то. <…> Ваши способности давно уже заставляли меня предвещать то, что ныне сбывается; вы, я думаю, помните еще, что я вам говорил после того экзамена, на котором вы знанием своим удивили г-на Эпинуса [известного математика], также и то, чего желал и что предсказывал я вам, отпуская вас на службу к государю <…> Мысленно обнимаю вас тысячу раз, любезный мой сын; и ничего не желаю столь пламенно, как наяву заключить вас в свои отцовские объятья. Скажите же мне, мой милый Алехан, могу ли я в скором будущем надеяться на это драгоценное утешение. (РС. 1873. № 12. С. 977–978; письмо от 16 июня 1797 г., последние две фразы — французский постскриптум; перевод наш). // Письмо написано, видимо, вскоре после примирения автора с А. (об имевшей место ссоре см. ниже глухое упоминание в «Записках» Массона; о ней же косвенно свидетельствует и лакуна с 1794 по 1797 г. в собрании писем Мелиссино к А., которое было переплетено, как сказано в редакторском примечании к публикации, «в красный тисненный золотом сафьян» и хранилось в Грузине).

# 14

Массон рассказывает о себе в третьем лице.

## 15

Ср. пассаж из воспоминаний А. С. Шишкова: «Я сам при учениях видел, как граф Аракчеев в присутствии государя за малую ошибку, таковую, как ступил не в ногу, или тому подобную, замечал мелом на спине солдата, может быть, во многих сражениях проливавшего кровь свою за отечество, сколько дать ему палочных ударов» *(Шишков А. С.* Записки, мнения и переписка. Берлин, 1870. Т. 1. С. 22–23).

## 16

Имеются в виду сыновья Н. И. Салтыкова, в описываемое время камер-юнкеры (с 1790), а с конца ноября 1796 — действительные камергеры: Дмитрий (1767–1826); Александр (1775–1837), впоследствии сенатор (1804) и член Государственного совета (с 1810); Сергей (1776–1828), в дальнейшем также член Государственного совета (с 1823), действительный тайный советник (1827).

# 17

Старший брат мемуариста Андре Пьер Массон (Массон де Панвильон; 1759 — ок. 1820) прибыл в Россию в 1781 г., с 1793 г. подполковник Украинского легкоконного полка (сверх комплекта), прикомандированный к Артиллерийскому кадетскому корпусу на инспекторскую вакансию. Арестован в ноябре 1796 г.; после изгнания из России жил в Байрейте.

# 18

*Министр* — Николай Иванович Салтыков (1736–1816), С 1773 г. находился при Павле Петровиче, с 1783 г. — воспитатель великих князей Александра и Константина; президент Военной коллегии (с 1790), генерал-фельдмаршал (1796), председатель Государственного совета и Комитета министров (1812–1814); князь (1814).

# 19

Лубяновскнй Федор Петрович (1777–1869) — в 1796–1798 гг. адъютант Н. В. Репнина, с 1802 г. на службе в Министерстве внутренних дел; действительный статский советник (1810), статс-секретарь принца Ольденбургского (1809–1810); в 1819–1831 гг. пензенский, в 1831–1833 гг. — подольский гражданский губернатор, сенатор (1833); переводчик. Фрагмент печатается по: *Лубяновский Ф. П.* Воспоминания. М., 1872. С. 118–123.

# 20

После коронации (5 апреля 1797 г.) Павел I провел некоторое время в Москве, а в мае предпринял осмотр западных губерний России. В путешествии его сопровождали великие князья Александр и Константин; А. также был взят в свиту императора. Сохранилась записка наследника к А. в связи с этим назначением: «Друг мой Алексей Андреевич! Я пересказать тебе не могу, как я рад, что ты с нами будешь. Это будет для меня великое утешение и загладит некоторым образом печаль разлуки с женою, которую мне — признаюсь — жаль покинуть. Одно у меня беспокойство, это твое здоровье. Побереги себя ради меня» *(Александр.* Т. 2. С. 548).

# 21

*Якоби* Николай Варфоломеевич (1726–1803) — генерал-майор

# 22

*Репнин* Николай Васильевич (1734–1801) — князь; посол в Пруссии (1762), Польше (1763–1769), Турции (1775–1776); лифляндский и эстляндский генерал-губернатор (с 1794), генерал-фельдмаршал (1796), в 1797 г. инспектор пехоты Литовской и Лифляндской дивизий.

# 23

*Плутонг* (от *фр.* peloton — взвод) — подразделение для ведения залпового огня: один или два взвода пехоты, выстроенные в 3–4 шеренги. *Эшелон* (от фр. échelle — лестница) — «положение, когда войско, быв устроено в линию, сделав повзводно осьмую долю захождения, остановится и в сем виде будет следовать вперед» *(Тучков С. А.* Военный словарь, заключающий наименования или термины, в российском сухопутном войске употребляемые. М., 1818. Т. 2. С. 247). *Пуан-де-вю* (фр. point de vue) — воображаемая точка, задающая направление движения; ср.: «Командир командует: *глаза* пакт. Офицеры становятся на левый фланг своих взводов и маршируют прямо на данный поен де вю» (Его императорского величества воинский устав о полевой пехотной службе. М., 1797. С. 101). *Пуан-д'аппюи* (фр. point d'appui) — точка поворота.

## 24

Имеется в виду великий князь Александр Павлович.

# 25

Кутлубицкий (Котлубицкий) Николай Осипович (ум. 1852) — в 1792 г. выпущен из Артиллерийского и инженерного кадетского корпуса поручиком в морской батальон, с 1793 г. служил в гатчинской артиллерийской батарее под началом А., состоял при нем адъютантом, с 1795 г. штабс-капитан, любимый адъютант великого князя Павла Петровича; по восшествии его на престол пожалован во флигель-адъютанты с производством в майоры гвардейского артиллерийского батальона (7 ноября 1796), затем в подполковники (9 ноября); генерал-майор и генерал-адъютант (1 января 1797); в июне 1798 г. произведен в генерал-лейтенанты и назначен в свиту императора; в последний год царствования Павла I — комендант Михайловского замка. Как явствует из писем Авдотьи Савельевны Ваксель (родной племянницы генерал-майора А. И. Корсакова, в то время директора Артиллерийского и инженерного кадетского корпуса) к Кутлубицкому, бывшему тогда ее женихом, летом 1799 г, А. пытался ухаживать за этой девушкой: «Были мы у дядюшки Алексея Ивановича, и там видела я, наконец, графа, который пребольшие мне делал комплименты за время обеда и говорил, что как ты ему всегда за друга считался, то он надеется о милостивом моем и к нему расположении. Какой он гадкий и гнусный! Какая мерзкая у него рожа! Он мне очень не понравился» (цит. по: *Токсинов В. А.* Временщик (А. А. Аракчеев). М., 1996. С. 67–69). А. С. Ваксель вопреки желанию матери ответила на вскоре последовавшее сватовство А. решительным отказом; ее свадьба с Кутлубицким состоялась в августе 1799 г. Фрагмент «Рассказов…» (в записи А. И. Ханенко) печатается по: РА. 1866. Стб. 1325–1329.

# 26

*Кутайсов* Иван Павлович (1759–1834) — пленный турок, мальчиком взят ко двору Екатерины II; в начале 1790-х гг. стал доверенным лицом Павла Петровича, 5 мая 1799 г. (в один день с А.) получил графский титул, в 1800 г. — звание обер-шталмейстера; после убийства императора уволен от службы.

## 27

Имеется в виду Кутайсова (урожд. Резвая) Анна Петровна (1760-е — 1842 или 1848).

## 28

Неточность: скорее всего, подразумевается участие А. в разработке «Положения об учреждении Императорского Военно-сиротского дома и отделений оного при гарнизонных полках». Заведение для призрения детей погибших офицеров и нижних чинов было учреждено великим князем Павлом Петровичем в Гатчине еще в 1794 г. и состояло в ведении А. как гатчинского коменданта. В январе 1797 г. детей перевезли в Петербург, и около двух лет Дом военного воспитания продолжал существовать частным порядком, лишь к концу 1798 г. получив окончательное устройство (в нем должны были воспитываться одновременно до 1100 детей обоего пола в широком возрастном диапазоне, от младенцев до подростков; замечания А. на проекте «Положения…» см.: Исторический очерк Павловского военного училища… СПб., 1898. С. 37–55). В 1829 г. Императорский Военно-сиротский дом был переименован в Павловский кадетский корпус, в 1863 г. — в Павловское военное училище. Об отношении А. к этому военно-учебному заведению см. также в мемуарах И. Р. Тимченко-Рубана.

# 29

К 1800 г. в Грузине был отстроен небольшой деревянный дом с надписью на фронтоне: «Мал, но покоен». Каменный дворец возводился в 1801–1806 гг. по проекту архитектора Ф. И. Демерцова *(Малиновский Ф.* Историческое описание села Грузина, собранное из достоверных повествователей и собственных наблюдений по 1816 год. М., 1816. С. 33, 38).

## 30

Видимо, ошибка мемуариста: полковник Петр Иванович Балабин получил звание флигель-адъютанта только в 1808 г.; генерал-майор (1813).

# 31

Фон Гёце (Гётце) Петр Петрович (Петр Отто; 1793–1880) в 1812 г. окончил Дерптский университет со степенью кандидата философии, с 1817 г. на службе в Департаменте духовных дел иностранных исповеданий (с 1821 г. чиновник особых поручений при А. Н. Голицыне), с 1826 г. служил в Министерстве финансов; в 1850 г. тайный советник, в отставке с 1860 г. Фольклорист, переводчик; почетный член Российской академии (с 1829), Отрывок из его мемуаров (Goecze P. von. Furst Alexander Nikolaiewitch Galitzin und seine Zeit. Leipzig, 1882) печатается по русскому переводу: РА. 1902. № 9. С. 101–107.

## 32

Толь (Толлль) Карл Федорович (1777–1842) — граф (1829); генерал-квартирмейстер 1-й армии в 1812-м и Главного штаба союзных армий в 1813–1814 гг., генерал-фельдмаршал (1826), член Государственного совета (с 1830). Упоминаемые записки были изданы в четырех томах немецким историком и дипломатом Теодором Бернгарди: Denkwürdigkeitcn aus dem Leben des Grafen von Toll (Leipzig, 1856–1858).

## 33

Ср.; «Ежедневно являлись новые доказательства суровости Аракчеева. В одной унтер-офицерской казарме, при своем посещении, не нашел он желаемого порядка и в гневе собственноручно вырвал усы гвардейскому офицеру» *(Ратч.* С. 134); см. также мемуары А. И. Михайловского-Данилевского и Ф. Ф. Вигеля.

# 34

*Бухмейер* Федор Евстафьевич (1764–1841) — выпускник Артиллерийского и инженерного кадетского корпуса, в 1793 г. старший адъютант П. И. Мелиссино, в 1797 г. в чине майора определен в Брянский арсенал; с 1806 г управляющий Киевским и Брянским арсеналами, генерал-майор (1808) с назначением состоять при А.; с 1818 г. председатель Экономического комитета военных поселений, с 1822 г. — член Совета «господина главного над военными поселениями начальника» (т. е. А.; его деловое письмо к Бухмейеру от 22 июня Ш7 г. см.: РС. 1896. № 5. С. 326–327, письма Бухмейера — Новгородский сборник. Вып. 5. Новгород, 1866). Уволен от службы в 1824 г.

## 35

Дом (не сохранился) спроектирован Ф. И. Демерцовым, который в 1803–1810 гг. возвел для Артиллерийского департамента ряд зданий на территории Нового Арсенала, в начале Литейного проспекта. Он же был архитектором особняка А. (современный адрес — Набережная Мойки, 35), проданного вскоре по завершении строительства *(Грузина.* С. 212, 216).

# 36

*Меншиков* Александр Данилович (1673–1729) — сподвижник Петра I, временщик Екатерины I. Грузино было пожаловано ему в 1705 г. В 1727 г. Меншиков был арестован и сослан, а все его состояние конфисковано.

# 37

П. И. Бартенев, публикатор записок фон Геце в «Русском архиве», комментировал этот пассаж следующим малодостоверным сообщением об одном из слуг А.: «Аракчеев <…> приказывал ему (тогда еще мальчику) становиться против его кресел и, сидя в них, железным аршином теребил ему по носу до тех пор, пока начинала капать кровь. За таким занятием застал его присланный к нему от императора Николая Павловича знаменитый и столь близко ему знакомый врач, барон Вилье»

# 38

Имеется в виду Андрей Андреевич Аракчеев (1776–1814), выпущенный в 1790 г. из Артиллерийского и инженерного кадетского корпуса штык-юнкером в полевую артиллерию. По восшествии на престол Павла I стал быстро продвигаться по служебной лестнице: 15 ноября переведен в гвардейский артиллерийский батальон (из поручиков стал капитаном), полковник (1799), генерал-майор (1799). Приказ от I октября 1799 г. касался обоих братьев: «Генерал-лейтенант граф Аракчеев 1-й, за ложное донесение и что в противность устава нарядил дежурным штаб-офицера из другого батальона, а не из того, который стоял тогда в карауле, отставляется от службы. <…> Генерал-майор Аракчеев 2-й за случившуюся покражу в арсенале во время бытности тогда в карауле его батальона отставляется от службы» (цит. по; *Потоцкий П. П.* История гвардейской артиллерии. СПб., 1896. С. 55), В следующее царствование Андрей Аракчеев вновь на службе; участник Шведской кампании 1808–1809 гг. (его письмо к А. из Гельсингфорса от 20 мая 1808 г, с просьбой навести порядок в снабжении боевой артиллерии запасными лошадьми, «зарядами и патронами» см, Архив адмирала П. В. Чичагова, СПб., 1885. Вып. 1. С. 138–139). С 1809 по 1812 г. занимал должность киевского коменданта, но большую часть времени, видимо, лишь числился на ней, поскольку в октябре 1810 г. А. писал брату Петру, что Андрей «едет к своему месту целый уже год» (ВЕ. 1870. № 5. С. 481); в апреле 1814 г. А. сетовал в письме к И. А. Пукалову: «<…> брат Андрей Андреевич <…> бедный, несчастлив, болен, живет в Бремене в присмотре доброго моего друга Ф. О. Бухмеера. Естли бы он и здоров был, то его в коменданты в С.-Петербург не сделают» (РА. 1891. № 1. С. 139). Письма А. к брату см.: РС. 1891. № 8. С. 406–407 (4 письма за февраль 1796 г.); ДНР. 1876. № 5. С. 92–93 (три письма за март-апрель 1796 г. и одно без даты); ВЕ. 1870. № 5. С. 472–474 (два письма 1806 г.).

# 39

*Вильде* Иван Иванович — в начале 1796 г. подполковник артиллерии, служил при артиллерийском лазарете в Петербурге; в 1799 г. генерал-лейтенант, отставлен от службы 30 сентября.

Имеется в виду великий князь Александр Павлович.

# 41

*Тучков* Павел Алексеевич (1776–1858) — генерал-майор; участник войн с Наполеоном; с 1838 г. — член Государственного совета, председатель Комиссии прошений.

# 42

*Амбразанцов* (Образанцев) Николай Дмитриевич (1754–1814) служил по артиллерии с 1770 г.; в 1797 г, назначен шефом артиллерийского батальона в Казани с пожалованием в генерал-майоры, в 1798 г. инспектор артиллерии Оренбургской дивизии, генерал-лейтенант; с октября 1799-го по март 1800 г. инспектор всей артиллерии.

# 43

Приведенный рассказ почти дословно совпадает с анонимным свидетельством некоего «очевидца» (см.: Мнение великого князя Александра Павловича об Аракчееве в 1799 г. // РС. 1871. № 2. С. 241–242; сомнения относительно Достоверности этого источника высказывались еще в 1896 г.; см.; *Потоцкий П. П.* История гвардейской артиллерии. С. 55). С другой стороны, сохранилось чрезвычайно дружеское письмо наследника к А., написанное 15 октября 1799 г., т. е. через две недели после его отставки: «Я надеюсь, друг мой, что мне нужды нет тебе при сем несчастном случае возобновлять уверение о моей непрестанной дружбе; ты имел довольно опытов об ней, и я уверен, что ты об ней не сомневаешься. Поверь, что она никогда не переменится. <…> — Государь воображал, что покража в арсенале была сделана по иностранным научениям. И так как уже воры сысканы, как уже, я думаю, тебе и известно, то он ужасно удивился, что обманулся в своих догадках. Он за мною тотчас прислал и заставил пересказать, как покража сделалась; после чего сказал мне: «Я был все уверен, что это по иностранным происками». Я ему на это отвечал, что иностранным мало пользы будет в пяти старых штандартах; тем и кончилось. Про тебя же ни слова мне не говорил, и видно, что ему сильные внушения на тебя сделаны, потому что я два раза просил за (П.С.] Апрелева, который и дела совсем с тем не имел, но он ни под каким видом не хотел согласиться, не почему иному, кажется, как потому, что Апрелев от тебя шел. — Прощай, друг мой Алексей Андреевич, не забывай меня, будь здоров и думай, что у тебя верный во мне друг остается» *(Александр.* Т. 2. С. 556).

Аракчеева (урожд. Ветлицина или Ветлицкая) Елизавета Андреевна (1750–1820). Владелица около 100 крестьян, жила в селе Курганы Бежецкого уезда, где ею была выстроена церковь во имя Покрова Богородицы; благодаря влиянию старшего сына сделалась уважаемым лицом в Тверской и Новгородской губерниях. Подборку писем А. к ней (за 1805–1807, 1808, 1810 гг.) см.: ВЕ. 1870. № 5. С. 470–478, ее письма сыну (1810) — *Дубровин. С.* 19, 39–40. Очевидцы вспоминали о «почтительности, можно сказать, благоговении», с которым А. принимал на прощание благословение матери *(Штейнгейль В. И.* Сочинения и письма. Иркутск, 1992. Т. 2. С. 319): «Когда он здоровался или прощался с нею, он делал сначала перед нею земной поклон, а после этого уже подходил к руке» (свидетельство П. А. Папкова: ИВ. 1900. № 12. С. 984; мемуарист считал это подчеркнутое уважение показным).

## 45

Ср. изложение этого эпизода ниже, в записках С. И. Маевского.

## 46

Рескрипт от 30 августа 1814 г. гласил: «Препровождаем Мы к вам для возложения на себя портрет Наш» *(Александр*. Т. 2. С. 603).

# 47

Приказ о производстве А. и Барклая де Толли в фельдмаршалы был подписан императором в Париже 31 марта 1814 г.

# 48

В июне — августе 1819 г. произошло возмущение в Змиевском и Волчанском уездах Слободско-Украинской (Харьковской) губернии. Начавшись в округе поселённого Чугуевского уланского полка (поводом послужил отказ поселян косить казенное сено для полковых лошадей), оно затем охватило и соседний Таганрогский полк. Восставшие протестовали против обращения их в военные поселяне (в донесении императору А. писал, что «никакие убеждения не действуют на бунтующих и что все они единогласно с женщинами и детьми кричат следующее: не хотим военного поселения, которое не что иное есть, как служба графу Аракчееву, а не Государю, и мы приняли решительные меры истребить графа и наверное знаем, что с его концом рушится и военное поселение» — цит. по: *Верещагин Г. А.* Материалы по истории бунтов в военных поселениях при Александре I // Дела и дни. 1922. Кн. 3. С. 155). Для подавления бунта были стянуты регулярные войска (более 6 тыс. человек пехоты и кавалерии, две артиллерийские роты); А. прибыл в Харьков 11 августа и провел там две с половиной недели. Число арестованных достигло 2003 человек, из них 273 были приговорены к смертной казни, впоследствии отмененной; наказанию шпицрутенами подверглись 54 человека, из них 29 были забиты насмерть. Подробно (на основании архивных документов) ход событий 1817 г. изложен в работе: *Савичев Н.* Чугуевское восстание // Военно-исторический журнал. 1969. № 11. С. 100–104; см. также названную выше публикацию ГА. Верещагина.

# 49

*Сперанский* Михаил Михайлович (1772–1839) — граф (1839); статс-секретарь (с 1801), в 1802–1807 гг., оставаясь в этом звании, служил в Министерстве внутренних дел. Член Комиссии составления законов, в 1809 г. подготовил «Введение к уложению государственных законов», секретарь Государственного совета (1810). В марте 1812 г. отставлен и выслан из Петербурга. В 1816 г. по приглашению А. посетил его в Грузине; по авторитетному мнению М. А. Корфа, «это именно свидание решило <…> переворот в судьбе бывшего государственного секретаря» *(Корф М. А.* Жизнь графа Сперанского. СПб., 1861. Т. 2. С. 118). В августе того же года он был назначен пензенским гражданским губернатором, в 1819 г. — генерал-губернатором Сибири; в марте 1821 г. возвращен в Петербург, в том же году стал членом Государственного совета. Возможно, именно как косвенное подтверждение правоты Корфа следует понимать письмо А. к Сперанскому от 24 марта 1819 г.: «<…> я любил вас душевно тогда, как вы были велики и как вы не смотрели на нашего брата; любил вас и тогда, когда, по неисповедимым судьбам Всевышнего, страдали; протестовал противу оного, по крайнему моему разумению, не только в душе моей, но и всюду, где только голос мой мог быть слышен; радовался о конце сего неприятного для вас дела и буду не только радоваться, но и желать вашему возвышению (так! — *Е.Д., Е.Л.)* на степень высшую прежней. — <…> становясь стар и слаб здоровьем, я должен буду очень скоро основать свое всегдашнее пребывание в своем Грузинском монастыре, откуда буду утешаться, как истинно русский новгородский неученый дворянин, что дела государственные находятся у умного человека, опытного как по делам государственным, так более еще по делам сует мира сего» (цит. по: *Корф М. А.* Указ. соч. Т. 2. С. 159–160; письмо было приложено к указу от 22 марта 1819 г. о назначении Сперанского сибирским генерал-губернатором).

## 50

«Дым из пламени» *(лат.)*. Основой для афоризма послужили стихи 143–144 из «Науки поэзии» Горация, относящиеся к Гомеру («Non fumum ex fulgore, sed ex furno dare lucem» («Он не из пламени дыму хотел напустить, но из дыма / Пламень извлечь…» — пер. М. Дмитриева). В мемуарах фон Гёце изречение Сперанского процитировано, видимо, по биографическому труду М. А. Корфа: «На возвратном пути из Сибири в Петербург, проезжая новгородскими поселениями, сам он в дневнике отметил: «furnus ex fulgore»» *(Корф М. А.* Указ, соч. Т. 2. С. 282).

# 51

Сперанский задумал коллективное сочинение о военных поселениях, для чего были назначены приготовительная комиссия и комитет (под председательством А.), в который входили Сперанский и П. А. Клейнмихель. Комиссия составила программу этого труда, но ее обсуждение в высшем комитете столкнулось с трудностями уже на первых же шагах и более не возобновлялось. Тогда Сперанский сам взялся за эту работу, и в начале 1825 г. появилась составленная им брошюра «О военных поселениях». Отпечатанная малым тиражом и без указания имени автора в типографии Штаба военных поселений, она быстро стала библиографической редкостью (Там же. С. 281–282; текст воспроизведен: Русский вестник. 1890. № 4. С. 108–116; о восприятии этого труда современниками см.: *Давыдов Б. Б.* Рецензия Ф. В. Булгарина на брошюру М. М. Сперанского «О военных поселениях» // Советские архивы. 1990. № 3. С. 79).

# 52

*Кочубей* Виктор Павлович (1768–1834) — граф (1799), князь (1831); вице-канцлер (1798–1799), член Негласного комитета в начале царствования Александра I; в 1801–1802 гг. управлял Коллегией иностранных дел, в 1802–1807 и 1819–1823 гг. министр внутренних дел; отставлен из-за интриг А. В следующее царствование — председатель Государственного совета и Комитета министров (1827–1834).

## 53

См., например, письмо от 24 мая 1817 г.: «Успехи опытов воинского поселения не могут не быть приятны всем тем, кои, умея размышлять и зная государство, должны удостоверены быть, что без таковых или иных вспомогательных распоряжений нет никакой возможности содержать от 700 до 900 тысяч войска, всегда готового в продолжение долгого времени» (*Дубровин.* С. 196; ср. также письмо от 22 августа 1822 г., написанное вскоре после посещения Кочубеем военных поселений. — *Шильдер. Александр.* Т. 4. С. 244).

# 54

Восстание в Старой Руссе началось 11 июля 1831 г. и быстро приобрело широкий размах: уже на следующий день взбунтовался округ Киевского гренадерского полка, 13 июля— округ принца Евгения Виртембергского, 15-го — округа 3-го и 4-го карабинерных полков и артиллерийской дивизии; затем волнения перекинулись в Чудово, Псков, Ладожский уезд Петербургской губернии. Ненависть к порядкам в военных поселениях бьша многократно умножена страхами, вызванными холерой, поэтому восставшие убивали не только офицеров, но и врачей. Опасность угрожала и А., чье имение находилось в непосредственной близости к эпицентру бунта; 29 июля А. С. Пушкин записывал в дневнике: «Мятежники хотели было ехать к Аракчееву в Грузине, чтоб убить его, а дом разграбить. 30 троек были уже готовы. Жандармский офицер, взявший над ними власть, успел уговорить их оставить это намерение» *(Пушкин.* Т. 8. С. 21; см. также записки Н. А. Качалова, Н. И. Шенига, Н. И. Греча). Возмущение удалось подавить лишь к концу июля, после того как в Новгородских поселениях 25–27 июля побывал император; следственная комиссия признала виновными 3639 человек. События 1831 г. подробно освещены как в мемуаристике (см. сборники воспоминаний и документальных материалов: Бунт военных поселян в 1831 году. СПб., 1870; Граф Аракчеев и военные поселения. 1809–1831. СПб., 1871), так и в историографии (см. пространный очерк П. П. Карцова «О военных поселениях при гр. Аракчееве»— РВ. 1890. № 2–4, работу Е. В. Орлова «Бунт военных поселян» — РВ. 1897. № 7, 9, 11, 12, книгу П. П. Евстафьева «Восстание военных поселян в 1817–1831 гг.» М., 1935, и труды последнего времени, например: *Ячменихин К. М.* Структура Новгородских военных поселений и их управление в 1816–1831 гг. // История СССР. 1989. № 1; *Богданов Л. П.* Военные поселения в России. М., 1992. С. 71–77).

*Бланкет* — чистый лист бумаги с подписью

*Нарышкина* (урожд. княжна Святополк-Четвертинская) Мария Антоновна (1779–1854) — жена обер-егермейстера Д. Л. Нарышкина, фаворитка Александра I с 1804 г.

## 57

*Волконский* Петр Михайлович (1776–1852) — светлейший князь (1834); с 1797 г. адъютант великого князя Александра, с 1801 г. — товарищ начальника, затем начальник императорской военно-походной канцелярии; с 1810 г. генерал-квартирмейстер, с декабря 1812 г. — начальник Главного штаба армии (до 1823); с 1826 г. — министр двора и уделов, генерал-фельдмаршал (1843).

# 58

*Гурьев* Дмитрий Александрович (1751–1825) — граф (1819); с 1802 г. товарищ министра финансов, в 1810–1823 гг. — министр финансов.

## 59

*Дибич* Иван Иванович (1785–1831) — граф (1827); с 1810 г. служил в свите императора по квартирмейстерской части, генерал-квартирмейстер союзной русско-прусской армии (1813–1814), с 1815 г. — начальник штаба 1-й армии. Член Государственного совета (с 1823), начальник Главного штаба и управляющий квартирмейстерской частью (с 1824); генерал-адъютант (1828), генерал-фельдмаршал (1829).

# 60

*Канкрин* Егор (Георг) Францевич (1774–1845) — граф (1829); уроженец г. Ганау, в России с 1797 г. Генерал-интендант русской армии (1813–1820), член Военного совета (1820–1823), в 1823–1844 гг. министр финансов. Известно несколько писем Канкрина к А. (см.: *Дубровин)* и письмо А. к Е. З. Канкриной (апрель 1833), приславшей удаленному отдел и забытому временщику ковер собственной работы: «<…> я оной ковер употребил в спальне нашего общего благодетеля покойного императора Александра Благословенного у того стола под его стул, где он изволил всегда в Грузине десять лет работать дела отечества нашего» (РА. 1868. Стб. 281–282).

# 61

*Голицын* Александр Николаевич (1773–1844) — князь; обер-прокурор Синода (1803–1817), в 1816–1824 гг. министр духовных дел и народного просвещения, в 1819–1842 гг. — главноначальствующий над почтовым департаментом. В бытность Голицына министром Синод был фактически подчинен одному из отделений Департамента духовных дел. В мае 1824 г. «двойное» министерство было упразднено, министром просвещения назначен А. С. Шишков.

# 62

*Тургенев* Александр Иванович (1784–1845) — историк, археограф; директор Департамента духовных дел иностранных исповеданий (1810–1824); после 1825 г. жил преимущественно за границей.

# 63

*Румянцев* (Румянцев) Николай Петрович (1754–1826) — граф; дипломат, в 1802–1811 гг. министр коммерции, с 1808 г. — министр иностранных дел; государственный канцлер (1809), в 1810–1812 гг. — председатель Государственного совета, в 1814 г. уволен от дел; собиратель древностей и книг.

# 64

Михайловский-Данилевский Александр Иванович (1790–1848) — флигель-адъютант и секретарь начальника Главного штаба (с 1816), с 1835 г. генерал-лейтенант, сенатор, с 1839 г. — член Военного совета; военный историк. Отрывки из его мемуаров печатаются по: РС. 1900. № 11. С. 471–475; № 12. С. 716 (публикация Н. К. Шильдера).

# 65

По Тильзитскому мирному договору от 25 июня 1807 г. Россия признавала все завоевания Наполеона в Европе, обязывалась вывести войска из Молдавии и Валахии, заключала мир с Турцией и присоединялась к континентальной блокаде Англии.

# 66

Ср. наблюдения очевидца, офицера Семеновского полка П. С. Пущина, оказавшегося рядом с А. в ходе Лейпцигского сражения 19 октября 1813 г.: «Когда наша кавалерия была отброшена и наши колонны выступили в боевом порядке, чтобы остановить успехи неприятеля, Государь со всей свитой поместился за нашими линиями, и, пока казаки конвоя строились для своей лихой атаки, граф Аракчеев, отделившись от группы, проехал к батальону, с которым я стоял, подозвал меня и завел приятельскую беседу. Как раз в этот момент французские батареи приблизились к нам, и одна из их гранат разорвалась шагах в 50 от места, где мы беседовали с графом. Он, удивленный звуком, который ему пришлось услышать впервые в жизни, остановился на полуслове и спросил меня, что это означает? «Граната», — ответил я ему, приготовившись слушать прерванную так неожиданно фразу, но граф при слове «граната» переменился в лице, поворотил свою лошадь и большим галопом удалился с такого опасного места <…> его адъютант Клейнмихель <…> только пожал плечами, когда генерал поворотил свою лошадь и дал ей шпоры. По возвращении в Петербург я имел неосторожность сообщить об этом случае любовнице графа г-же Пукаловой, и с этого времени я впал в немилость» (Дневник Павла Пущина. 1812–1814. Л., 1987. С. 128, запись от 4–7 октября; последняя фраза — позднейшая вставка).

*Пукалова* (Пуколова; урожд. Мордвинова) Варвара Петровна (р. 1784) — жена И. А. Пукалова. В передаче А. М. Тургенева сохранился следующий анекдот: «Граф Федор Васильевич Растопчин и граф Аракчеев были приглашены к императору кушать. За обедом Аракчеев начал разговор о том, что у нас перевелись вельможи, нет временщиков, что в залах знатных не толпятся. Растопчин, посмотрев на Змея Горынича, — так все звали Аракчеева, — сказал: «Да в залах не толкутся, а есть дома, пред которыми проезду нет. Третьего дня вечером везли меня по Фонтанке от Симеоновского моста, вдруг карета моя остановилась: я думал, что изломалось что-либо у кареты, опустил стекло и спросил: для чего остановились? Человек отвечает: «Каретами вся улица застановлена, а напротив, в оставленном проезде, обоз с камнем идет, своротить некуда». — «У кого же такой большой съезд?» — спросил я. Стоявшие кучера отвечали мне: «У Пукалочихи, барин». Признаюсь, никогда не слыхал я о знатной боярыне Пукалочихе». Аракчеев закусил губу, и оливковый цвет лица превратился в багрово-желтый» *(Тургенев А. М.* Записки // РС. 1885. № 11. С. 265). О Пукалове и его жене см. также в «Записках» Ф. Ф. Вигеля и примеч. к ним.

## 68

Имеется в виду незаконная дочь сборщика податей Вобернье, Мари Жанна (1743–1793) — жена графа Дюбарри, фаворитка Людовика XV (1710–1774; король Франции с 1715 г.).

# 69

*Куракин* Алексей Борисович (1759–1829) — генерал-прокурор в 1796–1798 гг.; сенатор (с 1801), малороссийский генерал-губернатор (1802–1807), министр внутренних дел (1807–1810), в 1811–1816 гг. председатель Департамента гражданских и духовных дел Государственного совета.

# 70

*Лопухин* Петр Васильевич (1753–1827) — светлейший князь (1799); в 1798–1799 гг. генерал-прокурор, в 1803–1810 гг. — министр юстиции, председатель Государственного совета и Комитета министров (1816–1823). История о партии в бостон сообщается также в «Рассказах…» И. А. Бессонова и статье П. А. Вяземского «По поводу записок графа Зенфта» (см. ниже); ср. едкую зарисовку П. В. Долгорукова: «Лица самые заслуженные, самые почтенные трепетали косого взгляда Аракчеева, а те, коих природа оскорбила низкой душой, прибегали ко всем возможным подлостям, чтобы доползти до снискания его благоволения. Председатель Государственного совета и Комитета министров, 70-летний старец Лопухин, председатель Департамента экономии в Государственном совете, 65-летний старец князь Алексей Куракин, министр внутренних дел граф Кочубей езжали по вечерам пить чай к любовнице Аракчеева, необразованной и злой Наньке. Когда Аракчеев удостаивал Кочубея принять от него приглашение на обед, то Кочубей, столь гордый и надменный с другими, надевал мундир и ленту, чтобы встретить Аракчеева» (*Долгоруков П. В.* Петербургские очерки. М., 1992. С. 389; примеч. автора: «Князь Илья Андреевич Долгоруков, несколько времени бывший адъютантом Аракчеева, рассказывал мне, что он сам видел Лопухина, Куракина и Кочубея, распивающих чай у Наньки»).

## 71

Отсылка к стихотворению Г. Р. Державина «Вельможа» (1794): «Всяк думает, что я Чупятов // В мароккских лентах и звездах». Ржевский купец Василий Анисимович Чупятов (1729–1792) торговал пенькой в Петербурге; разорившись после пожара, во избежание долговой тюрьмы симулировал сумасшествие, утверждая, что влюбленная в него принцесса Марокко готова заплатить все его долги, но враги не допустили его к ее подаркам; ходил, обвешанный бутафорскими орденами, лентами и медалями (см. о нем также: *Пыляев М. И.* Замечательные чудаки и оригиналы. М., 1990. С. 102–106).

От генерал-фельдмаршальского чина и Андреевского ордена А. отказался соответственно в 1814 и 1809 гг.

## 73

Во время Аустерлицкого сражения 2 декабря 1805 г. А. находился в свите Александра I.

## 74

Георгиевский крест давался преимущественно за военные заслуги.

## 75

Имеется в виду Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов (1745–1813), в 1812 г. получивший титул светлейшего князя Смоленского.

# 76

Речь идет об одном из старейших воинских соединений русской регулярной пехоты — мушкетерском полке, сформированном в 1699 г. С 1710 г. он назывался Ростовским, в царствование Павла I, как и другие полки, по фамилиям шефов и командиров; с 1801 г. — вновь Ростовским мушкетерским, а 3 августа 1808 г. высочайшим указом ему было повелено именоваться «мушкетерским графа Аракчеева». В 1811 г. стал гренадерским; в мае 1834 г., после смерти А., ему возвращено название Ростовского.

## 77

Свою яхту «Роченсальм» (в некоторых мемуарных источниках ее ошибочно называют фрегатом) император подарил А. весной 1815 г.; она была доставлена в Грузине на следующий год, 24 апреля. О транспортировке судна подробнее см. в мемуарах Н. А. Качалова и примеч. к ним. Новый хозяин назвал судно «Волхов», но не сразу остановился на этом варианте (некоторое время яхта именовалась «Голубкой»), о чем свидетельствуют пропуск в тексте «Автобиографических заметок…» А. (см. ниже) и разноречивые сведения в «Общем морском списке». Ср.: «Матросы назначались на графскую яхту от морского министерства, а продовольствие шло им от адмиралтейства» *(Отто.* № 6. С. 171). Во второй половине декабря 1825 г. А. испрашивал высочайшего позволения и впредь пользоваться подарком покойного императора, на что последовал собственноручный ответ Николая I: «Само собою разумеется, что остается навсегда в распоряжении вашем и на том же основании» (прошение см.: РО РНБ. Ф. 29. № 11. Л. 4–4 об.)

# 78

В 1815 г. в Петропавловском приделе Грузинской церкви был установлен памятник Павлу I работы И. П. Мартоса, исполненный как надгробие. Он состоял из барельефа с изображением императора и жертвенника, перед которым склонился воин. Точный текст надписи: «Сердце чисто и дух прав пред Тобою» (парафраза ст. 12 из 51-го псалма).

«Внизу плоский продолговатый камень, и на нем надпись: да пребудет и прах мой у подножия изображения Твоего» *(Языков.* Стб. 1475). На камне еще при жизни А. были выбиты слова: «На сем месте погребен русский Новгородский дворянин, граф Алексей Андреевич Аракчеев, родился 1769 года сентября 23 дня, умер …»

Яркий пример — дружеская переписка А. А. Закревского, П. Д. Киселева, П. М. Волконского и И. В. Сабанеева, в которой А. характеризуется исключительно негативно: «проклятый змей», «пресмыкающийся змей» (вообще «Змей» — наиболее распространенное заглазное прозвище А. как в этом кружке боевых генералов, принадлежавших «к весьма незначительному числу людей, которые не поклонялись перед всемогущим временщиком Аракчеевым» (*Дельвиг.* Т. 2. С. 13), так и вообще среди недовольных), «выродок ехидны», «рожа», «гнусный человек», «гнилой столб», «раб и льстец», «изверг», «единственный государственный злодей» (Сб. ИРИО. СПб., 1890. Т. 73. С. 97, 184, 182; *Заблоцкий-Десятовскип А. П.* Граф П. Д. Киселев и его время. СПб., 1882. Т. 1. С. 84; Сб. ИРИО. СПб., 1891. Т. 78. С. 214). Ср. также выдержку из письма Закревского к Волконскому (15 декабря 1819): «У нас теперь существуют две чумы: одна ваша, которая при мерах осторожности исчезнет, а другая, Аракчеев, не прежде изгладится с земли нашей, как по его смерти, которой ожидать нам долго; признаться надо, что вреднейший человек в России» (Там же. С. 204).

# 81

Речь идет об убийстве Н. Минкиной в Грузине 10 сентября 1825 г.

## 82

Узнав о смерти Александра I, А. 30 ноября 1825 г. извещал нового императора (Константина Павловича): «Получа облегчение от болезни, я вступил в командование отдельным корпусом военных поселений» (цит. по: *Шильдер. Николай.* Т. 1.С. 225); вслед за этим был отдан упомянутый приказ по военным поселениям.

## 83

Отсылка к басне И. А. Крылова «Лев состаревшийся» (1825).

# 84

Вигель Филипп Филиппович (1786–1856) в 1800–1802 гг. состоял на службе в Московском архиве Коллегии иностранных дел; следующие 20 лет — в министерствах: внутренних дел, финансов, иностранных дел; в 1823–1826 гг. служил в Бессарабии, с 1826 г. — в Керчи, в 1829–1840 гг. вице-директор, затем директор Департамента духовных дел иностранных исповеданий. Фрагменты его мемуаров печатаются по: *Вигель Ф. Ф.* Записки. М., 1892. Ч. 3. С. 13–15; Ч. 4. С. 131–132; Ч. 6. С. 62.

## 85

Имеется в виду война 1806–1807 гг., завершившаяся Тильзитским миром.

# 86

*Вязмитинов* Сергей Козьмич (1749–1819) — граф (1816); генерал от инфантерии (1798); в 1802–1808 гг. военный министр; с 1816 г. петербургский генерал-губернатор.

# 87

*Марат* Жан Поль (1743–1793) — врач и ученый; в период Великой французской революции депутат Конвента, публицист, издатель журнала «Друг народа», идеолог массового террора.

По свидетельству самого А., он отказался выполнять это поручение Павла I (см. ниже заметки И. Р. Мартоса).

Тут в значении: личными отношениями.

*Безусловно* — здесь: не выставляя своих условий.

# 91

Став в 1808 г. военным министром, А. потребовал устранения генерал-адъютанта Христофора Андреевича *Ливена* (1777–1838) от заведования военно-походной канцелярией императора. 26 января 1808 г. она перешла к А., а в 1812 г. была упразднена. Ливен был близок к императору в 1800-х гг., находился в его свите во время Аустерлицкого сражения и свидания с Наполеоном в Тильзите; с 1809 г. посол в Берлине, в 1812–1834 гг. — в Лондоне, с 1834 г. попечитель великого князя Александра Николаевича.

# 92

Имеется в виду И. А. Пукалов (Пуколов), чиновник Коллегии иностранных дел, затем секретарь Сената; с 1799 г. статский советник и обер-секретарь Синода, обер-прокурор (с 1801). В 1801–1802 гг., не гнушаясь привлечением лжесвидетелей, успешно провел дело о браке покойного бригадира П. А. Мордвинова, дочь которого Варвара, родившаяся до свадьбы родителей, была признана законной наследницей. После этого Пукалов потребовал ее руки и женился на ней в январе 1803 г. В сентябре того же года указом императора был «за происки его и мздоимство лишен в Синоде места, отослан в Герольдию» (Записки А. А. Яковлева. М., 1915. С. 27) — впрочем, с производством жалованья; в феврале 1804 г. было предписано не определять его ни к каким делам, в ноябре (по личной просьбе петербургского митрополита Амвросия) — вновь причислить к Герольдии, но на этот раз без жалованья. В сентябре 1805 г. подал на высочайшее имя прошение о восстановлении в службе (РО РНБ. Ф. 609. № 430. Л. 8), оставшееся, видимо, без удовлетворения. Следующим этапом своей карьеры Пукалов был обязан А.: «<…> когда под Аустерлицом французы отняли у нас всю артиллерию, когда Аракчеев был назначен военным министром, и Иван Антонович принят в службу, и в непродолжительное время видели Пукалова уже действительным статским советником! Он был философ — не знаю, какой секты или, лучше сказать, секты, собственно им придуманной; он ум и совесть считал товаром и продавал их тому, кто больше дает денег; тело супруги также отпускал напрокат, да граф Алексей Андреевич // Аракчеев абонировал тело г-жи Пукаловой на бессрочное время. Иван Антонович, наконец, уклонился от службы по собственному желанию, но как абонемент тела супруги его продолжался, то он был у графа домашним человеком, другом дома и занимался промышленностью — доставлением желающим табуреток (табуретками Пукалов называл орденские звезды) и миндалий (миндалями он называл медали) a pris fixe [по установленной цене — *фр.*]. — Табуретка стоила 10 000 руб., миндаль — 5000 руб.» *(Тургенев А. М.* Записки // РС. 1885. № 11. С. 264); ср. замечание Н. М. Карамзина в письме из Петербурга от 6 марта 1816 г.: Пукалов «здесь выше всех статс-секретарей, по уверению знающих людей» (Неизданные сочинения и переписка Н. М. Карамзина. СПб., 1862. С. 170); Ф. В. Ростопчин в письме к А. Ф. Брокеру от 11 июня 1816 г. называет Пукалова «самым ближним» к А. человеком (РА. 1868. Стб. 1894); П. М. Строев

сообщает своему московскому корреспонденту, что в столице деликатесы можно найти «только у знатных и богатых <…>: например, я ел ботвинью с белужиной у любимца гр. Аракчеева Пукалова» (Письмо к К. Ф. Калайдовичу от 15 июня 1818 г. // Записки Отдела рукописей ГБЛ. М., 1987. Вып. 46. С. 175). Дружеские письма А. к Пукалову из-за границы (1813–1814) с жалобами на отсутствие внимания со стороны императора, на нездоровье, неустроенность и усталость см.: РА. 1891. № 1. С. 130–143; письма Пукалова к А. — *Дубровин;* Отечественная война в письмах современников. СПб., 1882; РО РНБ. Ф. 29 (Аракчеева). № 22 (Входящие грузинские дела 1818 г.). Л. 31–32. В 1818 г. Пукалов был советником Военной коллегии.

*Лаиса, Фрина* — греческие гетеры (IV в. до н. э.).

*Студияния* (правильнее — студодеяния) — «распутство, непотребство» (Даль).

# 95

Цитата из поэмы В. Л. Пушкина «Опасный сосед» (1811).

*Горчаков* Алексей Иванович (1769–1817) — в 1812–1814 гг. управляющий делами Военного министерства, генерал от инфантерии (1814), военный министр (1814–1815).

## 97

*Молчанов* Петр Степанович (1770–1831) — с 1807 г. статс-секретарь «у принятия прошений», с 1808 г. — управляющий делами Комитета министров (совмещал обе должности до конца 1815 г.), сенатор (с 1812).

*Танеева* Екатерина Николаевна (1762–1833) — жена С. М. Танеева (о нем см. в примеч. к «Запискам» И. С. Жиркевича).

*Апрелев* Федор Иванович (1763–1831) в 1776–1780 гг. учился в Артиллерийском и инженерном кадетском корпусе, по выпуске определен в бомбардирский полк штык-юнкером; с 1781 г. унтер-цейхвартер в Петербургском арсенале, с 1785 г. — подпоручик 2-го канонерского полка, с 1789 г. — поручик над мастеровыми в Дерптском арсенале; в 1792 г. в чине капитана по требованию великого князя Павла Петровича был откомандирован в Гатчину для исправления орудий и обучения артиллеристов, а уезжая, рекомендовал А. На свое место. Апрелев «всеми силами старался отделаться от Гатчины, и говорят, будто он первый шепнул про своего тверского земляка Аракчеева, с которым был в приятельских отношениях. Не имея положительных к тому указаний, не можем принять это за достоверное; но безграничное расположение, которое постоянно граф Аракчеев оказывал впоследствии Апрелеву, может служить некоторым подтверждением, хотя оно могло быть и следствием того, что отказу Апрелем Аракчеев был обязан своим назначением к великому князю» *(Ратч. С.* 84). С 1800 г., произведенный в генерал-майоры, служил в Артиллерийской экспедиции, в 1809 г. вышел в отставку «по болезни», через несколько лет вернулся на службу и дослужился до чина генерал-лейтенанта. Весной 1825 г. ходили слухи о том, что министром внутренних дел будет назначен «Аракчеева любимец Апрелев, доброй фрунтовик с дурною душою» (РС. 1917. № 3. С. 347; Апрелев в это время состоял при генерал-фельдцейхмейстере великом князе Михаиле Павловиче в чине артиллерии генерал-майора). Дружеские отношения с Апрелевым и его семейством — женой Анастасией Ивановной (1778–1858), детьми: Александром (1798–1836; в 1824 г. поручик, в 1825 г. — капитан гвардейской артиллерии), Иваном (ум. 1874; в 1824 г. также поручик, в 1825 г. — штабс-капитан гвардейской артиллерии, адъютант А., в 1831 г. полковник 1-й гвардейской артиллерийской бригады, состоял «по особым поручениям» при герцоге Александре Вюртембергском; впоследствии сенатор, действительный тайный советник, в 1850-х гг. управлял хозяйственными делами гр. Д. Н. Шереметева), Анной (ум. 1875), Елизаветой (ум. 1881), Марией (ум. 1871), Софьей (ум. 1861) — А. поддерживал в течение всей жизни: ссужал деньгами, был восприемником детей, покровительствовал сыновьям по службе; отойдя от дел, навещал своего «истинного приятеля» в его имении в Тихвинском уезде Новгородской губернии и принимал его у себя в Грузине (семь писем А. (1826–

1828) к Апрелеву и его жене см.: *[Шереметев С.Д.]* Семейство Апрелевых. СПб., 1898. С. 7–19). Утверждение Н. К. Шильдера о том, что «Апрелев пользовался покровительством Аракчеева и по его выбору в 1793 г. поступил в гатчинскую артиллерию, а в 1797 г. назначен был адъютантом к цесаревичу» *(Шильдер Н. К.* Император Павел I. СПб., 1901. С. 403), ошибочно: здесь имеется в виду Петр Сидорович Апрелев (1778–1829), окончивший Артиллерийский и инженерный кадетский корпус в 1793 г. со званием подпоручика. В 1796 г., до восшествия на престол Павла I, он был поручиком гатчинской артиллерии; в 1797 г. полковник, адъютант великого князя Александра, 1 октября 1799 г. был отставлен от службы в чине генерал-майора (также по делу о краже в Арсенале); впоследствии генерал-лейтенант (1812).

# 100

Имеются в виду члены семьи будущего графа Дибича: его отец — барон Ганс Эренфрид (Иван Иванович) Дибич-старший (1737–1822), подполковник прусской службы (1791), в 1798 г. вступивший в русскую службу с чином полковника, генерал-майор (1800); в 1808 г. директор Сестрорецкого оружейного завода, с 1811 г. — директор 1-го кадетского корпуса; мать— Екатерина Дибич (урожд. Вельцин; ум. 1828); жена (с 1815 г.) — Женни (Анна Егоровна) Дибич (урожд. баронесса фон Торнау; 1798–1830), впоследствии статс-дама; брат — барон Дибич Василий Иванович (1770–1838), полковник, и его жена.

# 101

*Клейнмихель* Андрей Андреевич (1757–1815) — знакомец А. еще с начала 1780-х гг. (по службе в Гатчинских войсках); с 1784 г. был определен в Артиллерийский и инженерный кадетский корпус с переименованием в подпоручики артиллерии. В 1800–1815 гг. директор 2-го кадетского корпуса; генерал-лейтенант (1812), директор Инспекторского департамента Главного штаба (с 1814). Его сын Петр Андреевич (1793–1869) — с 1812 г. адъютант А., флигель-адъютант (1814); начальник штаба Управления военными поселениями (с 1819), с 1826 г. генерал-адъютант. После удаления А. от дел о Клейнмихеле говорили: «Аракчеева нет, но зубы его остались» (*Дельвиг.* Т. 1. С. 389; ср. более ранний пессимистический прогноз А. А. Закревского: «Мне кажется, что Клейнмихель со временем будет еще хуже его [А.]» — письмо к П. Д. Киселеву от 15 декабря 1819 г. // Сб. ИРИО. Т. 78. С. 214). С 1832 г. дежурный генерал Главного штаба, с 1835 г. — директор Департамента военных поселений и Инспекторского департамента Военного министерства; граф (1839). В 1842–1855 гг. главноуправляющий путей сообщения и публичных зданий.

# 102

Сухово-Кобылин Василий Александрович (1780 или 1784–1873) — участник войны 1812 г., вышел в отставку в чине полковника артиллерии; в конце 1840–1850-х гг. смотритель Выксунского чугунолитейного завода (Владимирская губ.) и имения, принадлежавшего семье его жены (урожд. Шепелевой); отец драматурга А. В. Сухово-Кобылина. Фрагменты его воспоминаний печатаются по: РА. 1906. № 7. С. 432–438; запись Т. Толычевой (псевдоним писательницы Е. В. Новосильцевой).

## 103

Имеется в виду Александр Васильевич Сухово-Кобылин (1748–1815)

# 104

К концу XVIII в. камзол был вытеснен из дворянского обихода жилетом. Пучок или коса, на ношении которых настаивал Павел I, в 1803 г. были редкостью: мужчины стриглись, завивали волосы.

## 105

Речь идет о церкви во имя апостола Андрея Первозванного, возведенной по проекту Ф. И. Демерцова; заложена 5 мая 1805 г., освящена 20 сентября 1806 г., в 1811 г. по высочайшему повелению переименована в собор (единственный в России в частном имении). Подробнее о проекте Демерцова и о перестройке собора в 1822–1824 гг. В. П. Стасовым см.: *Грузина. С.* 216, 226–227. Детальное описание убранства собора см. ниже, в очерке П. П. Свиньина «Поездка в Грузине».

Имеется в виду Н. И. Салтыков.

## 107

Ср.: «Денщик его слыл между офицерами под именем *синицы,* потому что всегда имел под глазами синяки от кулаков графа» *(Жемчужников В. М.* Записки // ВЕ. 1899. № 2. С. 642; о жестоком обращении А. с камердинером вспоминал также П. А. Папков, служивший при графе в середине 1800-х гг. — ИВ. 1900. № 12. С. 982). Не исключено, что «инвалид Синица», у которого можно было получать изданный в типографии Штаба военных поселений в 1821 г. путеводитель «Указатель в селе Грузине для любопытных посетителей» (см.: *Андерсон Вл.* Граф Аракчеев и его издания // Русский библиофил. 1911. № 4. С. 8), и грузинский полицеймейстер Синицын, дворовый человек А., покончивший с собой в 1824 г. (об этом см.: РС. 1884. № 3. С. 505), — одно лицо.

# 108

Тарнава-Боричевский Иван Петрович (1810–1887) — сын священника, учился в Минской духовной семинарии и Киевской академии; с 1835 г. служил в Департаменте путей сообщения и публичных зданий, впоследствии директор канцелярии Министерства путей сообщения (1860). С 1837 г. публиковал в «Журнале Министерства народного просвещения», «Санкт-Петербургских ведомостях» и других периодических изданиях статьи по широкому кругу вопросов: история епархий, биографии иерархов, описания монастырей, языкознание, историческая география, статистика и пр. Заметка печатается по: РС. 1878. № 1. С. 180–184 (недатированное письмо автора к П. И. Бартеневу с просьбой поместить очерк в «Русском архиве» см.: РГАЛИ. Ф. 341. Оп. 1. № 814).

# 109

*Шумский* Михаил Андреевич (1803–1851) — воспитанник А.; учился в Главном немецком училище при лютеранской церкви св. Петра (Петершуле), в частном пансионе пастора Коллинса, затем в Пажеском корпусе (в феврале 1820 г. получил звание камер-пажа); с марта 1821 г. прапорщик лейб-гвардейской Конной артиллерии, подпоручик (1823), с апреля 1824 г. — флигель-адъютант. В июне того же года был произведен в поручики с назначением состоять для особых поручений при А.; 7 октября 1826 г. «за неприличные поступки» переведен во Владикавказский гарнизонный полк; в октябре 1827 г. отличился в сражении и был определен в пехотный графа Паскевича полк (письмо А. к дежурному генералу Главного штаба А. Н. Потапову от 16 октября 1827 г. с просьбой сообщить ему, не ранен ли Шумский, см.: Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1865. Кн. 4. Отд. V. С. 242). За время службы на Кавказе был награжден орденом Св. Анны 4-й степени и 3-й степени с бантом (формулярный список Шумского с подробным перечнем боевых операций, в которых он участвовал, см.: *Колчин М. А.* Флигель-адъютант Михаил Андреевич Шумский в Соловках // РС. 1887. № 4. С. 146–148); в июне 1830 г. уволен от службы «за болезнью» с чином поручика. Несколько лет провел в Юрьевом монастыре под Новгородом, получая от А. ежемесячное содержание в 100 руб.; в завещании графа никак упомянут не был. В 1836 г. по высочайшему разрешению переехал в Соловецкий монастырь с запрещением покидать обитель; через полгода после приезда Николай I удовлетворил его просьбу о вступлении в число «штатных послушников», однако в апреле 1838 г. Шумский уже просил о возвращении его в прежнее состояние и материальном вспомоществовании. В результате Шумский на положении частного лица прожил в Соловках до лета 1851 г. (получал 1200 руб. годового пенсиона), когда по собственной просьбе был переведен в Филиппо-Ирбскую пустынь (Череповецкий уезд Новгородской губернии); в июне, добравшись до Архангельска, заболел и умер в больнице приказа общественного призрения. Его письма к А. (1822, 1826) см.: *Дубровин.* С. 341–344, 487.

## 110

Имеется в виду восстание в Польше и его подавление русскими войсками в 1830–1831 гг.

# 111

*Крест Virtuti militari* — знак польского ордена «За воинскую доблесть», учрежденного в 1792 г. и предназначавшегося в награду офицерам за боевые заслуги в борьбе за независимость Польши. В 1831 г. по приказанию Николая I все участники военных действий против поляков были пожалованы этим орденом, разделенным на пять степеней (на оборотную его сторону в отличие от собственно польского ордена была нанесена дата подавления восстания — «1831»).

# 112

В одних источниках Минкину называют дочерью или женой кучера, в других — женой матроса; М. Бороздин считал ее женой мелочного торговца из деревни Старая Медведь *(Граф Аракчеев. С.* 6). Возле Грузинского собора находилась могила некоего Федора Минкина, скончавшегося в 1809 г. *(Шереметевский В. В.* Русский провинциальный некрополь. М., 1914. С. 560).

# 113

Последним польским королем был Станислав Август Понятовский (1732–1798), вступивший на престол в 1764 г. и отрекшийся в 1795 г.

## 114

Речь идет об историческом романе польского писателя Генриха *Ржевуского* (1791–1866) «Listopad» («Ноябрь»), вышедшем в Петербурге в 1849 г.

# 115

*Гедимин* (ум. 1341) — великий князь литовский (с 1316).

# 116

До 1794 г. город Мир в Минской губернии был центром жительства цыган; здесь происходили выборы «короля» (старейшины).

# 117

*Ян Собеский* (1624–1696) — польский король с 1676 г.

# 118

В 1889 г. краевед М. О. Маркс дополнил заметку Боричевского сообщением о том, что на Витебском кладбище была могила мальчика Шумского, которая однажды исчезла, потому что его отец, бедный шляхтич, содержавший в Витебске постоялый двор, продал дворянские бумаги покойного сына «какому-то проезжему генералу [возможно, Бухмейеру] за 500 руб.» (РС. 1889. № 5. С. 473–474).

# 119

Жиркевич Иван Степанович (1789–1848) с 1795 г. воспитывался в Сухопутном шляхетном кадетском корпусе, в 1805 г. выпущен офицером в гвардейский артиллерийский батальон, по званию батальонного адъютанта (в 1806 и 1808 гг., с перерывом на заграничную кампанию 1807 г.) имел ежедневный доклад у А. В 1813–1814 гг. штабс-капитан, командир роты в гвардейской артиллерийской бригаде (ранее называлась батальоном). С 1815 г. занимал должность начальника отделения в Артиллерийском департаменте Военного министерства, затем служил там же чиновником для особых поручений; в 1829–1830 гг. помощник командира на Тульском оружейном заводе, в 1834–1836 гг. — симбирский, в 1836–1838 гг. — витебский губернатор; генерал-майор (1838). Записки начаты в январе 1841 г. Отрывок из них печатается по: РС. 1874. № 2. С. 224–241 (публикация С. Д. Карпова).

# 120

Видимо, речь идет об Иосифе Степановиче Нелединском (ум. 1833), окончившем Артиллерийский и инженерный кадетский корпус в 1797 г. с чином подпоручика. Однако утверждения мемуариста ошибочны, поскольку Нелединский за подделку ассигнации был лишен дворянства и сослан в Сибирь, и произошло это в декабре 1800 г. — в то время, когда А. находился в отставке. Нелединский был возвращен в сентябре 1803 г.; вновь дослужился до чина подпоручика (1805), впоследствии майор артиллерии, командир артиллерийского гарнизона на о. Аланд (в Балтийском море, у входа в Ботнический запив; Аландские острова отошли к России после войны со Швецией 1808–1809 гг.).

## 121

Возможно, имеется в виду Василий Федорович *Хомутов,* в 1806 г. подпоручик гвардейского артиллерийского батальона.

# 122

*Мякинин* Николай Демидович (1787 или 1788–1814) — дворянин Новгородской губернии, дальний родственник А. (степень родства установить не удалось); юнкер в гвардейском артиллерийском батальоне (с 1802), с 1806 г. адъютант А., в 1810 г. капитан. Стремясь снискать расположение начальника, прибегал к откровенной лести, в частности, превозносил его имение. 28 мая 1810 г., посетив «прекрасное село Грузино», он писал А. в Петербург: «Доехав до Сосницкой пристани, предался я до самого Грузина мореплаванию. Вихри ревели, дождь лил сильно, волны с шумом ударялись в лодку, но подъезжая к Грузину, все утихло: туманные облака прояснились и природа улыбнулась. Солнце склонялось к горизонту и бросало величественно лучи свои на Грузино. Я восхищался сим зрелищем и с какою-то непостижимою радостью бросал взоры свои на жилище моего благодетеля. <…> В минуту отводится мне прекраснейшая комната, и в минуту же является мальчик для услуги. Одним словом, порядок и устройство удивили меня так, что я не понимал, как все сие делалось. Не входя еще в отведенную мне комнату, побежал я прямо в сад, выходил все места, все дорожки, все тропинки, и ничто не укрылось от жадного взора моего. Обворожительный грот, развалины древнего замка, изгибистые тропинки, искусное смешение регулярного с нерегулярным — все упитывало меня восторгом <…> Возвратясь из сада, напился чаю и тотчас пошел в дом. Везде глаза мои искали вас, везде надеялся я вас встретить, но тщетно. Придя в боскетную комнату и посидев на том месте, где вы обыкновенно сидите, вдруг почувствовал новое уныние. Встав со стула, с поспешностью удалился из дому, где для меня все было пусто, побежал опять в сад и просил, чтобы мне отворили библиотеку. Рассмотрев все со вниманием, посвятил все остальное время дня саду. Вечер был прекрасный. Долго сидел я в гроте. Бледная луна со мною беседовала и разделяла мои чувства, и наконец я в сладком упоении возвратился в комнату с весельем в душе, с улыбкой на лице. Спал я столь хорошо, крепко и покойно, что мне казалось, будто и сам *Морфей* подчинен непреложным законам Грузина. Вставши поутру и напившись чаю, пошел тотчас в сад, где сидел во многих местах с новым чувственным удовольствием. <…> Вхожу в комнату, беру перо и мараю сии строки, кои мне диктует сердце. Перо с послушанием повинуется, а душа оживотворяется мысленною беседою с вами» (*Дубровин. С.* 28–31; другие письма Мякинина к А. см. в этом же

издании). Полковник (1813), в 1814 г. произведен в генерал-майоры.

# 123

*Эйлер* Александр Христофорович (1773–1849) — подпоручик гвардейского артиллерийского батальона (вступил 25 ноября 1796), подполковник (1806), генерал-майор (1812); с 1819 по 1831 г. командовал артиллерийскими ротами и военно-рабочими батальонами Новгородских военных поселений, генерал-лейтенант (1826). В сентябре-ноябре 1825 г., после убийства Минкиной, А. оставил на Эйлера командование Отдельным корпусом военных поселений. В 1831 г. назначен присутствующим в Совете главного штаба военных поселений; генерал от артиллерии (1834), директор Артиллерийского департамента Военного министерства (1833–1840), с 1840 г. член Военного совета.

# 124

Сходные воспоминания оставило министерство А. у Эйлера: «Граф Аракчеев <…> поднял это место на высшую степень блеска; ему отдавались все возможные воинские почести; при квартире его находился караул от гвардейских полков, разводы приводились самими полковыми командирами; гвардейские офицеры ежедневно являлись на ординарцы, также во множестве посыльные пешие и конные; последние всегда сопровождали при въездах его экипаж» *(Эйлер А. Х.* Записки // РА. 1880. № 11. С. 348–349). Ср. также два эпистолярных свидетельства: 1) Ж. де Местр— сардинскому посланнику в Вене шевалье де Росси, 20 января 1808 г.: «Среди военной олигархии любимцев вдруг вырос из земли, без всяких предварительных знамений, генерал Аракчеев <…> Он сделался военным министром и облечен неслыханною властию. Он потребовал попеременных караулов из всех стоящих здесь полков. Великий князь Константин в качестве начальника всей кавалерии хотел тому воспротивиться, но должен был уступить. Великий князь, в уважение службы, военных познаний и своего рождения, достиг чина генерал-лейтенанта; но отсюда до звания полного генерала и инспектора главной армии еще далеко. Поэтому Аракчеев без обиняков сказал его императорскому высочеству: «Завтра отправлюсь смотреть ваши два полка; постарайтесь, чтобы все было в порядке». На другой день великий князь явился к своему начальнику, но последний вынул часы: было поздно, и он отпустил великого князя, не выслушав его, как и следовало ожидать» (РА. 1871. Стб. 118; дата и адресат уточнены по: *Maistre J. de.* Oeuvres completes. Paris, 1885. T. 11. P. 38); 2) А. И. Тургенев-Я. И. Булгакову, 23 января 1808 г.: «Г. Аракчеева министерство занимает теперь если не все головы, то по крайней мере все языки Он всем, не исключая великого князя и князя Прозоровского, пишет ордера. Принимает всех одинаково грубо. <…> — Гвардии офицеры ездят верхом вместо ординарцев за г. Аракчеевым], и флигель-адъютанты его Императорского] в[еличества] у него дежурят» (Письма Александра Тургенева Булгаковым. М., 1939. С. 79). Подробности см. также в «Автобиографической записке» В. Р. Марченко.

# 125

*Прозоровский* Александр Александрович (1732–1809) — князь; генерал-аншеф (1782), генерал-фельдмаршал (1807), с 1808 г. главнокомандующий Молдавской армией в ходе Русско-турецкой войны 1806–1812 гг.

# 126

Ошибка: речь идет о Наталье Федоровне Хомутовой.

## 127

*Творогов* Степан Трофимович — в 1806–1808 гг. адъютант А., подполковник; в 1815 г. состоял в чине генерал-майора и исправлял должность дежурного генерала Военного министерства. Его письма к А. 1812–1813 гг. с подробным изложением петербургских новостей см.: *Дубровин.* С. 63–64, 80–82, 92–94, 135–138.

# 128

*Танеев* Сергей Михайлович (1749–1825) — генерал-майор. В письме к Д. А. Гурьеву (1806) А. назвал Танеева одним из своих «лучших приятелей» (ОР РГБ. Ф. 471. Карт. 3. № 15. Л. 24 об.); впоследствии пожертвовал на помин его души 1000 рублей (*Дубровин.* С. 436).

## 129

Возможно, имеет место ошибка мемуариста, и речь идет о Петре Воиновиче Римском-Корсакове (р. в 1780-х гг.), который в 1801–1804 гг. был секунд-ротмистром в отставке и новгородским губернским предводителем дворянства. Его детям, «рожденным вне брака, по ходатайству Аракчеева были даны фамилия и права законных детей» (Список лиц рода Корсаковых, Римских-Корсаковых… с краткими биографическими сведениями. СПб., 1893. С. 27).

# 130

Поместье Апрелевых Усадище Большой Двор находилось на берегу р. Сяси, неподалеку от Тихвина.

# 131

*Ляпунов* Семен Ефимович (1773–1848) — выпущен из Артиллерийского и инженерного кадетского корпуса штык-юнкером в полевую артиллерию (1791); подпоручик гвардейского артиллерийского батальона (с конца ноября 1796), полковник (1810), в 1803–1811 гг. командовал пешей ротой батальона, шефом которой с мая 1803-го по февраль 1834 г. состоял А.; впоследствии генерал-майор.

# 132

*Козодавлев* Осип Петрович (1754–1819) в 1807–1811 гг. товарищ министра внутренних дел, в 1811–1819 гг. возглавлял министерство. Судя по петербургским толкам, в дальнейшем отношение А. к нему стало менее приятельским. «Смеялись тому, что Козодавлев просил у Аракчеева позволения съездить в Грузиново, а он ему отвечал, что он ему в сем отказать не может, сожалея, что не может принять, как в городе; а должно знать, что здесь Аракчеев запретил швейцару принимать Иосифа Козодавлева и пускать в дом», — сообщал Ф. В. Ростопчин А. Ф. Брокеру 12 января 1815 г. (РА. 1868. Стб. 1784).

# 133

*Шлецер* Христиан Август (1774–1831) — сын немецкого историка АЛ. Шлецера; доктор права, с 1801 г. ординарный профессор Московского университета, с 1804 г. профессор политической экономии; экстраординарный профессор Боннского университета (с 1826).

# 134

В. А. Жуковский редактировал «Вестник Европы» совместно с М. Т. Каченовским с № 21 за 1809 г. по 1811 г.; в 1808 г. журнал выходил под редакцией одного Жуковского. В статье «Взор на прошедшее, настоящее и будущее» (ВЕ. 1808. № 3. С. 242–258) Х. А. Шлецер рассуждал о пагубности всяких войн.

# 135

*Холодное ружье* — штык. Глинка имеет в виду, что Суворов одерживал победы, штурмуя крепости, а теперь, благодаря гению А., города берут при помощи артиллерийских обстрелов. В тексте упоминаемой статьи (Некоторые замечания на некоторые статьи политического сочинения г. Шлецера… // РВ. 1808. № 3; подпись: *С, служащий в департаменте гласной буквы А)* о заслугах А. говорится менее прямолинейно: «гений Аракчеева, доведя до совершенства во всех частях нашу артиллерию, конечно, воспользуется открытием республиканцев [имеются в виду военно-инженерные концепции математика Л. Карно, примененные в ходе борьбы войск революционной Франции с интервентами и роялистами] и, сообразя их с характером русских и с их холодным мужеством, составит новое превосходное военное искусство» (С. 406–407).

# 136

В битве под Фридландом (2 июня 1807) русские войска потерпели поражение.

## 137

*Пирр* (319–272 до н. э.) — эпирский полководец и царь, воевал с Римом; сражение при Аускулуме (279 г. до н. э.) было выиграно римлянами ценой огромных потерь (отсюда выражение «пиррова победа»). (*Описка комментатора — сражение при Аускулуме было выиграно Пирром — Константин Дегтярев*)

# 138

Прусская армия проиграла Наполеону сражения при Иене и Ауерштедте (14 октября 1806 г.), без сопротивления сдались крепости Магдебург, Кюстрин и Штетин.

# 139

Талейран-Перигор Шарль Морис (1754–1838) — министр иностранных дел Франции в 1797–1807 и 1814–1815 гг.

# 140

Отправляя 30 марта 1808 г. номер журнала А., издатель писал: «Украсив именем вашим третью книжку «Русского вестника» в сочинении, сообщенном из Петербурга, долгом поставляю препроводить оную к вашему сиятельству» (*Дубровин.* С. 6–7).

# 141

Глинка неточен: письмо с благодарностью он получил от А. в начале мая 1808 г. в ответ на просьбу подписать А. на «Русский вестник». Оно было помещено в журнале под названием «Отрывок из письма знаменитого сына Отечества к издателю «Русского вестника»» и со следующим примечанием: «Печатая сей отрывок без дозволения знаменитого сына Отечества, удостоившего меня письмом своим, может быть, навлеку на себя неудовольствие его. Но по долгу издателя «Русского вестника» не могу скрыть сих слов, драгоценных сердцу каждого россиянина» (РВ. 1808. № 5. С. 244).

## 142

Имеется в виду Василий Степанович Аракчеев — брат деда А.; генерал-майор (в 1740 г. при увольнении от службы произведен в генерал-поручики), раненный под Очаковом во время Русско-турецкой войны 1735–1739 гг.; о нем сохранился похвальный отзыв в аттестации генералов, поданной главнокомандующим Б. Х. Минихом императрице Анне Иоанновне (см.: *Ратч. С.* 6).

# 143

В известиях того времени означено, что генерал-майор Аракчеев заведовал продовольствием войск.(прим. Глинки)

# 144

*Беклешов* Александр Андреевич (1745–1808) — генерал от инфантерии, сенатор (1798), генерал-прокурор (1799–1802); в 1804–1806 гг. московский военный губернатор.

# 145

*Попов* Василий Степанович (ок. 1746–1822) — с 1783 г. чиновник для особых поручений при ГА. Потемкине, с 1786 г. — один из статс-секретарей Екатерины II. Во время переговоров в Тильзите состоял в свите императора; член Государственного совета (1810).

*Озеров* Владислав Александрович (1769–1816) — драматург.

# 147

*Милорадович* Михаил Андреевич (1771–1825) — граф (1813); генерал-майор (1798), с 1818 г. петербургский генерал-губернатор.

## 148

Возможно, речь идет о цикле статей Глинки «Замечания о военном искусстве»: «О штыках», «О стрелках», «О крепостях», «О повиновении военнослужащих» (РВ. 1808. № 10. С. 19–38; № 11. С. 318–325).

## 149

Отсылка к первой половине знаменитой реплики, которую произносит заглавный герой трагедии французского драматурга Пьера Корнеля «Серторий» (1662): «Rome n'est plus dans Rome, elle est toute ou je suis» (действ. Ill, явл. 1). В целом же этот стих имеет совершенно иной по сравнению с цитацией Глинки смысл; слова «Не в Риме Рим сейчас, а только здесь, где я» (пер. Ю. Корнеева) Корнель вкладывает в уста благородного и готового пожертвовать собой ради отечества персонажа.

## 150

Ср.: «Так, например, кто бы подумал — грустно сказать — даже рыцарь благородства, прямодушный, независимый, бесстрашный граф М. А. Милорадович ухаживал за любимцем Александра I, как за дамой! Я сам видел, как в храмовый праздник Преображенского полка он расчищал ему дорогу от его дома на Литейной до церкви Спаса Преображения!» *(Сушков Н. В.* Из записок о времени императора Александра I // ВЕ. 1867. № 6. С. 177).

## 151

Имеется в виду Итальянский поход Суворова 1799 г.

# 152

Марченко Василий Романович (1782–1840) начал службу в 1-м департаменте Могилевского верхнего земского суда, коллежский регистратор (1794); с 1803 г. столоначальник в Департаменте военного министра, с 1806 г. — экспедитор. С июля 1810 г. статский советник, томский гражданский губернатор; по этому поводу писал А.: «В новом звании и чине первейшим и священнейшим долгом чту принесть вам, сиятельнейший граф, яко истинному благодетелю моему нелицемерную благодарность за ходатайство ваше и милостивое расположение. Время — барометр сердец человеческих — на опыте покажет чувства мои и преданность. Я не умею льстить, и язык и перо мои слабы излить то, что чувствую, но почитаю ваше сиятельство и быть благодарным весь век мой — вот единственное правило мое» *(Дубровин.* С. 45; по дороге к новому месту службы Марченко посетил А. в Грузине). С ноября 1812 г. помощник статс-секретаря Государственного совета по Военному департаменту, с августа 1815 г. — статс-секретарь императора, с декабря — управляющий делами Комитета министров. Статс-секретарь Государственного совета по Департаменту гражданских и духовных дел (с 1818), позже — по Департаменту государственной экономии (в 1825); государственный секретарь (с 1830), с 1834 г. — член Государственного совета, действительный тайный советник (1840). Фрагменты «Автобиографической записки» печатаются по: РС. 1896. № 3. С. 484–493; № 4. С. 19–20; № 5. С. 291–298, 308–309, 312–314 (публикация В. А. Бильбасова).

# 153

*Екатерина Павловна* (1788–1819) — великая княгиня, четвертая дочь Павла I; с 1809 г. жена принца Петра Фридриха Георга (Георгия Петровича) Ольденбургского (1784–1812), генерал-губернатора новгородского, тверского и ярославского; с 1816 г. замужем за принцем Вильгельмом Вюртембергским.

## 154

Скорее всего, имеется в виду Петр Иванович Апраксин (1784–1852) — граф; юнкер гвардейского артиллерийского батальона (1800), поручик Кавалергардского полка (1804), штаб-ротмистр (1807); с 1808 г. адъютант А., с 1811 г. — петербургский полицеймейстер и подполковник; в отставке с чином генерал-майора с 1817 г. Впоследствии владимирский гражданский губернатор (1821–1827), в 1833–1841 гг. начальник Казанского жандармского округа. Ниже речь идет о его отце — графе Иване Александровиче Апраксине (ум. 1818); упоминаемая женитьба П. И. Апраксина (на Елизавете Андреевне Кузьминой-Караваевой) состоялась не позднее начала 1811 г.

# 155

30 ноября — празднование памяти апостола Андрея.

*София* — с 1808 г. часть Царского Села.

## 157

Речь идет о Русско-турецкой войне 1806–1812 гг.

# 158

*Чудово* — село и почтовая станция по дороге из Петербурга в Москву, в 12 верстах от Грузина.

# 159

*Марин* Сергей Никифорович (1776–1813) — поручик Преображенского полка (1802), флигель-адъютант (1807), полковник (1809); дежурный гемерал при П. И. Багратионе (1812).

*Мельников* — камердинер Сперанского.

# 161

Это были пакеты от Сперанского, который в 1809 г. остался в Петербурге и по частям высылал Александру I проект образования Государственного совета, о содержании которого А. узнал за несколько дней до его обнародования.

# 162

По манифесту от 1 января 1810 г. учреждаемый Государственный совет был разделен на четыре департамента: законов (председатель П. В. Завадовский), гражданских и духовных дел (Н. С. Мордвинов), государственной экономии (П. В. Лопухин) и военных дел (А.); председателем был назначен Н. П. Румянцев, государственным секретарем — Сперанский. Современники считали, что в басне Крылова «Квартет» обыгрывается учреждение Совета, а ее персонажи — это главы департаментов: Мартышка — Мордвинов, Осел — Завадовский, Козел — Лопухин, Медведь— А. (см.: *Дмитриев И. И.* Взгляд на мою жизнь. М., 1866. С. 292–293; примеч. М. Н. Лонгинова).

# 163

*Барклай де Томи* Михаил Богданович (1761–1818) — граф (1813), князь (1815); в 1810–1812 гг. военный министр, главнокомандующий 1-й Западной армией (март — сентябрь 1812) и соединенными русско-прусскими войсками (1813–1814); генерал-фельдмаршал (1814).

# 164

*Бижеич* (Бижевич) Семен Агафонович (1765–1838) — в 1802 г. обер-сек-ретарь Военной коллегии, коллежский советник; статский советник (1806), в 1810 г. помощник статс-секретаря Государственного совета по Военному департаменту; действительный статский советник (1812); в 1812–1828 гг. — директор общей канцелярии военного министра.

# 165

В 1807 г. военный министр С. К. Вязмитинов представил Марченко и Бижеича к ордену Св. Владимира 4-й степени. А., сменивший Вязмитинова, не дал Александру I на подпись заготовленный указ об этом награждении (см.: РС. 1896. № 3. С. 479–480).

# 166

В соответствии с указом от 6 августа 1809 г. («О правилах производства в чины по гражданской службе» — Полное собрание законов Российской империи. Т. 30. СПб., 1830. № 23771) для получения чина коллежского асессора требовалось иметь университетский аттестат или сдать специальный экзамен.

# 167

*Персидский* Алексей Иванович (1770–1842) с 1809 г. служил в военно-походной е.и.в. канцелярии, коллежский асессор (с 1810), с 1812 г. — секретарь общей канцелярии военного министра, надворный советник (в 1814 г.); в 1815 г. прикомандирован к А., с 1818 г. — помощник статс-секретаря Государственного совета по военному департаменту; в 1821–1835 гг. председатель Экономического комитета военных поселений, тайный советник.

# 168

В 1810 г. генерал-губернатор Сибири И. Б. Пестель предложил Марченко место томского гражданского губернатора. Летом 1810 г. тот переехал в Томск.

## 169

Речь идет о поражениях при Аустерлице (1805) и Фридланде (1807).

# 170

*Голубцов* Федор Александрович (1758–1829) — с 1802 г. государственный казначей, в 1807–1810 гг. — министр финансов.

# 171

*Фок* Максим Яковлевич (1774 или 1775–1831) — с 1811 г. помощник правителя, а с 1813 г. — правитель Особенной канцелярии Министерства полиции (в 1819 г. присоединена к Министерству внутренних дел); действительный статский советник (1826), с 1826 г. директор канцелярии Третьего отделения.

Эпиграммы, обыгрывающие девиз А., см. в приложении.

# 173

*Ставицкий* (Ставиский) Максим Федорович (1778–1841) — в 1784 г. был определен в Артиллерийский и инженерный кадетский корпус, в 1791 г. выпущен штык-юнкером в артиллерийский батальон Балтийского гребного флота; в 1800 г. майор, в 1805 г. назначен бригад-майором в армию Л. Л. Беннигсена, на следующий год пожалован во флигель-адъютанты; в 1812 г. бригадный командир 12-й пехотной дивизии, генерал-майор; сенатор, генерал-лейтенант (с 1826).

## 174

*Голицын* Сергей Федорович (1749–1810) — князь; генерал от инфантерии (1797), в 1801–1804 гг. генерал-губернатор Риги, в 1809 г., во время военных действий России против Австрии, под его командованием находился корпус, действовавший в Галиции.

# 175

*Корсаков* Алексей Иванович (1751–1821) — выпускник Артиллерийской и инженерной школы (впоследствии преобразованной в одноименный кадетский корпус), капитан артиллерии (1774), майор (1781), полковник (1794), в 1797–1799 гг. директор Артиллерийского и инженерного кадетского корпуса, с 1800 г. генерал от артиллерии, инспектор всей артиллерии. В 1803 г. назначен сенатором и директором Горного корпуса; в отставке с 1811 г. Два письма А. к нему (1800) см.: РА. 1894. № 5. С. 125–126.

# 176

*Буксгевден* Федор Федорович (1750–1811) — граф (1797); генерал от инфантерии (1803), в 1797–1798 гг. петербургский генерал-губернатор; главнокомандующий во время Русско-шведской войны 1808–1809 гг., отставлен в декабре 1808 г. Его письмо к А. от 13 сентября 1809 г. производило на современников сильное впечатление смелостью, с которой в нем была изображена «картина <…> властоначалия» А.: «Ваше сиятельство отношением своим уведомили меня, что в ведомости моей, представленной Государю императору, о потерях и приобретениях в Финляндии, во время командования моего армиею, нашли вы неверное показание пороха. <…> — Извините, милостивый государь мой, что не мог на оное отвечать вскоре по получении сего, ибо <…> сам обязан был улучать время заняться к вам ответом о таковом предмете, о коем не было еще днесь примера в российской истории, чтобы главнокомандующий принуждаем был рыться в бумагах, дабы объяснить, куда девалось несколько пороху, им же приобретенного! <…> — Ежели бы смысл ваших бумаг и поступков касался только лично до меня, то и меня не вынудили бы вы писать к вам. Личные оскорбления должны лично и возбраняться. Но как все относится к уничижению звания главнокомандующего, почтенного от всех и всеми веками, которое я имел счастие носить с должным усердием Монарху и Отечеству, и сдал оное, не унизив сего сана в лице моем, то и не попущу вас <…> оскорблять звания сего, почтенного от всего просвещенного света. — Хочу <…> обнаружить вам, сколь явно и неосторожно испытываете вы против меня все способы, дабы удовлетворить вашему строптивому стремлению. Сие самое стремление причиною, что не упускаете разных предлогов насылать ко мне запрос за запросом, несмотря, что я через ваше попечение лишился всех адъютантов, управлявших моими делами, и не имею совсем способов вести переписку. <…> — Но забываться в делах по неопытности можно бы еще извинить, когда бы из того льзя было ожидать какой-либо пользы. Посмотрим, достойны ли извинения те выражения ваши, кои касаются до власти. В объяснении сказано, что военный министр от главнокомандующего генерала, графа Буксгевдена, не получал ведомости о долгах. — Скажите, пожалуйста, когда вам главнокомандующий должен был подать ведомость о долгах? Неужели понимать из сего должно, что вы разумеете вам и Государю — все равно? Ибо я не думаю, чтобы вы забыли

Высочайший имяиный ко мне указ от 8 ноября прошлого года и другие подтвердительные повеления, кои по вашей части с такою тщательностию были сочиняемы, в коих ясно Государь повелевает мне представить ведомость о долгах ему, что мною по части военной давно исполнено. Каким же образом могли вы совокупить воедино Государя и военного министра? — <…> Знаете ли вы, милостивый государь мой, что есть главнокомандующий? Главнокомандующий есть воин, испытанный в любви к отечеству, искусившийся на поле брани и служением своим доказавший преданность престолу. Ему Государь вручает безопасность, спокойствие и славу своего государства, ему подчиняет он тысячи воинов, коих сбережение и самая жизнь зависит от его мановения, неусыпности и бесчисленных попечений. <…> И сей воин, теряя покой и здоровье свое, не будет даже ныне чрез посредство ваше иметь в предмете отдать в трудах своих отчет самому Государю! Скажите, откуда вы почерпнули сию всеразрушаюшую систему, что подумают воины, кои <…> достойны будут занять знаменитую сию систему, вами столь уничиженную? И с каким намерением? Неужели вы думаете чрез то обратить всех к вам почтение? Нет, милостивый государь мой, вы весьма ошибаетесь! Кто ни в боях, ни в судах, ни в советах царских, ни сверх супостатов, тот никогда не вынудит сограждан к истинному себе уважению, какие бы он ни принимал меры строгости. Из сего видно, что всемилостивейший Государь, пекущийся о благе государства, не знает еще, кого вы в настоящем деле в себе заключаете. — <…> лета и служба моя дают мне право советовать вам, дабы вы, для блага общего, исправили свои поступки, заслужив через то всеобщую признательность и мое особенное уважение» (Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1858. Кн. 1. Отд. V. С. 133–137; по утверждению И. П. Липранди (РА. 1866. Стб. 1043), майор Генерального штаба Гавердовский, состоявший при Буксгевдене, при переводе послания на русский язык сильно смягчил выражения подлинника). Письмо Буксгевдена расходилось в списках (некоторые см.: РО РНБ. Ф. 17. № 39. Л. 75–80; Ф. 542. № 680; ОР РГБ. Ф. 416. Карт. 6. № 30).

# 177

*Константин Павлович* (1779–1831) — великий князь, второй сын Павла I; шеф Конного гвардейского полка (с 28 мая 1800 г.). О внимании А. к формальностям этикета рассказывается также в «Записках» В. М. Жемчужникова: «Не успев, по рассеянности, поздравить в должное время графа Аракчеева с Светлым Христовым Воскресением, отец мой счел за лучшее не приносить поздравления своего вовсе и не был у него <…> чуть ли не до Фоминой, Первые слова графа при встрече с моим отцом были: «Христос Воскресе!» Отец мой, полагая, что поздравления ему ограничивались одним расписыванием имени своего на листе, ответил: «Я уже имел честь в первый день праздников приносить поздравления вашему сиятельству». — «Неправда, господин подпоручик! Я христосовался со всеми, кто ко мне приезжал, а вас не было»» (ВЕ. 1899. № 2. С. 641; в отрывке речь идет о Михаиле Николаевиче Жемчужникове (1788–1865), в 1805 г., по выпуске из 1-го кадетского корпуса, назначенном адъютантом к А.). Ср. рассказ Л. Г. Кемеровского, секретаря А.: «Получает однажды граф Аракчеев от какого-то окружного командира военного поселения и чуть ли не Херсонского, донесение, но с слишком неразборчивою подписью; рассердился граф и велел вызвать окружного командира в Петербург. Едет бедный командир в Питер. По приезде в столицу кого только не спрашивал, зачем бы его требовал граф, никто ничего не знает. Наконец, ни живой ни мертвый, является к Аракчееву; тот его спрашивает, зачем он приехал. «Не могу знать, зачем ваше сиятельство требовали». — «Я требовал?!.. Как ваша фамилия?» — «Так-то». — «Как, как?» — «Так-то, ваше сиятельство!» — «А!..» — отодвигает Аракчеев в столе ящик, достает какую-то бумагу и спрашивает у предстоящего перед ним: «Это ваш рапорт?» — «Мой, ваше сиятельство». — «Так вот видите ли, я никак не мог разобрать вашу фамилию, за тем-то и потребовал вас, пожалуйста, прочтите ее. Теперь можете ехать обратно». Окружной командир был крепко рад, что так дешево отделался от грозного Аракчеева, и с тех пор фамилию подписывал совершенно разборчиво» (РС. 1872. № 11. С. 591; запись Г. С. Демянока).

## 178

Возможно, имеется в виду майор Фома Александрович Жилко, 20 марта 1798 г. произведенный в подполковники и назначенный бригад-майором; полковник (1801).

# 179

*Панчулидзев* Алексей Давидович (1762–1834) — саратовский гражданский губернатор в 1808–1822 гг.

# 180

*Багратион* Петр Иванович (1765–1812) — князь; генерал от инфантерии (1809), с августа 1811 г. главнокомандующий 2-й Западной армией.

# 181

В декабре 1808 г., после отставки Ф. Ф. Буксгевдена, главнокомандующим действующей армией был назначен генерал Богдан Федорович *Кнорринг* (1746–1825), всячески оттягивавший осуществление плана императора, согласно которому русские войска должны были перейти из Финляндии в Швецию по льду Ботнического залива и занять Стокгольм. Лишь после приезда Александра I и А. в Або 2 марта 1809 г. колонна Багратиона под предводительством Кнорринга начала наступление из Кумлинге и 5 марта заняла Аландские острова, что вызвало панику в Швеции. Александр I, раздраженный нерешительностью главнокомандующего, назначил на его место М. Б. Барклая де Толли; 5 сентября война закончилась Фридрихсгамским миром.

Именно с этого времени начался, по мнению современников, период всевластия А. Ср.: «С 1812 года министры юстиции и внутренних дел лишились прежнего преимущества иметь по два раза в неделю личный доклад Государю. Все дела их поступали в Комитет министров, а оттуда в Государственную канцелярию, которою управлял Аракчеев. С того времени он вошел в большую силу; за исключением дипломатической и военной части, влияние его простиралось на все дела, не только светские, но и духовные, словом, он сделался почти первым министром, не нося на себе ответственности оного» *(Дмитриев И. И.* Взгляд на мою жизнь. М., 1866. С. 250). Докладчиком по делам Комитета министров в целом А. стал с 1815 г.

# 183

Скорее всего, имеется в виду Василий Григорьевич *Тишин* (1775 — не ранее 1847), учившийся в Артиллерийском и инженерном кадетском корпусе (1786–1793), адъютант А. в его бытность военным министром; подполковник (1813); генерал-майорский чин получил в 1831 г. Сходный рассказ о мстительности А., который не мог забыть кадетских обид и преследовал бывшего соученика, содержится в воспоминаниях генерала И. Т. Радожицкого (ДНР. 1880. № 10. С. 402) и П. А. Папкова (ИВ. 1900. № 12. С. 979–980).

# 184

*Петергофский праздник* — 22 июля, именины вдовствующей императрицы Марии Федоровны.

# 185

*Чихачев* Матвей Федорович (1787 — после 1837) — с 1809 г. адъютант военного министра; полковник, петербургский полицеймейстер в 1819–1827 гг.

# 186

Барклая де Толли, руководившего соединением русских армий под Смоленском летом 1812 г. и дальнейшим отступлением в глубь страны, несправедливо обвиняли в оплошностях и даже в измене. После назначения М. И. Кутузова главнокомандующим всеми армиями Барклай, оставшись командовать 1-й армией, успешно руководил войсками центра и правого фланга в сражении при Бородине; после сдачи Москвы был по личной просьбе уволен от командования.

# 187

*Чичагов* Павел Васильевич (1767–1849) — адмирал (1807), министр морских сил (1807–1811), в 1812 г. главнокомандующий Дунайской армией, затем — 3-й Западной. Неудачно действовал в Березинской операции по окружению остатков отступающей армии Наполеона (16 ноября 1812 г.). В Начале февраля 1813 г. его сменил Барклай де Толли.

# 188

3-я армия под командованием Барклая осаждала крепость *Торунь* (Торн) на Висле, капитулировавшую 16 апреля 1813 г.

# 189

После занятия *Плоцка* (Герцогство Варшавское) русскими войсками 24 января 1813 г. здесь находился Главный штаб. Просьба к А. «об исходатайствовании обещанного» (выдаче подъемных и назначении столовых денег) содержится в письме Барклая от 10 февраля 1813 г.; в ответном письме от 14 февраля А. уведомляет о том, что соответствующий указ готов и подписан, а сумма подъемных будет выплачена по прибытии денег из России. В заключение А. с обычной для него саркастической двусмысленностью писал: «Мне весьма приятно, что услугою сею могу я платить вам за доброе расположение ваше, опыты коего видел я во время управления вами военным министерством. Готов и впредь на подобные услуги, дабы совершенно быть вознагражденну в чувствах моих, всегда одинаковых, и потому истинно уверяю ваше высокопревосходительство, что вы можете всегда и обо всем относиться ко мне и, доставляя тем удовольствие быть полезным для вас, доставите другое, не менее приятное для сердца моего — исполнение непреложного правила платить услугою» *(Дубровин.* С. 78–80), что в контексте его отношений с Барклаем практически однозначно должно было пониматься адресатом как злая издевка. Небезынтересно, что весной того же года эти письма распространялись в столице в списках, причем в копиях по сравнению с оригиналами акценты были смещены «в пользу» А.; как явствует из подготовленного для него анонимного обзора «Санктпетербургские слухи, известия, новости», в письме Барклая усилены просительные ноты, а в ответ А. вставлена отсутствующая в подлиннике фраза: «Невзирая на все неприятности, которые вы оказывали мне во время управления вашего министерством военным, я, имея в правилах своих за зло платить добром, имел счастие докладывать Государю Императору о положении вашем и Его Величество всемилостивейше повелеть соизволил производить вам по 12 000 р. ежегодно столовых денег» (Там же. С. 99). Интерпретацию этого эпизода из мемуаров Марченко см.: *Тартаковский А. Г.* Неразгаданный Барклай. М., 1996. С. 262–264.

# 190

Кутузов умер 16 апреля 1813 г. в Бунцлау (Силезия); после Бауценского сражения (20–21 мая 1813 г.) главнокомандующим союзными войсками стал Барклай де Толли.

# 191

Марченко сопровождал Александра I на Венский конгресс и в дальнейших разъездах по Европе; вернулся в Петербург в декабре 1815 г. и вскоре был назначен управляющим делами Комитета министров.

# 192

С декабря 1815 г. управление Военным департаментом министерства вверялось учрежденному при императоре Главному штабу, от Военного министерства не зависевшему. Начальник штаба (в 1813–1823 гг. им был П. М. Волконский) имел личный доклад у государя и собственную канцелярию, состоявшую из двух отделений — фронтового и хозяйственного.

# 193

*Кикин* Петр Андреевич (1775–1834) — с 1802 г. флигель-адъютант, в 1812 г. генерал-майор, дежурный генерал обеих армий, с 1814 г. в отставке; вновь на службе с 1816 г. в должности статс-секретаря «у принятия прошений» (до 1826).

То есть дела Государственного совета.

# 195

О М. Л. Магницком см. ниже, в преамбуле к его сочинению «Сон в Грузине».

# 196

*Отпуск* — здесь: копия. Речь идет об указе от 30 августа 1816 г. (день тезоименитства государя). По устному свидетельству Марченко, этот указ писал он и по требованию Александра I четырежды его переделывал (см.: *Корф М. А.* Жизнь графа Сперанского. СПб., 1861. Т. 2. С. 120). В документе говорилось, что император, получив в 1812 г. сведения, компрометирующие Магницкого и Сперанского, не стал разбираться в их деле (ибо это «в тогдашних обстоятельствах делалось невозможным»), а удалил обоих от службы. Ныне же, «по внимательному и строгому рассмотрению поступков их, <… > не нашел убедительных причин к подозрениям». «Желая преподать им способ усердною службою очистить себя в полной мере», император назначил Сперанского пензенским гражданским губернатором, а Магницкого — воронежским вице-губернатором (цит. по: *Корф М. А.* Указ. соч. Т. 2. С. 120). Сперанский был убежден, что фраза об «очищении себя в полной мере» придумана А.: «Не приписывайте ее Александру Павловичу, нет, Государь совсем иначе был ко мне расположен» (Там же. С. 120).

## 197

*Аренда* — вид награды за отличия по службе: пожалование имения на определенный срок (от 4 до 12 лет). Что имеется в виду ниже под «продажей» аренды, — неясно (В. А. Бильбасов, публикатор текста, после слова «продана» поставил в скобках вопросительный знак); возможно, за единовременную выплату значительной денежной суммы (хотя бы и уступавшей совокупности доходов за несколько лет) официальный владелец аренды мог передать другому лицу право на получение ежегодного дохода.

# 198

*Ланской* Дмитрий Сергеевич (1767–1833) — московский гражданский губернатор (1808–1810), в 1814–1829 гг. — управляющий Департаментом государственных имуществ.

# 199

*Катеринич* Василий Семенович (1771–1847) — с 1795 г. асессор строительной экспедиции Киевской казенной палаты, в 1807 г. коллежский советник, советник Киевской казенной палаты; в 1825–1828 гг. вице-губернатор Киева, действительный статский советник (1828), с 1828 по 1832 г. киевский гражданский губернатор.

# 200

Марченко сопровождал Александра I в поездках в августе — сентябре 1817 г.; находился при императоре и во время его пребывания в Москве (октябрь 1817 — январь 1818 г.).

# 201

Имеется в виду дорога в грузинской вотчине протяженностью 25 верст, бдительно охранявшаяся: в каждой деревне при въезде и выезде запирались большие чугунные ворота. Крестьяне не имели права пользоваться этой дорогой и ездили по другой, лежавшей в стороне.

# 202

*Жихарев* Степан Петрович (1788–1860) с 1812 г. служил в канцеляриях Комитета министров и статс-секретаря П. С. Молчанова, в 1816–1818 гг. состоял в свите Александра I во время его поездок по России и в Польшу и занимался делами Собственной е. и. в. канцелярии, коллежский советник (в 1818); с 1823 г. — московский губернский прокурор, тайный советник (с 1836), сенатор (с 1840); мемуарист. Репутация Жихарева сильно пострадала после того, как в 1831 г. открылось, что он присваивал деньги, которые получал, управляя имениями братьев Тургеневых.

# 203

Конгресс Священного союза в Ахене проходил в сентябре — октябре 1818 г.

# 204

Ср. свидетельство А. И. Михайловского-Данилевского: «Для дел по гражданской части находился обыкновенно прежде в Высочайших путешествиях статс-секретарь, но он не поехал в Ахен, вероятно, по происка́м графа Аракчеева, у которого он был в немилости» (РС. 1897. № 11. С. 332).

## 205

Возможно, имеется в виду Елизавета Петровна *Вырубова* (1765–1821) — вдова генерал-лейтенанта.

# 206

*Стариков* Иван Ильич (1792–1829) — петербургский купец; *Белосельская-Белозерская* (урожд. Козицкая) Анна Григорьевна (1773–1846).

# 207

*Тормасов* Александр Петрович (1752–1819) — граф (с 1816); генерал от кавалерии (1801), в 1814–1819 гг. московский генерал-губернатор. *Шульгин* Александр Сергеевич (ум. 1841) в 1786 г. был принят кадетом в Артиллерийский и инженерный кадетский корпус, откуда в 1795 г. выпущен корнетом; майор (1800), с 1808 г. адъютант великого князя Константина Павловича, полковник (1811); в 1816 г., в чине генерал-майора, назначен московским обер-по-лицеймейстером (до 1824).

А. имеет в виду П. М. Волконского. Дочь А. Г. Белосельской-Белозерской Зинаида была замужем за Никитой Григорьевичем Волконским, на родной сестре которого Софье был женат начальник Главного штаба.

# 209

*Дурасов* Егор Александрович (1762–1847) — с 1808 г. московский полицеймейстер, с 1813 г. — вице-губернатор, с 1817 г. — московский гражданский губернатор; сенатор (1823).

*Танеев* Александр Сергеевич (1785–1866) — сын С. М. Танеева; близкий сотрудник А.: в 1808–1809 гг. состоял переводчиком при нем как при военном министре, в 1812 г. перешел в Собственную е. и. в. канцелярию. На Венском конгрессе (1814) состоял при В. Р. Марченко, на Ахенском — при императоре; впоследствии статс-секретарь, управляющий I отделением Собственной е. и. в. канцелярии (1831–1866).

# 211

*Муратов* Василий Гаврилович — с 1809 г. харьковский (слободско-украинский) вице-губернатор, гражданский губернатор в 1815–1827 гг. Обширную подборку писем А. к нему (37 писем за 1817–1824), опубл. Е. В. Неберекутиной, см.: Река времен: Книга истории и культуры. Вып. V. М., 1996. С. 112–130. Письма Муратова к А. в связи с Чугуевскими событиями 1819 г. см.: *Верещагин Г. А.* Материалы по истории бунтов в военных поселениях при Александре I // Дела и дни. 1922. Кн. 3. С. 162–164, письма других лет — *Дубровин.* С. 307–308, 344.

# 212

Речь идет о 1818 г.

# 213

О Н. Н. Муравьеве см. в коммент. к его «Припоминаниям…».

# 214

*Горчаков* Андрей Иванович (1779–1855) — генерал-майор (1798), генерал от инфантерии (1814), член Государственного совета (1816); командир 3-го пехотного, с 1820 г. — 2-го пехотного корпуса.

# 215

*Колосов* Иван Петрович (1775–1819) — с сентября 1818 г. управляющий канцелярией Комитета министров.

# 216

А. приехал из Грузина в Петербург в ночь с 6 на 7 декабря 1825 г.

# 217

*Фотий* (в миру Петр Никитич Спасский; 1792–1838) — в 1817 г. принял монашество, получил священнический сан и был определен законоучителем во 2-й кадетский корпус, в 1820 г. назначен игуменом Деревяницкого монастыря близ Новгорода. В начале 1822 г. возведен в сан архимандрита, в мае — представлен покровительствовавшим ему А. Н. Голицыным императору и в августе стал настоятелем Юрьевского монастыря. Через два года порвал отношения с Голицыным и способствовал его отставке; письмо А. к Фотию от начала августа 1824 г. с приглашением приехать в Петербург для новой встречи с Александром I см.: РА. 1868. Стб. 950–951 (пасхальное поздравление Фотия А. от 8 апреля 1824 г. — ВЕ. 1870. № 5. С. 488). После убийства Минкиной император лично просил Фотия поддержать душевные силы А.: «Подкрепляя их, вы окажете важную услугу государству и мне, ибо служение графа Аракчеева драгоценно для отечества» (цит. по: *Александр.* Т. 2. С. 661); 13 октября 1825 г. иерарх прибыл в Грузино. А. в свою очередь приезжал искать утешения в Юрьевом монастыре, что нашло отражение в следующем анекдоте: «Фотий встретил его словами: «Услышит тя Господь в день печали» — и распростерся на земле, граф сделал то же самое; так лежали они один перед другим несколько времени, поглядывая искоса, кто первый встанет» *(Солнцев Ф. Г.* Моя жизнь и художественно-археологические труды // РС. 1876. № 5. С. 155).

# 218

*Тизенгаузен* Богдан Карлович (р. 1785) — адъютант А. с 1808 г., полковник (1813); в 1817–1818 гг. вновь состоял при А., с весны 1825 г. на службе в военных поселениях; в 1831 г. генерал-майор, член Экономического комитета военных поселений. По свидетельству современника, при расследовании убийства Минкиной Тизенгаузен и Жеребцов «опозорили себя угодливостью временщику в истязаниях дворни» (*Бороздин М.* Воспоминания // *Граф Аракчеев.* С. 8).

# 219

Все съезжались, чтобы поздравить Николая I с восшествием на престол.

# 220

*Лобанов-Ростовский* Дмитрий Иванович (1758–1838) — генерал-лейтенант (1798); в 1817–1827 гг. министр юстиции.

# 221

Н. М. Карамзин 19 декабря 1825 г. сообщал И. И. Дмитриеву свежие впечатления о дне 14 декабря: «В большой зале дворца толпа знати час от часу редела; однако ж все было тихо и пристойно. Молодые женщины не изъявляли трусости. В общем движении, в стороне, неподвижно сидели три магната: князь Лопухин, граф Аракчеев и князь А. Б. Куракин, как три монумента! В седьмом часу пели молебен; в осьмом стали все разъезжаться» (Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 411). Ср. также позднейшие мемуары: «Видел я, и вспоминаю совсем ясно, графа Аракчеева. Он сидел в углу залы, с мрачным и злым лицом, не имея на расстегнутом своем мундире ни одного ордена, кроме портрета покойного Государя Александра Павловича, и то, сколько помню, не осыпанного бриллиантами. Выражение лица Аракчеева было в тот день особенно мрачное, злое. Никто к нему не приближался, никто не обращал на него внимания. Видимо, все считали бывшего временщика потерявшим всякое значение» (Князь Александр Михайлович Горчаков в его рассказах из прошлого // РС. 1883. № 10. С. 166).

*Орлов* Алексей Федорович (1786–1861) — граф (1825); генерал-адъютант, генерал от инфантерии, с 1821 г. командир лейб-гвардии Конного полка; впоследствии шеф жандармов (1844–1856), председатель Государственного совета и Комитета министров (1856–1861).

# 223

М. А. Милорадович был смертельно ранен 14 декабря П.Г Каховским.

Имеется в виду Комиссия для следственных изысканий соучастников злоумышленного общества.

К следствию было привлечено 579 человек; на рассмотрение Верховного уголовного суда, учрежденного 1 июня 1826 г., было вынесено 121 дело.

# 226

В 1816 г. П. А. Клейнмихель женился на Варваре Александровне Кокошкиной (ум. 1842), «но вскоре они разъехались, чему приводили в публике разные причины, а кажется, довольно было одной: всем известного, в высшей степени безобразного характера Клейнмихеля» (*Дельвиг.* Т. 1. С. 124–125); впоследствии В. А. Клейнмихель вышла вторым браком за действительного статского советника Н. М. Булдакова.

## 227

Ср.: «<…> присяга в военных поселениях обошлась благополучно; весьма благоразумно, что это не было поручено ни графу Аракчееву, ни Клейнмихелю» (*Дивов П. Г.* Дневник // РС. 1897. № 3. С. 466).

# 228

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859) учился в Казани в гимназии (1801–1805) и университете (1805–1807), курса в котором не кончил. В 1808–1811 г. служил в Комиссии составления законов; цензор Московского цензурного комитета (1827–1832). Писатель, мемуарист. Отрывок из очерка, созданного в 1852 г., приводится по: *Аксаков С. Т.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1955. Т. 2. С. 234–239.

# 229

*Сабанеев* Иван Васильевич (1772–1829) — полковник (1805), с 1807 г. командир 3-го егерского полка; участник Русско-шведской войны 1808–1809 гг., в ходе кампании был ранен, лечился в Петербурге и вернулся к полку через год. Генерал-майор (1809), генерал-лейтенант (1812), с 1815 г. командир 6-го пехотного корпуса 2-й армии; генерал от инфантерии (1823). В 1817 г., после смотра корпуса Сабанеева, Александр I передал свои замечания А., который не замедлил сделать генералу выговор. В 1819 г. П. Д. Киселев сообщал А. А. Закревскому о новой стычке: «Сабанеев разобиделся бумагой Аракчеева, пишет мне, что служить невозможно и что идет в отставку» (Сб. ИРИО. Т. 78. С. 52).

*Алехин* Петр — с 1801 г. соученик Аксакова по Казанской гимназии; исключен в 1804 г.

# 231

*Балясников* Петр Семенович — подпоручик гвардейского артиллерийского батальона, в сражении при Алаво (август 1808) получил ранение в правую ногу, в конце 1809 г. выбыл из батальона.

*Капцевич* Петр Михайлович (1772–1840) учился в Артиллерийском и инженерном кадетском корпусе, по окончании которого (1792) определился на службу в гатчинские войска; с восшествием на престол Павла I — генерал-майор, шеф гвардейского артиллерийского батальона; генерал-лейтенант (1800). С 1808 г. дежурный генерал при А., с 1810 г. — командир 7-й пехотной дивизии; в 1819–1828 гг. командовал Отдельным сибирским корпусом, одновременно занимая должность тобольского и томского генерал-губернатора; генерал от инфантерии (1823; в 1835 г. переименован в генералы от артиллерии).

# 233

*Штофреген* Конрад Конрадович (1767–1841) — доктор медицины, лейб-медик Александра I; в 1815 г. статский советник.

# 234

Шениг Николай Игнатьевич (1795 или 1796–1860) получил образование в Школе колонновожатых, с 1825 г. преподавал там русский язык и управлял 1-м отделением канцелярии генерал-квартирмейстера Главного штаба; участник Русско-турецкой войны 1828–1829 гг., с 1829 г. полковник в отставке. Избирался орловским губернским предводителем дворянства; в 1842–1844 гг. служил помощником попечителя Дерптского университета и учебного округа. Фрагменты его мемуаров печатаются по: РА. 1880. Кн. 3. С. 306–311, 314–315, 321–325.

# 235

*Сумароков* Павел Иванович (1760–1846) — в 1807–1812 гг. витебский, в 1812–1815 гг. — новгородский гражданский губернатор, сенатор (с 1821); писатель.

# 236

17 марта 1812 г. Сперанский был выслан из столицы в Нижний Новгород, а 15 сентября ему было приказано переехать в Пермь; в своем имении Великополье (в Холынской волости Новгородского уезда) он оказался в октябре 1814 г. Поместье Сперанского, оказавшееся на территории военных поселений, в 1819 г. было куплено в казну (письма к А. о продаже см.: *Дубровин.* С. 200–201, 206–207)

*Бурмистром* (старостой) *Грузина* около 20 лет был крестьянин Иван Дмитриев. Не исполнив однажды поручения Н. Минкиной, навлек на себя ее гнев: в 1822 г. по доносу был уличен в самовольной порубке леса, а также в «составлении фальшивых билетов» и сослан в Сибирь.

# 238

Переписка А. с Сумароковым опубликована: Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1862. Кн. 2. С. 91–133; РС. 1900. № 11. С. 399–408. Тон писем губернатора действительно резок до заносчивости: «Я готов ваше сиятельство почитать, но обидных или повелительных писем кроме начальства ни от кого не приму, почему и прошу ваше сиятельство впредь писать ко мне несколько поучтивее и так, как следует к человеку служащему и благородно и для чести» (письмо от 11 сентября 1812); ср. самооценку Сумарокова: «Я в деяниях моих неизгибен, откровенен, смею говорить правду и не в состоянии отречься от речей моих» (Там же. С. 405; письмо от 17 сентября 1812).

# 239

Имеется в виду Николай Сергеевич Свечин, новгородский губернский предводитель дворянства, сосед и приятель А., который писал ему 14 сентября 1812 г.: «Теперь, любезный друг, объясню вам случившиеся со мною происшествия по Новгороду. Не знаю, не ведаю, за что ваш и мой губернатор меня ненавидит, ругает, сказывают, что при всех, и кует и вешает меня. Я бы остался все от него терпеть, если бы он, не любя меня, со мною бы и дело захотел иметь одним, но как гг. губернаторы обыкновенно везде, прогневаясь на дворянина, стараются оный гнев проявить на бедных крестьянах того господина, то вот что беспокоит меня чрезмерно. И я прибегаю с моею просьбою: сделай труд, во-первых, отбери от него, что за причина, что он невзлюбил мою физиономию. Кажется, я поместье свое в губернии нажил не фаворитством, не откупами и не интригами, а службою, и после того ничего от Государя не брал и не возьму никогда, дабы более было и оставалось в казне у Государя, к награждению гг. губернаторов; а во-вторых, убеди его справедливыми речами, на христианской проповеди основанными, дабы он, не любя меня, не делал ничего из-за меня бедным крестьянам моим, ибо это будет обоим нам грешно, что они за меня будут терпеть горе» (Там же. С. 405).

В 1814 г. ревизовать Новгородскую губернию и все присутственные места ее было поручено тайному советнику, сенатору Михаилу Павловичу Миклашевскому (1756–1847), бывшему в 1797–1800 гг. малороссийским, в 1801–1803 гг. — новороссийским, а в 1803–1804 гг. — екатеринославским гражданским губернатором. 26 августа 1814 г. он рапортовал, что все беспорядки и упущения «получили главный свой источник от образа управления г. губернатора» (т. е. П. И. Сумарокова), и просил министра юстиции И. И. Дмитриева: «В вящее доказательство г. губернатору, что я в делах, мне порученных, личного против него ничего не имел, а исполнял в строгом смысле обязанности свои, исходатайствовать, дабы ревизия Новгородской губернии была окончена кем-нибудь другим и чтоб поверено было все то, о чем мною было представлено» (Русская беседа. 1856. Кн. 1. С. 37–38). Возможно, эти полномочия были возложены на сенатора и тайного советника Карла Фридриха (Карла Федоровича) фон *Модераха* (1747–1819; в 1797–1804 гг. был пермским губернатором, в 1804–1811 гг. — пермским и вятским генерал-губернатором); сенатор *Милованов* — лицо вымышленное. Шениг, вероятнее всего, преувеличивает роль А. в назначении этой ревизии: еще в ноябре 1812 г. новгородский губернский прокурор Белявский доносил министру юстиции о том, что «все городовое общество располагается принести всеподданнейшую жалобу его императорскому величеству» на Сумарокова, который за неполный год исполнения своей должности успел восстановить против себя многих; «да и невозможно исчислить всех странных деяний господина губернатора: он обыкновенно и большею частою сам пишет бумаги без всякого соображения, потому что никогда не читает внимательно и не входит ни в какое дело, и без основания, потому что не знает и не согласуется с законным порядком. Не принимает ни от кого письменных и не выслушивает словесных просьб, и если кто взойдет с оными, то обидит ругательством и выгонит. <…> Весьма нередко дерется своими руками с мужиками и чаще при рекрутском наборе в самом присутствии» (цит. по: *Сивков К. В.* Провинциальная администрация в 1812 г. // Голос минувшего. 1914. № 5. С. 228; рапорт прокурора был вызван поданной ему жалобой новгородских мещан, отказавшихся, вопреки требованию Сумарокова, в ходе рекрутского набора выставлять дополнительных ратников). В следующих рапортах Белявский (весной 1813 г. отставленный от

должности) утверждал, что губернатор злоупотребляет алкоголем, покрывает лихоимство полицеймейстера Бондырева и сам берет взятки (Там же. С. 230–232).

# 241

Петербургским генерал-губернатором в 1815 г. был А. Д. Балашов.

*Бондырев* Василий Максимович — штаб-ротмистр, в 1815 г. новгородский полицеймейстер.

# 243

Дети Сумарокова: Мария (р. 1785); Сергей (1793–1875) — граф (с 1856); с 1809 г. юнкер гвардейского артиллерийского батальона, поручик (1813), полковник (1818); впоследствии начальник гвардейской артиллерии (с 1830), генерал-адъютант (1834), генерал от артиллерии (1851), с 1856 г. член Государственного совета.

Сумароков выпустил две брошюры: «Обозрение царствования Екатерины Великой» и «Черты Екатерины Великой» (обе— СПб., 1819).

## 245

Отсылка к евангельскому рассказу об исцелении паралитика в купальне у Овечьих ворот Иерусалима (Ин., V, 4–7).

Просьбы Сумарокова сводились к следующему: «Ни места уже, ниже минувших меня почестей ожидаю. Весь предмет мой заключается только в том, чтоб Государь Император, по лишении меня своей доверенности, благоволил, воззря на недостаточное мое состояние, вознаградить мою честность пожалованием того содержания, каковое я в Новгороде получал», — писал он к А. (РС. 1900. № 11. С. 407; письмо от 25 января 1816 г.).

## 247

Имеется в виду его книга «Прогулка за границу» (СПб., 1821).

# 248

Гагаринская перевозная пристань располагалась у Дворцовой набережной, приблизительно в месте впадения Зимней канавки в Неву; до Сената отсюда чуть больше километра.

# 249

*Львов* Федор Петрович (1766–1836) — писатель, композитор; директор Архангельской портовой таможни (1794–1797), в 1803–1810 гг. директор департамента Министерства коммерции, действительный статский советник (1810); с 1810 г. служил в Комиссии составления законов, откуда в 1816 г., при составлении нового штата, был уволен. Долгое время не мог определиться в службу; его ходатайства и хлопоты влиятельных знакомых оставались тщетными: «<…> просьба сия оставлена мною без внимания потому, что в местах должны быть употреблены чиновники по удостоению того начальства, под которым они состоят. Председатель же Комиссии Законов не назначил Львова в числе выбранных для оставления в Комиссии; а продолжать же производство жалованья ему в то время, когда ничем он не занимается, было бы противно справедливости» (рескрипт Александра I Г. Р. Державину от 25 мая 1816 г. — Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. К. Грота: В 9 т. СПб., 1871. Т. 6. С. 852). В 1824 г. (видимо, благодаря покровительству А.) получил должность помощника статс-секретаря Государственного совета (см. об этом также в «Записках» А. Ф. Львова); в 1827–1833 гг. статс-секретарь Государственного совета и одновременно директор Придворной певческой капеллы (с 1826). Свидетельство Шенига о расположении, которое А. питал к Львову, подтверждается письмом А. к А. Н. Оленину от 16 июня 1824 г. с приглашением посетить Грузине в начале июля: «Мне приятно будет также, если и Федор Петрович Львов приедет с вами вместе, как он того желал» (РС. 1875. № 10. С. 290).

# 250

*Мордвинов* Николай Семенович (1754–1845) — граф (1834); адмирал (1797), в 1802 г. морской министр, в 1810, 1816–1818, 1822 гг. председатель Департамента государственной экономии, с 1818 г. председатель Департамента гражданских и духовных дел Государственного совета. А. недоброжелательствовал Мордвинову: «<…> я с ним знаком, как и со всеми ему подобными, и считаю его пустым человеком», — писал он императору в 1821 г. *(Александр.* Т. 2. С. 686).

# 251

*Державина* (урожд. Дьякова) Дарья Алексеевна (1767–1842) — вторая жена Г. Р. Державина; Ф. П. Львов был женат на ее родной племяннице, дочери М. А. Дьяковой и Н. А. Львова. *Звонка* — новгородское имение Державина, располагавшееся в 18 верстах от Грузина (ниже по течению Волхова). Письмо А к Д. А. Державиной от 12 сентября 1829 г. с благодарностью за приглашение посетить Званку см.: Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. К. Грота. СПб., 1883. Т. 9. С. 327–328.

В минуту откровенности лаз сказал Аракчеев Ф. П. Львову, говоря о Шумском: «Да, братец, он добрый и неглупый малый, но крестьянская изба всегда пахнет дымом».

## 253

Так, 26 октября 1825 г. А. возвратил перстень, полученный Минкиной от полицеймейстера М. Ф. Чихачёва, дарителю; 30 октября тот объяснялся в ответном письме: «<…> цена оного совершенно ничтожная и не означала более, как бездельный памятник, который ей было приятно носить, помня меня. Она сама подарила мне собственных трудов прекрасный кошелек, и я не мог иначе принять оный, как знаком ее доброго расположения» (*Дубровин. С.* 463).

*Фрикен* (Фринкен) Федор Карлович (1780–1849) начал службу унтер-офицером; в 1811 г. майор, командир Старорусской резервной бригады, в 1812 г. формировал резервный батальон гренадерского графа А. полка; принимал участие в сражениях при Кульме и Лейпциге. Со второй половины 1810-х гг. на службе в Новгородских военных поселениях: в 1818 г. подполковник, командир поселенного батальона гренадерского графа А. полка, с 1819 г. полковник, командир того же полка; генерал-майор и бригадный командир 1 — и гренадерской бригады (с 1828). По представлению А. неоднократно получал награды: так, в 1821 г. было «высочайше повелено производить ежегодно от казны до того времени, как пожалованная ему в истекшем [1820] году аренда поступит в его управление, равное число денег доходу, который она приносить должна» *(Приказы-1821;* 29 июля); спустя полгода он получил 3 тысячи руб. (Там же; 31 декабря). В 1833–1849 гг. начальник округа пахотных солдат (так после бунта 1831 г. стали называться военные поселения) Новгородской, Витебской и Могилевской губерний, генерал-лейтенант (1837). А. поддерживал дружеские отношения с фон Фрикеном и его женой Анной Григорьевной (4 письма к ним 1826–1828 гг. см.: *Уманцева М. Ф.* Автографы А. А. Аракчеева в коллекции П. Ф. Губара // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1995 г. М., 1996. С. 91–93).

## 255

Речь идет о письме императора к А. из Таганрога от 22 сентября 1825 г. (текст см.: *Александр*. Т. 2. С. 659–660).

Как следует из переписки А. с И. Ф. Самбурским (с 1815 г. состоявшим при графе чиновником для особых поручений), в первой половине 1820-х гг. в типографии Штаба военных поселений по желанию А. было напечатано несколько бесцензурных изданий. В 1821 г. был готов тираж брошюры «Рескрипты и записки Государя Императора Павла I к графу Аракчееву» (включала 55 текстов 1794–1799 гг., сопровожденных указаниями адресата о времени и месте получения; републикацию см.: РС. 1873. № 4. С. 479–490 (это издание А. изредка дарил ближайшим знакомым: так, 20 февраля 1824 г. оно было послано А. Н. Оленину (РС. 1875. № 10. С. 289); перепечатка 1873 г. была осуществлена с экземпляра брошюры, принадлежавшего Б. М. Федорову, которому он мог каким-то образом достаться от А. С. Шишкова, получившего его от А.). В августе 1823 г. вышли рескрипты и письма Александра I в двух томах: первый содержал документы по 1821 г. включительно, расположенные «по материям» (тематически); второй — за 1822 и частично 1823 гг., в хронологическом порядке. 9 июля 1824 г. А. отдал в печать оставшиеся письма императора за 1823 г. (по изготовлении эти листы были приплетены ко второму тому). Все книги форматом в восьмую долю листа печатались одинаковым тиражом в 30 экземпляров, без указания на место и год выхода; при этом тщательно соблюдалась секретность: копии, с которых готовилось издание, уничтожались. Большая часть брошюр была заложена А. в колонны строившейся в 1820–1824 гг. (проект В. П. Стасова; работами руководил А. И. Минут) колокольни Андреевского собора в Грузине. 17 сентября 1824 г. Самбурский извещал А.: «<…> я тотчас занялся исполнением приказания вашего о ящиках для рескриптов <…> я заказал вчерашний день на стеклянном заводе восемь ящиков с крышками <…> Мне обещали поспешить по всей возможности; при всем том ящики готовы будут не ранее как чрез десять дней, т. е. к 26 числу. <…> Не знаю, угодно ли будет вашему сиятельству, но я приказал означить на крышках: *1824 года,* — эпоха, которая по прошествии веков занимать будет потомство <…> Как скоро они будут готовы, я тотчас чрез нарочного фельдъегеря отправлю их в Грузино вместе с 8-ю экземплярами рескриптов 2-й части, заключающей в себе годы: 1822 и 1823. Они переплетены будут так же, как и первая часть, которой все экземпляры находятся у вашего сиятельства в Грузине» (цит. по: *Порфиридов Н. Г.* Легенда Грузинской колокольни. Новгород, 1923. С. 4–6). 21 сентября

1824 г. А. торопил Самбурского с «присылкою футляров и книжек, ибо работы на колокольне за оными остановились» (цит. по: РС. 1873. № 4. С. 478). Это двухчастное собрание писем Александра I было вскоре после смерти императора (видимо, в начале 1826 г.) перепечатано А. в типографии Штаба военных поселений (а не за границей, как утверждает Шсниг) — на этот раз в одном томе и с добавлением новых документов, под названием: «Собственноручные рескрипты Государя Императора Отца и Благодетеля Александра I к его подданному графу Аракчееву, с 1796 года до кончины Его Величества, последовавшей в 1825 году» (тираж 20 экз.; включало 481 текст; воспроизведение см.: *Александр*. Т. 2. С. 545–660). Экземпляр книги А. подарил П. А. Клейнмихелю, который донес об этом императору. По этому поводу И. И. Дибич писал А. в Бежецк 31 января 1827 г.: «До сведения Государя Императора дошло, что здесь в С.-Петербурге появились печатные книги, в коих содержатся письма и записки, будто бы писанные покойным Государем Императором к вашему сиятельству. — Его Величество полагает, что таковые письма и записки напечатаны без ведома вашего сиятельства кем-либо недоброжелательствующим вам, будучи уверен в собственном вашем убеждении, сколь неприлично бы было напечатать то, что покойный Государь Император по особенной к вам доверенности мог писать к вам партикулярно и по секрету. А потому Его Величество желает знать: не известно ли вашему сиятельству, из какого источника могли быть почерпнуты сии напечатанные письма и записки и кем выданы в печать. Буде же сие вам неизвестно, то для предупреждения всяких толков в публике Его Величество полагал бы лучшим средством напечатать вашему сиятельству от себя объявление, что все таковые изданные в печать письма и записки выдуманы и не заслуживают вероятия. Прося покорнейше ваше сиятельство почтить меня на сие уведомлением вашим для доклада Государю Императору, имею честь быть и проч.» (РС. 1882. № 10. С. 191). 13 февраля А. отправил Дибичу текст требуемого объявления («<…> я, граф Аракчеев, никому ничего никогда не только не позволял печатать, но даже и не отдавал никому никаких сего рода бумаг» — цит. по: *Шильдер. Николай.* Т. 2. С. 50), а императору — два письма, в которых всячески отрицал свою причастность к изданию и сваливал всю вину на «злодеев». Когда в результате произведенного расследования выяснилось, что книга действительно вышла в свет с ведома А. из типографии его Штаба, в Грузино был отправлен А. И. Чернышев, который привез в Петербург «18 экземпляров и признание, что он [Аракчеев] был неправ, но что как его спрашивали, не известно ли ему о

подобных книгах, ходивших по рукам, а не спрашивали, не велел ли он напечатать их *для себя,* то он не думал, что лжет <…> Он плакал, уверял, что печатал их с ведома Императора и что даже Император часто спрашивал его, насколько увеличилось издание» (письмо Николая I к великому князю Константину Павловичу от 15 марта 1827 г.; цит. по: *Шильдер. Николай.* Т. 2. С. 55). По распоряжению императора все экземпляры были уничтожены, кроме двух: один остался в библиотеке Зимнего дворца, другой был послан в Варшаву великому князю. Отправляясь в начале мая 1826 г. за границу, А. запасся французским (возможно, также и немецким) переводом двух последних писем Александра I от 22 сентября и 5 октября 1825 г. (французский перевод по просьбе А. был выполнен чиновником Министерства финансов Антоном Сальватори, который и уведомил об этом Николая I через Е. Ф. Канкрина; см. об этом: Там же. С. 54). С этих текстов А. за границей позволял делать копии; не исключено, что им было осуществлено и некое издание.

# 257

Фридрих-Вильгельм III (1770–1840) — прусский король с 1797 г. В письме к Николаю I от 13 марта 1827 г. А. сообщал: «Письма последние Государя покойного я показывал его величеству королю прусскому, и он изволил, кажется, снимать копии, ибо изволил их оставлять у себя, то есть в переводе, французские и немецкие» (цит. по: *Шильдер. Николай.* Т. 2. С. 58). Скорее всего, Фридрих-Вильгельм III счел нужным уведомить своего зятя о том, что А. распространяет эти тексты, и прислал сделанные копии. Эти факты, как и «выемка» печатного издания, осуществленная Чернышевым, получили огласку и дали в итоге контаминированные сведения, которые передает Шениг. Ср. свидетельство Н. И. Греча (см. ниже) и «анекдот», рассказанный А. И. Тургеневу А. Н. Голицыным: Аракчеев «напечатал за границей письма к себе Имп[ератора] Ал[ександра], но Император Николай их отобрал через Чернышева» (письмо А. И. Тургенева к брату от 22 августа / 4 сентября 1842 г. — ИРЛИ. Ф. 309. № 950. Л. 174 об.; сообщено В. А. Мильчиной).

*Коронация* Николая I состоялась 22 августа 1826 г.

# 259

Подробности грузинской трагедии были предметом пристального внимания в обществе. Детальная хроника слухов содержится, например, в письмах А. Е. Измайлова к П. Л. Яковлеву от сентября — ноября 1825 г. («Что я слышал сегодня? — Будто гр. Аракчеев треснул в рожу преподобного Фотия за то, что тот отказался принять с Грузинского кладбища на свое прах великоблудницы Анастасии. Не верю! Говорят, будто он потерял доверенность Государя. Тоже не верю, хотя от всего сердца этого желаю. Еще говорят, будто он после смерти на днях нашел у нее много billets-doux. Этому верю. Утверждают также, что он при циркулярных отношениях возвращает теперь многим знаменитым особам вещи и деньги, которые они дарили его домоправительнице» — письмо от 25 ноября 1825 г. цит. по: Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1978. Т. 8. С. 180). Известный коллекционер древностей А. И. Сулакадзев в конце года посвятил этим событиям специальную заметку «Убийство любовницы гр. Аракчеева Настасьи Шумской (Минкиной)» (см.: РС. 1871. № 2. С. 242–243).

# 260

В другом месте воспоминаний Шениг приводит следующие подробности: «У [новгородской] заставы встретил тело граф Аракчеев верхом со всем своим штабом. Кортеж был растянут на большое пространство, и чтобы передовые тронулись, были даваемы знаки ракетою <…> Граф за несколько дней вперед сам делал репетиции монахам, чиновникам и солдатам, как подходить к гробу и прикладываться» (РА. 1880. № 2. С. 291). А. выпустил памятное издание с рисунками и чертежами: «Церемониал к встрече и сопровождению в Новгороде тела в Бозе почивающего императора Александра 1-го» (СПб., 1826).

# 261

Имеется в виду И. И. Дибич.

*Чернышев* Александр Иванович (1786–1857) — граф (1826); генерал-адъютант (1812), генерал от кавалерии (1826), с 1827 г. сенатор; в 1832–1852 гг. военный министр, в 1848–1856 гг. — председатель Государственного совета.

На самом деле духовное завещание А., утвержденное Александром I 12 декабря 1818 г. (в день рождения государя и одновременно день пожалования А. грузинской вотчины Павлом I; существовал также более ранний вариант духовной, утвержденный императором 6 декабря 1812 г. и отмененный последующим распоряжением), предусматривало избрание наследника по желанию завещателя; в случае, если бы он не успел этого сделать, выбор предоставлялся императору (текст см.: *Карпов П. П.* Исторический очерк Новгородского графа Аракчеева кадетского корпуса. СПб., 1884. С. 259–260). А. менял свои намерения: среди предполагаемых наследников были Шумский, В. Ф. Ильин и его семейство (об этом см. в мемуарах Н. Г. Сигунова), Е. А. Малиновская; после смерти А. никаких распоряжений найдено не было. По смыслу завещания наследник должен был принять титул и фамилию А. и получить не только грузинскую вотчину целиком, но и «все движимое имущество в домах петербургском и грузинском». Поэтому Николай I указом от 6 мая 1834 г. передал все имущество покойного и присвоил его имя и герб только что открытому (15 марта) Новгородскому кадетскому корпусу, в пользу которого А. в сентябре 1833 г. пожертвовал 300 тыс. рублей с тем, чтобы на проценты с этой суммы (12 тыс. рублей в год) могли воспитываться 12 детей бедных дворян Тверской и Новгородской губерний. Корпус, размещавшийся в бывшем штабе 4-го округа пахотных солдат (в 28 верстах от Новгорода), не мог в должной мере управлять грузинской волостью, и в сентябре 1845 г. она перешла в ведение Министерства государственных имуществ, а в 1857 г. — Министерства уделов. Новгородский кадетский корпус весной 1866 г. был переведен в Нижний Новгород и переименован в военную гимназию; с 1882 г. стал называться Нижегородским графа Аракчеева кадетским корпусом.

То есть кровельным картоном, пропитанным каменноугольными или сланцевыми дегтевыми продуктами.

# 265

*Жозефина* Таше де ла Пажери (1763–1814) — вдова генерала Александра Богарнэ, казненного в 1794 г.; с 1796 г. замужем за Наполеоном, после провозглашения его императором (1804) обвенчана с ним и коронована; в 1809 г. по настоянию Наполеона брак был расторгнут.

В 1835 г. была создана комиссия для описания движимой собственности А., в которую вошли новгородский уездный предводитель дворянства, коллежский советник Кованько от Совета военно-учебных заведений и капитан Н. Г. Аралов от Новгородского кадетского корпуса. Комиссия должна была разделить вещи покойного на нужные корпусу и не нужные ему; последние предполагалось продать на аукционе, а вырученные средства присоединить к денежному капиталу корпуса. Разбор имущества занял около полутора лет; в собственность корпуса перешла основная часть библиотеки А., некоторые его бумаги, ряд достопримечательностей: живописные и скульптурные портреты Павла I, Александра I (в том числе и знаменитый портрет императора, пожалованный А. для ношения на шее), самого А., оружие, чертежные приборы, медали, монеты, иконы (перечень рукописей и ведомость ценных предметов см.: *Карцов П. П.* Указ. соч. С. 261–266), а также экипажи и лошади графа. Среди прочих полученных корпусом редкостей были «два хрустальные бокала с императорским французским гербом, из которых пили Александр I и Наполеон при Тильзитском свидании» (Там же. С. 263), так что зафиксированная мемуаристом шутка Кованько имела под собой некоторые основания.

в пару *(фр.)*.

*Мартос* Иван Петрович (1754–1835) — скульптор; действительный статский советник (1809), с 1814 г. ректор Академии художеств «по части скульптуры».

# 269

*Танин* Егор Федорович (ок. 1758–1825) — богатый петербургский купец, писатель-графоман; владелец знаменитого сада близ Смольного монастыря.

## 270

Александр I был в Грузине в последний раз в конце июня — начале июля 1825 г. Впервые он посетил имение А. в июне 1810 г.

## 271

*Мария Павловна* (1786–1859) — великая княжна, дочь Павла I; с 1804 г. замужем за наследным принцем Саксен-Веймарским Карлом Фридрихом.

## 272

*Анна Павловна* (1795–1865) — великая княжна, младшая дочь Павла I; с 1816 г. жена принца Вильгельма Оранского, с 1840 г. — королева Нидерландов.

Во время восстания военных поселян А. приехал в Новгород, но местные власти потребовали, чтобы он покинул город. А. пожаловался императору; 1 августа 1831 г. А. И. Чернышев (по приказу Николая I, возмущенного подобным отношением к находящемуся в службе полному генералу) выражал новгородскому коменданту генерал-майору Люце высочайшее неудовольствие и возлагал на него и на гражданского губернатора лично «ответственность иметь за безопасностию графа Аракчеева, во все пребывание его в Новгороде, самое деятельнейшее попечение». На вид коменданту ставилось и то, что он, имея «долгом своим поставить к дому генерала графа Аракчеева следующих по уставу часовых и вообще употребить к охранению его все способы», этого не сделал *(Шильдер. Николай.* Т. 2. С. 487).

# 274

Муравьев Николай Назарьевич (1775–1845) учился в Горном корпусе (с 1785 г.); с 1788 г. — во флотской службе, капитан 2-го ранга (1800), капитан 1-го ранга (1803); в 1806–1810 гг. правитель канцелярии попечителя Московского университета. С конца 1812 или начала 1813 г. новгородский вице-губернатор, с 1815 г. — губернатор. С 1818 г. статс-секретарь императора (вместо В. Р. Марченко), управляющий Собственной е. и. в. канцелярией (до 1831 г.); археолог, писатель. Муравьев начал работать над «Припоминаниями…» в конце 1839 г.; текст остался незавершенным. Извлечения публикуются по: Сборник Новгородского общества любителей древности. Новгород, 1909. Вып. 2. С. 34–35, 39–50.

Видимо, мемуарист, пытаясь представить себя в наиболее выгодном свете, «переадресует» себе ревизию, долженствовавшую изобличить Сумарокова (см. выше «Воспоминания» Н. И. Шенига).

Отточие в тексте. Имеется в виду А. И. Корсаков (о нем см. в примеч. к «Автобиографической записке» В. Р. Марченко).

# 277

Ошибка: А. стал военным министром в 1808 г.

## 278

См. высочайший указ от 7 марта 1809 г.: «Нахожу нужным сим моим указом вверить вам власть неограниченную во всей Финляндии и право представлять сей указ везде, где польза службы оного востребует» *(Шильдер. Александр.* Т. 2. С. 238).

*Каменский* Николай Михайлович (1776–1811) — граф (1797); генерал от инфантерии (1809); во время Русско-шведской войны командовал сначала дивизией, затем— Улеаборгским корпусом; с 1810 г. главнокомандующий Дунайской армией.

# 280

*Густав IV* (1778–1837) — король Швеции с 1796 г. Когда русские войска в начале марта 1809 г. вступили на Шведское побережье, риксдаг объявил Густава низложенным и провозгласил королем (под именем Карла XIII) его дядю, герцога Карла Зюдерманландского (1748–1818), бывшего в 1792–1796 гг. регентом при несовершеннолетнем племяннике.

# 281

29–30 июня 1812 г. войска 1-й Западной армии сосредоточились в лагере при Дриссе, куда прибыл Александр I со свитой.

# 282

В письме к императрице Марии Федоровне, ведавшей целым рядом воспитательных и благотворительных заведений, от 17 апреля 1826 г. А. просил ее принять 50 тысяч рублей, высочайше пожалованные ему «на дорожные издержки», для учреждения вечного капитала для девичьего отделения Императорского военно-сиротского дома. Проценты с этой суммы назначались на воспитание пяти девочек «сверх положенного в сем заведении штатного числа»; при этом А. оговаривал, чтобы предпочтение отдавалось «тем девицам, коих отцы служат в военном поселении новгородского отряда; когда же их не будет, то назначать дворян Новгородской губернии», а воспитанницы именовались бы «пансионерками императора Александра Благословенного» *(Шильдер. Николай.* Т. 2. С. 493–494). 20 апреля вдовствующая императрица уведомила дарителя о том, что его «благотворительное намерение <…> в точности исполнится» *(Дубровин.* С. 490); 3 мая А. пожертвовал дополнительно 2500 рублей с тем, «дабы бедные девицы в сем году еще воспользовались дарованною мне от Государя Императора милостию» *(Шильдер. Николай.* Т. 2. С. 494).

# 283

Качалов Николай Александрович (1818–1891) — дворянин Новгородской губернии; в 1840-е гг. офицер Балтийского флота, затем белозерский уездный предводитель дворянства (1854–1863), председатель Новгородской земской управы, директор Департамента таможенных сборов, член Совета при министре финансов. Мемуары написал в 1880-е гг.; отрывок из них приводится по публикации в журнале «Голос минувшего» (1916. № 5/6. С. 12–13).

# 284

Речь идет о Степане Ивановиче Миницком, выпущенном из Морского кадетского корпуса мичманом в 1786 г. Утверждение Н. А. Качалова (состоявшего с Миницким в свойстве: А. Р. Качалов, дядя автора «Записок», был женат на Н. И. Кутыгиной, падчерице Миницкого) о том, что своей карьерой Миницкий был обязан А., неверно: в 1799 г. он имел чин капитан-лейтенанта, в 1802 г. получил Георгиевский орден 2-й степени за участие в восемнадцати морских кампаниях и стал числиться по армии; в 1803 г. подполковник, в 1810 г. — полковник, в 1809–1820 гг., исполняя должность капитана над гребным флотом (с 1806), распоряжался проводкой на камелях (специальных понтонах для транспортировки судов по мелководным участкам) «из Петербурга в Кронштадт новопостроенных кораблей и фрегатов» (Общий морской список. СПб., 1890. Ч. 4. С. 365). По всей видимости, он был приглашен А. для доставки царского подарка в Грузино как опытный и хорошо зарекомендовавший себя специалист. Его дальнейшие служебные успехи (в т. ч. получение в 1817 г. генерал-майорского чина, а в 1824 г. — значительной денежной награды (25 тысяч руб.) от императора), скорее всего, действительно следует связывать с протекцией А., тем более что в их общении оставались востребованными и профессиональные навыки Миницкого: в 1818 г. он отправлял в Грузино «все нужные для яхты вещи» и в письмах обсуждал с А. детали отделки, внутреннего убранства и доставки голландского буера (это небольшое прогулочное судно в 1817 г. было подарено императором А.), подбирал опытный экипаж на суда грузинской флотилии (см.: *Дубровин. С.* 218, 220), в 1819 г. — «заведовал постройкой транспортных судов для перевоза материалов из-за озера Ильмень к местам поселения полков, расположенным по реке Волхову» (Общий морской список. Ч. 4, С. 365). Назначенный в 1821 г. управляющим исполнительной экспедицией Адмиралтейств-коллегий (со званием генерал-интенданта), а в 1823 г. — архангельским, вологодским и олонецким генерал-губернатором и главным командиром Архангельского порта, Миницкий продолжал свою карьеру и после падения А. (правда, весьма неровно): в 1828 г. он получил высочайший выговор «по делу о принятом в адмиралтейские магазины недоброкачественном провианте», на следующий год — чин вице-адмирала, а в 1830 г. был отставлен «за предосудительные и пользам службы не соответствующие поступки».

# 285

В 1815 г. подаренная А. яхта была приведена из Свеаборга (по Финскому заливу, Неве и Ладожскому озеру) в Новую Ладогу, к устью Волхова (переходом командовал лейтенант Н. А. Муравьев — Общий морской список. СПб., 1893. Ч. 7. С. 563), после чего уже Миницкий зимой «распоряжался перетаскиванием берегом яхты «Голубка» из Ладоги в село Грузино, на протяжении 22,5 верст» (Там же. СПб., 1890. Ч. 4. С. 365). *Юрлов* Александр Андреевич поступил в Морской кадетский корпус в 1807 г., выпущен мичманом в 1814 г. Его участие в доставке яхты в 1815 г. было следующим: «на ботах с казенными материалами [видимо, необходимыми для транспортировки по суше] перешел из Петербурга в Новую Ладогу и потом был у проводки яхты «Роченсальм» до села Грузина». В 1816–1818 гг. служил на лодейнопольской верфи; лейтенант (1818), в 1819 г. вышел в отставку с чином капитан-лейтенанта (Там же. СПб., 1894. Ч. 8. С. 555–556).

Подробности относительно вооружения яхты неизвестны; упоминавшийся выше буер был оснащен по борту «четырьмя медными пушечками восьмилодовыми *(восьмифунтовыми? — Константин Дегтярев)* на вертлюгах» (письмо Миницкого к А. от 11 февраля 1818 г. —*Дубровин.* С. 220).

*Унковский* Алексей Петрович — в 1815 г. поручик, тихвинский исправник.

# 288

В январе 1817 г. новгородский губернатор Н. Н. Муравьев писал А.: «Надобно вашему сиятельству обвестить, чтоб лица, не пользующиеся вашим позволением, не беспокоились посещать вас в Грузине без предварения. Иначе нахальству в свете нет меры и беспокойства вам не будет меры, а кто не пожелает похвастаться гостеприимством грузинского помещика?» (*Дубровин.* С. 179).

# 289

Мартос Алексей Иванович (1790–1842) — сын скульптора И. П. Мартоса; с 1806 г. служил в Киевской инженерной команде, в 1809 г. подпоручик. В 1810 г., во время Русско-турецкой войны состоял при генерал-майоре И. П. Гартинге в Молдавской армии, отличился при осаде крепости Силистрия; с осени 1812 г. находился при главнокомандующем Дунайской армией адмирале П. В. Чичагове, а в 1813–1815 гг. — вновь при Гартинге (управлявшем Бессарабской губернией) в Кишиневе; штабс-капитан (1813). С начала 1816 г. адъютант А., капитан «по инженерному корпусу» (ноябрь 1816). В январе 1818 г. вышел в отставку «по болезни». С 1822 г. на статской службе (в Енисейском губернском правлении, с чином надворного советника); в 1827–1832 гг. новгородский губернский прокурор, с 1837 г. — управляющий Ставропольской комиссариатской комиссией; действительный статский советник (1841). Историк, археограф. Фрагмент «Записок…», создававшихся, как явствует из авторских помет, в 1816–1818 гг., печатается по: РА. 1893. № 8. С. 522–524, 526, 528, 534–535.

*Кольбер* Жан Батист (1619–1683) — маркиз; с 1666 г. министр финансов при дворе Людовика XIV. *Сюлли* Максимильен де Бетюн (1560–1641) — герцог (с 1606); министр финансов и друг короля Генриха IV. Князья Яков Федорович (1659–1720) и Василий Владимирович (1667–1746) *Долгорукие* — ближайшие сотрудники Петра I.

# 291

По именному указу, объявленному 5 августа 1816 г., 2-й батальон гренадерского графа А. полка (1943 человека нижних чинов и 15 офицеров) под началом Ф.К. фон Фрикена отправлялся из Петербурга на постой в казенную Высоцкую волость Новгородского уезда, которая переходила из ведения гражданского начальства в полное заведование командира поселяемого батальона (Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 33. № 26). Намерение приступить к масштабному поселению войск в Новгородской губернии в течение 1816 г. держалось в секрете, в том числе от крестьян и солдат. Письмо Фрикена к А. о ходе работ (13 декабря 1817 г.) см.: *Дубровин.* С. 214–216.

То есть запечатывает.

# 293

*Связь* — казарменный деревянный дом в военных поселениях (типовой проект разработан Ф. И. Демерцовым), рассчитанный на две семьи. Ряд связей прерывался площадью, посреди которой располагался хлебный магазин — склад зерна *(Грузина.* С. 221).

# 294

*Николай Павлович* (1796–1855) — великий князь, третий сын Павла I, с 1825 г. российский император. *Молодая княгиня* — Александра Федоровна (Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина; 1798–1860), дочь прусского короля Фридриха Вильгельма III; с 1817 г. жена великого князя Николая Павловича, российская императрица с 1825 г. Ср. фрагмент ее мемуаров, касающийся второй половины 1817 г.: «В то время много говорили о военных поселениях <…> выполнение этого проекта было доверено Аракчееву, и оно производилось не с кротостью, а, напротив того, грубыми и жестокими способами, что вызывало неудовольствие бедных крестьян. По пути нам попадались местами жители некоторых деревень, на коленях умолявшие о том, чтобы положение их не изменяли» (цит. по: *Шильдер. Александр.* Т. 4. С. 82).

## 295

*Вильгельм* (1797–1888) — принц прусский; с 1861 г. король Пруссии, с 1871 г. — германский император Вильгельм I.

# 296

Фон Брадке Егор Федорович (1796–1861) в 1806–1810 гг. учился в Горном корпусе; в 1811 г. — в школе колонновожатых, где с 1812 г. преподавал; с 1816 г. прикомандирован к главной квартире фельдмаршала Барклая де Толли в Могилеве; с 1817 г. служил в Новгородских военных поселениях. В 1820 г. поручик; приказом от 11 июля назначен начальником работ по расчистке полей в округе поселения гренадерского графа А. полка, которые производились батальонами 3-й пехотной и 3-й гренадерской дивизий: «Предписываю ему при вступлении 3-й гренадерской дивизии в работу разделить всю недочищенную в полях землю по участкам, на каждый баталион обеих дивизий, и объявляю, что после такового назначения каждый баталион не иначе выступит из округа поселения на зимние квартиры, как по окончании работы своего участка» *(Приказы— 1820. С.* 21). В 1824 г. капитан; впоследствии попечитель Киевского учебного округа (в 1834 г. по его инициативе был открыт Киевский университет); в 1839–1844 гг. на службе в Министерстве государственных имуществ; сенатор (1844–1854), попечитель Дерптского учебного округа (с 1854 г.). Мемуары написаны по-немецки, фрагменты их печатаются по переводу, помещенному в: РА. 1875. № 1. С. 33, 36–53.

*Паренсов* Дмитрий Тихонович (р. 1792) — в 1821 г. полковник, исправляющий должность обер-квартирмейстера Отдельного корпуса военных поселений; по представлению А. был награжден орденом Св. Владимира 3-й степени *(Приказы-1821;* 29 июля); впоследствии генерал от инфантерии.

Военные поселяне были освобождены от обычных повинностей: рекрутской, земских (строительство и ремонт дорог, постой) и волостных. В июне 1820 г. в Грузине был открыт мирской заемный банк; А. пожертвовал для его основания 10 000 рублей ассигнациями и издал «Положение о заемном банке для крестьян Грузинской вотчины» *(Отто.* № 4. С. 388). Крестьяне могли брать ссуды на покупку скота и строительство домов, хранить свои средства. В 1826 г. годовой оборот банка составлял 200 тыс. рублей; управляющим был крепостной А., грузинский дворецкий Семен Алексеев (см: *Папешин В. А.* Усадьба Грузино при графе Аракчееве // Новгородское общество любителей древности и краеведческие традиции. Новгород, 1994. С. 124). Он также вел «в Грузине всю домашнюю переписку», получал «600 рублей жалованья, особую квартиру, все содержание, няньку к его детям» и имел «собственного капиталу в мирском банке 1500 рублей» (цит. по: Лит. наследство. М., 1956. Т. 60, кн. 1. С. 158). Вместе с женой, дворовой А. Дарьей Константиновой, был привлечен к следствию по делу об убийстве Минкиной и сослан в Сибирь; умер не позднее 1848 г.

# 299

*Геснер* Соломон (1730–1788) — швейцарский немецкоязычный писатель, автор «Идиллий» в прозе (1756), иллюстрированных гравюрами его собственной работы.

*Кантонисты* — солдатские дети и дети военных поселян, числившиеся за военным ведомством. Высочайше утвержденными 11 мая 1817 г. правилами о переводе коренных жителей округов в состояние военных поселян родители были «освобождены» от забот о воспитании детей, которые оставались в семьях до семилетнего возраста, а затем отправлялись в школы кантонистами; более взрослые зачислялись в состав учебного батальона. А. составил и выпустил в свет «Краткие правила для матерей Грузинской отчимы», которые должны были храниться «у образной киоты, дабы их всегда можно было видеть» (Русский библиофил. 1911. № 4. С. 9).

как с чернью *(фр.)*.

Об А. Ф. Львове см. ниже, в комментариях к его мемуарам.

## 303

Карбонарии *(ит.)* — члены тайной революционной организации, действовавшей в первой трети XIX в. в Италии и Франции.

# 304

*Цвиленев* Александр Иванович (1769–1824) — генерал-лейтенант (1815), начальник военных поселений в Могилевской губернии (с 1817), в 1818 г. командир 11-й пехотной дивизии.

# 305

Ср. воспоминания И. И. Свиязева.

Имеется в виду подполковник Лен.

# 307

То есть великому князю Александру.

## 308

Речь идет об указе от 14 декабря 1807 г.: «Объявляемые генералом от артиллерии графом Аракчеевым Высочайшие повеления считать именными нашими указами» (Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 29. № 22715).

# 309

А. просил позволения уехать в отпуск за границу в письме к Николаю I от 9 апреля 1826 г.

Об этих изданиях см. примеч. 21 к мемуарам Н. И. Шенига.

# 311

*Миллер* Карл Павлович — до 1828 г. полковой лекарь в Грузине.

скандальной хроники *(фр.)*.

# 313

Санкт-Петербургское (с 1814 г. — Российское) Библейское общество было создано в конце 1812 — начале 1813 г.; его президентом стал А. Н. Голицын. Занималось переводами на русский (и другие языки народов Российской империи), изданием и распространением Библии. В апреле 1826 г. общество было закрыто, а его имущество конфисковано.

# 314

*Крюднер* (Крюденер; урожд. Фитингоф) Варвара Юлия (1764–1825) — баронесса; писательница и проповедница.

## 315

*Орлова* Анна Алексеевна (1785–1848) — графиня; дочь А. Г. Орлова-Чесменского, камер-фрейлина. Познакомившись в 1820 г. с Фотием, стала его духовной дочерью и покровительницей в придворных кругах.

Имеются в виду интриги против А. Н. Голицына, приведшие к его опале.

# 317

*Шишков* Александр Семенович (1754–1841) — вице-адмирал (1799); в 1812–1814 гг. государственный секретарь, с 1814 г. — член Государственного совета; министр народного просвещения и духовных дел (1824–1828); писатель, президент Российской академии (1813–1841).

# 318

Крымов М. А. — офицер в Новгородских военных поселениях. Воспоминания написаны в 1861 г.; отрывки из них печатаются по: Военный сборник. 1862. № 4. С. 437–444.

# 319

Цитата из поэмы Пушкина «Цыганы» (1824)

# 320

Цитата из поэмы Гоголя «Мертвые души» (гл. 4).

# 321

Полное название: «Семидневный листок военного поселения, учебного баталиона поселенного гренадерского графа Аракчеева полка» (издавался с 7 января по 11 февраля 1823 г.; вышло 6 номеров). По воспоминаниям А. К. Гриббе, издание прекратилось вследствие «печатной ссоры одного из редакторов-цензоров, священника [Иоанна Григорьевича] Мудролюбова, с полковым аптекарем Веймарном, за что первому был сделан выговор, а последний посажен на гауптвахту на трое суток»; содержание газеты отличалось пестротой: «в одном и том же нумере встречались статьи по части богословия и философии, переводы из римских классиков и стихотворения различного сорта, в которых поселенные рифмоплеты то прославляли самого Аракчеева и его творение — военные поселения, то впадали в сентиментализм, описывая горечь разлуки с милой сердцу» (РС. 1885. № 1. С. 145).

# 322

Львов Алексей Федорович (1798–1870) — сын Ф. П. Львова; в 1818 г. окончил Корпус инженеров путей сообщения и был определен на службу в Новгородские военные поселения; в 1820 г. инженер-поручик; штабс-капитан (1821), по представлению А. получил орден Св. Владимира 4-й степени *(Приказы—1821;* 31 декабря). Адъютант А. Х. Бенкендорфа (1825–1827); с 1828 г. заведовал делами императорской Главной квартиры, флигель-адъютант (1834); впоследствии сенатор и гофмейстер. После смерти отца — директор Придворной певческой капеллы (1837–1861); скрипач-виртуоз, композитор. «Записки» начаты в феврале 1847 г.; печатаются по: РА. 1884. № 4. С. 226–229, 233–234.

# 323

*Экзерциргауз* — помещение для занятий строевой подготовкой. Приказом от 25 октября 1820 г. А. изъявлял благодарность «инженер-поручику Львову за содействие в устроении стропил на экзерциргауз» *(Приказы—1820.* С. 235–236).

*Далер* (Даллер; Долер) Карл Христианович (1768–1838) — в 1815 г. штаб-лекарь гвардейской артиллерийской бригады, коллежский советник; в 1821 г. — корпусный доктор Отдельного корпуса военных поселений, по представлению А. пожалован в действительные статские советники *(Приказы—1821;* 29 июля); в 1825 г. лейб-медик, главный доктор военных поселений.

# 325

*Бенкендорф* Александр Христофорович (1783–1844) — с 1826 г. шеф жандармов, начальник III отделения Собственной е. и. в. канцелярии, сенатор.

*Минут* Александр Иванович — выпускник Артиллерийского и инженерного кадетского корпуса, с 1793 г. «архитекторский помощник» в Артиллерийской экспедиции Военной коллегии. С уходом Ф. И. Демерцова с поста архитектора Артиллерийской экспедиции в 1812 г. сменил его в этой должности, а также на неофициальном посту главного архитектора Грузина. После отстранения А. от государственных дел покинул его (см. письмо А. к Бухмейеру от 9 апреля 1827 г. с сообщением о том, что «неблагодарный Минут оставляет» Грузино; цит. по: *Грибовский В. М.* Аракчеев как не «герой» // ИВ. 1906. № 12. С. 873).

# 327

*Свиньин* Павел Петрович (1787–1839) в 1805–1824 гг. служил в Коллегии иностранных дел (в 1811–1813 — секретарь русского генерального консула в Филадельфии), много путешествовал по Европе; историк-любитель, издатель журнала «Отечественные записки» (1820–1830). Очерк «Поездка в Грузино» был воспринят многими современниками как неприкрытая лесть; см., например, запись в дневнике Н. И. Тургенева от 7 октября 1818 г.: «A propos de подлость, нельзя не вспомнить о поездке Свиньина в Грузино — съездил, да еще написал. Вот храбрость подлости!» (Архив братьев Тургеневых. Пг., 1921. Вып. 5. С. 155), замечание П. А. Вяземского: «Свиньин полоскается в грязи и пишет стихи» и его же эпиграмму, пародирующую стихи Свиньина — эпиграф к его очерку: // Что пользы, — говорит расчетливый Свиньин, — // Мне кланяться развалинам бесплодным // Пальмиры, Трои иль Афин? // Пусть дорожит Парнаса гражданин // Воспоминаньем благородным; // Я не поэт, а дворянин, // И лучше в Грузино пойду путем доходным: // Там, кланяясь, могу я выкланяться в чин // (письмо к А. И. Тургеневу от 13 октября 1818 г. // Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 1. С. 129). Очерк Свиньина печатается по: СО. 1818. № 39. С. 3–4, 19–34; № 40. С. 49–53, 57–74.

## 328

Отсылка к топонимическому преданию, производящему название реки Волхов от некогда обитавшего на ее берегах чародея (волхва).

## 329

Имеется в виду сохранившийся в так называемой Иоакимовской летописи (под 992 г.) рассказ о крещении новгородцев, которое сопровождалось разорением языческих капищ и сбрасыванием идолов в Волхов.

Несколько флигелей, выстроенных по проекту Ф. И. Демерцова между главным домом и собором, «были больше остальных по длине и имели мезонины, заканчивавшиеся башнями со шпилями. Благодаря флагам, которые поднимались на этих башнях, все население Грузина оповещалось о приезде гостей или самого Аракчеева» *(Грузино. С.* 218).

# 331

*Облатка* — предназначенный для запечатывания письма «мучной, клеевой или бумажный на клею кружок» (Даль).

# 332

Павел I родился 20 сентября 1754 г., вступил на престол 7 ноября 1796 г., умер в ночь с 11 на 12 марта 1801 г.

## 333

*Шокшенский мрамор* — из месторождения в Карелии, на западном берегу Онежского озера.

*Аспид*— одно из названий черной яшмы.

# 335

*Порфир* — горная порода, по структуре близкая к граниту.

# 336

*Тома де Томон* Жан Франсуа (1760–1813) — архитектор; работал в России с 1799 г. Академик (1800), с 1810 г. профессор Академии художеств.

# 337

*Крылов* Михаил Григорьевич (1786–1846) — скульптор. Воспитывался в Академии художеств (1795–1809); академик (1837).

# 338

*Ажис* (Ажи) Пьер Луи (Петр Петрович; 1752–1828) работал в России с 1781 г., с 1794 г. преподавал в Академии художеств литейное и чеканное мастерство; академик (1800).

## 339

*Княжнин* (Княжной) Борис Яковлевич (1777–1854) — с 1809 г. полковник и командир гренадерского графа А. полка (до 1816), в 1818 г. генерал-майор, начальник отряда поселённых в Новгородской губернии войск; генерал от инфантерии (1843); писатель. Ниже Свиньин цитирует его сочинение «Биографии штаб- и обер-офицеров гренадерского графа Аракчеева полка, положивших жизнь свою, защищая Государя и Отечество в сражениях 1812, 1813 и 1814 годов» (СПб., 1816; цитируются с. 18, 20–21, 26).

## 340

Речь идет об ожесточенном сражении, произошедшем в предместье Бельвиль 18 марта 1814 г., накануне вступления союзных войск в Париж.

# 341

Сражение при деревне Заболотье (Заблотье; в 13 верстах восточнее Смоленска) имело место 7 августа 1812 г.

# 342

Егоров Алексей Егорович (1776–1851) — художник-портретист, религиозный живописец; академик (1807), с 1812 г. профессор Академии художеств.

## 343

*Потир* — чаша, в которой на литургии освящается вино; из нее верующие причащаются святых тайн.

*Дискос* — круглое блюдо на подставке, на котором во время евхаристии освящается хлеб. *Звезда* (звездица) — две крестообразно соединенные металлических дуги, ставящиеся на дискос для того, чтобы при возложении на него покрова (воздуха) частицы просфоры не смешались. *Лжица* — ложечка, употребляемая при причащении мирян.

*Набойка* — набивная ткань.

*Мисаил*- архиепископ рязанский с 1651 г.; был убит во время миссионерской поездки по Среднему Поволжью в 1656 г. (в тексте очерка указана неточная дата).

## 347

Единому Богу слава *(лат.)*.

# 348

*Амвросий* (в миру Андрей Иванович Подобедов; 1742–1818) — ректор Славяно-греко-латинской академии (с 1774), епископ севский и викарий московской епархии (1778–1781), епископ крутицкий (1781–1785), архиепископ казанский (1785–1799), с 1799 г. архиепископ петербургский, с 1801 г. до кончины митрополит петербургский и новгородский.

## 349

Имеются в виду иконы конца XVIII — начала XIX в., в которых воспроизводился стиль и живописные приемы византийских образов, привезенных на Русь киевским князем Владимиром после принятия им крещения в Херсонесе (Корсуни).

Видимо, эти ковры А. все же счел недостаточно подходящими для Грузинского собора. Во всяком случае, в сентябре 1818 г. он обратился к харьковскому гражданскому губернатору В. Г. Муратову с просьбой заказать для собора ковер голубого цвета длиной 6,5 аршин и шириной 6 аршин 5 вершков; 18 апреля А. уведомил о получении готового изделия и заказал еще один ковер: «на той же фабрике точно такого же рисунка и таких же самых красок», длиной 18 аршин и шириной 2 аршина 7 вершков. Ковры обошлись А. в 800 рублей (письма см.: Река времен: Книга истории и культуры. М., 1996. Вып. V. С. 113–114).

Образа для богато декорированного и обильно позолоченного иконостаса в главном приделе писал А. Е. Егоров.

*Горнее место* — запрестольное пространство в центральной абсиде алтаря.

*«Горе имеем сердца»* (ц. — слав.) — «устремим сердца вверх»; слова, произносимые священником на литургии, перед освящением даров.

## 354

Имеется в виду утреня Страстной пятницы с чтением двенадцати отрывков из всех Евангелий, где рассказывается о страданиях, смерти и погребении Христа.

# 355

*Демерцов* (Димерцов) Федор Иванович (1753–1823) — крепостной Н. И. Трубецкого; с 1782 г., получив вольную, преподавал архитектуру в Артиллерийском и инженерном кадетском корпусе; академик (1795), профессор Академии художеств (с 1814). Его творческая биография на основании архивных материалов изложена в статье Н. В. Мурашовой (см.: *Грузина)*.

*Адриан* (в миру Андрей; 1627–1700) — с 1690 г. патриарх всероссийский. *Корнилий* (ум. 1698) — митрополит новгородский в 1674–1695 гг.

## 357

Несколько измененный стих из песнопения «Воскресение Христово видевше…» — части воскресной утрени или всенощной.

# 358

Об А. А. Писареве см. в примечаниях к его стихотворению «Надпись к портрету его сиятельства графа А. А. Аракчеева». Заметка «Описание знамени великого князя Владимира <…>» была опубликована значительно позднее: Новгородский сборник. Новгород, 1865. Вып. 2. Отд. 2 С. 129–136.

# 359

*Ключарев* Федор Петрович (1751–1822) — московский почт-директор (1801–1812), тайный советник, сенатор (1816); видный масон. Ключарев Захар Федорович (1785–1817) — коллежский асессор в отставке.

# 360

Имеется в виду серый или розовато-серый гранит из месторождения Кашина Гора, расположенного в окрестностях г. Пудож (Карелия).

# 361

Вскоре по возвращении А. из-за границы, в начале марта 1827 г., каменное здание оранжереи сильно пострадало, о чем хозяин писал Ф. И. Апрелеву: «<…> сколько я терплю несчастьев, продолжающихся беспрерывно. И ныне по приезде моем на 3-й день был у меня здесь пожар: сгорела большая у пристани ранжерея, пропали все пожалованные покойным государем померанцевые деревья, истреблена библиотека, которую я собирал сорок лет и имел редкие манускрипты, и одним словом, потеря самая большая моего состояния, более по бывшим трудам собрания всех сгоревших вещей» (цит. по: *Г(раф] С. Ш[ереметев]*. Семейство Апрелевых. СПб., 1898. С. 14–15; о том же см. письмо А. к Ф. Е. Бухмейеру: *Грибовский В. М.* Аракчеев как не «герой» // ИВ. 1906. № 12. С. 872). Тем не менее через 7 лет после пожара (в 1834 г.) библиотека А. насчитывала в общей сложности 3780 сочинений в 11 184 томах. Это богатейшее книжное собрание подверглось рассортировке в ходе разбора имущества А.: более 10 тыс. томов перешли в собственность Новгородского кадетского корпуса; опись остальных книг, «заслуживающих особого внимания», была представлена императору, собственноручно распределившему их между Собственной е.и.в. канцелярией, Инженерным архивом и библиотеками: Артиллерийского департамента, Главного штаба, Морского штаба и Синодальной (см.: *Карцев П. П.* Исторический очерк Новгородского графа Аракчеева кадетского корпуса. СПб., 1884. С. 36). Характеристику книжного собрания А. см.: *Ячменихин К. М.* Библиотека «фруктового солдата» // Библиофил. Сб. 1. М., 1999. С. 110–111; *Папешин В. А.* К истории библиотеки А. А. Аракчеева // Актуальные проблемы теории и истории библиофильства: Материалы VI международной научной конференции. СПб., 1997. С. 40–41.

*Кенкеты* — светильники, в которых «горелка устроена ниже масляного запаса» (Даль); обычно употреблялись в закрытых помещениях.

# 363

*Толстой* Николай Александрович (1761–1816) — граф; обергофмаршал.

То есть маяков (от *фр.* phare). Две монументальные четырехгранные башни у пристани с обзорными площадками (бельведерами) наверху — первая работа В. П. Стасова для грузинской усадьбы.

# 365

*Стасов* Василий Петрович (1769–1848) — архитектор, академик (1811). С 1816 г. много строил для А. как в Грузине, так и в Новгородских военных поселениях. О метаморфозах в облике усадьбы, связанных с деятельностью Стасова, см.: *Грузина.* С. 224–229.

Перевоз сей производился под надзором г. начальника СПб. галерного порта Ст. Ив. Миницкого. (Прим. Свиньина)

# 367

*Олег* (ум. 912) — киевский князь; в 907 г. совершил грандиозный морской поход против Византии: 80 тыс. воинов на 2000 ладьях спустились по Днепру и по Черному морю прибыли в Константинополь (Царьград). При штурме города парусные ладьи были поставлены на катки, так как подступы к столице с моря были заблокированы византийцами.

# 368

Вильгельм Фредерик (Вильгельм I; 1772–1843) — с 1815 по 1840 г. король Нидерландов.

# 369

Паноптикою называлось огромное здание, находившееся на Охте. Сидя в комнате своей, [с] помощию оптики мастер мог видеть все, что ни делалось внутри целого здания. (прим. Свиньина)

## 370

Неточная цитата из сказки И. И. Дмитриева «Модная жена» (1791).

*Партер* — здесь: цветочная клумба сложной конфигурации.

*Георгика* — одно из названий георгина (Dahlia variabilis).

*Чернышев* Захар Григорьевич (1722–1784) — граф; генерал-фельдмаршал (1773).

Имеются в виду артиллерийские снаряды (имели картонный корпус и были снабжены несгораемым фитилем; внутри находилась металлическая картечь), изобретенные в 1804 г. английским военным инженером сэром Уильямом Конгревом (1772–1828).

Исаак Константинов, чьим хозяином был еще А. Д. Меншиков, перешел в собственность А. в 1796 г. вместе с другими крестьянами грузинской вотчины. Вскоре после смерти старожила по желанию А., осознавшего историческую значимость такой фигуры, в парке был сооружен чугунный памятник с надписью: «В память 125-летнему старику Исаку Константинову, коим в его молодости сажены сии дерева; родился 1681 году, умер 1806 году» *(Языков.* Стб. 1482).

Нет сомнения, что Исаак принимал новосформированных по-европейски солдат, кои сопровождали повсюду князя Меншикова, за тех грозных духов. Известно, что Ингерманландский полк князя Меншикова был первый одет на сей образец (Прим. Свиньина) // *Ингерманландский* пехотный полк был сформирован в 1703 г. из лучших солдат различных полков для фельдмаршала А. Д. Меншикова, губернатора Ингерманландии (территория Приладожья и побережья Невы).

# 377

С 1802 г. в Грузине начались работы по созданию сети каналов и насыпных островов. В 1815 г. на одном из островов, которых к этому времени насчитывалось десять, по проекту Ф. И. Демерцова был сооружен павильон, посвященный памяти генерал-поручика П. И. Мелиссино: к небольшому залу примыкала галерея, с трех сторон окруженная колоннадой, я прямо от воды шли лестницы, поднимавшиеся к высокому подиуму *(Грузина. С.* 221). По преданию, внутри стены павильона были расписаны фресками на эротические сюжеты, обычно скрытыми за системой зеркал; хозяин демонстрировал их только избранным *(Отто.* № 3. С. 293).

Имеется в виду одна из двух катальных летних гор (скаты их шли навстречу другу другу), решенная в романтическом духе — в виде руинированной башни с высаженным на стенах мелким кустарником. Подделка под старину призвана была имитировать здание начала XVIII в., когда Грузине принадлежало Меншикову.

Мемориальный знак, посвященный А. отцу, представлял собой чугунный столбик на каменном основании, украшенный позолоченным венком; надпись гласила: «Андрей Андреевич Аракчеев скончался 1796 году июля 29 дня. Погребен в Тверской губернии в Бежецком уезде, в селе Курганах». Мать А. в 1818 г. была еще жива; после ее кончины текст надписи на стеле был дополнен следующими словами: «Сын в память родителям. Елисавета Андреевна Аракчеева скончалась 1820 года июля 17 дня. Погребена в Тверской губернии в Бежецком уезде в селе Курганах вместе с покойным родителем» *(Языков.* Стб. 1482). Поблизости от оранжереи была установлена чугунная ваза — «В память посещения в Грузине родительницы в 1800 году Е.А.».

Здесь в значении: лечатся.

## 381

То есть состоянием, денежными средствами (от *фр.* fortune).

*Полпиво* — легкое, слабое пиво.

# 383

*Маурер* Людвиг Вильгельм (1789–1878) — скрипач-виртуоз, дирижер, композитор (в числе его сочинений восемь концертов для скрипки с оркестром).

# 384

*Роде Жак.* Пьер Жозеф (1774–1830) — французский скрипач, композитор.

# 385

*Пенкин* Федор Афанасьевич (ум. 1870) — воспитанник Военно-учительского института. Воспоминания завершены в 1864 г.; печатаются по: Военный сборник. 1864. № 12. С. 389–415.

*Сиверс* Егор Карлович (1779–1827) — граф; с 1817 г. председатель комиссии для составления учебных пособий кантонистам поселенных войск, с 1820 г. — директор Главного инженерного училища, с 1821 г. — непременный член Совета главного над военными поселениями начальника; генерал-лейтенант (1825).

## 387

Воспитанники института шли из Санкт-Петербурга в округ графа Аракчеева полка (в Новгородской губернии), можно сказать, прогулкою, именно по половине станции в день, с установленными дневками. Нельзя забыть хлопотливость сельских заседателей: одни нас встречали, другие провожали, везде строго приказывая, чтобы аракчеевцев кормили как можно лучше. (Прим. Пенкина)

И действительно: переход от крестьянского быта к военно-земледельческому был слишком крут. Сам граф Аракчеев не ожидал блестящих успехов от поколения старого. Раз он сказал в институте: «Я знаю, что меня называют чертом, дьяволом, колдуном, но дал бы Бог мне прокомандовать поселениями еще лет пятнадцать, тогда благословляли бы меня». Такое признание имеет известную долю правды: граф Аракчеев, тяжко налегая на поколение старое, любил поколение новое, которое и привязывал к себе и к сроим учреждениям в поселениях мерами снисходительными и разумными. (Прим. Пенкина)

# 389

Однажды, проходя вечером по комнатам института, граф спросил у начальника заведения: «По скольку кроватей в каждой комнате?» Командир молчит. «Какой же ты командир, когда и этой безделицы не помнишь? Я иду к Государю и несу вот такую кипу бумаг (тут он раздвинул руки почти на аршин) и без карандаша, а все повеления помню». Командир чем-то хотел оправдаться. «Молчать! пятьдесят шесть лет! граф Аракчеев! тройка лошадей с кибиткою!» (Тут он сделал прощальный знак рукою и поклонился в пояс.) Это грозное замечание можно объяснить так: пятьдесят шесть лет — стар и опытен; граф Аракчеев — могуществен; тройка лошадей с кибиткою — сошлю туда, где, как говорит пословица, Макар коз не гоняет. Такое замечание до того напугало доброго командира, что впоследствии он не мог слова сказать графу спокойно, без запинки.

*Камилавка* — головной убор монахов и священников в виде цилиндра, слегка расширенного кверху; высочайшим указом 18 декабря 1798 г. сделана наградой для белого духовенства.

# 391

*Голиков* Иван Иванович (1735–1801) — историк, автор многотомных «Деяний Петра Великого» (1788–1789).

# 392

*Гнедич* Николай Иванович (1784–1833) — поэт, переводчик, драматург; преподавал декламацию актерам. О Н. И. Гречe см. в преамбуле к его мемуарам.

# 393

*Европеус* (Эвропеус) Иван Исаакович (р. 1794) — по происхождению швед; учился в университете в Або, затем в петербургской Медико-хирургической академии; в 1820–1832 гг. старший лекарь полка короля прусского в Новгородских военных поселениях, с 1832 г. — старший лекарь новгородского военного госпиталя; затем служил на Кавказе. Отрывки из его воспоминаний печатаются по: РС. 1872. № 9. С. 225–241 (другая редакция: Рассказы доктора Европеуса о графе Аракчееве // ИВ. 1887. № 9).

Тростниковая палочка-перо *(лат.)*.

*Татьяна Борисовна* — племянница Н. Минкиной. После убийства тетки жила в Духовом монастыре в Новгороде; А. пожертвовал обители деньги, проценты с которых шли на расходы по содержанию двух девиц, «Танюши» *(Отто.* № 3. С. 299) и Лидии; см. также «Положение о внесенной сумме шести тысячах рублях в ломбард для Новгородского Святого Духа женского монастыря на воспитание из процентов оной суммы двух бедных сирот в том монастыре, под названием Грузинских сирот, 23 ноября 1825 года» (СПб., 1826). В одном из писем (без даты) А. просил Европеуса: «Любезной друг, Иван Исакович. Посылаю тебе дрожки на перевоз; сделай дружбу, съезди в Духов монастырь, там больна Танюша; посмотри ее и пропиши ей лекарство, за что я буду весьма благодарной. *Г.А.»* (РС. 1872. № 9. С. 241). В начале 1830-х гг. вернулась в Грузине.

*Шишкина* Максимилла Петровна (ум. 1841) — в 1813–1821 гг. игуменья Десятинного монастыря в Новгороде; с 1821 г. игуменья новгородского Свято-Духова женского монастыря; выдержки из ее писем к А. см.: *Отто.* № 10. С. 173.

*Андреев* Владимир Яковлевич — помещик Боровичского уезда Новгородской губернии.

# 398

Это произошло в 1831 г.

## 399

Речь идет о бунте 1831 г.

*Денфер* (Демпфер) Август Ульянович (1785–1859) — полковник (1822); в 1826 г. уволен от военной службы с переименованием в действительные статские советники и в октябре назначен новгородским гражданским губернатором (занимал эту должность до 1834 г.); сенатор (1834), действительный тайный советник (1856).

Упомянут *Манкошев* Петр Николаевич (1804–1848).

## 402

29 ноября 1832 г. А. жаловался в письме к Я. В. Виллие: штаб-лекарь Орлов, «быв женатый человек и живя у меня с женою, обольстил и развратил в доме моем одну бедную сироту 18-ти лет девицу, невинную, воспитанную в благочестии в новгородском девичьем монастыре»; вместо Орлова А. просил прикомандировать к нему «из Новогорода господина штаб-лекаря Европеуса» (ОР РГБ. Ф. 16. Карт. 25. № 10. Л. 31–32). Ответное письмо Виллие от 8 декабря см.: РС. 1872. № 9. С. 242.

*Данилов* Павел Федорович (ум. 1833) — генерал-лейтенант; с 1831 г. начальник округов военных поселений в Новгородской губернии (назначен до восстания поселян).

*Виллие* (Вилье) Джемс (Яков Васильевич; 1768–1854) — баронет, уроженец Шотландии; с 1790 г. в русской службе (батальонный врач Семеновского полка), с 1798 г. лейб-хирург, с 1801 г. — лейб-медик Александра I. В 1809 г. был назначен президентом Медико-хирургической академии, в 1812–1813 гг. инспектор медицинской части по армии; директор Медицинского департамента Военного министерства. С Виллие, приехавшим в Грузине 19 апреля 1834 г. в связи с резким ухудшением состояния А. (об этой поездке см. воспоминания доктора В. Сахарова в изд.: Отчет по устройству Михайловской клинической больницы баронета Виллие. СПб., 1873. С. 35–39), связан последний автограф А. Загодя поздравляя гостя с наступавшей Пасхой, А. подарил ему гравюру с изображением памятника Александру I (работы С. И. Гальберга) из литографической серии «Виды села Грузина», надписав на ней: «Его превосходительству милостивому государю Якову Васильевичу Виллие, от графа Аракчеева в день Воскресения Господня. 22 апреля 1834» (цит. по: *Уманцева М. Ф.* Автографы А. А. Аракчеева в коллекции П. Ф. Губара // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1995 г. М., 1996. С. 93).

## 405

Ср. иное описание: «Возле самого надгробного камня на полу из шестиугольных чугунных плит одна плита бронзовая, и на ней надпись: «Здесь лежит двадцатипятилетний друг Анастасия, убиенная дворовыми людьми села Грузина за искренную ее преданность к графу»» *(Языков.* Стб. 1475–1476).

# 406

*Титов* Николай Алексеевич (1800–1875) в 1808–1810 гг. воспитывался в 1-м кадетском корпусе; в 1817–1833 гг. в военной службе, с 1834 г. чиновник для особых поручений в комиссариатском департаменте Военного министерства, с 1867 г. в отставке в чине генерал-лейтенанта; композитор. Главка из его «Записок» печатается по: РС. 1870. № 2. С. 148–149.

## 407

О подобном новогоднем празднике рассказывал П. М. Волконский в письме к А. А. Закревскому от 12 января 1820 г.: «У графа Аракчеева <…> был маскарад <…> камергер Кокошкин, одетый бурмистром из деревень, около Грузина лежащих, сказывают, бросился в ноги графу и благодарил за милостивое с крестьянами обхождение, представляя в рубище одетых всю фамилию Клейнмихелей, говоря, сколько он им сделал добра» (Сб. ИРИО. Т. 73. С. 12–13).

# 408

Имеются в виду Анна Алексеевна Титова (в замуж. Измайлова; 1794–1858) и Александр Алексеевич Титов (1796–1855) — впоследствии статский советник.

# 409

Клейнмихель (урожд. Ришар) Анна Францовна (1769–1833).

# 410

Когда во время попурри танцевали мазурку, то г-жа Е. выбрала генерал-адъютанта Д., и он, к удовольствию графа, сделал с нею два тура. (Прим. Титова)

# 411

*К. А. Измайлов* в 1820-е гг. служил в 8-й резервной артиллерийской роте. История о поручике Долгорукове была рассказана ему его командиром Н. Ф. Демором в 1833 г., записана Измайловым в 1881 г.; печатается по: РС. 1881. № 9. С. 201–208.

# 412

*Не эта ли строка послужила штрихом к портрету героя «Подростка» Достовского, который также был «Долгоруким, но не князем» и находил, что нет ничего глупее, чем такая ситуация. (Прим Константина Дегтярева)*

## 413

Известно несколько историй об А., построенных по схожему плану: см. воспоминания Л. Г. Немеровского, секретаря А. (в записи Г. С. Демянока: РС. 1872. № 11. С. 589–591); анекдот, почерпнутый из «неизданных записок» генерала И. Т. Радожицкого (ДНР. 1880. № 10); рассказ ксендза Станевского (ДНР. 1875. № 5. С. 99–100). Не исключено, что такие случаи действительно имели место: «В дороге он [А.] иногда переряжался в гражданское платье и заводил с незнакомыми речь о самом себе» (Граф Аракчеев. С. 23).

# 414

Одно из названий Литейного моста, построенного в 1875–1879 гг.

# 415

*Гриббе* Александр Карлович (1806–1876) в 1822 г. вступил подпрапорщиком в гренадерский графа А. полк, где и служил до 1836 г., когда перешел в 1-й округ пахотных солдат; впоследствии полковник. По выходе в отставку жил в Старой Руссе, где в 1873–1875 гг. у него снимали дачу Ф.М. и А. Г. Достоевские, вскоре после смерти хозяина купившие его дом (ныне мемориальный дом-музей Ф. М. Достоевского). Заметка об А. печатается по: РС. 1875. № 1. С. 84–111; известны еще два очерка, основанных на воспоминаниях Гриббе о службе: Холерный бунт в Новгородских военных поселениях 1831 г. // РС. 1876. № 11. С. 513–536; Новгородские военные поселения // РС. 1885. № 1. С. 127–152.

*На юру* — здесь: «на бойком, открытом месте» (Даль), на виду у всех.

## 417

Обыкновенно Аракчеев носил артиллерийскую форму; но при осмотре работ на военных поселениях он сверх артиллерийского сюртука надевал куртку из серого солдатского сукна и в таком наряде бродил по полям, осматривал постройки и т. п. работы. В этой-то куртке я увидел его в первый раз. (Прим. Гриббе)

*Фузелерная рота* — мушкетерская.

# 419

Неточность: в 1822 г. Александр I посетил Грузине 15 июня.

Чтобы выказать перед Государем удивительную степень благоденствия солдат-поселенцев, а в то же время и себе заслужить похвалу и награду, поселенное начальство поднималось на разные штуки. Читателям известны, я думаю, рассказы о жареных поросенке и гусе, переносимых, по задворкам, из дома в дом, по мере проезда Государя, так что, в какой бы дом царю ни вздумалось зайти, везде за обеденным столом хозяев красовался или гусь, или поросенок, свидетельствуя о довольстве, в каком живут солдаты-поселяне. Все это действительные факты, очень хорошо известные во всех военных поселениях и обычные до того, что никто и не думал придавать им какое-нибудь особенное значение: следовало представить свой товар, ну и представляли, разумеется, с казового конца; не показывать же было обыденных заплат и лохмотьев — ежедневные пустые щи и избитые спины *счастливых* поселян.

*Фурштатский* — имеющий отношение к военному обозу.

Учителя эти носили трехугольные шляпы.

# 423

*Дудитский-Лишин* Федор Васильевич (1802 — не ранее 1859) в 1822 г. выпущен из 1-го кадетского корпуса прапорщиком в гренадерский графа А. полк; подпоручик (1822), поручик (1826), с 1832 г. штабс-капитан в отставке. С 1839 г. вновь в службе поручиком, штаб-ротмистр (1843), с 1859 г. в отставке в чине ротмистра. Сведений о других офицерах не обнаружено.

# 424

*Великие Моголы* — династия правителей Могольской империи в Индии (XVI–XIX вв.); в переносном значении — символ ничем не ограниченной власти.

## 425

*Волынский* Михаил Михайлович (1761–1837) — генерал-майор в отставке, помещик Бежецкого уезда (ему принадлежало имение Борисовское), приятель А.

*Кампенгаузен* Балтазар Балтазарович (1772–1823) — барон; в 1811–1823 гг. государственный контролер, член Государственного совета, в июле — августе 1823 г. министр внутренних дел.

*Басоны* — позументы, галуны.

# 428

Павел Алексеев *Шишкин* сменил Ивана Дмитриева на посту бурмистра.

# 429

*Путятин* Василий Ефимович в 1792 г. поступил в Морской кадетский корпус кадетом, в 1795 г. произведен в мичманы; в 1801 г. прикомандирован к корпусу в ранге подпоручика, лейтенант в ранге поручика (1804), с 1805 г. в отставке; новгородский помещик, сосед А. См. выше фрагменты этих мемуаров.

# 431

В пересказе современника сохранились некоторые детали этой картины, не включенные мемуаристом в текст очерка: «Когда кто-то утешал Гриббе (у которого скончалась жена), говоря, будто он плачем своим ропщет на Бога, этот последний, служивший долго при Аракчееве, возразил, что он не граф Аракчеев, который, когда повар зарезал его любовницу, кричал во всеуслышание: «Соберите весь Синод из Петербурга, чтобы доказали мне, что есть Бог, и то я не поверю» <…> Этот Гриббе оставил записки об графе Аракчееве, которые читал иногда родным, и без слез не мог читать, как несправедливо и жестоко наказывали молодую девушку, сестру убийцы Настасьи, за которую дело стало, ибо Настасья до крови исщипала этой несчастной все лицо, а она пошла просить, рыдая, защиты у брата в кухне. Не говоря о самом поваре, дерзнувшем убить любовницу графа Аракчеева, невинную сестру его только потому, что по поводу ее стало дело, наказывал плетьми палач, привязав ремнем за горло к позорному столбу, и многих других били кнутом нещадно. Повар и сестра его были засечены до смерти, — так рассказывал Гриббе в своих записках» *(Хитрово В. И.* Замечания (Memoires de ma vie) // Отдел письменных источников Государственного исторического музея. Ф. 178. № 2. Л. 55–55 об).

# 432

Скот этот покупался в Архангельской губернии преимущественно известной холмогорской породы и обходился казне довольно дорого. (Прим. Гриббе)

Честность и бескорыстие самого Аракчеева не подлежат никакому сомнению: он берег казенную копейку, был очень скуп на нее и строго разграничивал свои собственные средства от казенных. Если он был богат, то этим богатством обязан исключительно щедротам своего царственного друга и той простоте и строгой бережливости, которые он ввел в свой образ жизни и домашнее хозяйство. Всякое плутовство и мошенничество, как только он узнавал о них, строго им преследовались; если же он относился довольно равнодушно к некоторым явлениям полковой экономии, то, кажется, единственно вследствие сознания, что при всем своем могуществе он бессилен искоренить это зло, вошедшее, по-видимому, в плоть и кровь служившего тогда люда. (Прим. Гриббе)

*Кордегардия* — караульное помещение.

# 435

Строка из басни И. А. Крылова «Волк и Ягненок».

*Батеньков* Гавриил Степанович (1793–1863) — подпоручик 13-й артиллерийской бригады (1813), с 1816 г. служил в Сибири по ведомству путей сообщения; обратил на себя внимание Сперанского, который, возвратившись из ссылки, устроил его назначение на должность правителя дел Сибирского комитета. В 1822 г. по рекомендации Сперанского (тот писал А. 22 ноября: «за Батенкова я смею ручаться, что он будет трудиться искренно и усердно» — *Дубровин.* С. 362) был представлен А. в Грузине, а в начале следующего года — откомандирован в Комиссию составления проекта учреждения военных поселений, подполковник (1824); в 1824–1825 гг. член Совета главного над военными поселениями начальника, старший член Комитета по отделениям военных кантонистов. В середине ноября П. А. Клейнмихель получил анонимный донос (т. н. «Записку об истинном и достоверном»), где подробно излагалось мнение Батенькова об убийстве Минкиной: «Тогда как все почти изумлялись и считали происшествие сие ужасным поступком, Батенков изъяснялся об нем в разных шутках, в разных насмешках и всегда в веселом духе. Прайда, что сие делал он неоткрыто <…> На сожаление и удивление, по сему страшному происшествию изъявляемое, говорил он: «Не нужно жалеть! вещи идут своим ходом. Несчастие невелико; впрочем, несчастие одних есть счастие для других <…> Стояние вещей в одном положении невыгодно — в обществе и вредно. Что за беда, что Настасьи не стало, и есть ли о чем жалеть?» В сем месте его разговора изъяснял он о покойной Настасье Федоровне разные нелепости, и столько распространялся в самых язвительных насмешках, что человеку благородно мыслящему невозможно слышать без досады, которая и во мне произошла к Батенкову, видя его в столь развратных, подлых и бессовестных мыслях. Потом, обратя разговор о графе, говорил: «Не беспокойтесь! Если случай сей расстроил графское здоровье и силы, то вместо графа Алексея Андреевича найдется другой граф Сидор Карпович, и при нем, может быть, и нам еще лучше будет. Например, — сказал он, — если таковой случай приблизит по-прежнему к Государю нашего хозяина (хозяином разумел Сперанского, у которого живет он, Батенков, и с ним привезенные из Сибири), то мы без сомнения не проиграли бы, а были бы весьма рады» (РС. 1882. № 10. С. 182–185). Об отношении А. к Батенькову см. рассуждения современника: «Всемогущий временщик, коему уже начали противеть поклонения придворных и их непроходимая низость,

полюбил умного, честного и прямодушного Батенькова <…> Дерзкий и грубый на службе, не терпевший противоречий, Аракчеев обходился с Батеньковым вежливо и ласково, выслушивал его возражения, не сердился на его противоречия, имел большую доверенность к его уму и способностям, доверенность безграничную к его честности и, гнуся по своей привычке, говаривал иногда: «Это мой (!!!) будущий министр (*Долгоруков П. В.* Петербургские очерки. М., 1992). В круг будущих декабристов Батеньков вошел через А. А. Бестужева и К. Ф. Рылеева, о котором впоследствии вспоминал: «Он видимо избегал сближения со мною, опасаясь моего положения, близкого при графе Аракчееве» (Русские пропилеи. М., 1916. Т. 2. С. 103; ср. ниже свидетельство Н. И. Греча). Арестован 28 декабря, осужден по III разряду в каторгу, но не отправлен в Сибирь, а заключен в одиночную камеру Алексеевского равелина; в 1846 г. переведен в Томск, в 1856 г. по общей амнистии получил свободу. Выдержки из следственных показаний Батенькова печатаются по изд.: Восстание декабристов. М., 1976. Т. XIV. С. 142–143; фрагменты автобиографических записей — по: Русские пропилеи. Т. 2. С. 106–108; отрывки из воспоминаний «Данные. Повесть собственной жизни» — по: РА. 1881. № 2. С. 274–275.

## 437

Имеется в виду Хосе Родригес Франсиа (1758–1840), государственный секретарь правительства Парагвая с 1811 г., после победы антииспанского восстания в Асунсьоне и провозглашения независимости страны. В 1813 г. был избран консулом, в 1814 г. верховным правителем страны на три года (с 1816 г. пожизненно). Проводил политику изоляционизма: запретил иностранцам доступ в страну и свел к минимуму внешнюю торговлю.

*Тимченко-Рубан* Иван Романович (р. 1814). Из малороссийских дворян. В 1819 г. умер его отец, поручик Преображенского полка, после чего матери пришлось хлопотать об определении детей на казенное обеспечение; в 1821 г. И. Тимченко-Рубан и его брат Степан (р. 1809) вынуждены были жить в семьях разных знакомых, ожидая зачисления в военно-учебные заведения. В 1822 г. они были отправлены из Петербурга в Харьковский кадетский корпус и по дороге оказались в Грузине, где в их судьбе принял участие А. После окончания Павловского кадетского корпуса Тимченко-Рубан служил там воспитателем (1839); с 1840 г. воспитатель в Полтавском кадетском корпусе; с 1865 г. командир кавказского линейного батальона. Отрывок из его мемуаров печатается по: ИВ. 1890. № 5. С. 343–347; № 6. С. 611–613.

## 439

Путешествие *на долгих* было дешевле, но занимало больше времени, чем езда на почтовых: лошадей на станциях не меняли, а давали им отдохнуть.

*Мина Иванович* — дворецкий в поместье Висленевых (о них см. примеч. 3 и 4).

# 441

*Висленев* Василий Никитич — коллежский асессор, предводитель дворянства Боровичского уезда; у него в имении, селе Любытино, в 1822 г. останавливались братья Тимченко-Рубаны.

Имеются в виду дочери Висленева, Ксения (в замуж. Мозовская; 1808–1831) и Наталия.

# 443

В грузинской усадьбе между собором и главным домом располагалось шесть флигелей.

В 1815–1816 гг. по проекту В. П. Стасова на берегу Волхова была взамен деревянной выстроена каменная пристань с башнями.

Это произошло в середине марта 1823 г.

# 446

*Михаил Павлович* (1798–1849) — великий князь, младший сын Павла I. С 1825 г. генерал-инспектор по инженерной части, с 1831 г. — главный начальник Пажеского и всех сухопутных кадетских корпусов.

# 447

*Арсеньев* Никита Васильевич (1774–1843) — в 1815–1828 гг. директор Военно-сиротского дома; генерал-майор (1816).

# 448

*Клингенберг* Карл Федорович (1772–1849) — выпускник Артиллерийского и инженерного кадетского корпуса (1788); полковник (1822); в 1828 г. в чине генерал-майора был назначен директором Павловского кадетского корпуса; в 1835–1849 гг. главный директор кадетских корпусов, присутствующий в Совете военно-учебных заведений. Сохранился ряд дружеских писем А. к жене Клингенберга Екатерине Федоровне за 1817–1823 гг. (с приписками Шумского и Минкиной): РО РНБ. Ф. 29. № 22.

# 449

*Крейц* (Крейтц) Киприан Антонович (1777–1850) — генерал-майор (1812); генерал от кавалерии (1831), командир 2-го пехотного корпуса (1831–1845).

*Бриммер* Владимир Карлович — в 1823–1825 гг. майор, в 1831 г. подполковник в Павловском кадетском корпусе (так с 1829 г. назывался Военно-сиротский дом).

# 451

Басаргин Николай Васильевич (1800–1861) — прапорщик по квартирмейстерской части (1819), с 1820 г. адъютант начальника Главного штаба 2-й армии П. Д. Киселева (в Тульчине); поручик (1821). Член Союза благоденствия и Южного общества; приговорен к каторжным работам, с 1836 г. на поселении; вернулся из Сибири по амнистии 1856 г. Мемуары завершены в 1856 г.; отрывок из них печатается по: *Басаргин Н. В.* Записки. Пг., 1917. С. 30–31.

Смотр начался 30 сентября 1823 г. в окрестностях Тульчина, завершился маневрами 4–5 октября. На следующий день император уехал из Тульчина в военные поселения.

# 453

*Киселев* Павел Дмитриевич (1788–1872) — с 1819 г. начальник Главного штаба 2-й армии, генерал-адъютант (1824), генерал от инфантерии (1834), в 1838–1856 гг. министр государственных имуществ, в 1856–1862 гг. — посол в Париже.

*Витт* Иван Осипович (1781–1840) — граф; полковник Кавалергардского полка (1801), генерал-майор (1812), с 1814 г. командир Украинской казачьей дивизии. В октябре 1817 г. ему было поручено формирование Бугской уланской дивизии (из казачьего войска), предназначенной для военных поселений в Херсонской губернии; генерал-лейтенант (1818), с 1823 г. командир 3-го резервного кавалерийского корпуса («за успехи в начальном устройстве военного поселения»), генерал от кавалерии (1829), инспектор всей поселенной кавалерии (1832–1838).

# 455

Маевский Сергей Иванович (1779–1848) вступил в службу в 1793 г.; полковник (1813), в 1813–1819 гг. командир 13-го егерского полка; генерал-майор (1819), с февраля 1824 по 1826 г. служил отрядным командиром Старорусского военного поселения; в отставке с начала 1840-х гг. Его деловая переписка с А. (весна 1824 — начало 1826 г.) опубликована в: *Граф Аракчеев.* С. 252–308. Мемуары Маевского были написаны в 1831 г., но окончательной отделке не подверглись. Отрывки из них печатаются по: РС. 1873. № 10. С. 427–442, 446–461; № 11. С. 754–755, 759–760, 768–769, 773–775, 777–781; пояснения, заключенные в прямые скобки, принадлежат публикаторам — Н.С. и С. С. Маевским.

Гр. Аракчеев всякий раз с удовольствием показывал мне Высочайшие повеления с выговорами графу Витту, говоря: «Ежели б Государь написал мне или тебе хотя один такой выговор, мы бы с тобой умерли с отчаяния. А вот — поляк — ему все ничего». Граф, рассыпая один раз остроту слов, сказал: «Я знаю, что вам хочется Вам хочется, чтоб граф Витт сел мне на голову, Угрюмов — на правое, а ты — на левое мое плечо. Нет, пока я служу, никогда этого не будет, а когда перестану служить, то можете это делать с другим, а не со мною». (Прим. Маевского).

*Угрюмов* Павел Алексеевич (1779–1852) — с 1816 г. командир 17-й пехотной дивизии, в 1821 г. генерал-майор, отрядный командир военных поселений Новгородской губернии; с 1824 г. командовал 1-й гренадерской дивизией. *(Не его ли фамилия заимствована Салтыковым-Щедриным для Угрюм-Бурчеева, в коем, как известно, воплощено немало Аракчеевских черт? — Константин Дегтярев)*

С этого времени я начал подозревать Дибича [в недоброжелательстве ко мне], и не без причины: он свел меня со сцены и обратил на грязную дорогу Балты и госпиталей. (Прим. Маевского) // В 1813 г., будучи старшим адъютантом Главного штаба, Маевский управлял общей военно-походной канцелярией императора; с этого времени Александр I благоволил ему, в особенности с началом его службы в военных поселениях. В 1826 г. Маевский был назначен окружным командиром 24 артиллерийских батальонов в Елисаветграде, а затем переведен в Крым и, наконец, в Балту (уездный город Подольской губернии).

*Храповицкий* Матвей Евграфович (1784–1847) — генерал-адъютант (1816), в 1818–1830 гг. командовал 3-й гренадерской дивизией; генерал от инфантерии (1831), петербургский военный губернатор (1846–1847).

# 459

*Сегюр Луи Филипп* (1753–1830) — посол Франции в России в 1785–1789 гг.; писатель. Приводимый пассаж опирается на впечатления Сегюра о том, как он представлялся Екатерине II по прибытии в Петербург *(Segur L.Ph. de.* Memoires, ou souvenirs et anecdotes. Paris, 1826. Vol. 2. P. 255–256; Записки графа Сегюра о пребывании его в России… СПб., 1865. С. 26–28).

# 460

*Сакен* (Остен-Сакен) Фабиан Вильгельмович (1752–1837) — князь (1832); генерал от инфантерии (1814), фельдмаршал (1826), в 1818–1835 гг. командовал 1-й армией; Маевский служил под его началом до перевода к А.

*Нециант* (от *лат.* nescians) — новичок, непосвященный.

# 462

Гог — князь враждебной Израилю страны Магог (Иез., XXXVIII–XXXIX; Откр., XX, 7).

*Гумми-ластика* — ластик.

# 464

*Тюрень* — Анри де ла Тур д'Овернь, виконт де Тюренн (1611–1675), маршал Франции (1643), знаменитый полководец. *(Не путает ли мемуарист Тюренна с Сидом? — Константин Дегтярев)*

# 465

*Княжной* (Княжнин) Александр Яковлевич (1771–1829) — полковник (1810), с 1811 г. бригадный начальник в 27-й пехотной дивизии; генерал-майор (1812), вице-директор инспекторского департамента Главного штаба (с 1816), член Совета Военного министерства (с 1823); генерал-лейтенант (1826).

После Бородинского сражения Маевский в течение нескольких месяцев заведовал походной канцелярией Кутузова.

*Пифагор* Самосский (ок. 570 — ок. 500 до н. э.) — древнегреческий мыслитель и политический деятель; протестуя против тирании Поликрата, покинул о. Самос и поселился в Кротоне (Южная Италия), основав там вместе с учениками общество, имевшее целью нравственное преобразование жизни.

# 468

Граф сюрпризами входил в офицерские комнаты. И горе тому, кого он заставал спящим или в беспорядке. (Прим. Маевского)

## 469

*Ромул* (763–716 до н. э.) — легендарный основатель Рима; в данном случае имеется в виду его беспощадность: в гневе он убил своего брата Рема.

Он даже не мог терпеть, чтоб записывать для памяти и простые его слова (Прим. Маевского)

*Самбурский* Иван Фомич (1776–1854) — с 1815 г. чиновник особых поручений при А.; статский советник (1816), с 1821 г. служил при Штабе военных поселений. М. М. Сперанский запомнил его как «доброго и способного работника» (*Дубровин.* С. 362).

## 472

По-видимому, имеется в виду коллежский асессор Козьма Иванович *Морковников,* в 1810-е гг. городничий в Крестцах, а в начале 1820-х гг. — правительственный агент в Новгородских военных поселениях (приказание ему «обратить бдительное и обдуманное внимание на приезжающих из Петербурга в ваш край» содержится в письме императора к А. от 4 марта 1824 г. — *Александр.* Т. 2. С. 645). Морковников заслужил следующий отзыв А. (в письме к Маевскому от 7 мая 1824): «Я его знаю очень давно, с очень хорошей стороны, и он доказал уже свое усердие к службе Государю» (цит. по. *Граф Аракчеев.* С. 266).

То есть ленту ордена Св. Андрея Первозванного.

*Уваров* Федор Петрович (1769–1824) — генерал-адъютант и генерал-майор (1799), генерал от кавалерии (1814), с 1821 г. командир гвардейского корпуса; на протяжении всего царствования Александра I входил в ближайшее окружение императора. А. имеет в виду книгу: *Бехтеев А. А.* Некрология Ф. П. Уварова. СПб., 1825. Об отношении А. к Ф. П. Уварову свидетельствует также следующий анекдот: «На похоронах Уварова покойный государь следовал за гробом. Аракчеев сказал громко (кажется, А. Орлову): «Один царь здесь его провожает, каково-то другой там его встретит?» (Уваров один из цареубийц 11-го марта)» *(Пушкин.* Т. 8. С. 30–31; дневниковая запись от 8 марта 1834 г.; см. ниже фрагмент «Старой записной книжки» П. А. Вяземского).

П. М. Волконский из-за столкновений с А. был вынужден оставить пост начальника Главного штаба. *Закревский* Арсений Андреевич (1786–1865) — граф (1830); генерал-майор, генерал-адъютант (1813), с 1815 г. дежурный генерал Главного штаба, генерал-лейтенант (1821); в 1823 г., также по интригам А., был удален из Главного штаба и назначен генерал-губернатором Финляндии. В 1828–1831 гг. министр внутренних дел, в 1848–1859 гг. — московский генерал-губернатор.

Меттерних-Виннебург Клеменс (1773–1859) — министр иностранных дел и фактический глава австрийского правительства в 1809–1821 гг.; канцлер (1821–1848). *Веллингтон* Артур Уэлсли (1769–1852) — английский фельдмаршал (1813); в войне против Наполеона командовал союзными войсками на Пиренейском полуострове (1808–1813) и англо-голландской армией в битве при Ватерлоо (1815).

# 477

На все дружеские вечера, куда приглашали графа, приглашали и меня. Имена приглашенных вносились в список швейцара, и лишний, хотя бы был друг дома, места не имел.

## 478

В субботу Светлой недели в православных храмах раздают освященный хлеб *(артос)* в память о праздничных братских трапезах первых христиан.

## 479

Имеется в виду Мария Алексеевна Маевская (урожд. Возницкая; ум. 1828), первая жена мемуариста.

О «фаворитном Ефимове» подробно рассказано в мемуарах А. К. Гриббе (см. выше).

# 481

15 мая 1824 г. А. уведомлял Маевского: «Я желал показать вашему превосходительству мое внимание к трудам вашим, а потому ныне исполнил приятное для меня дело, определив старшего вашего сына в пажи» *(Граф Аракчеев. С.* 269).

*Миних* Бурхард Христофор (1683–1767) — граф (1728); генерал-фельдмаршал (1732), во время войны с Турцией 1735–1739 гг. главнокомандующий Днепровской армией, численность которой составляла ок. 60 тыс. человек. *Румянцев* Петр Александрович (1725–1796) — граф (1744); генерал-фельдмаршал (1770), в Русско-турецкой войне 1768–1774 гг. командовал 2-й армией, насчитывавшей 35,5 тыс. человек. Таким образом, Маевский явно преувеличивает свои заслуги в приумножении числа военных поселян.

# 483

*Рылеев* Михаил Николаевич (1771–1833) — генерал-майор (1812), в 1820–1823 гг. бригадный командир поселенных батальонов 7-й, 8-й и 9-й пехотных дивизий; с 1824 г. — отрядный командир поселенных войск, расположенных в Могилевской губернии; генерал-лейтенант (1826), с 1829 г. комендант Новгорода. О его служебных провинностях сведений найти не удалось. Генерал-майор де Сен-Лоран (Десентлоран), бригадный командир вторых батальонов 4-й пехотной дивизии, в 1821 г. подвергался взысканию по следующему поводу. Состоявшие под его командованием батальоны прибыли с Украины в отряд поселенных войск Новгородской губернии; генерал-майор Угрюмое после инспекторского смотра нашел их состояние неудовлетворительным: «Оно заключает в себе неограниченные неисправности <…> в одежде и во всех частях, совершенное необразование <…> во фронтовой службе и многие претензии нижних чинов. Ни в одном баталионе пригонка амуниции не уровнена, ни один баталион не имеет порядочных чехлов на киверах; во всех они не годны, а Костромской баталион и вовсе их не сделал. — Одним словом, время двухлетнего пребывания сих баталионов в отряде Слободско-Украинской губернии совершенно потеряно». За подобную «непопечительность» Сен-Лоран получил от А. «строгий выговор в известность всего корпуса»; кроме того, было приказано не производить ему столовых денег до тех пор, пока в комитетах полкового управления не будут удовлетворены все претензии нижних чинов батальонов «в неполучении ими заработных денег за разные работы, произведенные ими в округах поселения Чугуевского и Таганрогского уланского полков» *(Приказы—1821;* 26 сентября; выплата столового содержания Сен-Лорану была возобновлена приказом от 10 ноября).

*Шкурин* Александр Сергеевич (1784 — не ранее 1846) — генерал-майор (1820); с 1824 г. бригадный командир третьих батальонов 1-го пехотного корпуса, в 1828–1829 гг. петербургский обер-полицмейстер; командир 3-й пехотной дивизии (1830–1837).

## 485

Ср. с другим воспоминанием, относящимся к более раннему времени: при входе русских войск в Париж в 1814 г. «самый лучший <…> из гренадерских полков Аракчеевский шел впереди» *(Петров М. М.* Рассказы старого воина об его службе // Москвитянин. 1843. № 6. С. 495).

*Аттенция* (от *фр.* attention) — внимание, тщательность.

Один день, говоря со мною о хозяйстве, вывел меня из кабинета к представлявшимся офицерам. Вот чем он начал: «Послушайте вашего генерала… Ежели бы я его слушал, то б пропали вы и все ваше поселение. Я знаю армейскую вашу привычку: вы все любите воровать и брать взятки; ты не возьмешь, так возьмет твоя жена» и т. д. Вот характер великого человека.

*Чеодаев* Михаил Иванович (ум. 1859) — генерал-майор (1821); с ноября 1824 г. на службе в отдельном корпусе военных поселений, в 1825 г. командовал 2-й поселенной бригадой 2-й гренадерской дивизии.

## 489

*Бонжурить* (от *фр.* bonjour — добрый день) — окказионализм А., означающий, видимо, «быть светским и любезным человеком».

*Каин* Иван Осипович (р. 1718) — московский вор, с 1741 г. — одновременно и доноситель Сыскного приказа.

## 491

*Штаб-офицеры* — военные чины 5–8-го классов (от полковника до майора); обер-офицеры — 9–14-го классов (от капитана до прапорщика). Ср. слова А. в письме к Маевскому: «<…> я не согласен с вами на производство в младшие штаб-офицеры капитанов, ибо в моем корпусе по воле Государя Императора принято единожды правило, что капитаны в майоры производятся не по старшинству, а только те, у которых поселенные роты придут в отличное положение, и после представления вашего оная рота будет мною лично осмотрена» *(Граф Аракчеев. С.* 295).

Церковь была освящена 17 мая 1825 г., в праздник Троицы.

*Аппробую* (от *фр.* approuver) — одобряю.

*Коровкин* Арсений Ермолаевич — генерал-майор (1818), бригадный генерал в Новгородских военных поселениях.

Замкнутый мир Грузина и окружающих его военных поселений приравнен здесь к Ватикану, представляющему собой государство в государстве.

С 1770 г. архиепископом (с 1783 — митрополитом) петербургским был Гавриил (Петров; 1730–1801).

## 497

Видимо, речь идет о Софье Павловне Гурьевой, знакомой семейства Аракчеевых (письма к ней от Андрея Андреевича-старшего и Андрея Андреевича-младшего за 1794–1795 и 1797 гг. см.: РО РНБ. Ф. 29. № 58), и о ком-то из ее троих сыновей — Григории, Павле или Василии Николаевичах.

То есть после возвращения из заграничного похода 1814 г.

# 499

Бессонов Иван Александрович (1811–1848) начал службу в 1827 г. канцеляристом в Калужском губернском правлении, служил в канцелярии Калужского гражданского губернатора (в 1829 г. — коллежский регистратор), в июне 1831 г. вышел в отставку «за болезнию»; в 1833 г. заседатель в Калужском совестном суде, с 1834 г. — губернский секретарь, в 1835–1839 гг. дворянский заседатель в Калужской палате гражданского суда (сведения о службе Бессонова приводятся по. ОР РГБ. Ф. 233. К. 7. № 9 (паспорт); К. 8. № 9 — послужной список). Был коротко знаком с известным библиофилом и библиографом С. Д. Полторацким, чье имение Авчурино находилось в Калужском уезде Калужской губернии; видимо, по настоянию последнего в сентябре 1844 г. Бессоновым и была записана серия устных новелл об А. В настоящем издании они публикуются (впервые полностью) по автографу: ОР РГБ. Ф. 233. Карт. 43. № 8. Л. 1–10. Фрагменты «Рассказов…» были использованы в сравнительно недавней биографии А. *(Томсинов В. А.* Временщик (А. А. Аракчеев). М., 1996).

# 500

*Франпарлерство* (от *фр.* parler franc) — вольные речи; болтовня.

# 501

*Ришелье* Арман Жан дю Плесси (1582–1642) — кардинал (1622), с 1624 г. первый министр при дворе Людовика XIII. Перед смертью указал на своего преемника— кардинала (с 1641) Джулио *Мазарини* (1602–1661). Во время Фронды (1648–1653) в Париже распространялись многочисленные анонимные памфлеты и сатиры на Мазарини (т. н. мазаринады).

# 502

На самом деле гравированные портреты А. были широко распространены. Известны два иконографических типа: 1) гравюра пунктиром Ф. Вендрамини с портрета работы неизвестного художника (исполнен ок. 1796 г.); 2) гравюра резцом Н. И. Уткина с оригинала И. Ф. Вагнера (1818); с этого же оригинала портрет А. гравировал в 1828 г. К. Афанасьев (подробнее см.: *Ровинский Д. А.* Подробный словарь русских гравированных портретов. СПб., 1886. Т. 1. Стб. 343–345).

## 503

Имеется в виду Александр I. Эта фраза вошла в российский культурный обиход после того, как стало в списках расходиться письмо императрицы Елизаветы Алексеевны к свекрови от 19 ноября 1825 г., первая фраза которого приобрела особенную известность: «Дорогая матушка! Наш ангел в небесах <…>» (текст письма см.: *Шильдер. Александр.* Т. 4. С. 386). Ср. также, например, воспоминание императрицы Александры Федоровны: «Мы называли его в наших интимных письмах попросту ангелом, а не императором» (Там же. С. 220).

## 504

То есть Аракчеев. *Аггел* (неверно прочитанное церковнославянское слово «аггелъ») — бес или сам сатана (ср.: «диаволъ и аггелы его», но «ангелъ господень»). Оппозиция «ангел/аггел» оформилась в XV в. См. также акростих в приложении.

Это произошло в начале сентября 1823 г.

## 506

Имеются в виду *заграничные* события конца 1810-х — начала 1820-х гг.: революции в Италии, Испании, Португалии, и *домашние:* бунт в Чугуевских военных поселениях (1819), неповиновение Семеновского полка в Петербурге (1820), деятельность Союза благоденствия (1818–1821), прошения об отставке, поданные в знак протеста В. С. Норовым и другими офицерами Егерского полка (все — 1822), и др.

# 507

В августе 1824 г. Александр I был проездом в Москве, направляясь в путешествие по восточным губерниям. *Александрийский дворец* в усадьбе Нескучное — бывший дворец Демидовых (заложен в 1756 г.), от них перешедший через Ф. Г. Орлова к А. Г. Орлову-Чесменскому и затем — к его дочери, а в 1832 г. вместе с усадьбой приобретенный Николаем I для императрицы Александры Федоровны (отсюда название). Ныне — здание Президиума РАН (Ленинский проспект, 14).

## 508

Отсылка к эпиграфу поэмы «Бахчисарайский фонтан» или к строфе LI восьмой главы «Евгения Онегина».

# 509

Окуривание комнат благовониями осуществлялось в ходе приготовлений к званому вечеру.

# 510

Дом П. В. Лопухина (№ 175 в Литейной части) находился на Литейном проспекте.

# 511

*Долгоруков* (Долгорукий) Илья Андреевич (1797–1848) — князь; юнкер лейб-гвардейской артиллерийской бригады (1813), с 1815 г. — подпоручик с назначением адъютантом к А.; в 1818 г. в его ведение перешли «дела поселенных войск по фронтовой части, как то: исчисление людей, рассылка приказов, производство и переводы, прошения об определении на службу, увольнения и пр.» *(Приказы-1818;* 28 сентября). Обращен в строй в 1819 г.; капитан (1823), полковник, адъютант великого князя Михаила Павловича (1825–1828). Член Союза спасения (с конца 1817) и Союза благоденствия, блюститель его Коренного совета. По свидетельству И. Д. Якушкина, Долгоруков, «служа при Аракчееве и имея возможность знать многие тайные распоряжения правительства и извещать о них своих товарищей, <…> тем самым был полезен Тайному обществу» (Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. М., 1951. С. 29–30). Привлекался к следствию о тайных обществах, но по высочайшему повелению его делу не был дан ход. С 1829 г. исправляющий должность начальника штаба великого князя Михаила Павловича по должности генерал-фельдцейхмейстера; генерал-лейтенант (1844), генерал-адъютант (1848).

## 512

Вицмундирные фраки — одежда статских чиновников; разные ее детали (цвет сукна, материал и цвет воротников и обшлагов, наличие и рисунок золотого или серебряного шитья) варьировались в зависимости от принадлежности к тому или иному ведомству. Замечание Бессонова справедливо — мундирные фраки получили распространение после 1826 г.

# 513

*Ремиз* — недобор установленного числа взяток в карточной игре.

# 514

Петербургский *Арсенал* — комплекс зданий для производства артиллерийского вооружения, хранения готовой продукции и артиллерийских запасов. Основан Петром I в 1711–1712 гг. как Литейный двор; к 1840-м гг. занимал обширный участок Литейного проспекта между Новой и Кирочной улицами и включал (помимо основных сооружений) административные здания, Техническую школу, Сергиевский всей артиллерии собор (возведен в 1796–1800 гг. по проекту Ф. И. Демерцова), жилые дома, казармы, лазареты, склады и др.

# 515

Тарасов Дмитрий Клементьевич (1792–1866) — сын священника; учился в петербургской Медико-хирургической академии. С 1818 г. батальонный лекарь в Преображенском полку, с 1819 г. — правитель дел канцелярии президента Медико-хирургической академии Я. В. Виллие; лейб-хирург Александра I. После его смерти — главный лекарь Артиллерийского госпиталя; в 1836–1846 гг. директор военно-медицинского департамента. Фрагменты его воспоминаний печатаются по: Император Александр I. Последние годы царствования, болезнь, кончина и погребение. Пг., 1915. С. 113–117, 193–194.

# 516

Александр I выехал из Царского Села в Грузине 24 июня 1824 г.

## 517

Речь идет о получении Александром I письма А. от 26 октября 1825 г. с подробным изложением обстоятельств смерти Минкиной («Описанием происшествия по смертоубийству…»); впервые император узнал о случившемся 22 сентября из письма А. с кратким известием о событии.

# 518

*Булгарин* Фаддей Бенедиктович (1789–1859) — писатель, журналист; в 1798–1806 гг. воспитывался в Сухопутном шляхтетном кадетском корпусе, выпущен корнетом в Уланский полк, участник кампании 1806–1807 гг. и Русско-шведской войны 1808–1809 гг.; с 1811 г. в отставке (подпоручик). Перебрался в Варшаву, затем в Париж, где вступил в армию Наполеона, воевал сначала в Испании, а потом в России, попал в плен в 1814 г. С 1819 г. жил в Петербурге. Издатель газеты «Северная пчела» (с 1825; совместно с Н. И. Гречем), журналов «Северный архив» (1822–1829, в 1829 г. слит с «Сыном отечества»), «Литературные листки» (1823–1824). В Грузине Булгарин был в августе 1824 г., по-видимому, в связи с хлопотами о разрешении издавать газету «Северная пчела». По слухам, ходившим среди петербургских литераторов, А. «не так-то милостиво принял Фадея. Он сделал ему неожиданный вопрос: для чего в 1812 или 1813 году служил он против России? — «Малешенек после батюшки остался», — отвечал Фадей с лицемерною харею. «Вот как худо оставаться без родителей, — сказал граф, обратясь к какому-то мальчику, — попадешь в дурное сообщество и забудешь самые священные обязанности!» (письмо А. Е. Измайлова к П. Л. Яковлеву от 5 ноября 1824 // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1978. Т. 8. С. 161–162; автор письма пересказывал слышанное им от П. П. Свиньина). Ср.: «С приезда Воейкова из Дерпта и с появления Булгарина литература наша совсем погибла. Подлец на подлеце подлеца погоняет. Ездят в Грузино, перебивают друг у друга случай сделать мерзость, алтынничают» (письмо А. А. Дельвига к А. С. Пушкину от 28 сентября 1824 г. // *Дельвиг А. А.* Соч. Л., 1986. С. 286). Мемуарный очерк Булгарина печатается по: Новоселье. СПб., 1846. Ч. 3. С. 211–220.

# 519

*Кусов* Николай Иванович (1780–1856) — в 1824–1833 гг. петербургский городской голова; один из директоров Российско-Американской компании (с 1824), действительный статский советник, коммерции советник.

То есть врага подхалимства и искательства (от *фр.* faire des courbettes — низкопоклонничать).

*Эспланада* — широкая улица с аллеями.

# 522

Имеется в виду яхта, подарок императора.

# 523

Мф., XXIII, 12.

# 524

*Сократ* (469–399 до н. э.) — афинский философ; был привлечен к суду «за введение новых божеств и развращение юношества» и приговорен к смерти. *Велисарий* (ок. 504–565) — византийский полководец; легенда о том, что он был ослеплен по приказу императора Юстиниана, недостоверна.

# 525

*Цицерон* Марк Туллий (106–43 гг. до н. э.) — римский политик, оратор и философ; прославился разоблачением заговора претора *Катилины* (ок. 108–62 гг. до н. э.).

Никифор и Андрей, сыновья Гаврилы Ивановича Корсакова, бежецкого соседа Аракчеевых, в 1780 г. были выпущены из корпуса (в чине инженер-прапорщиков) в землемеры межевой экспедиции Сената *(Ратч.* С. 9); первый в 1804 г. имел чин титулярного советника, второй — поручика.

То есть Павлу Петровичу.

## 528

Ср.: «Сад Грузинский славился чистотою. Дети крестьян таились в кустах; их обязанность состояла [в том, чтобы) подбирать листья, падающие с деревьев» (*Бороздин М.* Воспоминания // *Граф Аракчеев.* С. 23).

# 529

В 1821 г. В. П. Стасов установил вблизи собора подаренный А. императором бельведер с чугунными колоннами ионического ордера и надписью на фризе: «Царская награда подданному, 1820 года». В центре помещалась бронзовая статуя апостола Андрея, отлитая по модели И. П. Мартоса.

«Северная пчела» стала выходить с 1 января 1825 г.

# 531

«Отдел русской литературы в грузинской библиотеке был крайне беден и ограничивался Державиным, Фонвизиным, письмами («Письмами русского путешественника») Карамзина и сочинениями Булгарина <…> Литературы, особенно новой, он [А.] не любил, и когда его книжный поставщик купец Заикин прислал в Грузино в числе прочих книг «Цыган» и «Пленника» Пушкина, то граф отметил в счете: «Возвратить обратно»» *(Отто.* № 10. С. 167).

# 532

Греч Николай Иванович (1787–1867) — писатель, журналист; в 1800–1810-е гг. преподавал русский язык в частных пансионах и в Главном немецком училище, в 1813–1817 гг. — во 2-й гимназии; с 1812 г. издавал журнал «Сын отечества». В 1818 г. по настоянию А. был назначен в работавшую под председательством Е. К. Сиверса комиссию по введению ланкастерской системы взаимного обучения и составлению учебников для кантонистов; тогда же служил инспектором классов в Военно-учительском институте (см. выше воспоминания Ф. А. Пенкина); с 1819 г. директор училища для солдат гвардейского корпуса. С 1825 г. совместно с Ф. В. Булгариным издавал и редактировал газету «Северная пчела». «Воспоминания старика» написаны в 1855–1857 гг.; фрагменты печатаются по: *Греч Н. И.* Записки о моей жизни. М.; Л., 1930. С. 320–324, 364, 373–374, 383–386, 421–424, 443–444, 503–505, 551–561.

# 533

*Муравьев* Михаил Никитич (1757–1807) — известный поэт; с 1785 г. преподавал русскую словесность, русскую историю и нравственную философию великим князьям Александру и Константину. Тайный советник, сенатор (с 1800), по восшествии на престол Александра I — статс-секретарь у принятия прошений; с 1803 г. — товарищ министра народного просвещения и попечитель Московского университета.

*Строганов* Павел Александрович (1774–1817) — граф; с 1802 г. товарищ министра внутренних дел; вместе с А. Чарторыжским и Н. Н. Новосильцевым входил в начале 1800-х гг. в ближайшее окружение молодого императора — т. н. Негласный комитет, вел записи о его заседаниях. В 1805–1807 гг. на дипломатической службе; генерал-лейтенант (1812).

# 535

*Чарторыжский* (Чарторыйский) Адам Ежи (1770–1861) — польский князь; друг юности Александра I. Товарищ министра (1802–1804), затем министр иностранных дел (1804–1806); сенатор, член Государственного совета, попечитель Виленского учебного округа (1803–1824). Во время польского восстания 1830–1831 гг. глава Национального правительства.

*Новосильцев* Николай Николаевич (1761–1836) — граф (с 1835); в первые годы царствования Александра I составил проект учреждения министерств, ряд записок о правах и обязанностях Сената; с конца 1804 г., после размолвки с императором, выполнял преимущественно дипломатические поручения. Российский комиссар при правительстве Царства Польского (1815–1831); председатель Государственного совета и Комитета министров (с 1832).

*Долгорукий* Петр Петрович (1777–1806) — князь; генерал-майор, генерал-адъютант (1798). Один из ближайших сотрудников Александра I в делах внешней политики.

# 538

*Витовтов* Александр Александрович (1770–1840) — камергер (1802); в 1819 г. статс-секретарь Александра I, действительный статский советник.

# 539

*Салтыков* Михаил Александрович (1767–1851), уволенный Павлом I в конце 1796 г. в отставку с чином полковника, в апреле 1801 г. получил звание камергера и был определен «в ведение Коллегии иностранных дел. В 1812–1818 гг. попечитель Казанского университета; с 1828 г. сенатор, тайный советник.

Имеется в виду восстание декабристов.

# 541

*Погодин* Василий Васильевич (1790–1863) служил по комиссариатской части с 1806 г.; в 1820 г. начальник отделения в комиссариатском департаменте; управляющий 2-м отделением экономической части в штабе Отдельного корпуса военных поселений (1822–1826), генерал-интендант (1829).

*Попов* Василий Михайлович (1771–1842) — директор канцелярии Министерства внутренних дел, действительный статский советник (1811); с 1817 г, директор Департамента народного просвещения. Секретарь Санкт-Петербургского Библейского общества (с 1813), с 1816 г. участвовал в переводе Библии на русский язык. В 1824 г. в связи с делом об издании сочинения И. Госнера (см. ниже) Попов, как один из переводчиков книги, был отставлен от службы.

# 543

*Рунич* Дмитрий Павлович (1776–1860) — московский почт-директор (1812–1816), действительный статский советник (1816); член Главного правления училищ (1813–1826), с 1821 г. исправляющий должность попечителя, а затем попечитель Петербургского учебного округа (на этом посту организовал суд над заподозренными в вольномыслии четырьмя профессорами Петербургского университета). Уволен от службы в 1826 г. Его отзыв об А. и военных поселениях см.: РС. 1901, N? 3. С. 629–632. *Кавелин* Дмитрий Александрович (1778–1851) — в 1816 г. действительный статский советник, в конце года назначен директором Главного педагогического института (в 1819 г. преобразованного в Петербургский университет). Летом 1821 г. (после суда над профессорами) был отставлен от должности и до 1828 г. служил чиновником для особых поручений при рязанском генерал-губернаторе. Обер-прокурор 8-го департамента Сената (1829–1833).

# 544

Имеется в виду Комитет общественного спасения во главе с М. Робеспьером, образованный в 1794 г.

# 545

*Пальмин* Михаил Архипович (1783–1852) — с 1808 г. старший учитель латинского языка в петербургской губернской гимназии, с 1814 г. преподавал там же российскую словесность. В 1820 г. получил место экстраординарного профессора Казанского университета по кафедрам философии, дипломатики и политической экономии, с 1822 г. стал ординарным профессором. В 1823 г. отстранен от преподавания философии, в 1824 г. уволен из университета. В 1825–1832 гг. профессор философии в Петербургском университете.

*Никольский* Григорий Борисович (1785–1844) — в 1808 г. определен в Казанский университет магистром; адъюнкт математических наук (с 1811), с 1817 г. ординарный профессор по кафедре прикладной математики. В мае 1820 г. получил благодарность за «содействие делу обновления» университета согласно плану Магницкого, в июне был назначен ректором (занимал этот пост до 1823 г.); произнесенная им в 1821 г. актовая речь называлась «Слово о достоинстве и важности воспитания и просвещения, основанных на вере христианской» (см. отдельное изд. — Казань, 1821). В отставке с 1839 г.

# 547

См. в приложении «Сон в Грузине» М. Л. Магницкого.

*Серафим* (Степан Васильевич Глаголевский; 1763–1843) — с 1814 г. архиепископ тверской; митрополит московский (с 1819). митрополит петербургский (с 1821).

# 549

*Платон* (Левшин; 1737–1812) — историк церкви, духовный писатель; с 1759 г. префект, с 1761 г. — ректор Троицко-Лаврской семинарии; в 1762–1773 гг. придворный проповедник и законоучитель великого князя Павла Петровича, с 1775 г. архиепископ, с 1787 г, — митрополит московский.

*Гладков* Иван Васильевич (1766–1832) — генерал-майор (1800), окружной генерал 2-го округа внутренней стражи (1811–1812, 1815–1821); в 1821 г. получил чин генерал-лейтенанта и был назначен петербургским обер-полицеймей-стером; сенатор (1825). Его сестра — монахиня *Назарета* (Шванвичева), в 1807–1822 гг. игуменья Тверского Рождественского монастыря; с 1822 г. игуменья Московского Алексеевского монастыря, в 1830 г. уволена на покой.

# 551

*Нилова* (урожд. Бакунина) Прасковья Михайловна (ум. 1853) — двоюродная сестра Д. А. Державиной; с 1798 г. жена П. А. Нилова, чиновника Министерства юстиции, впоследствии действительного статского советника, казанского гражданского губернатора (1820–1826); после смерти *мужа* основала в Киеве девичий институт и в течение 16 лет была его начальницей.

# 552

Речь идет о сочинении лютеранского пастора из Баварии Иоганна Госнера (1773–1858; в Петербурге с 1820) «Geist des Lebens und der Letire Jesu Christ!», вышедшем несколькими изданиями в 1822–1823 гг. В 1823 г. цензурой был разрешен к печати русский перевод первой части этого труда («Дух жизни и учения Иисус Христова в Новом завете»), построенной на развернутых комментариях к Евангелию от Матфея. Трактовки Госнера вызвали негодование православного духовенства, тираж книги (печатавшейся в типографии Греча) был уничтожен. После разбора дела в Комитете министров в апреле 1824 г. Госнера выслали из России, а само дело, закончившееся лишь в 1828 г., стало поводом к отставке А. Н. Голицына и многих лиц из его окружения.

А. С. Шишков, которому был дан для заключения труд Госнера, составил свое мнение на основании вырванных из контекста фраз.

# 554

Эта поездка состоялась в конце июня.

## 555

Имеется в виду манифест об амнистии от 1 января 1826 г. (Полное собрание законов Российской империи. 2-е собрание. СПб., 1830. Т. 1. № 29).

# 556

В газете «Русский инвалид» от 7 мая 1826 г. (№ 107) был напечатан «Отчет, представленный главным над военными поселениями начальником Его Императорскому Величеству, о наличном денежном капитале военных поселений, состоящем по ведомостям к 1-му марта 1826-го г.».

## 557

Петербургский Английский клуб находился у Красного моста, в доме купца Таля на Гороховой улице, казенный дом Министерства духовных дел н народного просвещения, где жили братья Тургеневы, — на Фонтанке напротив Михайловского замка (современный адрес — набережная Фонтанки, 20).

*Уткин* Николай Иванович (1780–1863) — воспитанник Академии художеств, с 1814 г. академик.

# 559

*Тургенев* Николай Иванович (1789–1871) с 1812 г. служил в Комиссии составления законов, помощник статс-секретаря Государственного совета (с 1816), с 1819 г., оставаясь в этой должности, управлял 3-м отделением канцелярии Министерства финансов. В августе 1823 г. просил императора по состоянию здоровья назначить его на другую должность (на пост русского генерального консула в Лондоне). Через несколько дней Тургенев был приглашен к А., который передал ему лестные слова Александра I о том, что его «услуги необходимы в Государственном совете», и просьбу остаться на прежней должности. Тургенев записывал в дневнике: «Он [А.] принял меня отменно ласково; говорил, что консульской ваканции <…> нет, что *я полезен в* Совете, что Г[осударь] знает мой *ум,* что я русский, что надобно служить в России. Коснулось и до мнений. И тут гр. Ар[акчеев] сказал: «Мало ли что кто прежде думал, и самому иногда смешно, как вспомнишь о том, что думал прежде». <…> Между прочим гр. Ар[акчеев] (я подчеркиваю слова его, ибо сам бы не мог их о себе сказать) сказал мне:«Г[осударь] знает ваши нужды. Пенсия, к которой вы представлены, будет; сверх того Г[осударь] велел спросить, чего вы еще желаете; он согласен сделать *пожертвование».* Я отвечал, что мне ничего не нужно; что я и того не смел надеяться. <…> Наконец, при выходе моем Ар[акчеев] сказал: «Я рад, что с вами познакомился», или что-то такое. «Я давно уже этого желал и очень рад, что нашел вас не таким, как о вас говорят». — Фразы гр. Ар[акчеева] меня прельстить не могут. <…> Но за ласку его я не могу не быть благодарным» (Архив братьев Тургеневых. Пг, 1921. Вып. 5. С. 353; запись от 11 августа 1823 г.). В марте следующего года Тургенев просил об отпуске и вновь был принят А., сообщившим ему о предоставлении бессрочного отпуска (с сохранением жалованья и оплатой путевых издержек) для лечения за границей и о производстве в чин действительного статского советника. Эти знаки монаршего внимания и встречи открыто фрондировавшего Тургенева с А. вызывали иронию современников; ощущая неловкость ситуации, он в позднейших мемуарах стремился задним числом дистанцироваться от А.; см.: *Тургенев И. И.* Россия и русские. М., 1915. С. 123–124.

# 560

В 1822–1825 гг. Батеньков жил сначала в бельэтаже дома Армянской церкви (дом Лазарева; ныне: Невский проспект, 42), затем в дворовом флигеле того же дома. Результат его египтологических занятий — книга «О египетских письменах» (напечатана в типографии Н. И. Греча в 1824 г.; отдельному изданию предшествовал цикл статей в журнале «Сын отечества» — 1824. № 28–30, 32–35).

# 561

*Прокофьев* Иван Васильевич (ум. 1845) — с 1820 г. и до кончины один из директоров главного правления Российско-Американской компании; жил в доме Компании на набережной Мойки. 72.

Погребение М. А. Милорадовича состоялось 21 декабря 1825 г. в Александре-Невской лавре.

# 563

То есть из канцелярии Сибирского комитета. Помимо Батенькова там служили С.Т Аргамаков и К. Г. Репинский.

# 564

*Костенецкий* Василий Григорьевич (1769 или 1772–1831) — воспитанник Артиллерийского и инженерного кадетского корпуса, в 1786 г. выпушен штык-юнкером во 2-й карабинерный полк; в 1798 г. переведен в гвардейский артиллерийский батальон, с 1803 г. командир конной гвардейской артиллерии. Генерал-майор (1808), в 1812 г. начальник артиллерии 1-й армии; генерал-лейтенант (1826).

# 565

Это произошло не в 1798-м, а в 1797 г.

*Пален* Петр Алексеевич фон дер (1745–1826) — барон, с 1799 г. граф; генерал от кавалерии (1798), петербургский военный губернатор (1798–1801), один из организаторов заговора против Павла I и дворцового переворота 1801 г.

## 567

Об этом см. примеч. 24 к «Автобиографической записке» В. Р. Марченко.

*Балашов* Александр Дмитриевич (1770–1837) — генерал-майор (1799), в 1804–1807 гг. московский, в 1808–1809 гг. — петербургский полицмейстер; генерал-адъютант (1809), член Государственного совета (с 1810), в 1810–1819 гг, министр полиции. История отъезда Александра 1 из Дрисского лагеря в Москву в начале июля 1812 г. подробно рассказана в мемуарах А. С. Шишкова, который пишет, что мысль обратиться к государю с просьбой оставить армию принадлежала ему. Шишковым же было сочинена письмо, подписанное Балашовым и А. и переданное последним императору (см: *Шишков А. С.* Записки, мнения и переписка. Берлин, 1870. Т. 1. С. 139–149; здесь же текст письма к Александру от 30 июня 1812 г.). В изложении генерал-адъютанта Е. Ф. Комаровского, также находившегося в то время при главной квартире, возникает дополнительный штрих, отсутствующий в воспоминаниях Шишкова, — нежелание А. присоединяться к двум другим «подписантам»: «Граф Мишо служил тогда полковником в свите Его Величества; он составил записку о бедственном положении армии и предлагал, чтобы немедленно оставить лагерь и идти по левому берегу Десны к Полоцку. Сия записка через князя Волконского представлена была Государю; учрежден был совет, чтобы рассмотреть мнение графа Мишо. При Государе находился комитет для отправления государственных дел, состоящий из графа Аракчеева, Шишкова, государственного секретаря, и Балашова. Совет согласился с мнением графа Мишо, и отступление армии было решено <…> Шишков и Балашев, с которыми я жил вместе, сказывали мне, что решено сделать воззвание к Москве и ко всей России, чтобы собрать добровольное ополчение, что они насилу могли убедить графа Аракчеева, чтобы он упросил Государя оставить армию, а самому Императору ехать в Москву, где присутствие Его Величества произведет большое действие в сию критическую минуту. Когда Шишков и Балашев предлагали графу Аракчееву, что необходимо нужно Государю, в теперешнем ее положении, оставить армию и ехать в Москву, и что сие одно средство, чтобы спасти отечество, — граф Аракчеев возразил на сие: «Что мне до отечества! Скажите мне, не в опасности ли Государь, оставаясь при армии». Они ему отвечали: «Конечно, ибо если Наполеон атакует нашу армию и разобьет ее, что тогда будет с Государем?» Сие заставило Аракчеева идти к Государю и упросить Его Величество на отъезд из армии. Можно сказать, что душа и чувства графа Аракчеева, совершенного царедворца, были чужды

любви к отечеству» (*Кемеровский Е. Ф.* Записки. СПб., 1914. С. 193–194).

# 569

Ошибка: комендант Чугуева (назначен в августе 1819 г.) Федор Андреевич *Салов* в описываемое время состоял в чине полковника; его производство в генерал-майоры (с назначением командиром первой бригады 2-й Уланской дивизии) состоялось позже. Донесение Салова А. об обстановке в городе после усмирения бунта см.: *Верещагин ГЛ.* Материалы по истории бунтов в военных поселениях при Александре I // Дела и дни, 1922, Кн. 3, С, 164–165,

## 570

Ср. другой вариант этой сатиры: «Блажен, кто никогда в актрису не влюблялся, / Чрез Пукаловых кто фортуны не искал» (РС. 1897. № 10. С. 36).

# 571

*Пестель* Иван Борисович (1765–1843) — в 1806–1819 гг. генерал-губернатор Сибири; с 1808 г. исполнял свою должность, живя в столице; с 1822 г. в отставке. Ср. уточнение того же мемуариста: «Жил он на Фонтанке насупротив Михайловского замка, на одном крыльце с Пукаловою, любовницею Аракчеева, и чрез нее держался у него в милости» *(Греч Н. И.* Указ. соч. С. 436–437; в письме к И. А. Пукалову от 12 апреля 1814 г. А. просит передать «почтенному Ивану Борисьевичу мое почтение»— РА. 1891. № 1. С. 139). В 1812 г. А, наводил справки о судьбе Павла Пестеля, тяжело раненного в Бородинском сражении. «При этом именно случае научился я ценить Аракчеева. Это — достойный человек, которого так мало знают, потому что он, в сущности, добрый и чувствительный, и я привязан к нему от всего моего сердца, принося ему живейшую признательность за то внимание, которое он оказал мне при сем случае» (письмо И. Б. Пестеля к сыну от 10 сентября 1812 г. // Красный архив. 1926. Т. 3 (16). С. 172–173).

Греч преподавал в Петровской школе в 1809–1813 гг.; успехами пансионера Шумского он не был доволен. См., например, его письмо к А. (1811): «Я усомнился отпустить Мишеньку сегодня домой, потому что он, в течение сей недели, вел себя нехорошо: лгал, писал худо и шалил в классах, за что и был наказан» (цит. по: *Отто*. № 3. С. 295).

## 573

П. М. Дараган называет другую фамилию, под которой жил воспитанник А. до приобретения дворянства: «Между моими воспоминаниями о нашем житье-бытье в Пажеском корпусе я считаю не лишним упомянуть и о посещениях корпуса графом Аракчеевым Эти посещения были вызываемы нахождением в корпусе Шумского, поступившего в пажи как родственник Аракчеева, хотя — когда мы находились с ним вместе в пансионе Коленса — он назывался Федоровым. Аракчеев часто приезжал в корпус по вечерам; молчаливый и угрюмый, он приходил прямо к кровати Шумского, садился и несколько минут разговаривал с ним. Не очень-то любил Шумский эти посещения» (*Дараган П. М.* Воспоминания первого камер-пажа великой княгини Александры Федоровны // РС. 1875, № 4. С. 781).

На самом деле все ограничилось тем, что надгробная доска «была опущена ниже пола и закрыта чугунной плитой, но ее можно было подымать, и тут видны были три засохшие букета» (*Языков.* Стб, 1476; ср. выше мемуары И. И. Европеуса).

## 575

Имеется в виду торжество, состоявшееся 22 апреля 1834 г., в день Пасхи, Великий князь Александр Николаевич (1817–1881; с 1855 г. император Александр II), достигший совершеннолетия (ему исполнилось 17 лет), приносил двойную присягу: сначала в качестве наследника (в церкви Зимнего дворца), затем в звании военнослужащего (в Георгиевском зале).

*Абакумов* Андрей Иванович (1772–1841) — в 1816–1827 гг. генерал-провиантмейстер Главного штаба и директор Провиантского департамента Военного министерства.

# 577

Свиязев Иван Иванович (1797–1875) родился в семье дворовых княгини Шаховской; учился в Академии художеств (1814–1817), затем был домашним архитектором у своей владелицы. Отпущен на волю в 1821 г.; с марта 1822 г. архитектор Горного управления в Перми; с 1825 г. на службе в Новгородских военных поселениях, где провел лишь несколько месяцев, в 1826–1836 гг. снова архитектор Горного управления. В течение многих лет преподавал горнозаводскую архитектуру в Горном институте; в конце жизни — тайный советник. Извлечения из его воспоминаний печатаются по: РС. 1871. № 11 с. 551–561

## 578

Имеется в виду облицовка стен камнем с грубо отесанной или выпуклой поверхностью.

## 579

Имеется в виду Свиязева Таисия Максимовна (ум. 1869).

Так как связь моя ничем не отличалась от ломов поселян, то нередко в ночное время будили меня легким стуком в окно. Я отсылал к соседу, который секретно продавая запрещенный в поселения «товар» — вино. (Прим. Свиязева)

# 581

*Шварц* Федор Ефимович (ум. ок. 1869) участвовал в войнах 1Я08 и 1812–1814 гг., в марте 1820 г. из полковников лейб-гвардии Гренадерского полка был переведен в лейб-гвардии Семеновский полк, а в апреле назначен его командиром. Следствием его жестокого обращения с солдатами явилось возмущение полка 16–18 октября 1820 г. Полк был раскассирован, Шварц в сентябре 1821 г. отставлен с запрещением вступать в военную службу, однако в 1823–1825 гг. служил в Отдельном корпусе военных поселений

## 582

Речь идет о компилятивной публикации «Убийство любовницы графа Аракчеева Настасьи Шумской. (РС. 1871. № 9. С. 262–294). Публикацию материалов дела по подлиннику см.: Река времен. М., 1996. Кн. V, С. 135–173.

## 583

Отсылка к известному диалогу императора Веспасиана (9–79) с сыном, изложенному Светонием (Жизнь двенадцати цезарей. Кн. 8, 23, 3).

*Красовский* Яков Петрович — в 1831 г. подполковник 2-й полевой артиллерийской бригады, дежурный штаб-офицер Главного штаба е. и. в. по военному поселению.

# 585

То есть не вырвал из его руки своей (Прим. Свиязева)

# 586

С 27 ноября по 13 декабря 1825 г. формально императором был Константин Павлович.

## 587

Имеются в виду декабристы братья *Бестужевы:* Николай (1791–1855) — в 1825 г. капитан-лейтенант 8-го флотского экипажа, прозаик, художник; Александр (1797–1837) — в 1825 г. штабс-капитан, писатель (печатался под псевдонимом Марлинский); Михаил (1800–1871) — в 1825 г. штабс-капитан гвардейского Московского полка; Петр (1804–1840) — мичман 27-го флотского экипажа. Старшие братья были осуждены в каторгу на разные сроки, младший — разжалован в солдаты с высылкой в дальний гарнизон.

# 588

*Кованько* Иван Афанасьевич (1774 или 1775–1830) — в 1806 г. начальник 1-го отделения Горного департамента, с 1811 г. правитель канцелярии Департамента горных и соляных дел, с 1812 г. — начальник 2-го отделения того же департамента.

# 589

По высочайшему повелению от марта 1822 г офицеры, выходившие в отставку из войск отдельного корпуса военных поселений, могли вновь вступить на службу только в этот корпус; высочайше утвержденный 4 июля доклад А. окончательно закреплял это правило, делая исключение лишь для тех, кто оставил службу по болезни и при этом имел хорошие аттестации начальства (Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 40. № 30413).

# 590

Шервуд Иван Васильевич (1798–1867) — в 1819–1825 гг. унтер-офицер 3-го Украинского уланского полка, входившего в корпус военных поселений и расквартированного в Миргороде (Херсонская губерния). В 1825 г., узнав о существовании тайного общества, Шервуд вошел в доверие к Ф. Ф. Вадковскому и вскоре через Я. В. Виллие отправил донос Александру I, 12 июля 1825 г. был доставлен фельдъегерем к А. в Грузине и добился личной встречи с императором. По возвращении в полк был принят Вадковским в Южное общество, узнал его программу, состав и задачи и обо всем донес А. В январе 1826 г. переведен прапорщиком в лейб-гвардейский Драгунский полк и «в ознаменование <…> признательности к отличному подвигу» (указ Николая 1 Сенату от 1 апреля 1826 г.) получил разрешение именоваться Шервуд-Верный; к 1833 г. дослужился до полковника. Впоследствии за ложный донос содержался в Шлиссельбургской крепости (1844–1851) и потом вплоть до 1856 г. состоял под секретным надзором. Отрывок из мемуаров Шервуда, написанных в 1860-е гг., печатается по: ИВ. 1896. № 1. С. 74–76, 80–83 (в журнале текст имеет название, данное публикатором Н. К. Шильдером: «Исповедь Шервуда — Верн ого»).

# 591

13 июля 1825 г. А. писал Александру I о Шервуде: «<…> он имеет дело донести Вашему Величеству касающееся до армии, а не до поселенных войск, состоящее будто в каком-то заговоре, которое он не намерен никому более открыть, как лично Вашему Величеству. Я его более и не спрашивал, потому что он не желает оного мне открыть, да и дело не касается до военного поселения, а потому и отправил его в С.-Петербург к начальнику штаба, генерал-майору Клейнмихелю с тем, чтоб он его содержал у себя в доме и никуда не выпускал, пока Ваше Величество изволите приказать, куда его представить» (цит. по: *Богданович М. И.* История царствования Императора Александра I. СПб., 1871. Т. 6. С. 129–130); 17 июля Шервуд получил высочайшую аудиенцию.

# 592

Г. С. Батеньков в 1825 г. состоял в чине подполковника. Его внимание к Шервуду не связано с участием в заговоре, поскольку в описываемое время Батеньков еще не вступил в Северное общество.

# 593

Причиной своей поездки в Петербург Шервуд называл дело кирасирского поручика Сивиниса, который обманом получил от богатого московского грека Зосимы значительную сумму денег; в этой истории был замешан знакомый Шервуда, некто Кириаков.

*Чичероне* — проводник, гид *(ит.)*.

# 595

В предписании А. начальнику над южными поселениями И. О. Витту (от 3 августа 1825 г.) значилось: <…> унтер-офицер Шервуд, который прислан вашим сиятельством ко мне <…> был истребован сюда по подозрению в участии с офицером Сивинис при похищении сим последним разных вещей и денег у одного грека в Москве, но Шервуд оказался невинным, и при сем случае он просил об увольнении его в отпуск на год — для приведения в порядок расстроенного состояния отца его. Просьбу сию я доводил до сведения Государя Императора, и Его Величество, зная лично отца Шервуда, Всемилостивейше соизволил на его просьбу. Объявляя вам, генерал, таковую Монаршую волю и прилагая при сем пашпорт унтер-офицеру Шервуду, предписываю вручить ему оный и считать его в дозволенном отпуску» (цит. по: *Троцкий И. М.* III-е отделение при Николае I. Л., 1990. С. 132).

*Вадковский* Федор Федорович (1800–1844) — с 1822 г. корнет Кавалергардского полка, в 1824 г. «за неприличное поведение» (сочинение сатирической песни на императора) был переведен в Нежинский конно-егерский полк с переименованием в прапорщики. Член Южного общества (1823); арестован 9 декабря 1825 г., осужден в каторжную работу навечно с последующей конфирмацией.

# 597

Сербинович Константин Степанович (1796–1874) — историк, сотрудник Карамзина в работе над «Историей государства Российского»; в 1818–1824 гг. служил в Департаменте духовных дел иностранных исповеданий под началом А. И. Тургенева, с 1824 г. — чиновник для особых поручений при министре народного просвещения А. С. Шишкове, в 1826–1830 гг. — цензор, в 1833–1855 гг. — редактор «Журнала Министерства народного просвещения». После смерти А. по поручению императора составил описание грузинского архива, на которое затем опиралась в своей работе учрежденная в июне 1834 г. комиссия для разбора библиотеки и бумаг А. Фрагмент мемуаров Сербиновича, в основу которых легли дневниковые записи, печатается по: РС. 1874. № 10. С. 247–248, 250.

Видимо, А. знакомил Карамзина с промежуточными вариантам» этой брошюры: еще 13 марта 1824 г. он прислал историку «нескладное наше военное сочинение о тех делах, которые ныне производятся по собственному распоряжению нашего всемилостивейшего Государя Императора» (не исключено, что здесь речь идет еще не о тексте Сперанского). В ответном письме Карамзин благодарил «за лестный <…> подарок», без которого трудно составить «удовлетворительное, основательное понятие об одном из важнейших учреждений нынешнего славного для России царствования» (*Дубровин. С.* 380).

# 599

9 июля Карамзин писал А.: «Пользуясь милостивым дозволением вашего сиятельства, покорнейше прошу о приказании известить меня, могу ли на следующей неделе видеть военные поселения и принести вам в Грузине искреннейшую за то благодарность? Не будучи военным человеком, желаю только взглянуть на людей, здания, хозяйство, школы, поля, работы, дороги. Довольно, если какой-нибудь унтер-офицер в одном из главных селений будет дня на два моим указателем или проводником. Я так плох здоровьем, что не смею надолго отлучаться из дома» (*Дубровин. С.* 445–446). На это А. отвечал: «<…> Желание мое показать вашему превосходительству самому военные поселения; то я и прошу вас пожаловать ко мне в Грузине в будущий четверг, то есть 16 числа июля к обеду откушать у меня деревенского хлеба-соли, а после обеда мы отправимся вместе с вами в военное поселение. Я бы просил вас <…> и в первые дни будущей недели, но чувствуя себя не очень здоровым, то и надеюсь к 16 числу оправиться» (цит. по; *Погодин МЛ.* Н. М. Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников. М., 1866. Ч. 2. С. 355). По возвращении из Грузина историк сообщал И. И. Дмитриеву: «И я, домосед, путешествовал; даже и плавал! ездил смотреть военные поселения для себя, а в Петергоф для дочерей — но все плох здоровьем. Зная милостивое расположение ко мне Государя, граф Аракчеев угостил меня с ласкою необыкновенною. Поселения удивительны во многих отношениях. Там, где за восемь лет были непроходимые болота, видишь сады и города. Но *русский путешественник* уже стар и ленив на описания» (Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 400–401; письмо от 31 июля).

# 600

Фишер Константин Иванович (1805–1868) начал службу в 1823 г. в канцелярии Министерства финансов; с 1828 г. в канцелярии начальника Морского штаба, с 1836 г. — управляющий собственной канцелярией генерал-губернатора Финляндии; директор Департамента железных дорог (с 1842), сенатор (1856). Воспоминания написаны в 1860-х гг., отрывок из них печатается по: ИВ. 1908. № 5. С. 457–458, 464.

# 601

*Самсон* — скульптура работы М. И. Козловского для Большого каскада в Петергофе (1800–1802).

# 602

*Мария Федоровна* (София Доротея Августа Луиза; 1759–1828) — принцесса Вюртембергская; с 1776 г. жена великого князя Павла Петровича, с 1796 г — российская императрица.

# 603

«Идем отсюда» *(фр.)*.

в коротких, застегивающихся под коленом штанах *(фр.)* — обязательном компоненте мужского придворного костюма.

*Ольденборгер* Федор Федорович (1790–1873) — в 1831 г. надворный советник, управляющий архивом и типографией при Главном штабе е. и. в. по военному поселению; впоследствии тайный советник.

# 606

*Булдаков* Николай Михайлович (1802–1849) служил в Департаменте мануфактур и внутренней торговли; в 1843–1848 гг. — симбирский гражданский губернатор.

*Компликация* (от *фр,* complication) — сложный случай, затруднение.

## 608

Имеется в виду Клеопатра Петровна Клейнмихель (1811–1865), бывшая в первом браке за штабс-ротмистром Хорватом; статс-дама.

# 609

«Скажи мне, с кем ты знаком, и я скажу, кто ты» *(фр.)*

# 610

Герцен Александр Иванович (1812–1870) в 1841–1842 гг. служил советником Новгородского губернского правления. Отрывок из гл. XXVII «Былого и дум» печатается по; *Герцен А. И.* Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 9. С. 86–89. Аракчеев фигурирует также в примечании к гл. III, где Герцен приводит анекдот о А. Ф. Лабзине, услышанный им в Вятке от архитектора А. Л. Витберга: «Президент Академии (художеств] предложил в почетные члены Аракчеева. Лабзин спросил, в чем состоят заслуги графа в отношении к искусствам? Президент не нашелся и отвечал, что Аракчеев— «самый близкий человек к Государю». — «Если эта причина достаточна, то я предлагаю кучера Илью Байкова, — заметил секретарь, — он не только близок к Государю, но сидит перед ним». Лабзин был мистик и издатель «Сионского вестника»; сам Александр был такой же мистик, но с падением министерства Голицына отдал головой Аракчееву своих прежних «братий во Христе и внутреннем человеке». Лабзина сослали в Симбирск» (Там же. Т, 8. С. 57–58). Из «первичных» свидетельств об этой истории, имевшей место осенью 1822 г. — см. официальную объяснительную записку А. Н. Оленина петербургскому генерал-губернатору М. А. Милорадовичу (РС. 1875. № 10. С. 293–294) и мемуары С. А. Лайкевич, воспитанницы Лабзиных (РС. 1905. № 10. С. 185), — следует, что предметом конфликта была кандидатура не Аракчеева, а В. П. Кочубея. Сопоставление многочисленных рассказов об этой истории (вариант Н. В. Сушкова см.: ВЕ. 1867. № 6. С. 177, митрополита Филарета. РА. 1888. Кн. 3. С. 586, А. Л. Витберга — РС. 1872. № 4. С. 549–550) демонстрирует, что Аракчеев оказывается в центре повествования по мере сглаживания нюансов, т. е. убывания достоверности.

# 611

Аракчеев положил, кажется, 100 000 рублей в ломбард для выдачи через сто лет с процентами тому, кто напишет лучшую историю Александра I (прим. Герцена). // 2 апреля 1833 г. А. внес в Государственный Заемный банк 50 тысяч рублей ассигнациями «с тем, чтобы сия сумма оставалась в оном девяносто три года неприкосновенной со всеми приращаемыми на оную в продолжение сего времени процентами, без малейшего ущерба и изъятия». В начале 1915 г. «Российский государственный банк <…> и Российская академия словесных наук обязаны вновь публиковать сие <…> завещательное распоряжение». На сочинение истории отводилось десять лет; по их истечении (к 1 января 1925 г.) сочинители обязаны были прислать свои труды в Академию, которой в течение 1925 г. вменялось в обязанность рассматривать представленное. Премия, составлявшая три четверти капитала (с накопившимися процентами), должна была присуждаться «не в другой какой день, а непременно 12-го декабря. 1926 г., оставшаяся четверть отводилась для роскошного («в самом лучшем виде») и дешевого (тиражом 10 тысяч экземпляров) изданий «удовлетворительнейшей истории», для награждения еще одного труда (признанного жюри вторым) и для гонорара переводчикам сочинения-лауреата на немецкий и французский языки (завещание цит. по: Сборник сведений о премиях и наградах, раздаваемых Императорскою Академиею наук. СПб., 1896. С.58–59).

*Фухтель* — вид наказания: удар саблей плашмя.

## 613

Ошибка; эпиграмма Пушкина «Холоп венчанного солдата…» (1818) направлена против А. С. Стурдзы.

## 614

Имеется в виду Фридрих Вильгельм I (1688–1740) — прусский король с 1713 г.

# 615

Аракчеев был жалкий трус, об этом говорит граф Толь в своих «Записках» и статс-секретарь Марченко в небольшом рассказе о 14 декабре, помещенном в «Полярной звезде». Я слышал о том, как он прятался во время старорусского восстания и как был без души от страха, от инженерского генерала Рейхеля. (прим. Герцена) // Неточность: этот текст был впервые опубликован Герценом в 1859 г. в 1-м выпуске «Исторического сборника Вольной русской типографии в Лондоне»; в настоящем издании он помещен на с. 82–84.

## 616

Искаженная цитата из письма императора к А. от 22 сентября 1825 г. (точный текст: «Приезжай ко мне: у тебя нет друга, который бы тебя искреннее любил. Место здесь уединенное, будешь здесь жить, как ты сам расположишь. Беседа же с другом, разделяющим твою скорбь, несколько ее смягчит» — *Александр.* Т. 2. С. 660).

# 617

*Попов* Стахий Ефимович — в 1841 г. коллежский асессор, советник Новгородского губернского правления.

## 618

Имеется в виду попытка заседателя уголовной палаты А. Мусина-Пушкина и земского исправника Лялина напомнить о положении закона, согласно которому беременные женщины не могли подвергаться наказанию кнутом (у Герцена ошибочно — розгами). Дарья Константинова, о которой идет речь, была приговорена к 95 ударам, перенесла наказание и была сослана в Сибирь.

## 619

Чрезвычайно досадно, что я забыл имя этого достойного начальника губернии, помнится, его фамилия Жеребцов. (Прим. Герцена) *(Дмитрий Сергеевич — прим. Константина Дегтярева)*

# 620

Муханова Мария Сергеевна (1802 или 1803–1882) — фрейлина. Отрывок из ее мемуаров печатается по: РА. 1878, № 3. С. 314.

# 621

Муханов Сергей Ильич (1762–1842) — полковник (1796); генерал-адъютант (1801), обер-шталмейстер (1808).

# 622

По свидетельству В. Ф. Раевского, «простой народ, в особенности раскольники» считали А. антихристом (Лит. наследство. М., 1956. Т. 60, кн. 1. С. 86). Ср. также: «В старорусском монастыре была картина доморощенного художника-поселянина «Проводы Аракчеева в ад». Впереди идет граф в парадной форме, за ним свита генералов. Толпы поселян радостно провожают нового гостя сатаны» (*Граф Аракчеев* С. 8).

# 623

Языков Александр Петрович (1802–1878) — в описываемое время прапорщик Преображенского полка; впоследствии директор Училища правоведения (1849–1877), генерал-лейтенант (1856); историк. Фрагмент печатается по: РА. 1869. Стб. 1464–1470.

# 624

Мартос Иван Романович (1760–1831) — родственник скульптора И. П. Мартоса. Учился в Киевской академии; с 1786 по 1792 г. служил в Киевской верхней расправе (губернский суд по делам однодворцев, государственных и приписных крестьян) и Киевской казенной палате, с 1793 г. фурьер Преображенского полка (в 1795 г. вышел в отставку по болезни в чине поручика). С 1797 г. на службе в Департаменте уделов (в 1798 г. коллежский асессор, с 1800 г. столоначальник); секретарь 3-го департамента Сената (с 1802), статский советник; с 1813 г. директор департамента Министерства юстиции. По выходе я отставку (1816) жил в Ккево-Печерской лавре; известный масон, историк. Фрагменты его дневниковых записей печатаются по: ИВ. 1894. № 10. С. 301–303.

# 625

Описываемые события происходили в Киеве, где А. остановился по пути из-за границы.

# 626

А. отказался от Андреевского ордена и носил Александровский.

# 627

Ср. изложение этого эпизода в мемуарах Н. Г. Сигунова и А. П. Языкова.

# 628

Известны четыре письма: от 16, 19, 22 сентября и 3 октября 1825 г. (тексты их см.: *Александр*. Т. 2. С. 659–660). Два последних письма были написаны после получения в Таганроге известий об убийстве Минкиной и отходе А от дел; об усилиях А. по их распространению см. примеч. 21 к «Воспоминаниям» Н. И. Шенига.

# 629

Имеется в виду письмо императора к А. от 22 сентября

# 630

*Елизавета* Алексеевна (Луиза Мария Августа; 1779–1826) — принцесса Баден-дурлахская; с 1793 г. супруга великого князя Александра Павловича, с 1801 г. российская императрица.

## 631

Речь идет об издании «Бумаги графа Алексея Андреевича Аракчеева, касающиеся до отъезда его за границу в майе месяце 1826 года» (СПб., 1826)

## 632

Имеется в виду письмо к Николаю I от 9 апреля 1826 г. (текст его см: *Шильдер. Николай.* Т, 2, С. 40–42).

# 633

Приказ от 1 мая 1826 г.

# 634

Савваитов Павел Иванович (1815–1895) — воспитанник Петербургской духовной академии, преподавал в Павловском кадетском корпусе (1844–1855), археолог, историк. «Заметки печатаются по: РС. 1872. № 3. С. 470–472.

# 635

*Ильинский* Николай Степанович (в монашестве Никанор; 1790–1863) — в 1821–1825 гг. протоиерей Грузинского Андреевского собора; в 1830 г., будучи настоятелем собора в Боровичах, получил орден Св. Анны 3-й степени за «усмирение возмутившихся крестьян» *(Здравомыслов К Я.* Иерархи новгородской епархии с древнейших времен до настоящего времени. Новгород, 1897. С. 168); впоследствии протоиерей петербургской церкви Св. Матфея на Большой Пушкарской ул., затем архимандрит, наместник Александро-Невской лавры. Его письмо к А. (конец ноября 1825 г.) см.: *Отто.* № 10. С. 171.

*Моисей* (в миру Матфей Богданов-Платонов; 1748–1834) — ректор Киевской духовной академии (1819–1824), с 1824 по 1827 г. епископ старорусский и викарий новгородский, в 1828 г. епископ вологодский, с 1832 г. экзарх Грузии. Сохранилось упоминаемое прошение Ильинского, датированное И сентября 1825 г.: «Его сиятельства графа Аракчеева управительница дома Настасья Федорова сего сентября 10-го дня померла насильственною смертию. Господину графу Аракчееву желательно погребсти ее возле назначенной им для себя самого могилы в приделе ев, апостолов Петра и Павла, то прошу вашего преосвященства благоволить прислать на сие на имя мое разрешение» (РО РНБ. Ф. 29, № 67). Гнев А., видимо, был вызван и самим обращением грузинского протоиерея за позволением к вышестоящему начальству, и наложенной 12 сентября краткой резолюцией епископа Моисея: «Без воли владыки моего его высокопреосвященства разрешить сего не могу», затягивавшей дело и вынуждавшей А. обращаться к митрополиту Серафиму

# 637

*Норов* Авраам Сергеевич (1795–1869) в 1810 г. поступил юнкером в гвардейскую артиллерию (в 1814 г. подпоручик), с 1823 г. полковник в отставке; в 1827 г. чиновник особых поручений в Министерстве внутренних дел, действительный статский советник (1832), сенатор (1849), в 1854–1858 гг. министр народного просвещения, член Государственного совета (1858); поэт, автор путевых очерков.

# 638

*Отец* А. С. Норова — Сергей Александрович (1769? — 1849) — секунд-майор в отставке, в 1796–1797 гг. саратовский губернский предводитель дворянства. Стараниями А. паж Авраам Норов был в 1810 г, определен в гвардейскую артиллерийскую бригаду (см. письмо директора Пажеского корпуса И. Г. Гогеля к А. — *Дубровин.* С. 49), лестные рекомендации ему (уже юнкеру) см. в письме А. инспектору всей артиллерии П. И. Меллеру-Закомельскому (1811; РГАЛИ. Ф. 349. Оп. I. № []).

# 639

Ширяев Лаврентий Васильевич (1809–1887) в 1822 г. определился писцом в Комитет провиантских дел Военного министерства, с 1826 г. в канцелярии ведомства путей сообщения; помощник столоначальника в Провиантском департаменте (1828), с 1864 г. вице-директор департамента. Выдержки из воспоминаний (записанных его сыном Н Л. Ширяевым, автором ряда исторических очерков, — см., напр., статью «Аракчеевское поместье»: РС. 1893. № 8. С. 408–412) печатаются по: ИВ. 1895. № 3. С. 891–893.

А мог носить семеновский мундир как знак особого расположения императора, бывшего шефом этого полка.

# 641

*Мертваго* Дмитрий Борисович (1760–1824) — с 1803 г. таврический гражданский губернатор, в 1807–1810 гг. генерал-провиантмейстер, сенатор (с 1817). Оставил мемуары, в которых изложены несколько служебных столкновений с А. и содержится следующая его характеристика: «Судя по воспитанию и ходу фортуны графа Аракчеева, следует заключить, что имеет он ум нравиться тому, кому служит. И имел бы довольно хорошие способности к службе, даже а на вышних степенях, если бы ход его был медлительнее, следовательно, научась опытами, узнал бы он, как управлять людьми, коих палкою бить не должно и не можно <…> Неумеренное честолюбие и необдуманная ложная гордость не допускали его научаться истине тогда, когда он учителем был поставлен. Главнейшая же беда в том, что он познал науку правительствовать от бывшего Наследника ожесточенного, и всю силу свою и достоинство власти основывавшего единственно на чистом самовластии» (РА, 1867. Стб. 230).

# 642

Точное название упоминаемой публикации: «Известие о качествах делаемого в России пороха» (ВЕ. 1807. № 22. С. 106–109). Ранее в этом журнале (также в разделе «Литература и смесь») появилась еще одна статья А.: «Известие о российских пушках» (1807. № 19. С. 196–211). Большое количество профессиональных материалов, связанных с деятельностью А. на постах инспектора артиллерии и военного министра (рапортов, представлений, отчетов, докладных записок, предложений Артиллерийской экспедиции и др.), содержится в «Артиллерийском журнале», который издавался под руководством А. в 1808–1811 гг. (вышло 24 номера) и был первым опытом ведомственного ученого периодического издания по артиллерии. Одной из задач журнала было привлечение интеллектуальных ресурсов офицерства к реорганизации артиллерии.

# 643

Вяземский Петр Андреевич (1792–1878) — князь; поэт, литературный критик, мемуарист. Служил чиновником для иностранной переписки в канцелярии Н. Н. Новосильцева в Варшаве (1817–1821); в 1833–1846 гг. вице-директор Департамента внешней торговли, в 1846–1853 гг. директор Государственного заемного банка; сенатор, тайный советник (с 1855), член Государственного совета (1866). Отрывки из «Старой записной книжки» — воспоминаний, над которыми он трудился в последние годы жизни, печатаются по: *Вяземский П. А.* Поли. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1883. Т. 8. С. 74–75, 77–78, 112, 205–206.

Ф. П. Уваров умер 20 ноября 1824 г.; похоронен в Духовской церкви Александро-Невской лавры

Образцы народных песен об А. см. в Приложении II.

# 646

Давыдов Денис Васильевич (1784–1839) начал службу в 1801 г, в Кавалергардском полку (в 1803 г. поручик); с 1806 г. адъютант П. И. Багратиона. Командир батальона Ахтырского гусарского полка (1812); в период Отечественной войны организатор партизанских действий в тылу противника. Генерал-майор (1814), командир бригады гусарской дивизии (1816–1818), начальник штаба 7-го (1818) и 3-го (1819) пехотных корпусов; в отставке с 1823 г., вновь на службе с 1826 г. Окончательно оставил службу в 1832 г. в чине генерал-лейтенанта. А. П. Ермолов приходился Д. В. Давыдову двоюродным братом по матери. «Анекдоты…» печатаются по: *Давыдов Д. В.* Сочинения. М., 1962. С 482 484–485, 490.

# 647

*Ермолов* Алексей Петрович (1772–1861) начал службу в 1791 г. в 44-м Нижегородском драгунском полку, в 1793 г. переведен в артиллерию; подполковник (1798). Во 2-й половине 1790-х гг. был одним из создателей и активных участников Смоленского офицерского политического кружка; после его раскрытия в ноябре 1798 г. был арестован, выключен из службы и выслан в Кострому под надзор губернатора. В марте 1801 г. помилован указом Александра I; с июня 1801 г. командир конно-артиллерийской роты в Вильно, с 1806 г. — командир 7-й артиллерийской бригады в дивизии генерала Д. С. Дохтурова; в 1811–1812 гг. командир гвардейской артиллерийской бригады. В период Отечественной войны 1812 г. начальник Главного штаба 1-й Западной армии, с декабря 1812-го по апрель 1813 г. командовал артиллерией всей действующей армии. В 1816–1827 гг. командир Отдельного Кавказского корпуса; генерал от инфантерии (1818), генерал от артиллерии (1837).

# 648

В автобиографических «Заметках… о… молодости» Ермолов вспоминал: «Когда граф Аракчеев назначен был инспектором всей артиллерии, по неизвестным мне причинам подпал я полной его немилости и преследованию. В самом производстве в чин сделана была мне преграда и на которую я не мог жаловаться, ибо когда по старшинству надлежало дать мне чин, он приглашал из отставки и в списке ставил впереди меня» (*Ермолов АЛ.* Записки. М., 1991. С. 29; ср. его письмо к А. от 3 января 1807 г. — *Дубровин.* С. 2–3).

# 649

*Лагарп* Фредерик Сезар (1754–1838) — швейцарский политический деятель, с 1784 г. воспитатель великих князей Александра и Константина; покинул Россию в 1795 г. В августе 1801 г. посетил Петербург по приглашению императора, в 1814–1816 гг. встречался с ним за границей.

## 650

Точнее: «Бог даст, будете и фельдмаршалом, и тогда я намерен проситься к вам в начальники штаба вашего» (цит. по: *Богданович М. И.* История царствования императора Александра I, СПб., 1871. Т. 6. С. 280).

# 651

# 652

*Тюфяев* Кирилл Яковлевич (1775 — после 1840) — в 1824–1831 гг. пермский, в 1831–1834 гг. — тверской гражданский губернатор.

## 653

Ср.; «Когда А. хотел сильно наказать какую-либо часть военных поселений, то говаривал: — Я вам пришлю Клейнмихеля» (*Дельвиг.* Т. 1. С. 389).

*Вельяминов* Иван Александрович (1771–1839) управлял гражданской частью на Кавказе в бытность Ермолова командиром Кавказского корпуса, с 1818 г. генерал-майор и начальник его штаба; генерал-лейтенант (1838). Ср.: «Нужнейшего мне для военной части взял я начальника корпусного штаба полковника Вельяминова, служившего прежде со мною в артиллерийской гвардейской бригаде, потом в Кракове и наконец в гренадерском корпусе в том же звании. Офицер сей, хорошо учившийся, имел большие сведения и отличные способности. <…> Обер-квартирмейстером по желанию моему назначен был полковник Иванов» *(Ермолов А. П.* Указ. соч. С. 271).

*Архаров* Николай Петрович (1740–1814) — генерал от инфантерии (1796), с ноября 1796 г. петербургский генерал-губернатор; получил от императора имение Рассказово в Тамбовской губернии, куда и уехал в июне 1797 г., попав в опалу. Рассказ о выборе Архаровым Грузина малодостоверен. Из описания высочайшей грамоты следует, что 2 тысячи душ были пожалованы А. 4 декабря 1796 г., а Грузинская вотчина — 12 декабря (см.: РС. 1891. № 8. С. 404–40S; свидетельство А. И. Макшеева, в!880-х гг. унаследовавшего часть родового имения А. в Бежецком уезде и некоторые фамильные реликвии и документы).

# 656

*Ильин* Василий Федорович (1769–1821) — выпускник Артиллерийского и инженерного кадетского корпуса, в котором преподавал после окончания (до 1806); в 1813 г. командовал артиллерией резервной армии, в 1818 г. управлял Московским артиллерийским депо, в 1820 г. в чине генерал-майора состоял председателем Экономического комитета военных поселений. По слухам, А. «так любил Ильина, что, не имея детей, хотел сделать его своим наследником, но это не состоялось <…>. Должно быть, оттого, что Ильин умер прежде, Аракчеев и переменил свое намерение и не заблагорассудил оставить детям Ильина того, что он думал передать ему самому как самому близкому своему приятелю» (Рассказы бабушки… собранные ее внуком Д. Д. Благово. Л., 1989. С. 211; см., однако, письмо А. к Ильину от 30 марта 1821 г. с выговором за неудовлетворительное исполнение служебных обязанностей — *Дубровин.* С. 296). В 1818 г. А. рекомендовал сына Ильина, Павла, тогда поручика гвардейской артиллерии, А. П. Ермолову; в 1829 г. Ильин-младший служил в Петербурге в чине коллежского советника и исполнял поручения, связанные с сооружением памятника Александру 1 в Грузине (письма А. к нему см.: ИВ. 1904. № 9. С. 868–876).

# 657

Погоны кадетам полагались «темно-зеленые, с красною выпушкою и с желтою высечкою *Г. А.*» — т. е. «Граф Аракчеев» (*Карпов П. П.* Исторический очерк Новгородского графа Аракчеева кадетского корпуса. СПб., 1884. С. 40).

Находясь в 1826 г. за границей, А. списался с кн. Г. И. Гагариным, русским посланником в Риме, и по его рекомендации поручил работу над задуманным им памятником Александру I С. И. Гальбергу, пенсионеру Академии художеств. Фигуры композиции были отлиты в 1832 г. В. П. Якимовым, привезены в Грузино по Волхову и там установлены на гранитном пьедестале (переписку А. с разными лицами по поводу сооружения памятника см.: Новгородский сборник. 1865. Вып. 1. Отд. II. С. 37–73). К открытию монумента, состоявшемуся 19 ноября 1833 г., была выпущена брошюра «Описание памятника в селе Грузине, в Бозе почивающему покойному Императору Александру Благословенному» (СПб., 1833).

## 659

К 19 ноября 1833 г. было изготовлено множество памятных крестов, лично врученных или разосланных многим знакомым А. (о вручении таких знаков Д. А. Державиной и А. Н. Оленину см.: *Державин Г. Р.* Сочинения. СПб., 1883. Т. 9. С. 329; РС. 1875. № 10. С. 291).

*Малиновский* Алексей Федорович (ум. 1857; не путать с историком А. Ф. Малиновским!) — сын Федора Малиновского (благочинного протоиерея Андреевского собора в Грузине и первого историка аракчеевского поместья), выпускник Новгородской духовной семинарии. Видимо, вскоре после перевода Н. С. Ильинского в Боровичи был определен в настоятели Грузинского храма; с 1834 г. до кончины законоучитель Новгородского кадетского корпуса.

# 661

Дни тезоименитства Павла I, Александра I и храмовый праздник Грузина — день апостола Андрея Первозванного.

# 662

*Чаликов* Антон Степанович (1754–1821) — генерал-майор (1807). в 1807–1817 гг. командир Уланского полка. *(В этом полку под руководством Чаликова служил Ф. В. Булгарин, который передавал любимую присказку своего командира: «Фронтеры-понтеры, Чаликова — генерал майором». Вероятно, производство в генералы сильно его впечатлило — Константин Дегтярев)*

# 663

*Перрен* Петр Яковлевич (1782–1837) — выпускник Артиллерийского и инженерного кадетского корпуса (1803, с чином подпоручика); служил в лейб-гвардии артиллерийском батальоне (в 1810 г. поручик), с 1806 по 1812 г. адъютант А; генерал-лейтенант (1825), член Совета военно-учебных заведений (1834–1837).

«Рассказы бывших военных поселян об графе Аракчееве» печатаются по: РС. 1887. № 8. С. 421–422 (запись П. П. Романовича в начале 1880-х гг.).

# 665

В одном из альбомов первой трети XIX в. (ОР РГБ. Ф. 244 (Собрание рукописей П. П. Шибанова). № 256. Л. 188 об.) после списка сатиры Рылеева «К временщику» находится «Епитафия Шумской», обращенная к А.: «Здесь прах лежит убитой Настасий, // Ложись и ты туда для щастия России».

# 666

«Рассказ новгородского старожила» печатается по: РА. 1889. № 8. С. 562–563 (здесь опубликован с редакторским заглавием «Пернатый батальон»).

# 667

Рассказ крестьянина Шеллоника «Граф Аракчеев» печатается по: Жизнь для всех. 1911. №12. Стб. 1737–1745.

# 668

«Народное сказание о смерти Аракчеева» печатается по: РА. 1892. № 7. С. 391. Записано новгородским историком и краеведом И. П. Мордвиновым в с. Яковлеве Новгородской губернии 23 мая 1892 г.

# 669

Печатается по: РА. 1868. Стб. 283–289. Подзаголовок, данный, видимо, публикатором П. А. Мусатовским; «По рассказам отставного штабс-капитана Евгения Михайловича Романовича». Эта заметка, содержащая целый ряд неточных, а местами и вымышленных деталей, интересна как свидетельство пристального интереса современников к обстоятельствам смерти А.

*Арендт* Николай Федорович (Николас Мартин; 1785–1859) — врач-хирург, лейб-медик Николая I (с 1829).

# 671

Излагаемая история памятника недостоверна.

*Тыртов* — вероятно, имеется в виду Алексей Дмитриевич Тырков, предводитель дворянства Новгородского уезда в 1830–1836 гг.

# 673

Аракчеев Петр Андреевич (1778 или 1780 — не ранее 1837) учился, как и его старшие братья, в Артиллерийском и инженерном кадетском корпусе, по окончании которого был в чине подпоручика определен в гвардейский артиллерийский батальон (15 ноября 1796), в 1800–1803 гг. батальонный адъютант, поручик; в 1808 г., находясь в чине капитана, получил звание флигель-адъютанта; в 1810 г. полковник. В конце 1812 г. назначен вторым комендантом Киева (в письме от 20 января 1813 г. И. А. Пукалов выражал радость по поводу того, что А удалось «пристроить к святым местам Петра Андреевича» — *Дубровин.* С. 74); впоследствии генерал-майор. С 1805 г. был женат на кн. Наталье Ивановне Девлет-Кильдеевой (1785–1849). Письма А. к брату см.: ВЕ. 1870. № 5. С. 476–478, 481–482 (три письма за 1810 г.); РС. 1874. № 5. С. 190–192 (письмо от 3 апреля 1812 г.); его письмо к А. 1810 г. — *Дубровин. С.* 22; здесь же (с. 454–455) письме Н. И. Аракчеевой к А. от 29 сентября 1825 г. с соболезнованием по поводу кончины Минкиной).

# 674

Бровцын Алексей Платонович (1807–1883) — сосед и крестник А.; поручик, в 1841–1842 гг. исправлял должность новгородского губернского предводителя дворянства. «Опровержение…» является ответом на помещенную выше публикацию П. А. Мусатовского; печатается по: РА. 1868. Стб. 951–958.

Пс, 136. 6.

# 676

Фон Фрикен приехал в субботу вечером поздно, не застав уже живого графа (прим. Бровцына)

# 677

*Бровцын* Платон Алексеевич (ум. 1824) — соученик А. по корпусу (выпущен в том же 1787 г. поручиком в армию), впоследствии майор; сохранилось его письмо к А. (1810) с описанием семейного праздника по случаю именин «благодетеля» — А. (*Дубровин* С. И.; письмо от 26 октября 1822 г. с просьбой о денежном вспомоществовании см.: ОР РНБ. Ф. 29. № 10. Л. 10–10 об.; в этом же деле имеется письмо А. П. Бровцына к А. - л. 67–68).

# 678

*Ратч* (Рач) Василий Федорович (1816–1870) — генерал-майор, военный историк, автор книги «Сведения о графе А. А. Аракчееве» (СПб., 1864; доведены до 1798 г.).

# 679

*Белавин* Николай Иванович (1784–после 1841) — полковник Глуховского кирасирского полка в отставке (с 1816); новгородский губернский предводитель дворянства в 1821–1825, 1827–1831 и 1833–1841 гг.; служа по выборам, получил чины статского советника (в 1826) и действительного статского советника (в 1835).

*Грузинская церковь* в 1811 году соизволением Государя утверждена собором (прим. Бровцына).

# 681

Записи, доведенные до 1816 г., печатаются по: РА. 1866. Стб. 922–927, где они помещены с редакторским названием и пометой: «События следуют у него [А.] по месяцам, к которым они относились, начиная с сентября, по церковному счислению; для удобства чтения здесь эти заметки расположены по годам».

*Фрыштыкатъ* (от *нем.* frühstucken) — завтракать.

*Феофилакт* (Русанов, ум. 1821) — с 1799 г. епископ калужский, с 1809 г. архиепископ рязанский; в конце ноября 1812 г. ему было поручено привести «в надлежащее устройство епархии», которые в продолжение военных действий были заняты французскими войсками; с 1817 г. экзарх Грузии, с 1819 г. — митрополит карталинский.

*Платов* Матвей Иванович (1751–1818) — граф (1812); с 1801 г. войсковой атаман Донского казачьего войска, в 1812–1814 гг. командовал Донским казачьим корпусом.

## 685

Пропуск в рукописи. *Роченсальм* (ныне Котка) — город и порт в Финляндии.

*Елбот* (вельбот) — мореходная шлюпка.

Имеется в виду В. Ф. Ильин.

# 688

Державин Гавриил Романович (1743–1816) — поэт, действительный тайный советник в отставке (с 1803); сосед А. по новгородскому имению. 10 ноября 1808 г. А. писал ему: «Я давно желал, дабы Званка была знакома с Грузином, почему мне и будет очень приятно всеми моими безделицами служить в[аше]му в[ысоко] пр[евосходительст]ву, уверен будучи и в ваших ко мне вспоможениях, которыми я равномерно также по-соседски буду пользоваться» (Цит. по: *Державин Г. Р.* Сочинения: В 9 т. Т. 6. С. 851). Стихотворение печатается по: *Державин Г. Р.* Сочинения. Л., 1987. С. 268.

## 689

Имеется в виду первый владелец Грузина А. Д. Меншиков, светлейший князь Ижорский.

# 690

Храповицкий Михаил Васильевич (1758–1819) — предводитель дворянства Вышневолоцкого уезда Тверской губернии, близкий знакомый А. Как сообщал Н. В. Сушков, «Храповицкий, будучи предводителем дворянства, отправил Аракчеева в числе прочих бедных дворян Тверской губернии в С.-Петербург, для воспитания в кадетском корпусе <…> Чувство признательности никогда не умирало в строгом сердце Аракчеева. Это лучшая способность его души <…> Неудивительно, что он не мог забыть никогда и первого, хотя случайного, благодетеля, который открыл ему путь к известности, почестям, богатству, могуществу!..» Храповицкий, «дикарь-нелюдим <…> редко у кого бывал. Только Грузине и дом графа Аракчеева, на Литейной, в Петербурге, посещал он каждые два-три года, по настоятельным приглашениям друга» (Раут на 1852 год. М., 1852. С. 205, 207–208; здесь же (С. 222–224) помещено письмо А. к Храповицкому от 12 марта 1795 г.). Стихи (вставка в письмо Храповицкого к А. от 13 февраля 1810 г.) печатаются по: *Дубровин.* С. 20.

# 691

Писарев Александр Александрович (1780–1848) — генерал-майор (1813), командир 2-й гренадерской бригады (1817–1823); в 1825–1830 гг. попечитель Московского университета и учебного округа; военный губернатор Варшавы (1840–1845). Писатель, историк, член Российской академии (с 1809), Автор нескольких стихотворений, посвященных А., и очерка «Собор Св. апостола Андрея Первозванного (в селе Грузине)» (СО. 1816. № 11. С. 161–168). Когда А. пожаловался Писареву на тех, кто осмеливается порицать «благодетельное устройство» в Грузине, тот проявил полную готовность защитить А. от несправедливой хулы: «Если оное есть в печати, снабдите меня, ваше сиятельство, и тогда перо мое очинится на праведный гнев бессмыслия и суесловия их» (письмо от 28 мая 1817 г. — *Дубровин.* С. 198). «Надпись к портрету…» печатается по: СО. 1816. № 43. С. 188.

# 692

Печатается по: *Пушкин.* Т. 1. С. 363.

# 693

Непечатным словом названа Минкина.

Малиновский Алексей Федорович (1762–1840) — историк, археограф, в 1814–1840 гг. управляющий московским архивом Коллегии иностранных дел, сенатор (1819). Регулярно пополнял библиотеку А. редкими рукописями и книгами: так, 17 марта 1819 г, послал копию с неизданных «Записок, служащих к истории <…> великого князя Павла Петровича» С. А. Порошина, 10 января 1821 г. — главы из исторического путеводителя «Обозрение Москвы», над которым в то время работал, 24 апреля 1819 г. и 16 февраля 1822 г. — очередные выпуски выходившего под его редакцией «Собрания государственных грамот и договоров», 22 декабря 1824 г. — выполненный специально для А перевод «ученого сочинения профессора Крафта» о наводнениях (*Дубровин. С.* 237, 279, 242, 335–336, 397–398). Современники склонны были считать подобную предупредительность низкопоклонством: «Он Аракчееву подарил даже соловья, чтобы беспрестанно пением своим напоминал ему Малиновского. Он был так подл, что однажды, будучи уже сенатором, зная, в каком часу должен приехать Аракчеев в Москву и остановиться в Малом дворце, он целое утро дожидался его на крыльце, в сенаторском мундире» (*Дмитриев М. А.* Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 165; упомянутые соловьи — не выдумка: см. его письмо к А от 24 октября 1821 г. — *Дубровин.* С. 327). Единственной дочери Малиновского Екатерине (в замуж, княгине Долгоруковой; 1811–1872) А одно время собирался завещать Грузино; в пересказе М. И. Муравьева-Апостола сохранился фрагмент ее устных воспоминаний о посещении имения А.: «Княгиня Долгорукова, будучи 14 лет, часто ездила с родителями в Грузино, где Аракчеев жил в некоторого рода изгнании. Для них, обыкновенно, был особый домик, в коем всё сохранялось в порядке, однажды установленном и расписанном на особой карточке. Если переставляли что-нибудь, то сторож умолял, чтобы поставили на прежнее место, ибо его подвергнут за беспорядок наказанию: на бумажке было обозначено, на сколько вершков от стены стоял каждый стул и т. д, Прислуга в Грузине страшно голодала, ибо Аракчеев сам лично отрезал для них кусочки хлеба и пр. Родители княгини всегда принуждены были запасаться пищею в Чудове, и от их людей пользовалась и прислуга Аракчеева. Между тем он был крайне нервозен: все вещи, до которых прикасался Александр, были расставлены у него в комнате, и на каждой было обозначено число, в которое вещь была в руках у Государя» (Тетрадка Толя // Декабристы на

поселении: Из архива Якушкиных. М., 1926. С. 138–139). Стихотворение (приложение к письму Малиновского к А. от 2 декабря 1818 г.) печатается по: *Дубровин. С.* 235–236.

# 695

Имеется в виду памятник офицерам гренадерского графа А. полка, погибшим в сражениях 1812–1814 гг

# 696

Печатается по: *Пушкин.* Т. I. С. 396.

## 697

Чугуев упомянут в связи с бунтом военных поселян в 1819 г. Немецкий студент Карл *Занд* (1795–1820) 23 марта 1819 г. в Мангейме убил известного немецкого драматурга А. Ф. Коцебу (тот активно пропагандировал политику Священного союза, и в Германии его считали шпионом Александра I).

# 698

Впервые опубликовано в журнале «Невский зритель» (1820. № 10). О реакции современников на эту сатиру можно судить, в частности, по мемуарам И. Н. Лобойко, состоявшего, как и Рылеев, в Вольном обществе любителей российской словесности: «Летом, по выходе из заседания литературного нашего общества ночью в 11 часов, пригласил он (Рылеев) меня к себе на квартиру дослушать окончание своей поэмы [«Войнаровский»] <…> По окончании чтения я спросил его: где эта поэма будет напечатана? Рылеев отвечал: «В Москве». — «Отчего же не здесь, в Петербурге?» — «Разве вы не знаете, что за мною подсматривают? Оттого окна моей квартиры в нижнем этаже выходят на Мойку. Я их не закрываю, и полицейские агенты могут всегда чрез окна видеть, чем я занимаюсь и кто у меня бывает». — «Да за что же вас подозревают?» — Разве вам неизвестно, что я навлек на себя гнев графа Аракчеева?» Я не знал, по какому поводу, и Рылеев объяснил мне его следующим образом: «Вы знаете, что я напечатал в «Невском зрителе» Пропорция сатиру [ошибка: подзаголовок стихов Рылеева отсылает к несуществующей сатире Персия) в переводе стихами, под заглавием «Временщику»? Граф Аракчеев принял ее на свой счет, и она во всем Петербурге сделалась гласною. То те, то другие стихи, которые можно было обратить в укор Аракчееву, повторялись, Аракчеев, оскорбленный в своем грозном величии неслыханною дерзостию, отнесся к министру народного просвещения князю Голицыну, требуя предать цензора, пропустившего эту сатиру, суду. Но Александр Иванович Тургенев, тайно радуясь этому поражению и желая защитить цензора, придумал от имени министра дать Аракчееву такой ответ: «Так как ваше сиятельство, по случаю пропуска цензурою Проперция сатиры, переведенной стихами, требуете, чтобы я отдал под суд цензора и цензурный комитет за оскорбительные для вас выражения, то, прежде чем я назначу следствие, мне необходимо нужно знать, какие именно выражения принимаете вы на свой счет?» — Тургенев очень верно рассчитал, что граф Аракчеев после этого замолчать должен, ибо если бы он поставил министру на вид эти выражения, они не только бы раздались в столице, но и по всей России, ненавидевшей графа Аракчеева» (цит. по: Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. М., 1980. Т. 2. С. 47–48). Ср. также воспоминания Н. А. Бестужева: «В «Сатире на временщика» открывается все презрение к почестям и власти человека, который прихотям деспота жертвует счастием своих сограждан. В том

положении, в каком была и есть Россия, никто еще не достигал столь высокой степени силы и власти, как Аракчеев, не имея другого определенного звания, кроме принятого им титла *верного царского слуги;* этот приближенный вельможа, под личиной скромности, устраняя всякую власть, один, не зримый никем, без всякой явной должности, в тайне кабинета, вращал всею тягостью дел государственных, и злобная, подозрительная его политика лазутчески вкрадывалась во все отрасли правления. — Не было министерства, звания, дела, которое не зависело бы или оставалось бы неизвестно сему невидимому Протею — министру, политику, царедворцу; не было места, куда бы не проник его хитрый подсмотр; не было происшествия, которое бы не отозвалось в этом Дионисиевом ухе. Где деспотизм управляет, там утеснение — закон, малые угнетаются средними, средние большими, сии еще высшими; но над теми и другими притеснителями, равно как и над притесненными, была одна гроза: временщик. <…> — В таком положении была Россия, когда Рылеев громко и всенародно вызвал временщика на суд истории; когда назвал его деяния, определил им цену и смело предал проклятию потомства слепую или умышленную покорность вельможи для подавления отечества. — Нельзя представить изумления, ужаса, даже, можно сказать, оцепенения, каким поражены были жители столицы при сих неслыханных звуках правды и укоризны, при сей борьбе младенца с великаном. Все думали, что кары грянут, истребят и дерзновенного поэта, и тех, которые внимали ему; но изображение было слишком верно, чтобы обиженному вельможе осмелиться узнать себя в сатире» (Там же. С. 65–66). Текст стихотворения «К Временщику» печатается по изд.: *Рылеев К. Ф.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1934. С. 89–90. В 1823–1824 гг. Рылеев в соавторстве с А. Бестужевым сочинял имитирующие фольклор агитационные песни; две из них также содержат нападки на А.: 1) «А граф Аракчеев / Злодей из злодеев!» (песня «Царь наш — немец русский…»; сводный текст, предложенный Ю. Г. Оксманом, цит. по: Лит. наследство М 1954. Т. 59. С. 79) и 2)

## 699

*Персий* Флакк (34–62) — римский сатирик. Подзаголовок Рылеева — двойная мистификация: он отсылает не к какой-нибудь сатире Персия (у того нет сочинений с подобным названием), а к стихотворению М. В. Милонова «К Рубеллию. Из Персия» (1810), в котором указание на источник тоже вымышлено.

# 700

*Сеян* Луций Элий (ум. 31 до н. э.) — префект преторского конвоя при императоре Тиберии; организовал заговор против Тиберия, за что и был казнен.

# 701

Печатается по: РС. 1874. № 1. С. 200 (с указанием: «Из рукописного сборника начала XIX в).

# 702

Печатается по той же публикации. С. 201 (в рукописном сборнике между стихотворениями была помешена виньетка, изображавшая змею с высунутым жалом).

# 703

Печатается по: РС. 1872. № 11. С. 596 (с указанием: «Из рукописной» сборника начала XIX в.»).

# 704

Печатается по: РС. 1872. № 9. С. 241 (запись со слов Я. Н. Сухотина).

# 705

Путята Селиверст Андреевич (1800–1827) — с 1819 г. подпоручик 2-го Егерского полка, 30 марта 1821 г. отставлен «за дурное поведение»; безуспешно пытаясь определиться в службу, скитался по России. Из Казани отправил А. письмо с просьбой о помощи, но ответа не получил. Узнав о смерти Александра I, вернулся в Петербург; в апреле 1826 г. отправился в Новгород, где был задержан из-за отсутствия документов; в порыве откровенности прочитал некоторые свои стихи новгородскому губернскому прокурору, в доме которого содержался, в результате чего был препровожден в Петербург и посажен в Петропавловскую крепость. Поскольку Путята не имел отношения к декабристам, а строки об «уполномоченном злодее» и «ядовитом змее» касались А., уже уволенного от государственных дел, то в ноябре 1826 г. Путята был определен унтер-офицером в Отдельный Кавказский корпус; умер в Шуше (Нагорный Карабах), Фрагменты стихотворения «Дни моего отчаяния» впервые опубликованы в кн.: *Довнар-Запольский М. В.* Идеалы декабристов. М., 1907. С. 110–112; полностью текст воспроизведен в статье М. А. Рахматуллина «Страничка прошлого (К биографии С. А. Путяты)» (Вопросы литературы. 1982. № 7. С. 184–186); отрывок печатается по последней публикации.

# 706

Баратынский Евгений Абрамович (1800–1844) — поэт. Эпиграмма сочинена, скорее всего, в ноябре 1824 — январе 1825 г., во время пребывания Баратынского в Гельсингфорсе при штабе генерал-губернатора Финляндии А. А. Закревского; текст приводится по: *Баратынский Е. А.* Стихотворения. Поэмы. М.,1982. С. 328. Подробную характеристику идейного контекста этой эпиграммы см. в статье ее первого публикатора К. В. Пигарева в: Звенья. М.; Л., 1935. Вып. 5. С. 188–202.

# 707

Олин Валериан Николаевич (ок. 1790–1841) — поэт, переводчик, издатель, В 1832 г, перевел с английского «Записки о России» Ч. Х. Вильямса и в письме к А. от 28 июня 1832 г. просил позволения посвятить ему этот труд: «Без сомнения вам покажется странно, что человек, не имеющий счастья быть вам известным лично и который никогда прежде не умножал толпы людей, искавших ваших милостей, принимает ныне смелость препроводить при сем к вашему сиятельству стихи, сочиненные им к вашему портрету <…> Не принадлежа к числу таких людей, которые кадят только тем богам, которые вооружены Перуном или рогом изобилия, я преимущественно благоговею <…> пред гражданскими добродетелями и прямой любовью к отечеству, на какой бы степени общественных отличий они ни стояли, и ограничиваю все честолюбие мое единственным желанием сделаться и самому со временем достойным священного имени патриота» (цит. по: *Отто*. № 10. С. 180; там же — приводимые стихи).

*Цинциннат* Луций Квинкций — римский консул V в. до н. э., почитавшийся как образец патриотизма; после блистательных военных побед неизменно возвращался в свое поместье.

## 709

Характеристику песен-сатир об А. см.: Русское народное поэтическое творчество. М, Л., 1955. С. 285–298.

# 710

Записана А. С. Пушкиным в с. Болдино Нижегородской губернии в 1830–34 гг. Печатается по: Исторические песни XIX века. Л., 1973. С. 150.

# 711

Записана В. И. Далем в Оренбургской губернии. Печатается по: Исторические песни XIX века. С. 153–154. Другие варианты см.: РС. 1872. № 11. С. 594 (по указанию записавшего текст Я. П. Безукладникова, пелась в 1830-х гг. солдатами Оренбургского линейного батальона); Русские исторические песни. М.,1985. С. 185–186; Русская историческая песня. Л., 1987. С. 322–323,450.

# 712

Записана в 1870–1880-х гг. П. П. Романовичем от бывшего военного поселенца в д. Нечаино Старорусского уезда Новгородской губернии. Печатается по: Русская историческая песня. Л., 1987. С. 324.

# 713

Записана в 1870–1880-х гг. П. П. Романовичем от бывшего военного поселенца в д. Нечаино Старорусского уезда Новгородской губернии. Печатается по: Русская историческая песня. Л., 1987. С. 324.

# 714

Ср. со свидетельством исполнителя песни:.Пришел 1824 год, и открылось в Старорусском уезде поселение. С дозволения государя Александра Павловича приехал граф Аракчеев, собрал крестьян нашего округа в манеж. Чтобы охотнее шли туда, сделали выставку: значит, дал кружки по две каждому водки. Как только выпили мужики, их и забрало — кружки-то были порядочные. Пьяненьких посадили на стулья, выстригли волоса, выбрили бороды, и Аракчеев поздравил с военным поселением. Выходя из манежа, мужички наши живо сложили песню и запели ее» (Там же. С. 507).

# 715

Сон в Грузине с 26 на 27 июля 1825 года (с. 347–350) Магницкнй Михаил Леонтьевич (1778–1844) — в 1810–1811 гг. статс-секретарь Департамента законов в Государственном совете, сотрудник М. М. Сперанского в подготовке реформ; в 1812 г. выслан в Вологду. В августе 1816 г. по протекции А. назначен воронежским вице-губернатором, с июня 1817 г. — симбирский губернатор; в 1819–1826 гг. попечитель Казанского университета и учебного округа, член Главного правления училищ. 7 июля 1825 г. Магницкий просил у А. разрешения посетить «незабвенное <…> Грузино» (письмо см.: *Дубровин.* С. 444–445), куда он приехал в конце июля, вскоре после того, как там побывал Н. М. Карамзин. 13 июля Александр I писал А.: «Я неудобства никакого не вижу принять Магницкого, только надобно так распорядиться, чтобы не вместе было с Карамзиным, и лучше, ежели бы и не встречались. Карамзин готовится просить дозволения приехать, то Магницкому можно назначить время после отъезда Карамзина» (пит. по: *Александр.* Т. 2. С. 657), Если историк не пожелал публично высказываться о Грузине, то Магницкий вернулся вдохновленным и уже через неделю после визита, 4 августа, отослал А. «Сон в Грузине»: «Принося усерднейшую благодарность вашему сиятельству за милостивый прием и приятнейшее угощение в очаровательном Грузине, я почитаю долгом возвратить вам, милостивый государь, что я увез оттуда: это сон, который я там видел. Он принадлежит вашему сиятельству» (РА. 1863. Стб. 930). Сохранился следующий отзыв современника: «Магницкий прогостил в Грузине пять дней и видел тут известный, достопамятный сон свой, витиевато описанный им и поднесенный знаменитому хозяину. <…> Когда я прочитал этот панегирик-бред, ходивший тогда по рукам (вероятно, по воле сочинителя), мне не верилось, чтобы Аракчеев, человек солидный, дельный, благосклонно принял такую льстивую, вычурную болтовню. Оказалось, напротив: секретарь его. Сырнев, сказывал мне, что граф, прислав рукопись в Петербург, приказал переплести ее в сафьян и внести в библиотеку» *(Панаев В.И* Воспоминания // ВЕ. 1867. Т. 4. С. 105).

# 716

В мае 1826 г., после ревизии Казанского университета, Магницкий был отставлен от службы и выслан в Ревель, в 1834 г. перемещен в Одессу, затем в Херсон. В 1829 г. ему пришлось давать официальное объяснение по поводу своего визита четырехлетней давности: «Те самые, которых обличал я во мнениях и поступках опасных, обратив на меня собственное мое оружие, успели пронести самого меня лицом опасным, утверждая <…> что я, затевая какие-то интриги (коих, впрочем, никто еще не определил), искал в ненавистном времен шике (графе Аракчееве), но я имел и представил подлинные письма и записки, которые доказывают, что то, что называют моим в нем искательством, было не что иное, как взаимность за его расположение еще с 1815 года и в самых важных обстоятельствах моей жизни постоянно мне оказываемое, что ничего и не просил, и не получал я от него; впрочем, книга, в Грузине доныне, вероятно, сохраняемая, может доказать, что, быв там один только раз, я нашел в ней длинный список искателей, меня упредивших и кои занимают теперь весьма важные места, не слыша сего упрека» (записка Магницкого, поданная А. Х. Бенкендорфу 14 сентября 1829 г., цит. по: *Дубровин.* С. 506–507). Текст «Сна…» приводится по: РА. 1863. Кн. 3. Стб. 930–937. Речь идет об обращении Магницкого к А. за протекцией и последующем восстановлении в службе; 7 июля 1825 г. он вспоминал в письме к А.: «Много разных чувств, одно другого живейших, заставляют меня ожидать сего дозволения [посетить Грузино] с нетерпением, но не скрою от вашего сиятельства, что самое живое есть то, которое сохраняется воспоминанием незабвенных поступков ваших со мною в 1825 году, когда вы одни, милостивый государь, без всякого моего на то права, приняли христианское участие в несчастиях моих и истощили все самые нежные внимания для утешения страждущего отца семейства» (*Дубровин. С.* 445).

## 717

*Четьи минеи* — свод житий святых православной церкви, расположенных в календарном порядке. В данном случае имеются в виду «Великие Минеи Четий», составленные в 1530-х гг. архиепископом новгородским Макарием (впоследствии митрополитом) — именно в них под 26 марта находится славянский пересказ греческого жития преподобного Василия Нового (ум. 26 марта 944 или 952 г.), содержащий повествование о хождении св. Феодоры, бывшей в услужении у Василия, по мытарствам, и о Страшном суде.

## 718

Речь идет о Павле I.

## 719

Отсылка к легенде о посещении апостолом Андреем тех мест, где впоследствии возникли Киев и Новгород.

## 720

Имеется в виду бюст Павла I неподалеку от летнего домика.

## 721

Ср. в письме игуменьи Максимиллы (Шишкиной) к А. (1827): «<…> присоветуйте что-нибудь, мой почтенный Сюлли: ваша опытность все сие может постигнуть» *(Отто.* № 10. С. 173).

То есть Александра I.

## 723

Заключительный фрагмент (по авторскому определению — «приписка») статьи, написанной в 1876 г., приводится по изд.: *Вяземский П. А.* Поли. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1882. Т. 7. С. 449–464.

# 724

Граф *Зенфт* (1774? - 1853) — в 1806–1809 гг. посол Саксонии при дворе Наполеона; в 1809–1813 гг. министр в Дрездене, затем — советник и министр при австрийском дворе; автор книги «Memoires du comic de Senflt ancien ministre deSaxe. 1806–1813» (Leipzig, 1863).

## 725

Вероятно, имеется в виду князь Сергей Григорьевич Волконский (1788–1865) — генерал-майор (1813), в 1816–1818 гг. бригадный командир 1-Й бригады 2-й уланской дивизии, с 1821 по 1825 г. бригадный командир 1-й бригады 19-й пехотной дивизии; член Союза благоденствия (1819) и Южного общества. Неточность Вяземского (совет императора меньше заниматься «политическими бреднями» явно относится к тому времени, когда под командованием Волконского состояла не кавалерийская, а пехотная бригада) объясняется, возможно, тем, что Волконский большую часть жизни прослужил в кавалерии, что и закрепилось в сознании современников.

*Каподистрия* Иоаннис (Иван Антонович; 1776–1831) — граф; в 1803–1806 гг. государственный секретарь Ионической республики; в 1809 г. причислен к российской Коллегии иностранных дел в чине статского советника, в 1815 г. назначен статс-секретарем по иностранным делам, с 1816 по 1822 г. министр иностранных дел. С 1827 г. президент Греции.

## 727

Речь идет о публикации «Бумаги покойного председателя Государственного совета И. В. Васильчикова» (РА. 1875. № 3, 5–8, 12). *Васильчиков* Илларион Васильевич (1775 или 1777–1847) — князь (1839); генерал-адъютант (1801), *с* 1817 г. командир гвардейского корпуса, по должности участвовал в подавлении восстания Семеновского полка в 1820 г., после чего вышел в отставку. Вновь на службе с 1821 г.; генерал от кавалерии (1823), с 1838 по 1847 г. председатель Государственного совета и Комитета министров.

«оставьте, не вмешивайтесь» *(фр.)*.

## 729

«Да, золотые дни в Аранжуэсе / Пришли к концу» (Ф. Шиллер. «Дон Карлос, инфант испанский», действие 1, явл. 1; перевод В. Левика). *Аранжуэс* (Аранхуэс) — летняя резиденция испанских королей близ Мадрида.

Выдержки из этих мемуаров см. выше.

*Казовый конец* — светлая, привлекательная сторона явления.

## 732

Слегка измененная заключительная реплика заглавного героя трагедии А. П. Сумарокова «Димитрий Самозванец» (1770).

## 733

Имеются в виду *Катон* Марк Порций старший (234–149 до н. э.) и *Катан* Марк Порций младший — древнеримские политические деятели, защитники традиционной римской морали. *(Вообще-то имеется в виду только Катон-старший, которого нарицательно звали Цензором — Константин Дегтярев)*

# 734

Во время своего пребывания за границей в 1826 г. А. заказал парижскому мастеру А. Ледюру столовые часы в память Александра I и позировал для фигуры воина, склонившегося над бюстом императора. Видимо, тогда же была выпущена брошюра с описанием этих часов — «Notice sur la pendule representant le comte Araktscheieff au torn beau de l'Empereur Alexandra» (Paris: Firmin Dido!; русский перевод ее см.; РА. 1869. Стб. 1183–1192). Часы были доставлены в Грузине в 1829 г; они били один раз в сутки, в 10 часов 50 минут утра (час кончины императора).

## 735

Он появится, не сомневайтесь *(фр.)* — стих из трагедии Вольтера «Танкред» (действ. 3, явл. 4; указано В. А. Мильчиной).

Мк., V, 9.